





**ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ИЗГНАННИКИ**

— Сочинения — Василия Васильевича РОЗАНОВА

Под редакцией
В.Г.Сукача

Москва
«Танаис»
1994


В·В·РОЗАНОВ

ИНАЯ ЗЕМЛЯ,
ИНОЕ НЕБО...

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПУТЕВЫХ ОЧЕРКОВ
1899 — 1913 ГГ.

Москва
«Танаис»
1994



В.В. Розанов,
В.Д. Бутягина-Розанова и Е.П. Левицкая (справа).
Германия (1910 г.)

ББК 87.3 (2)
Р 64

**Составление, комментарии и указатели
В.Г. СУКАЧА**

**Книга выпущена
при финансовой поддержке
Международного фонда
«Культурная инициатива»**

**© В.Г. Сукач. Составление, комментарии,
указатели**

ISBN 5-87603-1

© Танаис

*Путешествия мне нужны
нравственно и физически.*

А.С. Пушкин

Двигаться хорошо с запасом большой тишины в душе: например, путешествовать. Тогда все кажется ярко, осмысленно, все укладывается в хороший результат.

Но и «сидеть на месте» хорошо с запасом большого движения в душе. Кант всю жизнь сидел: но у него было в душе столько движения, что от «сидения» его двинулись миры.

В.В. Розанов

Настоящая книга объединяет все известные нам путевые очерки Розанова, которые публиковались в русской периодической печати под свежим впечатлением от поездок писателя по России и за ее пределами.

Из всех статей Розанова эти очерки выделяются особым авторским настроением и этим легко объединяются в сборник, который мы назвали «Иная земля, иное небо...». Думается, это заглавие выражает розановское мироощущение как *своего - чужого*. Внимательный читатель Розанова часто встречает это разделение — в самых разных оттенках мысли, чувства, психологии и позиции автора. Все должно быть в отдельности, сказал бы Розанов, каждому — свое. Точно так же и лексический подбор названия книги родствен лексике Розанова. Таким образом, из многих вариантов названий мы остановились на том, которое предлагаем в начале нашего сборника путевых очерков В.В. Розанова, и думаем, что угодили и тамошнему созерцанию Василия Васильевича, и здешнему взыскательному вкусу русского читателя.

Путевые впечатления Розанова отличаются непосредственным восприятием русской и инородной жизни. Казалось бы, такая заезженная путешественниками страна, как Италия, в путевых очерках уже превратилась в общее место. Розанов показал край голубого неба и изумрудной зелени с неожиданной свежестью. «Точно открыл Италию вновь». Об этом писали его современники, рецензенты «Итальянских впечатлений». Ему прощали элементарные исторические ошибки, допущенные в книге, своеобразный художественный выбор из сокровищ итальянских музеев, наконец, «реакционерство» — политический ярлык, который клеили ему собраты по ремеслу. Все были очарованы «свежей впечатлительностью» писателя, талантом пера, свободной душой путешественника, которая

обволакивала «чужие алтари» и не забывала родных пенат.

Сам Розанов относился к своим путевым очеркам с большим вниманием. В 1909 году он издал изящную книгу «Итальянские впечатления». И книги других статей, написанные во время поездок на Кавказ, в Германию, по Волге, он хотел видеть отдельными изданиями. Об этом он писал во втором коробе «Опавших листьев» (см.: *Розанов В.В. О себе и жизни своей.* М., 1990, с. 495). «Кавказские впечатления», «Германские впечатления» — так он назвал несобранные книги в «плане для издания... статей...», которые завещал заботе будущих своих «неведомых друзей».

Мы издаем все книги путевых впечатлений Розанова, тем самым исполняя волю писателя, однако сохраняя свою структуру, продиктованную условиями издания. Очерки двух поездок на Кавказ и в Германию мы расположили в хронологическом порядке. Кроме того, в книгу мы включили и поездки в Прибалтику, Саратов и Бессарабию, и этой «суммой впечатлений» книга исчерпывает материал всех дальних поездок Розанова.

КАВКАЗСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

(поездка 1898 года)

КАВКАЗСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
(поездка 1898 года)

ОКОЛО БОЛЯЩИХ

Пятигорск, Эссентуки, Железноводск, с их щелочными и серными ваннами, с зрелищем искалеченных людей, перевязанных ран, приводят невольно на память слова Апокалипсиса: «И вот будет некогда — падет звезда на источники вод: и станут они горьки»¹.

«— Равви, если ты Сын Божий, скажи: кто согрешил, этот слепой или его родители?

— Не он и не родители его, но — чтобы прославился Сын Человеческий.

— И, сделав брение на ладони, помазал глаза болящему. И слепой прозрел»².

Без веры — нельзя жить; без веры в чудо не прожил бы человек; без Бога — он не прожил бы. Разве эта группа вод не есть чудо природы? «Согрешил я» — и припадая к матери-земле, к этим серным ключам, бегущим из Горячей горы (в Пятигорске), — исцеляюсь. Какая связь, какое соотношение? Что за дело сере до характерной болезни, которую она исцеляет, что за дело этой характерной болезни — до серы? Но они сцепляются в узел какого-то соотношения. Чудо, Бог, вера — все тут.

И все-таки для верующего сколько сомнений в Промысле!

«Не он и не его родители согрешили, но — чтобы прославился Сын Человеческий».

Так; хотелось бы уповать; хотелось бы веровать. Но вот передо мною конкретнейший факт, где и «не он, и не родители не согрешили», а настанет ли «прославление»?..

Есть у Кольцова стих:

О Боже, — могила и вере страшна³.

Странно, я стал впадать в какие-то колебания, не сомнения, но недоумения религиозные. Есть такие конкретности бытия, перед коими как-то бессилён весь богословский номинализм. Я сказал не так: есть конкретности, около которых сердце обливается кровью, а все утешения становятся, как говорит Гамлет, «слова, слова, слова»⁴... Что Бог есть — об этом-то я знаю, об этом говорят серные ванны; говорят о каком-то мистическом узле в мире, где все связуемо и который — «всяческая и во всем»⁵. Что есть, наконец, религия — об этом опять говорят вздохи сердца, вздымания грудной клетки в ночной тиши. Но далее, но подробнее?

...Боже, — могила и вере страшна.

Странно, я полюбил здесь докторов — этих материалистов, этих скептиков. Правда, именно здесь я встретил в них много человечности. «Пусть эта благодать — не из алтаря, а все же благодать», — подумал я здесь не однажды. В докторях мне нравилась всегда ясность их профессии; учитель, писатель, оратор, трибун — если он тонок и умен — сколько имеет причин сомневаться, так сказать, в самых фундаментах своей деятельности. Но входит доктор в семью: сколько тревожных глаз устремлено на него — и вдруг почти это «талифа куми» — «и девица вста»⁶. Нет, когда-нибудь медицина станет священной наукою. В 60-е годы она пережила грубейшие афоризмы: «Мысль течет из мозга, как урина из почек» (Фохт)⁷. Что же, один дурак осени не делает! От Гиппократов, от Галена до Пастера, до Шарко — это тысячелетия внимания, тысячелетия забот, тысячелетия скорби около человека, за человека! Нет, когда-нибудь потомки Фохта потребуют себе мантий, и человечество даст им мантии!

Среди поразительнейших зрелищ бессилия медицины, здесь я стал и захотел верить в безграничный ее прогресс. Сказать ли всю правду: я поверил в искания «философского камня» и «жизненного эликсира». Ведь он так нужен, а что нужно — то будет. Притом эти серные ванны, эти таинственные Эссентуки... Почему дугу, хорду, «отрезок» не продолжить мысленно, т.е. почему они в самом деле не продолжают, где-

нибудь под землей и над землей, в полный круг? Если есть какое-нибудь лекарство, то существует всякое; если вообще есть, возможно и случается излечение, то, значит, есть всякое излечение. Я не могу себе представить, чтобы что-нибудь, начинаясь, не кончилось. Это был бы абсурд мира и разума. Начинается: кой-кто и кой от чего, под влиянием каких-нибудь лекарств — оправился; значит, должно кончиться и некогда всех примет в себя святая Силоамская купель⁸. «Талифа куми» — «девица вста».

Болезнь есть начало смерти — и смерть существует; но и исцеление есть начало жизни — и, значит, жизнь существует не как миг, не как 10%, но как 100%, как вечность. Всякая дуга имеет для себя полный круг — это-то и есть идея «жизненного эликсира», философского камня. Хина, дерево Южной Америки, действует на лихорадку; маленькая трава *digitalis** волшебным образом влияет на сердце. Вот начало жизненного эликсира и песчинка, отколовшаяся от «философского камня». Непременно все ужасы человеческого страдания имеют для себя ненайденную травку, не открытый *digitalis*. Рак растет, и нет «травки», которая бы ему легла «поперек дорожки», но я не без причины заговорил о мантиях для докторов: если что-нибудь найдено, все будет найдено. Нет дуги — без круга...

Полнота уже теперь действующих медикаментов суть градусы круга, их всех — 360, найдено только 311, может быть, даже только 111. Один Пастер какие бездны нового знания и новых средств открыл. А солнце — утилизированы ли его силы? Посмотрите, как расцвечен хребет кошки, спина мотылька, а нижняя их сторона сера, бесцветна, безвидна. Солнце — творит; оно имеет в себе никогда не дававшийся медикам секрет жизненного синтеза, органического созидания. Известно, что медики и вообще «наука» многие органические вещества «разложила», но ни одного (кроме немногих, в сущности обманчивых, исключений) не сумела и до сих пор не умеет «сложить». Солнце есть именно животнослагающая сила, и не неправдоподобно, что в нем есть огромный запас лечащих сил, но только «сундучок еще не открыт» — нет какой-то и, может быть, пустой

*наперстянка (лат.).

догадки о том, как раскрыть и овладеть его сокровищами. Это что-нибудь степени света, комбинации лучей, что-нибудь за «ультрафиолетовыми лучами». Я только одно испытывал — и все это знают, что в комнате при температуре 18 градусов является тошнота и головокружение, но солнечный жар даже до 22, даже до 27 градусов выносятся легко. Природа теплоты солнечной, так сказать, — не термическая только, но жизненно-термическая. Ищите — в солнце...

Но, Боже, — могила и вере страшна.

Я стал верить в солнце, любить людей, я поверил в нескончаемость науки. Но странно — специфически религиозная вера во мне стала, остановилась в каком-то недоумении. Главное — очень трудно жить; очень трудны страдания; есть и «не согрешившие, и отец их не согрешил»...

Боже, — могила и вере страшна...

Вы видите человека «согрешившего» и который выходит из серных ванн, как бы из Силоамской купели; но вы видите другого человека, которого весь «грех» заключался только в любви, — вы видите «милостивого самарянина»⁹, который наклонился над «пораненным», «перевязал ему язвы» — и вот гниет в этих же язвах! За что, за чей же грех, «свой» или «родителей»? И кто же над ним «сделает брение»?

Пусть это единичный случай, т.е. редкие*, но они же есть, их не исключишь из природы, а не исключив — как начертаешь для себя ее образ, ее именно мистический лик? Великое бессилие ума, великое сиротство человечества...

У Иова было семь сыновей, но когда умерли они — он имел еще четырнадцать¹¹. Он утешен; но — сыновья? Вопрос остается без ответа. «Смерть, где твое жало?» — сказал пророк, повторил апостол¹². Но оно —

*Редкие ли? Без исключения все дети в беспорочный возраст 8—11 месяцев «проводятся чрез огонь» зубного страдания, непереносимого, иногда даже до смерти («родимчик»). «Кто согрешил?» — Но «все» болят, и многим «несть исцеления», «не бысть славы»... Тут, т.е. если принять во внимание, что даже «волос не падает с головы без воли»¹⁰, — срезаются в сущности все катехизические вопросы и ответы.

во мне, «аз умираю». Религия учит меня мужественно умереть; тому же учили стоики, и так же говорят «о бессмертии души», о «погружении в Бога»¹³. Разве же религия сливается со стоицизмом? Без плюса, без живейшего и реальнейшего перед этой человеческой и бессильной философией?

И между тем — сердце вздымается в тиши ночной; есть молитва, и, значит, есть религия. Я не о ней говорю; я говорю о «словах, словах, словах», которые построены на тончайшем благородстве сердца человеческого, которое и скорбя — не ропщет, и безнадежное — еще утешается; сирота — и сиротливо, переворачиваясь с одного болящего бока на другой, болящий же, что-то шепчет и в тиши ночной обращает глаза к образу, к зажженной лампаде...

«— Вы ропщете?..

— Нет, Бог не велел роптать...»

И приходит некоторый день, он умирает. Я вспоминаю мотив «Травиаты»: он всемирно известен. Можно ли представить себе, что творец этого мотива — бедный силами человек, — обладай он уже найденным «философским камнем», не бросился бы к постели умирающей и в миг, когда возможна для нее жизнь, воссияла для нее правда, не продлил бы эту жизнь на год, на пять лет, на бесконечность.

Бедные мы люди, что мы понимаем в религии? Если человек так благ, что бросился бы, что продлил бы, что раздвинул бы в бесконечность восторг последнего утешения, то...

То «философский камень» не найден и смерть «не» побеждена, как утверждают «слова, слова, слова». Она владычественна не только здесь и сейчас, но владычественна как какая-то правда, как какой-то абсолют же наравне с абсолютom жизни. Но тогда существенно неправильны наши унитарные религиозные представления: мир раздвояется, поляризуется:

Се, жених грядет в полунощи...¹⁴

Вытекают два лица: полу-нощное, полу-денное; несущее смерть, несущее жизнь — не как силы только, но как две абсолютные правды. Значит, не только есть страдание и нас постигает смерть: есть, значит, правда

смерти и страдания, т.е. красота умирания, красота болезни. Тургенев, в «Живых мощах», пожалуй, уловил эту правду.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю...¹⁵ —

написал Пушкин в каком-то безмерном любовании; но другой поэт, правда меньших сил, опять с бесконечным любованием остановился на старости:

Лысый, с белой бородою,
Дедушка сидит.
Чашка с хлебом и водою
Перед ним стоит...

.....
Где ты черпал эту силу.
Бедный...¹⁶

и т.д. Человек постигает красоту одного и красоту другого. Но потому это, что он сам есть синтез и одной красоты, и другой красоты: он родился — вот первая красота в нем; но он еще умрет — и это тоже есть в нем. Святое рождение, святое «успление»; и если они слиты в человеке, тем паче они могут быть слиты в Боге. Тогда полярность мира снова сливается в экваториальное единство, остается лишь Лицо Божие, без противно-«грядущего» Ему «полунощного жениха». Но то ли это Лицо, «победившее смерть», которое мы исповедуем? Нет и нет — смерть от Него же, и даже она есть Его дыхание, как есть Его же дыхание — жизнь и рождение. Правда, ведь сказано в Апокалипсисе: «Аз есмь Альфа и Омега, первый и последний»¹⁷. Но тогда при чем идея «смерти», как «наказания» «за грех»? Смерть есть дыхание живого синтетического лица — она есть правда, она есть святость, по крайней мере в том смысле, что божественна как жизнь; тогда и ее дробь — болезни — святы же. Но тогда мы получаем мистический узел вселенной в сплетении горгон и света; и тогда опять, значит, не верны, совершенно не верны все построения наших «слов, слов и слов». Мы исполняемся религиозного страха; страх получает место в мире — как закон, и притом не греха вовсе, но и чистейшей святости. Трепет пронизывает человека — не потому, что «он погрешил или его родители», но потому, что самое Лицо, к которому он шепчет молитвы

ночью, есть неисповедимое Лицо, равно исполненное ужасов и света, бурь и «тихого ветра»¹⁸. Но это — совсем не то, чему нас научили в школе...

Бедный я человек: и сирота в фактах, и убог мыслью...

Тут, пожалуй, есть и граница для «жизненного эликсира»; и медикам, вместо мантий, как бы не облечься в эпитрахили и қамилавки¹⁹; но опять — тут все ново, и существенно нова должна стать молитва: робка, исполнена ужаса, смятения и самых трепетных надежд.

«Первый и последний, Альфа и Омега». Правда, Христос и совместил Голгофу и Вифлеем. Он был «рожден» и потом еще «умер». Но это вовсе не по тем мотивам и не по тем основаниям, о коих учат «слова», но для раскрытия человеку одинаковой истины, небесности и Вифлеема, и Голгофы. Все-таки — бедный я человек. А я-то хотел и надеялся бессмертия! Тогда понятно, пожалуй, каким образом даже в музыке, например, смерть, как в арии Травиаты, исполнена правда надрывающих душу мотивов, исторгающих из глаз слезы, и, — однако, именно прекрасных, именно возвышенных. Прекрасно жить, прекрасно умереть. Но тут... но, значит, стоики не были уже так только «философы» — у них была настоящая и истинная религия, зачаток какой-то религии; и, с другой стороны, страшная Бовани индусов, под колеса коей бросаются изуверы — тоже несет какую-то правду, какое-то предчувствие правды. Тогда объясняются не только «Живые мощи» Тургенева, т.е. что пришла же фантазия человеку такое и написать*, но и наши закопавшиеся в землю раскольники²⁰ тоже получают какой-то смысл.

*Важен инстинкт написания, возведение страдания в культ, к святости («мощи»), к религии. Нельзя не обратить внимания, что все главные и множество мелких сочинений Тургенева — вся амплитуда его писательской деятельности — носит отдаленно как бы предчувствие, как бы страх тяжелой, продолжительной и мучительной его кончины. Земная любовь — вечно расстраивается; из земных дел ничего не выходит («Дым», «Новь»); самый опозитизированный тип — Лиза Калитина, с бессмертным ее выражением о жизни как предуготовлении в смерть. По этому мало замеченному в нем характеру он есть типично христианский и именно русско-христианский писатель. Все типично «рождающие» произведения Достоевского, «во славу рождения» («карамазовщина»), носят совсем обратное направление и составляют как бы предчувствие его замечательно светлой, бесстрадальной, краткотечной смерти. Умер — как отрезал.

С ЮГА

I

Русскому публицисту, верно, успокоение только в могиле. Самые мирные сцены навевают ему мятежные мысли, и самая ласкающая природа не разгонит умственных облаков. С зачатками язв он родился; с раскрытыми язвами — сойдет в землю.

Черненькие и белые головки детей, оригинально перепутывающиеся в Кисловодском парке, навели меня на мысли о современной национальной перепутанности; и странно, их игры завели в лабиринт далеких политических соображений. Дети — всякие и везде прекрасны; они везде — слиты. Вот два черненьких армяненка, года по четыре каждому, ведут трехлетнюю блондинку. Сколько бережливости, чтобы, переступая через дождевую канавку, она не запнулась. С другой стороны, около армянских детей — везде русские няни, здорового и доброго московского типа. Я совершенно не видел около армян-детей армянок-нянек. Верно, как в древности Спарта для всей Греции давала лучших кормилиц, — русский благодушный тип, на оценку всяческих народностей, дает лучшего пестуна для первых бессознательных и полусознательных лет человека. И вот, глядя на мирную смешанность детей всяких родов и племен, я вспомнил: «Сих есть Царство Небесное»¹ — и задумался о неустроенных земных царствах.

Есть «обрусение» и «обрусение»... Политика того «обрусения», программу коего впервые формулировали «Московские Ведомости»², в сущности есть политика национального обезличения, денационализации племен, а не универсального национального синтеза. Оглянемся назад. Русь в киевский период своей истории совершила великие культурные и религиозные завоевания, почти не имея, по крайней мере не форму-

лировав, «программы завоевания»; московские «великие сидельцы», от Калиты до «тишайшего» Алексея Михайловича, совершили не меньшие завоевания политические, и также без заметного национального обострения. Но Польша, которая всегда была полна национальной и религиозною обостренностью, так и раскололась и пала, не успев стёсать и притупить режущих друг друга внутренних ножей. Успехи Москвы и Киева, национальные и религиозные, были так медлительны, постепенны и «беспрограммны», что историки ищут и почти не находят документов о ступенях, по которым совершилось (в этом направлении) восхождение русской силы. «Бедна русская история», «никаких ярких событий нет»: но вот, посмотрите, на конце этой великой тысячелетней тишины факт самого огромного, самого колоссального, истинно тысячелетнего значения — не государство, но почти мир стран и народов, между тремя океанами и почти достигающий четвертого; первая мировая мощь; не сегодня завтра — центр всемирных к ней тяготений, центр разыгрывающихся всемирных событий.

Для этого мира стран и народов, который именуется Россиею, — не бедна ли мыслью, не узка ли значением, не опасна ли и этою бедностью и теснотою духа программа «Моск. Ведомост.», как она была формулирована покойным Катковым и поддерживается без изменения до сих пор? Я осторожно спрашиваю; я готов отречься от сомнений, если мне будет сказано твердое и доказательное «да». Филологические ошибки бывают часто источником ошибок политических. Мы говорим «обрусение»; но «обрусять», т.е. сливать с собою до неразлучности, умели Киев и Москва, и решительно этого не умеет Петербург. Помилуйте, чухна в Парголове, т.е. дачном месте петербуржцев, и 200 лет спустя после «перенесения столицы» к нему в соседство сохраняется тип финна (лицо, язык, быт), не приняв ни единой в себя ниточки из «русского лица». Ведь это все равно как если бы на Воробьевых горах или в Останкине, около Москвы, уцелел до Грозного тюркский тип. Мало того: Парголово отвоевало и отвоевывает посейчас частицы Петербурга: кто в нем не встречал чистокровно русских извозчиков, бойко и, главное, весело, радушно перекидывающихся с чухна-

ми на их диалекте. Вы с удивлением спрашиваете о метаморфозе и узнаете, что это — детище Воспитательного петербургского дома, выросшее в чухонской избе и не порывающее, не хотящее порвать с нею связи. «Заместо отца и матери были».

Фактов нельзя и не нужно от себя скрывать; и факт в том, что не Петербург от чухны отрывает детей, а скорей чухна от Петербурга. Но распространите наблюдение, и вы увидите, что Петербург — вероятно, по безличности своей — вообще не имеет в себе ассимилирующих, сливающих, уподобляющих сил. Он может покорить; он совершает глоток; но проглоченное становится в его желудке «долотом», от коего «болит нутро» России. И эту боль от непереваренных проглоченных кусков мы называем нашими «окраинными вопросами». «Обрусить»... когда бы мы были сильны к этому! Но это филологическая ошибка; бедные русским сознанием, русским чувством, «безличные» в себе, мы только пытаемся снять лицо индивидуальности с других и это зовем «обрусительною политикою».

В ней — как и решительно во всех программах покойного Каткова (удивительно неоригинальный, неизобретательный был ум) — мы в сущности ужасно неоригинальны. Программа этой политики есть в сущности программа покойной Речи Посполитой, которая удалась в Литве и не удалась в Малороссии; программа, которая сейчас удалась Пруссии и не удалась в XVIII—XIX веках Австрии. Во всяком случае, это не программа Киевской Руси, Московской Руси; даже это не программа мировладычного Рима. Рим овладел миром (между прочим — и в языке овладел), никогда не вмешиваясь в язык и нравы Транс-Альпийской и Цис-Альпийской Галлии, — везде проводя дороги, устраиваясь с соседями на началах договора и вбирая этих соседей-«союзников» («sociés») в себя, незаметно, постепенно, силою именно пищеварения своего, но не механизмом глотка. Как ни удивительна параллель, она верна: Киев, Москва и Рим росли по одному закону; Петербург, Варшава, Вена, Берлин — по другому, гораздо более узкому и, мы думаем, менее удачливому, более рискованному.

Все начали наблюдать, что внутреннее ядро России гибнет, худает, а окраины — воскресают; и это со вре-

мени и под вероятным влиянием именно «окраинной политики». Вглядимся в механизм и средства «обрусения», и мы кой-что поймем в этом явлении. Мы на окраины высылаем орлов, ввиду «трудных и тонких там политических задач», а у себя внутри довольствуемся «генералами поплоче». Имена Воронцова, Барятинского, Ермолова, Гурко, Кауфмана, Черняева суть имена общей русской славы: это — люди всероссийского таланта и значения, которые посланы были приложить вечно деятельный ум и несокрушимую энергию на окраины. Между тем в Калуге, Рязани, Костроме, где «никаких политических задач нет», мы оставили только, так сказать, «гарнизонную» администрацию, инвалидов ума и воли. Ведь это так было, этого никто не оспорит; и посмотрите на результат этой тончайше задуманной политики. Человек везде есть человек, т.е. первое и главное, «царь вещей»; дадите вы человека городу или местности — и вы дадите ему все; наделите тот же город всяческими учреждениями и отнимите у него человека — и вы дадите ему слова без исполнения, обманчивую и даже лгущую надежду. Уж лучше бы отчаяние. Даровитый человек, данный окраине, и сделал то, что он везде бы сделал, куда вы его ни поставьте: он «вверенный ему край» привел в цветущее состояние; худой человек, т.е. бездарный, бесцветный, опять сделал то, что он везде бы сделал: он «захудил», сделал «дрянцом» «вверенный край». Ведь и до сих пор это же на глазах у всех: деятельнейший и даровитейший попечитель учебного округа — на Кавказе³; выдающиеся по дарованиям попечители были в Привислинском крае. Что же они сделали? Вы думаете, т.е., по-видимому, казалось всем, что они «обрусивали» армян, грузин и латышей? Конечно, ничего подобного: они делали единственно то, что единственно может сделать даровитый человек с специально отведенною ему сферою: привели ее в цветущее состояние, т.е. они увеличили число школ, дали им лучший контингент учителей, смягчили везде недостатки «уставов» и, при данных условиях, дали ученикам возможно наилучшее обучение. Они создали, конечно нима-ло о том не думая, ряд духовных «возрождений», в то время как около Москвы, Казани, Харькова, Киева — дедины русской земли — все зарастало понемногу

бурьяном: в данном случае, напр., ученики не учились, школы — закрывались (в Брянске, Касимове, Ефремове, Белеве)⁴. Примените сказанное о школе к пяти-шести еще ведомствам, и вы получите картину почти неисцелимой, трудноисцелимой раны: покривленность набок Центральной России и гордо приподнятые кверху головы окраин.

Так идет кругооборот политики, совершенно не по тому руслу, как думали несколько недальновидные «Моск. Вед.» 60-х и 70-х годов. Но оставим сумрачные тенета политики и дадим места несколько — мечте. Играющие на Кавказе дети не создали, но оживили во мне одну давнишнюю политическую мечту, которую почему бы и не обсудить читателю, пусть мимолетно и как мимолетное впечатление. Всюду мы видим, за XIX век, политических «воскрешающих[ся] Лазарей»; три дня был в гробу и уже «смердел», но пробил час, и, повитый пеленами по рукам и ногам, он появляется из входа могильной пещеры, одними приветствуемый, другими прокливаемый⁵. Латыши, финны, поляки, армяне, русины, чехи, раньше греки, сербы и болгары — все встали или сейчас стоят на пороге какого-то бытия ли, небытия ли, никто пока не знает; но они мучительно все не хотят идти обратно в гроб и требуют себе места среди живых, которого живые им не хотят или смущаются дать. Вот положение; оно — факт; различим в этом факте истинное, различим в нем ложное; возможное и должное.

Есть существование политическое, есть существование нравственное, которое, разветвляясь, имеет вид быта, характера, языка, веры («обличье»). Польша существовала политически, и политически она сама разрушилась. Лишь политический щебень ее взяли себе соседи, и взяли просто как неудобную в соседстве руину: один попользовался стропилами, другой — забрал кирпич, третий — воспользовался бревнами. Но все это взято было именно во внутренней несвязанности, как только этнографический материал, без сил и средств самостроения и самосуществования (политического). Вот русская половина польской истины, за коею начинается, однако, истина краковяков, мазуров, познанцев. Никогда и ни в каком договоре не было написано, подписано и скреплено, что эти Стаси и Зоси

должны стать Лизами и Иванами: здесь начинается истина быта, языка, веры («обличье»), которые никогда и ни в каком договоре не уступались, не разрушались среди политического разрушения и отстаивая которые поляки чувствуют, что они отстаивают «свое», некоторый остаток «есть» в себе, некоторое свое «право». Я не из любителей поляков; их характер — мне совершенно чужд, даже антипатичен: просто — я не умею нравственно понять их, как, верно, они никогда нравственно меня не поняли бы. Во мне говорит только логика, ясное чтение того, что написано в договорах, и совершенно отчетливое сознание, что не можем же мы вписывать в договоры, чего там нет: что тут начинается плагиат, подделка документов, но не правдивая история и не здравая политика.

Я упомянул о Польше; это, конечно, наиболее трудный уголок нашего политического бытия, всего большее режущее «долото» в нашем желудке. Но их несколько, и это уже создает трудность, которая может перейти в опасность. Без всяких подсказываний эти окраины соединяются или завтра же соединятся сочувствием; представители трех-четырех «возрождений», разбросанные внутри России, внутри России служащие и работающие и соединенные общим чувством, по крайней мере индифферентизма к России, — уже образуют в ней великий минус. Около «плохеньких генералов», оставленных у нас «дома» «для обихода», этот минус возрастает до огромного значения и силы. Доля коренного русского «захудания» должна быть отнесена, как к причине, к этой политике: «русских — на окраину», «окраинцев — внутрь», которую — опять неоригинально, но по примеру Виктора Эммануила — мы практикуем у себя. Уничтожить эту общую трудность и возможную опасность следует и можно ясным разграничением тонко переплетенных здесь истины и лжи.

Все ложно в политической стороне имеющихся у нас пяти-шести окраинных «возрождений»; и совершенно истинно все в этих «возрождениях» бытовое, своеобычное, своеверное. И не только истинно: все должно быть для нас радостно. Вспомним Шевченку: он «плоть от плоти нашей», — и чем и как поправить ту огромную, ту неисцелимую политическую язву, которую мы нанесли себе, причинив некоторые биогра-

фические неудобства этому русскому из русских, на коего вздумали посмотреть воистину австрийским взглядом? Это — язва, потому что это пятно на светлой русской душе. Ведь мы же повторяем и заставляем детей учить в школе слова Невского, двинувшегося на шведов: «Не в силе Бог, а в правде»⁶. Так разве сейчас, в 1898 году, это не такая же истина, как и в XIII веке? Россия не на день должна быть крепка, а на века и даже — подавай Бог — на тысячелетия. Сейчас можно успеть силою и вероломством; но века жить, но тысячелетия стоять можно только правдою. Шевченку за его милые думы на хохлацком говоре следовало наградить, дать ренту, освободить от крепостной зависимости. И в венок света, сияющего над Россией, вплелся бы еще луч, вплелся бы к пущей ее именно политической крепости. Но то, что мы говорим, стоит вне всяких политических целей. Оно так хорошо, что как-то не хочется вплетать сюда политику. «Само приложится»⁷. Лучшие политические победы — именно не программные.

Сущность национальных у нас «возрождений», имея истину в моральной своей стороне, ложна в политической. Весьма правдоподобно, что родник «политиканщины» у нас на окраинах лежит опять в неумелости нашего «обрусенья». Мы наступаем на нравы, на язык, иногда и хоть чуть-чуть — на веру: нам отвечают «политикой». Мы узурпируем, на что не вправе; и у нас узурпируют то, на что, в свою очередь, нет у них права. Дело все в том, что мы пытаемся «обезличить», думая, что это-то и значит «обрусить». Взглянем опять на одну частность обрусяющего механизма: из наших школ выходит на 100 учеников 99 «общечеловеков»⁸, «ни Господу — свечка, ни черту — кочерга», и один «с русскою душой», с верой отцов, с центральным тяготением к Москве, Калуге, Рязани. Итак, мы не умеем в русском сохранить русского; и вот через тот же механизм, без малейшего варианта в его устройстве, мы хотим из варшавянина, из эриванца сделать... москвича? туляка? Конечно — нет и нет: мы делаем тоже «общечеловека», «ни — свечку, ни — кочергу». В Соединенных Штатах этот «общечеловек» занимался бы промышленностью и торговлей: там $\frac{10}{10}$ человека ушло на это и нет в строго определенном смыс-

де ни истории, ни религии (национальной); ни политики, как нет и самостоятельно и оригинально развивающейся литературы, философии и науки. Но на европейской почве всякий «общечеловек» становится немножко литератором (на практике или в душе); немножко проповедником и немножко политиком. Всякий человек, о коем мы думали, что его «обрусли», проведя через Ходобая и глаголы на «ци», в силу указанных литературных, проповеднических и политических инстинктов становится деятелем местного национального «возрождения»: оно дает ему тему, оформливает его речь и мысль. Ведь ни одно, решительно ни одно из пяти-шести наших «возрождений» не идет из населения, от сел и деревень: это — городское явление, и даже частнее — школьное, литературно-ученое.

У нас более половины населения не великороссы. Россия есть именно не государство, но мир стран, народов, языков, религий. Задачи ее существования и истории — не Варшавы, не Вены, не Берлина: и сапоги, в которых прошли эти чиновнические державства свои короткие пути, износятся, да уже и износились, едва мы ступили в них несколько шагов. Россия — другая, и все в ней и у нее — другое. И вот, в пределах уже существующей у нас национальной переплетенности, мне хочется не развить, но дать один только намек на возможность иной политики, мысль коей, очень давняя, как-то конкретно шевельнулась у меня при зрелище играющих детей в Кисловодском парке.

Дети не только щадят «национальную исключительность»: они ее культивируют, ее требуют, ее хотят. Вот странное до дикости отношение, при котором вдруг эта исключительность теряет «нож в себе», тупеет, стесывается; вы около нее вращаетесь и не только не обливаетесь кровью, но испытываете какое-то ласкающее, бархатистое впечатление. Все, что по закону ненависти и на почве обезличения не только не удалось до сих пор, но и, очевидно, никогда не удастся, — все это по закону любви и на почве культуры нравственно-народного лица разрешается само собою. Я говорю, что дети-армяне с великой бережливостью ведут русскую девочку; а русская няня, на

вопрос о способностях армянского двулетка, отвечает: «Преспособный!» И вот обеих наций и нет в одно и то же время, и есть они — т.е. они есть, только не режутся острыми краями. Края стесаны; остались закругленными сердцевинки, которым не больно лежать друг около друга. Право же, можно наблюдать и не ошибаться: сколько здесь, на Кавказе, я видел туземного привет в ответ на мину же привет, с которой обращаются к человеку, и совершенно очевидно не деланного, не притворного. Просто человек лучше, чем кажется; и он политически лучше, как только на минуту сам перестаешь быть «с политикой».

Русское ядро на всех краях обложилось небольшими, но своеобразными странами ли, культурами ли, но, во всяком случае, своеобразием в языке, нравах, вере. Могут они стать тучами на горизонте, а могут стать и светлыми зарницами. Почему не стать России на вселенскую почву, не помечтать, как некогда она мечтала в Москве, о «третьем Риме» в себе, т.е. о третьей во времени, а сейчас первой и единственной правде? Удивительно узки петербургские идеалы перед идеалами московских «сидней». Мы шумим, бегаем; те, по-видимому, дремали, но в их дремоте расцветали какие великолепные сны! Они, эти маленькие и бессильные народцы, «возрождаются» — Лазари перед выходом из пещер; что же, растеряться ли нам перед этим зрелищем «по австрийскому» подобию или, по примеру Христа, не повторить ли сомневающимся Марфам: «Не скорби, сестра, брат твой не умер, он только спит»? — И неужели, неужели умерло благородство в человеческих сердцах (тогда для чего и «политика»?) и неужели воскресающие у нас Лазари не дадут нам еще героев, как Багратион, Барклай, как черноморский Лазарев? И какое множество множеств еще имен, на коих практически совершилось прекраснейшее из возможных «слияний центра с окраинами»!

Я знаю, что мысли мои вызовут много протестов; что же, ведь я даю не программу, а почти мечту. «Не раскололась бы Россия», — говорят ее фактические и недалекие раскалыватели; я же к политическому цементу прибавлю и моральный: «Послужиши всем — да и тебе послужат».

II

Представления в сезонном Кисловодском театре открылись комедией «Горе от ума». Имя Грибоедова связано по трагической кончине с Кавказом, и, может быть, поэтому его комедия открывает собою театр. Первые июльские дни здесь был холод и дождь: на Бермамуте, в 40 верстах от курорта, выпал глубокий снег и испортил неделю, полторы недели для всей окрестности. От нечего делать я пошел в театр; играли, однако, необыкновенно дурно; оставалось, почти зажимая глаза на игру, следить за текстом знаменитого литературного произведения и еще раз невольно переоценивать его.

Бессмертность комедии «Горе от ума» основана на множестве необыкновенно удачно обдуманых мыслей, удачно подумавшихся и удачно сказавшихся. Нет ни одного еще произведения в русской литературе, строки коего до такой степени запомнились бы и так часто повторялись бы в обиходной речи, т.е. ни в одном произведении нет стольких формул непревзойденной краткости, ясности и точности для характеристики многообразных житейских положений, отношений, или для выражения иронии, негодования, или, наконец, для обрисовки глупости, грубости, низости. Комедия каждому нужна, потому что она каждому дает неисчерпаемый почти запас прекрасных мыслей и слов в обиходе действительности; дает слово бессловесному и ум ограниченному, при самой легкой степени литературного образования и вкуса. Достаточно не смешать себя со Скалозубом или понять низость Молчалина, чтобы иметь возможность в тысяче случаев показаться Чацким или родственным Чацкому. И все это — без подделки и усилия, само собою; так велико и естественно во всяком очаровании необыкновенным литературным произведением. Можно сказать: с появлением этой комедии, которая еще в рукописи, как известно, разошлась и выучилась всею читающею Россией, Россия и весело и свободно вошла в некоторый лучший, чистейший эмпирей понятий и вкусов, заговорила новым языком и на новые темы о новых предметах. «Грамотное», «обучающее» значение этой комедии — необыкновенно; ни одну школу Россия не проходила так охотно; ни одна шко-

ла не наводила на своих питомцев столько политуры и глянца; ни одна не была так непререкаема, так трудна для оспаривания. В чудной этой комедии как бы уже дан отпор на всякую попытку ее критики: неуязвимая острота, в ней именно написанная, соскальзывает с губ всякого вашего слушателя, перед которым вы вздумали бы отрицать или оспаривать истину нескольких тысяч афоризмов, из которых она составлена. Нет произведения — и быть не может ни в одной нашей литературе — более счастливого и сыгравшего более счастливую роль.

Чувство счастья вообще разлито в пьесе; если от отдельных афоризмов, ее составляющих, мы перейдем к ее тону — мы почувствуем, что это есть победный существенно, побеждающий тон. Маленькая неудача в кратком романе Чацкого есть только необходимейшее условие его нравственной над слушателями или читателями победы; ореол страдальчества необходим герою, и в данном случае он дан главному лицу в той легкой дымке почти только неудовольствия, которое разрешается заключительным криком:

Карету мне, карету...¹⁰

Самое страдание его — быть объявленным сумасшедшим от глупцов, сумасшедшим за явное превосходство ума, — конечно, есть тот вид страдания, который показался бы лакомою участью почти каждому из смертных. Можно сказать:

Карету мне, карету —

и есть олимпийский венок, который автор надел на голову первому бегуну великого умственного ристалища. Позади его, уехавшего в венке

...искать,
Где оскорбленному есть чувству уголок¹¹, —

остаются совершенно глупые, «побитые» «чемпионом» лица Фамусова, Софьи и Молчалина. Говоря о победном тоне комедии, мы, однако, разумеем не речи Чацкого: мы разумеем самый замысел комедии и то чувство, которое принадлежит не лицам произведения, но самому автору. Грибоедов не пережил ни одной из тех

глубоких практических коллизий, которые пришлось пережить Пушкину, Лермонтову, Достоевскому, Толстому, Гоголю; ни коллизии расхождения между равно близкими родными (Лермонтов), ни — исполненного какого-то недоумения положения среди общества и в «рангах» государства (Пушкин), ни — расхождения между страданием и любовью к тому, от кого или от чего страдание (Достоевский), ни — расхождения между своим громадным умом и не пройденною или плохо пройденною, отвергаемою школою (Толстой); не говоря о более тайных и более глубоких нравственных мучениях. Поэтому критика, с которой выступил Грибоедов и которая, как известно, составляет содержание «Горя от ума», существенным образом есть критика счастливого, радующегося человека.

Грибоедов имел радость в своей молодости, в здоровье, в, по-видимому, прекрасной и любящей жене, в счастливо слагавшейся службе, в сознании высокого и прекрасного своего таланта. Он так был беззастенчиво счастлив, т.е. ему даже не приходила на ум возможность или необходимость скрыть это, что он просто и спокойно, несколько наивно, выразил это в самом заглавии пьесы. Как счастлив был бы кто-нибудь, если б ему выпало на каком-нибудь — пусть очень «умном» — своем произведении прямо надписать: «Произведение умного человека», как почти надписал Грибоедов, слив, очевидно, лицо свое — с Чацким и объявив, что этот последний несет «горе», даже до страдания —

...карету мне, карету, —

не по какой иной причине, как от чрезвычайного излишества у него «ума». Этим объясняется осторожное замечание Пушкина, выраженное сейчас после чтения комедии: «Грибоедов, конечно, умен, но не умен — Чацкий»¹², и то вообще, что тысячи его критиков чувствовали себя вынужденными высказаться прежде всего об «уме» комедии, как бы сказать «да» или робкое «нет» в ответ на ярко выставленное «да» в заголовке, в тоне, в манере счастливого произведения.

Этих критиков было гораздо более, чем их вообще видно. Произведение так знаменито, что молча или

вслух почти каждый русский писатель переживает пору мысленной его критики. Там, в самом конце комедии, есть слова одной из московских старух о приобретенной ею «арапке»:

Да как черна, да как страшна...¹³ —

знающий комедию найдет без труда эту строку. В «Войне и Мире», которая имеет темой обзор и критику именно критикуемой и Грибоедовым эпохи, есть фраза, среди размышлений о Москве и глубочайших родниках нашей победы над Наполеоном: «Вот именно такая-то (имя и отчество), которая, забирая своих арапок, дур и шутих, выезжала из Москвы с смутным сознанием, что она — Бонапарту не слуга, — тысячи таких лиц и так чувствовавших и создали необходимость для Наполеона понять, что с занятием пустой столицы война не кончилась, что борьба и вообще не имеет ни определенного предмета, ни определенных границ; и понудил его, тоже в каком-то недоумении, выйти злобно и не понимая, что и для чего он делает, из Москвы — назад»¹⁴. Так многодумно, после годов внимательнейшего изучения документов и размышлений, решил о той же самой эпохе и даже о тех самых лицах, о коих с Фамусовым мы можем повторить:

Ба! Знакомые всё лица...¹⁵ —

решил более поздний и не так счастливо себя чувствовавший писатель. Резюмируя причину того, что ему пришлось спасовать в «любви» перед Молчалиным, Чацкий заключает монолог словами, что-де — впрочем —

...чтоб иметь детей,
Кому ума не доставало...¹⁶ —

и именно этим двустижием, почти сводя свою статью к его критике, Достоевский начинает в «Дневнике Писателя» знаменитую свою статью «Земля и дети», которую, если рассмотреть внимательно, можно счесть программой ко всей его литературной деятельности. Статья содержит рассмотрение положения Западной Европы — положения начинающегося там «вырожде-

ния» и сводит родники этого вырождения к разрыву человека «с землею», к разрыву человека «с детьми».

Кому ума не доставало... —

«а вот недостает же», — восклицает Достоевский и с величайшею глубиною и страстью настаивает на этом, казалось бы, элементарнейшем и в действительности очень глубоким и трудном «уменье». «Земля и дети» — в самом деле в формуле этой содержится самая удачная критика «ума» комедии, к которому мы и переходим.

Это есть «ум» какой-то обстановочный; ум, насколько он употребителен и нужен для обстановки нашего бытия, но не для самого бытия. Все великое «горе» Чацкого и автора есть в сущности самый счастливый вид горя: ибо оно происходит единственно от расхождения во вкусе и требовании — меблировать ли дом в стиле «рококо», Louis XVI или empire. Все содержание комедии вращается около фасонов; и даже отсюда, от этого предмета критики, исходит фасонность самой критики, ее резкие углы, тонкие и изящные словесные завитки, которые, собственно, и произвели великую общую ее запоминаемость, как и составили условие ее счастливой победы. Дальше «фасона» критика не простирается; дальше толкования — сменить один вид «стиля» другим, новейшим, автор не задается. От него нельзя провести соединительной линии к Лаврецкому, но очень можно — к Паншину, так удачно начавшему ухаживанье за «соломенной вдовой» первого¹⁷; огрубите Чацкого, несколько сузьте его ум, и, ни в чем не меняя его существенного колорита, вы получите тип так удачно нарисованного Тургеневым петербургского чиновника «из молодых и *réformé*». В «Войне и Мире» Алпатыч едет в Смоленск, штурмуемый и почти взятый французами, и, озираясь на хлебные поля, почти не замечает, где и среди какой «страждущей» обстановки он; Толстым посвящено несколько страниц на его (почти) «бормотанье» об урожае и прочем. Гениальные страницы, но их гениальность нельзя почувствовать, мысленно не придвинув их к «Горю от ума». Вот — противоположность, вот — расхождение; здесь опять «земля» — та «земля»,

которая победила Наполеона, прожила 1000 лет, сменив на себе много фасонов, и которую, как величайшую ценность, собирался «пахать» Лаврецкий. Сущность «ума» комедии Грибоедова заключается не только в безвнимательности к этой «земле», но и просто в непостижении в ней ничего, кроме того, что о нее «ушибся Молчалин», и тут уж, конечно, острота:

Контузился — затылком или в спину?¹⁸

Комедия движется на паркете, и ее беспримерно изящный словесный сгиб есть именно словесная кадиль, с чудным волшебством проходимая по навощенному полу и которая оборвется, не нужна, невозможна, как только вы уберете это условие паркета под нею. То есть «ум» комедии чрезвычайно условный — местный и частный; ум, о коем никак нельзя сказать, что в нем —

дистанция огромного размера¹⁹,

как это невольно хочется сказать об «уме» «Войны и Мира», т.е. ее автора, Достоевского, Тургенева, и даже об «уме» и «смётке» простого мужика Алпатыча. В «Горе от ума» выразился вкус, и, так сказать, вкус исключительно мебельного, фасонноделательного характера, своей минуты и своего места. Мужик Алпатыч живет полною жизнью; это — полный человек, полная фигура человека: напротив, в «Горе от ума» есть только чемпионы кажущегося «ума», бегущие до поставленной автором меты, причем почти все не добегают и за это осмеиваются автором, и успешно, даже раньше срока, достигает этой меты один. Таким образом, самое построение комедии чрезвычайно бедно, безжизненно и до некоторой степени, имея в виду именно любопытство зрителя или читателя, не «умно». Менует, или польский, который отплясывают (и на сцене довольно красиво) москвичи, вопреки укорам Чацкого, есть единственное в ней жизненное и, так сказать, физиологическое действие.

Вообще недостаток физиологии, жизнеоборота, «круговращения сил мирских» — поразителен в пьесе. Она не основана ни на какой страсти, ни на одной привязанности. Страсть Чацкого — исключительно го-

ловная, страсть к произнесению речей и, так сказать, к тысячному надписанию на фронте бытия своего: «Горе (мне) от ума»; но, например, его страсти к Софье мы должны поверить на слово, ибо в чем же и как она выразилась, кроме совершенно холодных ужимок во время ее обморока и гляденья в дверь, когда она выходит из гостиной? Вообще отсутствие темперамента, горячности сердца — у Чацкого или автора — поразительно: и тут проходит граница их обоих «ума». Подобного восклицания:

А ты, с которой был срисован
Татьяны милый идеал...
О, много, много рок отъял!²⁰ —

подобного этому, внезапно воскликнувшемуся у Пушкина восклицанию, нет в комедии ни одного. И вообще замечательно, что в ней нет совершенно ни одного слова и никакого штриха трогательного, милого или наивного; так что параллель с Паншиным, то, что сам автор так рано и молодо дослужился до

...степеней известных²¹, —

невольно приходит на ум и, бесспорно, свидетельствует об исключительно деловых, служебных качествах его «ума», без примеси даже чуточки поэзии, «песенки» или «сказочки» в складе его способностей. «Горе от ума» есть самое непоэтическое произведение в нашей литературе и какое вообще можно себе представить.

Есть или были попытки сблизить Грибоедова с декабристами, и, напр., монолог Чацкого о «французишке из Бордо», где он говорит о «прекрасной нашей до Петра одежде»²², — в самом деле соприкасается с мыслью и тоном «Исторических дум» Рылеева (см. изд. 1825 г.)²³. Тут даже можно предполагать заимствование, т.е. Грибоедовым от Рылеева. Но опять есть глубокая между декабристами и Грибоедовым разница — в темпераменте. Известно, что очень много было в обществе 1825 года людей, которые, будучи чуть-чуть не захвачены при аресте декабристов — так близко стояли они к ним, в действительности стали «разбирателями их дела». Грибоедова вполне

можно представить в их круге; что это были люди света и добра, т.е. что, говоря так о Грибоедове, — мы не говорим о нем ничего дурного, в этом свидетелями служат имена Блудова или, напр., Никитенко²⁴; тут проходит тонкое разграничение — именно в темпераменте. В самом конце «Войны и Мира» — в расхождении характеров Пьера Безухова и Николая Ростова, из коих очевидно, что один ринется «к памятнику Петра I», «около сената», а второй «упрямо и не рассуждая» станет «на сторону Аракчеева», — глубоко выражена правда обоих движений: субъективная правда группировки и «около Зимнего дворца», и «около монумента Петру»²⁵. Ростов, как нравственный образ, не ниже Безухова; Россия не стояла бы так твердо 1000 лет и не готовилась бы стоять еще 1000 лет и еще «паче тверже», если бы на стороне ее исторических устоев, ее фактической действительности не стояли люди безупречного сердца и великого умственного идеализма. В превосходной обрисовке Ник. Ростова — студента, улана, дворянина, мужа некрасивой и бесценно прекрасной Marie Болконской — показана эта историческая и бытовая наша правда; до этих глубин постижения Грибоедов никогда не додумывался (ошибочный тип Скалозуба), но и до безрассудных, т.е. гениальных в безрассудстве своем, фантазий Пьера — он не дорос. Ведь тот был сын екатерининского вельможи, который

...жил при дворе,
Да при каком дворе...²⁶ —

и просто у него не было крови, не было того шампанского в нервах, которое бросило бы его «к сенату», к «монументу Петра» 14-го декабря. Он резонировал бы, присматривался бы, — да ведь он и в самом деле и присматривался, и резонировал — «рисовал узоры пером» для будущей комедии, не поспешив ни туда, ни сюда.

В «Миллионе терзаний» Гончаров отметил неверность понимания Грибоедовым типа и характера Софьи: в самом деле, ее привязанность к Молчалину, молчащему идиоту, когда к ней привязан говорящий гений, Чацкий, принадлежит положительно к

бессмысленным чертам комедии, и замечательно, что она поставлена в центре, образует завязку и развязку пьесы. Гончаров тонко говорит, что Софья — в условиях времени своего и своего места — представляет новое, ценное и любопытное лицо: она вглядывается в обстановку, ее окружающую, всматривается в людей, она выбирает, а не повинуетя. В самом деле, если вспомнить каменную Елен Безухову в «Войне и Мире» — Софья скромное и прекрасное явление своего времени, которая, перебирая действительность, тянется к какому-то внутреннему в человеке свету; и, расширив и углубив ее образ, мы исторически можем дотянуться до Лизы Калитиной (в «Дворянском гнезде») или Веры (в «Обрыве») и вообще подобных положительных в нашей жизни и литературе типов. Но любящий тянет за собой и любимого: Грибоедов был слишком счастлив, и притом самоуверенно счастлив, чтобы — живи он на четверть века позднее — в скромном, например, и застенчивом Басистове, молча и благоговейно поклонившемся Рудину, ему не показался тоже Молчалин; и он мог бы, зная любовь того к словесным наукам, предложить ему снять копию, «для образца слога», с знаменитой своей комедии. Произошло бы великое *qui pro quo** между кажущимся и действительным умом.

Один Молчалин — мне не свой,
И то затем, что — деловой²⁷, —

и его любит скромная, застенчивая, затаенная в себе Софья. Вот две фундаментальные в типе черты, около которых все остальное — риторика и клевета. Так, о Сперанском, скромном преподавателе Владимирской семинарии, передавали тоже в 10-х и 20-х годах в Петербурге, что будто бы когда за ним приехала карета «взять его в Большой дом», то, по незнанию и «молчалинской скромности», он вскочил на ее запятки²⁸. Чувство смеха над Сперанским в петербургском обществе сливается с чувством смеха Грибоедова над Молчалиным, сливается до подробностей анекдота. Молчалин — даже стыдно его защищать, до того в

*недоразумение (лат.).

данном пункте силен Грибоедов, мощен талант его ошибки, принимая во внимание два прорвавшиеся у автора штриха, — есть тип начинающего невидного работника в государственном укладе, на место тех екатерининских, коим

на куртаге случалось оступиться²⁹.

Их ко двору не звали, во двор они не рвались, но скоро овладели всем государственным механизмом. Что-нибудь из семинаристов, упорное и тихое; третьестепенный Сперанский или третьестепенный из его помощников. Кстати, соединяющая черта: знаменитый государственный секретарь был сентиментален; он был женат на немке — случай сочетания нечастый у нас — и, рано потеряв жену, никогда не полюбил во второй раз, храня какой-то культ единственной в своей жизни любви. Ведь то была пора, т.е. Сперанского и Молчалина, когда и сочиняли, и пели —

стонет сизый голубочек, —

и как-то умели это соединить с воловьей государственной работой. Мы можем представить, что эту песню пел во Владимирской семинарии Сперанский; и, с другой стороны, мы можем дорисовать, что непонятно привязавший к себе Софью секретарь Фамусова, случись ему быть секретарем у государственного человека, мог бы написать доклад, и «слогу», и содержанию которого захотел бы подражать Грибоедов. Мы прикидываем все это примерно; говорим, что в пьесе есть какое-то недоумение в понимании своей эпохи, как на это можем указать, ссылаясь на критику ее в «Войне и Мире», и в понимании самых типов комедии, как на это указал Гончаров, и мы только несколько продолжаем и развиваем мысль последнего.

Исторически «Горе от ума» продолжает «Недоросль» Фонвизина; только здесь «недорослем» названо и показано все русское общество, как оно сложилось к двадцатым годам этого столетия, как оно массою осело, а не выделилось порознь высокими даровитыми лицами (критикующие декабристы; Никитенко, Блудов). В Грибоедове сказался все тот же

каковыми были, от Кантемира и до него, многие, если не все, сатирики русской литературы. С Пушкина, но в особенности с 50-х годов и посейчас, вся русская литература пошла существенно по другому руслу: пробудилось уважение именно к быту, так-таки и «не доросшему» до поставленных литераторами лет, — к быту, каков он есть, — к обществу в его историческом сложении. Все героическое, в особенности все героически-говорящее, — принизилось; все общее, безличное, казавшееся «молчалинским» или «недоросшим» было приподнято к свету — «и так и этак» начало «разглядываться на свет». Ряд прозорливцев действительно удивительного «ума» начал всматриваться в эту компактную, безличную массу: и Тургенев нарисовал Чертопханова из лица, которому почему бы не показаться «недорослем»; Увара Уваровича³¹ (в «Накануне») — из лица, которого на первый бы взгляд можно счесть Скотинным; и, может быть, «Гамлета Щигровского уезда», ведь действительно забитого, действительно смешного, — из лица, которое опять-таки Грибоедову показалось бы необыкновенно жалким и неосмысленным. Все показалось иначе, как только иной взгляд посмотрел на действительность. Мы упомянули об обучающем, грамотном значении комедии; но это значение, даже в самый миг ее появления, не было просвещающим, развивающим. Сущность развития и просвещения заключается во внимании, в сомнении о себе, в пристальности к другому. «Горе от ума» бедно вниманием.

Трагический конец в Персии ее автора как бы составляет эпилог комедии — первое и единственное настоящее горе, которое испытал он. Как ни грешно судить его в этот миг, но невозможно же не указать, что в самом деле он совершенно забыл, куда и зачем, с какими точными полномочиями приехал, и продолжал мыслить и действовать в Тегеране как бы в Петербурге. Именно, он стал растаскивать у «долгополых» персияшек их жен — пункт именно той «земли», о «камень» которой он и в этой комедии «преткнулся но-

гою». Нам с христианской точки зрения трудно понять, что и как тут мыслят персияне: но мы знаем, и Грибоедов мог знать их историю, что за подобные посягновения там всегда брат убивал брата. Хитрый Ахитовель, чтобы порвать связь возмущившегося Авессалома с отцом, дал тайный совет первому: «Войди к женам отца твоего»³². Правда, в Тегеране-то были похищенные у грузин девушки, но на Востоке, опять со времен Давида и Версавии, жен вообще как-то воруют, «умыкают»: обычай, который нам не может показаться особенно ужасным, если мы сопоставим и оттеним его частым у нас обыкновением «кидать», «оставлять» девушек, «бросать» и жен. Во всяком случае тут есть особое и уже двухтысячелетнее «умоначертание». Чего, по Ахитовелеву рассуждению, не мог вынести псалмопевец и должен был возжаждать крови сына, — естественно, не могли простить «чрезвычайному послу и полномочному министру» дикие тегеране: город загоготал, пошло «кругообращение» страстей — все то, чему дано так мало места в «Горе от ума». Долгополые ринулись на здание посольства, чтобы сделать «секим башка» человеку таких высоких талантов и ума. Все было дико и ужасно в ужасный день — в этот азиатско-европейский день, где униженный, уже давно униженный Восток яростно бушевал над горстью закинутых судьбою к нему людей. Говорят, труп убитого едва был узнан бесконечно любящей его женой. На прекрасном монументе его, в Тифлисе, вырезаны прекрасные слова, за которыми нам слышится «сказка» прекрасной и истинной любви. Сейчас мы не помним буквально этих слов³³: их знает всякий приблизительно и может перечесть буквально в каждой из бесчисленных биографий писателя. Многозначительным в этой надписи нам представляется то, что ее трогательные слова проговорила над писателем именно та «земля», та «Ева», та суть бытия и жизни — некоторая глухота к чему составила ошибку его жизни и комедии.

III

Главная прелесть Кавказа — не в горах; горы, пока вы не втянулись в дефиле Военно-Грузинской дороги, собственно, не представляют ничего поразительного.

Эти огромные горбы, стоящие на совершенно плоской равнине, возбуждают более умственного любопытства, нежели зрительного любования; не понимаешь, как и почему они произошли, но совершенно равнодушно переводишь глаз с них на окружающую равнину. К тому же они очень малы (для впечатления) по одной особенной причине: когда вы едете в горную страну, в ваших ожиданиях вырисовываются именно горы; «горы» и «горы» — и ничего еще более, т.е. они закрывают собою все, подчиняют себе все, подавляют собою все. Вы приезжаете: и вдруг с неприятным разочарованием видите, что эти горы — лишь бугорки на необъятно раскинувшейся равнине, лишь точки, пики под синевою неба. Вы не приняли во внимание, что ведь небо не будет закрыто, не закроется степь: а, брошенные на их масштаб, естественно, самые высокие вершины представляются точками, горбами, выпуклостями. Какое разочарование, как мало и бедно! — думал я, подъезжая к станции Минеральные Воды и позднее уезжая с этой станции к югу, во Владикавказ. Вот — Машук, Железная гора, Змеиная; вот, наконец, Бештау, упоминаемая в географии как одна из вершин Кавказского хребта. Я ее всю вижу, охватываю от края и до края глазом; где же тут бесконечность, неотделимая от понятия красоты, и именно удивляющей или поражающей красоты? Какое нищенство!

Повторяю, все это изменяется, когда вы втягиваетесь в горы и начинаете с них смотреть вниз. Но я упомяну о том, что уже ранее поражает вас необыкновенною красотою и сразу делает для вас Кавказ волшебным-прекрасным, с чем никогда бы не расстался: это — горные речки. По приезде в Кисловодск я несколько ночей не спал и не хотел спать: прямо под окнами гостиницы, т.е. под окнами моей комнаты, пробегала речка; ее вечный шум — это какая-то вечная жизнь. Единственная музыка, которую не хочешь остановить, потому что знаешь, что она никому не причиняет усталости. В говоре струй ее есть варианты; именно жизнь и движение — в однообразии; вечное — но без монотонности, как в сущности монотонен всякий вид, всякое зрительное остановившееся впечатление. Этот шум сообщает вам самим необыкновенное воодушевление; вы входите в комнату и, вместо того

чтобы лечь и заснуть, — рассмеиваетесь и приказываете подать самовар. Я не буду один: у меня есть диалог, в котором другой будет говорить и я буду тоже говорить — без слов, без усилий, одним умом. И когда в этих дремлющих речах вы припоминаете, что ручей этот — пращур Ноя и его Ковчега, что он не умолкнет, когда умолкнет не только ваша грудь, но и все ваши родичи, быть может, вся империя, в которой вы живете, — вы в дреме речей как бы сливаетесь с вечностью. Маленький ручеек становится предметом вашего почтения: это — дитя по величине, дед — по возрасту. Если бы, как у Поликрата, у меня был дорогой перстень или много перстней, — один из них я бросил бы в дар говорящим волнам³⁴.

Такой ручеек-речка все время бежит или прямо под ногами лошадей, или где-то в стороне, когда вы совершаете небольшую горную прогулку. Здесь варианты речей — возрастают: ручей ревет, пугает лошадей, когда они едва цепляются копытами за кремнистый его берег; но вот он становится глуше, тише: это — деликатный рокот, который вас убаюкивает. Вы едете, положим, в Замок Коварства (гора, очень напоминающая очертаниями руины замка) — и как будто не одни: с вами, за вами, то впереди вас бежит неугомонная и вечная речка. Вы повернули за гору — вот она; или повернулись — и она осталась, отстала. Она обгоняет, вы ли обгоняете: во всяком случае — вы не одни, вы вместе с кем-то, друг около друга — с вечно живым существом. Наши спокойные реки севера, и притом реки, а не ручьи-речки, не могут дать об этом никакого представления: на Волге или на Свияге (Симбирской губернии, маленькая речка)³⁵ — вы чувствуете, что не с вами речка, а — вы с речкой: она есть постоянное условие, вы — временное; вы пришли и ушли — и она как-то пассивно подставила вам свое лоно; претерпела вас или претерпевает: тут нет обоюдности; нет личного; нет игры; шалости и милой поэзии.

Отдельно стоящие горные пики если имеют какую-нибудь красоту, то не очертаниями своими, но этою же вечною жизнью, какую им сообщают облачки. Каждый пик, если он высок и когда день не знойно-сух, имеет около себя облачко; оно переваливается через него, как-то ползет по боку, достигает вер-

шины и, переваливаясь на ту сторону, опять начинает сползать. Есть, без сомнения, притяжение, специально горное притяжение, которое овладевает и держит около себя прозрачно-легкую дымку этих мириад воздушных пузырьков, составляющих собою облака. Вы видите совершенно отчетливо, как, подходя к горе, туча спускается, начинает лизать ее туманами и, наконец, ложится на нее грудью: грудь ее ниже, чем бока, чем перед; зад, которые, едва переступив гору, снова загибаются кверху. Если полдень — облако переползает; если к вечеру — оно свивается в клубок и заночевывает на пике. Кстати: кавказская, белая или серая, папаха (низкая и широкая мохнатая шапка) в неотделимой связи с кринолинообразной буркою есть копия этого постоянного и характерного для Кавказа вида горы и облачка. Первый раз, когда в дождливое неприятное утро я увидел несколько туземных верховых фигур в этом традиционном костюме, тут же, обернувшись на Лысую гору, я воскликнул: «Это одно и то же». Один очерк, один тип, один художественный мазок у природы и ее подражателя — человека.

На переезде от станции Минеральных Вод до Владикавказа я впервые убедился, что окружающие Пятигорск горы в самом деле высоки. Они не скрываются за горизонт, не уходят под землю; они исчезают, перестают быть видны лишь за толщею воздуха. Поезд мчится к югу; вы оглядываетесь и при особенно счастливом падении солнечных лучей вдруг схватываете весь полный (до основания) очерк двугорбого Бештау; на фоне голубого неба он вырезывается кромочкою чуть-чуть более темного, но неба же. Не было бы сомнения, что это — далекое облачко или просто отлив неба, если бы не давно знакомое вам очертание. Вы смотрите внимательнее, и небо расчленяется перед вами на громадные куски как бы вставленной в него мозаики; мозаики небесной же, одноцветной с общим фоном, и только чуть-чуть потемнее. Это — горы. Наконец, они сливаются совершенно с горизонтом, перестают вовсе быть видимыми: воздух одолел и поглотил, затушевывал мозаику. Вы обертываетесь на запад, где уже давно видите зазубрины облаков: привычным теперь взглядом вы отгадываете, что это — Главный

кавказский хребет, все время остающийся вправо от бегущего поезда.

Из Владикавказа он виден сейчас же за Тереком. Я вышел на мост, за которым начинается знаменитая дорога. Вид гор здесь совершенно иной, нежели около минеральной группы. Если, набрав полный рот дыма (табачного) и плотно прижав губы к рукаву сюртука, вы пустите его в сукно, то затем вы будете минуту или две иметь красивое зрелище как бы дымящегося сукна — сукна, из каждой поры которого лезет дым, и не отлетает, а тут же стелется. Отношение облаков к горам чрезвычайно правильно выражается этим отношением дыма к сукну: они лезут как будто из гор; или — лазают по горам. Над вами, над городом, по сю сторону деревянного небольшого моста — голубое небо; но по ту сторону шумливой и грязной речки начинается что-то зубчатое: огромные, по горизонту в бесконечность раздавшиеся зазубрины, увитые, повитые, насыщенные мглой этого темного дыма. Другой мир; там — все новое: темная, таинственная неизведанность, покрытая пологом, — таково впечатление горной цепи из Владикавказа. Еще особенность: до сих пор, да и вообще везде, всегда — вы видите небо, т.е., пожалуй, небо вас видит.

Это сообщает чувство ясности, открытости, пожалуй — честности вам: «Я — не вор», «мы — не воруют», да и «нельзя воровать» под всевидящим, все освещающим оком солнца. Закутанность горного Кавказа именно срезывает это впечатление ясности и отчетливости в отношении кверху (небу); мы — под пологом, т.е. завтра я въеду прямо дышлом экипажа прямо в это облако; там — тайна, и все возможно, между прочим, и даже особенно — преступление. Впечатление, что вы вступаете в мир случайного и преступного, укутанного, кутающегося от солнца, глубокою и резкою чертою отделенного от под-солнечных, под-небесных стран, — не оставляет вас все время, когда вы смотрите на эти характерно под-облачные, под-внутриоблачные места. Что горец вечно вооружен, что он всегда при шашке и кинжале, что он любит коня своего и, так сказать, цепляется за его сильные ноги, как за невесту, — это, мне кажется, не только обстоятельство времени, условие когда-то

дикого быта: это — условие и, так сказать, психика самой природы.

Но вот это «завтра» настало; в первый раз я услышал резкий крик рожка кондуктора; семь часов утра, громадный экипаж, под которым чудо, что мост держится, въезжает на Терский мост; кондуктор кричит в рожок (дудит), чтобы все экипажи, возы, арбы убрались в сторону с дороги. Едет — «казна», едет — «Российская империя», и обыватели в страхе, пятась на своих волах, должны отдавать шапку. Еще бы: ведь «казна» и дорожку пробила

...через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы³⁶

Ну пристало ли, ну не дико ли среди красот Военно-Грузинской дороги думать о чиновниках, чиновничестве? Вот подите же! — неотстанно думал, и впервые, грешный человек, именно на этой чудной дороге я подумал с уважением о чиновнике.

«Тебе дан был окрик остановиться: куда ты лезешь?..» — это какие-то зеленые лацканы несносно грубо кричат оправдывающемуся и испуганному кондуктору. Терек, около Ларса, на повороте совсем подмыл скалу. Все пассажиры вышли, и за ними проследовал с одною кладью экипаж. Сверху (с дороги) ничего не было заметно, и кондуктор смело ехал на толпу копошившихся рабочих-осетин, что-то отламывающих ломами и кирками в каменной стене.

Какая дисциплина! «Кондуктор ничего не видел». Ему не нужно видеть: он должен повиноваться тому, кто видит. Вот суть государства. Но это — только черточка, секундный эпизод на громадной дороге. Уже завтра, проезжая чудным спуском по ту сторону хребта, в пять часов утра я видел всюду осетин и другую туземную рухлядь, аккуратно сметающих пыль в правильно расположенные кучки, совершенно как у нас, на Невском, где всякое невежество лошади аккуратно подбирается человеком с метелкой и ящиком. Пять часов утра: как хочется спать! Но никто не спит, и хоть не едет никакой ревизии — каждый стоит с метелкой, заступом, киркой, ломом и исполняет маленькое и необходимое свое дело: полнота этих исполнен-

ных дел и создает два дня покоя, роскоши, художества там, где некогда проходило две недели муки, риска и, наконец, прямо, местами и днями, невозможности. Около Гудаура, ниже нашего экипажа, лежали на совершенно плоских местах длинные полосы снега, прикрытые пленкой летящей с дороги пыли; и окрест взлизы гор, морщины гор всюду сияют яркой, ослепительной, девственной белизной. Холодно, приятно холодно, без стужи; 22 июля, и широта Милана или даже Флоренции; мы едем на высоте вечного снега, через непроходимейший в Европе горный хребет — с удобством, комфортом, поэзией, как бы из Москвы в Петровский парк к вечернему чаю.

Какие же гиганты это сделали? консулы? проконсулы? Это сделали смиреннейшие люди, «Максимы Максимычи» и отчасти «Акакии Акакиевичи», из коих каждый до корня волос боялся огорчить своего начальника, с подобострастием смотрел ему в глаза, бросался «по мановению» выполнить каждое «предназначение» и цеплялся, изо всех сил цеплялся за (так осмеянное) «20-е число»³⁷. Нет — это сила; пусть не красота, не страусовое перо в шляпе, не Поза или Гамлет, и ни про кого из них нельзя повторить стих Офелии:

Моего ль вы знали...
Он был бравый молодец;
В белых перьях, статный воин,
Первый Дании боец...³⁸

Но эта ужасная проза жизни, которую мы называем чиновничеством, необходима для выполнения ужаснейшей же и совершенно неизбежной прозы — чтобы у каждого обывателя был своевременно вытерт нос. Обыватель мечтает, он пишет стихи, философствует. Было бы не только неудобно, но и совершенно невозможно жить, если бы этим рассеянным Гамлетам и маркизам Поза некто смиренный и непритязательный от времени до времени не вытирал носа и вообще около них, для них, вокруг них не устраивал некоторого комфорта элементарного бытия. Смирненную, невидную, серую роль, без монументов и стихов, и берет на себя государство в том некрасивом чиновническом сложении, какое более в нем начинает пре-

обладать. Оно не великолепно; на нем нет тог, все болтается на ком «Станислав», на ком «Анна», и, главное — трепет: не

...страх, что будет там?³⁹ —

т.е. за гробом, перед чем смущался Гамлет, но будет «там — в директорском кабинете», куда зовут, и еще неясно, за каким делом зовут. Чиновничество есть сфера совершенного забвения «иного мира» — Бога, религии; это есть не только проза, но и сведение души человеческой к чисто земным и грубо земным текущим заботам; сделано ли это «вверенное мне дело» и «как отнесутся их п-во». Да, и эта проза — необходима на земле, как между Азией и Европой — Военно-Грузинская дорога.

Я давно прислушиваюсь к странному переименованию, которое наш народ постоянно дает «государству» — «казне». Нет иных у него политических терминов, и, очевидно, нет иных у него политических представлений. «Казна выдаст», «казна поможет», «казенная дорога», «казенное заведение». «Матушка-казна», так и хочется закончить терминологию. Здесь выражено понятие о необъятной и несколько безличной, незрячей мощи: «матушка-казна» — это такая же материя, глыба в людских делах, по отношению к человеку, что «мать сыра земля» по отношению к живому миру, к травкам и мотылькам, ее обитающим. Глыба, иде же «духа» «не бе», но без которой и вне которой духу как-то не для чего было бы витать, не над чем витать⁴⁰, пожалуй, — не из чего вылететь. «Казне» нельзя противиться; казну нельзя «отрицать»; «казну» надо почитать, как батюшку с матушкой; опасно почитать и совестливо. «Казна» кружев не плетет, а растит лен, из коего все кружева. Она темна «душою»; за «душою» она идет к попу, как и каждый из нас, — не очень понимая, что он говорит и почему говорит; доверяясь на слово и покоряясь авторитету. Вот граница государства; вот его сущность: темное, неразумное, но в высокой степени почтенное. И оно совершенно гармонирует с поэзией ли, с философией ли, как только не впутывается в их область. Она дает Военно-Грузинскую дорогу — вы можете изучать ледники Казбека

или писать «Героя нашего времени». Геолог, не остановившийся перед шлагбаумом и не уплативший 3 рубля шоссейного сбора, есть виновный, есть наказуемый для «незрячей казны» — и Гумбольдт, если бы ему случилось быть оштрафованным геологом, должен почтительно просидеть свой день на гауптвахте. Я беру примеры и указываю, что в грубо общей сфере своей государство всегда право, всегда свято — и его гауптвахта столь же непререкаема для обывателя, как и для самого государства должны быть непререкаемы, некасаемы обожаемые красоты «Героя нашего времени» или выводы «Космоса». Два мира; две совершенно различные области; и между ними, т.е. между кратким и приказывающим чиновничеством и между сложным и эластичным обывателем, возможна, при понимании, не только гармония, но и любовь⁴¹.

Дарьяльское ущелье мне не показалось самой красивой частью Военно-Грузинской дороги: вид гор — дик и прекрасен, но Терек, тут же, под ногами, грязно плещущийся, мешает впечатлению. Нет пространства, простора, воздушных перспектив — вниз; вы не висите в воздухе — необходимое условие горной красоты. Правда, я ехал в совершенно тихую погоду — и нужно знать Кавказ, чтобы понимать, что после дождей, в бурную осень, тот же скучно бегущий Терек может превратиться в нечто неопишное. Я помню почти перепуг жильцов нашей гостиницы в Кисловодске: все бросились к окнам, кто — на двор, в каком-то страхе, что вот-вот гостиницу или часть стены ее снесет. Посмотрев в окно — я не узнал Ольховки, маленькой и мелкой речки, почти ручья: прошел дождь, краткий и не очень заметный, — ручей поднялся на несколько аршин, он превратился в реку, сжатую в берегах; с гор принесло стволы ли, камень ли, но только перед самой гостиницею образовался моментально порог, и с невыразимой силой, неопишмой яростью река ударялась в него, всплескивалась кверху и точно кусала сверху препятствие, которого не могла прорвать сбоку. Через 6—8 часов она бежала совершенно тихо, как игривая барышня после романтической бури. Но буря эта есть истинная буря; и если такова была Ольховка в Кисловодске после 1—2 часов обычного на юге ливня, то можно представить себе Терек в

октябре, в бурную ночь. Конечно, он должен пугать путника. Я же смотрел на него в тихий июльский день с недоумением и презрением: никакой силы движения, а главное — так близко, тут же, и эта невыразимая загрязненность воды. Точно огромная прачка где-то из огромного корыта сливает ненужную воду по ложине — и она шумит перед вами отвратительною лужей. Истинную красоту в этом роде я увидел позже, — пока были прекрасны изломы гор: нет сомнения, что они все произошли от бокового давления. Как будто гигантской рукой были наложены каменные доски — и вот несколько вертикальных ударов сломали их, как через колено лучину, и в то же время гигантское боковое сжатие выпятило углы изломов кверху, книзу. Справа, где лепится шоссе, вы и видите этот переломанный, цветной, каменный тес. Мощь силы, сломавшей горы, и составляет их красоту: мощь перелома, мощь сжатия. Неба видно только полоса над ущельем; все — тесно, душно. И вот тут вы впервые познаете красоту горной страны. В то же время, по ту сторону Терека, над ущельем выбегают, иногда на огромной высоте, какие-то острые, трехгранные груди гор: точно — птичья грудь, и самая вершина, как вытянутая голова птицы, висит над рекой. Это — изящно, мощно, воздушно.

«Вот отсюда можно видеть Казбек», — обернулся с козел кондуктор.

Это был молоденький армянин — сперва принятый мною, по худобе в теле и вооружению, за горца или грузина. Первый раз я наблюдал армянина не за прилавком. Он был жив, смышлен, чрезвычайно деликатен и, видимо, не желал, чтобы мы пропустили какой-нибудь замечательный вид на дороге.

Экипаж сделал несколько шагов, справа открылась ложина — и вот на темно-голубом фоне неба, имея ковер трав под собою, вдруг вырезалась сахарная голова Казбека. Более прекрасного, более изумляющего зрелища природы я не видел. Пыль, жар. Лето на небе, лето на земле. И между этим летом и летом, разрезая их — зима. Чудная феерическая зима: снег широким конусом спадает прямо в зелень лугов и лесов; сверху — опять ни тумана, ни ниточки: снега выпятились прямо в купу лучей, под зной солнца, и их сахар-

ная белизна так ослепительно очерчена, вычерчена по небосклону. До них верст 11—16, но, как и всегда, в горах — расстояние скрадено, и Казбек прямо перед вами, вот сейчас за лощиной, куда бы, кажется, добежал, если б лошади подождали. Конус совершенно правилен, и его преимущество перед видом со станции Казбек, где он видится под несколько иным углом, в том, что здесь снега не разрываются и не портятся черными пятнами, т.е. вертикальными падениями скал, где снег не держится. Снежная голова, трехгранная, т.е. равного протяжения в основании, как и с боков, — и полог неба, постель лугов. Незабываемо, единственно, трудновыразимо. Есть проза — и вдруг она прервана волшебным стихотворением: такое стихотворение природы и испытывает, прочитывает человек в данной точке.

«Сегодня первый раз за лето виден отсюда. Все был закрыт облаками».

Действительно, день стоял знойно-сухой.

Удивительная сторона Военно-Грузинской дороги заключается в совершенном отсутствии чувства подъема: вы совершенно не понимаете, зачем на этой станции подпрягли двух лошадей, там — четырех. Подъемов нигде нет больших, чем в Москве на некоторых улицах, и даже можно наверное сказать, что подъем (в Москве) от угла Сретенки — в направлении к Николаевскому вокзалу — круче, чем какой-либо кусок Военно-Грузинской дороги. Прибавьте к этому, что экипаж нигде не качнется и не накренится в сторону, как решительно на каждой из наших уездных дорог, и вы поймете, что только увеличивающийся холодок или холодок спадающий показывает вам, где вы находитесь. Вот прошел Гудаур; вы проехали мимо нескольких туннелей, через которые экипажи следуют зимою, во время снежных засыпей, и проехали одним летним туннелем, под непрерывно гремящими паденьем камнями. «Крестовый перевал»; «вот тут — отдыхал Ермолов». Почти плоскость; лишних лошадей куда-то убрали; и начинается — на мое ощущение — самая красивая часть дороги.

Это — спуск в Азию; змеиная нить шоссе перед станцией Млеты. Вы на вершине Кавказа, т.е. сейчас перед вами вдруг открывается воздушная перспектива

вниз — та именно главная красота гор, которой недоставало ранее при вечных поворотах Терской долины. И внизу, на головокружительной высоте, на дне страшной продольной пропасти, бежит пенистая лента Арагвы. Арагва — чиста, в отличие от большинства горных рек, без сомнения, по причине кремнистого русла. Быстрое движение экипажа; что-то веселое, какое-то счастье, но которое растягивается на часы; бездна воздуха; стремнины сзади, все возрастающие по мере того, как бегут минуты, — а главное, главное: стремнина вниз, сейчас же обок с колесами экипажа, на тысячи футов. Все это сообщает езде характер воздушного движения, как бы вы чертите по каменной стене и соскальзываете почти по спирали книзу. Ничего сурового; да и не нужно сурового; вы так радостно приветствуете Азию; новая часть света, наконец — не Европа. Уже завтра, наутре, я увидел верблюда, бегущего по дороге — так. *an und für sich*, «в себе и для себя» бегущего. Боже, я выпустил бы на свободу всех запряженных верблюдов, по крайней мере всех из Зоологического сада: так этот один был хорош. Кондуктор ослабил впечатление, сказав, что это стационарный, сбежавший верблюд; но он бежал легко, как-то выгибая ноги, то вытягивая, то сокращая шею — и эти странные горбы! Встречные арбы тянулись уже буйволами: сжатая голова, прижатые к ней рога — книзу, а не вбок, изогнутые. Все — новое: «новый свет», по крайней мере для природного костромича и вечного северянина.

В ПРИБАЛТИКЕ

В ПРИБАЛТИКЕ

ФЕДОСЕЕВЦЫ В РИГЕ

«Нужно посмотреть, что там за немцы такие и как они живут?» — подумал я, получив этот год летний отпуск, и отправился в Ригу. Нужно заметить, Бог так устраивал меня всю жизнь, что я не только не выезжал из любезного отечества, но никогда и не подъезжал близко к его границам. Не забуду восхищения, с каким лет восемь назад, заехав на Финляндский вокзал (я осматривал Петербург) съесть пирожок и отогреться, я вдруг увидел огромную карту Финляндии с нерусскими надписями¹. «Что такое? Неужели близко граница?» И сердце у меня учащенно забилося. От этой-то безвыездной жизни в глухой России я и люблю окраины². Я просто люблю в них ощущение новизны, люблю свое новое волнение, новую полосу цвета в поле зрения, новый запах, новый вкус. И ничего более. Никакой политики. Просто человеку, всю ночь спавшему на правом боку, хочется к утру перевернуться на левый бок.

«Нужно посмотреть на немцев», — и я поехал в Ригу. Удивительно, что первое впечатление есть в сущности самое верное и самое глубокое; потом пойдут «умные впечатления», т.е. смесь размышлений, которые вы с собой принесли или из себя извлекаете, с фактами действительности. Но первое впечатление, физиологическое — это-то и улавливает главную новизну в стране или местности. Только выхожу с вокзала, глядь — все извозчики в мундирах (форме). Это до того невероятно, что я ахнул. Вот и не нужно никаких исторических документов и никаких справок в психологии, чтобы догадаться, отчего немцы есть, были и частью остаются чуть ли не коренным служилым сословием в России. Позднее я с любопытством расспрашивал и убедился в том, о чем, впрочем, догадался и сразу: что форма есть изобретение самих извозчиков. Вот подите же: как азиата неловко было бы предста-

вить себе не в халате, даже нехудожественно, ненормально, так эти немцы и латыши просто почувствовали бы себя неловко, неудобно в наших армяках, рубахах, поддевках и проч. На козлах сидит чиновник; чиновник извозчичьих обязанностей. Он сидит легко, ловко, в синей короткой форме, с галунными нашивками и металлическими светлыми пуговицами. Торгуется, норовит сорвать с вас лишнее, так же как и наш извозчик, и вообще во всей психике и быте это есть просто обыкновенный извозчик. Даже нельзя сказать, что он «при параде». Нет — это будень. И я уверен, ложась спать, он надевает на ночь тоже какую-нибудь формочку, и тут где-нибудь нашивочка. Форма, оформленность — ему мила самым существом своим; и без этого чувства «милого» он не надел бы, как не надел бы и бесчисленного множества русских официальных, служебных форм. Но если он так тянется к ним, то совершенно естественно, что и самая служба ищет себе немца, т.е. человека, которому она наверное будет не тягостна, который все в ней исполнит без напоминания, сам. Служба — это порядок; немец — это порядок. Вот почему они совпадают.

Рига — красива, богата, блестяща. Вот не столица, но рядовой город, в полном ходе жизни и одушевления. Лет пять назад я посетил свою родную Кострому, где прошло мое детство³. Боже, какое убожество, какое нищенство! Какая тишина! — «Да чем они живут? чем кормятся? и кормятся ли?» — «Так — побираются друг около друга; сапожник сделает портному сапоги, а портной за это починит ему пальто — и тем живы; один в сапогах, другой в пальто». Это впечатление обоюдного нищенства, менового труда, чего-то в высокой степени «обывательского» и «гарнизонного» — произвела на меня — Кострома. «Это, однако, что же за дом», — указал я на какой-то замок среди лачуг. «Это — дворянское собрание». Вот дисгармония. Наш губернский город точно какая-то не связанная ни стропилами, ни в пазах бревен — храмина: так, друг около друга все стоит, помещается, занимает место, но не живет, не взаимодействует одно в связи с другим. Тут — купцы; там — дворянин; здесь — сапожник. А все вместе — Кострома. В Риге все ходко и в высшей степени связано. Это — Рига живет, а не купцы в Ри-

ге живут. Веселится ли — Рига веселится; «политику ведет» — опять Рига. Это не наши купцы, которые норовят подкузьмить «гг. дворян»; и не дворянин в родовом и вековом его презрении к «аршиннику», которого он в особенности презирает за то, что вынужден немножко его побаиваться. Да, здесь уже не вечная и печальная на Руси «ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». Бессмертный Гоголь: как в этой ссоре он выразил всю суть России. А ведь почти и не жил в ней, нехристь, — только «проехался».

Немцы не пробуждают к себе никакой любви, но возбуждают много уважения. Полная противоположность Кавказу, где я ничего не уважал, но на все посмеивался и почти все любил. Востоком можно заразиться; заразиться немцем совершенно невозможно, но можно, и хочется, и следует у него перенимать. Как французские моряки, виденные мною в Петербурге, оставили во мне впечатление большей душевной чистоты, наивности и непосредственности, чем какая есть у русского простолюдина⁴, так для меня совершенно очевидно, до чего немец, как собирательный человек, как вообще человек, — грубее русского. Острая рюмка водки, жгущая у вас внутри, и кружка пива, только приятно полощущаяся в животе, — вот отношение русского и немца. В сущности нет более острой, наркотической, артистической нации, чем русские: я говорю о сапожниках, о толпе, о всей нелепой ходынке нашего бытия и характера. Но, Господи, когда-то она разовьется, когда-то этот «сапожник» истории перестанет пить водку и явится трезвым перед лицом народов. Пока до сих пор на нем «ни образа, ни подобия», и это Бог весть почему, Бог весть как давно. Толстой в «Воскресении» хорошо выразился: «Поговоришь с иным мужиком и диву даешься: это мудрец какой-то перед тобой; соберите этих мудрецов на волостной сход и предложите им на обсуждение самую простую вещь — ничего, и притом совершенно чистосердечно, не понимают»⁵. Тут именно народ-артист: ведь артистичность, в чем бы она ни выражалась и чего бы ни касалась, — есть индивидуальнейшее качество, которое моментально исчезает при компактной гуртовой работе. Соберите всех скульпторов в мире и велите лепить им сообща

статую. Получится столпотворение вавилонское. То же наш волостной суд. То же — русский. То же — Россия.

Я прошелся по крытому Рижскому рынку. Какая чистота лиц. Вот уж люди «без подноготной». Чистота лиц и ясность выражения. Конечно, тут есть, т.е. в толпе, преступники, порочные, но, я думаю, немецкие пороки не есть какие-нибудь ужасные, как мне встречалось, живя по губернским городам, узнавать среди гоголевского затишья вдруг о какой-нибудь фантастической, дьявольской драме, — что-то из римских времен века упадка, и это в богобоязненной на вид купеческой семье, где каждый раз накануне именин хозяйки справляли «всенощную на дому». Помню одну такую драму в Ельце, кровавую, бесчеловечно развратную, которая долгие годы тянулась в «купеческом средней руки домике», не в центре города, на спуске горы: и никто ничего не подозревал, пока, спохватившись, не откопали разом три женских трупика и, запечатав желудки в банки, препроводили их в Петербург. Петербург и раскрыл. Орел ничего не мог раскрыть. Когда появились на суде дед, сын, внук — целое столетие «святой Руси» и раскрасавица невестка, которая пыталась от срама удавиться на собственной косе в тюрьме, — в городе говорили: «Ну и типы»; «и ужаснее всех — уже почти полуживой от старости дед». Да, мрачна Русь, и вся-то она — какая-то неразобранная «подноготная». И около этого — какая гениальность! Что бы, казалось, мещанам нашим до народного образования. Я долго был учителем, много размышлял об учении и училищах; считал, что некоторые мысли у меня суть новые и оригинальные, и я их в самом деле в книгах не встречал. Но я их слышал... проезжая в Петербурге на общественных санях в должность. Закутаешься в шубу и сквозь дремоту слушаешь пассажиров. И вот решительно нельзя отвергнуть, что некоторые из них не только по наблюдательности, но и по силе теоретической мысли решительно были Соломоны. — «Вот бы кому управлять губернией...» — подумаешь иной раз дивуясь.

От немцев я не только не слышал ничего любопытного, но ясно было, что и не услышишь ничего. Надел форму и сидит себе. — «Да о чем ты думаешь, не-

мец этакий?» — «А ни о чем не думаю, смотрю на вечер». — «Может быть, восхищаешься?» — «Нет, восхищаться я буду, придя домой и начав, в четыре руки с женой, разыгрывать Шумана». Даже непонятно, как у них были Шиллер и Гете, был Кант. Ригу мне показывала одна федосеевка, раскольница местная. «Пойдемте посмотреть площадь Гердера и памятник Гердера: это у них вроде как бы... — она затруднилась и договорила, — вроде святого». Какое удачное выражение, какое гениальное выражение! Она не знала, что мне известно имя Гердера, как и сама ничего о нем не знала: «Лет 200 назад жил». Но она схватила общее отношение города к памяти, лицу, имени человека.

— Пойдемте, — сказал я и все дивовался на ее определение. Я припоминал наших Грановского, Ломоносова: нет, ни к кому не идет имя «святого». Но к Гердеру, да и вообще к немецкому ученому, к немецкому мыслителю? В высшей степени идет! И обмолвка нашей федосеевки вскрыла мне главную святость Германии: святость ума, святость умственного их настроения, святость умственной их культуры. Говорят, немецкая наука — скучная. Но в высокой степени похоже на истину, что в их способе отношения к этой скуке и в воззрении на себя, как на ученых, есть в точности что-то святое. Мы пришли на площадь. Она — крошечная, среди огромных зданий. Совсем миниатюрный цветничок. И среди него бедный монумент св. Гердера. Так пусть и сойдет прозвище за истину.

— Теперь пойдемте в нашу моленную.

Это в так называемом Московском форштате Риги, очень старинной части города и очень грязной. Тут все идут бани, и смеялся же я их вывескам: над воротами — железный крашеный лист, и на нем художественно изображен веник. «Ну, тут Русью пахнет»⁶, — подумал я. Веник торчит листьями кверху, и это сообщает ему возбужденное и призывное выражение. Огромные каменные корпуса, из превосходного кирпича, и отличные около них каменные же тротуары обозначали всевозможные благотворительные заведения, сгруппированные около староверческой моленной. Как это близко к немецким киркам⁷, которые тоже обросли, как мхом, благотворительностью; и как не похоже на наши храмы, около которых никогда не уютит-

ся ничего для мира. У нас есть церкви в богадельнях, но у нас нет богаделен при церквях, т.е. как устройства церковного, как продукта забот церковного чина.

Никогда до этих пор я не бывал в раскольничьих моленных, как и никогда не имел отношения к раскольникам иначе как через рассказы Печерского-Мельникова. Вхожу: это — церковь нашего старого архитектурного стиля. Мужская и женская половина совершенно разделены, т.е., собственно, для женщин устроена совершенно отдельная моленная, и только она помещена в том же корпусе здания, туда же обращена, как и мужская, и имеет во всем с нею одинаковый вид. Но почему это «моленная», а не «церковь»? Высочайший иконостас, образа по стенам. Только приблизившись, я увидел, в чем дело: нет ни алтаря, ни престола. У федосеевцев нет таинств, нет церкви и нет самого духовенства, а только «старички», «наставники». Таким образом, мираж церковности был в точности миражем. То, что мы зовем иконостасом, было восточною стеною моленной, и только ряды старинных икон, в нее вделанных, и в том самом расположении, как это устроится в наших церквях, производят зрительный обман. Но почему же мне все кажется, что это церковь? Федосеевцы сделали все усилия, чтобы моленная их производила иллюзию древней церкви; но алтаря и престола — этого они уже не могли сделать, по правилам своей веры и строгого отречения. И опять я дивился душе человеческой в ее изгибах, в ее судьбе, в ее заблуждениях и порывах к истине. Люди исходною для себя точкою взяли: ни йоты старины не нарушить. Но силою вещей, которую они не предвидели, они поставлены были в такое положение, что оказались отрекшимися в сущности почти от всей полноты старины. И вот они хватаются, усиленно хватаются за всякую мелочь, за подробность, за что-нибудь из старинки; и держат соломинку с крыши сгоревшего дома с той любовью, с какой нужно бы держать самый дом. Они имеют солею⁸, но не имеют алтаря. Нельзя представить себе трогательности и чистоты их благочестивого домашнего быта (я познакомился): но они не имеют таинств. Они бесконечно уважают строгих «наставников», которые их «учили бы», т.е. укоряли в слабости: но этот наставник есть простой

мужик-начетчик, без всякого преимущества, кроме простого знания, над теми, кого он поучает.

Моленная была совершенно пуста, кроме нас, троих посетителей, и показывавшего нам ее «помощника батюшки». Худенький и маленький, он объяснял нам старинность и ценность живописи. «Вот Всевидящее Око — отойдите сюда: Оно на вас смотрит; станьте туда — Оно вас видит; оттого — Всевидящее». Действительно, в старинной и в сущности бедной живописи «Око» не имело устремления, не имело центра в себе и угла зрения: от этого получалось безразличие впечатления, с какой бы стороны на него ни смотреть, и это безразличие можно было принять за «всезримость». — Вот «Всякое дыхание хвалит Господа»⁹. Какая наивность и, пожалуй, грациозность живописи: огромное множество козлят, лошадей и совершенно фантастических животных необыкновенно весело резвятся или смотрят на небо. — «Вот зачатие пресвятой Девы»: на образе Иоаким и Анна, гуляя в саду, склонились и умиленно целуются. Изображение прекрасно по наивности и деликатности. Я вспомнил лекции незабвенного Н.С. Тихонравова: вся моленная была живою иллюстрацией к его чтениям о возникновении раскола, о его художественной и литературной стороне. Я вспомнил угрюмый упрек начинавшегося раскола «звездочетам», их времени и всяческим книжникам: «Ваших Платона и Аристотеля черви поели, а нетленные тела праведников, через сколько веков, — как живые благоухают»¹⁰. Что против этого скажешь?

Мы вышли. «Вот эти ворота штурмом брали», — сказала нам проводница с гордостью. «Как штурмом?» — «Отцы наши заперлись в моленной и не впускали полицию, которая хотела войти. Принуждены были войска звать». Это было в царствование Николая Павловича. Действительно, их хотели объединить с общею церковью; но они были соединены с дедами, и дедовская связь выдержала и пережила. В сущности детям ужасно трудно критиковать родителей: и вот на этот первоначальный факт натывается всякая попытка реформы; а уж если реформа совершилась — то попытка движения вспять. Дело веры на земле решается представлением о небе: «Ну, родители горят в аду, они заблудились: что же мы, дети,

гордо сядем над ними в раю, будем из рая посмеиваться их заблуждениям?» Таким образом, древнее «Чти отца и мать»¹¹ переламинает все новейшие заповеди и всякое обширное богословие. «Мы — не хотим; мы — с отцами». Вот и весь аргумент. И как его поколебать?

Я узнал, что в Риге около 13 000 федосеевцев. Они вплотную слились с немцами, безукоризненно говорят по-немецки, служат в немецких конторах и фабриках, брачатся с немцами. У наших добрых знакомых, соседей по даче, была дочь, только что кончившая гимназию, и сын — в пятом классе коммерческого городского училища.

— Русский ли, немец ли посватается — все равно.

В самом деле, по речи и по самому быту, за исключением больших образов и кой-чего в складе мышления, они уже совершенные немцы. Та же безупречная аккуратность. Странно — то же отсутствие «червоточинки». Я редко встречал в великороссийских губерниях такую открытость и незатаенность, такую прямизну и смелость речи, разговоров, всего склада жизни. Кажется, на третий день знакомства уже были рассказаны большие контуры биографии, и через полтора месяца — ее подробности, несчастья, и иногда щекотливые несчастья. Ни обмана, ни лукавства; признаюсь, я никогда бы не мог быть так откровенен — да и к чему? что мне люди? Очевидно, эти милые люди искали людей и доверяли людям, очевидно — они не обманулись в людях.

— Перед свадьбой я капризна была и мучила Николая Павловича. Но вот мы восемнадцатый год женаты — и ни я ему, ни он мне не сказал грубого слова.

Я вспомнил, что у этих бедных людей нет собственно брака.

— Ведь у вас нет... т.е. не может быть венчания?

— У нас служат молебны брачащимся и благословляют родители, — сказала она сконфузившись.

При описании моленной я забыл сказать, что перед серединою восточной стены, т.е. как бы перед Царскими вратами, перед местом их, стоит аналой с Евангелием и крестом. И, немного конфузясь, раскольница объяснила мне:

— Да, Евангелие и крест. У нас только Евангелие и

крест. — И она сделалась строга в лице. — Это и есть алтарь, — с торжеством в голосе сказала она.

Она стыдилась, и она гордилась, это можно было заметить.

Не правда ли, тут есть кое-что протестантское? Т.е. наше «древнее благочестие», не желавшее шагу двинуться вперед, в сущности в истории нашей церкви сыграло роль и заняло положение протестантства. То же отсутствие иерархии, отсутствие таинств; народная толпа — и над нею воздвигнутое Евангелие. Так иногда крайности, вместо того чтобы разойтись — сходятся.

Во всяком случае, нельзя было не заметить, что эти федосеевцы удивительно подошли к немцам, как и немцы с полным уважением слились и сливаются с ними. В дому у наших знакомых уже играли немцы-дети, были немцы-гости. И немецкая речь быстро бежала и перебивалась с моею, русскою. Ну, милые люди, как бы вас ни устроил Бог, а устроил.

ЭСТОНСКОЕ ЗАТИШЬЕ

Лечение безмолвием и уединением, я думаю, не из худших. Душа человеческая вечно растет, но не чрезмерно, не ускоренно и не порывами. Нужно очень много внимания к себе, чтобы утилизировать этот медленный рост и раскладывать его на те маленькие ежедневные дела, без которых невозможна наша жизнь. Когда же к ним присоединяется так называемое «творчество», то расходование исчерпывает не только рост души, но задевает и ее «неприкосновенный фонд», который непременно и властительно требует восстановления себя. Для такого-то восстановления и нужны не лекарства, не лечение, не вода, солнце или воздух, а уединение или безмолвие. Ведь потратилась именно душа: и ее не восстановишь прибавками веса тела.

— Чего лучше, — поезжайте в Аренсбург. Тишина, климат, люди — все удовлетворит вас, — говорили мне знатоки, которым я излагал свою теорию нервной реализации.

Пришла она мне на ум лет шесть назад. Утомленный службой, не столько трудной, как глупой, и излишествами литературного увлечения, я поехал отдохнуть в Лесной. Лето было знойное, в лесах — сушь. И вот, забредя подальше от дачных местностей, я ложился на спину. Вид чуть-чуть качающихся сосен и пятна небесной синевы между ними, а главное, абсолютное безмолвие вокруг, какого я уже долгие годы не испытывал, сделало то, что я с каждым часом, получасом чувствовал, как здоровье какими-то огромными объемами входит в меня, залечивает все болячки, ширит грудь, насыщает кровь, а главное, освежает голову. И с тех пор я решил, что летний отдых в так называемых «дачных местностях», где мы живем среди людей, слушаем вечернюю музыку, а днем наблюдаем летние костюмы петербургских барышень, нужны, собствен-

но, для этих «модниц» и отнюдь не нужны для усталого человека. Шум и обилие впечатлений — это уничтожает самое существо «дачи», хотя бы, пожалуй, в зелени и цветах и пересыщенной кислородом.

Мы не оцениваем, что такое пассивные впечатления, а между тем половина жизни уходит на них. Пассивные впечатления — это такое, в котором сам не принимаешь никакого участия, а между тем оно падает на твою душу, входит раздражителем в твою жизнь, потребляет и истрачивает частицу душевного роста, о котором я сказал выше, и в то же время ничем не вознаграждает эту потерю. Утомляющее действие города на человека и лежит во множестве и неизбежности этих пассивных впечатлений! Всякий проехавший экипаж занял слух ваш на 1½—2—3 минуты; и между тем не дал слуху никакой гармонии. Каждая вывеска, которая торчит у вас перед глазами — и вы ее все-таки машинально прочитываете или во всяком случае видите цветное пятно овощей, сюртука, брадобрития, сахарной головы или кренделей и булок, — утомила ваш глаз без всякой нужды. Нет впечатления без мысли после него, пусть самой коротенькой и вовсе не заметной. Душа ваша мало-помалу становится похожей на пол, по которому чрезвычайно много ходили: грязь, затасканность и некрасивость становятся уделом ее вне всякого вашего желания. Я думаю, психология современного человека обновится только тогда, когда будет изобретено бесшумное движение экипажей, когда люди, руководимые инстинктом самосохранения, вообще бросят привычку разговаривать на улице, когда вывески, отнюдь не необходимые, будут заменены краткими и маленькими надписями, будут уничтожены выставки предметов в окнах магазинов — словом, когда будут приняты все меры к возможному сокращению этих пассивных, ненужных теперь для всякого невольных впечатлений. Тогда силы души всякого человека пойдут на работу, исключительно ему нужную. Работоспособность удвоится, или, при той же, как теперь, работе, удвоится его отдых. Я уверен, что великая, особенная мудрость древних учителей человечества происходит главным образом от того, что она рождалась и росла среди глубокого безмолвия.

Я послушался добрых советчиков, и вот в первый раз в жизни провожу лето на острове. Все отсюда далеко, потому что все за морем. Остров и островная жизнь имеют свою психологию, неповторимую, недостижимую на континенте. Самостоятельность, своеобразность и какое-то особенное чувство независимости — ее главные черты. «На заработки» отправляются с острова Эзеля, летом, огромные толпы; но отправляются морем, и остающиеся жители совершенно иначе, чем у нас на Волге или Оке, чувствуют эту отправку. Как бы далеко русский в России ни заехал, он на той же земле, где и его деревня, не разобщен с нею: река или линия железной дороги, а во всяком случае «родина-земля» непрерывною полосой лежит между ним и его семьей и односельчанами. Островная жизнь — закруглена, сомкнута в себе. Для множества людей все здесь, на острове, начато и все на нем кончится. Для всякого выход с острова, как и всякий приезжий на остров, есть уже «приключение», случай, отнюдь не норма и не повседневность. Отсюда — повседневность и норма необыкновенно устойчивы.

И это — хорошее условие той тишины, о которой я сказал. Если бы Петербург был немного подвижнее и предприимчивее, он разработал бы в великолепное дачное помещение все многочисленные острова Финского залива и Ладожского озера, а особенно — финляндские шхеры и острова Гогланд, Даго и Эзель. Чем остров меньше протяжением, тем «затишье» его глубже, то особенное «затишье», недостижимое на континенте, которое проистекает из отрезанности от всего света морем. Когда в ясный, тихий вечер я в первый раз вышел и сел на стул на берегу моря, то мне показалось так хорошо, что я решил и не искать других мест для лучшего времяпровождения. Необозримое море, на далеком горизонте которого совсем крошечный островок Абро; тут же, перед глазами, крошечная бухточка моря; миниатюрный берег мыса и группа детей на нем, из которых половина пускает отлично устроенные игрушечные лодочки с полным парусным оснащением, а другая половина что-то бросает в воду реющим во всех направлениях белым чайкам: все дает картину, какой я никогда не видел на пустынном «пляже» около Риги или по Финскому заливу. Везде

есть заезжий, зашедший человек с другого, соседнего «курорта»; и, наконец, вид фона слишком уж однообразен и уныл. Здесь сама природа отдыхает и наслаждается и увлекает в свой отдых и наслаждение и человека. Множество больных детей на берегу: но между ними полное отсутствие грустных или страдающих лиц. На костылях или с особенными футлярами на ноге, они должны бы являть грустное зрелище. Но тот факт, что их всех видишь выздоравливающими и они сами себя чувствуют выздоравливающими же, отнимает в грустном зрелище скорбь и почти заменяет ее веселостью. Чрезвычайно сильные здешние ванны (грязевые) успешно действуют против всякого рода местных заболеваний костей и мускулов, кокситов, туберкулезов, воспалений надкостницы, всяких затвердений и опухолей. Они не лечат самой болезни, но, чрезвычайно поднимая энергию организма, усиливая в нем обмен веществ, дают ему силу побороть и уничтожить местное страдание. И вот крошечный мальчик или девочка из недвижимого положения на кресле переходит на костыли; а тот, кто был на костылях, бегают, только с футляром из стальных обручей на ноге. Точно не замечая своей болезни, он резвится бок о бок с чайками, то опускающимися на воду и красиво плывущими, то ныряющими за убегающей рыбкой, то быстро рассекающими воздух. Чаек здесь только кормят (дети же, кусками бросаемого в воду хлеба) и не трогают. От этого они не пугливы и только что не садятся на плечо. Как красива эта близость и доверчивость животных к человеку.

* *

*

Приезжают сюда на грязелечение человек 300—400—500 в год; и они оставляют здесь в среднем ежегодно около 300 тыс. рублей. Вся эта сумма попадает в руки жителей города числом всего четыре тысячи, т.е. приблизительно каждый житель в среднем зарабатывает около 75 руб., или рублей 150—200 на семейство. Разумеется, четвертая доля получения приходится на грязелечебные заведения, но и отсюда она расходится жителям же как плата за квартиру, за овощи и мясо и вообще на весь вещественный обиход культур-

ного человека. Наконец, так как мясо и хлеб идут в город от жителей сел и деревень, то из значительной суммы в 300 000 руб. часть распределяется вообще на остров как уезд Лифляндской губернии. Таким образом, грязелечение составляет центр оживления и вообще имперского смысла существования Аренсбурга и Эзеля. И отблагодарили же они за это. Городок в четыре тысячи жителей — это совсем захолустье. Я помню, в Белом, Смоленской губ., где тоже жителей около 4000, один раз разорвали волки свинью между городским клубом и собором, а другой раз они же окружили и остановили священника, шедшего ранним утром на требоисполнение. К счастью, пришла вовремя помощь! Когда на Пасхе приходилось в том же Белом делать визиты, то грязь местами стояла до того высокая, что, имея даже высокие калоши на ногах, минут десять, бывало, стоишь, раздумывая, в какую сторону двинуться, чтобы пройти роковое пространство. Только хорошего и была одна гимназия, где ученики отлично учились и учителя хорошо учили¹. В Аренсбурге все улицы замощены крупным булыжником, а тротуары из тесаного камня, кажется, известковой породы. Этот каменный тротуар проложен даже по сухим переулкам, и сейчас же после дождя идешь по сырой, но нисколько не грязной улице. Видность домов, чистота улиц и качество извозчиков образуют вид города: Петербург и Москва от одних своих извозчиков получают вид грязный и нищенский, неблагоустроенный, несмотря на дома-дворцы. Извозчик всегда мечется в глаза; обиход жизни до того связан с ним, что город с дурными извозчиками так же почти неприятен, как и с дурными квартирами. Лучших извозчиков мне приходилось видеть в Смоленске, Риге и Севастополе; недурны они в Орле². В Петербурге и Москве извозчик едет не быстрее конки, и ничем нельзя ускорить его езду (я говорю о норме, а не редких и редко недоступных «лихачах»). Он движется, как часовая стрелка, сонно, вяло, со сквернейшей пролеткой, где едва умещаются двое, а зимой, в санках, иногда и двоим сидеть негде. Бывают сочетания ездовых, особенно при возвращении из театра ночью, когда решительно бывает невозможно разделить троим (отец и две дочери-подростка), и тогда приходится третьего брать на ко-

лена. Полное отсутствие в Петербурге пролеток для троих составляет самое очевидное и легкоустранимое неудобство. В Аренсбурге, где нет ни холмов, ни гор, где нет невылазной грязи, а до Ромассаара (новая морская пристань) не более четырех верст, все извозчики парные, с пролеткой в четыре сиденья (скамейка *vis-à-vis* главного сиденья). Каким образом в Аренсбурге и Смоленске экипажная езда выше поставлена, чем в Петербурге и в Москве, я не могу себе объяснить. Можно было бы простить «вид ваньки» тульскому мужику, работающему извозом в Петербурге на своей единственной кляче; но все знают, что таковых очень мало, если только они еще остались. Извозный промысел весь захвачен кулачеством, и рядовые мужики-извозчики являются только на службе у «хозяина», содержателя лошадей, какового можно было бы обязать и хорошою лошадыю, а главное — удобным и приличным экипажем. Не надо гнаться за роскошью, можно опустить изящество, но необходимо достигнуть удобства (быстрая езда и поместительный экипаж).

Я решительно не мог поверить, что в Аренсбурге только четыре тысячи жителей: в Белом была единственная улица, кажется Кривая: пересечения ее другими улицами образовали домов 5—6 по одну и по другую сторону, которые уже выходили в поле. Идущий по главной улице вправо и влево через эти просветы улицы видел уже благословенные поля. Во всяком случае сети улиц, «города», в буквальном смысле, не выходило. Аренсбург производит впечатление города благодаря тому, что он весь лежит по окраинам парка, и улицы, дома, крошечные его площади образуют только жилое ожерелье около великолепной зелени. Если прибавить, что здесь нет вовсе дома без сада, что сады эти огромны и хорошо содержатся, то читателю станет ясно, до какой степени жилое помещение поглощено и затушевано в нем растительностью. Узел всего города составляет старая рыцарская цитадель; вокруг нее, ниже, расположен парк; от него во все стороны идут улицы. Все в общем довольно обширно и образует городок.

Очень широкий крепостной ров теперь засыпан и образует ленту с неестественно высокою травой (ибо там нет воды, но постоянная влага). Не было также

маленьких дамбочек, отодвинувших теперь море на несколько сажен, и в старое воинственное время корабли, конечно неглубоко сидевшие, могли подходить прямо к земляному валу. Теперь этот вал обращен в бульвары. Местами он осыпался, везде порос травой, и так как он был в несколько сажен толщиной и по нем, очевидно, могли свободно скакать всадники и двигаться пехота, то в полуразрушенном виде он дал великолепный фундамент для аллей, тропинок, то повышающихся, то понижающихся. Отсюда владелец острова, мифический Аренс, и его потомки-рыцари озирали свои владения и море³. Прежде это было в хищнических целях; а теперь сохранилась от всего одна эстетика. Но как эта эстетика хороша! В июльскую ночь, когда луна поднимается над горизонтом, смотришь ненасытно на фантастическую гладь моря, такую красивую, и темную, и сверкающую. А днем, в жару, нет ничего лучше, как бродить, то поднимаясь, то опускаясь, по заросшим развалинам старой цитадели. Замок постоянно перед глазами. Он вполне сохранился и представляет собою стального серого цвета громадный куб с разбросанными редкими окошечками, не на одной линии. Он был соединением дворца, церкви и тюрьмы, больше всего тюрьмы. Я осмотрел его внутри. Это прекраснейшая готика, сельская, провинциальная, но выразительная. Именно оттого, что она не гналась за эстетическими целями, она и была и осталась эстетична. В готической архитектуре, столь красивой на рисунках, больше всего сухости, строгости, пустынности.

Крошечная домовая церковь, теперь лютеранская, была, однако, некогда католическою. В ней служится, однако, и католическая месса, когда сюда приезжает патер, раза два-три в год, для исповеди и причастия нескольких живущих здесь католиков-чиновников. Таковая одна служба была и при мне. Как поразительно, когда из-под слоев последовательного завоевания, поздней всего православия, а ранее — лютеранства, опять слышится древнейшая, смятая и выброшенная вон католическая месса с ее «Domine», «Spiritus Sanctus» и «Matka Boska». Но в общем замок, не тронутый в монументальных стенах, разрушен внутри или скорее безобразно ободран и местами разломан в сте-

нах, в поле. Грозно тянутся одиночные затворы, где феодал-хищник гноил своих недругов. Вот высокая башня, представляющая каменный колодезь, на дно которого, с страшной высоты, бросались «преступники», т.е. «преступившие» волю господина, и умирали голодной смертью, если не доверять преданию, что они растерзывались тут хищными зверями. Вот вмазанная в стену саженная каменная плита: она скрывает комнату, где заживо был замурован в полном вооружении рыцарь и вместе с его скелетом будто бы был найден каравай превратившегося в камень хлеба и с следами (знаками) пива кружка⁴. Возможно, что в предании есть преувеличение или разрисовка подробностей; хотя в ту эпоху сильного воображения и эксцентричности мук отчего бы и не произойти такому случаю. Раз «погребенное заживо» занимает воображение теперь, пугает и заинтересовывает, оно представлялось уму и в древности. А при тогдашнем безграничном самовластии «подумать» значило «исполнить».

* *
*

Здесь все не модно, поэтому дешево и удобно. Нет ужасных ялтинских и кисловодских пауков, которые начинают сосать приезжего с первого же дня и отравляют и море, и горы. За 20 коп. вы имеете гребную лодку, за 30 коп. парусную лодку и, если умеете справиться сами, можете за эти два или три гривенника кататься сколько угодно по морю, неглубокому и неопасному. Верстах в четырех вы подплываете к миниатюрной, аршина в $1\frac{1}{2}$ шириною, хотя и очень длинной дамбочке, сложенной из огромных камней. Нужно было много предусмотрительности и трудолюбия, чтобы ее выстроить. Дамбочка эта — пристань «Порт-Артура», как нарекло местное или приезжее остроумие крошечный ресторанчик, где можно получить самовар и молоко. Нужно заметить, нигде за последние годы я не встречал в России такого горячего интереса к нашему Дальнему Востоку, к Маньчжурской железной дороге и беспокойствам в Китае, как в Аренсбурге. Смерть Льва XIII, речи Вильгельма, земские успехи или разочарования — ничто здесь так не интересно, не важно, не требуется, как чтобы Россия непременно

удержала Маньчжурию. Русские люди здесь очень образованные, университетские, молодые, ни во что не ставят Горького, почему-то спрашивают: «Не издается ли он Раммом», но зато знают по именам наших адмиралов в Тихом океане и военачальников близ Амура. Местечко Лоде, в 4—5 верстах от города по морю, они и называли поэтому именем самого дальнего нашего порта. В «Порт-Артур» при ясной погоде направляются целые флотилии 20-копеечных лодочек: сюда спешат пить вечерний чай и затем поиграть в горелки на лугу, поаукать в рощах все, у кого есть свободный час и хорошее здоровье.

Эстонцы — ленивый народ, медлительный и вялый. Они гораздо менее работоспособны, чем русские. В то время как у нас прислуга никогда не отказывается от места по мотиву: «Много работы» — и не переходит на другое место с единственной ссылкой: «Там надо готовить стол на меньшее число людей», — здесь это случается сплошь и рядом. Неустойчивость прислуги составляет одно из неудобств города. Добавлю, что она дорога, как в Петербурге, — хотя только в летние, дачные месяцы. Ее дороговизна искупается дешевизною квартир. За 150 р. можно иметь отдельный домик в 6 комнат, зимней прочной постройки, с огромным садом и его плодами в вашем распоряжении. Для дачника это большое удовольствие — набирать своею рукою клубники или малины к чаю, к обеду. Еще дешевле здесь дома для постоянных жителей. Я говорю «дома» вместо «квартиры», ибо редко кто здесь не имеет квартирою целый дом. Мне пришлось осмотреть старый баронский дом, некрасивой, старинной постройки, но отлично расположенный внутри. В бельэтаже десять больших комнат, отлично меблированных, по стенам — большие, дорогие гравюры с лучших художественных произведений Рима и Флоренции. Все это — хозяйское, баронское. Столько же комнат в нижнем этаже заняты жильцами под разные «службы» утилитарного характера. И весь этот стародворянский дворец сдается... за 350 р. в год!! Объясняется это тем, что местные бароны победнели, служат в России, в Петербурге, а дворцы-дома вынуждены или оставить пустыми, или сдать за бесценок жильцам. Благодаря этому русские здесь устроились отлично. Их

довольно много, они занимают все видные служебные места, и, как они мне говорили, здесь не существует антагонизма между ними и немцами: немцы преохотно помогают всем специально русским затеям, как-то: «благотворительным базарам», «братской читальне» и т.п. Университет все уравниал. Вот во второй раз я наблюдаю на окраине, что значит для страны университет, действие которого внутри государства не так заметно. Человек университетского образования, куда бы его судьба ни закинула, в какое бы другое племя, в чужезычную страну, так сказать, ставит везде флаг своего университета, не никнет ни пред чем челом, а всюду разбивает свою палатку, развивает окрест «университетскую цивилизацию»; работает, думает, предпринимает по-своему, по-русскому, с твердой уверенностью, что он не уступает ничему заморскому. Здесь нет фраз о патриотизме, даже мысли о нем нет, а совершается великое патриотическое дело. Университет — это широкий горизонт. И вот этот-то широкий горизонт, выйдя из университета, и носит каждый с собою. Ни чиновник этого не сделает, ни офицер или генерал; всякий сожмется перед «высшею расою» (немецкой, напр.), перед «высшей цивилизацией». Но человек университетского развития, при русской чуткости, после первых же часов общения, после первых недель пребывания видит себя обладателем или таких же, или высших точек зрения, сведений, умений: и ведет себя спокойно и устойчиво.

Одно здесь плохо, как я слышал, — русская классическая гимназия. И везде они плохи. Куда ни поедешь по матушке-Руси — на гимназию везде есть жалоба. Что это такое, почему? — трудно сказать. Но, очевидно, Министерству народного просвещения придется десятилетия трудиться, трудиться упорно, с самосознанием своих ошибок, чтобы привести это дело в порядок. Гимназия должна бы быть радостью города, гордостью его, как везде составляют местную гордость народное училище, техническая школа и университет. Вот и здесь городское училище хвалят, женскую гимназию хвалят (все русские заведения), а классическую гимназию порицают.

Среди туземных особенностей замечательна следующая. Не часто, но и не редко эстонка-девушка име-

ет ребенка. Мне даже говорил один здешний юрист, через руки которого постоянно идут дела «об алиментах» (издержки на содержание ребенка), что редкая девушка из крестьянок не имеет ребенка уже до замужества, и это нисколько не препятствует ей вступить потом в брак, так как женихам не из чего выбирать: все невесты в этом отношении приблизительно одинаковы. Обыкновенно, мужем и становится отец ребенка. В случае если этого не происходит, он уплачивает, по «обычному праву» или решению суда, три рубля в месяц на ребенка. Так как последний не составляет обузы, то родители лишь слабо порицают свою дочь, но оставляют ее в своем доме и вообще не отталкивают от себя. Матери-девушки от этого никогда не расстаются со своими детьми. Ни подкидывания детей, ни отправления их в воспитательные дома вовсе не практикуется на острове. Как нет же и детоубийств. Об этом нам рассказали, едва мы устроились на даче, с полуулыбками снисходительности к населению. Ранним утром я вышел однажды на базар, куда сельчане свозят свои сельские продукты. Все замужние женщины здесь носят на голове, прямо над пробором волос, цветок — обычно искусственный, как у нас на женских шляпах. У вдов он черного цвета, у женщин — зеленого, розового какого-нибудь; иногда это два-три цветка, иногда сюда входит окрашенное в яркий цвет и несколько завитое перышко птицы. Конечно, все это — пыльно, заношенно и скорей некрасиво, чем красиво; хотя, мне кажется, в день народного праздника, на гулянье в поле — это и красиво. Зовут их здесь «пучками», и таких каждая женщина имеет несколько перемен, так сказать будничные «пучок» и «праздничный пучок». Нужно заметить, они никогда не снимаются, что было бы равносильно отречению от замужества или утаиванию замужества. Я вышел на базар, с целью посмотреть сельское население; и с таковой же целью много бродил по бывшей здесь, в середине июля, ярмарке — чисто сельского характера. Народ — как везде народ, груб, прям, работающ. Никакого оттенка «легкости в обращении» я не заметил и следа. Вообще народ очень похож на наш, только бесшумен. Ни одного выкрика я не слышал, ни резкой перебранки около воза, ни даже очень оживленной, «тараторящей»

речи. Около одной телеги, очевидно семейной, стояла девочка-подросток таких лет, что, очевидно, она не могла быть замужем. Да и «пучка» у нее не было. Тут же стояли отец, мать и еще кто-то из взрослых. Девушка была с таким «прибавлением корпуса», что не было сомнения, что я имею перед собою экземпляр туземной особенности. Никто ее не бил, лицо ее нимало не было грустное; она ничем не была выведена из равновесия быта и поведения, и она была хороша и привлекательна (она была хороша лицом), как если бы я видел невесту под тюлем. Русские чиновники и местные землевладельцы, рассказывавшие мне об этой особенности населения, на внимательнейший мой расспрос ответили, что на всем острове (около 300 000 жителей), как и в городе Аренсбурге, нет ни одного дома терпимости, ни одной промышляющей проститутки, как и нет же известной дурной болезни. И когда с парохода, на Ромассааре (новая пристань), сходит девица по виду «такого поведения», ей покупают даровой билет и отправляют обратно на том же пароходе. Несколько лет назад среди лечащейся публики появилась «особа такого поведения», с шикарными нарядами и поведшая большую картежную игру в клубе: но и ее немедленно выпроводили вон (рассказ мне местного доктора-старожила). Эта суровость мер относительно приезжих опирается на требования безусловной чистоты для лечущихся ванн, и ванных зданий, и зал, и в местном населении «этот промысел» не развился потому, что ранняя любовь и страстность получила себе уступку в изложенном народном обычае и вошла в определенное русло. Местный юрист (русский) мне объяснил, что все опирается на стародавний местный закон о взыскании алиментов, по которому имение ребенка не представляет собою экономического риска, ибо он всегда содержится отцом, и что такие девушки никогда не переходят к легкомыслию и грязи промысла, ограничиваясь отношением к любимому человеку, и от этого не теряют репутации. Тип старых здешних женщин — некрасив; и вообще эстонцы — некрасивы. Только язык их — прекрасный, звучный, с преобладанием «а» — несколько напоминает итальянский. И на раннем базаре, в безобразном местном костюме (короткая красноватая юбка, раздвигающаяся колоколом

сейчас же из подмышек), мне пришлось увидеть девушку лет 16—17 такой изумительной чистоты взора, невинности выражения, какого я не помню в своей жизни. Точно бабочка, вышедшая из куколки и еще ни разу не вспорхнувшая крылышками. Я не преувеличиваю ничего и считаю важным это отметить, дабы показать, что тип невинности, столь важный в населении, в нем не пошатнут нисколько названным обычаем. Переместились условные понятия. А чистота тела сохранилась, едва ли не удвоенно (отсутствие ухаживаний, волокитства, приключений; отсутствие «захвачанных» девиц).

ПОЕЗДКА В АБРО

Абро — островок, с тремя тысячами жителей-фермеров, производством превосходного сыра, несколько гористый и заросший лесом, в 12 верстах от Эзеля. В бурную погоду, на длинную осень и зиму, он разобщен от всего мира. Он имеет очень своеобразную флору, где попадаются растения других континентов, могшие вырасти только из семян, занесенных сильным ветром при выгрузке товаров на Эзеле. Так мне объяснял один здешний ученый, недурной натуралист, хорошо знакомый с местною фауною и флорой. В старое время на Абро ходил крошечный пароходик, но теперь он уничтожен, и остров почти не посещается, по крайней мере в качестве гуляний. Налетевший шквал, а здесь они нередки, может занести гуляк неведомо куда, как и перевернуть лодку вверх дном. Если добавить, что между Эзелем и Абро дно усеяно множеством подводных камней, которые темными пятнами виднеются под водою даже на глубоких местах, то риск поездки удвоится. Но меня соблазнила новизна — покататься на волнах под парусами. В сильно ветреную погоду, при предостережении лоцмана, что «волна будет перекачивать иногда через лодку», но и с твердым уверением, что «лодку не перевернет», мы сели на казенную «шестерку» (шесть гребцов, 12 весел) и, поставив паруса, двинулись в море. Мы ехали двумя семьями, и как невозможно было на целый день оставить детей дома, то забрали с собою шесть человек малолеток, включая почти грудных¹. Лоцман двадцать лет плавает около Эзеля и видом своим внушал абсолютное доверие. И поднялся же визг, восторженный, когда бегущее с быстротою (я думаю — быстрее) парохода суденышко стало взбегать на волну и падать с волною. В такой поездке есть что-то воздушное и восхитительное. Все живет и вместе тихо, в противоположность мертвому стуку парохода. Все зависит от сочетания паруса и ру-

ля — и гибко и уклончиво около волны, как сильное борющееся существо среди могущественной, но не хитрой стихии. Проморгнуть, зазеваться на руле — значит погибнуть: над нами несколько сажен глубины. Но не таков старый бритый эстонец, что-то лопочущий на смешанном немецко-эстонском жаргоне. И вот — Абро. Лес его так и объял нас жаром. Отчего это — я не понимаю, потому что на Эзеле не было ни одного знойного дня. Мы сейчас же углубились в него, надеясь хоть издали увидеть диких коз — местную редкость. Но ничего не нашли, кроме множества ягод. Зато старинный густой лес являл еще большую угрюмую уединенность, чем разные уголки Эзеля. Мы нашли среди леса два кладбища — православное и лютеранское, точнее, одно, но с перегородкой для разных исповеданий. «И тут разделение!» — подумал я. Но и на лютеранских могилах стояли деревянные кресты почти старообрядческой формы: восьмиконечные и с крышечкой наверху. «Совсем московское кладбище», — подумал я, читая имена Иоганна, Эльзы и проч. В отличие от русских могил, заросших высокою травой, лютеранские могилы были засажены красивыми фуксиями. Дети сорвали несколько цветов, приняв их за растущие как в саду. Но были остановлены строгим выговором бывшего с нами немца: «Цветы принадлежат усопшим». И он, взяв пучки их из рук детей, вновь разбросал их по могилам.

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

...Неприятный лязг или шум около головы заставил меня вскочить и сесть на койке. «Что такое? Да... Была буря, и мы не могли выйти в море». В самом устье Двины разыгрались такие буруны, кипение пены и брызг, сквозь которые нельзя было прорваться в могуче колыхавшееся, но гораздо более устойчивое и безопасное море. Я дивился: «Как, по реке нельзя идти в бурю, а по морю можно?» Но мне сказали, что я ничего не понимаю, и я покорно лег спать, когда пароход бросал якорь перед Динаминдом. Долго ли я спал, не знаю. Но слова накануне, что «в море полная буря», сделали меня тревожным и заботливым. Я поспешно натягивал носки, твердо заприметил спасательный пояс на бечевке, а другим глазом смотрел, как о стекла окна лязгали серые массы льдистой воды. «Мы идем? значит, мы идем!» — догадался я и еще более заторопился.

Пароход шел беспокойно. Что-то с ужасной силой визжало позади его, полминуты, минуту, и умолкало; и все приходило в порядок: шумела только машина. Но это продолжалось опять не более одной или двух минут, и начинался снова мне не понятный визг сзади, совершенно заглушавший машину. Мне было понятно, что когда стучит машина — «хорошо», а когда визжит там, сзади, — «нехорошо». Ход машины в пароходе — как пульс: пульс нашего парохода был с перебоем, и это внушало мне страх. Гораздо позднее я расспросил, что это такое визжало сзади, и мне объяснили, что корма парохода, от сильной килевой качки, поднимается совершенно над уровнем воды, винт обнажается, и вот когда он обнажается — то лопасти его, не встречая сопротивления воды, начинают с ужасающей быстротой, как волчок, вертеться в воздухе, и в то же время машина, не работая, стучит удесятенно быстро. Корма опускается, винт погружается в воду,

получает себе сопротивление, медленно гребет, — и машина опять идет в той правильности и регулярности, с расчетом на которую построена. Значит, я не ошибся, думая: «нехорошо», — потому что, конечно, «нехорошо», когда машина в положении, не рассчитанном механиком.

Наверху была паника, конечно, от глупости человеческой. Нос действительно то чудовищно вздымался кверху, то падал вниз, рассекая море и погружаясь в хаос пены и брызг. Было, во всяком случае, необыкновенно красиво. Я выбрал среднюю линию, рассекавшую пароход пополам, и уселся в точке, которая почти не качалась. Я сказал о глупости человеческой. Действительно, я пошел предварительно отыскать прислугу, имевшую билет третьего класса, — и что же? Мужики, солдаты, здоровенные, забились под навес в самый что ни есть кончик носа, т.е. в точку наибольшей качки, и изливались в рвоте, слезах, отчаянии. «Смерть наша пришла». Я взял прислугу под руки и повел к воздуху, говоря и другим, чтобы шли туда же. «Туда, — с ужасом говорили солдаты, — где ветер и брызги? Мы и здесь чуть живы!» И они ползли, все в угол, все дальше, в старый треугольник носа, в наивысшую качку. Я махнул рукой. «Где их выучишь многопольной системе, и травосеянию, и орошению!» «Не трошь... И так издыхаем».

Устроив прислугу в точке возможно меньшего качания и дав ей есть, я завернулся сам в плед и сел и наблюдал море. Море без бури — половина картины. Волны действительно были велики. Я видел по размерам и направлению одной, что она обольет меня. Можно бы отскочить в сторону, но она шла так быстро, что я, очевидно, не успел бы этого. Я только отвернул лицо и согнулся как на молитве. С ужасным шумом покатилося что-то по спине, прокатилось дальше, разлетелось, и когда я выпрямился, то сказал: «Хорошо». Действительно, в силу горизонтального движения воды, она вас как-то не мочит, ничего худого не делает, а только шелестит, скользит, и вы обрызганы как цветок, а не мокры как мочалка. Бирюзовые, изумрудные, серые, белые клоки водной стихии сверкали, ни секунды не спокойные, ни секунды не монотонные. Прекрасно. Восхитительно.

Только тут, погружаясь в созерцательность и задумчивость, я стал припоминать старинный сон, мной увиденный. Читатель знает так называемые «навязчивые идеи» — идеи и впечатления иногда совершенно ничтожные, даже глупые, но которые неизъяснимо почему навсегда завязают в мозгу (нельзя же сказать «в душе»). Например, почти двадцать лет назад один молоденький учитель, с претензиями на упрощенность, при словах моих за чаем: «...Иоанн III, Иван III» — сказал, мотнув носом книзу: «Да, Иван. Так нас учил В.О. Ключевский», и нос его так сморщился, что я навсегда запомнил, — и теперь, где бы ни услышал и ни прочел «Иоанн III, IV» и т.д., мысленно поправляю: «Да, Иван» — и вспомню характерный кивок головой этого учителя, и всю его фигуру, и весь его характер. Вечная идея. Вот это-то я и называю вечными идеями, что какой-нибудь клочок действительности, но тащащий за собой другую огромную действительность, даже мало с ним связанную, заседает в душе, и никак вы от него не можете освободиться, привыкаете к нему, таскаете его за собою, как акула маленькую рыбку, «прилипалу-лоцмана», как каплю гуммиарабика, на вас случайно упавшую.

К числу таких прилипнувших к душе моей впечатлений относится одна сцена из «Призраков» Тургенева. В «Призраках» этих, кажется, кто-то летает, что-то видит, конечно, призрачное и прекрасное, как непременно у Тургенева, появляется «железный Цезарь» и легионы. Но я все это забыл, или у меня перепуталось в голове, но один эпизод остался: как душа эта (душа Тургенева?) смотрела в маленькое окно деревенской церкви. Что она там увидела и для чего посмотрела — я тоже забыл, и помнится мне только одна ситуация человека, смотрящего в окно церкви. В моем воображении, уже долголетнем, ситуация эта несколько оконкретилась, и под церковью я представляю всегда церковь Параскевы-Пятницы, что в Москве, против Охотных рядов, если идти из университета в направлении к Неглинному проезду¹. Тротуар проходит за самой церковью, и вот я студентом всегда проходил по этому тротуару и его запомнил, как несколько более темное и бессолнечное место, чем остальные места улицы и площади. Помню, в некоторые утра я встре-

чал тут прислугу с провизией: и вот всегда русская женщина остановится и положит что-то в церковную кружку. Придет домой, и станет ее барыня бранить, что две копейки, кажется, утянула на провизии. И она промолчит, что не утянула, а положила их на церковь.

Приснилась мне глубокая, глубокая зима, какая-то не местная, а планетная. Полное безмолвие, и темь, и пустынность. Однако сказать, что это умерла земля, — нельзя было. Умерли как бы мои чувства в отношении к земле, но чувства опять же одной определенной категории и в одном направлении ползущие; и тотчас, как они погасли, мне показалось, что и категория земных явлений, обнимаемых этим чувством, тоже исчезла. Но сама-то земля другими своими категориями жила, шумела, и даже, пожалуй, более, чем прежде. Но мне-то до этого шума не было дела, и все направление моего ума сосредоточилось на одной точке, «которой нет больше». Что-то такое жалкое и темное и вместе злое стояло в моей душе. «Грустно. Но пускай будет еще грустнее, и когда будет совсем грустно, даже страшно, тогда-то и будет великолепно». И вот мне стало сниться, что я бреду, ненужный и среди ненужного. И так же бреду, как студент тогда, но только в ночи, безлюдности, не по Москве, но что-то как будто и напоминающее вокруг Москву, и опять этот угол против рядов, но самых рядов больше нет, а только этот тротуар, с одной стороны — стенка, а с другой — ряд окон церкви Параскевы-Пятницы. Но церковь уже ушла на аршин в землю, так что окна и не около плеча, а скорей около пояса моего, и нужно наклониться, чтобы заглянуть в них.

Прерву на минуту. В сне этом, я думаю, сплелось много моих житейских впечатлений. Например, раз я осматривал церковь св. Василия Блаженного. До тех пор я бывал в церкви, когда служат, и всегда как молящийся и среди народа. Тогда церковь — храм. Но когда из историко-археологических интересов я вошел в неслужебный час в Василия Блаженного и стал осматривать крохотные внутренние церковки, на которые она, как известно, делится, то я почувствовал необыкновенную ее светскость, холод, неинтересность ни в каком отношении и, походив без благоговения и с недоумением с полчаса, — вышел. «Что это? Не нуж-

но! не нужно!» Тут-то я впервые и понял, что церковь есть молящийся народ и священнослужители, для него служащие. Еще яснее: отношение народа к священнику и обратно — и есть храм Божий. Теперь добавлю уже для ученых: весной (1901) года я осматривал многие языческие храмы: Аполлона в Помпеях, Сераписа на пути от Неаполя к Байям, Венеры — около самых Бай. И ничего не чувствовал. Но ведь чувствовать-то можно *отношение народа к богослужению*: и когда возле Сераписа, Венеры, Аполлона служения нет, — то нельзя, даже научным оком нельзя ничего и уловить в них, ни картин, ни сущности; просто — ничего, груды кирпича: и это не потому, что Аполлон, Серапис, Венера — *ничего, нуль*, а потому, что нулевое и, так сказать, нигилистическое отношение к ним у *смотрящего*; а оно, в свою очередь, и возникает от того, что смотрящий смотрит на предмет в *нулевой его момент*, каковым является всякий *внебогослужебный* момент. То абсолютно светское чувство, с которым я, живой христианин, осматривал внебогослужебного Василия Блаженного, — оно же, но не более как только оно, есть и чувство археолога-историка, осматривающего Серапиум близ Бай и говорящего: «Ничего не понимаю! Ничего даже не вижу! Чему молились эти болваны?!»

Да. Но ведь молитва есть молитва. И кто ее не выслушал, опустил вечное.

Я наклонился к ярко светившемуся в темноте ночи окну Параскевы-Пятницы. Вообще весь ряд этих окон не только светил, но сверкал, блистал светом, и в этом блистании было что-то преднамеренное, нарочное. Тут опять у меня вплелось старое воспоминание, как Хома-Брут, смертельно боясь, читая по упокойнице псалтырь, «ярко осветил всю церковь»². Так сказано у Гоголя, и так приснилось мне. Очевидно, из ящика свечного были взяты все свечи, до последней. Самый воздух черной от древности церкви, казалось, сделался светящимся: до того много горело свеч около четырехугольных тяжелых колонн, на «кануне» (деревянный стол с поминаньями, куда за покойников ставят свечи), но больше всего, конечно, перед алтарем, в подсвечниках и так просто, и не перед одним нижним рядом образов, но и перед верхними ярусами. Потолок был очень-очень низкий; служили в нижней церкви...

Я сказал «служили»: но какая это была странная служба. Священник был один в церкви. Он был в серебряной глазетовой ризе, седой и высокий, сухой в очерке лица, но совершенно бодрый и, очевидно, до пронзительности ясный в сознании. Через двойные рамы окна, конечно, я ничего не слышал и мог только наблюдать службу. Истово, прямо, как бы ничего не замечая, судя по движению губ громко произнося возгласы, он отправлял утреню (всенощную), любимую мою службу в православии. Он входил в алтарь и выходил; Царские двери то отворялись, то затворялись. И вот наступил любимейший мой момент в этой службе: «Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господа...»³ — когда сонм священнослужителей начинает двигаться по церкви, по всему ее пространству, чтобы кадить перед образами святых угодников, а народ падает всем составом на колени. И в эти минуты у молящегося особенно хорошо на сердце...

Священник и диакон вышли из алтаря и потекли по храму. Впереди шел диакон со свечою, толстой, особенной, диаконской. Это был невысокого роста и средних лет человек, одутловатость которого переходила в полноту. Видно, что он очень боялся и даже стеснялся священника, но в то же время шел у него в дисциплине. Лицо у него было грустное, и на этот раз видно было, что он повиновался неохотно. Священник шел позади его с кадилом, в котором ярко горели угли и дымился ладан. Сделав несколько шагов, они останавливались, диакон что-то пел, а священник ему подпевал, и кадил, и кланялся. Свет от большой свечи диакона кидался на образ, и всякий раз из-под тяжелой ризы и драгоценных камней я видел приблизительно один и тот же лик, т.е. сонмы лиц почти без вариации, строгих, недвижных и глубоко старых. Глаза были у всех маленькие и острые, и они недвижно, каждый до своей очереди, ждали поклонения. Конечно, это было так мне видно из-за окна и оттого, что, не слыша службы, я как-нибудь старался ее одухотворить и оживить.

Церковь, однако, была пуста и затворена. Да и не всенощная это была, а именно утреня, ибо шел, очевидно, поздний час суток. Ни одного молящегося не было, как и у Василия Блаженного, когда я его осматривал. Но там это было случайно, а здесь преднаме-

ренно и как-то вековечно и окончательно. Та пустыньность земли, о которой я выше упомянул, и отразилась в моем сердце, собственно, от пустынности одной этой церкви, ибо землю-то я не очень заметил, а утренним, учетверенным глазом смотрел внутрь церкви и ужасно томился... Но и опять это томление души было такое, что я хотел, чтобы оно еще смертельнее и смертельнее падало и сгущалось.

Священник делал вид, как будто он ничего не замечает, и беспокоился только наивный диакон. Священник же, кадя перед образами, не оборачивался ни назад, ни по сторонам — совершенно как Хома-Брут, читая псалтырь, — и потому мог сохранять наружность, что он вовсе не видит полного отсутствия молящихся в храме. Только очень следя за губами, я заметил, что он творит возгласы гораздо громче обыкновенного; как и все, «хвалите имя Господне» проходило особенно торжественно. В то же время, однако, было очевидно, что священник проходит всю службу со смертельным страхом, гораздо сильнейшим, чем мелкое наружное беспокойство диакона. Как будто он знал тайну храма, которой не знал диакон. Ноги его едва передвигались. «Скорей! Скорей! Когда же рассветет утро», — как бы вторили слова его словам Хома-Брута. Но наружно он истово кланялся и громко пел: «Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господа».

Но рабов не было. Никого не было. Ничего не было. «Сгинь, нечистый!» — вздрогнул я во сне и проснулся.

* *

*

Пароход еще стоял. Я сел на койку и вытер холодный пот. «Что это такое? что я видел? Параскева-Пятница — студент — Василий Блаженный — археология — Серапиум. Что за чепуха?» Но безопасное чувство пассажира, который стоит на якоре, превозмогло беспокойство философа, и, обернувшись лицом к стенке (а я спал на верхнем ярусе морской койки), я вновь заснул крепким сном.

И опять шум, но на этот раз стихий. Ночь. Буря. Но наш пароход, хорошей рижской компании, мощно

рассекает волны, а я стою около борта со спокойным чувством человека, прошедшего курс физики и механики: «Ничего». Стою у борта, и будто бы борт этот высокий-высокий, а неподалеку, в сторонке, бьется суденышко, совсем не искусное, самодельное, на каких между Архангельском и Соловками ездят богомольцы. И вот снится мне, будто бы мы и не в Рижском заливе, а в Белом море, а пароход-то наш — рижский. Но я всего этого не соображаю, а только смотрю на суденышко. Около мачты, по реям, по каким-то лесенкам мелькают фигуры, и будто назад отдувает ветром какой-то креп, и все они, эти фигуры, ужасно неуклюжи на море и в то же время чрезмерно испуганы. «Что такое», — никак не могу я разобрать. И вот (прихоть сна) я точно перехожу по волнам и всхожу на суденышко и говорю: «Что вы тут делаете? откуда плывете и куда?»

Мне никто не отвечал от смертельного перепуга. Все метались из стороны в сторону, тянули какие-то веревки, кричали, ободряли друг друга, но бодрости ни в ком не было. Это было действительно суденышко, возвращавшееся из Соловков в Архангельск, с доморощенным монахом-капитаном и монахом-лоцманом. Смешные монашеские служки работали за матросов.

«Нам и Духу Святому изволилось»...

«Что такое», — думаю.

Ветер:

— Вzzг!.. Вzzг!.. — Точно вой зверя в лесу, точно одушевленное существо.

Хлопнула мачта. Ужасный треск. Суетня увеличилась. И как бывает во сне, где нам ни жалко, ни любо, я так же спокойно, будто осмотрев свой департамент, вернулся на пароход: «Здесь суше». И стал смотреть с борта назад и в сторону.

«Нам и Духу Святому изволилось», — точно доносилось до меня с гибнувшего суденышка.

«Что они хотели сказать?» — спрашивал я себя. А где-то я слышал эту формулу ли, заклинание ли, причитание ли. Верно, они хотели этим выразить, что вышли из гавани хоть и в неблагоприятный ветер, однако помолясь и не без благословения свыше. В утешение себя причитают.

Ветер визжал в снастях, и трубы нашего парохода страшно раскачивались из стороны в сторону. Я стал между какими-то двумя шкафчиками с вещами и корзинками буфетчика. Мне было уютно и даже не очень холодно.

Суденышко отставало, хотя, побораемый волнами, и наш пароход едва двигался. Черные тени мелькали все быстрее. По небу неслись клоки туч, но само небо было сине, и светила полная студеная луна.

Мчатся тучи, выются тучи,
Невидимкою луна
Освещает снег летучий...
Мутно небо, ночь мутна, —

прочитал я Пушкина, как всегда читаю его описания, прелестную поэтическую параллель прелестям природы. «Как они заплетаются в своих крепах и широких рукавах. Нужно тянуть веревку, а тут рукава, и он тянет за рукав, а не за веревку. Чепуха непригодности...» — соображал я во сне и продолжал из Пушкина:

Хоть убей, следа не видно!
Сбились мы, что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Задвигалась рулевая цепь, капитан что-то кричал в рупор, пароход, кажется, хотели повернуть, но он не повертывался. Вдруг тут же, около себя, я услышал слабый, едва доносившийся писк. «Это еще что за чепуха, или я брежу во сне?» Писк прекратился, или ветер заглушил его. Я отчетливо стал припоминать бледные лица монашков. Когда они шептали свое: «Нам и Духу Святому изволилось», то мне казалось, что губы-то их произносили: «И Духу Святому изволилось», а в сердце стояло одно горькое, отчаянное: «*Нам* изволилось». Бедные вспоминали, что ведь в точности день и час их отправления вовсе определился не небесными знаками, а какими-то покупочными расчетами, и еще они дожидались одного важного (для них важного) пассажира, какого-то богатейшего купца из Вятки, и вот когда приехал купец, то они прибавили: «*И Духу Святому изволилось*», «*нам и Духу Святому изволи-*

лось» — и подняли якорь и марш. А на барометр не посмотрели, да, верно, у них и нет барометра.

— Вzzг!.. Вzzг!.. — хрустел ветер вверху.

«Бедные», — подумал я.

Посмотри: вон-вои играет,
Дует, плюет на меня ..

.....
.....

Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой.

.....

Сил нам нет кружиться доле...

Около меня растворилась дверца и опять захлопнулась. Однако как будто в момент раствора я услышал: «Бай-бай». «Вот идиллия среди бури»... «Куда же они своего купца спрятали? Верно, и он боится». И я, по нелепой сонной ассоциации, припомнил из Апокалипсиса, как «купцы будут плакать, сокрушаясь: какое богатство погибло»⁴. «Ну, — поправил я себя, — там, над мистическим Вавилоном, а тут над чем плакать?» Всего у купчишки тысяч пятнадцать в бумажнике. Моржи раздерут, а казначейство порадует, что кредитки не разменивать на золото. Всякая гибель бумажных денег хороша, это говорят экономисты, и, в этом смысле, как пожары, так и морские аварии кладутся в виде *плюса* на счетах казначейства.

Со стороны суденышка раздался ужасный треск. Я вздрогнул. Дрогнул как будто и наш пароход. Но я все смотрел туда. Вдруг как будто я увидал вместо одного суденышка два или скорее два крупные кома, ужасно колотившиеся на волнах и то совершенно в них погружавшиеся. «Что такое? Что случилось такое с ними?!» — И я бросился к неподалеку работавшему нашему матросу. «Что с ними?» Он ничего мне не ответил. «Тонут?» Он молчал.

Я вспомнил, что пароход был немецкий и, может быть, моя речь ему непонятна. «Почему же мы не подаем им помощи?» — закричал я. И опять это тупое молчание матроса, как будто меня для него не существовало.

«Пассажир. Я только — пассажир. Что я могу? что прикажу?..» «Взяли билет и сидите, сударь, — ответит он мне. — Рига—Петербург; сели в Риге, высадитесь в

Петербурге, вот и все. И молчите до времени».

«До времени, до времени», — обиделся я. И у пр. Даниила сказано: «Будет три времени и пол-времени»⁵. Что такое «пол-времени» — я никогда не мог понять и подсмеивался неуклюжести, верно, семинарского перевода. «Ну, Христос проповедовал *три года с половиной*: так что же это, «*три времени и пол-времени*», что ли?!» «И *мерзость запустения* станет на месте святе...»⁶ «Ну, хорошо, конечно — *мерзость запустения*, когда Стена плача⁷ осталась, около которой режут виленские пейсы и ковенские торгаши». «И жертвоприношения прекратятся...»⁸ «Ну, и прекратились». «И сойдет Он в храм и сядет на престоле и будет *вместо* всякого рекомого *Бога*»⁹. «Ну так ведь это *события пришествия Христа*, рассказанные согласно у Рудакова и Иловайского. Какой глупый сон. Что же дальше-то?!»

.....
«А то же, — как будто крикнул мне кто-то, — что не посмотрели барометр — и бух в море. И вот одни щепки».

«От кого щепки?» — переспросил я невольно и оглянулся, точно со мной говорил кто-то живой. Но никого не было. «Да что это, галлюцинация что ли?»

— Ничего не галлюцинация, а действительность.

Но я не хотел такой действительности и всеми силами начинал теперь верить, что — галлюцинация. «Светопреставление?»

Ребенок пишал в щелку.

...Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...

.....
СколькоГ их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?...¹⁰

.....

Море вдруг осветилось. Стала полная луна. «Луна... Астарта... Милая...» На месте судна ничего не было.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В Европу можно ехать с пустым сердцем: тогда в ней ничего не увидишь. Эта совокупность ресторанов и уличной толпы не представляет ничего занимательного, как и у нас... Труд, удовольствия и вообще элементы человеческого жития — одинаковы везде под солнцем, разнясь только в красках и размерах. И не надо выезжать из родины, чтобы посмотреть это в Италии или Германии.

Я поехал туда с другим намерением: посмотреть усталым взглядом усталых людей. Мне хотелось взглянуть на Европу как на место чудовищной исторической энергии, где отложились слои великого труда, подвигов, замыслов, гения, надежд и разочарований. Мне хотелось «понюхать их пота» и «взглянуть на их лица»: как? что? горит ли там энергия? есть ли «вера, надежда и любовь», говоря восточною фразеологией? Я поехал с историческим интересом¹, а не с географическим интересом: и читатель или путник по Европе найдет в этой книжке себе друга, если едет туда с аналогичными намерениями.

Без моего ведома художник Л.С. Бакст, знакомясь в рукописи или корректуре с некоторыми отделами этих «Впечатлений», печатавшимися в «Мире Искусства», сделал прелестные рисунки к статьям о Флоренции и Пестуме². Находя статьи в журнале, я долго, бывало, любовался этими рисунками, которые он делал, вероятно, под навеванием текста: но на меня обратно навевали толпы античных грез эти прелестные рисунки. В Баксте вообще живет много древнего человека: наивный как мальчик³, он не хочет проснуться к деловой прозе Европы XIX—XX-го века. Все ему грезятся старые камни и юные нимфы, зеленый плющ около пожелтевших колонн, и, может быть, он видит и себя в этих грезах заснувшим в высокой траве, какою заросла древняя Посейдония... Так назывался первоначаль-

но городок, переименованный римлянами в Пестум. В пятнадцати саженьях от его храмов, так изумительно сохранившихся, синее голубое Тирренское море: как оно удивительно, какой вид! И когда я смотрел на эту бирюзу вод и думал, что триремы⁴ Пирра, карфагенян и римлян когда-то разрезали его волны, встречались и провожались живыми жителями этого городка, в хитонах и туниках, я готов был заплакать... И я вообще думаю иногда, что в наше время хорошо сохранять детство, а серьезному взрослому душою засыпать и потихоньку просыпаться в тот древний мир, когда люди не задыхались под ватною одеждой, под книгами, под утренними газетами, а умывали утром руки в солнечных лучах, и солнце золотило их смуглую кожу... И солнце, и люди, и колонны храмов — все связывалось в единое целое, еще без греха и зависти...

В. Р.

P.S. К «Итальянским впечатлениям» я прибавил несколько страниц — о впечатлениях, вынесенных проездом по Германии⁵.

РИМ

Страстная пятница в соборе св. Петра

На торжественной службе в Соборе св. Петра, между 4¹/₂ и 7-ю часами, перед главным алтарем, на длинных скамьях, расположенных *vis-à-vis* друг к другу и обращенных к алтарю боком, я насчитал до 160 священников, каноников, прелатов¹, епископов. После всех вошел в красной шапочке и длинной лиловой мантии кардинал Рамполла. Четыре каноника несли его длинный, до двух аршин, шлейф, как это бывает с царями во время венчания или с очень знатными дамами — тоже во время венчания. Поразительна эта особенность священнических одежд и на Западе, и на Востоке, что по покрою своему они суть типично женственны, а вовсе не мужские одежды: расширяющиеся к концу рукава, кушак — широкою лентою (никогда этого у мужчин), наконец, даже шлейф. И в самом цвете платья — что-нибудь яркое: лиловое, зеленое, голубое, красное, чего также вовсе не встречается у мужчин. Между тем вкус к платью и к цвету выражает бессознательнейшую и очень глубокую часть души человеческой.

Было чтение, пение внизу священников — далекое от благообразия и пение вверху папского хора — прекрасное. В пении хора попадались мотивы, ноты и целые длинные строки, которые казались перенесенными из оперы. Столько в них было узорного! Вообще, пение менее оставляет впечатления, чем наше православное. Впрочем, здесь расхождение сердец. Я когда-нибудь объясню, до чего, так сказать, гамма души православной и веры православной расходится с гаммою души и веры католической. Их, вероятно, трогает их-

нее пение и не тронуло бы наше. Но я помню, в Петербурге, в Александро-Невской лавре, на отпевании покойного генерал-контролера Штрика², пение митрополичьих певчих: звуки неслись, как ангельские, и точно искали в сводах храма выхода, чтобы унести в небо. Таков их состав был и характер. В св.Петре звуки земные. Но вот их преимущество: сила, уверенность. Когда слушаешь это пение, некрасивое, прелатов и красивое, хора, чувствуешь, что это голос людей, которые уверены в своем будущем. Тысяча побед за спиною слышится в тоне: «Мы всегда побеждали», «мы проигрывали только на время», «и мы все победим, и мы всех победим». И ни малейшего сомнения.

В пении — ничего запутанного, тоскливого; никакого смятения, ни робости. Это не романтическое пение, это классическое пение, римское. И вообще, Боже, сколько здесь римского!

Я жалел, сидя на особой эстраде и на видном месте, что нельзя было поднять бинокля, который лежал у меня в кармане. Но в течение слишком продолжительной службы из священников многие вставали со скамей, кланялись остающимся, выходили и затем минут через 6—8 опять возвращались. Они проходили совсем мимо меня, да и остальных я видел довольно хорошо, включительно до мелких черт лица. Смуглый-смуглый цвет кожи и горбатые носы не оставляли сомнения, что все это римляне, итальянцы или французы и бельгийцы, но не германцы. Но насколько в современном итальянце много выродившегося, размягченного, нежного, настолько в 160 фигурах, передо мной сидевших, было много богатства крови и сил. Простой взгляд, простое наблюдение показывает вам, что католицизм вобрал в себя все талантливое из расы и оставил политике, торговле, литературе объедки своего вкусного завтрака. На передних скамьях сидели мальчики в белых кружевных пелеринках, от 11 до 16 лет, и среди них было большинство лиц изящны в чертах, милостивы в выражении. Это будущие прелаты. Сзади них сидели прелаты, которые 40—50—60 лет назад сидели такими же мальчиками на такой же службе, на этом самом переднем ряде скамей без спинок. Теперь они седые, морщинистые, но — вот опять странность! — ни малейше не дряхлы, не расслаблены. Один прелат

вышел читать на середину: он до того был стар, что его поддерживали под руки: он мог упасть. Но он точно старался вырваться из поддерживающих его рук, его движения были не прямы (не верны в отношении к цели), но порывисты, и он завопил, читая голосом дребезжащим, но смелым. «Умираю, но и умирая — орел!» Я отвлекся несколько от лиц, так заинтересовавших меня. В противоположность слащавой красоты итальянцев вообще прелаты почти без исключения все были безобразны, безобразны — даже средних лет, даже молодые. Но с каждого лица можно было снять портрет и поместить его в книгу, в «Histoire de la civilisation», в «Histoire de l'église», в «Histoire des guerres universelles»*. Боже, как я узнал в них столь знакомые мне по нумизматике портреты Тивериев, Веспасианов, Антонинов, Аврелиев, Неронов, Августов, Цезарей (не преувеличиваю), Помпеев, Гракхов. Коротко стриженная голова и бритый подбородок, дающие рассмотреть все строение черепа и лица, не оставляли сомнения. Я помню эти самые лица на монетах, мною собранных³, мне в мельчайших чертах знакомых. — «Ну, дьяволы, точно воскресли!» — «Да, но мы теперь христиане и в христианстве так же сильны, как были сильны в язычестве!»

Я вспомнил, как еще студентом, читая Ливия, вздумал однажды доискиваться, что значит слово «Roma». В латинском словаре Кронеберга около «Roma» я не нашел никаких других слов, т.е. никаких прилагательных или глаголов одного с ним корня. Собственное имя вечного города стояло одиночным. Тогда я открыл имевшийся у меня греческий словарь Синайского и тотчас отыскал нарицательное имя и существительное: «ῥώμη» — «сила» и около него прилагательные и глаголы одного корня, например «ῥωμαῖος, α, ον» — сильный. «Так вот что, — подумал я, — этот город носит имя не латинское, а греческое. Каково же его происхождение?» Но как бы то ни было, а смысл греческого имени сохранился доселе: «азь есмь Азь»**, как бы и доселе говорит этот исторический Геркулес. Сила — вот отличие, вот сущность Рима⁴.

*«История цивилизации», «История Церкви», «История всеобщих войн» (франц.)

**«я есмь Я» (церк.-сл.).

С каждого прелата, откинув меховую пелерину, можно было писать императора. Несмотря на присутствие кардинала, они держали себя совершенно свободно, даже впереди сидевшие мальчики. Один прелат несколько раз брал у сидевшего впереди его «брата» нюхательного табаку и свободно нюхал. Они входили и уходили. Выходя читать перед таким большим собранием, они читали смело, твердо, точно опрокидывая что-то, точно трибун Клодий, которого так боялся Цицерон⁵. Это были демагоги, характерные демагоги, сложившие свою «волюшку» у ног «св. Отца». Но демагогическая жилка в них осталась, и, очевидно, не в целях св. Отца было ее атрофировать: «Ваша силушка мне нужна, и я вашу силушку у вас не беру: послужите ею мне вволюшку, как можете». Как шел Рамполла среди молящихся! Я думаю, его выбрали в статс-секретари специально за физиономию: это специальная физиономия для разговора с посланниками. Взгляд прям, голова, кажется, и не умеет повернуться в сторону, рот сжат; все сжато, узко и страстно, все худощаво, костисто и упруго. Но беленький мальчик впереди его, будущий тоже Рамполла, подымается со своей скамеечки, делает реверанс (католическое припадание на колено при прохождении перед алтарем) Мадонне и выходит, и выходит, не спрашиваясь и не объясняясь, зачем и для чего. Просто «я устал сидеть и не упаду в обморок ради Рамполлы: я служу Богу и папе». И Рамполла это знает. Рамполла спросит с него нужное, а ненужного — не спросит. Он не станет морить его 6 часов на сиденье, но в нужную минуту он бросит его в опасное миссионерство: «Иди, сын мой, и умри за нас, за Рим, за папу, за Бога». И мальчик тогда и для этого пойдет с силами неизломанными, неистощенными, как свеженький голубок, как круторогий буйвол.

Там есть бесконечная дисциплина. Но это дисциплина не мертвая, а живая.

Страстная суббота в Колизее

Мне не хотелось идти на повторение Miserere¹ в храме св. Петра, и католическую Страстную субботу я провел дома. К вечеру хозяйка пансиона, где я остановился, сказала мне:

— Разве вы не пойдете в Колизей? С десяти часов вечера он будет освещен электричеством.

О, этот Колизей, этот Колизей... От какой-то смеси чувств я не мог смотреть на него прямо и, проехав во время осмотра города два раза мимо и, конечно, издали еще узнав его, — только боком заметил, что вот это там стоит он, чудовищный, черный; но оба раза проговорил извозчику: «Avanti» (дальше). «Колизей — потом». Но электрическое освещение Колизея? Я вспомнил, как в коронационные дни императора Александра III Московский Кремль впервые был освещен электричеством; снимки этого освещения были приложены к иллюстрированным изданиям, и тогда же писали, что «все выступы башенок, все незаметные днем карнизы и архитектурные линии кремлевских стен от линий лампочек стали заметны — и красота получилась несравненная»². И захотел взглянуть так на Колизей.

«Una lira»* — это плата извозчику в Риме, докуда бы он ни вез. И в 10 часов вечера чрезвычайно элегантная римская пролетка подкатила меня к небольшому спуску, откуда надо было еще сойти вниз, чтобы попасть внутрь Колизея. Нужно заметить, что все древние здания Рима находятся ниже уровня окружающих улиц и площадей, оттого что с веками и, наконец, тысячелетиями уровень улиц поднялся от естественногохлама, щебня, сора уличной жизни и от натаскивания земли. Где человек, там и навоз, и, где человек проживет тысячу лет, там почва вспухнет, нарастет, вырастет.

*Одна лира (итал.).

Так, древний *Forum Romanum*³ стоит среди современной площади, но он на 2 или 3 аршина падает уступом из нее и представляет обширный и плоский, не закрытый сверху погреб: на этом древнем форуме еще сохраняются остатки старых ветхих колонн, как пни срубленных деревьев в лесу, и некоторые скульптурные около них украшения. Почва земли выросла и около Колизея; но, я убежден, он и сам опустился, сжав землю под собой невероятной тяжестью.

Извозчик остановился. «Trois francs»*, — сказали мне у окна одной из нескольких будочек, стоявших у загражденного в Колизей входа. «Должно быть, будет особенно хорошо, и, конечно, электрическое освещение, специально на одну ночь устроенное, стоит дорого городу или правительству, которые его устраивают». Я вошел. Стена Колизея в нижнем ярусе была пронизана вся, как окнами, аркообразными входами, по которым некогда валил народ на зрелища; а с внутренней стороны она имеет прямо под собою глубокое (аршина на два) падение вниз: тут в стену уходят углубления, кубические, по-видимому, древние клетки, где до времени держались звери. Далее, часть самой арены представляет тоже огромную выемку земли, но не целиною; эта выемка разделена каменными стенками на коридоры (не длинные) и комнатки; тут, по-видимому, находились до представления христиане-мученики. Самая арена, где происходил бой, занимает не более трети всей внутренней площадки Колизея, и сюда-то приходила пока немногочисленная публика. «Но где же электрическое освещение? Правда, в переднем углу арены была эстрада с яркими двумя над нею электрическими лампами с абажурами: абажуры отражали свет вниз, на изготовившихся музыкантов, их пюпитры, ноты, медные инструменты и ярко вычищенные пуговицы и позумент мундиров. Оркестр был военный, королевских итальянских войск. «Хорошо, посмотрим». Не более как через полчаса народ повалил: была исключительно нарядная публика (плата за вход), целыми семьями или группами молодых людей или барышень и их кавалеров. Разносчики выкликали апельсины, и еще другие разносчики продавали за 1/2 франка складные стулья: действительно, было чрезвы-

*Три франка (франц.).

чайно утомительно стоять или ходить, кружась на небольшом пространстве и смотря на абсолютно безгласный оркестр. Колизей был темен и черен. Наконец без четверти в одиннадцать заиграла музыка; заиграла марш, может быть персидский или итальянский? И потом, через маленькие антракты, музыка уже почти непрерывно играла — из опер. Вот знакомый «хор горожан» из «Фауста» и еще что-то, знакомое-знакомое по итальянской опере в зале Петербургской консерватории. «Да что это такое? — все недоумевал я. — Завтра Светлое Христово Воскресение, сейчас Страстная суббота, ночь с субботы на воскресенье. Почему тут опера?..» Игнали очень хорошо, как вообще везде в Италии, но ужасно как-то неуместно. Уж если что тут играть, то какую-нибудь «тара-ра-бум-бию», в насмешку над собою, или из «Фауста», но «шабаш ведьм», тоже для определения этого странного торжества. Кровь мучеников — ведь она здесь, на этих точках земли, на эту самую гальку и песок, и глину лилась, а они жрут апельсины и требуют «чего-нибудь из оперы». Никогда стены Колизея, отражавшие ужасные вопли, ужасный и дьявольский, однако не бессмысленный рев языческой толпы, не отражали, однако же, таких именно звуков. Нужно заметить, что когда в оркестре начинала играть одна особенно большая труба, то резкий и яркий ее звук по ночной заре отражался серебром, как бы от множества брошенных на пол серебряных монет, от стен Колизея; и это было почему-то ужасно страшно именно тем, что уж, бесспорно, эти стены, без всякой реставрации и известковых замазок, отражали другие звуки — какие звуки!!! Просто становилось страшно, не говоря об отвращении. О Колизей, о Колизей, что ты видел!⁴ Да, вон и это, и сегодняшнюю минуту, это хуже, чем «тара-ра-бумбию», в тебя же вложили, в твою историю, для восполнения всего. Это необходимо, это так же вечно, и памятно, и должно быть запомнено. При тусклом свете около оркестра я открыл Бедекера⁵ и читал историю и судьбы Колизея, кратко, точно обрубленно, как и естественно в путеводителях. Но вот фраза, которая мне запомнилась: «Колизей будет стоять, пока Рим стоит, и когда Колизей разрушится, то и Рим разрушится, но тогда и мир разрушится». Так формулировали римляне, так они умели формулировать. Конечно — сказка. Но кто не имеет

таких сказок, тот и ничего не имеет, не имеет ни Колизея, ни Рима, но только в Риме и Колизее это «трум-трум-трум», «трам-трам-трам». Ужасно. И невольно сплетались в одно смех и слезы.

Католицизм сожрал Италию и оставил от нее одни сапоги и галстук. Но об этом после. Я смотрел на вырытые внизу коридоры, ходы, каменные клетки и прямо *vis-à-vis* от теперешнего народного входа в Колизей тренообразное углубление во втором ярусе стен, «ложе Нерона», и далее «ложи сенаторов» и «ложи весталок»⁶. Зачем весталки в Колизее, на зрелищах? Странное язычество. «Да будет ли же электрическое освещение?» — спросил я городского. «*Si, signore*»*. — «Ах, черт возьми, да что же, жалеют электричества, что ли?» Вдруг взлетела ракета. «Это еще что такое? к чему?» Ракета не удалась, пошипела и рассыпалась золотым песком искр, а не огней. Еще ракета взвилась — и почему-то тоже неудачно. Вдруг со стен Колизея, отверху, с боков, полез какой-то дым, что-то парообразное, свет — туманный, кровавый, и через пять секунд он загорелся, как Содом и Гоморра в сернистом огне⁷. Это зажгли бенгальские огни. Зрелище было ужасно и на этот раз прекрасно, по странному смешению смыслов. Конечно, печально, что это были бенгальские огни и такая театральная бутафория, но как картина и для глаза она давала много волнения. Очевидно, мысль дававших зрелище была воспроизвести кровавый пар древних зрелищ. Цвет ли подобранных бенгальских огней, или таков вообще свет среди глубокой ночной тьмы, только он был точно кровавый и потянулся со стен на арену и заволок все.

Страшно и все-таки глупо.

Тут нужно бы «*Te Deum*»⁸! Десять—пятнадцать человек, укромно молящихся в нишах, и священника, непременно священника! Непременно литию⁹, панихиду, «со святыми упокой»¹⁰! И ведь шла Страстная суббота, и всего полчаса оставалось до Светлой утрени!

Заиграли последний марш, уж окончательно «персидский». Оркестр, толпа, мальчишки-разносчики — все двинулись к выходу; электрические лампочки над оркестром скорее потушили. Я насилу нашел извозчика.

*Да, синьор (*итал.*).

Пасха в соборе св. Петра

Все сложение католицизма глубоко не похоже на сложение православия. Этого нельзя заметить в Варшаве, в Вене; еще менее — в Петербурге; но едва вы переваливаете за Альпы, как это становится очевидно. Тут дело не в «*filioque*», прибавленном к Символу¹, и не в опресноках, которые подали повод Фотию высказать первые упреки папе Николаю I в «неправославии»². Обо всем этом едва ли знает народная масса, как католическая, так и православная. Но и мне, как человеку массы, живущему более общим впечатлением от церкви, нежели вхождением в ее подробности, когда я бродил по улицам Рима, внутренний голос шептал: «Не то! не то! это совершенно не то, что смиренная вера Москвы, Калуги, Звенигорода, моей родной Костромы». Передам не для того, чтобы выразить какую-нибудь истину, а чтобы показать силу несходства, один порыв своей души. Я сидел за *Miserere* (монотонная, однообразная служба вечером) в соборе св. Петра. Гудели голоса патеров, непреклонные, упорные. Каждое лицо — фигура! Во всем что-то абсолютное, оконченное. «*Sum ut sum aut non sim*»* — этот ответ генерала ордена иезуитов на предложение или реформироваться, или исчезнуть (вопрос шел о закрытии ордена)³ написан в сущности на лице каждого католического псаломщика. Итак, гудящие голоса, порывистые движения, гордые лица, какая-то бронза и чугун духа вдруг заставили меня затрепетать: «Да это те... десять тысяч жрецов Ваала, которых привела с собой Иезавель». Это я вспомнил из четвертой Книги Царств, где передается борьба их с Илией-пророком⁴. «Один я остался у Бога, но и моей души ищут»⁵, — жаловался пророк. Конечно, мое припоминание было совершенно вздорное, нечестивое. Но как правдивый

* Буду таким, каков я есть, или не буду вовсе (*лат.*).

записчик своих впечатлений, я не хочу и этого скрыть от читателя. В другой раз я подумал, все суммируя свои наблюдения, все бродя по улицам города, поминутно заходя в церкви: «Да, это — не разделение церквей, как пишут учебники, это — не секта, не толк, не учение: это совсем разные религии — православие и католичество».

Тот, кто останется при точке зрения «filioque» и «опресноков», долго этого не поймет, но я надеюсь мало-помалу привести каждого читателя к этому убеждению. «Примирение церквей!» Боже, какая это утопическая мечта гимназиста четвертого класса! Да, «filioque» не трудно отбросить или согласиться на его прибавку, это могут решить, поговорив между собой, Синод и папа. Но как из души народной, из сердца народного, из привычек народных, из рыдающей души православного: «Боже, буди милостлив ко мне, грешному»⁶, вырвать Великий пост, и наши «ефимоны»⁷, и «Господи, Владыко живота моего»⁸, и «Воздеяние руку моею, жертва вечерняя»⁹, и стояние в Великий четверг за 12-ю евангелиями, и возвращение домой после этого стояния с зажженными свечками?¹⁰ Нет, «аще не войти в чрево матери и не родиться снова»¹¹ — не стать православному католиком.

Но буду рассказывать. И буду рассказывать с любовью, понеже православному подобает все любить. Прежде всего — бездна вкуса разлита во всем. Это вы замечаете, едва из прозаической и безвкусной Австрии, с ее пирожками, немками, кофе и сливками, спускаетесь в Италию. Здесь есть не умеют, не стараются и вообще не в этом культура. Все прекрасно. Все становится прекрасно. Бог весть почему бедняк и нищая каждое дело рук своих стараются сложить в прекрасный вид, прекрасное зрелище. Слова Господни при взгляде на сотворенный мир: «И все — хорошо»¹², — эти слова как будто живут доселе в сердце каждого итальянца в минуту окончания каждого дела. Особенно это я наблюдал в Великий четверг. В этот день, вечером, уже к ночи, в храмах выносят последнее на Страстной неделе причастие, «Тело и Кровь Христову». Завтра — пятница, Христос распят, умер. Нет Христа, и нет причастия, нигде на земле, нигде в мире. Мысль эта верная. Когда Христос умер, как же мы Им причастимся? Он сошел во ад, по-

беждает смерть — на земле Его нет. Это обдуманно в католицизме, и обдуманно верно. И вот в особом небольшом ковчеге выносятся причастие; это — изображение Тайной Вечери. Ковчег ставится на алтарь для народного поклонения. В это время все церкви открыты, и народ толпами переходит из одной церкви в другую для поклонения Телу и Крови Господней (как у нас, но только в пятницу, — поклоняются Плащанице). Перед алтарем зажжены лампы — но как? Подходя поздно вечером, вы видите всю церковь, погруженную во мрак — во мрак движущихся людей, и на ковчег, и на алтарь льется какой-то таинственный свет, тогда как ни одной лампы зажженной и вообще никакого источника света вы не видите. Удивленные и отчасти восхищенные зрелищем, вы идете вперед, лезете в темноте на народ, через народ, добираетесь до алтаря — и что же: весь пол усеян цветами и сухой травой, трава сложена в красивые седые, бледные пряди, точно волосы женщины, и лампы вставлены в них, не одна, не пять, не десять, но пятьдесят, семьдесят. Лампы разноцветные. Одни голубенькие, другие розовые, там желтые, и этот снизу свет, эта земля светящаяся — восхитительны, глубокомысленны. Это я почувствовал потому, что меня давно занимает мысль о двух всякого храма освещении, нижнем и верхнем. Ведь «religio», «связь Бога и человека», есть гармония земли и неба, и в храме, месте молитвы, должны быть проведены две черты, земная и небесная, во всем, в пении, в архитектуре, но особенно в освещении. И мне всегда мерцало зрелище церкви, имеющей два ряда лампад: верхний, под самым потолком, почти в потолке, рассеянno, как звезды, и ряд нижний, на полу или, еще лучше, в небольших углублениях пола, так, чтобы исходил только один свет, только один луч. Лучи земные встречаются с лучами небесными — вот прекрасный символ самой сущности религии. Поэтому, когда я увидел здесь исполнение одной половины давно манившего меня в воображении зрелища, я уже был подготовлен, чтобы особенно почувствовать его смысл и глубокомыслие.

Но поста в Риме почти не замечается. Ни в смысле еды, ни в смысле самой психологии. Не только в обширном пансионе, где я поместился, но и на улице, на множестве столиков перед тавернами, где обе-

дает последняя итальянская беднота, я вижу мясо. А нет поста — и не будет и «разгавливания». Поэтому нет куличей и пасхи. Это очень скучно. То ли дело у нас: какое веселое и даже прямо восхитительное зрелище представляют в Петербурге и Москве кондитерские в Великую субботу, а также и каждый дом, всякая семья. Все еще уныло, везде — пост, но завтрашний день — «красное яичко» среди 365 будничных некрашенных яиц. Минута уныния, которому завтра конец, — прекрасна.

Пост в Риме — совершенно обыкновенное время, отличающееся только литургическими службами, но не поведением мирян, не их образом жизни и если не главными, то очень важными выражениями этого образа: пищею и сном. Мы меньше спим, гораздо больше молимся, избегаем всего веселого и праздничного семь недель. Целую ночь, лежа в постели, я продумал об идее и психологии и основаниях поста и не пришел ни к чему ясному. Великий пост установлен в подражание сорока дням, которые Спаситель провел в пустыне и под конец их «взалкал»¹³. Но Христос постился перед вступлением своим на подвиг искупительного учения, т.е. было нечто специальное и к Его особой миссии относящееся, с чем был этот 40-дневный пост связан, и этой связи ведь у нас нет, и едва ли было бы благочестиво смертному и ограниченному и ни к какому подвигу не готовящемуся человеку, этому Ивану или той Марье, симулировать в себе и своей жизни столь великую минуту. Я читал у одного греческого аскета, что «к великому учреждению поста мы имеем прообраз еще в райском бытии человека, ибо запрещение человеку вкушать плодов от древа познания добра и зла и древа жизни имело целью своей воздержание в пище и, следовательно, пост»¹⁴; но это наивное рассуждение аналогично тому, как если бы кто начал уверять, что материк Америки сотворен был Богом для того, чтобы картографическое заведение Ильина могло издавать карты Америки. Зарапортовавшийся аскет совершенно забыл и даже нечестиво отринул особый, высочайший смысл моментов «познания добра и зла» и «жизни», воздержание от каковых, а не от голой еды яблоков было указано в Эдеме человеку. Переходя затем к Евангелию, мы видим, что Спаситель защищал учеников, вкушавших в субботу, от упреков фарисеев¹⁵.

Таким образом, собственно в Писании фундамента для столь сложного и обильного развития идеи поста у нас — не имеется, и едва ли это развитие не есть простое внесение в круг мирской жизни общепринятого, но самопроизвольно принятого образа жизни в аскетических обителях. «Как нам жить?» — спрашивали горожане пустынных. «Живите как мы», — ответили те, и только это и могли ответить с точки зрения своих обетов, но обетов личных и частных, нисколько не универсально-христианских. Образа христианского жития, приноровленного к городской, трудовой, заботливой, семейной общественной жизни, Восток не выработал и не имеет до сих пор. Это чрезвычайно важно. Пост и вообще разделение года на полосы мясоеда и поста в сущности и в настоящее время обнимают всю бытовую, трудовую и религиозную жизнь восточного православного человека; и вот он живет не ровным темпом, а полосами, порывами, в сущности — увлечениями, то в сторону грусти, то в сторону необузданного веселья и всяческого невоздержания. Но, очевидно, русской крови, русской душе это пришлось «по душе», и она теперь живет, существует, то «шапку набекрень», то «с вздыханием». Второе важное последствие этого: в православной русской душе мысль об отношении к Богу, «religio» до такой степени связалась с постом, т.е. собственно с едой, обедом, в последнем анализе — с гастрическим самоустроением, что из нее выпали все поиски более тонких и духовных способов утешения Богу. «Переменим стол с понедельника» — это слишком механично, это арифметика, а не религия. Мне возразят, что семь недель предписывается человеку и душевная тишина, кротость, подаяние милостыни. Но все это предписывается уже *потом, во-вторых*, не как главное: выдвиньте-ка вы как главное — несквернословие, необиду, помощь бедным, а затем прибавьте: «а кроме того, следует, по возможности, воздерживаться и от мяса» — и получится впечатление совсем другое. Вообще «главное» — везде исполненное, а «второстепенное» — всегда забыто. Мы говорим о народе, а не об исключениях; мы говорим о городе, а не о той или иной доброй семье. Постная пища вырезана в теле народном, в громаде национальной, как долотом; а о тишине слова и мысли или о доброте к соседу — по земле нашей мало слышно.

*

* *

Я воображал, что в Риме Пасха будет встречена в 12 часов ночи, как у нас. Но каково было мое удивление, когда, получив красный билет на особую эстраду в храме св. Петра в первый день Пасхи, я прочел: «10 часов утра». «Ну, католики совсем забыли Бога». — Вообще отсутствие поднятия темпа души у них в Пасху замечательно. Ни «страстей Господних» с выразительностью, как у нас, — нет, ни — Светлой заутрени в 12 часов ночи, с этой неизгладимой для памяти сменной черных риз на белые, с выносом из храма и обратным внесением хоругвей при возгласах: «Христос воскрес!» — нет и нет этого. Папа не служил, и мне сказали, что после юбилея он чувствует чрезвычайное утомление: и то сказать: 90 с чем-то лет¹⁶! В эти годы даже дышать только — и то трудно, а он еще правит, и таким трудным и сложным делом. Я сел на эстраде, на втором ряде скамей, почти лицом к лицу с прелатами, перед главным алтарем, и не пропустил ни одного звука. Служил опять Рамполла. Теперь он был в полном кардинальском облачении, т.е. в красном без единой иноцветной ниточки, но сидел уже не позади всех (как на «Misereere» в пятницу), а на особливом седалище, почти на троне, чуть-чуть правее средней (центральной) линии алтаря и обратясь к народу лицом и, следовательно, спиной к алтарю. В службе было много чудного и трогательного. Расскажу, как видел и чувствовал. Прежде всего, в Великую пятницу на «Misereere», когда я увидел кардинала впервые, я услышал около себя испуганно-неприятный шепот: «Точно Мефистофель». Действительно, Рамполла высокого роста и не худощавый, но, однако, сухой, худой в сложении: шапочка же кардинальская (красная) буквально воспроизводит или, пожалуй, сама воспроизводится в живописи и на сцене, в знаменитом колпачке Мефистофеля. То есть не буквально, но с таким сохранением типа, что кажется — буквально. Она сделана из легкой материи, сукна или бархата, ярко-красного (кровавого) цвета, и в основании, повинаясь сгибам черепа, — круглая, но затем из линии круга переходит в линию четырехугольника кверху и, мягко загибаясь в углах, оканчивается в вершине своей неболь-

шим красным сосочком или язычком. За этот сосочек кардинал берет ее, снимая в некоторые моменты службы. Но что-то острое, дразнящее и опять же гордое и страстное есть в типе этой шапочки. Тип этот, только других цветов, повторяется и в шапочках других низших католических чинов. Очевидно, это «пришлось», это «по вкусу» католикам и так же безотчетно и пластически выражает их душу, как пост выражает душу русского человека.

Кровавый цвет кардинальских одежд, как известно, имеет двойной смысл: он знаменует кровь, пролитую за нас Спасителем, и взаимно знаменует кровь, которую ближайшие сотрудники папы готовы ежеминутно пролить... за папу! за Христа! за себя (у них это путается)! за церковь! Теперь он был в полных кардинальских одеждах, и это не он шел, это шло торжество и слава. И он сел на трон, или кресло, и служение, собственно, все происходило перед ним: перед ним читали книгу и закрывали, или он громко читал поднесенную ему книгу, вообще все относились как бы к его лицу. Но раньше он был облачен, и это облачение несколько походит на наше архиерейское во время службы же. Надета была рубашка на него, белая и тонкая, и еще другая одежда была надета на чресла; в центральном месте службы вдруг поднесен был ему перстень на блюде, и он надел его, сверкающий бриллиантами. Не то ли это «кольцо рыбака» (кольцо ап. Петра)¹⁷, которое столько веков передается от папы к папе. Рамполла на службе этой заменял папу. Вообще момент нарядности и торжества все поднимался в службе, при постоянных возгласах хора: «Gloria! Gloria!»¹⁸ — возгласах нежных, глубоких и умиленных. Точно весь храм наполнился славой, и все эти люди чувствовали себя упоенными, счастливыми, близкими к самозабвению. На этот раз я не почувствовал, чтобы папский хор уступал нашим, и пение было удивительно по мелодии. Разница от нашего пасхального пения была в том, что у них не было коротких, обрубленных и все повторяющихся мотивов, как у нас в пении: «Пиво прием новое»¹⁹ или «На божественной стражи богоглаголивый Аввакум»²⁰ и проч., но все было как-то растворено сердцем и не прыгало в звуках, а сочилось звуками, текло, вилось, не прерывалось. Я бы так

сказал, что смешение нашего великопостного пения (везде — тягучего) с пасхальным (радость) и образует католическое пасхальное пение, эту не кончающуюся, не обрывающуюся радость, звуковую «реку, текущую млеком и медом»²¹. «Gloria! Gloria!» — Ниже, выше, там, здесь, за крылышками херувимов главного алтаря, везде «Gloria!», нежное, душистое, как благовоние весеннего цветка.

Вдруг кардинал встал. Я заметил, что он был облачен и только по подолу из-под служебных одежд широкою полосой выставлялся пурпур; в общем же одежды (верхние) походили несколько на наши служебные епископские одежды. На голове была все почти время службы желтая, большая, посредине раздвинувшаяся и кверху совершенно заостренная... митра²², что ли, но во всяком случае, такая же, как на множестве изваянных в св. Петре пап. Вообще заметно, что как все одежды средних чинов постепенно приближаются в цвете и форме к кардинальской, так кардинальская уже приближается к папской. Кардинал приблизился к алтарю и престолу и молился прекрасною молитвою, состоящею в склонении на колена перед алтарем и приникании лицом (и руками) к краю престола: молитва глубокая и сосредоточенная. Затем он поднял св. чашу. Пение, совершенно непрерывное, смешиваясь с металлическими звуками органа, было прекрасно. Вдруг все замолкло. Осталось одно, solo, альт, чистый и высокий, совершенно детский. Я вдруг вспомнил один альт в Брянске, в соборной церкви, которым заслушивался весь город, голос феноменальный. Но этот, будучи столь же детским, был несравненно выше, искуснее, роскошнее; он, по-видимому, не знал пределов силе своей и искусству. Я невольно оглянулся, ибо эстрада певчих была тут же сейчас, слева и сзади. В широком вырезе перил стоял старичок лет 55, может быть 60, небольшой и с пухленьким обвисшим лицом, бритый. «Кастрат!» — вспомнил я с ужасом историю папских знаменитых голосов и, может быть, не ошибся, а может, ошибся. Старичок неся, чудно неся в звуках, высоких-высоких, забиравшихся в небеса и точно наполнивших необъятный купол...

Вдруг вышли шесть священников, с толстыми и высокими, как у нас «пудовые», свечами, но только в

рост человека длиною, и стали на колени позади молящегося кардинала. Старичок еще повысил голос, еще унежил его. Было положительно хорошо, даже для православного, и не художественно, а религиозно хорошо. Какая-то ангельская минута, умиление, разлившееся по храму. Кардинал поднял причастие и придвинул к себе: у него руки не только задрожали, но, как у нас говорят, «ходуном заходили», он весь затрясся, он боялся страшно, как я не видал никого у нас и никогда за причастием, и причастился.

В ту же минуту обедня кончилась.

— Он верует, — подумал я. — О, какие пустяки, что они все не веруют, безбожники, служат сатане, а не Богу (идея Достоевского в «Легенде об Инквизиторе»²³) и т.п. Кто так взирает на Тело и Кровь Господню, — верует в причастие. А если он в причастие верует, — он и во все верует, т.е. во все христианство, во весь круг христианского спасения.

И я вышел с очень веселым сердцем.

По старому Риму

На второй день Пасхи я проснулся поздно и, потягиваясь в кровати, подумал. «Надо поехать к язычникам»¹.

«Il tempo Vesta, ponte Palatino, una lira»*. — И через 30 минут я был по другую сторону Рима, в храме Весты².

Изменившая своему обету весталка была матерью Ромула, основателя Рима³, т.е. исповедание было уже, когда родился великий исповедник-город и исповедник-народ. Отчего религия для своей удачи (употребим грубое выражение) должна приходить так рано, приходить в пору абсолютного человеческого детства? Неужели для крепости и силы веры нужно детство и неужели старик, или зрелый человек, есть синоним неверующего? Тогда пришлось бы самую веру слить с детством и незрелостью, и в таковом качестве она едва ли серьезно нужна. К тому же что детского было в ап. Павле? А он дал Европе религию, стоящую вот уже 1850 лет. Однако и тут мы впадаем в сомнения. Ап. Павел не дал религии евреям; те приняли, в обрезании, религию от Иеговы в пору крайнего своего младенчества, как и от ап. Павла и других апостолов приняли веру младенческие народы, нахлынувшие из Азии. Но, кажется, и здесь можно найти утешение против мысли о родстве детства и веры: ведь не прямо вестготам и вандалам проповедовал ап. Павел — его слушателями были старики-римляне, и это они, старцы исторические, ушли в катакомбы, и верили, и молились, и страдали; а уже потом все это римляне передали младенцам-германцам. Наконец, Лютер, Кальвин и Джон Нокс дали веру совершенно зрелым, цивилизованным народам; в нашем народе, все-таки почти тысячелетней исторической давности, продол-

*Букв.: «Храм Весты, мост Палатино, одна лира» (итал.).

жают возникать секты и находят пламенных прозелитов. Таким образом, гипотеза, что только в детстве народ сильно верит или что вера, только в детстве принятая, бывает исторически крепка, — не выдерживает критики. Всякий человек да верует в истинного Бога.

Но какое прекрасное начало религии у римлян: самая ранняя богиня — домашнего очага. Мы, христиане, решительно не знаем, к чему и к кому приткнуть свой домашний очаг. Вокруг его завывают ветры, бродят хищные звери, и, когда мы спрашиваем, где же от них искать защиты, слышим в ответ холодную мысль, что спасение есть и возможно, но для этого нам самим нужно выйти из очага, оставить его на слом ветрам и медведям и, пройдя сквозь дремучий лес всяческих испытаний, найти личное и одинокое, спиритуалистическое и загробное спасение. «Спасение для Ивана и для Марьи», но не для «Ивана, связанного с Марьей». Римляне брали самую эту *связь*, брали людей *за эту* их *связь* и *вели*, как ниточкою, *этой связью* их — к Богу; вот идея Весты, странной богини земного благоустройства, от нее же потекли обычаи, права, законы. «Jura dedit» — «права установил», записано у Ливия уже о сыне первой же несчастной весталки⁴.

Я с истинным благоговением вошел в храм. Он совершенно маленький, до странности — для храма, и — круглый. Очевидно, он не был предназначен для общественных молитв, для собрания народа. Величина его — с нашу средней величины гостиную. Он более поднимается в вышину, чем простерт по горизонту, и, таким образом, представляет собой круглый цилиндр, поставленный на основание. Оригинальную его особенность составляет круглая вокруг него колоннада; колонны поставлены часто, и, очевидно, это не опора для крыши, совершенно твердо лежавшей на верхней кромке цилиндра. Да и при таких маленьких размерах всей постройки колонна, как опора, как прием техники, — вовсе не нужна. Следовательно, странная колоннада входила в мысль храма, есть его органическая часть, то, без чего храму «не быть храмом Весты». Разгадка этих загадок, конечно, теперь уже потеряна. Известно, что в храме Весты неугасимо горел огонь, т.е. храм Весты был только огромно развитый светильник, без молитв и посещений (народных). Сами весталки

вовсе не служили в нем, а только поддерживали огонь, и требуемая от них абсолютная чистота, очевидно, шла от представления об абсолютной чистоте и святости таинственного огня. Так как этот храм был первый, самый древний в Лациуме⁵, то план и мысль его, теперь потерянные, перешли если не в план постройки других храмов, то в план устройства светильников, употреблявшихся в них. Они были как бы искры, рассыпавшиеся от очага, все — от очага Весты. В самом деле, если внимательно рассматривать древние, еще языческие светильники, мы в них заметим кое-что, аналогичное плану этого храма, который я рассматривал.

Храм Весты представляет просто цилиндр и колоннаду, без всяких украшений, углов, выступов, резьбы. Колонны его не только разъедены, источены временем, но слизаны веками, представляя длинные плоские изъёмы, как бы тут неудачно скользил рубанок и сделал выемку материала, где не надо. Все было поразительно древностью и, так сказать, тяжестью преданий в длинной нити событий, так или этак здесь концентрировавшихся; между тем глаз напрасно искал в простой постройке, на чем остановиться. «Вот, — подумал я, — уж поистине храм невидимого бога»⁶. Сердце у меня сильно билось. И так мешал гид или сторож, тут же приставленный хранить непонятную пустоту. Каменный пол святилища наполовину снят и обнаруживает под собой нечто вроде системы погребов. Я все искал самого святого места там, и мне захотелось спуститься вниз. Несносный гид полез впереди меня. Стены цилиндра продолжались и в землю аршина на два. Там ничего не было, кроме пустоты. Я провел по цилиндру рукой. «Ну что же! Полезем назад», — сказал я по-русски проводнику и пошел впереди его по вертикальной почти лестнице, по каким лазают у нас в погреба. Когда голова моя сравнялась с полом, я поцеловал украдкой от итальянца каменную плиту и привел таким образом в исполнение маленькое намерение — намерение, с которым я поехал сюда. В самом деле, какая древность, какая почтенная древность! Вольски еще бродили тогда, как волки около «*Roma nova*»⁷; Кориолан удивлялся седине сего места; о Кориолане припоминал Цезарь, о Цезаре — Шекспир, о Шекспире⁸, как старце истории, вспоми-

наю я. Какая лестница времен!

Прямо против входа на внутренней стене храма нарисован образ Божией Матери, но краски его почти сошли. В ободке стены цилиндра на середине между потолком и полом помещена крупная надпись: «*Felix est sacra Virgo Maria quia ex Te ortus est sol justitiae Christus Deus noster*» (Блаженна Ты, св. Дева Мария, потому что из Тебя изошло Солнце правды, Христос, Бог наш).

Этому дню суждено было стать для меня удивительной смесью впечатлений языческих и христианских.

* *

*

Прямо против храма Весты, на другой стороне миниатюрной итальянской площади, стоит старинная католическая церковь. Она, очевидно, давно не поновлялась, да и никогда не была ни великолепна, ни просто хороша. Мне сказал внутренний гид (проводник), который есть решительно при каждой римской церкви и развалине, что она называется *Santa Maria in Cosmedino*. Мне она чрезвычайно понравилась и, очевидно, не привлекая к себе кисть новых художников и старых великих мастеров, являет собой прямое и незатемненное выражение итальянского религиозного чувства. «Как верят итальянцы не по воскресеньям, а в будень?» — с этим вопросом я ее осматривал.

Шла служба в одном из приделов, и это не мешало гиду водить меня и показывать. Впрочем, церковь так мала, бедна и пуста, что я скоро его отпустил. На маленьком пространстве она заключает в себе пять алтарей. Замечу здесь, что церкви и алтари католические имеют совсем другое устройство, чем наши: они расположены не только на восток, но на север и юг. Идя по стержню храма к главному алтарю, вы направо и налево видите другие алтари. Далее, самый алтарь поднимается на несколько ступеней над полом церкви; но как у священника бывают сослужители, то от пола идут сперва три-четыре ступеньки и за ними длинной лентой возвышение, на котором в некоторые моменты службы становятся сослужители, затем еще 2—3 ступеньки и опять площадка, где стоит священник перед престолом, на котором лежат Св. Дары, Крест и горят

высокие свечи. Вследствие такого расположения алтаря вся служба видна до малейшей подробности молящемуся внизу народу, что составляет понятное удобство: у нас службу видят только передние ряды молящихся, «барыни и генералы», когда им случается зайти в храм, народ же едва слышит некоторые только долетающие до него слова.

В церкви, в которую я вошел, я стал осматривать образа. Уже в Венеции, первом итальянском городе, который я увидел, меня поразили изображения св. Франциска с Младенцем на руках. И здесь, в Риме, я увидел всюду же это изображение. Известно, что св. Франциск был основателем самого строгого ордена францисканцев, нищенствующие представители которого, полубосые (только подошва башмаков на ногах), с отпущенными бородами, в грубой серой дерюге вместо платья, без шапки, с мотающеюся вместо пояса веревкой, во множестве ходят по улицам Рима. Это демократический орден, это *plebs* католичества. И вот основатель этого ордена стал самым любимым, очевидно народно любимым, лицом в католической церкви. Он представляется всегда в статуях или в живописи с Младенцем на руках, и таково господствующее положение этого образа в католическом храме, что впечатление мужской Мадонны неудержимо ложится на зрителя. Ибо и в Мадонне ведь весь смысл заимствуется от Младенца же. На *monte Janiculo** во францисканской церкви я видел такое сочетание: св. Франциск держит Младенца, лежащего на его левой руке, а правой поддерживает его ножки; Младенец улыбается и, в свою очередь, подняв правую ручку, с нежностью касается ею подбородка монаха. Картина любви и нежности так выразительна, что впечатление «Мужской Мадонны» невольно. Это очень замечательно и не может не кинуться в глаза православному, который представить себе не может, да еще изображенным на иконе, священника с ребенком или архиерея-монаха с ребенком. На Востоке вообще нет нежности к детям, а «лоза» строгости. «Лоза» Домостроя и «лоза» бурсы. В *Santa Maria in Cosmedino* в обоих алтарях — св. Франциск во власянице, бедный, с веревкой вместо

*горе Яникуло (*итал.*).

пояса, и вместе это юноша, у которого едва пробивается на подбородке пух волос.

На восток обращены три алтаря. В самом правом из них за престолом образ Иисуса, а вверху над ним образ же, на котором нарисован один ягненок. Православный, вовсе не привыкший к подобным образам, прямо скажет: «овца». Если в Италии есть столь же необразованные мужики, как в России (а это, наверно, так), они и не догадаются, что это «Агнец», т.е. тот же Христос в апокалипсическом наименовании⁹. На огромном фронтоне собора св. Павла близ катакомб, фронтоне, еще оканчиваемом только и вообще совершенно новой постройки, в огромном полукружии сделано это же изображение. Стоит этот ягненок боком к входящим в храм; но головка его, кроткая как у овцы, повернута к молящемуся, и широко расставленные (горизонтальные) большие уши издали представляются как бы раскинутыми руками распятого человека. Вся голова ягненка с этими характерными ушами включена в широкий золотой венчик святых (нимб). Получается поразительное впечатление. Вы видите, что это намек на Иисуса. Но намек разгадывается, его смысл приходит после на ум, а прямо и зрительно вы видите просто св. ягненка, ягненка в храме и апофеозированного, как у нас апофеозруется только человек, святой человек. «*Sancta natura*»* — это у нас, на Востоке, никогда не придет на ум; в Италии — это всюду. Я думаю, святое чувство испытания природы, все эти благочестивые Коперники, благочестивые певцы, как Дант, пошли отсюда, тогда как на Севере, естественно же, пошли Бюхнеры, Спенсеры, с их мыслью: «В природе нет Бога». Я вспомнил аббата Секки, величайшего астронома XIX века и вместе иезуита; вспомнил, что великий музыкант Лист умер в монастыре: это оттого, что в церквах их ангелы играют на арфе, на скрипке (я видел в одной римской церкви, прямо под Мадонной, — ангел с крылышками ведет смычком по струне), на барабане (в этой же римской церкви). Тут дана чудная связь вещей, которую на Востоке и Севере еще предстоит найти. Или, точнее, на Севере и Востоке эту связь вещей, в действитель-

*Святая природа (лат.).

ности существующую, боятся взять в руки, боятся ей поверить. «Как можно — музыка! Это слишком приятно, и, следовательно, есть прелесть, а прелесть — от дьявола».

Живопись вся наивна. Например, перед левым восточным алтарем на стене написаны два изображения. В одном представлено Успение Божией Матери, а у ложа ее стоит Спаситель в традиционном своем изображении и держит ее же (Свою Матерь) на руках, но еще младенца; или, может быть, в младенческом виде представлена душа Божией Матери, которую принимает, после ее успения, в свои руки ее Сын? Изображение наивно и трогательно. Еще интереснее рядом с нею изображение: на ложе лежит, судя по венчику вокруг головы, Божия Матерь; она смотрит на купель, которую можно принять и вообще за сосуд для воды; у сосуда две женщины (без венчиков): одна наливает в сосуд воду, другая держит младенца (в венчике). Этого нельзя понять иначе как обыкновенное для детей купанье Спасителя. С другой стороны, к лежащей на ложе женщине (св. Деве?) подходят две женщины: одна несет плоды, другая несет в кувшине питье. Так как он нарисован перед престолом, то это — образ, следовательно, предмет молитвы; между тем по содержанию это чудесный жанр. Так чудно небо сочеталось с землей.

Это в боковых восточных алтарях. В среднем, главном алтаре, большем по величине, нарисованы: сверху Божия Матерь и четыре евангелиста, во втором ярусе Благовещение с одной стороны и с другой — Рождество Христово и поклонение пастырей. В последней картине-образе, кроме Божией Матери и Спасителя, звезда вверху, а внизу — пастухи, слушающие ангелов; коровы смотрят на лежащего в яслях Младенца-Христа, и тут же возле одного пастуха не затенено и в полном очерке — жеребеночек. В третьем, нижнем ярусе с одной стороны изображено поклонение волхвов, а с другой — Симеон Богоприимец, поднявший на руках Спасителя. В ленте вокруг алтаря, аршина на $1\frac{1}{2}$ —2 от полу, поочередно в квадратах: голубок, цветок, голубок, цветок.

Вся живопись глубоко архаична и по сложению рук, по постановке фигур чрезвычайно напоминает

старинную русскую живопись. Но какая разница в выборе сюжетов.

* *

*

Я вышел из Santa Maria in Cosmedino и побрел к конке. Но в Риме на каждом шагу древности. Не успел я сделать и пятидесяти шагов, как увидел огромные арки совершенно особенного сгиба, которые остановили мое внимание. «Это еще что такое?» «Это храм Януса четырехликого» (Quadrifrontis), — подсказал мне услужливый гид, тут же имеющий рублей на 10 архаического товара на лотке: вазочек, лампочек, кувшинчиков, черепков. — «Это все с Foro Romano». Действительно, Forum Romanum — всего за стеной соседнего дома. Храм Януса, как я сказал, имеет четыре аркообразных входа. На одной из арок фигура императора Каракаллы, на другой — Септимия Севера и его жены, Юлии Благочестивой (Julia Pia), с общеизвестным жезлом Меркурия в руках. Внизу — жертвоприношение; огромного быка ведут четыре жреца. На другой стороне арки — того же быка закалывают. Тут же изображены орудия жертвоприношения и амфоры, в которые собирали жертвенную кровь. Странная религия: она имела свою психологию и метафизику, но как далека она от нас.

Я взглянул на крест, сверху поставленный над храмом Януса.

— Все умерло, кроме христианства.

В самом деле, все в религии и все религии умерли, кроме одного христианства. Никогда я этого не осознавал так ясно, как стоя перед храмом Януса. Дело в том, что я стоял, живой христианин 1900-го года, перед живым же верующим изображением заколаемого быка, — и контраст веры у зрителя и скульптора почувствовал в своей груди. Я спросил себя: «Что бы я сделал, если бы это видел?» Конечно, — я оттащил бы быка, хоть за хвост, в сторону и дал ему сена и ни за что бы не дал бы его жрецам, т.е. для меня он — жертва в смысле несчастья, и они — вовсе не суть счастливые служители счастливого бога, а только разбойники, волки-люди, прирезавшие мирную скотину. Мы все, психологически и религиозно, вегетарианцы. Мы

имеем только травянистую, растительную душу. Никогда я этого не признавал так глубоко. То, что было для них тайна, для нас только зрелище: я говорю об этом жертвоприношении, неприятность которого не мог не чувствовать, хотя признавал, что для них тут проходила тайна. Но размышления во мне начались: если бык — не тайна, конечно, его можно убить, кому это не страшно, например: это не страшно мяснику; но ведь быку в животности своей, в физиологичности своей совершенно аналогичен человек, исключая, конечно, бессмертного духа, на который никто и не замахивается ножом, да и нельзя, ибо «душа бессмертна». Но вот на эту «физиологичность»-то нашу можно ли замахнуться ножом, на эту нашу «физиологичность», которая ведь ничем не отличается от бычачьей?

Я вспомнил «Преступление и Наказание» и странную тоску героя, которая мне показалась родственною с религиозной тоской этих жертвоприносителей: «Не трогай крови, ибо кровь-то и есть бессмертная душа, а за нею — Бог»¹⁰. Но я продолжал думать еще дальше. Колоссальные и какие-то равнодушные войны нашей эры, смертная в ней казнь, так хорошо привившаяся, т.е. «убий» — по закону, суть только показатели вообще легкого отношения к человеческой крови, и это не без связи с тем, что мы не собираем более крови быков в священные амфоры! Ибо, повторяю: душа у человека, конечно, другая, чем у быка, но ведь ее и не режут, в нее не стреляют, а стреляют в тело, *chair à sapon**, которое у человека чем же существенным отличается от тела быка?!

Таким образом, кроткая наша травоядность «о двух концах». Да, я чисто плотен, брезглив и могу дать быку только травы. Но другой «вегетарианец», которому случилось бы быть и не брезгливым, и не чисто плотным, прольет зато реки крови с таким чувством, как если бы это была вода. И притом даже не живая вода, а вода, как известное отношение азота и водорода. Отсутствует тяготение к крови — у меня, но в связи с этим у другого «вегетарианца» нет ужаса перед кровью. Кровь — по-нашему вообще не тайна. А если — не

* «пушечное мясо» (франц.).

тайна, то незачем, конечно, и в жертву богу приносить кровь, но и, обратно, незачем удерживаться, мистически удерживаться, религиозно трепетать перед ее пролитием. «Только жалко». — Только? Ну, это немного. Вот где лежит разгадка, почему такая кроткая цивилизация, как наша, стала в то же время столь воинственно кровавою: кровь стала водой, сперва в нас, но затем уже и — для нас.

В крови нет тайны — и в мире нет тайны. Если нет тайны в быке, с какой стати она будет в траве, в камнях? Они, во всяком случае, меньше живого. А нет ее в траве, камнях и в живом, нет и в звездах, ибо звезды непременно или камни, или трава, или живое, но во всех этих трех случаях сочетание кислорода, водорода и проч. Но тогда для чего рисовать звезды в храме или на храме? Конечно, и там Бога нет; если же Он там есть — Он есть и в быке, и, значит, надо тогда короновать быка и кровь его собирать в амфору, а вообще и во всех случаях, кроме жертвоприношения, религиозно относиться и трепетать пролить кровь и быка, и человека, и всякой дышащей твари.

Как связаны все вещи в мире. И все-таки: «все умерло — кроме христианства»... И если некоторые метафизические идеи древности так необходимы, напр. о крови, о священстве мира и тайном чуде мира, то они восстановимы не иначе как из единственной живой теперь вещи — христианства. Так что нужно начинать круг мысли: «ничего не умерло, потому что — Христос воскрес!»

Дети и монахи в садах Боргезе

Вилла Боргезе, знаменитая своими художественными сокровищами, есть старый дворянский дом, окруженный огромным парком, вроде московского Нескучного сада. Картинная галерея в 1899 г. куплена итальянским правительством, которое, вероятно, почувствовало потребность иметь музей сокровищ, сколько-нибудь соперничающий с Ватиканом, и в руках фамилии Боргезе осталась одна галерея скульптуры, гораздо более бедная¹. «Давид с пращой», статуя Бернини, есть главное украшение этой галереи. Однако картины не перевезены новым владельцем в особый музей, а оставлены на старом месте. Самый дворец Боргезе есть, по внутреннему убранству, живописи потолков и по цветным мраморам, составляющим его стены, великолепный памятник истории и искусства. Осмотр всякой галереи есть вещь физически трудная. Боль в спине, отекающие ноги, чрезвычайная пестрота впечатлений и их невольная краткость — все это делает вас через 3—4 часа ходьбы и стояния почти больным. Посредственные произведения (среди которых, однако, могут попасться исключительно вам интересные) отнимают время и притупляют вкус раньше, чем вы доберетесь до сокровищ. Поэтому настоящую цену приобретают только последующие посещения одной и той же галереи, когда вы подходите прямо к выбранным вами сокровищам и осматриваете в день картин 15—20. Но и этого мало. Нужно свыкнуться с картиной, нужно, собственно, жить среди картин, чтобы впитать в себя весь их аромат. Но какой богач теперь может сделать это? Старые мастера все раскуплены, новые посредственны, остатки еще не попавших в галерею сокровищ ценятся на огромные деньги, и сочетание галереи и туриста представляет в высшей степени неблагоприятный, но почти единственный способ сочетания человека и картины, зрителя и искус-

ства, ученика и учителя. Это нечто вроде «странствующих учителей»² Норвегии. В самом деле, мы учимся из картин, и наше туристское странствование около них совершенно тождественно с тем, как если бы мы сидели дома, а картины странствовали по свету и заходили, то одна, то другая, к нам на минуту. Присела и ушла. Или, только приотворив дверь, сказала скороговоркой: «Вот это я, *Amour sacré*, *Amour profane*, Тициана — запомните», — и скрылась. Ни впечатления, ни поучения. Одно раздражение. «Да, есть много картин, разные там итальянские, голландские; тоже есть русские; много картин и хороших», такое «приготовительное училище» остается в голове после странствия, и едва ли не лучше совсем не входить в это училище.

Единственное средство этого избежать — перестать странствовать и начать сидеть. Но где сидеть? Весь свет теперь доступен обзору, и наша жизнь никогда не повторится, а хочется все видеть. «Я мог видеть Эскуриал³ и вот умираю, не видев Эскуриала». Если бы мы и «там» могли странствовать по музеям! Но, нам рассказывают, там мы будем странствовать по мукам. Я не знаю, почему мы будем «по мукам странствовать», когда и в земной жизни редко выходим из муки, и что такое за нравственный кисель бытие мира, если и здесь «мука», и там «мука», и ничего, кроме этого. В конце концов и сидеть дома — ничего не увидишь, и, начав странствовать, — увидишь плохо.

С такими мыслями я кончил обозрение картинной галереи Боргезе и облегченно вышел на воздух. После четырех часов воздержания папироса одуряет, как гимназиста. «Вот теперь хорошо, и воздух, и трава, и табак». Я не пошел домой, а углубился в парк. Вдруг слышу голоса, много голосов, и какое-то хлопанье, чего обо что — невозможно было понять. Я пошел на шум и вышел на обширную луговину, где семинаристы играли в мяч с детьми, очевидно — городскими, потому что они не были одеты по форме, а неподалеку гуляла и взрослая публика, вероятно — семьи этих детей.

Так как тут не было скамей и царила полная свобода, то я присел под деревом и долго наблюдал сцену. Удивительны эти католические семинаристы. По возрасту скорее это были академики уже, а не семинарис-

ты. Позднее я увидел в парке и гуляющих священников, или профессоров, людей совершенно взрослых и даже изредка старых. Таким образом, играющие семинаристы не были вовсе в стороне от призора старших. Между тем они резвились, как дети, очевидно, входя во все упоение игры в мяч. Бритые, худощавые, в черных круглых форменных шляпах, в длинных же черных стихарях⁴ с красиво развевающимися лентами по спине, они бегали, падали; ударяли огромный резиновый шар носком сапога и ловили его, все вперемешку с городскими мальчуганами от 8 до 13 лет. В течение всей игры ни разу никто никого не ушиб, не закричал, не обругал, и вообще мягкость и деликатность шалостей и игры бросались в глаза. Просто — резвились дети, взрослые и маленькие, учащиеся и неучащиеся, и только. Никакая дисциплина их не связывала, кроме молчаливо принятого согласия — быть вежливыми. Напора дисциплины, надзора старших, из-под которого так хочется ускользнуть младшим, здесь не было, и не могло развиться антагонизма между ними, вечного русского антагонизма между тюремщиком и его узником. Я наблюдал это как бывший педагог⁵. Но зрелище заинтересовало меня и как историка одною чертою католицизма.

Он представляется нам как дьявольская дисциплина прежде всего и впереди всего. «Покорность — вот сущность католицизма». Так мы учим со школы и так читаем в книгах. Но, прежде всего, мне подробно известны прения на двух последних соборах о непорочном зачатии Св. Девы и папской непогрешимости, и из них я знаю, как свободно говорили на них оппоненты новых догматов, говорили в присутствии папы, говорили против папы. «Смотрите, он запнулся и чуть не упал, — сказал Пий IX об одном сановнике церкви, — это оттого, что он так дерзко говорил против Св. Девы, и св. Бенедикт не поддержал его»⁶. Запнувшийся о ковер сановник был бенедиктинец. Соборы Тридентский и Базельский тянулись более десяти лет, и, значит, были горячи споры, а следовательно, они были и чистосердечны, не под давлением дисциплины, если так долго не могли решиться поднятые на них вопросы⁷. Это говорят мне мои исторические сведения. Но зрелище Рима еще более убедило в этом. Нет свобод-

нее и, так сказать, внутренне буйственнее человека, чем католический священник, академик, семинарист, прелат. Точно они все летают около какой-то добычи, огромными кругами, быстро рея в воздухе, свободно, именно как птица в воздухе. Я целые дни провожу на воздухе, живу в Риме месяц и не видел священника, идущего медленно, развалясь, устало или скучающего. Ни одного кислого лица я не видел целый месяц. Это выражено даже в костюмах: вот белые мантии, вот красные (германские семинаристы иезуитской школы), вот черные: то из синей и красной полосы кресты на груди, то других цветов. Насколько военный итальянский костюм множеством нашивок, позумента, перьев на голове и вообще разнообразием цветных мелких полосок напоминает петуха, настолько духовный католический костюм одним цветом, большим, полным, на весь костюм, но цветом ярким и где-нибудь пересекаемым всего еще одним ярким же цветом — красив, серьезен, величествен и говорит о стойкости и силе. Далее, офицер итальянский всегда скучающая персона на улице или ставшая в позу: усы кверху à la Вильгельм, перьев на шляпе целая копна, красив, плоск, незанимателен, мускулы — грошовые, лицо самодовольное и глупое, а главное — стоит развалясь, уже устал, ему бы присесть или лечь, настолько же академик, или семинарист, или священник, быстр, увертлив, стремителен к цели и, кажется, никогда не устанет. И вот это «не устанет» я и связываю с особою постановкою у них дисциплины. Конечно, она есть, но свободная. «Братья, вы позваны к подвигу, необычайно трудному, но будьте в нем свободны». «Да, мы идем на подвиг, труднейший, и идем на него свободно». Этот диалог составляет душу католицизма, это непременно, это непререкаемо, без этого невозможно объяснить ни успехов католицизма, хотя бы в деле миссии у язычников, да и в борьбе со светскими европейскими правительствами, ни самого вида их, просто — зрелища католической священнической толпы. От этого, вне задач действия, борьбы, — они глубоко свободны. Свободны лично и бытовым образом. Заморенного вида русского гимназиста или семинариста у них не встретишь. Унылого же вида русских монахинь — не встретишь. Бедные наши монашки, собирающие на постро-

ение церкви по улицам, в лавках, в конках, — я их вспомнил здесь. Здесь я тоже вижу множество монахинь с четками, в черных мантиях, в огромных то белых, то черных простых и необыкновенно красивых головных уборах, ведущих детей школ на прогулку. У них тот же твердый и решительный шаг, как и у семинаристов, лицо открытое и смелое и совершенно счастливое. Есть пассивный подвиг, есть активный подвиг. Мне рассказывали знающие люди, что для монашенки вырваться с книжкой и блюдом для сбора подаяний, это — восторг, это — счастье, это — отдых душе и телу. Наконец она увидит людей, увидит жизнь, хотя косым взглядом, брошенным на толпу. Вне этого подвига ее — неподвижность. Сущность ее призвания — умаление, вращение в землю; меньше, меньше, вошла по пояс в землю, по плечики, по головку, совсем вошла, умерла — «святая»! Так в веках сковались наши понятия, и как это в самом деле трудно, какой это подвиг заживо умирать, в способностях, в сердце, в теле, и — в неудачных случаях — какая отсюда поднимается мука, недовольство, гнев, ярость и... и необозримые сплетни друг на друга, подземные копания друг против друга, наущничанье, злословие, еле знакомая обстановка внутренней жизни наших монастырей. Лететь некуда, лететь незачем, и люди сгорают сидя на месте, а еще чаще — скисают, прокисают, дурно пахнут, психологически дурно пахнут. В Риме преспокойно монахини ходят везде. Я их видел ведущими детей на учение, но видел же во множестве и просто гуляющими, идущими в одиночку, самых молоденьких, без призора. «Я не побегу за приключением, потому что я свободно избрала подвиг»; «если вы станете присматривать за каждым моим шагом — я сброшу мантию»; «я — воин, а не узник». Идея «воина» глубоко выражена во всем католицизме; сперва это была задача, но, наконец, это стала и психология, из которой выросли новые задачи, те самые, с которыми никак не могут справиться новые правительства. Самое безбрачие там не имеет смысла нашего безбрачия. Мало ли отчего люди бывают безбрачны, решительно никакой вражды не питая к браку. Я слышал об одном деятельном министре шестидесятых годов, который просто «забыл жениться», уйдя весь, со всеми помыслами и горени-

ем сердца, в преобразовательную работу. Наша армия не жената (почти не жената), едва ли особенно плачась на это. Запорожцы — вот лучший пример свободно возникшего и добровольно содержимого безбрачия. «Нам с женами и детьми неудобно: мы — сегодня живы, завтра — умерли, сегодня — здесь, завтра — за тысячу верст». «И нам, — говорит католическое духовенство, — неудобно же: сегодня мы в Риме, завтра — в Гонолулу; вчера были в Китае, завтра отправляемся в Африку, принимая везде раны за Santa Maria и Jesu; иметь такому отцу детей просто бессовестно, но мы не ненавидим детей, порукой — св. Франциск, эта статуя его с ребенком, да и для женщин мы вовсе не умерли, психологически и бытовым образом, и только избегаем связывающих и ответственных уз».

Роман священника, совершенно немыслимый на Востоке, внутренне мыслим и всегда был на Западе, не возбуждая особенных тревог, ни страха, ни стыда, ни замечания следов. «Быль молодцу не укор»; «влюбился и Андрей Бульба», а католический аббат написал один из самых изящных и пылких романов старой французской литературы, вовсе не прячась за псевдоним и не краснея за свой труд⁸. Таким образом, безбрачие там есть удобство, а не идея; условие подвига, а не цель жизни. «Вы безбрачны? для чего?» — «Так, сижу и остаюсь безбрачной!» — «Не хотите, может быть?» — «Нет, и хочется, но уж дала обещание». — «Да для чего же дали обещание-то?» — «Люди сказали, что хорошо; я поверила тогда, а теперь уж нечего делать». — «Да что люди-то говорили тогда?» — «А что плоть от диавола и что ее надо беречься, и укрощать, и соблюдать чистоту, даже до смерти». Стоя и озираясь в католической церкви, просто нельзя набрести на такой склад мысли. На Востоке же идея самоистязания первее самой религии, и как будто религия немножко вытекла из этой идеи или по крайней мере всецело охватила ее. Таким образом, идея эта не есть специально восточная, а привилась к восточному христианству, разрослась в нем, найдя для себя некоторые подходящие в Евангелии словечки, которыми воспользовалась с огромною, чисто сектантскою силою. На Востоке быть всецело преданным Богу — значит быть всецело отторгнутым от

другого пола, сосредоточиться в себе, уединиться и — умереть.

От этого, говорю я, католическое духовенство мало что имеет в себе общего с нашим. Несмотря на общность наименований: «священник», «монах», «епископ», на общность дел: «литургия», «проповедь», «совершение таинств», — восточное и западное духовенства до неузнаваемости расходятся, до обвинений в «ереси» противоположны по всей своей нравственной, и умственной, и религиозной, структуре. Они различны, как движение и покой; как жизнь и смерть; по внешности они не сходны, как офицер и нищий. Мы всего более любим восточное духовенство за то, что оно не вмешивается в жизнь, не пытается руководить ею; и само духовенство это полагает своей заслугой, считая это скромностью, возвышеннее называемую «смирением». Западное духовенство ничего не понимает в этих добродетелях. Оно рвется вовсе не к власти, как кажется нам, а к делу, движению, и власть уже получается сама собою отсюда. Как обрадовалось бы оно предложению учить народ, взять в свои руки школу; на Востоке это предложение вызвало уныние духовенства. «Мы не от мира сего», «мы не умеем», «это — не наше призвание, наше призвание — литургисать», «нам некогда, и, по крайней мере, назначьте жалованье». На том свете будет сказан суд тому, сколько здесь действительного смирения и действительной лени; добродетели и порока. Но совершенно понятно, что и западная добродетель, деятельность, имеет в себе порочную сторону: жажду власти. Вообще на земле всякий плюс имеет около себя минус. Буржуазия теперь не только деятельна, но и властолюбива; рыцарство было деятельно — и получило власть; парламенты сейчас и короли некогда трудились и властвовали. Вообще власть есть вершина дела, коронует деловитость; и просто тот факт, что на Востоке духовенство было [не] деятельно и в этом полагало задачу своего душевного спасения, породил его внешнюю скромность; а на Западе полет и пыл и, наконец, венец и скипетр получились от первосвященника и до последнего каноника просто из того, что они никогда не отделяли веру от жизни, спасения душевного от благоустройства земного. «Лети — и спа-

сешься», «сиди — и ты спасен будешь» — вот два лозунга.

Вот отчего талант и иногда гений всегда стремительно текли в католическую церковь. Не католичество искало гениев, а гении искали католичества, как поприща, как арены, как Бертран Дю-Геклен искал турниров, Ахиллес стремился к Трое. Посему сказать, что католичество пограло Италию, конечно, можно, это даже верно; но в каком смысле? в том же, в каком русская литература, пожалуй, съела русский дух. Русский дух сотворил русскую литературу, и, *vice versa**, это есть то же, что русская литература впитала, вобрала русский дух и оставила только крупички таланта для других поприщ. Мы не бежим здесь за точностью определений, ибо приводим только пример. Россия взяла от крестьянства Ломоносова, и крестьянство, через эту дачу, обеднело на Ломоносова. Если бы крестьянство не выходило в дворянство и монашество, если бы через школу оно не отдавало своих сынов медицине, филологии, чиновничеству, литературе и, словом, не подкармливало своею кровью, как питает своим хлебом, всю Россию, конечно, оно в себе самом, как крестьянство, как быт крестьянский, поэзия, благоустройство и удаль, было бы сочнее, душистее, игривее. Оно было бы талантливее и могущественнее. Достаточно в истории или в стране зажечься фосфорическим, особенным светом одной точке, а уж бабочки на нее полетят. Со времен катакомб и Колизея в Риме горит одна точка: кровавый крест. И вся кровь Европы, как в организме к сердцу, прилила сюда. «И мы — за крест», «и мы хотим гореть».

И это продолжается доныне. Это составляет самую опасную сторону католицизма для Италии и других католических стран. Ни одно правительство не может дать человеку таких обещаний; просто оно слишком бедно для этого, культурно бедно, исторически бедно. Ну, оно сделает талант министром; ну, оно сделает его фельдмаршалом. Но прошло оно, само это правительство прошло, — и пали в вечность забвения или даже смеха его герои. Много теперь осталось от имени Даву и Мюратов? Одна почерневшая позолота, за-

*наоборот (лат.).

бава школьников. Но мальчик-католик — а какой талантливый мальчик не бывает необузданным мечтателем — знает, что он вступил прямо на цезарский путь. Григорий Гильдебрандт был сын кузнеца, Иннокентий III — патриций; и как для дворянина, так и для ремесленника, на католической учебной скамье, в сем 1901 году, открывается поприще необузданного, палящего воображения. Он поступил в великую армию; ему говорят, что эта армия от Христа и что она не погибнет до окончания мира. Он вступил прямо в вечность, и от сил пловца будет зависеть, докуда в этой вечности он доплывет. Во время войны 12-го года кому хотелось остаться в тульском гарнизоне, а не попасть к Кутузову? Мальчики рвались тогда. И вот почему вторую тысячу лет мальчики рвутся к папе.

Подвиг манит героя. А католичество определило себя как подвиг земной, опасный, рискованный, многообещающий. Это другое Монако Европы. Туда текут деньги, сюда — таланты. Только этой всепроницающей психологией, скрывающей в себе бездну романтизма, сочетавшей искуснейшим образом необузданную мечту с ледяным расчетом, огромный седой практицизм с золотыми кудельками детства, можно объяснить то, что я всякий день вижу: толпы и толпы юношей, красивейших, сильнейших, очевидно, самых даровитых в стране, с лицами счастливыми и уверенными, с твердою поступью и дерзко открытым взглядом. Точно юнкера перед выпуском. Не мои слова, но мною подслушаны: «Когда монах идет, точно земля под ним трясется». Я засмеялся этому неисторическому наблюдению. Но то, что здесь физиологически верно схвачено, — это действительно странный шаг, совершенно отличающийся от шага всех прочих итальянцев. И то же я видел у монахинь: эти как древние весталки, они ни перед чем не сворачивают, и сам консул с ликторами отходил перед ними в сторону⁹. Отходил в древности, и сторонятся теперь. «Бедным христолюбивым сиротам — копеечку на пропитание», — нет, этого восточного робкого причитания здесь нет. О, и здесь берут, и как еще берут: «в пути на службе копеечка не мешает». Но вся ухватка другая. Это берет воин добычу, а не нищий после подаяния целует руку.

Выцветающая живопись

Наконец я в Сикстинской капелле и в примыкающих к ней залах с фресками Рафаэля.

Ватикан 400 лет назад напоминал наши архиерейские дома¹, как они строятся теперь, только был обширнее. Узкие, неудобные и крутые лестницы; какие-то коридорчики, по одну сторону которых стена, а по другую — сплошное стекло в бесконечном переплете многосаженной рамы; красивый кирпичный пол, нигде — мрамора, материал или дешевый, или изношенный, форма — неуклюжая, страшная усталость ног, задыхающаяся грудь, — вот общая физическая и зрительная тяжесть, с которою я вошел в Сикстинскую капеллу. Она — небольшая, как именно внутренняя домовая часовенка, где молится владыка дома или его немногие близкие.

Капелла расписана Микель-Анджело². Прямо против входа — «Страшный суд», а ее согнутый в отлогий свод-потолок занимают: пророки, сивиллы, сотворение мира и человека, разложенные на его моменты, и так называемые «предки» — «les ancêtres». Это — фигуры старцев и стариц, о которых когда спросили Микель-Анджело, кого он тут изобразил, то он неопределенно ответил, что это — «предки», т.е. те лица, которые поименованы в родословной Иисуса Христа в начале Евангелия³. Разумеется, большинство их так же неопределенно, относительно своего характера и судьбы, названы в Евангелии, как неопределенно и в сущности уклончиво Микель-Анджело назвал их любопытным спрашивателем. В действительности — вся капелла пророческая. Вся дышит, летит вперед; грозит будущим, как Страшный суд, оплакивает прошлое, как Иеремия оплакивал разрушенный Иерусалим⁴. Микель-Анджело в красках очень родственен Данту в слове.

Но прежде чем я успел что-нибудь рассмотреть, невероятная жалость и еще более страх защемили мое

сердце. Живопись уже наполовину выцвела. Еще 400 лет, и она сольется с пепельным цветом загрязненной извести, разве только сохраняя в каемочках пятен контуры древних картин. Что за недогадка: окна капеллы надобно заставлять черным картоном на все 24 часа, открывая не более как часа на 3—4, когда они осматриваются, и то не ежедневно. Я принес из катакомб камешек, с ладонь величины, часть разбитой и лежащей в кусках картины; половина его занята зеленой полосой, вероятно, краем одежды. Когда я его вынул из кармана и осмотрел, я увидел, что краска на нем до того свежа, что кажется сырою, вчера нарисованною. И вот эта особенная сырость свежести, столь ласкающая глаз, отличающаяся от полинялости, как жизнь от смерти, заставила меня инстинктивно, кладя его на стол после осмотра, положить краскою книзу, а не кверху. Солнце ярко било в окно, итальянское жадное солнце; и я почувствовал, что через 5—6 часов его действия сырость свежести этих красок уже пропадет. В одно-два-три лета выцветает и портится платье. Пусть это жалкие по крепости цвета, но в 200—300—400 лет какие цвета выстоят? Как не понять, что всякая картина, не скрывающаяся в ночи катакомб или приблизительно такой же, гибнет; и когда гибнут единственные творения Микель-Анджело невозвратно, неудержимо, ежедневно, — это ужасно!

Теперь фрески Рафаэля имеют только половину первоначальной красоты. Увы! и здесь этот же грозный серовато-блеклый цвет целой комнаты, как в Сикстинской капелле. Я заметил, что почему-то именно Рафаэль и Микель-Анджело выцвели более, чем их современники, тут же, в соседних залах, представленные. Нежность ли кисти, особо ли тонкий и прозрачный слой краски или особенно сложное сочетание цветов, из которых, как известно, всякий выгорает неравномерно с другими, а медленнее или скорее, но картины Рафаэля и Микель-Анджело особенно пострадали и уже не полны цветом теперь, уже растеряны в тончайших паутинках гениального зиждительства и подобны не разорванной, но уже износившейся, поредевшей, обнаружившей нити свои царской порфире. Точно крылышки бабочки, до которых дотронулись пальцем: они — не те и ни-

когда не будут теми, какими вышли из лона природы!

И поправить этого нельзя. Никакой реставратор не осмелится притронуться кистью к картине Рафаэля, хотя бы даже окончательно гибнущей. Тут же, в залах близ Сикстинской капеллы, было несколько художников, копировавших сюжеты Рафаэля; их снимки, конечно, старательные, вероятно, талантливые, показывали, до чего в сущности творения гения кисти невоспроизводимы, непереводимы на другой кусок полотна. Это как Херувимская песнь⁵, «изложенная своими словами». Сюжет тот же, но нет той же души. *Causa materialis**, говоря словами Аристотеля, в обеих одна, но *causa efficiens* и *causa finalis**6* — разные. Только Рафаэль может рисовать «как Рафаэль», а когда пробует другой «как Рафаэль» — получается непременно и всякий раз «как другой». Т.е. первоклассное в живописи несрисовываемо, невоспроизводимо вовсе, никогда, никем, и уж если гибнет — то гибнет. Солнце берет назад сокровище, в сущности им на землю принесенное или у него похищенное.

Удивительно, какие мысли во мне возбудила Сикстинская капелла и также большие фрески Рафаэля: о политической, да и вообще всяческой свободе. «Мы не свободны, мы не свободны», — твердил я, бродя по комнатам. И еще: «нужно свободы, доходящей до безумия, до безрассудства, чтобы начать так творить». Оговорюсь: ведь каждый американец теперь, т.е. сын, казалось бы, свободной страны, в сущности есть подданный своего лакея, буфетчика, истопника печи, обычая городского, государственного, общекультурного. Он не свободен от прически до веры, от выбора невесты и до «фасона» гроба, в который его положат. Не в том веке, но в той же цивилизации (ибо это была целая цивилизация), в которой творили Микель-Анджело и Рафаэль, Де-Фозэ написал своего «Робинзона», это самое жадное в отношении к свободе творение; жадное, как огонь к кислороду. Ибо тут природа. Вот *природной*-то жажды к свободе, не подогретой, не искусственной, в нас и нет или ее мало;

*материальная причина (лат.).

**действующая причина... целевая причина (лат.).

мало ее в американце и в русском, а в тех людях она была.

Таково впечатление от Сивилл Микель-Анджело. Известно, что вне христианского и иудейско-канонического круга священных книг были языческие книги, в которых содержатся (или думают, что содержатся) тайные намеки на пришествие в мир Спасителя. Книги эти, ритмического и стихотворного сложения, называются «Сивиллиными книгами»⁷ и относимы были к легендарному лицу особых пророчиц, Сивилл. Мне приходилось прочесть из них одну (в западной литературе они все изданы и комментированы): она исполнена тоски, скорби, темных надежд и обширного космополитического полета фантазии. Вот их-то и представил Микель-Анджело в аллегорической, конечно, форме как женщин, то читающих, то пишущих, и сотворил вторые «Сивиллы», второе и новое о Боге-Слове пророчество. Их пять: *Sybilla Lybica*, *Sybilla Persica*, *Sybilla Cumana*, *Sybilla Erytrica*, *Sybilla Delphica*, — по месту или странам правдоподобного происхождения загадочных книг. Конечно, эти книги более чем апокрифичны, и ввести Сивилл в сонм ветхозаветных пророков — Захарии, Даниила, Иеремии, Иезекииля и других — в частной капелле первого христианского священника — это одно уже дерзко по мысли, своевольно и бурно, как именно апокриф, ниспровергающий канон всех традиций! Ни на одну минуту это не было бы позволительно у нас, и Микель-Анджело мог бы расписывать так дворцы, но ни одна капелла с его Сивиллами не была бы у нас освящена. Таким образом, тут сказалась свобода культуры, свобода исторического момента. Но она ли только!..

Как эти Сивиллы нарисованы! «Боже, до чего это свободно!» — думал я, глядя на них. В красках, все светлого фона, с преобладающим желтым, может быть напоминающим желтый песок или желтый луч солнца тех горячих стран, откуда пришли «Сивиллины книги», — есть ужасно много нежного, тайно-женственного, ласкающего, не острого и не угрюмого. И между тем в то же время лица пророчиц (особенно, напр., *Sybilla Cumana*) бесконечно угрюмы, напряжены, строги. Однако не все: *Sybilla Cumana*, желтая, старая, страшная в своей биографии, отразившейся на челе, и самая прив-

лекательная, ибо она воистину пророчица, заставляет каждого согнуть перед собою колена как мальчика; но другие, как Sybilla Delphica, — привлекательны, грациозны, однако, в столь мощных чертах, что остаются для всякого пророчицами и гонят в зрителе тень мысли об единстве естества у них и у него. Да, это — пророчество в живописи, и кисть была в руках пророка. Но и это еще не все: в пяти фигурах вовсе нет общепророчесственного; что вот живописец имел концепцию языческого пророчества и разложил эту концепцию на пять моментов или аллегорий. Где-то или когда-то ему приснилось или привиделось пять странно-страшных лиц, которых он не мог забыть, которые изнутри все грозили ему, может быть, что-нибудь шептали, и он эти пять кошмаров бросил на потолок Сикстинской капеллы и подписал, что пришло на ум: «Сивиллы», «древние пророчицы», никому не известные и не понятные. Это как и ответ о других фигурах: «Предки Иисуса»; ответ — неопределенный, уклончивый, чтобы отвязаться от вопроса. Каждая из Сивилл как бы ничего не знает о другой; это не аллегория одной концепции; каждая имеет биографию свою на лице, ни с кем не соотнобразуется, каждая — «сама» и говорит «свое», уверенно, твердо, непоколебимо, в свою точку, по линии своего врожденного устремления.

И как они сидят, как драпировано их платье. Опять — впечатление свободы. Я только тем и могу объяснить однообразное впечатление свободы, от них полученное, что ведь в сущности пророчество есть самый свободный в человеке дар, и дар самый любящий в отношении к предмету пророчества. Из пяти фигур, все сидящих, некоторые согнуты в напряженном чтении, другие прямы и смотрят вперед себя, еще другие — полуповернулись в какой-то задумчивости. И вот в этих положениях фигур сколько личной и физиологической свободы! Буря извне не шелохнула бы их, но шелест внутренней мысли весь выразился в новом упрямом движении. Все — внутренне, ничего — по закону внешности. Им нет закона, они — для всего закон. Так сотворил их Микель-Анжело, сотворил любимых своих детищ.

Фигуры пророков менее замечательны, ибо имеют около себя соперничество нами читаемых книг проро-

ческих. Нельзя так сильно нарисовать Иезекииля, как Иезекииль написал «книгу Иезекииля», и такое сравнение, невольное в зрителе, снимает лучшие краски с живописи. Сотворение мира, разлагающееся в картинах на «Сотворение солнца и луны», «Изгнание из рая», — все это, конечно, первоклассные создания; но есть в них недостаток во всех — отсутствие невинности и чистоты, столь присущих первому дню мира и человечества. Ева, изгоняемая из рая, согнутая, до того дурна, до того грешна, что, кажется, Бог должен был бы раздавить такое создание, а не сказать ей, именно ей, а не Адаму, столь обещающие и утешающие слова, что через нее же, виновницу падения, придет в мир и восстание из падения. Микель-Анджело не знал «Рая» и даже чуть-чуть только знал «Чистилище»; он хорошо знал только «Ад». Мы повторяем невольно навязывающуюся параллель его с Дантом, у которого также «Ад» несравненно силен и гораздо слабее обе другие части «*Divina Commedia*».

* *
*

Во фресках Рафаэля все так же серо, бледно и потускнело уже в тонах, как и в Сикстинской капелле, хотя здесь к окнам и приделаны тяжелые деревянные рамы изнутри, без сомнения закрывающие их от света на все время присутствия света. Но залы эти хотя гораздо выше капеллы, свет обильнее сюда бьет. И только если бы сократить время доступности их для публики до трех часов в сутки, и то часов — не полуденных, и не весенних, и не летних, то, может быть, удалось бы если не сохранить их, то как можно дольше растянуть время их гибели. Даже, я думаю, достаточно показывать их избранной публике по билетам за высокую цену или по рекомендации; и таким образом сбросив со счетов глазевшую публику, открывать для света всего на несколько недель в году. Несомненно, уже теперь половины первоначальной прелести во фресках нет, и с каждым десятком лет ее будет меньше.

У Рафаэля — свобода успокоенного вымысла. Собственно, Рафаэль уже весь дан в его учителе Перуджино. Но чего Перуджино хотел, но не мог, Рафаэль смог. Умиление, кротость и какой-то рай в лице — вот

его особенность. Он просеял землю, земля упала вниз, а на его палитре остались одни небесные частицы. Картины Джулио Романо, Поля Веронезе, Тициана, Корреджио, также Микель-Анджело не только не достигают рафаэлевского, но и ничего не имеют в себе рафаэлевского, грубее, суть плоть и кость перед душой. Душу же, «Психею» древнюю, схватил один Рафаэль. Он везде фантазирует, кротко, мило, прелестно, то беря из христианства, то из язычества, везде без усилия, без напряжения, как царь, который берет везде, ибо ему все принадлежит. Особенно чудесны по вымыслу «Афинская школа» и «Спор о причастии». В последней картине поблизости к св. Иерониму он поместил фигуры двух епископов, но — кто бы мог на это решиться — нарисовал себя и своего учителя Перуджино в этих епископских одеждах! Ну как не сказать, что это был — Робинзон, свободно распоряжающийся на неизвестном острове!

И нужно было вскормить, всхолить эту свободу. Вечная честь папам того времени. И художники отнеслись взаимно к самим папам за это с свободной любовью, по крайней мере Рафаэль. Он изобразил все великие моменты папства, особенно те, где папа являлся защитником и спасителем города Рима от полчищ нахлынувших варваров⁸. Он принес им дань самой свободной и прекрасной любви, без вынужденности и без преувеличения, и они, в свою очередь, по-видимому, никогда не пытались удлинить эту жертву, увеличить этот дар. Все обошлось само собой, все создано само собой; «само собой» чувствуется в каждом движении кисти Рафаэля. «Мне так хочется». И он рисовал так, как «хочется». Это особенно видно в так называемых аллегорических его сюжетах, которые, по-видимому, он очень любил: «Causarum cognitio», «Justitia», «Prudentia», или, напр., в «Mons Parnass». На последнем, возле Данта и Ариоста, он также нарисовал себя, и тоже в лавровом венке, как их.

Известно, что Рафаэль имеет особенное от всех людей лицо: чистейшей девушки, нежное и удлиненное, без зачатка бороды и усов. Он есть такое же в истории чудесное явление, как Жанна д'Арк, т.е. он есть феномен, особенно выковавшийся в недрах мира, существо сверхъестественное, т.е. в большей степени, чем мы,

естественные люди. Известно также, что он умер рано, угаснул без видимой причины и физического потрясения⁹. Он неистощимо рисовал, неудержимо, чрезвычайно много оставил, не говоря о картинах, неоконченных набросках, этюдов, проектов для учеников и таким образом вытянул себя в живопись, как шелковичный червь вытягивает себя в шелковую паутину. Все рассказы о других причинах его ранней смерти едва ли правдоподобны и, во всяком случае, не могут быть доказаны по крайней интимности сюжетов этих рассказов. «Ну, кто это видел!» — всегда можно ответить такому изустно-легендарному рассказчику.

Зачатки великой итальянской живописи лежат в катакомбах. На этих кратких страницах нельзя этого доказать и объяснить, но кто посмотрит снимки рисунков живописи в катакомбах, будет поражен единством тем их и содержания и нравственного колорита с итальянской живописью, и особенно Рафаэля. Вечное «Поклонение волхвов» — здесь и там; «Поклонение пастырей» — на земле и под землей; Иисус в виде «Доброго Пастыря» в IV и XV веках. Вовсе не эти сюжеты были бы взяты гениальным русским религиозным живописцем. Между тем Рафаэль не знал катакомб, только позднее восстановленных, реставрированных, описанных, изученных со всем совершенством науки — в наши дни. Откуда эта близость? Было единство крови, единство традиции, единство почвы от мученика Себастиана до Рафаэля Санцио, так я думаю. Как есть единство крови в «Запорожцах» и в Репине, который нарисовал запорожцев, в «Богатырях» и в Васнецове, их изобразившем. Таким образом, итальянское искусство глубоко национально, традиционно, почвенно; оно все — римское или римско-готское искусство, римско- и готско-христианское. Упомянув о готах, я говорю о них как о примеси, как о налете в виде лангобардов и вестготов по преимуществу в отношении к венецианской и флорентийской школе. Но Рафаэль и Перуджино с готами не имеют ничего общего: они все свои темы и весь свой колорит имеют в неизвестных живописцах, которые украшали крошечные, в 2—3 аршина длины и ширины, капеллочки катакомб. И ведь нужно же было любить живопись, чтобы в вечной ночи под землею, при свете лампочки с

деревянным маслом, во время гонения Домициана или Диоклетиана, рисовать «Доброго Пастыря» — Иисуса, несущего на плечах овечку, символ души человеческой, или Божию Матерь в беседе с пророком Исаией. Сколько кротости и умиления. Поистине евангельского в человеке не менее, чем в Евангелии человеческого.

В музеях Ватикана

Третьи сутки брожу в музеях Ватикана. Какие это необозримые сокровища. Как мал наш Эрмитаж количественно, но и особенно качественно перед ними. Эти три дня не открывались Египетские и Ассирийские залы, и я посмотрел — вторично — христианскую живопись и в первый раз греческую и римскую скульптуры.

«Преображение» Рафаэля и «Madonna di Foligno» во втором зале Галереи живописи (одно из бесчисленных подразделений Ватиканских музеев) несколько не выцвели, не побледнели в красках, как выцвела живопись Сикстинской капеллы и «Chambres de Raphael». Очевидно, печальный случай, что лучшие концепции воображения Рафаэля и Микель-Анджело совпали по моменту своего возникновения с заказом расписать водными красками потолок Сикстинской капеллы и стены «Chambres de la Signature» (фрески «Спор о причастии», «Парнас» и «Афинская школа»), является причиной, что эти последние концепции — временны, а не вечны. В «Madonna di Foligno» поражает вплетение частного и незаметного события из личной жизни в небесную сферу. Замечу здесь, чтобы объяснить эту черту рафаэлевского творчества, об одной особенности итальянских церквей, которая, конечно, не в нынешнем веке возникла и не может не броситься в глаза восточному христианину. Итальянские и вообще католические церкви суть более частные, и внутренние, и интимные, центры религиозного сосредоточения человека, нежели церкви восточные. Известно, что когда св. Владимир отправил послов испытать чужие веры, то им в Греции более всего понравилось, что там молящиеся *стоят*, а на Западе не понравилось, что там молящиеся *сидят*¹. Т.е. в религии, как главного, они искали уважения, почтения, религиозного страха. Но вот на что обратим внимание: сиденье

соответствует более домашнему настроению духа, а стояние — более официальному. И у нас наблюдается, что в домовых церквях более подается стульев, чем в общественных церквях, более возможно сесть старому или слабому, более есть психологии сиденья. Итак, все католические церкви уже от этого присутствия сидений более приближаются к духу и стилю домовых церквей. Далее, я наблюдаю здесь, в Риме, что, собственно, церковь никогда не бывает совершенно пуста: дверь ее всегда открыта; это — тенистое и бесшумное в городе место, куда всякий в минуту своего частного религиозного порыва может войти и помолиться. Еще более меня поражало, что по окончании литургии народ не двигается толпою к выходу, как у нас; литургия — гораздо короче нашей; она кончена, священник уходит, но из народа уходят только некоторые. Вследствие многочисленности алтарей вот-вот войдет другой священник и отслужит еще при другом алтаре литургию. Таким образом, церковь там священное место толкущегося народа; место — проходное и всегда почти открытое. Это — часть площади, однако такая, которая имеет всю интимность частной домово́й церкви. Особенно в этом отношении поразительны так называемые «тихие мессы», *messa tacita*². Однажды я брел по римским улицам без цели и направления. Вижу, поднимается тяжелая кожаная портьера церковных дверей, и кто-то вошел туда. И я вошел. Полное молчание. Яркое освещение. Статуя Мадонны со сложенными руками стоит в нише колонны. Народу много, все на коленях. Ни звука, полная тишина. Я взглянул на алтарь. И вот как склонены были молящиеся к спинкам стульев перед собой, священник так же склонился головой к престолу. Текут минуты, прошло полчаса, час. Ни звука. Я вышел растроганный. Конечно, лучшая молитва, горячее — в молчании. И лучше всего, удобнее приносить свою частную, личную, исключительную молитву, молитву о личном, и особенно своем, горе, раскаяние в личном и собственном своем грехе — среди полной тишины. Есть нужды и; дела общественные, и о них нужны общие молитвы; но, конечно, есть мир нужд и дел личных, никому не известных, совершенно неподгоняемых под общий тип, и для них нужна молитва особенная, своя. А как дома у всякого суэта и

шум и помолиться настоящим образом можно только в месте уединения и привычной молитвы, в храме, то «тихая месса» и есть естественный ответ на эти миллионы всесветных нужд. Но и обратно: храм с «тихой мессой» уже совершенно не наш храм. Наш храм есть официальное религиозное место. В нем мы не только стоим, как и во всяком высокоприсутственном месте, но стоим от часа и стольких-то минут до часа и стольких-то минут, после которых просто неловко остаться или задержаться в храме. Присутствие кончилось, религиозное и официальное присутствие, и все идут домой. Служба — вся громкая и обнимает всяческие человеческие нужды, но лишь в общих формах. Вы можете и о себе помолиться, но обязаны главным образом молиться обо всех, в общих терминах. Теперь я перехожу к Рафаэлю: на этой-то почве частного и внутреннего, что вплетено в религию самой сущностью католицизма, и возникли смелые его концепции, несколько не разрушившие обиходной католической религиозности в ее историческом обособлении. В «Madonna di Foligno» он изобразил св. Иеронима, жившего в III в. по Р.Х., представляющим Св. Деве и испрашивающим ее покровительства для Сигизмунда Конти, папского секретаря, который поручил Рафаэлю нарисовать образ для церкви Santa Maria d'Agosceli; по другую (левую) сторону на это умиленно смотрят свв. Франциск Ассизский и Иоанн Креститель. Через эту дивную концепцию он ввел частный добрый порыв частного человека в круг бесплотных сил, а Св. Дева, Иоанн Креститель и вся церковь (в лице св. Франциска и св. Иеронима) как бы расширились, раздались в недрах — и приняли в небесную свою область частное и конкретное биографическое событие. Но без «тихой мессы», без этого мира индивидуальных молитв, все это — невообразимо. Вот отчего отделять итальянскую живопись, и особенно ее вершину — Рафаэля, от католицизма и вообще всей этой почвы катакомб (где уж какая официальность!), Колизея, гвоздей и мученичества св. Петра, где все в христианстве, еще боровшемся с язычеством, шло так просто, энергично, открыто или тайно в меру нужды и затем в этой картине разбросанного набега и схватки замерло на тысячелетия, — невозможно. У нас христианство — тихое, уже победив-

шее; не из катакомб ворвавшееся во дворцы, но от князей переходившее к народу, который и принял его бережно, как княжеский дар, а князья приняли его бережно же из великолепной Византии в свою деревенскую, Киевскую и Владимирскую, простоту. Где как распространилось оно, каким способом и по каким мотивам, так там и установилось.

В *Galerie de peinture* порастил меня деревянный громадный складень-картина, на которой подписано: «*Pittura di Nicolo Alunna*». Именно — поразителен средний образ. Он — аршина в два вышины. Представлено на нем распятие И. Христа, но что такое было это распятие — выражено через фигуры, смотрящие на Иисуса. Их три: св. Мария Магдалина, Божия Мать и св. Иоанн Богослов. Две последние так меня заинтересовали, что я не помню Марии Магдалины; кажется, она наклонилась, и лица ее не видно. Божия Мать стоит влево от креста, Иоанн Богослов — справа, оба очень близко к распятому Сыну и Учителю. Весь удар события и передан через них. Да нет, это неверно сказать: «передан», ибо картина, исполненная наивности, исключает всякую мысль о преднамеренности в художнике, умысле, приеме техники. Душа рисовавшего скорее рассеклась на две части и выразила свое отношение к Евангелию и центральному в нем лицу через эти две фигуры. Божия Мать повернулась не прямо к Спасителю; но Ее поднятое лицо — уже старое и худенькое, прозрачное, тянется и не может взглянуть прямо на Сына. Она плачет каким-то мелким, дробным плачем, без звуков, без силы, плачем неверия, что вот — такое случилось, и невозможностью не верить перед очевидностью. «Дитяtko мое родимое, что же такое с тобою сделалось» — это обычное восклицание нашего народа может хоть сколько-нибудь приблизить к передаче выражения Ее лица. Оно все истончилось от боли; щеки опали, только в один день опали, вот как Она узнала об этом. «Больно мне, больно!» Но самое поразительное и никогда мною в живописи не виданное — это Иоанн Богослов. Очевидно, он с Богоматерью только что оба подошли ко кресту, и это первый их взгляд на Спасителя, или первые полторы минуты. Возлюбленный ученик Иисусов, нежный и кроткий, закричал, заплакал, «завере-

шал», как говорят в простонародье, криком широким, физиологическим, громким: рот ужасно широко раскрыт, виден язык и зубы, от лица, в смысле выразительных его черт, ничего не осталось, и вся картина — кричит: «Больно! больно! больно!» (то есть для души). Я вспомнил Лессинга и его рассуждения по поводу Лаокоона, что боль и вообще крик не передаваемы через живопись и скульптуру, потому что тогда получается «темное пятно в мраморе или полотне, и притом недвижимое, что некрасиво и нелепо»³. Да, если бы мы не отрываясь смотрели на картину сутки, тогда целые сутки не закрывающийся рот — нелепость. Но ведь мы проходим мимо картины или останавливаемся перед нею на несколько минут; и я, напр., думаю, что Лаокоон-отец до последней минуты издыхания не закрывал рта, а кто видел рыдающих — опять же знает, как долго рот их бывает открыт. Но все это теоретизированье — пустяки. В «Pittura di Nicolo Aluppa» я первый и единственный раз в жизни видел, чем было событие распятия Спасителя, вот та краткая минута и тот окончившийся день, не для мира и церкви, но для окружающих Иисуса людей, плотяных, костяных и кровных. Нет, это удивительно. Я не мог оторваться от картины и все к ней возвращался. Иоанна Богослова, писателя «Апокалипсиса», первого из четырех столпов церкви, т.е. что-то огромное и необъятное, необъятнейшее, чем Рим, чем вся русская история, кто занимает четверть христианского неба, представить заплакавшим, закричавшим, чуть не затопавшим от боли ногами (бывает с детьми, да и с взрослыми), и это вдруг, в одну минуту, при взгляде на Распятого, значило действительно найти способ и показать для зрителя мерку события и как бы втолкнуть зрителя в тот самый день, когда все это произошло. Пишу это не без мысли о том, до чего вообще русским художникам недостает умения передать смысл смерти Спасителя. Все, что они умеют здесь, — это нарисовать безобразное или страшное. Ни жалости, ни тайны, ни могущества действия на душу — у них нет.

«Лаокоон», «Аполлон Бельведерский» и еще одна статуя, называемая «Antinous de Belvédère» (№ 53 в «Cabinet du Mercure de Belvédère»), — суть главные украшения музея скульптурных древностей Ватикана.

Конечно, тут есть неисчислимое множество бюстов знаменитых людей греческого и римского мира — ораторов, поэтов, философов, цезарей. Длинные ряды их внушили мне мысль об издании по музеям Ватикана и Капитолия (мраморы цезарей) учебного атласа истории: если взять Августа, Брута, Цезаря, Марка Аврелия или Сократа, Перикла, Зенона Элейского, Платона, Гомера, Пифагора и каждого из них представить 5—8—15 фототипиями, снятыми с подлинных древних мраморов, то что это будет за роскошная пища для наших тощих (умственно и нравственно) учеников. Можно было бы даже самих учеников старших классов гимназий и студентов университетов ввести в работу составления подобного атласа, т.е. заставить их всматриваться, изучать эти мраморы, отмечать в них разницу и отбирать из них характерные для снимания копий. Можно надеяться, что при этом и самую историю они изучили бы до ниточки, но изучили само собой, без приневоливания, как пособие к мастерству. А уж «плоды» из этого вышли бы. Но я оставляю педагогику и перехожу к искусству.

Все древнее искусство — непсихологично, в противоположность новому: вот вывод из наблюдений. Но при созерцании первоклассных созданий древнего резца приходит мысль, не было ли это древнее искусство более метафизично? Меры, измерения *согрус'*а человеческого, вечное искание (и, может быть, нахождение?) окончательной истины этих мер и их гармонии — вот что мы монотонно находим в этих мраморах. «Мерки портного» — так и хочется выговорить последнее определение. Кажется, это очень мало, скудно? Однако что именно говорил Моисей, вернувшись с Синая и рассказывая евреям, как они должны построить храм Богу (скинию?). Он также перечислял только меры и цвета, и даже почти — одни меры. И вот когда читаешь об этом в «Исходе», то будто слышишь, как портной отсчитывает цифры — длины, ширины, объема и сгиба — заказанного ему платья. Скиния — одежда Божия: вот нерассказанная ее мысль⁴.

Иезекииль, при описании виденного им в видении Храма, где обитал Бог, не говорит ни слова о впечатлении от него, о картине его, а целые страницы, до утомительности, до истощения всякого терпения у чи-

тателя, наполняет цифрами и цифрами, мерами, мерами и мерами⁵. А мудрый Пифагор «число» считал «сущностью вещей». «Всякая вещь имеет свое число, и, кому открыто число вещи, тот знает и сокровенную сущность вещи»⁶. Итак, в числах и мерах есть своя тайна; Бог есть мера всех вещей — после создания, но нельзя ли предварительно создания назвать Его портным всех вещей, который «кроит» мир в небесном своем уме. Если к этому мы прибавим твердое слово, нам сказанное: «по Своему образу и подобию сотворил человека Бог, в тени образа Своего сотворил Он его» (Бытие, 1)⁷, то найти истинную меру и сумму частичных мер и пропорций человека не представится ли очень серьезною и даже священной мистикой? Мы сейчас и войдем в родство скульптуры греческой с религией: если человек есть «образ и подобие», то, конечно, по образу можно приблизиться и к прообразу, по человеку и «меркам» его — отыскать и образ Божий. Получится задача не нашей иконографии, т.е. как-нибудь и какое-нибудь дать изображение отвлеченно и уже заранее почитаемого лица, а именно найти, построить, создать впервые, в будущем, когда-нибудь такой образ — «скинию», которая была бы не выдумана человеком, а принесена с Синая. Читатель поймет мою аллегорическую речь, что в сущности то самое, чего искали евреи на Синае: «Бога и Его образа», греки того же искали в мраморе, высекая не людей, не этого курносого Сократа, не большеголового Перикла, которых все умели отлично и характерно изобразить, когда нужно было, а собственно усиливаясь из мрамора высечь Того, «по образу и подобию Кого» сотворены и Сократ, и Перикл, мы все. При этом у них Бог сотворялся через статую и статуя была Богом; или по крайней мере — ангелом, близким к Богу существом: в меру того, насколько она уже превосходила человека красотою, не теряя образности и подобности с ним. Знаменитое заповедание Моисеево: «не делайте этого, никогда и никто, ни статуи, ни рисунка, ни человека, ни зверя»⁸ и значило только: «без Синая мы не построили бы скинии, ни вы, ни я: Бог должен открыться Сам и в Себе: прочее будет ангел, а если вы ангелу поклонитесь как Богу, то Бога забудете, поставите Его в тень человека, между тем как че-

ловек стоит в тени Божией».

Отсюда простая разгадка того, чему так дивился Лессинг: отчего греческие скульпторы подписывали (иссекали) под статуями подписи: «ἐποίησεν» — делал, а не «ἐποίησε» — сделал⁹. Все — ангелы, а еще не Бог; греческое искусство было вечным усилием, а не самым делом; все выточенные фигуры были уже не люди, но еще и не боги; художник, Фидий, Пракситель все только «ἐποίησεν», а еще не «ἐποίησε».

* *

*

Из любопытных черт, которые бросаются в глаза при наблюдении греческого искусства, обращу внимание на одну: мужеобразность женских ликов и женоподобность — мужских. Паллада не только по оружию и шлему — воин, она воин не только по всем о ней рассказываемым мифам: но, как ее изображали греки, — она мужественна, мужеобразна, мужеподобна. Имеет сухость и серьезность мужчины в себе. Что за мысль? Юнона (римская, т.е. греческая Гера «Βωβώπις»*) также мужеподобна. И в мифах обе они не имеют детей. Диана — вечная девственница, и также без детей. В Капитолийском музее я прямо остановился в изумлении перед одной статуей, в полный человеческий рост: вот греческий св. Франциск, держащий на руках Младенца. Представьте, нагая мужская статуя, с чрезвычайно нежным, совершенно женственным сложением, держит на руках Младенца. Статуя эта имеет усиленное повторение в Ватиканском музее: мужские формы еще сохранены, но голова совершенно женственная, с женским убором длинных волос в косу, и также — на руках ребенок! Так называемый Аполлон Мусагет («Аполлон, предводитель муз»), с солнечными иногда лучами около головы, с лирой в руках, имеет женские длинные, не зачесанные в косу, но спадающие двумя широкими и некрасивыми прядями книзу женские волосы и одет в женскую одежду! Что же все это такое, явно некрасивое, ибо нам не присуще любоваться ни мужеподобностью в женщинах, ни женоподобием в мужчинах? Если такие образы создавались не для лю-

* «Волоокая» (греч.).

бования, они, очевидно, выражали какие-то поиски греков. Какие? Да те, которые для нас явно написаны в неошибающемся Синайском счете: не сказано перед сотворением Евы: «по образу Нашему сотворим ее», а сказано это перед сотворением Адама, и Ева была уже извлечена из него как часть, до времени скрытая в Адаме¹⁰. Т.е. один Адам ранее сотворения Евы и был полным и совершенным человеком, и вот его-то и искали греки в Палладах и Аполлонах, а не оторванную «от мужа своего» Еву и не потерявшего «ребро свое» Адама, которые, как только это разделение совершилось, не стали уже «образом и подобием Нашим», а только половиною этого образа. Таким образом, через человека греки искали Бога. И самый путь их поисков был истинный. Не безгрешнее ли отрок и отроковица, чем зрелый муж? Но в зрелом муже уже опять Адам отделился от Евы, противоположился ей, и именно самым видом своим: безбородый и нежный отрок подобен девушке, а девушка в 11—10 лет — сущая Диана, подобно этой охотно предается мужским проказам и самым видом своим похожа на мальчика. Тайна удивительного разделения полов, психологического и ноуменального, а не одного физиологического, происходит в росте и с ростом каждого человека. В каждом повторяется история Адама и Евы. Но греки смело бросались вперед, за Адама и Еву, в большую древность: «там Бог!» Вот сущность их условий.

Мы же, не замечая этого, предполагаем, что искусство их было только отвлеченным. В Ватиканском музее есть два бюста — Мария (римского консула-диктатора) и бюст старого Цезаря. Что это за портреты! Марий имеет маленькое лицо («лицо в кулачок»), точно составленное все из мешочков; мешочек под глазами — это скулы, самая сильная и характерная часть в лице. У кого скулы развиты — характер развит, это сильный, энергичный человек. Губы Мария все сошлись в сосочек: лицо старикашки, упорного и безумного. Это он произвел избиение оптиматов¹¹; а воин, посланный в темницу, чтобы обезглавить его, выбежал оттуда в испуге: «Это — Марий! Это сам Марий!»¹². Лицо Цезаря чудовищно по окаменелости. Это — камень. Об него расшибешься, а его не разобьешь. Итак, характерное и личное, индивидуальное — умели представлять греки

и римляне. Во множестве статуй, под которыми подписано: «Ignoto» (т.е. портрет неизвестного человека), бездна индивидуальности, гениально уловленной. По богам их судя, по Аполлонам и Юнонам, мы представили себе, что им вообще не было присуще понимание личности в человеке, характера особенного и исключительного; но дело в том, что кроме Пантеона, т.е. галереи попыток вылепить Бога, у них была ежедневная уличная фотография, которую ярко представляют поистине неисчислимы их мраморы-портреты, очевидно выделявавшиеся не художниками, а мастерами: и что это были за мастера индивидуальности! Эти портреты «ignoto» не воспроизводятся в снимках, не входят в атласы, может быть, мало принимаются в расчет при написании «Истории искусства». Конечно, в Аполлоне Бельведерском нет биографии и, собственно, нет лица; но ведь «Бога никогда же никто не видел»¹³, Он — безвиден, Он — вечен, неизменяем: вот это и ловили греки. Но сколько биографии в историческом и земном Марии; сколько лица в снимках «Ignoto»; и гнева, и грусти, и несчастья; бессильной страсти или тупого самодовольства.

* *

*

В Ватиканском скульптурном музее есть одно особенное сокровище, которого не только подобий, но и зачатков я нигде не видел. Это «Cabinet des animaux», разделенный на два зала. Все римские и отчасти греческие скульптуры. Идя осматривать музей и дорожа временем, я хотел пропустить эту зоологию, но едва случайно зашел в нее, как увидел, какое это необыкновенное и высочайшее искусство. Вы понимаете, что совершенно иное нарисовать кошку сидящую и мурлыкающей или же схватить момент, когда она бросается на мышь. Я был так счастлив, что однажды в жизни видел кошку на ловитве, и красоту ее не могу забыть с тех пор. Мне было лет 8 или 9, и я тихо сидел, совершенно один в комнате покойной матери. Смотрю, кошка наша идет, но особой поступью. У нее ведь когти не выставлены, как у собаки, и она ими не стучит; но на этот раз она боялась застучать лапками. Она переставляла лапку за лапкой, делая шаг в полвершка,

шла «на цыпочках» в направлении к стене. Я стал следить. Она ужасно длительно шла, точно ноги ее были сломаны или она шла на муку. И чем дальше, шаг все меньше, точно плетет ножка за ножкой. Плетет-плетет-плетет, тише-тише-тише, вот умерла — и вдруг, как ком, молниеносно ударилась в щелочку у стены, и уж обе лапы в норе, и она что-то гребет там. Но напрасно — мыши не достала, очевидно возившейся около своей норки, и медленно отошла. Так вот момент, и у каждого животного есть такой момент, — полной жизни по закону у каждого своему. Cabinet des animaux и есть чудная галерея портретов животных в таинственные и редко видимые моменты их жизни, игр, ласк, охоты друг на друга. Тут есть удивительная голова верблюда, огромная, добрая, глупая, нужная хозяину; портрет гиены: да это почти человеческое лицо, самое низкое, какое можно представить. Две левретки: одна взяла другую за ухо, не укусила, но только взяла губами. Среди пены морской огромный омар; в первое посещение галереи я прошел мимо, будучи совершенно убежден, что это — в ящике под железною сеткою, хранится настоящий засушенный омар, препарированный. Но каково было мое удивление, когда, при вторичном посещении музея, ближе наклонившись, я увидел, что блестящий скорлупою черно-серый омар весь сделан из мраморов, выточен до мельчайших подробностей и чудно отполирован, и пена моря, по которой он ползет, — белые клоки неполированного же белого мрамора. Сколько труда, чтобы представить такое неодухотворенное животное! Вот гончие и борзые, подняв нос, нюхают воздух: птица пролетела тут, и они ловят струйку ее запаха, не рассеявшуюся после полета. Или, например, леопард: черные колечки его шкуры сделаны инкрустацией из черного гранита по желтому; морда поднята, лапы тверды, леопард еще спокоен, но уже сейчас двинется. Вот играют серые зайцы. Или вот серна: ее змея укусила в нижнюю губу; какой выбран момент! И везде игра, жизнь: насколько это ярче экспонатов наших бездарных зоологических музеев, где все животные точно солдаты на смотре дивизионного генерала: стоят нога к ноге, навывтяжку, и кажется, дай им ружье, начнут исполнять ружейные приемы. Кабинет этот удивителен и досто-

ин изучения не одних только художников, но и мыслителей. Между тем я никогда о нем не слышал ничего и не видел ни одной фотографии с его вещей, из которых каждая сделана как бы охотником Нимвродом, знатоком пастбищ и лесов, но которому случилось в то же время соединить в себе и Праксителя, и Сократа. И какая связь этих скульптур с мифом о сатирах и сиренах, полубогах, полулюдях, полуживотных.

Все в древнем мире было между собою связано.

Я осмотрел также Этрусский музей: он не богаче, чем отделение этрусских ваз в нашем Эрмитаже. Только в одной витрине, под стеклом, я с волнением рассматривал сделанные из золота браслеты карфагенской и финикийской работы, привозившиеся в Рим. Золото не окисляется, и тончайшие листки, лавровые и другие, из которых, наложенных листок на листок, сплетены эти браслеты, надевавшиеся на руку около плеча, сохранились как бы сейчас сделанные. Рим — еще наш, от него остались Колизей и Капитолий; но Тир и Карфаген уже не оставили самых камней после себя, и только из могил их мы вырываем мелочи утвари или блески царственных их одежд. Но какое это было искусство, и чудный узорный ум, и характер — уже вовсе не наш! И все — не наше! и боги, и наряды, и жизнь, и человек! Историк не может без волнения это видеть.

На вершине Колизея

Наконец я забрался на вершину Колизея. Оказалось, что в стене есть внутренние ходы — лестницы, даже с перилами, равно как и отдельные ярусы, совершенно приспособленные для обозрения посетителя, который может ходить по развалинам как человек, а не ползти как змея или летать как летучая мышь. Все это стоит $\frac{1}{2}$ лиры, т.е. 18 коп., и, конечно, эта плата чрезвычайно умеренна и совершенно необходима для выполнения постоянных, хоть и небольших, работ по приведению в порядок отдельных частей архитектурного чудовища. Вообще в катакомбах, на Fogo Romano и везде, где мне случилось быть, я видел необыкновенную заботливость и, как мне кажется, даже любовь, с которою римляне относятся к своим руинам. В одном месте (на Fogo Romano) отвалилась огромная скала, целый камень, входивший верхним углом в какую-то постройку. Камень этот упал углом и раздробил каменный пол под собою, не Бог весть какой красоты или значительности. Скалу тотчас укрепили в том самом положении, как она упала, с помощью приспособлений, напоминавших мне приспособления, с помощью которых держится тоже упавший Царь-колокол в Москве, а пол поправляют. Осколок к осколку прикладывают древнюю плиту мелкими кусочками, и все это скрепляют цементом. Ни одного куса не внесено вновь, ни одного из древних не положено небрежно.

Во втором этаже Колизея сторож в позументе (очевидно — правительственная служба) предложил мне посмотреть модель Колизея, как он был в целости. Я вошел в отдельную большую комнату, которую занимала модель, сама величиной похожая на небольшой кабинет. Она была сделана вся из дерева, железа и меди и воспроизводила даже те огромные вставленные в кольца железные катки, с помощью которых на-

тягивался брезент над Колизеем. В самом деле, здание никогда не имело крыши, а между тем как от зноя, так и от дождя была необходима защита. Она и состояла из парусины, так же мало задерживавшей свет, как парусинные занавески в наших столовых, и между тем задерживавшей и лучи солнца, и капли дождя. Но каким механизмом можно было над целым Колизеем, т.е. в сущности над большой площадью, поднять брезент на страшную высоту Ивана Великого¹?! Оказывается, крайний венчик камня верхнего яруса весь сплошь был усеян железными или стальными цилиндриками, на которые наматывалась бечева, тянувшая брезент. Одновременно вертя за ручки эти цилиндрики, вершок за вершком вытягивали чудовищное полотно и поднимали его на страшную высоту. Все «помаленьку», как и сейчас, все — не торопясь, и достигались чудеса техники.

Коридоры и ходы под полом арены оказались вовсе не клетками зверей или людей, а вместительным машин и всяких технических приспособлений, которые были необходимы для сложных и дорогих представлений в цирке. В самом деле, лежа эллипсовидным блином у ног зрителей круглого театра, сцена представлений, очевидно, не имела кулис и того, что бывает «за кулисами» и что технически необходимо. Римляне и сделали из самого пола арены, где происходила борьба, «кулисы» и отнесли под пол то, что мы относим «за кулисы». В самой середине арены вырезана была продолговатая четырехугольная доска. Она запералась и отпиралась снизу. Когда на арене оказывался труп или несколько трупов, не нужных для дальнейших «Lusus»*, эти трупы издали подпихивали на эту доску. Тотчас она отпиралась снизу, доска вертикальная поворачивалась на оси, как дверь на петлях, и сбрасывала животное или человека «за кулисы», под пол. Звери же и люди содержались в клетках в каменном основании самого Колизея. На сцене происходили целые представления разных видов охоты на зверей, и она была так велика, что на ней устраивался целый ландшафт охоты, с искусственным леском, пещерою, горкой и т.под. Военские битвы (бои гладиато-

*Игр (лат.).

ров) были как сухопутные, так и морские. В последнем случае деревянный пол арены убирался вон, и открывавшийся под ним бассейн наполнялся водою, на которой плавали морские суда, конечно уменьшенного размера. Ложа цезарей находилась в средней точке длинной стороны Колизея; *vis-à-vis* с нею, в центре же противоположной длинной же стороны его, находились ложи весталок. Те и другие, как и у нас теперь, лежали в «бельэтаже». Чем далее шли ярусы кверху, тем понижалось общественное положение зрителей. Но вот особенность: самый верхний ярус Колизея был весь в сплошной колоннаде, и здесь, «за колоннами», стояли моряки. Ниже их сидела чернь, и еще ниже (но все же страшно высоко) сидело купечество, лавочники, мещанство. Отчего, при уважении римлян к военной службе, моряки были, однако, помещены сзади всех? Оттуда уже почти нельзя рассмотреть, за страшной высотой, деталей представления внизу, и остальному люду оно было бы вовсе не видно; но моряк, обладающий по должности исключительно отличным зрением, мог рассматривать то, чего обыкновенному глазу не удалось бы вовсе увидеть.

В цельной модели Колизей удивительно красив. Он и необъятно величествен, и пропорционален. Эллипс его только чуть-чуть удлинен, а высота его совершенно соразмерна с длиной и шириной. Верхний ряд колонок, за которыми стояли моряки, сообщил легкость и воздушность чудищу; а множество статуй, поставленных в нишах, расположенных снаружи стены (обращенной к городу), довершали изящность постройки. Применяясь к нашим терминам, чудное зрительство это не есть казарменная постройка, что-то площадное, уличное, для «черни», а во всех частях обдуманности и тонкого приспособления напоминает скорее гостиную. Он вмещал в себя до 87 000 зрителей, т.е. все население таких наших городов, как Калуга, Тула, Орел. В этих-то видах вместимости он и вознесен так высоко в воздух, а сообразно с высотой уже раздвинута для симметрии длина и ширина его.

Сцена представления занимает небольшой (сравнительно со всем Колизеем) круг. Он обведен решеткой, через которую не мог бы перепрыгнуть хищный зверь и попасть в начинающиеся отсюда ярусы сиде-

ний. Сиденья расположены амфитеатром, и все расширяясь, и все поднимаясь, они множеством своим напоминают клубок ниток, искусственно намотанных на бумажку таким образом, чтобы эта бумажка осталась видна, а нить наматывания тоже видна и, все более и более оставляя бумажку в глубине, сама расширяется. Стена Колизея, чудовищно толстая книзу, вверх все суживается и становится совершенно тонкой в верхнем ярусе, «у моряков». В целом, до самого верхнего карниза (ободка), она сохранилась у $\frac{1}{4}$, даже менее, здания. Везде в остальных местах обвалился то один, то два, то даже три верхних яруса. Но Колизей кругл, т.е. по длине и ширине он целен. Я стал взбираться вверх.

Уже с «бельэтажа», где помещалась ложа цезарей, вся, так сказать, психология здания изменяется: все — вниз, убегает по мягким линиям книзу, и арена, на которой я раньше бывал, из довольно большой площади, каковою представляется для прогуливающегося по ней, превращается в кружок. Отдельные ярусы Колизея, лежащие друг на друге кольцами (и эти кольца выделены архитектурой), страшно велики и напоминают высотой наш хороший каменный дом. Ноги страшно устали от крутых каменных, внутри стены высеченных, лестниц. Вообще стена Колизея не плотная из камня. Она пронизана коридорами, нишами, комнатами, лестницами; она имеет внутреннее в себе строение. И что с арены или с площади, из улицы и Рима, представляется стеною, есть в сущности здание, архитектурный некоторый план. Наконец я на самом верху; не «у моряков», куда лезть не хочется и жутко, а приблизительно, где сидели «bourgeois». Здание, кажется, все качается от плывущих по голубому небу легких облаков, которые кажутся неподвижными, а это зубцы Колизея плывут им навстречу. Все кажется относительным на этой страшной высоте, и особенно место твоего сиденья. Я сел на мраморную глыбу, помещенную аршинами в двух от решетки-перил. Странное это ощущение, что тебя тянет в пропасть вниз. Внизу действительно пропасть. Арена отсюда представляется лежащею на дне чудовищной воронки, совершенно крошечною, как сцены наших захолустных театров, и бродящие там группы людей кажутся мед-

ленно движущимися куклами. Таково же ощущение, если вы станете смотреть в наружное стекло бинокля. Все далеко и все малó.

Сцена — маленькая, и игры маленькие, а люди совсем крошечные. У колоссальной толпы, здесь некогда теснившейся, не было настоящего чувства крови, которое было у зрителей «бельэтажа», ибо моряки, *plebs* и *bourgeois* все видели как бы на театре марионеток и интерес игры был для них, а жалости игры не было. Даже только шелест платья и звук дыханья восьмидесятитысячной толпы производил некоторый шум, да и за самою высотой ничего не было слышно из раздирающих криков внизу, а выражения лиц, конечно, не видно; и видимы были только двигавшиеся, стоявшие и падающие фигурки. Я думаю, есть разница: взглянуть на бойню быков изнутри ее или издали, с площади, с дальнего края площади, примыкающей к бойне быков. В первом случае появится жалость, во втором останется только зрелище. Известно, что солдаты и офицеры питают ужас к битве; и писатели, которым случалось быть солдатом или офицером, не могут надивиться чудовищности человеческого сердца, допустившего войну. Но Наполеон или даже Кутузов, соображавшие план битв, не имели этого трепета, и это писатели-офицеры или писатели-солдаты относят к недостаткам их сердца. Между тем и Наполеон и Кутузов, которые во время битв ни в кого не прицеливались, никогда не вынимали сабли из ножен, не видели «товарища Ваню», падающего около их плеча в крови, и представляют собою зрителя верхнего яруса Колизея; или, *mutatis mutandis**, верхний зритель Колизея представляет собою в психологическом отношении такого полководца Кутузова, который о пролитой крови знает, но этого пролития не чувствует, не жалеет, не страшится, ибо «бинокль зрения» к нему обернут, так сказать, своей широкой стороной, все удаляющей, а не своей узкой стороной, все приближающей. Народная римская толпа не была (как я думаю) кроваво безжалостна; а были таковыми только нижние, испорченные, атрофированные сердцем, зрители. «Прости, развратный Рим» — это, верно, написал наш поэт².

*с соответствующими изменениями (лат.).

Но это не целый Рим, а только часть, блестящая, чешуйчатая сверху.

Я начал спускаться вниз, недолго посидев наверху. В пустынном Колизее, на котором-то из средних его ярусов, прямо во дворе его, весело спустился головкой мак. Малиновый цветочек весело расцвел под ярким солнцем. «Вот куда занесло зернышко». И не помнит оно ничего: как растеньице счастливее человека!

Были ли жертвы Колизея так несчастны, как нам представляется теперь? Я думал о христианах, и судьба их мне представилась счастливою. Да, она представлялась мне счастливою, как необоримо и неоспоримо видел я ее счастливою на стенах катакомб в тамошней живописи. В цирке и в катакомбах были одни люди, те же люди. Чем они жили? Вечною надеждою. «Завтра начнется светопреставление, и мы там — цари, оправданные победители мира и дьявола». С такой мыслью как не умереть. Время апостольства и сейчас же после апостольства было самое счастливое для христиан время, и они потому и победили мир, что были несравненно счастливее цезарей, сенаторов, весталок, ибо знали, для чего жили, и знали, за что умирали. Счастлив человек, который имеет то, за что ему хочется умереть. Какое сокровище у него в руках! Держа его у своей груди, неужели можно смутиться перед тигром или вооруженным гладиатором? Минута страдания после 30-ти лет счастливейшей жизни в катакомбах, с друзьями, с какими друзьями! и — перед рассветом вечной жизни сейчас же из-под лапы льва! Что значит этот миг смерти на фундаменте такой психологии? Они сами несли в сердце целый Колизей, а этот лев или гладиатор был избушкой на курьих ножках. И Колизей раздавливал избушку, и христиане победили львов, гладиаторов, римлян, Рим, мир.

Они шли за Павлом, за Петром. — «Не распинайте меня так, как Христа, а головой книзу, чтобы голова моя была там, где ноги моего Спасителя», — кричал ап. Петр солдатам, волочившим его на крест³. Какая конкретность! Не в нем подвиг, который так кричал, а у него счастье, что он видел Лик, за Который так кричал. Христиане шли за Павлом, а Павел шел за всех. «Друг друга обымем»⁴ — это было не словом, это было еще делом. Павел умирает за меня, а я за Павла:

неужели страшно мне умереть, хотя я и не Павел? Когда идут за Павлом, все становятся как Павел: это необходимо, это и сейчас так, как было в древности. Овцы по пастуху, а не пастух по овцам. Перенесемся к земным событиям, к материальным и уже неоспоримого смысла событиям: все были львы с Суворовым, но как вы спросите львиного у человеков, когда их ведет человек, неуверенный в победе, и даже ведет другой человек, не понимающий, что такое и зачем эта война, и войско, и он сам.

Но и это ли одно. Христианство все было сосредоточено в одну точку, и шел, собственно, один вопрос: променять ли на лик Христа сонмы мраморных и живых ликов, маленьких, ограниченных, гнойных, или позорных, или незначительных. Весь вопрос христианства в первые века был только вопросом этого обмена. Оно все было только нравственным вопросом, без огромных метафизических дополнений. Явилась система Коперника, и как она затруднила то же дело. Христианство есть явление нашей планеты, а существуют еще миры, где не было иудея и эллина, не было Ветхого Завета и, следовательно, нет для них и поправляющего или дополняющего Нового Завета. Стала относительна земля, а следовательно, условно и относительно стало и все совершившееся на земле. Это — огромная перемена, и христианам после Коперника просто стало невозможно ожидать, что «звезды посыплются с неба при светопреставлении», как пуговицы с изношенного мундира⁵, ибо звезды нисколько не суть части, или убор, или красота и вообще принадлежность земли. Открытие Коперника все перевернуло, хотя сам он был каноником католической церкви. Явилось всеобщее знание и вера. Вырыли из земли ихтиозавров и бронтозавров, и они сказали так же много, как астрономия; ибо их не видел Ной, и они не видели Ноя. Все стало еще труднее. Св. книги не сокрушились от этого, но явилась очевидная нужда их как-то иначе понять, не в астрономическом и не в геологическом смысле, как понимали наивные первые христиане. Весьма вероятно, что книги эти имеют несравненно глубочайший смысл в себе, нежели сухонаучный, что они несут в себе некое мистическое иносказание; что и «светопреставление», т.е. «переставление», «перемещение» прос-

вещающего человека света, произойдет без всяких физико-астральных перемен. Но этого нового и глубочайшего смысла никогда не могли найти, даже его и не искали, а просто поместили Коперника в Index запрещенных книг, а против Лайэля, Леопольда фон-Буха и Гумбольдта написали ругательную, обличительную статью. Все это изменило положение вещей не только в смысле «дела», но, между прочим, и нравственно. Нравственность, очевидно, очутилась на стороне тихих тружеников науки, безропотных, непритязательных, скромных, благотворящих открытиями своими миру, а в лагере, некогда святом, вселился бессильный гнев и неумение чего-нибудь сказать.

Но и это еще не главное. Дня за три я был на Corso (самая людная, идущая кругом всего Рима улица), часов в 10 вечера, и как был утомлен, то спросил себе мороженого и сел на тротуаре около лучшей кофейни. Весь тротуар, широчайший в этом месте, был усеян стульями и столиками, и чрезвычайно нарядная и шумная публика наслаждалась мороженым, кофе и шоколадом. Первый раз я был вечером на улице, и до чего же вечерний час ее не похож на дневной. Везде выкрикали «La Tribuna» и «Patria» (местные газеты), но никто не хотел ни «Tribuna», ни «Patria». Чтение газет здесь, очевидно, не развито, потому что иначе хотя бы кто-нибудь купил, но решительно ни один человек не купил, не читал. Тут же подбегали к публике и кричали «upo franc» (здесь почему-то лиру все называют охотнее французским именем «франк»), распускали перед глазами веер почтовых карточек с видами Рима. Но и карточек никто не брал, кроме неопытного русского, евшего мороженое. Действительно, страшно дешево: до полусотни видов Рима, превосходно выполненных, за 38 коп. И как они приставали: в голосе что-то прямо умоляющее, точно от продажи карточек зависит что-то дорогое для них или от непродажи угрожает что-нибудь жестокое. Но вот промышленность: когда стало смеркаться и публика начала редеть, замелькали совсем крошечные фигурки мальчиков лет 9—8, даже семи лет, которые подхватывали окурки папирос и сигар. Они двигались быстро, как ласточки, ловящие мух, и я бы не заметил смысла их движения, если бы мальчик не подхва-

тил обгорелого мундштука папиросы, которую я докурив и бросил. Замечу, что папирос здесь совсем не курят, а все сигары. Окурок сигары — еще понятно, тут нечто содержательное есть: но на что окурок папиросы? Очевидно, существовала промышленность, утилизирующая и это, и тысяча херувимов, точно слетя с Сикстинской Мадонны, с этими же спокойными черными глазами итальянских детей, очищала тротуар от сора. «Для вас это сор, а для нас — хлеб». Я хочу сказать, что кроме вопроса веры и знания вырос вопрос труда и голода. «Что общего между этим мальчиком и мной? — подумал я. — Где у него близкие?» Близкие его не эти итальянцы, занятые кофе, как я мороженым: они заговорят со мной, нам есть о чем говорить, о Гумберте, о Де-Губернатисе и Толстом; а с ним им совершенно не о чем заговаривать, и он найдет для разговора своих знакомых не здесь, в Риме, а в Петербурге, на Сенной и прилегающих улицах: там у него и родня и друзья, с которыми он поделится сведениями о цене хлеба в Италии и стоимости окурков, которые еще в Петербурге ничего не стоят. От мальчика я перенесся к Рамполле, которого видел тоже дня за два перед этим. Ну что за дело мальчику до Рамполлы и до его красной шапочки и даже до такого события, как то, что у него руки дрожат во время причащения? Для мальчика этих вопросов просто не существует. Стоит св. Петр — хорошо; не стоит — не станет хуже. Просто это все ничего не значит для голодного, и, следовательно, есть два лагеря и два своих устремления уже в самом христианском обществе, вот в этом самом граде св. Петра, около Колизея, катакомб и мощей св. апостолов. Рамполла прекрасно служит над самою ракою св. Петра, и он есть прямой и непосредственный продолжатель линии священства и лиц, идущих от первоверховного апостола. Но нужно потерять всякую совесть, чтобы не сознаться, что Рамполле интереснее вопрос, равномерно ли выбрита его левая щека, как и правая, чем вопрос, останется ли жив и не заболеет ли в эту ночь этот мальчик с окурками. За св. Павла все умирали, ибо он за всех умирал. Но почему, ради смерти Павла за всех, умереть и за Рамполлу, когда совершенно явно Рамполла ни за кого не собирается умирать? «Мученики Колизея»... те-

перь они разошлись: одни, надев красное одеяние, управляют миром, другие — голодны, холодны, озлобленны. И озлобленные говорят: «Мученики Колизея умерли не за всех, а за кардиналов; нам они не оставили наследства; а когда так, то пусть и чтут их кардиналы, а мы будем собирать окурки и дожидаться Страшного Суда, но только вовсе не в том смысле, как ожидает его Рамполла и нарисовал Микель-Анджело, а совсем в другом смысле, в нашем, для наших интересов и с нашей точки зрения».

Всех этих страшных вопросов и отношений не было для христиан-мучеников. И все эти вопросы и отношения не навеяны, не надуманны, а существуют в самом деле. Христианский мир в самом деле не то что не умеет разрешить, но даже не умеет подойти ни к вопросу знания, ни к вопросу голода. Он просто их игнорирует или отвечает на вопрос о знании: «не знайте», а на вопрос о голоде: «потерпите». Но это — не решения, и особенно не решения в нравственном смысле. В нравственной-то стороне дела и скрыта сущность вещей, ибо как очевидно, с одной стороны, что тихость, и мир, и благоволение, и истина у труженников науки, а не у Шатобриана с пастором Штекером, так очевидно, что опять же нравственный и здоровый момент содержится в разговорах двух бедных мальчиков с Невы и Тибра о стоимости хлеба, а не в способе причастия его эминенции⁶. Таким образом, здоровье, сила и истина выскользнули из христианского мира и незаметно переползли в другие лагеря.

И вот отчего — мученики и веселье там теперь. Там теперь катакомбы, свои, особые. И вот отчего христианину наших дней так безмерно грустно. «О, если бы я жил в первом веке: я бы счастливо умер, но теперь я не имею сокровища, какое имели те, и даже ничего не имею, я нищ и гол как цезарь, как весталки, боги которых умерли и они проклинали народившегося другого бога».

Мне было чрезвычайно тяжело. «Счастливые мученики Колизея II и III века; печальные зрители Колизея XIX и XX века».

«Умиравший гладиатор» и «Моисей» Микель-Анджело

В один и тот же день я видел «Умиравшего галла», чаще называемого «Умиравшим гладиатором», и знаменитое изображение еврейского законодателя, скульптуру Микель-Анджело.

Гладиатор помещается в одном из капитолийских музеев. Капитолий представляет собою довольно высокий холм, срезанный сверху, и небольшая площадка, образованная от этого среза, вся застроена теперь новыми, т.е. уже не языческими, зданиями. Посреди ее, лицом к городу, стоит огромная, некогда позолоченная конная бронзовая статуя Марка Аврелия. Некогда гонитель христиан, какую заботу в них нашел он для своего изображения! Грегоровиус («История города Рима в Средние века») рассказывает длинную и превратную судьбу этой статуи, которая в наивные ранние века христианства принималась за изображение разных других лиц¹. Как мудра книга Марка Аврелия², так незначительно его лицо, с глазами несколько навывкат, скромное, бессильное. Конные изображения людей, впрочем, всегда почти неудачны: конь, движущийся в мраморе или бронзе, всегда живее человека, неподвижно на нем сидящего, и похож на туза, который бьет семерку. Кстати, в фигуре лошади ведь более фигуры, чем в монотонной прямой линии, по которой вытянулся человек: крутая шея, разнообразно поставленные ноги, энергия в небольшом поднятии хвоста, оскаленные зубы, нервные ноздри, торчащие злые глаза-точки — все дает скульптору и ваятелю обширнейшее поприще творчества, нежели мертвые регалии, которыми увешаны грудь человека, или мертвая же одежда, которою драпировано его тело. Вот отчего человек на коне проигрывает, если это не Петр Великий в счастливой (единственной) рисовке Фальконета. На статуе подпись: «Imp. Caesari divi Antonini divi Hadriani nepoti, divi Nervae abnepoti,

M.Aurelio Antonino pio aug. germ., sarm., pont. maxim., trib., pot. XXVI imp. VII cos. III p.p.S.P.Q.R.»*. Тут же, на Капитолии, в печальных клетках среди кустов, и едва ли уместно, содержится живая волчица и два орла: в память орлов, украшавших когда-то римские знамена, и волчицы, воспитавшей Ромула и Рема. Печальные и уже поздние воспоминания: едва ли всегда вовремя дают бедным эмблематическим животным скудную порцию корма. Серьезное здесь начинается с музеев. Их два. Как войдешь на Капитолий по лестнице, то в задней стороне площадки, направо, будет: Palazzo dei Conservatori, налево — Museo Capitolino vis-à-vis, один против другого. В сущности они образуют один, разделенный на два здания, музей: до того велико единство их коллекций и всего плана и смысла устройства и собирания. Первый более древен, но вмещает в себя меньшие сокровища; он воздвигнут был знаменитым гуманистом, папою Николаем V, и потом перестроен по планам Микель-Анджело. Второй музей имеет достоинства не ранних, но более тщательных археологических разысканий и гораздо лучшего систематического расположения предметов.

В Palazzo dei Conservatori нет всемирно знаменитого по художественному выполнению, но есть любопытнейшие для историка реликвии. Так — есть три плиты митрианского культа. Культ Митры — персидского происхождения, принесен был впервые в Рим пиратами, разбитыми и захваченными в плен Помпеем. Долго он оставался рабским культом, распространяясь почему-то особенно между солдатами. Потом о нем что-то узнали, что именно — и до сих пор загадка, и он быстро распространился в высших, особенно в философствующих, частях римского общества. Юлиан пытался противопоставить его христианству, и его исповедовал Марк Аврелий и вся династия Антонинов. Последние язычники-философы, полемизировав-

*«Императору Цезарю, внуку божественного Антонина и божественного Адриана, правнуку божественного Нервы, Марку Аврелию Антонину благочестивому, августу германскому, сарматскому, верховному понтифику, наделенному трибунской властью 26 раз, императору 7 раз, консулу 3 раза, отцу отечества, — сенат и народ римский» (лат.).

шие с христианами, были не поклонниками довольно бессодержательного Юпитера, но этого неразгаданного Митры. Зная это, я с глубоким волнением смотрел на впервые мною увиденные останки его: Митра, красивый юноша во фригийском одеянии и шапочке, всунув два пальца левой руки в ноздри громадного быка, загибает ему голову кверху, а правой рукой вонзает нож в выпяченное горло: зрелище кровавое и неприятное. Поодаль этой главной сцены стоят две человеческие фигуры: стоящая впереди — держит горящий факел наклоненным вниз. Это — смерть, символ и показатель одной тайны нашего бытия, что все кончается, все умирает, как этот павший на передние колена жертвенный бык. Вторая фигура стоит сзади главной сцены и держит тоже зажженный факел, но поднятый кверху: жест указывает на неоконченность жизни в видимой смерти и что за гробом она зажжется вновь. Тема, так тревожившая Ивана Ильича («Смерть Ивана Ильича»), по-видимому, тревожила и митрианцев и была удовлетворительно разрешена сперва для солдат, по понятной причине особенно любопытных к этому вопросу, а потом — удовлетворительно и для философов. Митра, изображенный не стариком и не мужем, но самым молодым юношей, почти отроком, на всех трех памятниках абсолютно сходен и чрезвычайно красив. Вспомнив египетское божество Сета, которое убивает Озириса, родного брата, и не теряя из виду, что Озирис имел земным своим воплощением быка — Аписа, которому Аарон и евреи воздвигли под Синаем кумир³, я думаю, что персидский Митра имеет аналогию с этим Сетом египетским: тут нужно упускать подробности и искать сходства в главном. Столь же интересны тоже впервые мною увиденные кумиры Дианы Эфесской, которой был построен знаменитый храм, сожженный Геростратом, и небольшое, под стеклянным колпаком сохраняемое, бронзовое изображение трехликой греческой подземной богини Гекаты, «страшной Гекаты», как называет ее Гесиод в «Теогонии»⁴. Диана Эфесская — это не полет души, а философия. Руки и лицо одни только обнаженные, из черного мрамора. Это — черная земля, «мать-сыра земля», которая на земле рождает из

себя все. Вспомнив стих Шиллера:

Из груди благой природы
Все, что дышит — радость пьет⁵, —

я понял мысленную тропу, по которой философы-греки добрались до такого изображения; черная «мать-сыра земля» имеет три ряда сосцов, может быть в позднейших игривых изображениях замененных одним символическим «рогом изобилия»⁶, откуда сыплются цветы и плоды. Стих Шиллера и изображение греков человекообразнее изображают эту истину, что богатство земли — из земли же. Статуя — вполне пантеистична. Черная богиня одета в белую, до ступней спускающуюся, одежду, не драпирующуюся около фигуры, но как бы скованную около нее; но, всматриваясь в эту одежду, видишь, что она составлена из мельчайших фигурок животных: быков, овец, птиц и даже каких-то огромных мух или шмелей. Для ученых замечу, что статую греков нелишне сближать с изображением Ваала у ассирийян и финикиян, о которой пророк Иезекииль говорит, что позади этой статуи были отделения или ящички, в которых хранились: в одном — живые голуби, в другом — овцы, в третьем — еще что-то и в последнем, седьмом, — люди (статуя была чудовищных размеров)⁷. И наконец, чтобы ничто полезное для исторических разгадок не упускать из виду, эти попытки воображения или мысли греческой или финикийской можно придвинуть к страшной разноречивости жертвоприношений, существовавших у древних евреев и которым заботливое и тщательное расписание составил Моисей во «Второзаконии» и «Исходе». Бог — «всяческое и во всем»⁸, это, вероятно, мелькало у одних, других и третьих племен, и этому поклонялись они то мыслью и в камне, то сердцем и без всяких изображений. Все эти остатки столь глубокой древности не могут не волновать историка. Здесь же хранится, неподалеку от Гекаты, зеленая от старости бронзовая статуя волчицы, подлинная и та самая, которая стояла в храме Юпитера Капитолийского. Ромул и Рем, ее сосущие, реставрированы (т.е. вполне вновь сделаны по рисунку с древнейших монет), и кой-что реставрировано в ногах. Волчица — жадная, хищная, подлая и наглая — опустила толстый

хвост и, повернув твердую шею, полуоскалила длинный зев влево. Вся она прямая и негибкая. Замечательна эмблема Рима! Почему бы не взять льва, орла? Взято одно из самых неблагородных и даже не очень даровитое животное. «Я где ползком, а где наскоком, а уж свое возьму, да и чужого не упущу из виду». Лицо волчицы необыкновенно выразительно, и до чего понятно, что итальянцы, взяв эмблемой лиру, потеряли все связи с чудовищным, но могучим своим прошлым. Но вот что еще поразительнее для гениального полуострова: что, кажется переродившись в «я» своем, умерев и воскреснув, он воскрес, все-таки, не в ничтожество, но в гениальность совершенно другого порядка — Рафаэля, Галилея, Петрарки и Данте. «Вечный город», — говорят о Риме; напротив, можно сказать об Италии: «вечный гений». И даже в совсем новые времена она дала Гальвани и Вольту, т.е. все электричество, дала Канову, Сальвини, Росси и Дuze.

Из красивого в Palazzo dei Conservatori хорош бюст Юния Брута, первого консула, чрезвычайно характерный и выразительный, и прекраснейшая, хотя малоизвестная Venus Esquilina, гораздо ценнейшая, мне кажется, чем часто воспроизводимая в фотографиях и помещаемая в особом зале грубая и бесчувственная Venus Capitolina (в Museo Capitolino). Статуя очень попорчена и, к счастью, не реставрирована, но нельзя налюбоваться на глубокое знание анатомии у ее неизвестного творца, как и на простое, не подчеркнутое благородство ее форм. Далее, среди мраморных и бронзовых обломков поразила меня фигура коня, закусанного львом. Долго я ночью не мог забыть «души» этой старой (античной) бронзы: лев взял ее пастью за бок, и две лапы его тоже прошли до кости; кожа так и сошлась к этим точкам. Но это пока анатомия. Лошадь упала на правый бок и как-то глупо подняла левую ногу. Когда больно — не бываешь умен, и это художник подчеркнул. Но чего я не мог забыть и вспомнил ночью — это приподнятой и ослабленной, смеющейся головы лошади. У Гоголя в «Страшной мести» описано — и это есть самый страшный мистический момент, — что лошадь, на которой скакал колдун от своих грехов и всего ужаса своего прошлого, обернулась и засмеялась⁹. В группе, меня поразившей во дво-

ре Palazzo dei Conservatori, лошадь осклабила зубы не для борьбы и даже не с воем боли, а как бы со смехом перед своей смертью. Грешный человек, никогда я не думаю о смерти, и это за две тысячи лет сделанное изображение лошади впервые защемило мое сердце мыслью о смерти. «Как страшно умереть! как боялась эта лошадь, почувствовав неизбежное, окончательное!» Смерть как конец, как «стоп-машина» — этого я нигде, и даже в «Смерти Ивана Ильича», не почувствовал так, как здесь. И это лицо лошади, потому что в точности в минуту смерти морда стала лицом, — какое оно родное мне, мое! О Диана Эфесская: в минуту смерти и я стану, как эта лошадь, не более, не мудрее, не счастливее; и тут, может быть, объясняется и Митра, «непобедимый Митра», как называли его римляне, с равным равнодушием заколающий меня и лошадь, через холеру или льва, но неизбежно, «непобедимо». Бедные мы смертные, от мухи до человека. «Великая Диана Эфесская», как восклицали греки ап. Павлу¹⁰; да, «велика» для меня, для Ивана Ильича, и мухи, и лошади. «Земля еси и в землю отыдеши»¹¹.



Нужно иметь благоразумие при осматривании музеев. Можно истомить себя, физиологически и психически, рассматривая вещи не первоклассные, и тогда лучше, отметив место первоклассных, назавтра со свежими силами и непритупленной чувствительностью идти прямо к ним. Так поступил я с «Гладиатором», натолкнувшись на него невзначай в Museo Capitolino и назавтра придя вновь к нему.

«Гладиатор» — произведение чисто христианское, хотя и изваянное в языческом мире, вероятно, к концу его, в последние и томительные его минуты. Что мы видим, в сущности, в Аполлонах, Дианах и Афродитах? Да, кое-что, конечно, видим: портной меряет меня и шьет сюртук; хороший портной долго и подробно меряет и хорошо сошьет. Так и человек «измерен был» ранее, чем получил «дыхание жизни и душу бессмертную»¹², и уже после того он стал «образом и подобием», однако «по мерке». Эту-то тайну «божественных мер» человека и схватил грек, который, одна-

ко, в своих темах и помыслах никогда не поднялся выше самого удачного портного. Где же биография Аполлона? Если она и есть, то или незанимательна, или недостоверна и, во всяком случае, ничем не выражена в его мерах. «От плеча до плеча столько-то, и от конца пальцев до локтя — столько-то, а волоса выются, и лицо улыбается». Если бы так было написано в американских брачных объявлениях (в газетах), ни одна мисс не пожелала бы выйти за такого. А таков Аполлон. Греческие мифы рассказывают, что земные женщины непрерывно соединялись с Зевсом, однако греческие скульпторы в своих мраморных «донесениях» только и говорят о них: «от плеча до плеча столько-то, а грудь выпячена». Если мисс за такого не пошла бы, почему его избрала гречанка? Очевидно, миф Греции не весь донесен скульпторами, или по крайней мере он умер и похолодел, когда началось его мраморное или бронзовое воплощение. Можно задуматься над Дианой Эфесской, без красоты, но с мыслью, но с философией и, наконец, с реальностью; Шиллер задумался. Он написал: «Юноша из Саиса»¹³ или «Покрывало Изиды». Но нельзя представить себе, чтобы Шиллер написал стихотворение «Аполлон Бельведерский» (которого я, впрочем, еще не видал, но сужу по десяткам видимых в музеях других Аполлонов). В Аполлоне не только нет мотива молитвы, но и мотива воодушевления. Таким образом, древние художники работали зрительно, но не работали душевно: и это есть демаркационная линия, разделяющая их от работников-христиан.

Но христианскими волнениями, христианскими предчувствиями и жаждою полон был перед концом уже языческий мир. Это говорит «Гладиатор». Он — некрасив. Особенно характерны и почему-то запоминаются короткие, обстриженные усы: это уже не «вьющаяся борода» Аполлона или Антиноя и других; это — реализм новых времен, первый штрих некрасивого и бессмертного (иметь «душу бессмертную») Акакия Акакиевича. Ведь в новой литературе почти нет физически красивых, «обольстительных» лиц, и это — всемирно, это — почему-нибудь. Да потому, что душа залила тело, пробужденная, вызванная к неизмеримому. Я думаю, в живописи, литературе и поэзии европейской, а

в основе всего, конечно, в жизни европейской сыграло роль таинство исповеди: это бережение ран, но именно душевных ран, припоминание того, что было год назад, и припоминание болезненное, мучительное. Это ужасно взволновало души людей; пробудило эпилепсию — у одних, но и героизм, именно душевный, — у других. В сущности, вся, напр., литература Достоевского прямо немыслима без таинства покаяния, т.е. невозможна в обществе, где не было бы этого таинства. Взволнованный и несколько искаженный дух, дух мятущийся, не мог не отразиться некоторою перековерканностью мер, в которые так влюблен был портной-грек. Ему не с чего было бы «шить» свои статуи в наше время; но и обратно, знающие «исповеданные тайны», мы уже «volens-nolens»* холодны к его древнему мастерству. Там было голое тело; точно «страшный суд» в самом деле придвинулся, и мы возжаждали голой души, таинственного «сближения сердец».

Гладиатор вдруг забыл о цирке. Так конь, схваченный львом, забыл моментально поля, и кобылиц, и все. Забвение наступило вдруг, еще за минуту его не было у гладиатора. О, это говорит так же, как Колизей, не меньше, чем Колизей. Впервые я понял, до чего скульптура выше архитектуры: ибо в Колизее к мощным формам прибавлена еще знакомая до подробностей биография; но гладиатор покрывает и эту биографию, и формы. Удар пришелся в правый бок, рана узкая и глубокая. Но сердце он не задел; для легких — слишком низок, для почек — слишком высок; верно, разрезан важный кровеносный сосуд или важный нерв — только мир в красоте своей моментально померк для него. «Ухожу от мира, сейчас отойду, через две минуты». Вот эта отдаленность, отрешенность, смертное, «всякое ныне отложил попечение»¹⁴ — выражено в статуе. Как? — Ее тайна. Он опустил голову не очень, но так, что уже ничего не видит, чего не нужно видеть, что ему больше не нужно. Крови не удерживает, и она сочится, а не льет, не брызжет. Думает ли он о родине, как написал в знаменитом стихотворении Лермонтов¹⁵. Отрицать нельзя, но и настаивать нельзя. Он видит Бога; как древний — он видит «Ге-

*волей-неволей (лат.).

кату»; все равно — в смерти я, он, лошадь летит, как атом, в океан, который объемлет христианина и язычника, соединяет китайца и умерщвленного им миссионера, и —

Солнца она потушит
И всем мирам она грозит¹⁶.

Во всяком случае, он больше думает о родном крове, чем о Колизее. Лицо его необыкновенно добро для такой минуты, и в нем есть «судьба», «мне судьба», а от кого, кто виноват — этому полное забвение. Какое-то пренебрежительное забвение, беспамятство ненужного. Так больной, умирая, не думает о докторе, который, может быть, ошибся. «Все равно». Или еще: «Теперь некогда, мне некогда». Но до чего же ему есть дело? До родного крова, «детей играющих, возлюбленных детей» — да, это может быть, но не непременно, не абсолютно. «Вечный сумрак уже одел меня, и все — есть, а меня — уже нет, сейчас не будет». Просто — вхождение в новое, такое новое, чего никогда не видел! Тайна. Гроб.

Тут нужен гроб христианский. Просто нельзя понять жестокости, как таких умирающих некогда клали в «аполлоновские» гробы, с кудрями и амурами (я видел на множестве саркофагов: и даже на древнейших христианских, в катакомбах). Мне кажется, в христианстве как мало обдуманно и возлелеяно и вообще культивировано вхождение человека в мир, так найдена абсолютная и, так сказать, не нуждающаяся в коррективах и дополнениях красота выхода из бытия. Смерть и похороны, со всеми подробностями, до ниточки — постигнуты в нем человеческою душою в такой мере, музыкально, обрядно, певчески, словесно, символично и прямо, что работать здесь далее мыслью уже невозможно. Христианство есть культура похорон; ведь и монашество, столь яркою чертою входящее в христианство, разве не есть уже предварение похорон, некий идеальный образ смерти; а мощи и их идея, тоже столь универсальная в христианском мире, не есть ли внесение духа в смерть, одухотворение смерти, ее апофеоз, ее таинственное «осанна»! Умер — и свят; о, только в тлении-то — и бессмертие, а жизнь — смертна! Непонятно, как могло дать что-нибудь тут «бюро

похоронных процессий». Над усопшим другом и братом — нет, точнее: когда усопший стал братом и другом всему христианскому миру, — весь христианский мир, в сонмах священников, архиереев, должен его возносить на руках, на плечах и увить цветами, без всякого вмешательства «промышленности и торговли», и безмездно, непременно безмездно. Ибо уж если и тут «мзда» — пропал человек и погиб мир.

«Умиравший гладиатор» уж если что видит, то новый восходящий христианский мир; где не будет такого, что случилось бы с ним. Он видит лелеющие себя руки, ласкающие, воздымающие, и, может быть, в самом деле, хоть и язычник, он видит наших херувимов, принимающих Божию из него душу, чтобы отнести ее в селения райские, наши, христианские, православные, «идеже несть печали и воздыхания, но жизнь бесконечная»¹⁷.

Художник удержался, чтобы придать ему атлетические формы. Я говорю, этот безвестный скульптор уже был по духу христианин. Тело гладиатора — типичное наше тело, пожалуй русское, вообще — славянское, как не неправдоподобно заподозрил Лермонтов, упомянув о душе. Но только оно необыкновенно красиво своей — не аполлоновской, но человеческой — красотой; сухое, тонкое, сильное; стальное, но не мясистое. Чудный гладиатор этот дал мне пережить несколько истинно христианских минут.

* *

*

Гладиатор умирает, Моисей живет. Вот уж кому жить! Мне почему-то «Гладиатор» дороже статуи Микель-Анджело, хотя оно в другой линии направления такое же совершенство. «Гладиатор» подходит к христианству, «Моисей» опять уходит назад, в древность, в язычество. Конечно, к историческому Моисею, о котором в «Книге Чисел» замечено, что он был «кротчайший из людей»¹⁸, она не имеет никакого отношения. «Господи, доколь я буду выносить ропот этого народа: он был для меня — как ребенок для матери в ее утробе»¹⁹, — говорит законодатель о себе в другом месте. Евреи, ропщущие на Моисея, бежали вместе с тем за ним, как овцы за пастухом; и воистину, лелею-

щий пастуший лик есть подлинный образ его. Никогда он до конца не гневался, а было за что; и угроза заканчивалась милостью. «Господи, если Ты решил изгладить из книги живота народ этот (за золотого тельца), изгладь и меня из книги жизни», — говорит он еще²⁰. Читать о любви Моисея к народу нельзя без слез, и тысячекратно понятно, почему этот единственный в истории пример любви человека к своему племени вызвал ответно в последнем такую безмерную любовь и преданность к нему. Мертвый и живые — они обнимаются, как «Медный змий»²¹, кольцами одного тела, несокрушимого, вечного.

Микель-Анджело изваял около гробницы Юлия II «океан» — эмблему. Да, это не лицо и не портрет, а эмблема. Творение Фидия в храме Зевса Олимпийца не было совершеннее; вот ум, «помавающий бровями»²², как определил старца-бога Гомер, и эту строчку его взял за тему Фидий и как будто взял Микель-Анджело. Фигура — отвлеченна. Ни одного знакомого из Библии выражения нельзя представить звучащего с языка статуи. Она молчалива. Это бог, на которого можно молиться, а не вождь, не «пастух», за которым можно или особенно хочется следовать. Сила этого отвлеченного изображения, одного, чрезмерна, и мысль об эмблеме океана приходит на ум, и именно — о прибое океана, о его ночном реве. «Вот встанет и затопит», «встанет на выю»²³ народа, и от народа останется только мокрое место». Если бы римлянам не пришло на ум поставить эмблемой себя довольно безвкусное изображение волчицы, они могли бы взять Моисея Микель-Анджело: «Вот прообраз и эмблема моих Марцеллов, Сципионов, Фабиев; всего меня — Рима настоящего и будущего».

Но добрый Янкель из «Тараса Бульбы» восклицает: «Пхей! Это — идол».

НЕАПОЛИТАНСКИЙ ЗАЛИВ

Чудовище

Однажды я сидел в загородном саду в Москве и смотрел на гимнастические упражнения атлетов. Сколько я ни осуждал теоретически зрелище, оно волновало меня, и я не отрывал глаз от очевидной опасности, которой они подвергали себя. Особенно опасно было следующее: два атлета стояли высоко в воздухе на дощечках друг против друга и имели каждый в руках по трапеции. Наступала минута, и они как птицы спускались со своих площадок навстречу один другому, держась руками за тоненькую палочку. Висеть на такой страшной высоте, в ужасном полете, на одних руках! Вдруг они изменили игру: один стал на свою площадку, а пустился в полет только другой; в то же время первый слегка толкнул свою трапецию, и она начала описывать дугу навстречу летевшему гимнасту. Не успел я спросить себя, зачем это, как летевший атлет выпустил из рук свою трапецию и перелетел по дуге огромное пространство, схватился руками за брошенную ему навстречу палочку другой трапеции и поднялся с нею до товарища. Теперь они стояли рядом. Момент, когда он был без своей трапеции и еще не долетел до чужой, — был чрезвычайно страшен для зрителя. Я вспомнил Мартына Найденыша, маленького мальчика-подкидыша, попавшего в руки к акробатам, историю которого слышал в раннем детстве. «Мартын Найденыш» — это роман, мною никогда потом не виденный, кажется переведенный с французского¹ и который читали мои братья и сестры вслух, а я слушал, совершенно не зная, что такое Франция и что такое акробатическое искусство, и только запомнил, как страшно боялся мальчик, когда «старшие де-

ляли пирамиду и мальчик должен был взбираться на плечи атлета, стоявшего уже на плечах у другого атлета». Из чтения ярче всего в моей памяти остался этот страх и последующее убеждение взрослого, что акробаты тоже боятся. Наше представление, что здесь уж такая совершенная наука, что психологического момента здесь нет и атлеты так же механично летают с трапеции на трапецию, как механично щелкает и выпрямляется перочинный ножичек, будучи полуоткрытым и доведен до известного угла сгиба, — это представление совершенно ложно. Опасность есть. Психологический момент тут не исчез. И я, смотря на атлетов в московском саду и вспоминая Мартына Найденыша, мысленно измерял опасность полета и страх игроков. Дело в том, что сетки под ними не было и она была бесполезна: акробат летел, выпустив свою трапецию, по дуге круга, и если бы он всего на полвершка не достал кончиками пальцев до брошенной ему навстречу трапеции, что могло произойти от тысячи причин, главнейше — от начала момента его собственного полета и от момента же выпуска свободной трапеции другим акробатом, то он полетел бы не книзу, на возможную сетку, а по горизонтальной линии в забор или через забор и, конечно, превратился в комок мяса. Но и в этом ужасном риске они не дошли еще «до точки». «Точка» наступила, когда они оба полетели одновременно и, встретясь, выпустили (нужно же выбрать секунду!) каждый свою трапецию, пролетели мимо друг друга, схватились каждый за противоположную и, поднявшись, стали на место один другого. Все замерли. Я замер.

— Куда душа пойдет! Куда душа пойдет!

Я оглянулся на восклицание. Позади меня сидела повязанная толстым платком москвичка благодушнейшего вида. Как она, матушка, зашла в загородный сад, не знаю; но она уселась, как и я, перед трапециями и, глядя на упражнения акробатов, думала не о них, еще менее любовалась ими, а сплетала особенное о них богословие.

— Как, куда душа пойдет? — невольно спросил я ее, услышав в десятый раз монотонное восклицание.

Тут она мне объяснила, что акробат, оборвавшись, убьется, и что куда же тогда пойдет его душа, очевидно без исповеди и всякого напутствия, среди бесовской иг-

ры, вырвавшись прямо... куда? Очевидно, не к Богу, а к бесам, и вот этот возможный перелет с трапеции прямо в ад волновал ее ужаснейшим образом. Я подивился: «И философы же эти московские купчихи».

Вот такое же, «куда душа пойдет», я пережил вчера, поднявшись на Везувий.

* *

*

Уже плечи начали ощущать часам к двум дня первый горный холодок, знакомый мне по Кавказу и Альпам. Это — не наш липкий, сырой холод равнин. Горный холодок свеж, приятен, возбудителен. Точно воздушное шампанское струится около щек, забирается за галстук, под рубашку, стирает пот с вас и берет усталость. «Вперед! дальше!»

— Lava, signori*, — обернулся кучер.

Нас сидело в ландо четыре персоны. По узкой, неудобной, крутой и не довольно ровной дороге тянулось шагом 8—10 ландо, тянулось утомительно, долго, трудно, скучно. Уже миновались бесконечные неаполитанские улицы, по которым, незаметно для себя, мы выехали прямо к подножию Везувия. «Вот он!» — до сих пор видный только издали. День не был совершенно ясен, и все четверо мы взволновались, что, заплатив так дорого за удовольствие, едва ли увидим его во всей отчетливой прелести. Мы перезнакомились, больше жестами, чем словами. В ландо была одна англичанка и одна шотландка.

— Вы потеряли прекрасную королеву, — постарался я им сказать комплимент.

— О да! — как-то прошипели они на своем птичьем языке и подняли глаза кверху.

Они не говорили ни на каком языке, кроме английского, и я ни на каком языке, кроме русского. Но связью служили обрывки всесветно известных французских фраз.

— Кажется, теперешний король ваш довольно обыкновенен...

— О нет! Мы его очень любим.

— Да я не о чувствах говорю, но о качествах. Вик-

*Лава, синьоры (итал.).

тория имела великий ум, и великий характер, и великую судьбу, наконец, — даже великую семью. «Tout grand»*, — пояснил я и развел в обе стороны руками.

— Tout grand! — повторили они за мной и опять подняли глаза.

— Женщины дали лучших королей, чем мужчины: наша Екатерина, ваши Елизавета и Виктория, австрийская Мария-Терезия: и ведь все они случайно попадали на престол, непредвиденно, без приготовления, только от недостатка мужского наследника или случайной преждевременной смерти одного или нескольких кандидатов. И эти женщины вне кандидатуры какие дали царствования?

— О yes**.

Кажется, они говорили «yes»: по крайней мере так можно начертать их неуловимое шипение.

Первая лава не была интересна. Местами виноградники прерывались, в земле показывался излом, и видно было, что это текучая земля или текучий фундамент земли, по ее особому сложению. Кругом земля была необыкновенно тщательно разработана.

— Это виноград, из которого готовится вино *Lacrima Christi****.

Местное недорогое и не очень вкусное вино, бутылку которого нам подали на дороге. Вообще все время пути идет маленькая торговля: вам подают в экипаж то роскошные желтые розы, то подносят лоток с изделиями из лавы, то предлагают апельсинов, сок которых около Неаполя и вообще в Италии частью заменяет воду. Или вдруг к экипажу подходят 5—6 человек, стариков и молодых, мужчин и женщин, со скрипками и флейтами. Не обращая внимания на равнодушные или даже раздраженные лица едущих, они играют маленькую серенаду и, кончив ее, протягивают шапку, чтобы получить несколько «centesimo». Все это раздражает; но, наконец, и все это нужно человеку, и вы любуетесь на его цепкость существования. Как на самом кратере Везувия еще растет последняя травка, так на последнем возможном пункте, вот на минуте случайного вашего «partie de plaisir»****,

*Все великое (франц.).

**да (англ.).

***Слеза Христа (лат.).

****увеселительная прогулка (франц.).

все еще живет и ползет человеческая деятельность, человеческий труд, человеческая озабоченность друг о друге. Ибо что такое труд этого музыканта, или фигляра, или коробейника? Где-то в углу, в избенке, почти в хлеве, у него ползают затерянные ребятишки, хлопчет около очага старуха, и старик-муж или старик-отец берет бала-лайку и звенит вам в нос нелепую песню, равнодушный к вам, вашему удовольствию или ругательству, чтобы принести домой маленькие «массагопi». Я любовался. И в тысячный раз проклял аскетов, которые выпустили из внимания, из оценки своей, из своей арифметики добродетелей эту страшную в человеке жажду жизни, эту благороднейшую в нем заботливость друг о друге, вытекающую из простого, на их взгляд, физиологического факта: «семья». Экипаж поднимался по кратеру, и я, унесенный движением далеко от обстоятельств движения, упорнее и упорнее шептал про себя: «Не надо их! не надо их! Ничего они не поняли, и враги они человечеству. Рухнуло колесо под телегой: мы жалеем телегу и жалеем мужика; но эти каменные сердца, отняв у человека семью или в других случаях не допуская человека до восстановления семьи, в третьих случаях разрушая уже существующую без их спроса семью, — они менее жалеют человека, чем человек жалеет разбитую телегу. И судьба их, начавшаяся с Франции и Италии, есть заслуженная судьба, невольное человеческое возмездие»².

— Вы что-то задумались? Да смотрите же кругом!

Действительно, последние виноградники исчезли. Шла травка или мелкий кустарник; кое-где издали виднелось человеческое жилье. Мы ехали одни, отстав от одних экипажей, оставив за собою другие. Лошади страшно трудились. Везувий был прямо перед глазами, огромный, очевидный. И кругом, кругом...

Это не были бока вулкана, а как бы целая страна, уезд, перековерканный, изломанный, черный, отвратительный и страшный. Чувство планетности нашей жизни вдруг охватило меня. Никогда ведь оно не доходит до сердца. Живем в Петербурге, а не на земном шаре, на Шпалерной улице³, а не в части света, именуемой Европа. Вообще чувство земного шара, особое космическое чувство, устранено из нашего психического состава; это чувство огромное, ужасное, новое — и вдруг

оно полезло в меня, маленького, бессильного его вместить и, однако, долженствующего его вместить. «Сейчас я лопну! И куда бы убежать?!» Вот моя робкая психология.

Лава гадка. Есть для нее неудобное в печати сравнение. Черные горы навалены одна на другую, ползут, скашиваются, переламяваются, пучатся пузырями и пещерами и, наконец, выются чудовищными переплетающимися жгутами, очевидно вчера жидкие и огненные, сегодня черные и холодные. Это «вчера» было тысячу лет назад; но тут, в этой единственной точке, века — как один день. Ведь ничего не вырастает здесь, не движется, не переменяется, и вечный покой вида действительно сближает столетия до Рождества Христова и после Рождества Христова как бы в утро и вечер одного дня. Для Везувия извержение — это секунда жизни, настоящего бытия; но когда нет извержения — что для него века! Их нет, для него нет; а следовательно, и нет для нашего времени, кроме часов, когда он чудовищно зашевелил челюстями, сожрал два города и заснул нисколько не сытый. «У, чудовище!» — вот мысль путника. «Земля, я чувствую тебя!» — вот другая еще мысль. И как были правы древние, одушевив вулкан. Его извержения, в их холодном, черном цвете, в самом деле напоминают до гадких подробностей о какой-то миготно-бурной болезни планеты, что-то неудобно сожравшей и не смогшей переварить сожранное. Да, боль планеты — вот идея извержения, которую вы вдруг начинаете чувствовать, видя несомненные последствия болезни. Слишком все подробно перед глазами, и это огромное проистекает не из жизни этого Неаполя, не от мелких биологических ниточек бытия на земле, а от бытия и биологии самой земли, ее самой! Земли, о, какое ты чудовище!

— Неужели же мы там поедим? — спросил я, увидя какую-то ленточку не перед глазами, но скорее над головой.

Мне сказали, что это — железная дорога. «Не хочу! не хочу!» Но я не смел этого сказать, а только чувствовал.

Еще тянулись часы. Еще мы скучали, раздражались, ожидали. Лошади наконец остановились. Тоже — маленькая станция, как следует, как на почтовой дороге

в Смоленской губернии. «Будто все по-христиански, а на самом деле — у дьявола за пазухой». Вулканы все вообще имеют два кратера: кратер поднятия и кратер извержения. Первый есть тот вспученный уезд или вспученная губерния, перековерканная, испорченная, которую сотворила заболевшая планета: это — поля и равнины, это вообще страна. Кратер извержения имеет отношение к секундам жизненного бытия вулкана и образует его собственное тело. Это — уже вулкан, а не планета; это — орган, чирей, болячка, полная огненного гноя. Тут нет ни холмов, ничего, дорога — невозможна; нужно или подскочить туда, или чтобы вас подбросили туда, но вообще вы должны сыграть роль подбрасываемого и летящего вверх мячика. Последнюю роль и выполняет железная дорога, подобной которой я никогда не видел.

Сели завтракать. Куверты, тарелки, прислуга во фраках — все как следует, все как обыкновенно, как в Смоленской губернии, где я тоже с почтовых лошадей, бывало, пересаживался в вагон⁴. А вот подали и вагоны. Все встали из-за стола.

Нас провели в узенькую деревянную постройку, похожую на сарайчик, и, при помощи служителя перепрыгнув через широкую щель между вагоном и полом станции, мы очутились в крошечном вагончике. Это — с потолком и полом — ящик, с крошечными скамеечками для двух и перильцами. Я рассмотрел, что поезд идет по одному, посередине поставленному, огромному и высокому рельсу, т.е. он идет как бы совершенно неустойчиво, готовый сковырнуться набок, и тянут его железные канаты, четыре: два для поезда восходящего и два для поезда нисходящего. Таким образом, вы нисколько не «едете по железной дороге» и «поезд не идет», паром или электричеством, по «железной дороге», а вас тянут за веревку, как вещь или труп, в какой-то ужасный «верх». Сохранена только внешность железной дороги, а в действительности — это блок, веревка и гири. Мы, в качестве поднимаемой гири, сели в соответственные ящики. Вдруг колеса и все задвигалось, зажужжало, и я невольно схватился за перильца: на уровне моей головы было сиденье передней лавки, а сзади сидевшие были подо мной. Мы ехали почти вертикально.

Неаполитанский залив, Сорренто, Кастелламаре,

руины Помпеи, острова Капри и далекий Иския — все поплыло перед очами вниз. «Воздух, откуда этот воздух, он давит меня». Почти сейчас же и до конца поднятия мною овладел такой ужас, какого я никогда не испытывал. Это не был страх смерти, это было страшное положение, совершенная отмена прежних условий жизни и наступление новых. Новизна-то и сотрясала. То я ходил внизу, а теперь все ходит внизу подо мною. Вот облака отлепились, будто отлепились от ног моих, и пологом опустились вниз, как слишком тяжелые. А мы все мчимся вверх. Это не был во мне страх физический, а страх психический, т.е. самый неотвязчивый, неубиваемый, потому что душа-то в нем и становится несвободна, душа, которая могла бы победить страх. Я боялся самой невероятной вещи: что лента или палка, столь вертикально стоящая и на верхнем конце которой стучит мой вагончик, не удержится в положении слабого наклона назад, а упадет вперед и мы, Везувий, дорога, поезд, описав чудовищную в воздухе дугу, — полетим в Неаполитанский залив, сейчас, непременно, безусловно. «О, нисколько не страшна смерть, но этот способ смерти ужасен». Тело вулкана казалось мне защитой от воздуха, его я нисколько не боялся, не боялся огня под землею, — а этого «выше, выше» и «выше». Положение путника, когда не работаешь, а только созерцаешь, увеличивало страх. Я замечал, еще гимназистом, на Волге, что когда в бурю сам гребешь в лодке — ничуть не страшно; но когда только едешь в лодке, а гребут хотя бы взрослые и уверенные в своих силах мужики, ужасно страшно⁵. Деятельность вводит в подробности; видишь весло, а не бурю, спину товарища, а не волну, которая тебя опрокинет. Так и в поднятии на Везувий. Механические средства передвижения, сделав физически безопасным поднятие на него, не только не сократили, но и до известной степени впервые открыли в полном объеме метафизически страшную сторону этого поднятия. «Вы только сидите, а уж мы вас довезем». Только сидите? Нет, сядьте вы, пожалуйста, сядьте, а я вас повезу, хоть на собственной спине, побегу под вами колесиком по матери сырой земле, мне привычной, мне родной, как это счастливое колесо вагона, которое видит только тот вершок земли, которого касается. Я ви-

жу планету, как путник, как пассажир вижу — это страшно, к этому я бессилен...

Поэтому, когда поезд остановился, я думал не о Везувии, не о «впереди», а о том, что неминуемо и безусловно я еще раз буду должен спуститься по этой ужасной дороге. Только тогда меня тащили вперед ногами, а головой вниз, и я видел через лоб Неаполитанский залив и все, а теперь стану скользить ногами вниз и увижу прямо перед собой Неаполитанский залив: разница небольшая! «Нужно подниматься», — заговорили кругом. Действительно, опять кромка около вулкана; мы были на верху кратера поднятия, около жерла, но это «около» в данном случае представляло еще возможность нескольких десятков саженей поднятия. «Вперед и вверх». Но уже глаза были обращены к земле, планета исчезла, настал труд, и я бодро шел вперед, с душой, утомленной пережитым, но без волнения к «впереди».

Почва состояла из перегорелых шлаков, через которые бесчисленные туристы пробили что-то вроде тропы. Через каждые пять минут приходилось останавливаться. Наклон был чрезвычайно крут. Промышленность человеческая и тут жила: нас не просили только, но умоляли сесть на носилки дюжие итальянцы. К сожалению, спутница моя отказалась сесть в них, по смешному предрассудку русских: «Не ловко ехать на человеке». Тщетно я объяснял ей законы заработной платы и что это для них не унижение, а кусок хлеба. Она не села. Мы пошли одни, за гидом; мимо нас пронесли нескольких англичанок, немок и француженок, немолодых и даже молодых. Удивительно, сюда тащились старики, старухи, то ковыляя сами, то держась за веревку гида, то подталкиваемые гидом сзади. Чудовище всех влекло; «вперед! вперед!».

Нас предупредили, что перед самым концом подъема будет почти вертикальный и поэтому-то и необходимы носилки. К сожалению, мы не обратили на это должного внимания. Глыбы шлака через полчаса кончились. Тут что-то стояло, вроде шалаша для рабочих, была передышка. Мы передохнули.

«Куда же еще?» Перед нами стояла почти вертикальная черная линия. Это был последний наперсто-

чек вулкана: сверху он проткнут, и из дырочки валили клубы дыма, паров и огня. Вулкан был уже тут, в нескольких шагах.

Для женщины этот вертикальный путь был невозможен. Благоразумие, усталость и, наконец, слова одного вернувшегося из пасти туриста, что «и там то же видно, что здесь, ничего больше», заставили мою спутницу не подниматься выше. Она села у подножия наперсточка, я пошел вперед. Конечно, тут всякое понятие «идти» исчезало. Меня взял гид под руку, другой рукой я схватился за рукоятку протянутой мне палки одного моего русского товарища, и мы двинулись. «Наперсточек» состоит весь из мелких комочков, в грецкий орех величиною, железного угля. Это — зола вулкана, то, что осыпается около его рта. Все — совершенно сыпуче, и передняя нога, на которую вы упираетесь, сейчас же соскальзывает назад, и собственно упор для нее получается только из этих осыпавшихся под нею комочков, сбившихся в кучу. Вместо шага вы продвинулись вперед на два вершка. Но вот и конец. Перед нами открылась пропасть. Мы стали на губе вулкана. Вертикальный путь изменялся в почти горизонтальный, слабого наклона. «Идите вы, я не хочу», — сказал я гиду и русскому спутнику. Мне не хотелось видеть одному то «последнее удовольствие», которое там было и которого лишена была оставшаяся внизу моя спутница. Они пошли, я сел. Передо мною был как бы овраг в жерле, не широкий и закруглившийся. Путники по горизонтальной, слабого наклона, тропке перебирались с этой стороны оврага «на ту»; губа чудовища там срасталась с десной. Дальше шел зев, в который не заглядывал ни один смертный.

Я сел. Вулкан дышал. Пары и дым не струятся из него, а выдыхаются через каждые две, три, пять минут. Он как бы задыхается в своей славе, в своем господстве. «Мне все подвластно, я — ничему». Вокруг меня, из-под шлаков, как и вообще по всей поверхности наперсточка и даже ранее, начиная с конца железной дороги, из разных точек вырывается дым и пар. Губы его — в трещинах, и дым сочится через эти трещины. «Как все зыбко, Боже, — как все зыбко здесь!» Стоит пошевелиться чудовищу, поперхнуться — и мы все погибли, и железная дорога порвется как паутина;

он задышит, и покажутся огненные змеи-расщелины, а губы его развалятся, немощно и мощно. «О ужасный старец, как ты жив и как ты страшен!»

Я посмотрел вниз. Неаполя не видно было: пододвинувшееся облачко внизу закрыло его. Но Неаполитанский залив и его острова брезжили в тумане. Я перевел глаза кверху, все озирая, — и опять ощутил это страшное, более психологическое, чем физическое, колебание. «Как все условно, как условен я; где низ, где верх — не знаю. Неаполь, залив — точно над головой, до того далеко, до того в воздухе — как постоянно в воздухе перед нами одно небо. Что же такое я? Точка, атом. И как я бессилен. И как боюсь. Как мал мой дух. О, я знаю, что я — в безопасности, что тут — наука, все предусмотрено, и обслежено, и предвидено. Но я боюсь страшно, метафизическим, особенным страхом, боюсь своей малости в этой огромности».

А клубы дыма оранжевого цвета, едва выйдя из горлышка, чрезвычайно расширялись там, сохраняя первоначальную форму дыхания, и, как чудовищные кольца белой змеи, — вились к небу, расходились по нему и образовывали над вулканом его собственное небо. «Здесь — все мое, здесь ничего нет не моего, и ты, и Помпеи, и Геркуланум, и твоя спутница».

Мне бесконечно захотелось домой. «Назад! дальше отсюда! домой!» — это главное здесь чувство. До того вся эта местность бездомна, пустынна, бесчеловечна, и если божественна — то какою-то чудовищною божественностью. «Не хочу этого, ни теперь и никогда!» Спутники мои медленно возвращались по горизонтальной тропинке, а еще через минуту я был около своей спутницы.

— Кончика-то и не видала. — На глазах ее были слезы, и она влюбленным взором смотрела на вулкан. — Еще когда-нибудь попаду в Италию, ведь еще жизнь не кончилась, будет здоровье лучше — и я увижу, что и вы видели.

— Да мы ничего особенного не видали. Тот же дым и этот же вид.

— Неправда.

И глаза ее выражали укоризну, недоверие и глубокую, глубокую горесть. Планета кончилась, начался человек.

Солнце и виноград

На выезде из Неаполя в Байи стоит огромный черный туннель. Он так длинен, что на всем протяжении его горят фонари, как на улице ночью. По нем совершается пешеходное и конное движение, и сперва при въезде он кажется огромными проломленными воротами, а не дорогою, вырытою под горою, как это есть на самом деле. В этот-то огромный туннель мой возница на обратном пути из Байи в Неаполь вскочил со всей энергией нимало не уставшей лошади и чуть-чуть выпившего человека. Я думал, что он остановит лошадь, поедет шагом, по крайней мере убавит бег. Было семь часов вечера, день — отличный, и, когда мы вскочили в туннель, свет срезало как серпом и настала совершенная ночь. Я невольно схватился за сиденье с мыслью, что вот-вот мы наскочим на что-нибудь и разобьемся. Лошадь мчалась. Протекло несколько томительных минут, и тут я начал различать, что в туннеле движутся не только люди, но еще и экипажи, телеги с овощами, ослы с арбами и что вообще тут кишит Ноев ковчег всякого живья. Однако туннель был страшно узок: две телеги только что могли разъехаться, а люди жались по стенке, взрослые подхватывали детей чуть не из-под дышла нашей лошади, не крича, не волнуясь, ловко и в ту самую секунду, долее которой нельзя было медлить. Что-то около десяти или двенадцати минут мы так мчались и наконец выскочили опять к свету. «Слава Богу. Все кончилось благополучно!»

В Риме электрический трамвай проходит местами по средневековым улицам. Улица чуть-чуть шире трамвая. И то же зрелище женщин, подхватывающих чуть не из-под колес своих детишек, а кондуктор трамвая, ни на секунду не задремывая, эластично, ловко, наконец, красиво замедляет ход вагона почти уже на носу пешехода, пропускает этого пешехода, а затем, едва перед ним открылась мало-мальски широ-

кая улица, пускает вагон с головокружительною быстротою. Наконец, есть улицы не только узкие, но и страшно крутые. Вы едете на извозчике. «Avanti! avanti!» — кричите вы ему, видя, что в спину вам несется трамвай и вы едете по его паре рельсов. Извозчик, однако, вас не слушает, и вы недоумеваете, почему. Наконец видите разгадку: навстречу выскакивает другой трамвай и занимает то единственное место улицы, куда мог бы свернуть ваш извозчик. Этот последний, пропустив встречный трамвай, моментально переезжает на его рельсы, и в то же время с визгом и шумом мимо него, обгоняя, пролетает шедший сзади трамвай; тогда он моментально переезжает на прежнюю пару рельсов, не сдерживая, не замедляя лошади, не раздражаясь, молча и почти красиво. Обирают ли у вас билеты в конке — опять это делается точно на ярмарке, торопясь. И куда я ни посмотрю, в маленьком, тихом, чистеньком Риме все делается скоро, одушевленно. У нас, в России, вся жизнь точно часовая стрелка; здесь, в Италии, — все точно секундная стрелка. Она, конечно, без важности, и я не об этом говорю. Она живее, подвижнее, главное — неусыпнее, и вот это меня занимает.

Количество сна, сонливости, предрасположения ко сну здесь несомненно менее. Конечно, я не видал, как итальянцы спят ночью. По признакам большого физического здоровья я думаю, что они спят крепко, хорошо. Но дело в том, что у нас, на севере, и днем человек как бы несколько затуманен и, кажется, предложи ему лечь спать, он поблагодарит вас как за самое большое одолжение. Отчего это? Я упомянул север и еще хочу прибавить: «алкоголь». Тут не в том дело, что я не пью и даже мой отец не пил, не пил даже и дед. Все равно кто-нибудь из родичей, в шестом или пятом поколении в отцовской или материнской линии, пил: алкоголь разжижает кровь, и вообще он имеет тенденцию преобразовать тигра в лягушку. Алкоголь понижает температуру тела, т.е. вообще поднимая ее на время, часа на два. Я припоминаю, что большинство замерзающих людей замерзает в нетрезвом виде, и обыкновенно тут печальную, убийственную роль играют кабаки на дороге. Ямщик, возница, путник зашел «отогреться» и пошел дальше в путь, обманутый минутным

жаром. А наутро его нашли обмороженным или замерзшим. «И мороз же был!» — говорят. Между тем отвратительный внутренний холод в нем развил алкоголь; он его сбросил с температуры ястреба до температуры лягушки. И человек погиб в этот фатальный для себя миг, иногда при погоде вовсе не студеной.

Второй месяц живя в Италии, я не видел ни одного пьяного человека и ни одной пьяной сцены на улице. Не буду говорить о том, насколько это сообщает улице и вообще всей жизни приятный, мягкий и вежливый колорит. Я говорю о более серьезном, о дарах народа. Алкоголь высасывает нерв и разжижает кровь. Вся Россия («Руси есть веселие пити»¹) закричит: «Все даровитые люди пьют!»² Но ведь Пушкин и пьянство — несовместимы. Гоголь и пьянство — невообразимы вместе. То же продолжим о Лермонтове; то же скажем о Достоевском, Толстом, Гончарове. А это уже длинный ряд, и при всеобщей склонности русских к «выпивке» этот ряд что-нибудь говорит, особенно если принять во внимание, до чего Лермонтов, Достоевский и Пушкин были предрасположены вообще к влечениям и в частности к «хорошей компании». Гений и алкоголь обычно до неистовства враждебны между собою, и когда гений в человеке силен, он, несмотря на все соблазны и расшатанность характера, не допустит человека до алкоголя. Не силою воли не допустит, но естественным отвращением. «В горло не идет». Таланты, так часто пьющие, суть таланты дегенерирующие. Это последний надрыв рода, последнее усилие крови. И без того-то она была не горяча (не гениальна). Талант, что-то чувствуя в себе, тянется к алкоголю, ибо собственного жара в нем нет и ему надо «подогреться». Подогреваясь на два-три стишка, на хорошенькую повестушку, «с милой фантазией на четырех страницах», он в то же время окончательно выстывает и дает в потомстве уже окончательно выродившуюся, холодную, бессодержательную кровь.

Вот отчего пьянство, как национальный порок, прямо отнимает у народа историю. Добрый купец, испивающий, может быть, имел бы в пятом потомке Кутузова, а он дает только бравого капитана. Тот, кто пьет, растрчивает некоторое имущество всего своего потомства, имущество сил, имущество способностей.

Все, через одного, становятся беднее, и бедностью непоправимой.

Чувствуя за границей свою родину особенно сильно, я много раз, смотря на живых, ловких и неусыпных итальянцев, вспоминал с печалью родные фигуры, сонливые, ленивые, ругающиеся и с необоримым вкусом к алкоголю. Там виноградное вино, здесь — водка. Но, вероятно, всякий замечал странность, что запойный пьяница или вообще пьянчужка до тошноты не выносит виноградных вин. В старую пору, живя в провинции, я видывал, как пьяница, нечаянно выпив рюмку виноградного вина — выплевывал ее или сейчас же запивал водкой, чтобы истребить всякий вкус и память. Отсюда я заключаю, что если алкоголь так отбивает вкус к виноградному вину, до нестерпимости, до отвращения, то, по всему вероятно, и виноградное вино, *vice versa*, отбивает вкус к алкоголю и вообще хлебному вину. Теперь нельзя ли извлечь отсюда практическое поучение: что чем предупредить? Наблюдения в Италии мне помогли. Итальянец каждую минуту на ходу пьет виноградное вино, дешевое и ничтожное, но чуть-чуть возбуждающее. Пьет вместо воды, но также и кой для какой веселости. Мне кажется, что психические свойства виноградного вина имеют тенденцию укреплять кровь. Известно, что у нас, в России, временный упадок духа, несчастье, разорение, гибель любимого человека образуют predisposing момент к запиванию и затем к дальнейшей алкогольной гибели. Следовательно, упадок духа и алкоголь — родня между собой. И если алкоголь и виноградный сок несовместимы, то, вероятно, оттого именно, что виноградный сок — родня высокому уровню состояния духа, настроению бодрому, веселому и крепкому. Поэтому в богатых семьях или даже в средних не было ли бы полезно, в предупреждение возможности когда-нибудь развиться алкоголизму, давать сильно разбавленное виноградное вино с очень ранних лет детям, до первой, тайной и случайной рюмки водки; давать как прохладительное, как питье? Ибо я наблюдал в раннем своем товариществе, а еще более в простом народе, до чего губительная водка принимается и прививается у нас рано, почти детям, мальчикам, как и девочкам, от прислуги и товарищей. И иногда

без всякого даже указания, а просто оттого, что шкаф с водкой оставлен был незапертым. Полуталантливая бездарность связывает еще с этим идею ухарства, храбрости, молодечества. Бедный прапорщик, которому никак не дослужиться до капитана, хочет испытать «море по колена» и, конечно, делает первый шаг к потере и тех бедных эполет, которые ему достались в удел³.

Капри

Для того чтобы значительную часть своего царствования провести на острове, представляющем в лучшем случае только место для постройки дворца и для небольших прогулок, — нужно, чтобы этот остров представлял собою что-нибудь действительно особенное. Таков Капри, около Неаполя, куда удалился Тиберий, второй римский император, человек мизантропический, тонкий, проницательный, рано внутренне утомленный той пассивно-хитрой ролью, в которую его толкнула мать, игравшая в его начальной судьбе роль пружины часов. Поразительны невенценосные матери государей. Они направляют всю свою энергию, чтобы, став по супружеству на императорское место, где не стояли их отец, мать, ни братья, ни сестры, провести сюда же и своего ребенка, но не от императора-супруга, а от того, другого, неизвестного или малоизвестного супруга, с которым провели другую и раннюю часть своей жизни. Кроме матери Тиберия такова же была мать Нерона. В их упорном, многолетнем, стоящем бесчисленных хитростей, трудов и опасностей стремлении есть какая-то большая воля, какая-то *idée fixe*, помешательство без бессмыслицы. Все устраняется с пути. Кровь не смущает их, яд не останавливает. Истребляется мало-помалу целый дом, целая династия, обширный и счастливый род, чтобы очистить место для кукушечьего птенца, до времени остающегося в тени и затем нередко являющегося настоящим чудовищем. Но это последнее не непременно. Птенец в начале царствования является обыкновенно нежным, застенчивым, как бы не умеющим ступать или стесняющимся ступать по незнакомому пути, где ходят легко и свободно лишь врожденно-царские ноги. Но затем эти люди развивают огромную энергию воли и буквально расклевыывают, расталкива-

ют старые исторические роды с такой же легкостью, как кукушкино детище выталкивает из гнезда неоперившихся воробьев. Я думаю, эти фанатичные преступницы-матери имеют в себе свой, но извращенный идеализм, и не без причины они стали не любовницами цезарей, что было доступно всякой хорошенькой кокетке и чем удовлетворилась бы всякая кокетка, но их законными супругами, несмотря на *mésalliance**. Очевидно, Августа или Клавдия к ним повлекла душа их. Что же это была за душа — преступная по фактам и содержательная внутри? Пушкин не умел иначе обозначить идеализм Татьяны в новой роли хозяйки большого дома, как показав, до чего она помнит и привязана к маленькому, по-видимому, и далекому своему прошлому. Татьяна немыслима и невыразительна (для художества, для поэзии), и, наконец, она действительно не была бы всемирно милою и привлекательною Татьяной без старушки-няни в своем прошлом и особенно в настоящем. И что для Татьяны была няня — для Агриппин и Ливий¹ было их детище от первого, неизвестного, может быть, очень счастливого брака. Нисколько это не значит, что они не любили вторых мужей, императоров. Но тут особая психология. Мать уже императрица, в сиянии, и ее детеныш, конечно, уважается, но лишь в отношении к ней, лишь по ее положению, а не по собственному значению. По собственному значению он ничего, кукушкин выводок, существо невзрачное и неинтересное. В меру того, насколько мать-императрица была действительно счастлива и, наконец, действительно идеальна, она и чувствовала болезненную муку быть разделенною со своим ребенком. Ринуться для установления с ним равенства и единства, назад, к простоте частного быта и положения, — невозможно; тогда мать начинала искать другой невозможности, но все-таки легчайшей: вдвинуть ребенка с собой на трон. Но как? Она — императрица, а он — только принц, и притом как-то смешно плетущийся в шлейфе ее порфиры, принц искусственный, не сам собой. Тогда она хватала его из складок своего шлейфа и переносила вперед, несла перед собой, на свое царское место: «он — царь, как я, не позади ме-

*неравный брак (франц.)

ня, но даже впереди меня, и я, Агриппина, первая ему поклоняюсь, а затем поклонитесь и вы, поклонитесь все». Мать одолевала императрицу. «Татьяна» венчала свою «няню».

В восемь часов утра небольшой пароход, вроде невиского «Петергофа», отходит ежедневно от пристани на Via Partenore к Капри, заходя по пути в Сорренто. Капри не дальше от Неаполя или немного дальше, чем от Петербурга Кронштадт. Но Кронштадт из Петербурга не виден, а Капри весь виден, и как? Прекрасным голубоватым облачком, опрокинутым над горизонтом. В ярко-солнечной синеве неба вырезана, точно из дымчатого топаза, изящная угловатая фигура, характерная, неподвижная, незабываемая для живших в Неаполе. Даль вовсе скрывает все подробности острова, и для неаполитанца в поле зрения стоит только его небесная выкройка. Вместе с Везувием и заливом это и составляет красоту Неаполя. Но сам Неаполь шумен, грязен и неблагочестив; нужно из него выехать, и всего лучше поехать именно на Капри, чтобы оценить единственную в мире красоту этого пункта земного шара.

Пароход долго не отчаливал, а вокруг его плавал итальянец. Он плавал по крайней мере час, — ловя мелкую медную монету, которую ему бросала с борта парохода публика. Монета падала на дно, схватить ее в воздухе пловцу было невозможно, и он нырял, поднимал со дна и показывал ее публике. Скоро подплыли к пароходу, стоявшему саженьях в 50 от берега, еще две небольшие лодки, и в них мальчики от восьми до шести лет пробовали плясать тарантеллу, тоже ожидая, что после этого кто-нибудь кинет им пять или десять centesimo ($\frac{1}{20}$ или $\frac{1}{40}$ лиры, по-нашему 4 или 2 копейки). Пловец неумоимо балагурил и острил. Он не был уныл. В самом деле, плавать в воде все-таки не так трудно, как тесать камни или служить в ассенизации города. Мы видим в его способе пропитания унижение, но это потому, что его ремесло для зрителя ново, но ведь для него оно ежедневно и стародавнее, и он так же мало стесняется своих ныряний за пятаком, как показывающий «Петрушку» мужик мало стесняется сообщества этого «Петрушки». Всегда кроме критических моментов истории будет в жизни маленький

балаган, и всегда найдется для него актер, как и соберется к нему публика.

Пароход дал последний свисток, и как пловец, так и танцоры тарантеллы сбросили свои маски, т.е. попросту надели панталоны и превратились в сухопутных жителей. Мы пошли на Сорренто; дул ветерок, обыкновенный береговой бриз, усиливаемый ходом парохода, и было свежо. Красота Неаполитанского залива вся зависит от его формы и от цвета воды. Она имеет вид красивого изумруда, по которому около берега, в мелких местах и над подводными камнями плавают бирюзовые большие пятна. Но последние редки. Основной фон воды — изумительно мягкий изумруд, и если смотреть с носа парохода вперед, навстречу солнечному лучу, то последний, переломляясь в гранях зыби, дает капли-бриллианты по нескончаемому лазурному полю. От всего этого нельзя оторвать глаз.

В Сорренто, не подходя к берегу, пароход высадил и принял пассажиров и багаж и повернул на Капри. «На Капри! Вот — Капри!» И сердце историка не могло не волноваться. Отвлеченные очертания острова стали разрешаться в подробности; география уступила место картине. Чем ближе мы подходили, тем очевиднее становилось, что остров, собственно, огромный, и если из Неаполя он кажется картинкой, то на самом деле это хоть и крошечная, но все-таки страна. Это нисколько не место для дворца, он даже велик для Петербурга, в нем возможны поездки, и притом — какие нельзя начать и кончить в один день. Словом — это оригинальная и замкнутая в себе местность, представляющая в микроскопе все элементы солнечной южной и вместе приморской жизни. Причуда Тиверия становилась понятна. «Рим (империя) — обширный сарай, в котором хозяину со вкусом нужно выбрать уютный себе уголок!» То чувство психологического облегчения и лучшей независимости, которое после огромного Неаполя я испытал, выйдя на узенькую полоску миниатюрного заливчика в Капри, это же чувство мог испытывать и мог его искать и Тиверий.

Скалы Капри прямо падают в море. Глубина тут должна быть огромная, потому что прямо из моря скалы взбегают кверху на страшную, головокружительную высоту. Море слегка волнуется около берега. Какой

гром тут должен получаться во время волнения! Вальпургиева ночь; или — ночь Тиверия, может быть, более страшная и фантастичная, чем вымыслы на них сказок. Но теперь море было совершенно тихо, оно только как-то дышало, без волн подымаясь и опускаясь всею своею тяжелою массою. Это было видно по лодкам, которые никак не могли устанавливаться около трапа; гладь вод именно дышала, и на дышащей груди скорлупа-лодочка аршина на два подымалась и аршина на два опускалась, трап — среди совершенной тишины то погружался ступенями в воду, то висел этими ступенями в воздухе. Это выходили, но не все, а в меньшем числе, пассажиры на Капри; большинство, и именно нарядная публика, осталось на борту, и как я принадлежал тоже к «нарядным», т.е. гуляющим, то остался и я, не отдавая отчета зачем. Пароход дал короткий свисток и пошел дальше, по линии берега. Через несколько минут он остановился, и в то же время целая флотилия крошечных лодочек поспешила к нему, а публика всей массой двинулась к быстро опущенному опять трапу. Стена острова была чудовищна и огромна. Кругом и вблизи или в виду — никого и ничего. «Куда же мы приплыли? И зачем эти лодочники?» Но уже публика скакала в лодки, грузно, удачно и неудачно, падая или удерживаясь, по временам ушибаясь. Лодка вертелась под трапом как мячик, и надо было ловить секунду, чтобы стать на нее, — и только в этом случае удачного выбора секунды пассажир не падал на дно лодки. Конечно, не было никакой опасности, но была ежеминутная угроза неприятности, и она волновала пассажиров. Один толстяк, красный, огромный и робкий, как свалился в лодку на спину, так и не подымался. Крошечная лодка как раз приходилась ему по спине, и казалось, что не человек лежит в лодке, а лежит человек в футляре. Несмотря на громкий смех с парохода и очевидную щекотливость своего положения, толстяк не шевелился, не привстал, не сел. Лодку подбрасывало, и он, естественно, опасался, что малейшее движение его геркулевого тела перевернет ее. Расставив скрюченные в коленках ноги по бортам, он испуганным и добрым взглядом смотрел на смеющуюся публику, как будто от нее могло зависеть его спасение. «О, пожалуйста,

смейтесь, и как можно дольше! Все внимание ваше теперь обращено на меня, и, если лодку перевернет, я не затеряюсь в море как оловянная пуговица, вы меня вытащите — именно потому, что так хорошо уже заметили. А потому, пожалуйста, не оставляйте на меня смотреть». Публика, разноязычная и страшно внутренне разъединенная общей неловкостью («вот нужно вскочить в лодку, и, пожалуй, упаду, а вы засмеетесь») и общей маленькой заботой, вдруг соединилась в самое тесное общество. Всем хотелось перед трапом поговорить друг с другом; отплывающие от борта парохода посылали улыбки еще остающимся там, остающиеся отвечали им улыбками же, но *de bonne mine à mauvais jeu**. Но как только прыжок делался удачно, моментально принужденная улыбка заменялась счастливейшей, все настроение духа пассажира менялось, и он кричал лодочнику: «*Avanti! avanti!*» (Вперед! скорей!). Через минуту из полукислых и полувстревоженных пассажиров перешел в счастливый разряд и я. Но куда же мы плывем и что такое делается вообще?

Ближе к воде я рассмотрел, что действительно без малейшего ветерка и волнения залив подымался и опускался по вертикальной линии, как бы на него кто давил сверху в одних местах и поддувал его воды снизу — в других местах. Мы то падали в водяную яму, то стояли в водяном горбе среди нависших вниз других окружающих лодок. Но кормщик быстро греб и направлял нас к каменной стене Капри: оказалось, что в одном месте ее углов, зубцов и выступов есть совершенно невидимое с парохода отверстие, похожее на устье русской деревенской кухонной печи, едва ли выше его и только шире. «Пожалуйста, лягте, лягте совсем на дно лодки и не поднимайте головы». В ту же секунду, сняв весла, он положил их внутрь лодки и сам тоже лег в корме ее лицом кверху; на момент сделалось темнее, совсем темно, слышался шум, лодочник схватился руками за какую-то веревку, и лодка, прежде плывшая, пошла теперь по этой веревке, немилосердно стучаясь одним боком о камень. Возня и темнота продолжалась около 2—3 минут. «Кончено. Встаньте. Встаньте и садитесь на скамейку и смотрите», — сказал итальянец.

*хорошей миной при плохой игре (франц.).

Мы были в Лазоревом гроте. Стена Капри в этом месте выбегает из моря вертикально на огромную высь, но над самой водою и в воде в ней есть как бы дупло орешка или, еще лучше, отверстие осинового гнезда, в которое мы и всплыли. Оно до того мало, что пассажиру лодки нужно лечь на дно и не высовывать головы, иначе он разобьется или по крайней мере ушибется больно о гранитные зубцы потолка этой щели. Мало того, так как вода залива в самую тихую погоду здесь опускается и поднимается, но, к счастью, медленными и сильными подъемами, то горлышко грота совершенно наполняется водою или почти совершенно, что дает просвет немного более толщины лодки величиною. В эту-то минуту, когда вода опустилась, лодочник хватается за протянутый около стены канат и, быстро перебирая руками, перетягивает лодку на ту сторону горла. Там, где оно кончилось, начинается каменная грудь, большой выем, пещера, легкие залы, что угодно — самого фантастического и прекрасного вида, какой можно себе представить.

Уже когда пароход остановился у этой точки Капри, я, следя за садящимися в лодки пассажирами, заметил, что вода моря изменилась и стала еще красивее. Прежде она была темно-изумрудная. Здесь к ней подмешалось много света, много белого; пустите в темно-синюю разведенную краску немного чистой воды — и синева, прежде чем побелеет, перейдет в радостную лазурь. Но я все говорю о мертвых вещах, когда передо мною было живое: все море вокруг парохода и возле берега волновалось этой радостной лазурью, вероятно зависящей от уменьшения здесь глубины моря и особенно от цвета скал Капри, сильно отражающих от себя лучи солнца и посылающих их в глубь моря — то белые, то голубые, то, может быть, слабую примесь красных в зависимости от цвета гранитных его полос. Море именно изнутри-то все здесь пронизано лучами. Теперь, далее — узенькое горлышко, очень, однако, длинное, в несколько сажен, пропускает через себя свет, но пропускает его так, как он проходит через скважину ставен в окне. Закройте окно ставнями, оставив только просвет в последнем, и комната, если на улице стоит яркий солнечный день, будет светла, но совершенно особенным светом, свое-

го колорита и своего душевного настроения. К тому же пук света, идущий в грот через горлышко, собственно, не прямо идет от солнца сюда, а он идет от дышащей груди моря, отражаясь, падая и снова отражаясь в воде и камнях горлышка. Таковым он входит сюда, глухим, отделенным от солнца, самостоятельным, и, найдя расширение, — рассеивается. В породах земель есть глинозем, есть синяя и, наконец, голубая глины: думаю, что потолок и, может быть, стены грота имеют в себе пласты, пропластования, пластинки этих голубых глин. Так я торопился объяснить себе зрелище, когда сел на скамью лодки. Сперва — ужасно странно и темно; слышишь крики людей с набившихся внутрь грота лодок, удары весел и всплески воды. Потом успокаиваешься, потом забываешься. Видишь и созерцаешь одно чудо природы. Твердые контуры чего бы то ни было устранены (недостаток света), все мягко, ибо все неясно. От этой неясности все воздушно, облакообразно. Вода, лодка, пещера, потолок не разделяются одно от другого, потеряли границу, как птицы, реющие в облаке, как бы несут на крыльях клоки тумана и сами делаются похожи на части облака. Так здесь — лазурь, и в ней тени, тень вашего спутника в лодке, тень — вы, тень — другие лодки. Как бы по инстинкту зрители перестали разговаривать, и водрузилась относительная, хотя неполная, тишина. Потолок уже не казался низким, пещера — маленькой, ибо все, будучи неясно, было прозрачно, и, казалось, это прозрачное скрывало в себе бездонную глубину. Была ночь, ибо дневной свет (наружный) был совершенно отрезан и уничтожен; пещера светилась своим светом, исходящим из ее стен, из ее потолка, но особенно — из воды. Это происходило от отраженности, ибо все освещение здесь до последнего луча было уже освещением отраженным. Таким образом, не только предметы потеряли тяжесть, стали воздушными, но, казалось, они получили способность светить, фосфоресцировать, лить из себя лучи. И какие это были лучи! Грот сверкал и переливался лазурью. Свет имеет качества, почти психические качества. Красный цвет груб — это всякому понятно; черный цвет мрачен — это все говорят, но слово «мрачен» есть уже определение психологическое. Говорят, желтый

цвет завистлив; я этого не утверждаю, но я это слышал. Какой же порок имеет в себе голубой свет? Может быть, только порок бессилия, последствие его воздушности. Черный цвет падает на землю, это — смертный цвет, тогда как лазурный, естественно, струится ввысь, он имеет крылья. Вот маленькая психология цветов, которою я хочу объяснить то чувство душевной ясности и веселости, которое почувствовал, установив взгляд на зрелище. «Если бы здесь остаться. Еще лучше — жить!» Но лодочник что-то заговорил и указал пальцем в самую глубь пещеры. Не понимая по-итальянски, я стал смотреть.

Беловатая лазурь здесь темнела, и темный фон представлял человеческую фигуру, даже две. Я напряг зрение. Нет, это не темные фигуры, а скорее белые, но небольшие. Что же это такое? Там стена, задняя стенка пещеры. Недавно посетив Помпею, да и при постоянных посещениях музеев, я до того в Италии привык к стенной живописи, что сперва подумал, что на стене грота нарисованы фигуры, конечно, фигуры двух ангелов, двух мучеников, может быть, их статуи. Быстрота всего, краткость времени и необыкновенность зрелища — все располагало к фантастическому и неожиданному. Из фигур одна зашевелилась, точно — мальчик, может быть, ангел, во всяком случае, — образ. Как странно, ничего не понимаю. Раздался плеск воды, лазурь полилась еще ярче, вдруг стало все светлее, особенно около фигурки, почти детской, плескавшейся в гроте. Я уже стал догадываться, бедное наше нищенство! бедная наша бедность! Нет, нельзя этого осудить, ибо все это нужно, это ему нужно, а следовательно, и мне нужно или по крайней мере отсекает у меня право осуждения. Я скорее сунул «*ипа лига*» лодочнику, небывалую по огромности (для нищенства) здесь сумму, — ибо мальчик все еще казался мне необыкновенным существом, нарисованным на стене ангелом или святым, и вообще я был поражен и растерян. «Обоим, обоим! *pour deux! per duo!*»* — кричал я на разных языках, объясняя, что и стоящему у стены мальчику надо дать. Как это грустно! Но как он попал сюда? Очевидно, в стене пещеры есть выступ, может быть всего в ладонь, в две

*«обоим! обоим!» (франц., итал.).

ладони величиною, и сюда вплывают перед приходом парохода (известный час) два мальчугана и зарабатывают на ужин, входя лишним украшением в декорации природы. Ибо брызги плещущейся воды действительно увеличивают блеск грота, свет грота, и вода моря над ныряющей в ней фигурой человека становится еще лазурней, ибо между вашим глазом и пловцом она лежит уже не толстым слоем. Все лазурь, и до чего это волшебно! Я тотчас сделался техником. Едва выплыв назад, я стал думать, что, собственно, ничего не стоит при теперешних средствах техники повторить это чудо природы в огромных размерах. Природа показала путь, а человек может пойти за нею и создать не миниатюрно-прекрасное, но огромно-волшебное. Очевидно, все зависит от сочетания качеств воды и качеств горных пород. Рядом с осиным гнездом, куда мы вплыли и откуда выплыли, бурав и лом может просверлить еще другое гирло, а порох может вырвать из груди Капри не грот, а зал, систему зал, дворец. Вырвать полгруди из камня и вырвать другую половину ее из моря. Все будет то же! Так же низко и узко войдет сюда луч дневного света; все будет и там в отражениях; так же сохранится синева стен и потолка; а главное — эта же вода, лазурная уже снаружи, вокруг острова, будет и в его внутренних залах. До чего просто, и отчего никто не попытает!

* * *

*

Пароход вернулся к точке высадки первых пассажиров, и здесь уже ожидали путников экипажи. Мне хотелось проехать и на остатки виллы Тиверия, и в маленький горный городок Анакапри. К сожалению, нужно было выбрать одно из двух, так как вилла Тиверия лежит на левом углу и вместе на одной из самых высоких точек острова, а Анакапри лежит в правом углу острова, и притом еще на высшей его точке. Воспоминания о Тиверии меньше манили меня, и я более был расположен насладиться природою. «De Capri all' Anacapri, aller et retour»* (туда и назад), — стал я уговариваться с извозчиками. Боюсь уменьшить плату,

*«Из Капри в Анакапри, туда и обратно» (итал., франц.).

сказав, что мы условились за три лиры, но ни в каком случае мы не условились выше 6 или 5 лир. Называю цифры, чтобы объяснить цену труда в Италии. Ибо что это был за путь!

Из Неаполя Капри представляется картинкой, хорошенькой голубой выкройкой, положенной на небо. За эту-то картину я и не хотел платить дорого. «Дачная поездка, о чем тут толковать: tre lira, cinque lira, — ну — six lira»*, — говорил я раздраженно честному и унылому извозчику, думая, судя по Неаполю, что они здесь хищны и алчны. Их было много, и они ужасно соперничали, и уступил более всего, кто более всего нуждался. В Италии могучие пони, о коих ни малейшего понятия не дают петербургские извозчики.

Шло шоссе, превосходное, гладкое, но гораздо более крутое, чем на Военно-Грузинской дороге. Бич хлопнул (в воздухе, никогда не по лошади), и конь взялся за дело. Невысоко от пристани расположен городок Капри, как наш маленький уездный городок, — главный город острова. Мы миновали его, и экипаж, как змея, повился по вившемуся змеей шоссе. Наш пароход в море, не у самого берега, все спускался вниз, все сокращался в размерах, а Неаполитанский залив все расширялся, открывая чудную гладь вод. Мы восходили, как ястреб, широкими и медленными кругами-змейками вверх. Дорога шла по карнизу гор, любимейший мною горный путь, когда под ногами пропасть и океан воздуха. Лошадь не спешит, но и не переходит в шаг, она даже не трусит мелкою и бессильною рысью, а бежит привычным полным шагом, не задыхаясь, не вытягиваясь, свободно и красиво, везя полчаса, час, два, наконец, три часа — все ввысь и ввысь, в крутую высь — трех человек. Горы Капри — совершенно Крымские горы, и мы так долго поднимались, так круто поднимались, что сравнение это идет, и все время в Капри я думал, что он не ниже Крыма, и только последующее и, так сказать, не художественное, а научное размышление говорит мне, что все-таки они много ниже Крымских гор и, вероятно, равняются только так называемой Яйле, т.е. той каменной стене, которая как бы вросла сверху в горный крым-

*Три лиры, пять лир... шесть лир (искаж. итал.).

ский кряж и при проезде и ближайшем рассмотрении являет в себе пропасти и вершины самостоятельного горного хребта, поставленного на хребет другого, более широкого, могучего и отлогого горного кряжа. Самое строение гор Капри, в расположении пластов и цвете камня, совпадает до неразличимости с Яйлою. Этот же серый цвет, тот же вид стремнин, точно облизанный, тот же взлет скал прямо вверх, без всякой покатости, так что нужно закидывать голову книзу, чтобы увидеть вершину их, никогда не перед вами, а над вами. А дорожка белеет, а лошадка бежит, а пароход ваш — все ниже и уже почти похож на лодочку, и какой вид теперь, необъятный, лазурный, величественный. Никогда жители Неаполя не видят того, что видят жители Капри. Совсем другое дело видеть залив под собой, чем залив перед собой. Поднятие на высоту вообще имеет великую психическую прелесть, а здесь к ней присоединяется и красота зрелища. Я уже сказал, что от Неаполя до Капри, как от Петербурга до Кронштадта, и все это видно с высоты до последней лодочки на море, видно как скорлупка, видно как ладонь, видно как пространство, но всегда отчетливо, везде отчетливо, от прозрачности и чистоты воздуха.

Чем выше шла дорога, тем чаще стали попадаться отели и пансионы, швейцарские, немецкие, английские, итальянские. Для незнающих объясню, что «пансион» дает приезжему комнату, одну, или две, или сколько угодно, с полным пищевым содержанием: утренним кофе, завтраком и обедом, так что приезжему, связанному делом или удовольствием, остается только жить и, ни о чем не заботясь, предаваться делам своим или удовольствиям. Это то, что у нас называется «держатъ нахлебников», только у русских это имеет совершенно частный и, конечно, более милый характер, а в Италии (и, кажется, в Швейцарии) это поставлено на коммерческую ногу, и «пансион» представляет, собственно, обширную гостиницу с номерами, но без гадкой «номерной» атмосферы, а семейного, художественного и научного духа. «Пансионы» развились от частой посещаемости этих стран иностранцами и у нас, при стойкости и неподвижности населения и «где до границы три года не доскачешь», — конечно, явление невозможное. Но вот на Капри они уже начались:

я вспомнил одного своего знакомого, служащего в гарнизоне Петропавловской крепости офицера, который на вопрос, где проведет он это лето, ответил, что он вот уже много лет отдыхает 1,5 месяца отпуска на Капри: «Правда, дорог проезд, но сама жизнь дешевле, так что в круглом счете обходится на Капри дешевле, чем в Павловске или Териоках». Там я тогда удивился, но теперь по Риму знаю, что, конечно, здесь дешевле, включая и проезды. А выбирая место отдыха, конечно, нелепо останавливаться в Неаполе, «с видом на Капри», а лучше на Капри, с видом на Неаполь. Так поступит художник и экономный человек.

На середине пути, на огромной высоте, в нише — статуя Мадонны. До чего меня это трогает: в самом неприступном месте, куда страшно долезть, для одинокого путника, для кого-нибудь, для грешника, для преступника — итальянец поставит Мадонну. Кто это делает? Ведь не официальная власть. И монастыря на Капри нет — значит, и не монахи. Но надо было задумать это, хитрейшим образом нужно было придумать средство подняться по вертикали гранита сажен на 15 высоты, наконец, надо было отважиться полезть туда и водрузить изображение Мадонны ничтожного художества. Какой смысл! Кто же все это делал? с какими мыслями? для кого? зачем? Я снял шапку и перекрестился на длинную бледную фигуру, с сложением их рук на молитву; оно особенное: поднимают обе руки до высоты половины груди и складывают ладонь с ладонью. Получается впечатление кротости, и мольбы, и чистоты. «Се, раба Господня: буди мне по глаголу Твоему»¹. В Италии часто, по дорогам, стоит — беспричинно и ненужно — одинокий высокий камень и на нем, в описанном положении, Мадонна. «Кто-нибудь помолится». «Кому нужно, тот найдет, на что помолиться». «У тебя, *fratre ignote**, молитва, а вот от меня и образ». Как это интимно. Как это мило. Как это народно.

Но вот и Анакапри, совсем крошечный городок, тысячи в две жителей. Выбежала толпа ребятишек — мальчиков и девочек; хватают за руки, за пальто: «*Bella visita, signore*»** — и тащат на крышу убогой хижины.

*неведомый брат (лат.).

**«Прекрасный вид, синьор» (итал.).

Действительно, открывается чудный и цельный общий вид на всю и всяческую красоту, в небе и на земле, на море и на суше. Но подходит извозчик и зовет назад. «Опоздаем, синьор» (т.е. к отходу парохода). Это — еще не высшая точка Капри. Нужно еще долго ехать, чтобы подняться на самый пик Капри, увенчанный замком «di rege Frederico Barbarussa germano rege, signore»*. Замок, как гнездышко, весь виден в воздухе. Как попал сюда Фридрих Барбарусса²? Извозчик, понятно, не мог объяснить, а сам я не знал этой подробности средневековой истории. Я помню, однако, что Барбарусса воевал с ломбардцами и чуть ли он не был взят в плен венецианцами, и, может быть, здесь было его временное или случайное пребывание.

Мы поехали назад. Спуск уже не был так интересен. Пароход наш все увеличивался, панорама суживалась; все становилось ближе, теснее; все становилось землистее, менее воздушно. Из птицы я вновь стал земнородным и почувствовал им себя окончательно в каюте парохода.

— Uno cafe, cameriere!**

И официант подал дымящийся прибор кофе.

*короля Фридриха Барбаруссы, германского короля, синьор (итал.).

**Один кофе, официант! (итал.).

Uno, duo, tre*

Каждый день, просыпаясь в пятом часу утра в Неаполе, я слышу уторопленный, скорый, заботливый шаг ног. Он предшествует самым ранним крикам улицы, разносчикам, скрипу телег, везущих овощи на базар. Я не знаю, пять ли часов утра, потому что не хочется дотянуться до часов и зажечь спичку; но я вижу, что утро чуть брезжит, что еще не рассвело, а только рассветает. Это — солдаты идут на ученье.

Шаг итальянских солдат совершенно другой, чем русских. Русская рота не идет, а движется. Шаг ужасно тяжел, т.е. нога чрезвычайно твердо поставлена на землю (как в Риме у католических монахов). Лица у наших солдат серьезные, ответственные. Присяга его подавила, но и через присягу он вырос. Русский солдат весь — клятва, верность; чему верность — смутно, но и тем более это страшно, задумчиво, ответственно. «Чему верность — это знают командиры; моя верность — это верность команде». Русский солдат есть будущий победитель мира, да это так прямо и написано на его роковом лице. Он и папу арестует, и американца смятет, и социалиста укротит. За спиной такого «Аники-воина» (есть изображение на иконах какого-то девственного и целомудренного воина-святого)¹ «отцам-командирам» действительно остается только подумать о чем-нибудь всемирном. «Вы, ваше благородие, подумайте, а уж я выполняю».

Но и итальянских солдат, которых первое время я не мог видеть без улыбки, мало-помалу я стал тоже любить, и именно за эту их заботливость, трудолюбивость, старательность. Почему они все маленького роста и, очевидно, бессильны — я не знаю, потому что офицеров вижу иногда огромного, во всяком случае нормального, роста, и рост вообще итальянца скорее

*Один, два, три (*итал.*).

крупный, выпуклый, видный. Солдаты же маленькие, худенькие, и, главное, этот их фатальный шаг. Они всегда спешат, поспешают. Итальянцы вообще быстры в движениях, но у солдат эта быстрота переходит во что-то комичное, точно как в опере: «проходят войска», «возвращаются войска». Войск (на сцене) ведь мало, и они должны быстро бежать за кулисами и вторично войти в ту же дверь, чтобы появиться «новым войскам», что для зрителей должно дать картину бесконечно идущего войска «победителя-жениха» или «победителя-сына царского» и проч. И вот на сцене я всегда видал, как такие воины идут дробным, коротким, бессильным, но необыкновенно заботливым и поспешающим шагом; и так же именно идут итальянские солдаты.

Если русскую роту можно убить, а не разбить, т.е. говоря вообще и опуская частности, то итальянская производит такое впечатление, что ее именно нельзя разбить, потому что она гораздо раньше этого разбежится. Конечно, я ошибаюсь и не хочу сознательно клеветать, но психологическое и зрительное впечатление от них именно такое. Я думаю, в будущем они могут составить превосходную армию. Воину быстрота очень нужна, а быстрота итальянских солдат, очевидно, добровольная, очевидно, непринудительная и даже ненамуштрованная, до того превосходит, например, скорость движения русского солдата, что невозможно их и сравнить. У них ноги переставляются с необыкновенной легкостью, они скользят по земле, порхают; это — не преувеличение, это факт, и я ничем не умею его объяснить, как или южным солнцем, или гористостью решительно всей Италии. Такой шаг еще я видел на Кавказе, у горцев: поезд, на линии Тифлис — Батум, остановился у какой-то станции, где-то в Кутаисской губернии, около Риона. Я смотрел в окно; вышло из вагона несколько ихних, тамошних мужиков. Вдруг я заметил, что они не пошли (за крошечной станцией, домой), а как-то странно изгибаясь и легкие как кошки запрыгали, начали скользить и плыть по извилистой поднимающейся тропинке. Но, я думаю, тут более действует солнце, чем горы: в итальянцах вообще чрезвычайно мало сонливых начал и много бегучести, грации, внутреннего напряжения.

Вдобавок их (солдат и офицеров) одели в перья, ленточки и шнурочки. «Напасть на них — что ударить палкой по пуху: вздымется и разлетится». Идет солдатик быстро-быстро; головка маленькая, сам маленький, а набок с кивера или кепи свешивается огромный плюмаж, из петушиных хвостовых перьев, и плюмаж трясется, сам он старается — а зрителя берет смех. «Пустое все это». Только в Италии можно понять, почему абиссинцы разбили итальянцев: просто их нельзя не разбить; итальянцы сами разбиваются²; как заматают головами, пойдут ходить эти перья — неприятелю смех, а им самим страх, и разбегутся, просто разбегутся от недоумения, зачем их, таких маленьких и милых, заставили сражаться. Я думаю, происхождение итальянского войска от гарибальдийцев, т.е. таких героев и такой случайности, от такого нарядного момента истории, многое объясняет в характере и виде войска. «Мы герои». — «Какие вы герои?» — «Победили папу, основали Итальянское королевство и т.п.»³. — Да что «подобное-то»? — «А вот пойдём на абиссинцев и тоже победим». Пошли, вышли из Италии, и получился один смех.

Война теперь — наука и фабрика; это что-то страшное, колоссальное; и способы войны, и сами люди воюющие — это что-то исключительное, медленно созревшее в фазах европейской истории, тяжелой, удушливой, чуть-чуть бессмысленной и лютой. Гарибальди вне Италии очутился бы павлином среди волков: его разнесли бы, разорвали, прежде чем он вздохнул об итальянской свободе. Но этот павлин, молодой и красивый, действовал среди издыхающих от старости кур, конечно, заклевал разные «Неаполитанские королевства», «Папскую область» и тому подобную археологию. Но успех был принят за качество, и итальянская армия все еще выпячивает грудь «à la Garibaldi», принаровляет шпоры, хочет сесть на рыцарского коня, тогда как и сам Гарибальди, рыцарь, мечтатель, есть ужасная археология в составе прозаических и вместе мистических по колоссальности европейских новых сил. И еще долго, пока Италия не очнется от поэзии к прозе, пока она не станет мещанином, кулаком, черною заводскою трубою, — она останется в Европе нарядным и несколько презираемым зрелищем.

Оказалось, что так рано спешат воины в Неаполе на маленькую площадку около бульвара на Via Partenore. На улице этой стоит и отель, где я живу, а само название ее пробудило во мне далекие исторические воспоминания. Via Partenore, прямо в виду Везувия, вьется лентой по берегу залива — и есть единственное в Неаполе не пыльное, не грязное, вполне роскошное место. Не все жители ее подозревают о смысле ее имени. У меня в коллекции древних монет есть две неаполитанские, еще языческие, на передней стороне которых прекрасная женская головка греческого типа: это — нимфа Партенопе⁴. Дело в том, что Неаполь — древнейший греческий городок, закинувшийся на западное побережье Апеннинского полуострова, еще когда были только финикияне и греки и не было римлян. Городок этот, очевидно, — колония, ибо имя его, Neapolis, значит то же, что наше «Нов-город»; он почитал нимфу Партенопе, обительницу и обладательницу прекрасных вод залива. Ее изображение, как в Афинах изображение Паллады, и помещалось на чеканящихся здесь греческих монетах. Городок перешел к Риму; пал Рим — он вошел в хронику средних веков, а затем перешел в новые времена и, наконец, сделался теперь всемирным сборищем туристов, а самая щегольская его улица, застроенная отелями и пансионами для иностранцев, получила и имя древней нимфы. Сюда-то рано утром, до шума и возни пробудившихся улиц, и спешат на ученье солдаты. Весь Неаполь состоит из отвратительнейших узких, длинных, кривых, то вверх, то вниз идущих улиц, шумных, народных, крикливых, бранчливых, и только на Via Partenore и можно развернуть какой-нибудь строй.

Офицеры, толстые, красивые, с ленивыми глазами, ездили рыцарски на конях по бульвару, взглядывая по временам на ученье, а фельдфебели и унтер-офицеры обучали малорослых новобранцев. Я предполагаю, что крупные по росту и вообще лучшие войска расположены по северной границе королевства, возле Альп, а в Неаполе или Риме стоит собственно гарнизон. Так или этак, но новобранцы имели вид взрослых мальчиков, ужасно старательных, умных и бессильных. «Что же они кричат?» — подумал я, слыша гул, подымавшийся среди обучаемых в некоторые моменты. Дело в

том, что с идеей солдата у меня до того связалось представление именно о русском солдате, что и все прочие воины мне представляются русскими же, но только с недоразвитою душою солдатами, так что и говорить они могут только: «ваше благородие», «раз-два-три», «шагом марш». — «Что же это они кричат?» — спрашивал я себя. Деликатно и стараясь казаться незамеченным, я подошел ближе. Теперь я увидел, что их обучают ружейным приемам: «на плечо», «на караул», «ружья вольно». Ружья их — глупые, не со штыками, а с какими-то искривленными ножами, точно у кухарки, готовящейся разрезать щуку. Но что они кричат? Узнаю, прислушиваюсь, узнаю больше, наконец догадался: новобранцы должны расчленять сложный ружейный прием, и, чтобы он выходил отчетливее, так сказать, развинченнее, они называют, но просто числительно, каждую часть приема. Унтер-офицер скомандовал что-то тихо, мне неслышно, и вдруг рота мальчиков: «Uno!» — и ружья подняты с земли, «duo!» — и ружья держатся обеими руками перед носом, «tre!» — и они вскинуты на плечо. И так каждый раз: «Uno!», «duo!», «tre!» Вспомнил я свои «числительные имена» в первом классе костромской гимназии и рассмеялся: «Ах вы, римляне! Так вот они, римляне, от которых произошел и Кюнер»⁵. Долго я смеялся, а они все так же боялись унтер-офицера и кричали: «Uno!», «duo!», «tre!»

Наконец унтер-офицер скомандовал то нерасслышанное мною ни разу и в русской команде слово, после которого, бывало, у нас пойдет такой гул сморканий, отхаркиваний, откашливаний, переступаний с ноги на ногу, точно рота готовится затоптать кого-то. Это минута свободы и отдыха. Что же я увидел у этих несчастных итальянских солдат? Они и не задвигались, а только как-то сутулее, свободнее стояли, сморкнулись же, и то беззвучно, всего несколько человек. Дисциплины стало меньше, но энергии движения — никакой. «Эх вы, школьники! Прямые вы школьники! — подумал я. — И такие же милые, и у какого злого человека подыметя рука, чтобы вас бить».

Но, я думаю, все это временно. Если в итальянские войска вернется когда-нибудь талант, например вернется сюда талант, вытянутый из итальянской на-

ции католичеством, это будут войска, способные сыграть роль в Европе. Главное — подвижность, и легкость, и светящийся во всяком итальянце ум. Действительно, даже у нищих и у мальчишек, даже у слепых и калек, стоящих на углу улицы с протянутой рукою, я не видел апатичного, застывшего, тупого во взгляде лица, каких так много у нас, на севере.

Помпеи

Устроение жилища удивительно связано с нашей психологией. Оно и вытекает из нее; а раз уже установилось и окрепло, в свою очередь, влияет на нее обратно. Кто не замечал, что на даче мы несколько иные, чем в городе; что знакомство на минеральных водах происходит легче, держится воздушнее и кончается безболезненнее, чем аналогичное знакомство, не очень нужное и не очень ненужное, заведенное в городе? Психология моллюска, таскающего за собою раковину, независимо от прочих причин, должна единственно от этой причины быть совершенно иною, чем психология рыскающего по лесу волка. Человек всегда несколько похож на свой дом. По крайней мере это столько же верно, как и то, что дом человека похож на своего хозяина.

Нынешние греки и итальянцы живут точь-в-точь как русские. Кухня — на задворках, в сторонке спальня, — темная и неудобная, со всяким хламом, который стыдно вынести в парадные комнаты. Далее — парадные комнаты, «главное» жилища; это кабинет мужа, гостиная жены и, для официальных и отягощенных посетителей, зала. Все это — в третьем этаже, между двумя этажами ниже себя и одним этажом выше себя. Общая лестница, на которой мы не без зависти оглядываем тех жильцов дома, которые побогаче нас, и проходим не без удовольствия мимо носа тех, которые победнее нас. В дурную погоду — головная боль, в хороший летний вечер — сладостный робер винта. Затем кой-какой снисшко, без привидений и сновидений, поутру — перекрестил детей, дал поцеловать им руку, два слова жене и — на службу. Там уже коридоры большие, люди строгие, отношения формальные. Но мне это все равно, потому что после обеда я засну и забуду всякие на свете начальства; а к вечеру опять винт.

С этими мыслями я вошел в Помпеи, таинственный город, засыпанный заживо пеплом Везувия и в настоящее время открытый любопытством ученых¹. Я назвал его «таинственным», потому что считаю вполне таинственным весь древний античный мир, «засыпанный» гораздо глубже и гораздо сильнее «извержением», какое две тысячи лет назад началось из Галилеи и потянулось на Запад. Что мы от него имеем, кроме обломков, этих несчастных камней терм Диоклетиана и виллы Адриана²? Мы знаем их поэзию, но, Боже, как недоступна она нам! Шекспир вызывает во мне комедиями смех и трагедиями — горе, но, читая в гимназии и университете «De republica» Цицерона и «Miles gloriosus» Плавта, я как бы испытывал зубную боль или кто-нибудь меня ставил на колени. Не опровергаю, что я был плохой ученик, но ведь до такой степени не чувствовать ничего от произведений, которые когда-то «потрясали сердца», — это значит до такой степени умереть в одном и воскреснуть в другом, что — трудно выразить! Когда, бывало, в детстве давал я из рук корове огромные лопухи травы — между нами было все-таки взаимное понимание. Ей приятно съесть, а мне приятно ей дать. Но когда умерший Цицерон закатывает передо мною период в 13 строк... — точно меня ставят на колени, и ничего больше! ровно больше ничего! Ни сочувствия, ни понимания.

Конечно, это мое ученическое сердце говорит. Но я твердо помню, в университете, что когда почтенный русский профессор с немецкою фамилией стал нам комментировать «De oratore», самую знаменитую (по его словам) речь Демосфена, то и он сейчас же, с самого начала и до конца курса, к весне, интересовался сам в себе и сам про себя тоже одними аористами и futur'ами, разными частицами «an», «ti» и проч. и не только не интересовался античным миром, но и говорил так, как будто бы было три партнера в винт: он, Демосфен и еще третий партнер — аудитория ничего у него не понимающих студентов. С Демосфеном он обращался так, как будто бы Демосфен никогда не носил ничего, кроме синего фрака со светлыми пуговицами. Никакого чувства тоги. Никакого чувства форума. Ничего античного, все — русское или русско-немецкое. Профессор жил в третьем этаже, имел на зад-

ворках кухню, давал детишкам целовать руку поутру и к вечеру садился за робер винта. Так он прожил до 50 лет и от скуки, ради того что нужно же что-нибудь делать, выучил отлично греческую грамматику, запомнил множество греческих слов и, так как это давало три тысячи жалованья в год, начал нам комментировать «De согопа». Но, в сущности, он был такой же ученик, как и мы. Я хочу этим сказать, что ученые также только ощупывают камни терм Диоклетиана и виллы Адриана; но далее этого проникнуть в античный мир — и они не проникают³...

Он умер. А по умершему судить о живом возможно ли? Или еще более: «извержение» христианства до такой степени засыпало нас новыми чувствами, другими понятиями, оно родило вокруг нашего «я» такой организм, сквозь который ничего античного пробиться не может. Лава Везувия сожгла все живое в Помпеях. Языческое чувство, едва подходя к христианину, до такой же степени сжигается в нем, что для физического созерцания остается только зола.

* *

*

Прежде всего, их жизнь была более летняя, и душа их тоже была более летняя, чем наша. Я заметил, что греки и итальянцы все равно строят теперь себе жилища зимние, как в Петербурге и Лондоне. Европейцы на Манилье (я видал на картинках) имеют те же огромные каменные здания. Во Флоренции в Средние века, кажется, строили здания еще более массивные (palazzo Pitti и Strozzi), чем мы теперь. Душа стала массивною, тяжелою у христиан. Я думаю, Каин, убив Авеля, тоже почувствовал нужду строить каменные дома. «Теперь каждый, кто встретит меня — убьет», — сказал он, затрепетав, Богу. — «Убившему Каина — отомстится всемеро»⁴. Душа христианина — грешная (по сознанию), кающаяся. — «Я стою на покаянной молитве, а он меня в это время и хватить камнем из-за угла; лучше построю крепкий дом и уже в нем помолюсь основательно». Все стали бояться друг друга, не доверять. — «Мы все каемся; ну, так уж все равно, убьем — а потом покаемся». Чувство трепета за себя и неуважения к другому, неуважения вообще к природе

человеческой («павшей»), неустранимо из христианина, и потребность хорошего замка, цепной собаки, постоянного национального войска и Magna Charta Libertatum⁵ как обеспечения против разнообразных укусов соседа, стала психологической нуждой, бытовою особенностью и задачей истории.

Жилища в Помпеях имеют летнюю психологию, воздушную, доверчивую. «Если даже обокрадут, то уж лучше внезапно: не стану же я всю жизнь готовиться к этому». В жилищах много воздуха. Свет шел сверху. На дворе, в то же время в жилищах, собиралась дождевая вода, т.е. двор, крошечный и узкий, был введен внутрь дома как его органическая часть. Но главное — свет сверху. Не могу я постигнуть неодолимой потребности христиан закрываться от прямого солнечного света, выражающейся в верхней драпировке окон. У нас, например, в Петербурге и без того свету мало, и этот ничтожный свет еще загорожен домами *vis-à-vis*; все это чувствуют, все ради этого стремятся в четвертый и пятый этаж; но даже и в первом этаже, и в бельэтаже, где свет в окно идет какой-то мутный, от земли, всю верхнюю половину окна заделывают гардинами, занавесками, полотняными, бесконечно пыльными тряпками, кружевами, тюлем; не хотят света от солнца, а хотят его отраженным или от земли, или от стены противоположного дома.

Еще два слова. Окна у нас прорезывают среднюю часть передней стены комнаты; задняя стена и боковые прорезаны дверьми. Таким образом, глаз, куда ни обратится, видит кусочки стены, вырезки. Их мы заклеиваем обоями, обыкновенно — цветными, но какого рода? Это — не живые цветы, даже не существующие, а выдуманные. Так, тянутся какие-то листья, ни из Азии, ни из Европы, и какие-то цветы, тоже ниоткуда взятые. Мы их рисуем, чтобы не заклеить стенных вырезов белой или серой бумагой, что уже совершенно некрасиво. Между тем передвинем окно кверху, подведем его под потолок или ближе к потолку. Комната получится как углубление, она будет иметь необыкновенно цельный вид, получится сплошное полотно стены для возможной живописи, для расстановки картин, глаза не будут искать смотреть наружу («смотреть в окно», «зевать по сторонам улицы»), и психология жителей

дома получит большую уютность, обращенность к себе и к другим жителям дома, большую взаимную сцепленность и интимность. «Мне нет дела до того, что вне дома; но до того, что внутри дома, мне есть горячее дело». Весь характер разговоров, как и течение мыслей, получит в комнате такого устройства другое содержание и лучшее направление, более мягкое, и внутреннее, и дружеское. Замечательно, что уже теперь, при нижнем или боковом свете, дружеская беседа днем невозможна. Мы хорошо беседуем, беседа у нас льется только ночью, когда вовсе нет света со стороны, с улицы, этого неприятного, дряблого, не столько солнечно-го, сколько площадного света.

Дома в Помпеях все невелики, и для каждой семьи с прислугой был свой дом. Это черта независимости, это вытекает из независимости и, в свою очередь, поддерживает ее. Мы все — жильцы, т.е. странствующие особы, скорее «жмемся» на свете, чем живем на свете. Дом у нас — муравейник. Это всегда Ноев ковчег, но с крайним недружелюбием его жителей. Мы и страшно замкнуты, как Каин после убийства, и столь же страшно обусловлены, стеснены, зависимы. От кого я не завишу? В детях я завишу от педагога и гимназии, в семье и браке — от священника, в труде — от департамента и конторы. Только когда я засыпаю, блаженно чувствую, что до утра отлетели все зависимости. Несмотря на то что цезари страшно сжали Рим, эта сжатость была более историческою, т.е. она более вошла в историю и описывается в истории, чем проникла в быт. В провинциях римских, в муниципиях, в маленьких городках и областях, как эти Помпеи, шла совершенно независимая жизнь, свободная, развернутая, хохочущая, веселая, дружелюбная и нимало не угнетенная императором. А не угнетал император, то уж конечно не угнетал ни педагог, ни гимназия, ни полицеймейстер, ни «служба» в том тысячеголовом ее разветвлении, в каком мы ее знаем сейчас.

Внутри дома был у них введен маленький сад. Таким образом воздух, человек и растения перемешивались, и земля (почва) и камень тоже перемешивались. У нас цветы в комнатах имеют более декоративное, нежели физиологическое, значение, и это до такой степени, что их более и более теперь заменяют высу-

шенными листьями пальм, искусно связанными и прикрепленными также к высушенным стволам их. Эта сухая ботаника, конечно, мало чем отличается от дурного веника, и если «цветы в комнатах» стали переходить в него, то оттого, что и с самого начала они были только добавлением к обоям и некоторым ассортиментом мебелировки. У нас так же мало потребности в цветке, как в поле, в лесе, в путешествии.

Помпеи представляют жалкий вид, как все разрушенное, как всякие останки. Я упомяну только о росписи стен. Неприятную сторону наших комнат представляет их крайняя пестрота. Мы ее переиначиваем, делаем так и делаем иначе, и все остаемся недовольны, не замечая, что нам не нравится в сущности самая пестрота, а не способ запестрения. В Помпеях стенная живопись показывает высочайший цельный вкус. Вся стена — ярко-красная; это — огромное красное полотно, и в середине его — маленькая сценка, летящий Меркурий, охотящаяся Диана или мирная сцена из «Одиссеи». Глаз не разбегается, внимание не дробится, оно ничего не ищет, потому что все прямо перед собой находит. Или еще: стена вся черная — и среди ее живой цветок, желтое с пунцовым, белое с лиловым. Это сообщало комнатам удивительное единство плана и настроения.

Из зданий меня занял один храм Аполлона, сейчас же по входе в Помпеи. Храм Аполлона!!! Я вошел в него пораженный, удивленный. Это уже не был профессор из немцев, читавший в Москве «De corona» Демосфена; это было кое-что, в останках, в обломках, но, однако, кое-что столь же живое, конкретное, как листок, зеленый и душистый, оторванный от неизвестного дерева и попавший вам в руки. Чтобы почувствовать контраст, я стал читать «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его»⁶, любимую детскую мою молитву, которую, бывало, всегда торопливо читал в бане, когда няня или мать, мывшая меня, на 1/2 минуты выйдут в предбанник. По нашей домашней вере баня (единственное место, где никогда нет образа) исполнена нечистой силой, а нечистая сила особенно опасна для неразумных и неопытных детей, и, оставаясь один, — я прямо испытывал ужас быть схваченным и куда-то унесенным, но верил всегда в несокрушимость «Да

воскреснет Бог». В храме Аполлона, с сохранившимся алтарем, жертвенником, омфалосом⁷, — я зачитал ее же. Славянизм и грецизм смешались, встретились. «А вот здесь стоял квадрант», — сказал мне гид. «Что?» — «Квадрант, солнечный круг, разделенный на градусы». Это было перед алтарем, на боковом перистиле, сзади жреца и перед глазами народа. — «Боже! В самом деле, ведь Аполлон — не статуя, как мы привыкли его представлять себе, а — солнце, и до статуи красивого юноши, под которым почему-то подписано: Аполлон, — греки поздно дошли, и это уже был *decadance*, вырождение». В самом деле, я стоял в храме Солнца. Невольно я вспомнил одно место из пророка Иезекииля: «И сказал мне Господь: пойдй, посмотри, что делают израильские мужи в Иерусалиме: они всходят на крышу храма и, обратившись к Солнцу, — кадят ему, и подносят свежие древесные ветви к носу и обоняют их»⁸. Связал я с этим и свое давнее недоумение: отчего солнце не гаснет⁹. Ведь уж оно сотворено (по ученым) миллионы лет назад, да и вообще очень давно сотворено. Кругом атмосфера — ледяная, до 200° мороза (межзвездная). Ну как в миллион лет не остынуть, не выхолодеть, не выгореть?! Невозможно, никакой гипотезой нельзя объяснить, и никакой объем материала не выстоит. Но есть перед нами один факт, а не гипотеза, объясняющий температуру солнца, не только не угасающего, но и не остывающего ни на один градус, сравнительно, положим, с XV в. по Р.Х. и даже с I в. до Р.Х. Ты, читатель, так же тепл сейчас, как и когда родился, и я в 48 лет имею такую же температуру 37°, как и мой двухлетний сын и 1/2-годовалая дочь. Мы не стынем. Только живое не стынет, его закон — от начала и до конца сохранять ту же температуру, различную для каждого существа, не одну для лягушки и ласточки, но и для ласточки, и для лягушки постоянную. В то же время я вечно лучеиспускаю из себя теплоту, теряю и не теряю ее. Это есть полная и вместе это есть единственная параллель живому теплу солнца, живому, читатель, — это заметьте! Если вы натопите в комнате печь до 20°, вы заболите от неживого, от механического ее жара, хотя бы воздух был совершенно чист, комната отлично вентилирована, трубы не закрыты. Вы почувствуете необъяснимую

дурноту всего тела, темноту. Между тем летняя, солнечная, ж и в а я теплота безболезненно выносится, доходя до 25—28°. Мир бесконечен, Бог — бесконечен во всемогуществе, и как кит не похож на инфузорию, и, однако, есть и кит, и инфузория; Бог в мире мог разлить могущество жизни в виде капель-звезд, искр бытия, огромных для нас, малых — для Него, невозможных и, однако, сущих! С этой-то точки зрения и израильтяне, кадившие солнцу, не как богу, но как полубогу, как ангелу в тверди небесной, — возможны, да и я посмотрел на «храм Аполлона» с несколько иной точки зрения. Я подошел к омфалосу в левом углу алтаря и дотронулся до него рукой. «Как все странно, Боже! Боже, до чего это прошло!! а — было!!! И алтарь, и в самом деле жертвенник, все напоминает даже наше, ибо это же и тут отделение народа от жреца, слушающих богослужение от самого богослужения, богослужения... Аполлону!»

Весь план храма сохранился, кроме крыши. На небольшой площадке выложен каменный помост — это двор, где толпился народ. В передней его стороне, занимая совсем небольшое место, поднимался уже значительно, аршина на 1½, следующий помост, и на нем, собственно, стоял храм, с колоннами, квадратный, где совершалось богослужение. Но и в храме этом, опять занимая переднее место, стоял еще квадрант, чуть-чуть повышенный и обнесенный мраморной стеной, высотой четвертей в пять, с отверстием — проходом к народу. Посреди его стоял каменный куб, для жертвоприношений или чего другого, но и местом своего положения, и видом своим совершенно напоминающий наш престол. Около левой стены этого алтаря, несколько назад, помещался омфалос, аллегорическое изображение солнца же, только другое, чем квадрант, вероятно прикрытое небольшим балдахином и на которое, в свое время, возливался елей. «Да, если солнце — только раскаленный докрасна камень, каким у нас в Костроме нагревают для бань воду, то, конечно, все это, и мрамор, и колонны, — ужасный вздор; но если это животворящее солнце?.. Но есть ли?»

В сущности, мир так и остается до сих пор загадкой, и если мы (через науку) знаем одежду вещей, то не знаем души вещей. Можно отлично знать расстоя-

ние солнца от земли, объем его, вес его и не знать совершенно, есть ли оно камень горящий или живое теплое существо? В Неаполе, в Аквариуме, я увидел очень страшные морские существа, которые разрушали во мне все ранее бывшие представления о живом. Из многих диковинок вот одна: в морской воде вилась соломинка, прозрачная, вероятно — жидкая, словом — тоже вода или как студень, но только отделенная от толщи остальной воды. Она бы и не была видна, если бы не следующее: в соломинке этой происходило непрерывное, вечное движение — света! Кто учил физику, знает свет Гейслеровых трубок¹⁰, сероватый, фосфористый, вечно внутренне движущийся, волнующийся. Вот такой же точно по характеру свет, пульсом (как пульс крови) пробегал и по неподвижной в воде змейистой соломинке. Как это не похоже на корову! на меня! как я — не похож на солнце, чудовищное, сферическое, миллион лет пульсирующее огнем и светом. Но, может быть, все это так, а может быть — не так. Если «не так», греки городили чудовищный вздор.

Все остальное в Помпеях, в сущности, неинтересно, т.е. все однообразно, как и дома в наших городах. Они жили легкой летней жизнью, имели летнюю психологию, пользовались хорошим расположением духа, как мы на даче и на минеральных водах. Имели свои заботы, не столичные, не страшные, и свои маленькие провинциальные удовольствия. Да, еще интересно, это древняя базилика, т.е. судебное место, где производилось разбирательство дел и произносился приговор. Известно, что базилики эти дали план христианских храмов. После падения Империи и даже ранее, по перемене религии императорами, эти базилики прямо занимались христианами и, без всяких переделок, через простое внесение Креста Господня, становились христианскими церквями. Действительно, обычная теперешняя католическая церковь есть просто базилика, древний «окружной суд», но куда внесено все новое, новые вещи, символы, и вошли новые люди. Я все это знал из истории, но было в высшей степени интересно все это увидеть воочию.

Вообще, путешествуя по Италии, — дотрагиваешься рукою до истории; тогда как, сидя дома, только думал о ней.

Салерно

После огромного, жадного, ленивого и грязного (внутри) Неаполя Салерно производит очаровательное впечатление. Везувий вечно грозит Неаполю пальцем, но его легкомысленное население только посмеивается и обирает своего возможного судию и сторожа в том смысле, как собирает дань с апельсиновых деревьев, хорошеньких девушек, своих певческих талантов и легкомыслия туристов. Неаполь окончательно мне не понравился. Пьяница, развалившийся среди лугов и всяческого очарования природы, — вот ему сравнение.

Куда так торопятся итальянцы на своих *strada ferrata**? Вагоны качает из стороны в сторону, машинист, очевидно, легкомыслен, поезд не едет, а рвется, и тут какая-то психология или молодой нации, или маленького, но рвущегося в рост королевства. Россия едет спокойно, и это мне нравится, едет тихо, солидно. И в Австрии поезда ходят тише итальянских. У итальянцев действительно какая-то железнодорожная скачка. Чтобы довершить нелепость этого и показать очевидную ненужность, поезда останавливаются на станциях подолгу, очевидно, — как медля, так и спеша без всякого толку. Так выехал я из Неаполя и часа через три уже подходил к Салерно. Какой удивительный вид!

Из длиннейшего черного туннеля, согнутого в дугу, мы прямо выскочили к морю. Высь страшная. Как стадо баранов, друг через друга, горы бросаются в море, и среди них сжатый, маленький и изящный городок. Это — как наш Брянск, Старая Русса или $\frac{1}{4}$ губернского города. Я не захотел брать номера в Hotel d'Angleterre, просто по антипатии к этой надоедливой вывеске¹, и, не имея при себе вещей, отправился как гость по улицам, ища, что понравится. Наконец я на-

*железных дорогах (*итал.*).

шел. Кажется, у моих номеров не было даже вывески. «Una camera, una camera pour un jour»*, — объяснил я, входя в двери, какие мне казались симпатичнее. Я поднялся по кирпичной лестнице первого и единственного этажа. «Una camera? Si, signore»**. И милая старушка ввела меня в номер, который она мыла. «Я сейчас домою, а вы посидите в другой комнате». Через минуту кирпичный же пол номера был домыт, и я вошел в обстановку, все-таки переносимую. Пуховик на кровати был чисто русский, да и от всей обстановки и от моих хозяев на меня пахнуло вдруг Россией. Дверь, разумеется, не запиралась, т.е. заржавевшую от неупотребления задвижку, конечно, можно было выдвинуть, но только сломав пальцы. Я бросил. И окно на ночь тоже нельзя было запереть. И это я бросил. Очевидно, воровства здесь не предполагалось. А если не предполагалось, то его и нет.

К вечеру моя итальянская Пульхерия Ивановна вдруг перерядилась. Одеда чистое платье, шляпу — и хоть куда барыня. Весь город высыпал на взморье. Тут и маленький бульвар, и бездна кафе и ресторанов, показавшихся мне днем несимпатичными. Но теперь все было мило. Стояла чудная, тихая ночь. Море было черно и тихо, небо — звездно и черно; с горизонта поднималась полная луна. Жители толпами ходили; тут же играли ребятишки; провинциальные барышни ходили с непокрытыми головами, как дома. В Италии, за теплотою климата, на улицу вообще выходят не наряжаясь специально, и часто выходят просто, как были дома: без шапки, зонта и калош. Это придает улице уютный, домашний вид и живописность. Папаши попивали вино и пиво, мамыши и дочери прогуливались; около них вертелись молоденькие приказчики магазинов и чиновники. Все как на Руси сорок лет назад.

В Салерно я нашел незнакомый мне тип мозаики. До чего жалко, что это прекрасное искусство не процветает у нас. Что может быть изящнее мозаиковых вещей, вещиц, картин и, наконец, целых архитектурных работ. Я бы сделал все усилия, чтобы придать

*«Одну комнату, одну комнату на один день» (итал., франц.).

**«Одну комнату? Хорошо, синьор» (итал.).

этому столько же ремеслу, как и художеству, национальный характер. Мне кажется, что без мозаики нет культуры; до мозаики — не культура, после мозаики — культура. Она может быть и деревянная, ибо дерево, имея разные цвета, допускает врезку в себя разных узоров, сцен и картин из подбора других цветов.

Я знал, что в Салерно есть собор, видевший времена Гогенштауфенов и Вельфов. На другой день я поехал его осмотреть. Боже, какие улицы! Извозчик с угла уже кричал, чтобы никто не въезжал на ту же улицу с другой стороны. Это как у нас под Дворцовым мостом паромы свистят и предупреждают, чтобы с другой стороны в пролет моста не вошел другой паром. В Салерно на всех почти улицах нельзя двум извозчикам ни разъехаться, ни повернуть назад лошадь: нужно будет назад пятиться до конца, чтобы пропустить другого. Наконец, есть улицы, совершенно невозможные для езды: это, собственно, проходы, коридоры между домами. И дома около них — чрезвычайно высоки. Вся жизнь от этого необыкновенно скученна и жива: бранчива, драчлива, словоохотлива и смешлива. Я думаю, интимность средневекового быта и его теплота много зависела просто от этого способа постройки улиц. Дома тогда представляются хижинами на одном дворе, а жизнь на дворе и жизнь на улице — это разница.

Собор св. Матфея, апостола и евангелиста, стоит девять веков и современник нашему Ярославу Мудрому. До него-то я и добрался через эти улицы. И его самого не видно со взморья: он до самых стен и ворот заставлен, загроможден домами средневекового расположения. Очевидно, план города здесь не менялся с XI века. Внутри собора есть разные примечательности: колонны из языческих храмов, привезенные из Пестума; несколько саркофагов, тоже греческих и языческих. На одном я нашел изображение Прозерпины, на другом — процессию Вакха. Какое соединение! В Италии на каждом шагу видишь тот камень Зевса, на который лег камень Христа; и оба лежат теперь, покойник и живой, рядом. «Торжество христианства» здесь не история, а зрелище.

Старый ключарь предложил мне сойти вниз; я кивнул ему головой: главное слово, с помощью которого объясняюсь с итальянцами. Мы долго шли. Я не по-

нимал куда. Наконец огромный ключ щелкнул в металлических дверях, и предо мной открылось чудное зрелище.

Это — подземный этаж собора; также собор, но древний, исторический, и похожий по положению на наши «зимние церкви», которые бывают тоже иногда в нижнем этаже, в отличие от «летних». Стены, потолок и вообще все великолепное построение были сплошною мраморною мозаикой, но какою? Обычно мозаика состоит из сложения мелких, иногда мельчайших камешков. Это тоже хорошо. Но здесь мозаична была сама архитектура, и, очевидно, обычный способ работы из камешков-горошинок сюда не шел. Стена представляла сплошной ковер цветов, преобладающего светлого цвета, но цветов не мелких, а огромных, какими расписывают у нас обои для огромных зал или материю для мебели, драпировок и занавесок. Я провел рукой. Цветок из сплошного розового, желтого или лилового мрамора был инкрустирован в основной фон бледно-серого мрамора, и вся огромная комната блистала светлым, благородным и одновременно уютным, тоже каким-то домашним видом. Я пришел в восхищение. «Вот где молиться!» Он мне понравился гораздо более св. Петра в Риме, постройки великолепной, но неуютной, здания исторического, здания-площади, а не «дома Божия», каковым должен быть храм. Да, «дом Божий»: эта идея как-то слабо выражена в европейских церквях.

Везде там «мы», «человек», «общество». И спрашиваешь, и ловишь, и не находишь: «Где же Бог?»

Церковь — светлая. И вообще все в ней радостно, светло и благородно. Цвета мраморов преобладающего белесоватого цвета или желтого — очевидно, любимого в Италии; ничего угрюмого и печального. По стенам сделаны бюсты епископов салернских, и, как ни стара работа, — везде уже лицу дана экспрессия. Нигде — мертвенного, нигде — манекена, которому хочется надеть парик и вставить зубы.

Посреди — мощи св. апостола Матфея. Это уже третий апостол, которому я поклоняюсь в Италии: свв. Петр и Павел — в Риме, а здесь — Матфей. Не верю, не может быть, чтобы это был обман, чтобы тут был подлог. А если нет, то на каких телах покоится Италия?!!

Пестум

В трех часах пути от Салерно, к югу, лежит на берегу моря Пестум. Об имени его не говорит ни торговля, ни промышленность, ни интересы жизни или красивого положения. Это — пустыня, ныне заросшая высокой травой, какая появляется, я замечал, всегда на местах былой жизни. Трава, кустарник, и в двух шагах — море. Пестум — медленно вымиравший и наконец умерший город¹.

Он более дает понятие о руинах, чем Помпеи. Помпеи — захваченный живым город, задушенный, отчасти недостроенный после землетрясения, бывшего незадолго до рокового извержения Везувия, частью разломанный, разбитый этим извержением. Впечатление от Помпей некрасивое и болезненное. Он дает понятие о быте. Вообще город этот важен для археологии и науки. Но это не есть историческая святыня, потому что не есть могила свято и благочестиво умершего места.

Века менялись. Греческий городок Посейдония, переименованный римлянами в Пестум, потерял связь с родиной, потом — попал под Рим, беднел, худел. Жители расходились или вымирали. Никто его не убивал, не громил его стен таранами, не жег. Он в стороне был от больших путей истории, от транзита, от войн, от богатства. И умер, как маленький, никому более не нужный городок. Жители его покинули, но боги остались. Это — храмы.

Тут не было землетрясений или извержений вулканов. Христианство здесь не побеждало язычества. Здесь не было смывающей волны или волны ломающей, и городок, построенный за семь веков до Р. Х., исчезнув в частных постройках и в большинстве публичных, сохранился неприкосновенным иначе как от времени в трех почти целых храмах: Посейдона, Цереры и еще одного, который теперь носит неверное и ничего не выражающее название «Basilica».

Нужно уметь выбрать место и время, чтобы на него любоваться. Осмотр подробностей можно сделать потом. Самое лучшее, пропустив в него других туристов, не входить в него, но остаться шагах в ста, наискось от фасада. Фасад сохранен вполне, а крыша хотя и снесена веками, но время сделало это так осторожно и гармонично, что при известном угле зрения это незаметно, и получается иллюзия полного и еще живого, но только безмолвного греческого храма. Так называемая «Basilica» стоит почти рядом с храмом Посейдона. Немного поодаль, шагах в 250, — храм Цереры. Все три — заросли высокой травой.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять².

Теперь эти храмы приобщились природе, стали частью ее, но только частью рукотворенною. Вот лист, а вот — греческий храм, и оба — одно, живы и не живы, одушевлены и не одушевлены. В первый раз я рассматривал дорические колонны, такие некрасивые на рисунке, и понял, до чего в действительности они выше всяких финтифлюшек, которыми украсились капители ионической и коринфской колонны. В дорическом стиле вся сила в соразмерности частей. Глаз не разбегается и не сосредоточивается ни на какой точке. Ничего не рассматриваешь, но смотришь на все и созерцаешь организм здания, а не его органы. Как этот организм прост, ясен, спокоен!

Да, это были прекрасные, невинные люди, которые не знали или почти не знали ощущения греха. По всему вероятно, они смотрели на грех как на ошибку, которой не нужно еще делать, а не как на ответственность, томительную, щемящую, роковую. К концу греческой истории, например уже у Эврипида, появляется эта идея греха в христианском смысле, а к концу язычества она обняла весь мир. В самом деле, шел «Судия миру»³, и мир затомился, заплакал в предчувствии суда. «Ныне суд князю мира сего»⁴. Мы говорим, в обычных исторических учебниках, что древние греки и римляне «поклонялись бесам»⁵, это поклонение застонало, заплакало перед восходящим сиянием Креста.

Но в Пестуме — оно еще не плачет, как не заплакало еще в играх Навзикаи и ужинах Алкиноя, у этих наивных пастухов, которые именовали себя «царями», «βασιλεὺς». В самом деле, «царская дочь» (Навзикая) — идет стирать белье. Это как сказка. И жизнь этих людей была невинна, как только возможно в сказке⁶.

«Бес» древнего мира почувствовал себя поздно «бесом». Раньше он считал себя «богом», может быть, так же ошибочно, как пастухи и крестьяне ошибочно считали себя «царями». Пришел Цезарь и показал, какие они «цари»; и богам этим тоже было показано, какие они «боги». Взоры померкли у Диан, Зевс — спутался в речах, Посейдоны и Аресы — испугались. «Вы не знаете, что такое грех, и не сумели освободить человека от греха, даже вы ввели человека в грех, живя как люди и греша как они». Мир заплакал⁷. Впервые он почувствовал себя бесконечно виновным, что-то ужасное сделавшим, заслужившим бесконечное наказание, — и, чем уже оно скорее, тем лучше — до того было страшно ожидание. Мир не только заплакал, но захотел смерти: «Завтра будет суд миру, нынче — нечего делать, иначе как готовиться к наказанию».

Настали Средние века. Настала готика — эти подъяты к небу пальцы рук, молящих о пощаде, молящих о прощении. Явилась попытка оправдать все это, доказать все это — томительная, многотомная. Это — схоластика. Явились нервные болезни, исступление. Отчаяние владело миром. Пока, от усталости, человек не решился вовсе об этом не думать. «Ни богов, ни бесов, ни вины, ни правды». Так решил новый мещанин. Это — американизм. Американизм есть столь же устойчивый и кардинальный момент истории, как Греция или Рим. «Мы будем торговать, а остальное неважно». Мы живем в этом моменте мещанства, мы только что в него вступили и вступаем.

В Пестуме я смотрел на бесов, пока они еще считали себя богами. Я знал уже их последующую грустную судьбу; я знал, что они — умрут; будут высечены; вытолкнуты из храмов. Словом, я много знал, чего еще они не знали. Отрывок истории, но в момент, пока она не знает, чем кончится. Бесы смотрели на меня спокойно и ласково, немые и недоумевающие, о чем и зачем я грущу; я же не мог смотреть на них без чрез-

вычайной грусти и какой-то глубоко затаенной вины, которую я принес в эту пустыню из Салерно, Неаполя, Рима, Петербурга.

Подходил поезд и смахнул все это облако довольно сложных ощущений. Уже сидя в вагоне, я закончил свою мысль. Именно, я вспомнил, что в Азии есть железнодорожная станция «Вифлеем», кажется, с буфетом, как и в Италии есть «Пестум», без буфета, но с маленьким рестораном. Европа, как и Азия, в конце концов побеждается Америкою. Американизм есть принцип, как «классицизм», как «христианство». Америка есть первая страна, даже часть света, которая, будучи просвещенною, живет без идей. Она не имеет религии иначе как в виде религиозности частных людей и частных обществ, не имеет в нашем смысле государства и правительства; не имеет национальных искусства и науки. Даже нельзя сказать, чтобы она имела нацию, ибо Соединенные Штаты не есть национальный организм, подобно России, или Германии, или Испании. Вот это-то существование без высших идей побеждает и едва ли не победит христианство, как христианство некогда победило классицизм. Так что вместо ожидаемого Страшного Суда, которого так боялись апостолы и рисовал его Микель-Анджело, наступит длинная вереница буфетов, в своем роде некоторый хилиазм: «буфет Вифлеем», «буфет Фивы», «буфет Рим», «буфет Москва», с отметкой около последней: «Поезд стоит час, ресторан и отличная кулебяка».

Да, забыл добавить: камни Пестума чрезвычайно нагреваются; и везде видишь хорошеньких зеленых ящериц, бегущих по колоннам, змеящихся по полу. И кругом — зелень, зелень.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть...⁷

ФЛОРЕНЦИЯ

Такое благополучие: едва приехал во Флоренцию, в пять часов утра, и, задыхаясь от усталости, счета денег и желания спать, все-таки выглянул на минуту в окно — как увидел чудеснейшую церковь¹, какую никогда не видал, и, недоумевая, спрашивал себя: «Да что такое, не в Милан же я попал вместо Флоренции». У меня был адрес: «Piazza del Duomo»*. Я не спросил себя, что такое «Duomo», ехал от вокзала недолго, был уверен, что останавливаюсь в окраинной части огромного города, и, увидав белое кружево мраморной церкви, положенное как бы на черное сукно, пришел в отличное расположение духа. «Ну так и есть! цветущая, *florens*** — Флоренция». И заснул в самых радужных снах.

Какая масса труда, заботливости, любви, терпения, чтобы камешек за камешком вытесать, вырезать, выгравировать такую картину, объемистую, огромную, узорную. В тысячный раз здесь, в Италии, я подумал, что нет искусства без ремесла и нет гения без прилежания. Чтобы построить «Duomo», нужно было начать трудиться не с мыслью: «нас посетит гений», а с мыслью, может быть, более гениальной и, во всяком случае, более нужною: «мы никогда не устанем трудиться — ни мы, ни наши дети, ни внуки». Нужна вера не в мой труд, но в наш национальный труд, вследствие чего я положил бы свой камень со спокойствием, что он не будет сброшен, забыт, презрен в следующем году. Это-то и образует «культуру», неуловимое и цельное явление связности и преемственности, без которой не началась история и продолжается только варварство.

Как «Duomo» ярок, цветист, радостен снаружи, так внутри он меня поразил бедностью, сухостью, темно-

*Соборная площадь (*итал.*).

**цветущая, благоденствующая, богатая (*лат.*).

тою. Небольшие окна, то круглые, розеткою, то длинные, почти лентою, унизаны синими, пунцовыми, реже желтыми, вообще темноцветными стеклышками, почти не пропускающими света. Вы движетесь в совершенном мраке. Вдали горят немногие, редкие лампы. Это — царство духов, это — как на кладбище, где движутся фантастические огоньки.

И храм почти пуст во время богослужения. В первый же раз, когда я вошел в него, за стеклянной, вполтину с деревом, перегородкой главного алтаря сидели на скамьях едва ли менее 80 патеров и вообще служителей и прямо кричали, орали, смелым мужественным голосом, молитвы, не замечая и не обращая внимания, что в церкви никого решительно, кроме меня, не было. Я всмотрелся за стеклянную перегородку. И патеры сидели почти в темноте. Но посередине на пюпитре лежала чудовищной величины развернутая книга со словами и нотными знаками, длинной и толщиной как цифры на стенных часах, и эта книга одна в целом соборе была ярко освещена сосредоточенным от абажура светом: по ней-то и пели патеры. И это их равнодушие к тому, что в церкви никого нет, и громкий голос, как бы счастливый одиночеством, как бы говорящий: «И никого не надо, одни проживем», почти испугал меня и смутил: «Фу — как жрецы Ваала! и так же орут». Я достоял до конца службы. Она тянулась долго, без красоты, монотонно в смысле однообразия. Наконец все окончилось. Что это за служба в порядке римского богослужения (было часа 4, а может быть, 6 пополудни) — я не знаю. Но они встали, нимало не спеша, поводя плечами, как солдат, надевающий ранец, и пошли своей неусталой, крепкой походкой, грубо и твердо. Я перекрестился по-православному. Кой-кто посмотрел на меня в темноте. «Ты зачем тут? И тебя не надо, никого не надо. Мы одни тут и совершенно счастливы. Бог и мы».

Впечатление, как и повсюду, постоянно в Италии: «Ну, с ними довольно трудно заговаривать о соединении церквей. Они сшибут вас с ног, просто самым движением, бытием своим, раньше, чем вы успеете договорить первую фразу «предложения»; сшибут — и перейдут через вас, и пойдут к своим целям, и заорут,

как здесь, что-нибудь грубое из Missalum*, без воспоминания о вас, без сожаления вас, потому что им нужно и хочется петь по этой огромной средневековой книге, как соловью слепому, который поет и упивается, и до мира ему нет дела, ни до слушателей. Это — вера». Да, это тоже вера, не как наша теплящаяся, колеблющаяся, как огонь лампы, тихая, прекрасная, слабая — это другая, но тоже вера, законов которой мы не можем рассудить по совершенно особым законам своей веры.

*Католический служебник.

ВЕНЕЦИЯ

Золотистая Венеция

П а с с а ж и р: Nach Venedig?
С т о р о ж: Nach Venezia?^{1*}

На Венском вокзале

Падение башни св. Марка в Венеции² разрушило мою мечту еще раз увидеть этот город, а с тем вместе и побуждает еще раз сказать сейчас о нем то, что я думал сказать позднее.

*

* *

Сперва о павшем гиганте. Перенесите Василия Блаженного в Лондон или, особенно, в Нью-Йорк, и он не только испортится сам, но и испортит ту площадь, на которой вы его поставите. Это же можно сказать о башне. Представьте себе среди небольших зданий башню совершенно чудовищной величины, без архитектурных украшений, красную, гладкую, квадратную, глубоко неутилитарную. Не понимаешь, зачем она стоит, какая потребность могла ее вызвать к существованию. Но после этого рационального недоумения начинается необъяснимое действие старины.

Башня, не имеющая ничего красивого в себе и столь непропорциональная окружающим ее зданиям, удивительно с ними гармонирует. Гармония эта так велика, что просто больно думать, что, выйдя на площадь св. Марка, не увидишь ее. Выньте из Кремля Ивана Великого — не Бог знает какую красоту, — уберите перед Кремлем Василия Блаженного, — и целое вдруг потеря-

*В Венецию? (нем.). В Венецию? (нем., итал.).

ет смысл, красоту, целость, гармонию. С падением башни навсегда испортилось единственное по красоте, значительности и воспоминаниям место на земном шаре — площадь св. Марка. Боль не в ее исчезновении, а в том, что площадь эта вдруг потеряла тысячелетний свой вид. Необходимость ее восстановить — абсолютна. Для европейской цивилизации потерять площадь св. Марка — то же, что Афинам потерять Пропилеи или статую Афины Промехос на Акрополе. Совершенно можно допустить идею всемирной подписки на восстановление этой башни, непременно в прежних размерах, в полной копии с древнего. От реставрации она ничего решительно не потеряет, ибо архитектурных украшений на ней не было. Все дело в пропорциях и отношении к соседним зданиям.

Стиль башни — южный. Квадратный колосс, с вертикальной в одну линию ниточкой продолговатых окон, кончался пирамидкой. Башня, может быть незаметно для ее строителей, являла европейскую и христианскую вариацию египетского обелиска, этой непонятной по мысли квадратной колонны, увенчанной острой башенкой. Я заметил везде в Италии необыкновенную предрасположенность к стилю обелиска. Многие игрушки и вещицы на окнах магазинов имели этот простой и вовсе не красивый на первый взгляд вид. В Риме многие площади украшены обелисками, частью новой и подражательной постройки. Например, перед Латеранским собором стоит великолепный обелиск; но также и на многих других. Если мы припомним обычные четыре минарета по углам мечетей Египта, Сирии и Турции, то и тут увидим бессознательное повторение безотчетно любимого мотива юга: узкого и высочайшего здания, которое упирается вершиною в небо. Обелиск был самым ранним в истории выражением этого мотива; башня св. Марка — одним из позднейших. Что этот мотив собою выражает — неизвестно. Но он совершенно не присущ и не повторяется на севере. В странах тумана, сырости и холода редко смотришь на небо и не хочется ничего послать в небо. Здания здесь широкие, распластанные по земле. Это — мужик, которого порют, а не жаворонок, который подымается в лазурь. Может быть, природа действует на историю, на нравы; а история и нравы — на архитектуру.



Башня стерегла главную красоту Венеции — св. Марка и Palazzo Ducale*. Нужно было или в яркое утро, или пустынную, молчаливую ночь выйти на площадь и, остановясь в $\frac{3}{4}$ ее длины, т.е. не подходя близко к св. Марку, — или сесть где-нибудь на каменные плиты, если была ночь, или, если это было утро, — спросить себе на столик кофе; и, не смотря прямо на главную красоту, так сказать, дышать этой площадью, ничего особенного не думать, не вспоминать истории и время от времени нечаянно взглядывать и вперед, в направлении Марка и дворца. Все преднамеренное нехорошо. Тогда в ваше непреднамеренное, ленивое дреманье и Марк, и дворец входили незаметно и становились куда нужно. Через несколько времени седи́на этого места, удивительная его архитектурность, непосильная личному гению и доступная только гению времен, начинала в вас действовать. И минутами сердце наполнялось прямо восторгом, счастьем.

На вопрос, что лучше, Зимний дворец или Василий Блаженный, всякий, вероятно, скажет, что — Василий Блаженный. Таких, как Зимний дворец, зданий может быть много, и есть здания, к нему приближающиеся. Но к Василию Блаженному ничто не приближается. Он один. Каприз времени, чудачество эпохи возвело вещь, неповторимую ни в какие другие времена и непосильную ни Растрелли, ни Тону. Palazzo Ducale и св. Марк строились в эпоху столь архитектурно элементарную, во всех отношениях грубую, варварскую (как и готические соборы в ту же пору строились), что строителям едва ли в голову приходило: «построить красиво» или «вещь, которую мы строим, будет красива». У Пушкина стихи выходили не те красивы, какие он хотел, чтобы были красивы, а которые просто так вышли. Поэт иногда поет вельможу — и скверно, а запоем жаворонка³ — и выйдет отлично. Хотя о вельможе он старается больше, чем о жаворонке. И в архитектуре закон этот действует: хотя великолепное построить — выйдет претенциозное,

*Дворец дожей (итал.).

холодное, деланное, нравственно убогое. Но дикарь-архитектор строит дикарю-герцогу: вдруг выходит тепло, осмысленно, воздушно — выходит единственная вещь на свете!

Сколько я ни рассматривал части Дворца дожей, я не мог понять, как можно было при малейшем вкусе выбирать данную часть такою, а не совершенно противоположною. Ну, например, камень, цвет стен. Можно было выбрать белый: «молочная белизна каррарского мрамора» — это все знают, это элементарно. Но, например, хочется не белого, но яркого, цветного: выби-рай камень красный, зеленый, голубой, комбинируй их или оставь в один тон. Наконец, выбери камень с тонкими прослойками, жилами цветными. Но остановиться на камне, который, при разглядывании вплотную, являет грязно-белый цвет, а в общем (в стене) чуть-чуть заметно розоватый, — кажется невозможно, особенно невозможно в проекте, когда задумываешь здание; и можно быть уверенным, что камень был взят такой ненамеренно, без всякой мысли о нарядности. Между тем всякий знает (т.е. сейчас, в XIX—XX веке), как хороши так называемые линялые цвета; т.е. где цвет сбежал почти, вылинял, остались лишь следы его, камень. Весь Дворец дожей имеет благороднейший бледно-розовый отлив, между тем как его постройка относится к самым первым векам республики. Единственный цвет, какого я больше нигде не видел. Далее: во всем мире здания украшены вверху, а фундамент есть массивный слиток, без архитектуры. В Дворце дожей архитектурно разработана часть от земли до половины здания. Проезжая по Ломбардии, везде видишь посаженные в ряд оливы со срезанными сучьями. Приблизительно аршина на два от земли палка-ствол раздвояется на две рогатины: один сук идет вправо и почти касается того же сука соседнего дерева, а другой сук идет влево и также почти сомкнут с суком соседнего дерева. Сучья, как всегда у деревьев, идут вверх и в сторону. 5—6 таких деревьев образуют аркаду, т.е. тоненькие колонны, низенькие и широчайше разветвленные, которые сверху смыкаются. Я сказал, что вся Ломбардия, по крайней мере раннею весной, когда еще деревья не покрыты зеленью, решительно уставлена на сотни верст этими аркадами из дерева. Нужно

глазом непосредственно видеть величину и точные пропорции этих срезанных олив, чтобы знать, что в нижнюю колоннаду Дворца дожей, ужасно низенькую, широкую, распяленную, с колоннами жиденько-тонкими, просто перенесен план этих полей оставленной венецианцами Ломбардии. Сейчас над одной колоннадой идет другая, — над элементарной простотой — вычурность и пожелание красивого. Над каждым двумя столбами нижней колоннады стоят в верхней три, и высота колонн — больше; они приближаются видом к стройному высокому дереву, разветвления их кверху — убраны, придумчивы. Можно было подумать, что теперь здание окончено. Так, вероятно, и было по первоначальному плану, — когда дом строился собственно для дожа, был его личным и частным дворцом. Но республика ширилась, управление ее организовалось, и Дворец дожей был выбран и местом собрания nobilей⁴ и выбора из них сановников. Нужно было дальше строить: тогда над двумя рядами колонн был помещен просто ящик, сплошной, массивный, чудовищный, в котором на страшном расстоянии друг от друга помещены по семи окон так, что каждое окно величиною в пролет арки нижней грубой колоннады. Но безобразие еще не кончилось. Вверху Дворца дожей построены маленькие комнатки, разные канцелярии и «суды» («Суд десяти», «Суд трех инквизиторов»), и для освещения этих комнаток понатыканы обыкновенные окна, то колесом, то готическое — продолговатое, как было для сидящих удобнее, а для каждой комнаты — подходящее. Наконец, так как все это было слишком уж просто, то одно из семи окон, среднее, разработано в богато убраный (архитектурно) балкон. На него можно выходить (я выходил) и любоваться на Canale Grande*. Представьте себе большой петербургский каменный дом, представьте небольшой в Петербурге дворец с семью только окнами по линии. Какой невозобразимый план! Но вот, когда поэт кончил о жаворонке, получилась лучшая песня за всю его жизнь. Когда Дворец дожей был кончен, со всех концов мира потянулись и до сих пор тянутся на него смотреть. Невозможно ни задумать когда-нибудь еще такого (уче-

*Большой канал (итал.).

ному-архитектору нужно для этого с ума сойти, т.е. все сперва забыть и затем лишиться употребления всяких способностей), ни где-нибудь приблизительно подобное найти. Да, архитектура есть вдохновение. И ей так же невозможно научиться, как писать стихи, молитвы, музыку и великие картины. Бог знает, как и откуда это приходит. Был, положим, Парфенон, и стали все подражать ему; явилась варварская эпоха и варвар-человек: он ничего не знал и начал из себя по вдохновению строить: получилась неизъяснимая оригинальность и новизна, средневековый Парфенон...

Наконец, я перехожу к главному, священному Венеции — св. Марку. Вся Венеция усеяна изображениями льва, это одно из апокалипсических животных (их четверо: орел, телец, человек, лев), которое помещается в церковных изображениях за спиною этого евангелиста⁵. Лев венецианский, поставленный на мачтах, на столбах, колоннах, на каждой безделушке вплоть до спичечной коробки, имеет два полуприподнятые крыла и чуть-чуть опустил на передних лапах, как готовый сейчас прыгнуть. Этот лев в оживлении, а не сидящий, не лежащий. Венеция трудится, а не только царствует⁶. Может быть, не все венецианцы, даже в старину, читали Евангелие от Марка и знали его различия от других евангелистов. Марк стало имя, синоним, звук, знамя, медаль. Венеция и «Марк» — неотделимы; «Марк» есть патрон Венеции, а что такое этот «патрон» и чему он покровительствует, показывают везде разбросанные фигурки львов: Венеция — львиный город, находящийся под защитой какого-то святого, который обеспечивает ему успешную ловитву адриатических ланей. Но этому «патрону» надо воздвигнуть храм, как Рим создавал своему Марку. Пираты Адриатики, так напоминающие наших запорожцев, потащили сюда все, притащили даже две колонны из Соломонова храма, когда-то перевезенные в Константинополь: и все прекрасное, ценное, редкое — казалось бы, на первый взгляд безвкусно — потащили своему «Льву» и соединили в подножие его славы. Но опять — история помогла. Из безвкусного, эклектичного, наборного, непреднамеренного получилась единственная по красоте христианская церковь!

Какой тут католицизм! Я осматривал четырех из зеленой бронзы коней на его фронтоне. Прямо над аркой главных дверей, отступая несколько назад, подымается вторая арка, такой же ширины и высоты, затянутая стеклом. Это главное окно, посылающее в собор свет. Хвостами к нему и мордами на площадь, как бы приветствуя идущих богомольцев, стоят пара налево и пара направо галопирующих лошадей. Формы их в смысле красоты и полноты изумительны, и я чуть не был заперт на площадке, поглаживая их бока и крупы и все обхаживая кругом. Ну, кони очень идут к Аничкову мосту, но к Исакию? Дикий вопрос! Но может быть, они уместны на Успенском соборе, палладиуме русской державы?! Нестерпимая несовместимость. Только в языческих плачах израильских пророков говорится, что который-то вероотступник-царь, Ахав или Ахаз, «поместил коней, посвященных Солнцу (обожествленному), в самом храме сына Давидова»⁷. Но что казалось языческим в ветхозаветном храме, современнике и соседу Ваалов и Астарт, то новозаветные пираты схватили и поместили рядом с крестом, Божией Матерью и угодниками. Запорожцы Запада не богословствовали; не спрашивали: «идет» или «не идет»? Но храм был лучшее у них; и кони — лучшее. К тому же лошадей нет в Венеции; лошадь есть невидимое или редко виданное простонародьем животное; и это нравившееся и удивительное животное они подняли на удивительный собор.

Прямо над конями — кусочек голубого неба в звездах, среди которого Лев-Марк держит лапой поставленное на землю Евангелие. Арка уходит суживающимся фестончиком кверху, и по бокам ее, выделяясь фигурами на голубом небе, поднимаются крылатые ангелы и ангелицы (у католиков ангелы то представлены отроками, то отроковицами, без скопческой тенденции): они поднимаются к Иисусу, стоящему наверху. Все это: кони, Марк, ангелы и Иисус высятся по одной линии вверх, над главным входом. За ними, по крыше собора, раскидано до двенадцати остроконечных миниатюрных башенок, среди которых поднимаются пять умеренной (и не равной) величины круглых куполов. Общий цвет здания — белесоватый, который особенно свеж и ярок вокруг совершенно черного (ибо

изнутри собора не идет света) стекла, единственного почти окна, о котором я говорил. Стекло это — колоссальный полукруг — велико и мрачно, как ворота железнодорожного депо, откуда выходят паровозы. И оно почему-то и как-то необходимо, незаменимо. Не понимаешь, а любишься. Точно черное пятно — спуск в ад; вокруг пятна расцвела земля. Это сам собор. Он до того цветочен, цветист, стар, светел, в желтом, голубом, более всего в белом, в позолотах, почерневших в веках, — так он весь мягок и нежен, что никакое, кажется, другое здание нельзя сравнить с ним. Венеция оделась в собор как в Соломоново лучшее одеяние. Ни св. Петра в Риме, ни св. Стефана в Вене — храмы, которые по картинкам так хочется увидеть, — нельзя поставить рядом с этим. В действительности на зрителя (а не на картинке) они не дают впечатления ни ласки, ни души, ни смысла; а св. Марк — точно обливает душу материнским молоком. Это что-то вечное и старое; не личное, а народное, не сделанное, а как бы само родившееся. Ни одним храмом на Западе я так не любовался.

Все тут неразумно, нерассчитанно. Колонны, — как тащили из Константинополя, из Иерусалима, из языческих храмов Италии, — зеленые, красные, серые, желтые, пятнистые, с скульптурами и без скульптур, так и расставляли внизу почти без расстояний между ними, почти рядом: и они подпирают собор как вертикально поставленные и укрепленные бревна, скорее кучами, чем в каком-нибудь порядке. По понятному чувству я особенно рассматривал колонны из Соломонова храма, и у их подножия сохранились следы аллегорических животных, того же типа и фигур, как у подножия светильника из Соломонова храма, детально переданного в арке Тита в Риме. Затем я ходил по хорам, тянувшимся вокруг всего собора внутри (с хоров через стеклянное окно и в нем какую-то дверцу, которую потом едва нашел, я пролез и к коням), чтобы ближе и внимательнее рассмотреть живопись в потолке, по стенам и в разных выступах. Как и везде в Италии, я увидел и здесь богатство библейских сюжетов, любящую разработку идиллического быта почти еще пастушеского народа. Вот, например, история Сусанны, переданная в четырех рядом стоящих картинах:

тут и муж ее Хелкия, и ее опечаленные родители, и отрок Даниил, и обвиняющие чистую жену старцы⁸. Главу Даниила читаем в картинах. Судьи израилены, первосвященники, герои, цари — все в живом изображении, все взято в быте, а не портретно и мертво; все это не торчит перед нами немым идолом, которому поклонился, ничего не почувствовал и отошел. Несмотря на общее почти уверение, что «св. Марк — наш, византийский, почти русский», я не нахожу этого и позволяю сохранить оригинальность своего воззрения. Пусть внесут коней в Успенский собор, нарисуют купающуюся Сусанну, займут $\frac{3}{4}$ живописи Библией в быте — и я соглашусь. А то увидели, что «бородка и ручки» у нескольких святых так же трактованы, как в греческой средневековой живописи, и кричат: «это — наше». Мало ли чего в этом соборе нет, может быть, есть и колонны, оторванные от мечетей: нельзя же от этого говорить, что это «храм несколько мусульманский». Скопческий дух с самого же начала и навсегда отделил все вообще византийское, и потом пошедшее от Византии, — от всего западноевропейского. «Дух же уныния отошел от меня»⁹, — мы об этом только умеем просить, но не умеем этого исполнить.

Palazzo Ducale, св. Марк и темницы соединены переходами и образуют одно целое: молитва, управление и эшафот — все на пространстве нескольких десятков квадратных саженей. Часами я простаивал над каналцем, над которым висит «Ponte dei sospiri» (Мост вздохов), ведущий в темницы (в верхний их этаж) из зала суда во Дворце дожей. И по мостику я проходил. Он разделен на два коридорчика: по одному проводили в темницу осужденных, отсюда виден Canale Grande, и море, и свобода, и снова Венеция; по другому, с видом на грязную лужу каналца, вводили узников для вторичных допросов в залу суда. Вследствие высоты и темниц и Дворца дожей солнце едва ли когда, разве только на несколько минут, падает на узкий каналец. Непонятно для меня почему, в то время как стена Дворца дожей, примыкающая к Ponte dei sospiri, чиста, — стена темниц вся точно подернута копотью, с квадратными тупыми окнами, гладкая, без украшений, омываемая водами, производит неизгладимое, тяжелое впечатление. Сплетни ли истории об этих тюрьмах, два-

три запомнившиеся факта, навсегда ли дорогое моему сердцу имя изглаженного Марино Фальери, или этот вид стен действовал: но я на них дольше смотрел, чем на золотистого Марка с той, противоположной стороны. Место печали нас привлекает более, чем место радости. Тут было человеку так тяжело. Тем тяжелее, чем радостнее везде вокруг, кроме этой проклятой точки...

«Золотистая Венеция, золотистая Венеция», — думал я, ожидая на крошечной пристаньке возле Дворца дожей пароходика, чтобы ехать на вокзал. «Много прекрасного увидел я в Италии, но истинно дорогое оставляю только в тебе». Сердце сильно сжималось, и я давал себе слово побывать еще раз сюда, — чего теперь, с падением башни, и не хочется. В каких-нибудь две недели Венеция уже привязывает какой-то человеческой, живой связью с прошлым. Ведь она замерла только с Наполеоном¹⁰, т.е. очень недавно, имея до этого времени всю полноту исторического и грозного и прекрасного существования, с нарядами, масками карнавала и судом инквизиторов. Поразительно, до чего Наполеон без усилий справился с нею: трепет и красота веков полетели в Canale Grande как оловянные солдатики — и потонули. Легкость и почти безмолвие этого события зависят от того, что выступил — с революцией и Наполеоном — неизмеримо могущественнейший цикл всемирной истории, теперешний наш: социальный, что ли, или социально-политический, или национальный. Не нужно искать формул, когда дело всем понятно. Как новая Россия, Россия Петра, — среди множества разных забот и дел смела с лица земли мизинцем «Сечь», так Венецию смел Наполеон, и около экспедиции в Египет, покорения Италии, почти разрушения Пруссии, унижения Австрии и похода в Россию никто даже не озаботился спросить: «А куда же девалась Венеция?» «Ponte dei sospirì» из «Тропинки вздохов» стал только нарядной куколкой, которую рассматривает скучающий турист. Неужели подобное и с нами будет? Неужели разовьются и вырастут в истории силы, среди которых если бы пришлось запутаться и погибнуть державе Петра, то это выразилось бы так же бесшумно, незаметно и неинтересно, как гибель Венеции? Но что же это за силы будут? А если не будут, то неужели держава Петра

есть грань и конец истории, предел земного величия и значительности?

Пароходик-скорлупка подошел, и мы поплыли назад по Canal Grande. «Прощайте, золотистые дворцы, прощайте, золотистые дворцы». По сторонам смотрели они, эти дворцы, в самом деле в черных позолотах. До чего это красиво, — золото по мрамору, по металлу, по стеклу, в наружных украшениях дома. Вся Венеция точно осыпана золотистой пылью, как некоторые красивейшие южные птицы, колибри или африканская «райская птица»¹¹. Нельзя представить тогдашнего свежего сияния, но и в старине, в обветшалости — это неизгладимо. Как в колоссальных Sala della Scrutinio и Sala del Maggior Consiglio (дворцы дожей) вы поражаетесь, видя весь потолок и все стены записанными Тинтореттом или Павлом Веронезом, которых раньше с благоговением рассматривали где-нибудь в аршинном холсте, — так Венеция поражает вас новизною того, что вы видите, как целый город представляет убранство и утонченность, которые вы предполагали возможным только во внутренних покоях небольшого дома. Как хозяин трудится, и обдумывает, и не щадит средств, размещая картины, статуи, драпировки, краски и металлы по углам и стенам небольшой комнаты, немногих комнат, так вся Венеция в длинном сновидении веков своей истории (1000 лет одному св. Марку) убралась наружными стенами своих домов и храмов совершенно внутренне, домашне-семейно. И вот что сообщает городу уютность и нежность. И от чего вздохи проходивших по Ponte dei sospirì еще углублялись.

Кто горячо любит — жестоко наказывает¹²; а когда жестокость еще от любимейшего — наказание пылает, как пытка.

К падению башни св. Марка

В «Прибавлении» к № 29 «Церковных Ведомостей» за 1902 г. напечатано объяснение падения венецианского колосса. Автор, протоиерей Кл. Фоменко, приравнивает его к Вавилонской башне и берет эпиграфом к статье слова о вавилонянах из св. Писания: «И рекоша: приидите, созиждем себе град и столп, его же верх будет даже до небесе, и сотворим себе имя...» (*Бытие*, 11, 4). Причина крушения, по его мнению, лежит в гордости вообще католиков и в частности венецианцев.

«Как в библейские времена, — начинает автор, — так и в наши дни Вседержитель Господь сокрушал и сокрушает гордыню человеческую. Не превозносись, смертный! Древнейший памятник горделивой, хотя уже и развенчанной «царицы морей» — Венеции — главная колокольня в Венеции пала, разрушилась, рассыпалась на части... Колокольни с именем св. Марка больше не существует. Столп, его же верх даже до небес, — потрясся и рухнул»¹.

Автор, однако, не выдерживает смиренного тона. Он лично осматривал его 9-го июня 1897 года, и тогда же сердце его загорелось родной ревностью, к которой, быть может, было примешано несколько исторической зависти:

«Знаменитые колокольни на родине, на святой Руси, уступят ли место венецианской колокольне или представляют из себя более внушительный вид? Несомненно, что колокольни наших двух великих лавр: Киево-Печерской Успенской и Свято-Троицкой Сергиевой лавры — несравненно стройнее, изящнее и в архитектурном отношении недостигаемо выше венецианской колокольни св. Марка».

Упомянув, что вес венецианской башни равнялся 700 000 пудов, он замечает, что наши, вероятно, больше весят. И далее:

«Венецианская башня не была даже увенчана крестом, как обыкновенно увенчиваются церковные здания в православных странах. На вершине башни стоял ангел, работы Сансовино».

Нам кажется, что изображение ангела так же благочестиво, и нельзя же заставить западные народы точь-в-точь повторять нас, тем более что башня св. Марка строилась как военный сторожевой пост и получила значение колокольни гораздо позже. Но всего более протоиерея Кл. Фоменко раздражали при осмотре аллегорические статуи Аполлона, Меркурия и Паллады, как известно имеющие значение символов просвещения, торговли и мудрости. Забыв, что и у нас в Петербурге над Академией художеств была и будет бронзовая статуя Минервы, он пишет:

«Само собою разумеется, что не одно любопытство, но другие, моральные причины побуждают нас, в заключение нашей заметки, поставить вопрос: где причина разрушения колокольни св. Марка?! «Аще не Господь созиждет град, всеу трудишася зиждущие», — поучает племена и народы царь Давид²... Неподходящее дело ставить на христианской колокольне статуи Аполлона, Меркурия и Паллады и других языческих идолов. И стряс Господь сих идолов в прах... «И стрясет Господь пустыню Каддийскую...» (*Псал.* 28, 8). Вразумляющий Господь потряс области, соседние с Венецией. Вековой памятник, как лишенный дозора, дал трещины. *Господь с небесе возгреме*³. Молния пронизала колокольню. Сквозной прожог не заделан. Думалось, что широкий и устойчивый фундамент выдержит высоту колокольни. Но здесь-то и обнаружилась ошибка архитектора. Центр тяжести оказался слишком высоко над фундаментом башни. *Мудрии обьюродиша*⁴. И на основании совокупности сих всех причин вековой памятник исчез и более не существует».

Это было бы понятно, если бы башня не стояла без 80 лет полное тысячелетие, т.е. так долго, как на Руси не стоит ни одно здание. Венецианцы, очевидно, могут сказать, что Бог скорее хранит их и дела их рук, может быть даже потому отчасти, что они без всякой ревности и презрения относились как к древним римлянам и грекам, так и к своим современникам всех вер, например взяв многое из Византии для плана и

живописи св. Марка. Они верили слову, что «солнце восходит над добрыми и злыми»⁵, тогда как прот. Фоменко хотел бы закрыть его своими ладонями и оставить для Венеции, да и вообще для Запада только ночь, а свет весь поглотить для себя и своих. Только как бы не поперхнуться.

Во всяком случае, объяснение любопытное, и не одни архитекторы обратят на него внимание.

POST SCRIPTUM

Со времени напечатания моих «Римских впечатлений» и в письмах и устно мне многие выражали сожаление и досаду, что я «заразился» католичеством; это подозрение отчасти повторяет и г. Киреев, говоря, что я, как и Вл. Соловьев, «указываю на Запад и Рим для уврачевания наших местных недостатков»¹. Все эти подозрения более чем неосновательны. Италия, которую я хотел бы еще раз посмотреть, так сказать, «отворила двери» моего религиозного созерцания, но только отворила, а не повлекла куда-то. Стало просторнее на душе. Не выезжав никогда из России, я со словом «русский» и «русизм» сливал понятия: «христианин», «верующий», «христианство», «вера». Перевалив через Альпы, я прямо изумился увиденному. «А! так вот как еще можно верить, думать, молиться, созерцать — оставаясь христианином; а когда так можно, то еще можно и по-третьему», — подумал я. Признаюсь, звездочки *внутри церквей* на потолках (у нас никогда нет), проведение на полу церкви линии римского меридиана и *на полу* же церкви около терм Диоклетиана эклиптики со всеми фигурами Зодиака — Стрелец, Водолей и проч. более меня заняло и привлекло мое внимание, чем всякие их «Misereere», органы и мужское сопрано. Мне кажется, эпоха догматического существования вообще прошла, и выступает эпоха скорее художественных воплощений отношения к Богу, эпоха скорее певческая, нежели умственно-конструктивная (догмат). Больше всех догматов католических мне понравился, напр., обряд изготовления епископских паллиумов: монахини одного монастыря воспитывают совершенно белого ягненка; в годовалом возрасте его вносят в Латеранский собор, во время литургии, которую служит папа. Ягненок ставят на престол алтаря. Папа остригает его белую шерсть, и монашенки этого монастыря ткут из нее паллиумы

(ленты), которые папа посылает епископам при возведении их в сан. Это прелестно — почти как животные в Соломоновом храме. Затем я поклонялся преспокойно мощам апостолов Петра, Матвея, Павла, ничего ни к кому враждебного не чувствовал. Но родную русскую березку в сердце носил, т.е. не забывал, что я русский и что каждый человек имеет только одну родину. Вообще, «разделения церквей при Фотии» я не чувствовал, но и нового синтеза не производил². Просто мне до этого дела не было, и не хотел я быть «в кулачке» у иерархов, ни нынешних, ни минувших. Я свободный христианин, и мне везде просторно. Думаю, что это вполне отвечает идее «древней церкви».

Г. Кирееву, г. Папкову и Бронзову, вообще всем «чающим движения воды»³ в нашей восточной русской церкви мне хотелось бы сделать одно практическое указание. Главный тормоз истины, правды, праведного очищения от старых исторических нагаров, как я убедился и убеждаюсь все более, из слухов, из разговоров, лежит вовсе не в консерватизме иерархических слоев церкви, очень просвещенных и вовсе не враждебных критике, а в несносном ханжестве самого общества русского, именно «некоторых любителей церковных дел» в нем. Будучи не знакомы ни с историей церкви, ни с церковным правом, ни основательно со Св. Писанием, но в то же время любя «читать», напр., «Требник» или вообще церковные книги, любя разговаривать с приходским своим священником, вообще «беседовать по душе», они вырабатывают в себе тип старообрядческого «начетчика», без метода и науки, проникаются всем особенным фанатизмом «любителя домашних спектаклей» и начинают следить вообще за церковными делами, отмечая «ногтем» всякие новшества и отступления от их «начитанности». Это люди без веры, без правды, без огня; тут очень много отставных чиновников, старых помещиков, генералов с мундиром и пенсией, а всего больше барынь; тут стеной стоит купечество. Вот из этого стана невежества постоянно сыплются частные письма с предложением вам «исправиться», «исправить мысли свои», почитать, что они читали. Разговор с ними не имел бы конца, ибо им нужно сначала всему учиться. Для них не только «Апостольские постановления», апокрифичность

которых и относительная новизна так своевременно и кстати разъяснена проф. А.А. Бронзовым⁴, но и решительно всякая строчка какого-нибудь средневекового иерарха, иногда из полемического сочинения или из частного письма, представляются какою-то «XI заповедью» в ковчеге православного спасения. Как мне передавали духовные лица, эти ханжи постоянно сплетничают на священников «по начальству» или на писателей, а высшая иерархия, чувствуя всю свою ответственность за соблюдение принципа: «да житие тихое и безмолвное проживем»⁵, решительно пугается возможного отсюда скандала, шума, жалоб, инсинуаций. Эти невежественные ханжи прямо определяют политику церкви и ведут к тому затаиванию истины, памятником которой служит надпись на раскольничьей рукописи митрополита Платона, приведенная мною в статье о папской непогрешимости. Чрезвычайно приятно, что ханжи могли очень много нового для себя узнать как из сентенции Платона, так и из последней статьи А.А. Киреева и писем проф. Бронзова⁶. Но вообще нужно пожелать, чтобы повседневная печать, очень теперь распространенная, разредила эти ряды «старообрядцев», «старопечатников» господствующего исповедания, показала бы и убедила их, что собственная притча Спасителя повелевает нам растить «древо» из горчичного зерна Евангелия⁷, что сущность христианства и христианина есть чистое сердце перед Богом и правое дело — в руках, а «печатью старой и новой» Спаситель и не занимался, и ею заниматься нам не завещал. Вообще проницание критических лучей вот в это полуобразованное общество настоятельно нужно. Тогда они перестанут держать концы платий людей, гораздо более их высоких по положению и просвещенных. И желаемые перемены могут настать скорее, чем мы помирились думать.

ПО ТИХИМ ОБИТЕЛЯМ

.

I

В Саров надо ехать не через Арзамас, через который едут почти все, а через станцию Шатки, следующую за Арзамасом в направлении от Нижнего. Большой тракт, проложенный от Арзамаса и идущий мимо Сарова, страшно разбит несоразмерно большою ездою по нему, колеи чрезвычайно глубоки, и тройка лошадей почти все время тащит коляску шагом. К тому же ямщики этого большого тракта избалованы и развращены хорошим и верным заработком, — и тем, что без них едущим никак не обойтись. В Арзамас нижегородский поезд приходит около 4 часов пополудни. На вокзале спать негде: на лавках, на полу стоят, сидят и лежат (даже на полу лежат) всевозможные больные, калеки, слепые, параличные, которых везут или которые едут «к Угоднику». Собственное имя Серафима Саровского здесь уже не называют, заменив его нарицательным и обобщенным «Угодник», в котором как будто больше силы и припадания, которые жадно подхватывают пассажиров. Вся площадка около вокзала заставлена тройками, парами и одноконными кибитками. Плата за тройку взад и вперед, с заездом из Сарова в Серафимо-Дивеев монастырь, стоит 25—30 руб., одноконная полутелега-полукибитка стоит 5 руб. До Сарова 60 верст. И как за поздним приходом поезда невозможно в тот же день доехать до Сарова, то приходится ночевать в дороге. Ничего не знающие пассажиры тут-то и узнают неправильность избранного маршрута. Кроме деревень, до Сарова ничего не встречается. Ямщик привозит пассажиров в ту крестьянскую избу, которая уже стакнулась с ним и где он получает «за гостей» 2—3 стакана вина и сколько-нибудь денег, а пассажиры, которым нет выбора, получают клопов, духоту, грязь и вонь и платят по четвертаку за самовар воды и почти столько же за кринку мо-

лока или ломоть хлеба. Напротив, от Шатков, которых почти никто из едущих не выбирает, по незнанию, исходным пунктом отправления в Саров, — лежит хорошая, неразбитая дорога, пара лошадей все время бежит рысью, а главное — получается отличная ночевка. Поезд приходит в Шатки часов в пять пополудни. Дорога сыра, местами грязна, но везде сносна, нигде не опасна при хорошем ямщике, умеющем объехать и совершенно негодный мост, и крутой овраг. Плата отсюда 15 рублей. Я долго выбирал ямщика из толпившихся перед вокзалом (их гораздо меньше, чем в Арзамасе) и не ошибся: мужик оказался, по отзыву крестьян, через деревни которых мы проезжали, не берущим в рот вина. И во всех отношениях он был исправен, добросовестен, не жаден, — хотя слишком сер и в мнениях своих, как увидит читатель ниже, излишне решителен и грубоват.

Часа через три, все же измученный тряскою в безрессорной коляске, а главное, отсырев и озябши, я въехал во двор. Стоял темный вечер, без луны и звезд, облачный. Лошади шлепали в грязи. Было тесно между какими-то каменными стенами. Я перекрестился на издали видневшуюся церковь. Это была сельская, чуть не возле стены монастыря. Наконец ямщик остановился около грязного, маленького, едва заметного крыльца. И выйти пришлось в грязь. Но едва я сделал несколько шагов по каменной лестнице и сейчас же по каменному коридору второго этажа, как передо мною распахнулась дверь обширной, чистой, необыкновенно уютной комнаты, с домашнею, не «номерною» обстановкою, хотя это был именно номер. И такая предусмотрительность: в конце июля комната оказалась тепло натопленною! На дворе не было не только холода, но и дождя. Но хозяева предвидели, что путнику в ночь или поздний вечер ничего так не нужно, как теплый угол, теплая, не отсыревшая постель. Я помню отвращение, с каким ложился буквально в ледяную и мокрую постель великолепной гостиницы в Венеции в половине мая, и благословил ум русских, догадавшихся, что путешественнику нужны не канделябры, не зеркала, не шелковая обивка кресел, а чистая простыня, пуховая подушка да сухой и теплый воздух недавно протопленной комнаты. «Самовар, скорее самовар!» И через минуту я грелся в со-

вершенно русской обстановке. Это была гостиница Понетаевского женского монастыря, образовавшегося лет сорок назад из сестер, вышедших из Серафимов-Дивеевского монастыря вследствие раздоров, возникших из-за выбора новой матери-игуменьи. Оказывается, монастыри наши, несмотря на строгость царящей в них дисциплины, являют собою каждый автономную монашескую республику с чрезвычайно независимыми обычаями, с своевольною историею, вообще без муштровки, без подчинения, почти без надзора откуда-нибудь из Петербурга или Москвы, а только с легкою вассальною зависимостью от центров духовного управления. Это и понятно. Не Церковь родила монастыри, а монастыри родили Церковь, — родили ее строй и дух, одежду и замыслы. Монастыри — это те первоначальные островки среди языческого древнего океана, которые, спаявшись, и образовали собою потом материк Церкви. Раньше, чем древние Отцы и учителя явились на соборы, чтобы выразить догматы Церкви и определить ее уставы, они были уже монахами, пустынниками. Прибавим к этому, что из монастырей ни в древние, ни в новые времена ни один не был административно основан, властительно учрежден, а все они возникли свободно, лично, из какого-нибудь подвига старца, из биографии святого. Таким образом, даже как-то и в голову не может прийти кому-нибудь посягнуть на это сердце Церкви, свободно быющее. Притом вследствие страшной внутренней дисциплины и понятного духа монастыря никогда не могло зародиться главного государственного мотива к стеснению их: подозрения в «неблагонадежности» этих своеобразных черных республик. Ибо насколько они были вдохновенны, насколько были свободны, они всюду проводили дух того же «послушания» и дисциплины, который так любили в себе, которым поэтически жили; и дух этот был в высшей степени нужен и желателен решительно при всяком политическом «обстоянии» (монашеский термин). Монастыри всегда были друзьями сильной власти, полной покорности; но друзьями не из боязни, не по политиканству, не по земным и утилитарным или временным соображениям, а по настоящему, глубокому, непоколебимому убеждению. Это была земная здешняя половина рели-

гиозно-мирового устройства, часть небесной философии, ступень к Богу, средство спасения души. Никогда еще монастырь не был возмущен какою угодно формою самовластия: если только оно не было направлено к подрыву самого монастыря или монашеского духа (как это случилось при Петре Первом); никогда монастырь или монах не положили границы человеческому самоуничижению, не сказали: «Довольно, остановись!» — при виде какой угодно робости, подавленности, покорности, сведения на «нет» личности в человеке. И отсюда-то, из этого глубочайшего и поэтического совпадения строя монастыря со строем развивавшихся в Европе монархических систем, эти последние оставили монастырю свободу жизни, самоуправления, свободу биографии и уставов, какой вообще не оставили никому другому, никакому лицу, общине, учреждению. Псков и Новгород как давно уже пали! между тем в эпоху Аракчеева и Клейнмихеля в монастырях разыгрались эпизоды типично новгородские, типично псковские, — только иного колорита. И кажется, монастыри сейчас же и разом все закрылись бы, «братья» и «сестры» из них разошлись бы, посягни кто-нибудь на эту чрезвычайную и (по нашим временам) странную свободу их бытия, всех его подробностей.

Сестры знаменитого Серафимо-Дивеева монастыря разошлись в кандидатке на завтрашнюю чрезвычайную над собою власть: и когда наконец игуменья, после всех волнений и борьбы, была выбрана, — несогласные не захотели ей повиноваться, ушли за 40 верст в сторону и основали, со своей кандидаткой, новый монастырь, Серафимо-Понетаевский. Теперь в нем более 700 сестер. В первый раз я видел пустынь. Это вот что такое: вы едете полями, лесами, кругом — хлеба и сосна, кругом — деревня на много десятков верст, иногда — на сотни верст. Все серо, грубо, бесприветно. Все — глубоко необразованно, и, кроме вчерашнего и завтрашнего дня, ничего не помнит и ни о чем не заботится. И среди этой буквально пустыни, культурной и исторической, горит яркая точка истории, цивилизации, духа, — забот самых отдаленных, воспоминаний самых древних. Сияют куполами и крестами великолепные храмы; позолота, книги, живопись, пение,

самый нрав, обычаи, весь внешний облик являют чрезвычайную тонкость, самый изощренный вкус, к созданию которого уже бессильно наше время и который умели выработать только великие творческие цивилизации древности и Средних веков. Я в первый раз видел пустынь; и как вообще я ни чужд идей монастыря и всего монашеского духа, я был очарован виденным; очарован, восхищен, — и воображение мое окружилось идеями, совершенно противоположными тем, к каким я привык.

Представляю себе, до чего же должно быть сильно влияние монастыря на народ, который не подходит к нему с тем специальным предубеждением, не скрою, — почти с враждою, с каким подходил я. Влияние это должно быть колоссально, подавляюще; должно быть разбивающим всякое личное сопротивление. Недаром столько сильных и поэтических душ ушло в монастыри.

Прошло 19 июля, день рождения Серафима Саровского, «Угодника» всех трех обителей, Саровской, Дивеевской и Понетаевской. Все знают, как бывает скучно «назавтра» после праздника: все делается ленивее, все становится тусклее, серее, чем даже в обыкновенный день. Но день, когда я попал в обитель, был особенно несчастен: шел понедельник, «тяжелый день». Гостиница, где ночевал я, сейчас же у стены монастыря. Я вошел в ворота и пошел по краю громадного, искусственно вырытого, квадратного пруда, с прозрачной и чистой водой. Сейчас же за ним начались куртинки, цветники, палисадники. Все это — в виду огромного каменного корпуса с богатой, узорной орнаментовкой. Солнце едва поднялось, и прекрасно ложились его лучи и на зеркальную гладь вод, и на сырую, холодную зелень. «Где же служба?» Мне указали не на собор, стоявший прямо впереди, а на этот каменный корпус здания. Над входом я прочел надпись: «Здесь помещается живописная школа». В некотором недоумении я шел дальше и вошел в церковь, домовую, при общежитии и школе; или, может быть, школа и кельи построены при церкви, занимающей бельэтаж?.. По крайней мере последняя так огромна, как самые большие петербургские храмы, и не напоминает собою обычно маленьких домовых церквей.

Шла ранняя обедня. Шел не только «понедельник» и день «после праздника», но и час суток был такой, когда в церковь приходит очень мало народа, почти исключительно серого. И здесь были только группы больных, калек, слепых и очень мало пришедших просто «к обедне». Храм был весь заполнен собственными обитательницами. Никогда в жизни я не видел такого огромного числа «черной братии», и, может быть не разделенные, не рассеянные инородным людом, они являли вид свой в той яркой очерченности и бросающейся в глаза выпуклости, в какой, собственно, и следует рассматривать всякое явление. Повторяю, я не люблю монашества; но, когда я увидел стройные ряды этих сотен «черных дев», где не было ни одного лица грубого, жесткого, ни одного легкомысленного или пустого (а я очень в них вглядывался), но все светилось приветом, уступчивостью, помощью, — я удивился великому преобразованию, какое производит в человеке обстановка, дух, «устав». Ибо ведь все эти сотни, я знал, были крестьянки, а с крестьянином (ямщиком) добросовестным, но грубым я только что провел в разговорах несколько часов. Вот подошел приложиться к огромному образу один из богомольцев: но он зачем-то стал прикладываться не к иконе, а к крошечному, в два вершка, образку, приставленному к иконе. При первом прикосновении образок свалился, и не наружу, а между деревянной подставкою иконы и шелковой желтой материею, которая эту подставку завешивала. Богомолец засуетился, сконфузился, пытался поднять образок, но даже и не мог его найти. Ему сейчас же, без упрека и досады, помогла сестра. И она не без труда отыскала завалившийся образок, указала богомольцу приложиться куда следует, а образок моментально вновь «осветила», приложив ликом к чудотворной иконе, и поставила на прежнее место. Подают ли «поминания», не умеет ли паралитик подняться на скамейку, или слепой не видит, куда идет: везде тут — монахиня, везде — помощь, ласка, без упрека, без досады, усталости, лени; с той милой, спокойной «благоуветливостью» (монашеский термин), которая есть высший синтез природной доброты и обдуманных обычаев, к которым приучен с детства.

Я видел столь же стройные, массивные ряды в церкви и на публичных актах, гимназистов и гимназисток: ничего подобного и даже приблизительного! Я видел, и никогда не забуду, самую благовоспитанную человеческую толпу перед собою, благоустроенную, спокойную, к бесконечно многому готовую, не смятенную и, кажется, не могущую поддаться никакому смятению при всяком «обстоянии». Это большая сила и красота! Не забудем, что все они готовы повиноваться одному мановению — в их духе, в принятом ими направлении! Без этого — бунт, сопротивление. И это хорошо: потому что самое повиновение здесь не бессмысленно, не хаотично. Я стал всматриваться в храм, в богослужение.

Служил очень толстый и красный священник, с очень грубым лицом. Сколько я знавал священников в женских монастырях, все они почему-то одного вида: за сорок лет, но не доходя до 50, толсты и безобразны с лица (на мужской взгляд). Ничего «духовного», какая-то странная противоположность лику монахинь. Не мог не улыбнуться в себе: «Это — как Аписы в Египте». И действительно, отношение к этим толстым, физическим существам одухотворенных монахинь полно благоговения, почти молитвенности: кажется, каждая из них готова бы лечь ковриком «с крестиком» под тяжелыми сапогами пятипудовой фигуры. «Апис! Апис! его существо!» Меня это и прежде всегда удивляло. Я стал присматриваться кругом. Вот-вот, кажется, монахиня с кадилом в руках или с огромною зажженной свечою стоит не только в северной двери, но и чуть ли не продвинулась в нее. Я, однако, не верил: Екатерина Вторая так жестоко разбранила своего друга, Е.Р. Дашкову, когда та неосторожно позволила себе войти в алтарь. Сложилась по поводу этого острота: «Она вошла не как женщина, а как президент Академии наук»¹. Недоступность алтаря для женщин есть не подробность в наших храмах, а одна из фундаментальных особенностей их. Когда младенцам на 40-й день после рождения дают молитву, то мальчика священник вносит в алтарь, а девочек не вносит. По воззрениям Православия, уже 40-дневное дитя-девочка слишком «нечиста», «греховна», чтобы вступить в «святая святых» новозаветного храма. «Евою мы все согрешили»², и «наш Бог не был

женщиною, ни — с женщиною». Эти вот ритуальные подробности, сказывая дух Церкви, хотя не суть «догматы», но важнее их: это — та поэзия, лирика, из которой все рождается, в том числе и догматы. Вдруг я увидел монахиню, вошедшую в самый алтарь, бесспорно, — потому что я увидел ее через царские врата!!! Я внимательно следил за движениями ее там, и мне хотелось бы увидеть ее, пересекающую весь алтарь, прошедшую, напр., позади престола или особенно между престолом и царскими дверьми: но последнего я не видел, — может быть, не по невозможности, а по ненужности для целей служения проходить по этим особенно священным местам алтаря. Однако она свободно двигалась, по крайней мере в левой половине алтаря, и это было первое зрелище для меня, где я увидел женщину *религиозно* сравненной с мужчиною, чего нет нигде решительно ни в службах, ни в молитвах, ни в чем!! Если вспомнить, что 40-дневную девочку нельзя внести в алтарь, что в него не может войти и императрица, то нельзя усомниться, что в этой особенности выражено огромное, особенное, ненормальное самочувствие монашества, монахов, монахинь. «Хлыстовка! все они хлыстовки!» — промелькнуло у меня сближение: конечно, никому из них и в голову не приходит это родство с опаснейшею из наших сект, эта их близость к «богородицам» «божьих людей». Но я вспомнил, что в обширных (и лучших у нас) исследованиях о хлыстовстве гг. Реутского и Добротворского³ везде описывается, как первоначальное возникновение в какой-нибудь местности этой секты неизменно приурочивалось к какому-нибудь женскому монастырю и что в XVIII в. некоторые женские монастыри в Москве поголовно увлекались в это тайное и странное экзальтированное учение; может быть и не всегда доходя до полноты его обрядов и учения. Есть единицы и ее дробь; есть краска и ее полутона, тени. Если выбросить грубую и материальную сторону хлыстовства, их обряды и нелепую фабулу об основателе, а взять только крайнее аскетическое учение их, постоянную молитвенность этих «божьих людей», их экстаз, а также и странное ощущение себя «богородицами» и «христами», т.е. прижизненно святыми, безгрешными, исполненными особых сил духа, то окажется множество то-

чек соприкосновения между нормою монашества и аномальностью хлыстовства. Два тела; но одно при температуре в 38°, слегка лихорадящее, другое — 39°, 40°, совершенно больное.

Вот стоит одна из сестер в северных дверях, чтобы подать зажженное кадило диакону. Мало ли как можно стоять и мало ли как можно держать вещь. Но здесь взято — и это обычай, без намерений красоты выработавшийся, — самое красивое. Левая рука согнута в локте, положена на грудь и кистью поддерживает локоть правой руки, пальцы которой недвижно и высоко держат кадило... Ни одного рассеянного взгляда я не уловил; ни одного скучающего лица, с подавленной зевотой. Между тем за службою не было матери-игуменьи. «Республика» жила собою, не под надзором и не из страха, а делала все по святому одушевлению к святому делу. Стал я всматриваться в живопись: вся она в светлых тонах — голубых, розовых, зеленых, белых. Черная краска совсем почти не видна, между тем как она преобладает в городских приходских церквях. Большинство изображений — не стоящие недвижно лики, как опять же у нас, а события из Новозаветной и Ветхозаветной истории, т.е. движения, народные группы. И снова я вспомнил, в учении «божиих людей», знаменитую догму о «таинственной смерти» и «таинственном воскресении»: что сперва надо таинственно «умереть» для мира, все мирское изгнать из себя; тогда душа останется одна, в себе, и в ней обнаружится «малый росток» новой и другой жизни, который начнет с этого времени увеличиваться, и человек еще здесь, на земле, узнает тайну «воскресения». В этой монастырской живописи я не нашел ничего собственно монашеского: нашел одушевление, жизнь, полет. И вся литургия, весь храм, все молящиеся — точно имели крылья и летели. И было им легко, не уставали. Так это странно было видеть после наших обеден, когда только устают ноги и чувствуешь боль в спине; ибо прежде всего не оживлен, даже не занят в них.

II

Да и не здесь ли только христианство имеет полет? В монашестве христианство получило себе стиль, т.е. получило тот «вкус», который управляет бесчисленны-

ми подробностями религиозного выражения. Это важнее догмата, это неизмеримо его важнее! Догмат есть мысль, знание, ведение, а религия, во всяком случае — не ведение, а биение сердца, скорбящего, умиленного или переживающего еще тысячи чувств! Она вечна в человеке. Всякий человек, почти всякий, есть центр крошечной религии, особенной, таинственной, своей: и только оттого, что вообще люди не несходны, что они сцепляются в массы, эти крошечные религии сливаются в одну, большую. Нет, собственно, двух человек с абсолютно тождественною религиею, «вера» коих походила бы, как «а» и «а» в алгебре. И этого не нужно, это была бы смерть религии, как вечного спутника человека на земле, ковчега души его, который он проносит среди суеты, как евреи через пустыни несли свой национальный ковчег. Вернусь к монашеству. Были души с первоначальным в себе отвращением к многообразию, к разнообразию, с первоначальным сильным и несколько монотонным настроением души. У нас четырех писателей: Лермонтова, Гоголя, Достоевского и, несколько менее, Толстого — можно очень представить себе монахами: Пушкина — невозможно, хоть он и написал «Отцы пустыnnики». В монахи вообще не годится человек с разнообразием и неустойчивостью в душе. Итак, стиль душ, монотонно-сильных, незаметно охватил собою первоначальное зерно Евангелия и дал ему свою исключительную обработку. Ведь и «общество христианское» и «семья христианская» суть проблемы, а не факты. А монастырь — это факт, и притом давно созревший. Христианство и созрело только в монастыре. Здесь его бесспорная вершина, острие: *семья* ли, *общество* ли, *государство* и его учреждения — все это просто явления языческого порядка, к которым Евангелие никак не пристало и они никак не пристали, не подошли к Евангелию. Наденьте на «сочинения Пушкина» обложку из Добролюбова или обратно — и вы получите явление, подобное именуемым: «христианское общество», «христианское государство»; или — ближе и конкретнее — «христианский финансовый контроль», «христианский клуб». Ибо ведь «общество-христианство» бывает в клубе и служит в контроле. Что же это за смешение, за какофония?! Нет стиля. Как нет его в городах наших, где

аракчеевская желтая стена чередуется с коринфскою колонною и стрельчатым готическим окном. Безобразие. В монастыре все выдержано. Нет противоречий. Нет несовместимых разных культур на одном вершке пространства. Поэтому-то он давит на душу, очаровывает просто потому, что это цельно и едино, а следовательно, — убежденно и последовательно!

«Единое и многое», *ἐν καὶ πολλὰ* — над этим много ломала свою голову еще греческая философия. И никак, читая об этой проблеме их мудрецов, включительно до Платона, не поймешь, что, собственно, занимало тут греков и чего они не могли в этой теме разрешить себе. В монастыре это я понял. Мир — многообразен; и есть свой стиль, свое увлечение в этом многообразии. Человечество не только не могло бы, но оно и не должно хотеть жить каким бы то ни было монотонным явлением, пусть самым прекрасным. Монастырь и мир — как это совместить? Вот новая постановка вопроса об «*ἐν καὶ πολλὰ*». Нужно страшное сужение природы человека, страшный и вечный зарок ее перед потребностями развития, просто — *роста*, чтобы она могла войти в монастырь. А вне монастыря христианство хаотично; вне монастыря оно просто *потеп*, в приличных случаях упоминаемый. Вот великая проблема, непосильная для гиганта. Правда, Евангелие везде и говорит о «малом числе избранных», о том, что «званных много, а избранных немного»⁴, оно отделяет Марию от заботливой многообразной Марфы. И вообще, монастырь тверд, монастырь имеет в самом Евангелии слишком много почвы для себя. Монастырь и говорит довольно ясно, что вне его «спастись нельзя» или «трудно»; что он есть тот «узкий путь», по которому идут немногие⁵; та драгоценная жемчужина, найдя которую купец «продает все свое имущество и покупает ее одну»⁶. В Евангелии есть тонкая игла особенного устремления, сломать которую решительно не могут «гуманисты-христиане», хотевшие бы заменить Церковь неким «универсальным братством» или «роскошью культурного пиршества». Они обманутся! В конце концов они ужасно обманутся! Ибо совершенно бесспорным остается, что Христос принес на землю что-то исключительное, особенное, *новое*, отчего и зачалась новая эра. А «культурного пиршества» и «все-

мирного братства» было много и до него. Как будто не Каракалла велел сравнивать в «правах гражданства» всех обитателей империи-мира⁷?!

Христова — келья, а мир — *не* Христов. «Мужайтесь, ныне Я *победил* мир»⁸: никак гуманистам-христианам не удастся сломить это и некоторые другие столь же основные, таинственные, необходимые изречения Христа. Мир естественный, натуральный несомненно *не* Христов, ибо если бы он был уже изначала и по существу своему «Христов», то *незачем* было Христу и приходить! Фраза Тертуллиана, бесчисленное множество раз повторенная, что «душа человеческая есть *по природе* своей христианка»⁹, — одна из самых ложных, ошибочных фраз, с которою не согласится ни один монастырь. Напротив, «душа человеческая есть по природе *язычница*», которая воспитывается к христианству только через некий трудный подвиг, пройдя через «тесную дверь» бесчисленных отречений (Мария отреклась от всего, чтобы только Иисуса слушать)¹⁰. Без этого специального приуготовления и воспитания, *до* него, — «душа человеческая» и развернулась в язычество, в целый ряд языческих культов, языческих гражданственностей, искусств, философий, наук. Какова «естественная душа человека» — это она показала памятно и документально до Христа, в Ахилле и Тирсите, Платоне и Эпикуре, в Сократе и Сулле, в Нероне и кротком Тите, «утешении рода человеческого»¹¹ (прозвание). Древность, язычество — это и есть Humanität, чистая и исключительная человечность, новые песни которой запели Гёте и Шиллер:

Радость, ты искра небес, ты божественна,
Дочь Елисейских полей,
Мы, упоенные, входим торжественно
В область святыни твоей¹².

Этого стиха не уместишь в монастыре, — ни напева в этом духе, ни картины в этом духе. Вся прелесть живописи в монастыре есть только, *по-видимому*, прелесть *признанной* действительности, но на самом деле — признанной уже *после* «таинственной смерти»; под углом образа смерти, через ужас которой проведена душа. «Божьи люди» — пусть и мужики; но со всею мужицкою силою они глубоко схватили некоторые основные хрис-

тианские идеи и, пожалуй, выразили их точнее, пунктуальнее, нежели как это есть в которой-нибудь из Церквей. Всякая радость земная рассматривается в нем через грусть. Где нет *грусти* — нет христианства! Язычество — это младенчество до какого-то перелома, потрясения, испытания, после которого просто невозможно, неестественно впасть вторично в младенчество! Это гроб матери перед глазами семилетнего ребенка; собственная тяжелая болезнь. Христианство — *выздоровление*; но — не здоровье! Этой-то основной тайны христианства и не уловляют, когда воображают, что его можно слить с торжеством культуры, первоначальным, здоровым, непосредственным. Недаром древние храмы были полны тельцов, овец, голубей — здоровья еще дочеловеческого; а новые полны хромых, слепых, расслабленных.

Недаром в Евангелии вкраплено столько рассказов об «исцелениях», между прочим об исцелении именно «расслабленного», — а Христос начал свое «новое» изгнанием животных из храма¹³. Здесь вовсе была не филантропия, а открывалась *новая* сущность, *иной* дух. «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные»¹⁴ — этого наречения Себя врачом невозможно забыть в учении Христа. Да что иное значит и слово «Спаситель», как не тот же ли «врач»? *Болящие, боль* мира, и *не долгая* уже жизнь, которая после болезни кажется как «воскресение», как «преображение», — вот в волны чего Христос опустил свое слово. И решительно невозможно и ненатурально перенести это слово или привить его к первоначальному дичку природы, растущему, полному сил и который вообще ничего себе не ожидает и ни в чем для себя не нуждается! Самодовление — и нет христианства! Нужда, жажда, алкание — о, на эту раскаленную почву христианство капнет ответной влагой. Слова о здоровье и о больных, сказанные Самим основателем новой религии, и определяют «первоначальную натуру», Humanität, «естественную душу», как неодолимо вне-христианскую и до-христианскую, еще не нуждающуюся в Небесном Целителе. Это не значит, что она *вне*-Бога и без Бога, «безбожна» или даже просто худа: но что она пока находится в круге Отца Небесного и не доросла еще до Страдающего Сына. Весь мир до нашей эры мог бы повторить, как свое исповедание, весь первый член нашего Символа веры¹⁵; точнее, этот первый

член и объемлет собою древний мир, все его «упования». Это — «πολλὰ», «многое и разнообразное», над которым размышляла греческая философия. С Христом сошло на землю «ἕν», «единое» той же философии; «единое на потребу», как говорит наша религия, почти вторя эллинским мудрецам. В этом смысле «мир» и «монастырь» навсегда останутся неслиянны; но, оставаясь разнокатегоричны, и один и другой восходят к божественному; мир — к впостаси Отчей («в доме Отца обителей много»)¹⁶, монастырь — к Впостаси Сыновней («Мария избрала *единое* на потребу»)¹⁷.

Мне захотелось увидеть частные кельи Понетаевского монастыря, и я получил ответ, что это «можно». Сейчас, по окончании ранней обедни, монахини еще толпились во втором этаже домовой церкви или поднялись в рисовальное училище, вверх. В нижнем этаже, где находились кельи, я увидел длинный коридор, наподобие гимназических, весь увешанный черными монашескими мантиями. Мне отворили дверь одной из келий. Комната, где никогда от основания не было табачного дыма, не слышалось запаха водки, в которую никогда не «ожидали гостей», имеет психическую атмосферу, весьма отличную от наших жилищ. Четыре кроватки по стенам комнаты, шкаф для платья, комод для белья и книг, большой стол, несколько стульев и многочисленные карточки «сродников» (ведь почти все монахини — крестьянки) являли, в общем, необыкновенную уютность, безукоризненный порядок и чистоту. Видно, что никогда беспокойство не смущало этого вечного покоя. Мне эти келийки напомнили комнаты воспитанниц-пансионерок здешнего Медицинского института, которые я тоже осматривал. Только разница была в непрменном зеркале, которое у институток было, а у монахинь — нет, и еще в «героях» на стене. В кельях были карточки знаменитых духовных лиц, старцев, архимандритов, игумений, у медичек — Дарвина, Гельмгольца, Писарева, у некоторых — Баттистини или Мазини. Вообще, у одних все было по-деревенски, по-крестьянски, у других — по-дворянски, по-городскому. Но одни и другие сближались тем, что были равно упорядочены и чисты, благоустроены, умны. «Вот где ступень от деревни к городу — монастырь!» — подумал я. Во все время осмотра у меня мерцала мысль, как было бы

благотворно, если бы девочки из окрестных деревень проводили год (не более) пансионерками в «пустыни», конечно обучаясь какому-нибудь рукоделью или ремеслу. Здесь нет книжной науки, но пластика быта выработана до высокого совершенства, а ведь она воспитывает не меньше, чем уроки арифметики или грамматики.

III

— Ну, что же, отец бьет тебя? — спросил я девочку лет десяти во время отдыха в одной из проезжих деревень.

С изумленно поднятыми на меня глазами, она отвечала:

— Вестимо, бьет!

Она как будто смеялась на мой вопрос и что городские жители не знают такой простой вещи, что каждый отец бьет свою дочь.

— За что же он бьет тебя?

Сейчас ответа ее, с такими же изумленно поднятыми глазами, я не помню: не то — «шалю», не то — «много ем».

— А пьет он?

— Вестимо, пьет.

— А мамка бьет тебя?

— Вестимо, бьет!

И тоже как выражение — только факта! И удивление, что городские не знают этого всеобщего их деревенского факта. Меня поразил совершенно иной тон в деревне, за два шага от монастыря, чем какой был тон в монастыре. «Вот это — *правда!* Вот это уже *настоящая* правда, в этих *физиологических* нуждах деревни и в этом фактическом языке, каким говорят деревенские жители», — промелькнуло у меня.

Говорят, по деревням, все о болезнях и о нужде. Около недоконченного сруба какой-то постройки я сделал «привал» на дороге и спросил молока и хлеба, пока кормились лошади (часа полтора); ехал я не один, и около нас собралось много мальчишек и баб с грудными ребятами. И один разговор: нужда, нужда и нужда! Спросил о священнике ближнего села: «Батюшка у нас — святой человек, моего брата на своей лошади свез в больницу»; «дал хлебца (зерно) и в долг

не поставил»; «молодой: у него матушка трудно больна да сынок прошлый год помер». Я понял, что, сам страдающий, священник помогал и другим страдающим. Как и везде в христианстве, больные ходят около больных, болезнь легчит же. Где этой *связанности в боли нет* — христианство тускло или нереально, риторично. От этого наши гимназисты так глухи к «урокам Закона Божия», что они еще здоровы, молоды, у них все — в надеждах! Такое состояние — вообще не для религии, и в интересах ее самой я запретил бы ранее 40 лет «открывать тайны религии». Да и «открывать» я их стал бы опять же в каких-нибудь катакомбах, подземельях, людям специального душеустройства. А то с паркета, из гостиной, из клубов несется клич: «Религия — миф, старый пережиток!» И это так громко и самоуверенно, что толпы не могут не смущаться и не верить. Между тем как религия реальна и вечна, но только рассмотреть-то ее можно из подземелий и страдания. Ведь и звезды многие видны только в телескоп, и мир новых тканей и новых организмов был неведом до микроскопа.

Крестьянам в кои-то поры было нарезано по одной, по полторы десятины «на душу». И как со времени этого прошло почти полвека, то теперь на душу приходится где $\frac{1}{2}$, где $\frac{3}{4}$ десятины. Этот нарез неполной десятины — норма во множестве сел и деревень, которыми я проезжал. Я слышал разъяснения, что в пору освобождения крестьяне потому охотно брали безвыкупной и крошечный «сиротский надел», что, при смутности понимания всего дела и вообще по темноте своей, опасались, как бы в связи с платежом денег за выкупаемый большой надел их не вернули снова в крепостное состояние за невыплату денег. Они поспешно взяли, что можно, чтобы только развязаться совсем с помещиками, заподозрив в сложности выкупной операции хитрость. Так мне приходилось слышать от пожилых сельских священников, которые и сами, вероятно, основывались на слухах же. Я вошел в несколько крестьянских изб. Самое ужасное в них был пол: он был какой-то сломанный посередине; дерево как-то не различишь от земли. Все невообразимо сорно, загрязненно, тесно и душно. Огромные, почти над всей избой, полаты представляют основу сна, а огромная, в пол-избы, печь

представляет основу еды. Еда, и сон, и труд — это все! Вдали, в перспективе, — храм, крестный ход, праздник. Редкий наряд деревни, которая так и любит праздники: не за то, что они дают простор лени (народ — трудолюбив), а что они как бы являют единственный цветной кусочек материи, вшитой в сплошное рубище. Сколько я разговаривал по дороге, нет других интересов, вопросов, понимания, кроме как: «Откуда взять помощи?», «Кто придет и поможет?» Как я понял, здесь, в Нижегородской губернии, еще вовсе нет штунды, появившейся лет 20 назад в Малороссии. «У немцев — лучше», — дрогнула мысль в массах. Страшная вещь масса! И поползла эта мысль по черным головам, нечесаным, неумытым, с насекомыми в волосах; поползла и все ододела: и старую привязанность (честную) к Православию, и незыблемую верность Державе-Родине.

Ямщик, который вез меня, добросовестный огромный мужик, кормящий стариков, отца и мать, и четверых детей, работал года четыре назад каменную работу... в Темир-Хан-Шуре!! Вон куда заносит нужда. Значит, русский мужик не ленив, значит, он ищет! Отхожие промыслы есть великий показатель, что мужик наш не лежебока. Но он решительно сбит с ног: 1) малостью земли, 2) отсутствием верных и обильных поблизости заработков. Раньше грамоты, раньше даже веры надо спасти физиологическую суть народа. Надо положить или хоть не выбирать рубль из его кошелья — и уже затем его стричь, чесать, учить, даже «креститься» учить! Раньше всего надо «быть». Еще на ступень опуститься ей — и все треснет там; ибо пахарь на дохой клячонке, держащий вместо коровы козу (все виденные примеры!), местами ленивец (от беспомощной бедности, до отчаяния, начинается лень), везде почти пьющий (русский опиум), вдруг протянет по дорогам руку за подаванием! Нищенство — страшное явление. Тихое — оно зловещее бурь. Нищий — пансионер народа. Но когда сам *народ* «протянет ручку», *кто* же ему тогда подаст? *откуда?* *что?*!

Я разговорился с ямщиком моим как о Понетаевском монастыре, так и о Саровском, к которому мы подъезжали.

Монахинь виденного мною монастыря и он одобрял. «Они не лупят глаза на приезжих, как иные кто».

Оказывается, игуменья их сама художница, хотя и из крестьянок: «Получила крест в Петербурге за рисование». Епископ Иннокентий, недавний викарий петербургский и ныне тамбовский епископ, заказал монастырю до 50 икон Преподобного Серафима. К сожалению, самой школы рисовальной я не осмотрел, думая, что это неудобно в женском монастыре для мужчины. Между тем в Петербурге мне сказали потом, что это было вполне возможно. Ямщик сообщил мне, что монастырь имеет много земель, ведет обширное хозяйство, держит огромное стадо коров, более 75 голов. «Что же, монашки их пасут?» — спросил я наивно. «Держат пастуха». — «Куда же молоко идет?» — «А на монастырь. Их 700 сестер. По воскресеньям, вторникам и четвергам выдается на каждую по стакану молока. Запас идет на масло, творог, сметану». Я забыл сказать, что за «номер» в монастырской гостинице платят «по усердию». Я дал три рубля за большой номер, три постели в нем (с бельем) и два самовара: норму стоимости городского номера. — «Была здесь генеральша и тоже ночевала; так та дала 80 коп.; сказывала сама». Значит, «усердие» не дает больших барышей монастырю. Вдруг я услышал от ямщика замечание, сперва удивившее меня, а потом рассмешившее:

— Они как вроде цыганок будут.

Это о монахинях. Несходство, разность категорий изумила меня. Одни пляшут, другие молятся. «Откуда такая мысль и не бредит ли он? Да не ослышался ли я сам?» — И я его переспросил.

— Да, как цыганки, так и они то же самое. Юлят. Подлещиваются. И все, чтобы получить что-нибудь в руку. Ну, вы...

И он ударил по лошадам. В словах его была та же категоричность, не допускающая возражений, как и в девчонкином: «Вестимо, бьет тятка». Но я далек от мысли как предполагать, что так-таки решительно уже в каждой деревенской избе «бьет тятка», так и от того, что единственный мотив монастыря, монашества и монахинь — «обирать». Мужик иногда видит не дальше адвоката (вспоминаю судьбище над Митрофанией)¹⁸. Одного задавило и подавило подозрение во всеобщей плутоватости, другого — во всеобщей грубости. Субъект расширяет свою психику до универса; голод-

ная деревня, взглянув на великую эстетику монастыря, в первый момент изумляется, а в следующий решает: «Э, да все это для корысти!» На самом деле самая корыстность, плюшкинская корыстность, — не доводит ни до чего, кроме как до разорения, провала, окончательной нищеты. Ибо она прежде всего отталкивает, антипатична: а как же вы богатство приобретете без притока людей, без окружения людьми, и это одинаково в монастыре, в торговле, в банке! Мне кажется, что именно щедрость, но только не глупая, — является источником твердого, настоящего обогащения. Все основатели великих фирм бывали поразительные филантропы, «раздаватели милостыни»: это у нас (помню старообрядцев Курбатовых в Нижнем), у англичан, у евреев (Монтефиоре). Скупость — начало разорения; скупец — глава фирмы — наносит первый удар фирме. Так в торговле; верно, что так и в монастырях. Вполне верю, что Понетаевский монастырь ласков, «благоветлив» вовсе не потому, что ждал от меня рубля. Я его видел на литургии, когда не было никого, кроме мужиков. Да и невозможно «манер» выработать так, чтобы не прорвалась черная душа. Но монастырь богатеет, ласков поэтому, природно ласков — и на старое богатство льется новое богатство. Что это — так или, вероятно, — так, я имел случай проверить в Сарове.

IV

Коляска, после необозримых хлебных полей, въехала в высокий бор. — «Я провезу вас дорогой, по которой никто не ездит (действительно, все другие ямщики, при въезде в Саров, поехали другой дорогой). Она немного дальше, зато лучше». Действительно, только при выезде из Кавказских гор я видел это же великолепие лесной хорошей дороги; только там это было подтропическое великолепие, а здесь все в миниатюре и скромнее. Лошади легко и быстро бежали по отличной дороге. Полная тишина кругом. Ни людей, ни строений, ни проезжих. Скоро уже гостиница, самовар — и я млею в ожидании. Да и конечная цель довольно сложной и утомительной поездки оживляла душу. Вечерело. И на душе было хорошо.

— Вот они, варлаганы!..

— Как? Кто?

— Известно кто. Золотая рота.

Снова я и мои спутники были изумлены. Ямщик указал кнутом на группу «чернцов» с длинными, развевающимися по ветру волосами, как у царей на сасанидских монетах. Они то бродили, то стояли, разговаривая, между деревьями и действительно «лупили глаза» на приезжих.

— Но, вы, эвнухи! — окрикнул ямщик лошадей, трогая вожжой.

Почему-то он всю дорогу именовал их этим названием, едва ли понимая его значение и, верно, услышав его в азиатской Темир-Хан-Шуре. И мимо каменных больших корпусов с вывесками: «Гостиница № 6», «Гостиница № 5» и т.д. — подкатил нас к корпусу, ближе всего стоящему к воротам обители: «Гостиница № 1».

— Есть ли, однако, свободный номер? — забеспокоился я, как бы хватая убегающий самовар.

— У моих ездовых всегда будет номер, — сказал твердо ямщик. — Разве в крайнем случае полчаса обождете, пока освобождают номер.

Но не пришлось ничего ждать. Номер был готов. Праздники и несносная теснота в гостиницах уже минули. Темные тени вечера падали на землю. Через полчаса, много через час запрут монастырские ворота, а я их уже видел, открытые, и через них — огромный храм, с мощами Угодника, привлекающими тысячи богомольцев. Наскоро велел готовить самовар, мы все, не переодеваясь, поспешили в монастырь. Храм был уже совсем темен, только в глубине его, очевидно над ракою, горели ряды лампад. Путники мои прошли туда, а я остановился у свечного ящика и попросил, для мелочи, разменять 25-рублевую бумажку.

— Без корысти (так и сказал) я вам не разменяю.

Всегда мне разменивали. «Ну дайте две свечки по пяти копеек, только поскорее».

— По пяти нет. Возьмите в пятьдесят.

Опять я изумился. Никогда в жизни таких больших свеч не ставил. Действительно, он подал толстую и длинную, обернутую в золотую ленточку, свечу. Приблизившись к раке, я увидел, что других и не горело. Но я забыл суету и поклонился Великому Угоднику.

В пору, когда Пушкин писал «Руслана и Людмилу», декабристы зачитывались Ламартином и Байрон пел

«Чайльд Гарольда», в эпоху конгрессов, Меттерниха, в эпоху начинающегося социального брожения, — в этих лесах жил человек, явивший изумительное воскресение тех тихих и созерцательных душ, какие во 2-м, 3-м, 4-м веках нашей эры жили в пустынях Ливии, Синай, Сирии. Ни один еще святой Русской земли так не повторил, но без преднамерения, неумышленно, великих фигур, на которых, собственно, как мост на своих сваях, утвердилось христианство. И какие особенные слова у них были? какое учение? Томов они не оставили: хотя в трепетной памяти потомства и запомнились 2—3, 5—6 афоризмов, изречений их. Где же тайная их сила? Неуловимо. Но Небо им что-то сказало. Лег знак Неба на чело их. Все это почувствовали; и опять, как почувствовали, через что — неисследимо! Но все запомнили, отметили. Все с тех пор идут сюда. Это — особенное место, особенное лицо, не смешиваемое с мудрецами, с великими вздымателями волн истории, как Гус, Иероним Пражский, Лютер. Здесь — все тихо. Была ли здесь хоть малейшая неправда, как есть она везде, во всем на земле, по слабости человеческой, по греху человеческому? Мне кажется, существо «отшельничества», в первой и чистой фазе его, и заключалось в желании «уйти от греха». Ибо «грех» всегда является от замешательства обстоятельств, от столкновения их с лицом человеческим и лица человеческого с ними. Уединись — и станешь немного лучше. Уединись надолго — душа успокоится. На этом основаны религиозные идеи отдыха, праздника (бесшумного) и покоя. Наконец, уйди на всю жизнь в леса, к звездам, к утреннему солнцу, к живительной росе, проводи рукою по этой холодной росе на утренней заре или, поднявшись на пригорок, следи, как солнце садится в купы деревьев, — и так сегодня, завтра, всегда, — и душа очистится, станет прозрачна, как слеза росы на зелени, без мути в себе, без пыли на себе. Она сольется с природой, сделается от нее неразличимой. И природа как бы уже прижизненно вберет в себя такого человека, как она вбирает всякого после его смерти. И тогда придут к такому человеку животные, не боясь его, даже любя его, даже понимая как-то его, — и они постигнут новым постижением.

Встав от мощей, я оглянулся на храм. Высоко влево над дверями было огромное изображение Св. Серафима с подходящим к нему медведем. «Хорошо, — подумал я, — что в храмовые изображения внесен и медведь и сосны».

Но я ошибся. Спрашивая потом «икону Преподобного Серафима с медведем», я услышал спокойный ответ: «Это картина, а не образ; а вот образок».

В епитрахили, чуть-чуть согбенный, с прекрасной бледной рукой на груди, являл старец действительно дивное, единственное лицо свое.

Но это — замечательно. Уже сейчас «икона» и картина разошлись. Я задумался о судьбах нашей религиозной живописи, котором столько светил науки (в наше время — акад. Кондаков) отдали свои силы. «Почему же Серафим Саровский, молится ли он на камне, кормит ли он медведя или идет в лесу с посохом и топором за поясом, — все дивные явления настоящей, *прожитой* им жизни, жизни *поклоняемой* — не могут быть занесены на *поклоняемую икону*?» Отчего его *жизни* мы поклоняемся, именно *она* признана *святою*; а если, однако, эту жизнь, «православленную», поклоняемую, запечатлеть *как есть* в красках, на кипарисной доске, — то это будет только «картина» и перед нею нельзя ни зажечь лампы, ни поставить свечи?

Тема — для Кондаковых, тема — для ученых. Мне кажется, от нее начиная, они могли бы повести самую интересную часть своих исторических и философских изысканий. Очевидно, тут сокрыт принцип, еще не сформулированный, «иконы» и «живописи». Обыкновенно, ссылаются, давая *типы* икон, на «подлинник» греческий или русский, что — «так было», «так — *подлинно*» (реально). Теперь, когда еще ничего официально не установлено относительно изображений Св. Серафима Саровского, нашей духовной власти, очевидно, предлежит высказать общий принцип «иконописи», — и на основании его определить, установить «дозволенный к поклонению образ» препод. Серафима. Почему он должен быть *один*? Почему *конкретный* Св. Серафим Саровский на него не может войти? Почему не войдет *подвиг*, а только *схема* и еще *сан* (епитрахиль)?

V

При посещении Сарова, ради сохранения времени, нужно отделять то, что всегда было и по существу остается разделенным: самые останки Преподобного, и тот монастырь, близ которого, в лесу, он жил и который совершенно обыкновенен. Может быть, их соотношение жизненное всего выражается в повторении, какое наблюдается и сейчас между огромным, людным, полным движения и озабоченности монастырем и между почти 90-летним старцем, отцом Анатолием, живущим верстах в семи от монастыря, в лесу. Осматривая одну из часовен в Сарове, с остатками жилища и имущества Св. Серафима, я обратился к полному монаху, показывавшему мне их, с вопросом об этом «прозорливом и мудром» от. Анатолии, о котором только что услышал, — и раздумывал, не поехать ли к нему. Лицо монаха и голос его выразили равнодушие.

— Конечно, многие ездят. Да разве здесь вам мало святыни? Ничего особенного; рассказывают, преувеличивают. Взад и вперед вы заплатите за лошадь 5 рублей, так лучше деньги эти пожертвуйте на монастырь.

Действительно, я несколько раз проходил около «Лавки для записи поминаний» (вывеска). Их здесь так много, что прием поминаний (на год и проч.) не совершается за особым столиком в церкви, но потребовал отдельной для себя постройки, помещения.

Теперь «славится» от. Анатолий. Лет 70—80 назад был приблизительно в таком же отношении к монастырю Препод. Серафим. Его путь спасения был глубоко особенный, личный, свой. Старчество, теперь уже могуче поднявшееся на Руси — ибо в редком хорошем монастыре нет своего «старца», — представляет именно воскресение личности в монашестве и вместе углубление ее, субъективизм, снятие с себя официальности в отягощающих чертах. Таковы и были самые древние «отшельники», века II и III, без «пострига», без службы, свободные во вдохновении и подвиге. Но в веке IV, V и позднее явилось желание еще поднять, оформить и еще «усовершенствовать» это сильное явление. Привзошел «устав» в отшельничество — и создался «монастырь» как униформное, безличное сожитие многих, жизнь которых текла отныне в строжай-

шем подчинении мелочно-подробным правилам. Старчество, на наших глазах, явилось реакцией к древнейшему, свободному и личному подвигу. Как монастырь не может не соединиться с понятием «братии», так старчество и старцев нельзя представить многих вместе. Таким образом, хотя старчество ютится около монастырей и сами старцы состоят в чине монахов и иеромонахов, однако они являют в себе незаметный и тихий, но вместе могущественный и очевидно победный вид антагонизма с монастырем, как уставом и формою, — преобразование и форм и духа его.

Собор Саровской пустыни и небольшая площадь, на которой стоит он, полны движения и звуков речи и ходьбы. Вот несут в плетеной из ивовых прутьев корзине расслабленную, хчую, интеллигентную, не старую еще женщину, с недвижным застывшим лицом и установленными в одну точку глазами. Ее пронесли в собор. Вот передвигаемая с места на место ручная кибиточка: она разделена на два отделения. Подходишь с одной стороны и видишь уродца от рождения, у которого вместо ног какие-то лепешки, а тельце маленькое. Подаешь пятак и почти уже только из любопытства заходишь и с другой стороны: но, к ужасу, и там сидит точь-в-точь такой же уродец, а возящий тележку объясняет, что это «братцы». Навсегда врезался в моем воображении душевнобольной, «бесноватый». О них читаем в Евангелии¹⁹, но в натуре я их никогда не видал, хотя и знаю, что бывают по городам. До чего верно схватил это особенное, ни на что не похожее выражение лица Рафаэль в своем «Преображении» (внизу картины, в земной ее половине, нарисовано «исцеление бесноватого», мальчика). За спиной больного стоял сторож, дюжий человек. Рядом — жена в черной косыночке и черном мещанском платье. Сам «бесноватый» — полный, плотный человек лет 35, приблизительно из торговцев. Его поставили перед ракою угодника, чтобы слушать чтение акафиста. Сторож нанят водить его, смотреть за ним, при случае — чтобы справиться с ним: ибо никто не знает времени, когда начнется припадок. У самого больного через каждые две минуты, в течение которых его и за больного нельзя признать, начинают так страшно вывора-

чиваться глаза, что видишь одни почти белки, и он оскаливает зубы. Взгляд — бродящий, тяжелый, точно ищущий кого-то, ищущий имени, лица ему нужного и ему уже предвременно знакомого. И когда он ведет глазом по здоровому, тот его не чувствует, а когда останавливается на человеке с задатками аналогичной болезни, на нервном, полубольном, душевно угнетенном, — ужас овладевает последним: «Он меня нашел!» Вообще как есть двойные звезды, друг около друга вращающиеся, так есть, мне кажется, и «двойные» душевные болезни, где два субъекта связаны таинственной нитью. Больной в Сарове, странствуя глазами, все искал одной женщины, которая, видимо, его пугалась, старалась на него не смотреть и ему остаться невидимой. Но маленькое движение народа, прикладывание к кресту — и вдруг они рядом! Или через море голов, пока кто-нибудь на линии пересечения глаз кладет поклон, вдруг глаза «бесноватого» и боящейся его женщины, однако украдкой и со страхом смотрящей на него, встречаются. — Поминутно читаются акафисты приезжими священниками; их очень много здесь, очевидно приезжающих с особенным, чем другие богомольцы, чувством: «Вот я, недостойный иерей, своими устами и над самыми мощами чудотворца прочту ему молитву». Прекрасная подлинная черта крепкой веры нашего священства. После каждого чтения акафиста с поминаниями (которые берутся не весьма внимательно) следует всеобщее прикладывание ко кресту, и затем прикладываются к мощам. Множество серого народа. И вот мужики, бабы, вынимая из-за пазухи посконных рубах копейки, кладут, прикладываясь, на блюдо, поставленное на раку. Есть студенты, гимназисты, барышни, всякий люд. Глаз мой не ошибся, различив и 1—2-х курсисток. Молитва горяча; вряд ли где горячее. Не непременно только мужики умеют молиться. Вот полная, хорошо одетая женщина, с девочкой 7—8 лет и мальчиком 4—5. Почти нарядное платье в живом контрасте с лицом, полным слез и пылающим. Именно не глаза плакали, а все лицо; и точно из всех пор его готовы были выступить слезы. Другая женщина, простая, все клала длинные поклоны: и долго-долго лежала каждый раз голова ее на ступеньке, ведущей к раке. Когда она отошла (чтобы прикла-

дываться), дерево ступеньки было так закапано слезами, точно тут немного полили из лейки. Так удивительно это было видеть. Я незаметно стал на ее месте и, положив земной поклон, поцеловал эти слезы. Если бы даже кто не любил Бога, как не полюбить эту любовь к Богу? Чудное дело — религия; как-то умеет же человек самое насущное свое — боли, страдания, горести, поименные, ежедневные, — связать с самым далеким, неосязаемым, вездесущим. И молиться вот о «болящей Тане» Тому, Кто держит миры под десницею и покровительствует Вечности: как будто такая даль может видеть такую малость! Но — видит она! А главное — человек верит, что видит, и жив этою верою. И свят же человек молящийся... Если бы даже «там», в небесах, и было пусто, как непременно хотят скептики, то все равно слезы человечества уже сами по себе суть религия и вызывают к себе религиозное умиление... Не на всякий час и не у каждого бывает молитва. Я так был занят виденным вокруг, что сам и не помолился, разве только холодно и механично. К тому же я не богомольщик-зритель, а богомольщик-музыкант; вдруг ударит тон молитвы, повышение, понижение голоса — и меня трогает до глубины. Зрелище же будит во мне размышление, а не молитву. В акафисте Св. Серафиму, слишком длинном, чтобы класть сильное впечатление, мне, однако, врезались слова о нем, с большим сердцем вставленные: «Наследниче добродетелей своей матери»²⁰. Как известно, Св. Серафим никогда не снимал большого нагрудного креста, каким мать благословила его путь в монастырь. И как умно, благочестиво, предусмотрительно было вплести в церковное торжественное прославление Святого память о его матери, курской горожанке, которую так нежно он любил, и она была (судя по биографии) достойна своего сына! Как это ему отрадно «там».

VI

Солнце высоко поднялось, и надо было спешить к источнику Преподобного. Всю дорогу я поеживался: как окунуться, когда и так в воздухе холодно, в ледяную воду бьющего из-под земли ключа, влезть в колодезь или бассейн?! Малодушие мной овладевало, а

уклониться было позорно, да я и не хотел, ибо «искупаться в источнике Св. Серафима» — это-то и было заключительною точкой путешествия. Всегда я любил «святые источники» и, еще гимназистом, из Нижнего ходил на «целебный ключ» за 12 верст. Этого богатства — я говорю о «святых ключах» — у лютеран нет. Прекрасно в Православии (и в католичестве), что у них религия гораздо глубже врубилась в природу, стоит около нее не как враждующий или равнодушный сосед, а как друг и даже как родной. Тропинка от монастыря до ключа — та самая, по которой всю свою жизнь ходил из кельи в монастырь Св. Серафим, — искажена, и уже, увы, непоправимо!! Именно прошлый год, в предположении, что Государь будто будет ехать, а не идти сюда пешком (две версты расстояния), просекли и разработали *инженерно* большую дорогу туда²¹: и, конечно, тропинка, которая раньше пролежала тут, бесследно исчезла — и исказился самый вид всей этой местности, на который Преподобный постоянно смотрел!! Между тем Государь именно не поехал, а пошел пешком!! На разрушение этой лесной и, верно, бесконечно милой тропинки я смотрю как на религиозное варварство, и — ненужное! Большую дорогу можно было, если уж она необходима была, прорубить стороною: ведь 3 или 2 версты ехать — все равно! Между тем, вступая сюда, уже вступал прежний посетитель в созерцание Серафима Саровского, в его «жизне», столь исключительное, в его дух, в личность, в избравший эту местность вкус! Пятисотлетние, может быть, восьмисотлетние сосны! Сосновые леса я всегда любил, за их душистость, за угрюмость и таинственный, о чем-то доисторическом говорящий, шум! Но здесь я увидел сосны, самой возможности которых не предполагал. В Нижегородской губернии и в Финляндии я не видал сосен толще человеческого обхвата: а здесь они были такие, что два человека не могли бы обхватить ствол. И такое варварство: проезжая (при самом въезде в монастырь) еще накануне мостом через какую-то речку, я увидел лежащие на мосту заготовленные брусья страшной толщины. На вопрос о них сказали, что это монастырь хочет строить запруду для мельницы. А теперь я увидал родину этих брусьев: по пути к источнику среди гигантов-сосен мелькали

здесь и там недавно срезанные пни такой толщины, что на каждом можно было подать обед нескольким человекам! И вспомнил я из Лермонтова:

И пали на землю питомцы столетий.
Одежду их сорвали малые дети²².

Очевидно, то, что для меня, для всякого приезжего, для России представляется драгоценным, ненарушимым великолепием, — здесь, на месте, являет просто материал экономической статьи в работе. «Нет великого и героического иначе... как издали» (текст французской поговорки грубее)... Но вот мы и у источника. Еще недавно, мне рассказывал в дороге ямщик, почти до самого года открытия мощей, ключ стоял «среди природы»: и в великом энтузиазме, а может быть, иногда и не без соблазна оба пола *не разделяясь* входили в него!! Можно представить себе зрелище... «Теперь это безобразие прекратили, и мужской пол купается отдельно от женского», — досказал суровый ямщик. Я сошел по небольшой лесенке вниз и вошел в строеньице. Оказалось все дело не так, как можно было судить по рассказам («купаются в источнике»). Из желоба бьет толстая струя кристально чистой воды и окачивает подходящего, но окачивает действительно всего и сразу в силу толщины своей. Одевался мальчик, весело подпрыгивая, и, ободренный примером, я быстро разделся и благоговейно дал облить себя ледяной струе. Столь же быстро накинув сорочку, я почувствовал самую сладостную теплоту в теле, здоровую, свежую. Моментально изменяется настроение духа: энергия, веселость и ко всему готовность удвоились! Усталости как не бывало. Раздевался в это время старик, из каменноугольных донецких копей, без одного глаза: в первый раз я видел рабочего из шахт, и как о последних знал только по географии и приурочивал их к одной Англии, то с живым интересом разговаривался с ним о чудесах шахт, которые будто бы тянутся на целые версты под землей. Глаз он потерял на работе при выломке угля. Согбенное, старое, худое и морщинистое его тело было уже раздето, и, подойдя под струю, он начал кричать и корчиться, как в бане на полке под паром. «Горячая водица! Горячая водица!» — визжал он, быстро вертась, и так подробно во-

зился со своими «немощами», как мне это казалось невозможно в святом источнике. «Вот он все грехи смыл, а я только поверхностно», — думал я с раскаянием и не без завидования.

Я вышел, и мы двинулись дальше. Все та же идет дорога, только поуже и хуже разработанная, чем до источника. Тут уже все остальные достопримечательности в нескольких десятках шагов или в нескольких сотнях шагов. Сейчас возле источника — огромный бассейн святой воды, наподобие как в Кисловодске, но обстроенный внутри часовни с образами и свечами. Здесь в бутылках раздается вода, а бутылки (чтобы не разбиться по дороге) вставляются в особо заготовленные деревянные футляры. Это умно придумано. Еще шагов 200—300 вперед — находится камень, на котором Преподобный молился 1000 ночей (так говорили кругом; по «житию» я не помню, сколько ночей). Камень этот большой (но не огромный), продолговатый, глубоко сидящий в земле (без сомнения — он не сдвинут), плоский, с выемками сверху и в самом деле удобный, чтобы на него стать на колени. Слепой (может быть, слепнувший?), которого свели с пролетки, молился около него, и долго он прикладывал лоб, глаза и губы к граниту, на котором стояли колена Угодника. Конечно, все это поразительно, и нельзя было не волноваться. И так же он поднялся, старый, слабый, и так же повели его к пролетке и ставили ногу его на «подножку». «Что же он не исцелел? что же не исцелел?» — был в душе вопрос. Как новичок — едешь в Саров, и стоит в голове одна мысль: «Исцеление, исцеляются!» И как, едучи на Кавказ, думаешь: «Горы», — а между тем, приезжая, видишь и равнины, даже равнин (в общем) больше, чем гор, так и в Саров приехав, точно ожидаешь и требуешь, а затем изумляешься, как же это, «встал от камня и все же не прозрел». Но, в общем, я и до сих пор изумляюсь не тому, что *есть* исцеления (в них я вполне верю, и о них много рассказывал дорогою реалист-ямщик), а что исцелений не гораздо больше, что они не сплошные!! Вот этому я изумляюсь. Ибо если исцеляющая сила *есть* и раз она *есть*, — ну как же этому слепому, худощавому, дрожащему от страдания (он дрожал) не помочь!! «Сними рубашку последнюю! — и отдай неимущему!» Так ведь

это, что я думаю, *не только в отношениях между людьми*, но и еще более и уж конечно в отношении между Землею и Небом! «И взял пять хлебов и насытил пять тысяч народа!»²³ Так и должно быть, непременно, *всегда*, если алкает не один и не десять, а ровно пять тысяч!! Александр Македонский, когда войска томились от жажды в пустыне и ему воин принес немного мутной воды, где-то найденной, хотел пить, но через секунду выплеснул ее на песок²⁴! Ибо, когда алкают «пять тысяч», как быть сыту одному! И когда жаждут 10 000, можно ли одному пить!! Должно быть, я чего-то не понимаю: но я стоял около камня и изумлялся самым сильным изумлением, отчего же не встают все сплошь уже зрящими, не хромыми, не параличными!

Тут сейчас и земляночка Св. Серафима: маленькая, как у огородников шалаш, только не из прутьев, а с земляными стенами и полом. Она на спуске к ручейку, внизу бегущему. Я поднялся выше: вот его грядки с капустой. Вероятно, что грядки уже не те, но, несомненно, на том самом месте, даже, пожалуй, те самые, из тех земляных частиц, которые Преподобный обдывал в свои грядки. Ведь грядка стояла, ну, 70 лет назад. Если она замечена, если ее берегут, то как ей перемениться?! Закроет зима снегом, а весной вновь обозначится без ошибки, и вновь ее выкопают, и так 70 лет. На земле «метины» устойчивы: и когда нет преднамерения их уничтожить, они почти вечно стоят. Но я взобрался на пригорок бора. Вот он тут жил, это самое место, и уже без всяких перемен кругом! С удовольствием, как в источнике, я сел, потом лег на мшистую и хвойную землю. «То самое! подлинное!» И так хорошо было кругом, что хотелось бы поселиться здесь и прожить месяцы! Осмотр был недолог, а осмотренных мест много: и для меня теперь смутно, что объяснял показывающий послушник о находящейся здесь же келье Преподобного. Дело в том, что его келья, кажется перенесенная, есть и в Дивеевском монастыре. Там подлинная, его топором срубленная (как именно рубит не настоящий плотник, а самоучка), и она вся включена в футляр-домик, как здесь, в Петербурге, домик Петра Великого. Но и в Сарове есть тоже его лесная келья, неподалеку от землянки, выше: и, помню, мы даже спускались вниз и нам показывали

место за печью — едва продвинуться туда можно, — где он скрывался от толпившихся посетителей для уединенного чтения «правил» (ежедневная уставная молитва). Но, кажется, эта келья в Сарове есть обновленная, в точности повторенная, а не из тех самых бревен, в которых Св. Серафим молился. Сейчас я не помню точно объяснений показывавшего: знаю только, что в Дивееве подлинная.

И капуста на грядках хороша. И камень чуден, очень чуден! И все кругом чудно и хорошо! Один есть добрейший обычай в Сарове: не бить медведей во всем этом, довольно обширном, лесу, где медведи водятся и до сих пор. «И медведь, встречая человека, никогда его не тронет, не бывало примера!» Так мне рассказывали. Приезжают сюда охотники, но на Саровской земле им не позволяют охотиться, и они вправе убить только такого медведя, который вышел отсюда и перешел в соседний казенный лес! Это чрезвычайно хорошо, это надо сохранить! Чтобы уже закончить о Сарове, замечу, что есть мужик, Иван Майоров, 117 лет, и еще не слепой и на ногах, который лично помнит Серафима Саровского и хаживал к нему, а в 12-м году был взят в ополчение. Он живет верстах в 12 от Сарова, в деревне Рузаново.

Когда мы возвращались, мысль о плохом купанье томила меня. И едва я подал слово, как все мои спутники ухватились за мысль: искупаться еще раз, ибо ведь никогда больше здесь не будешь, так далеко от Петербурга, — и уже недолго, вероятно, жить. На этот раз, в желании поправить дело, я, однако, перешел через край. Именно, я о чем-то задумался, стоял долго и терпеливо под льющейся водой, — когда вдруг со страхом заметил, что у меня стынет мозг: буквально это ощущение распространяющейся одеревенелости под черепом. «Что же это я делаю!» И отодвинулся от струи. Но, верно, благодать не испытывается вторично. Прежнего оживления не было.

Чтобы досказать все о Сарове: чудный там квас! Выходя из гостиницы и уже садясь обратно на лошадей, увидели мы на крыльце начатую бутылку и, считая квас достоянием «общечеловеческим», попробовали на дорогу, — да так и выпили всю бутылку. Замечательный вкус. И бутылки там чудные — вдвое боль-

ше петербургских (5 коп.), и до того нежно тесто, какого в Петербурге не найдешь, да я думаю — и нигде. И малосольные огурцы, накануне попробованные, оказались превкусными. Все это за ларями, на открытом воздухе, продают бабы и мужики. Услыхав наши похвалы квасу, ямщик обернулся:

— Саровские квасы знаменитые. Тот, что вы кушали, не теперь заготовлен, а его замешивают в марте месяце и ставят в погреба. — И он стал объяснять что-то в технике заготовления, но я не помню и не очень понял.

VII

От Сарова до Дивеева монастыря только 12 верст, и две эти пустыни, мужская и женская, находятся в таком же отношении, как Оптиная пустынь и Шамордино в Калужской губернии. Замечательно вообще, что великие старцы, как Серафим и Амвросий, являются или основателями, или могущественными покровителями и двигателями вперед *женских монашеских обителей*. Шамордино, громадный и богатый женский монастырь, был основан о. Амвросием, и он за немногое дней до смерти переехал туда и там умер; и матери Марии, 90-летней старице, игуменье Дивеева монастыря († в июле этого лета), о. Серафим предсказал еще в 30-х годах XIX века: «Никогда еще женский монастырь не делался лаврою, но здесь будет лавра, и место это посетит Государь со своею семьею». В прошедшем году последнее осуществилось: Царская семья остановилась именно в Дивеевом монастыре. Не менее достойно быть отмеченным, что, хотя женские обители блистают большею упорядоченностью и вообще имеют более в себе пластической красоты «монашеского жития», тем не менее в них не выдвигается вовсе таких великих характеров «молитвенников», как мы это наблюдаем в мужском монашестве. Пахомий, Макарий, Антоний, Феодосий, Зосима и Савватий, Нил Сорский — этому ряду светил церковных некого противопоставить женскому монашеству. Там были мученицы, т.е. экстаз, минута — и все кончено. Но не было этой оригинальности «жития» и силы подвига. Таким образом, здесь, как и всюду в истории, на всех решительно ее поприщах, мужчина является новатором,

творцом; он прорубает лес неизвестного и будущего могучим топором. Но когда эта грубая просека сделана, — идут трудолюбивые следовательницы, которые расчищают землю, вспахивают, засевают. Культуру в ее подробностях, в мелочном и изящном, в ее удобном и поэтическом, — делают женщины. Они разрабатывают *жизнь в быт*, биологический клубок разворачивают в нить и плетут из него кружево. Но «образователь земли», образователь планет, новых миров — всегда *Он*, а не *она*, всегда «Бог», который в филологии всех народов, всех языков и мифов, остается мужского рода.

Усталый, я уже не пошел ко всенощной службе в Дивеевом монастыре, как и на другой день пошел только к поздней обедне, и не видел красоты собственно общины монашеской здесь. Но заметно было, что все здесь первоначальнее и как-то шире, нежели в отделившемся Понетаевском монастыре, который поразил меня красотой своей. Здесь же хранятся главные реликвии бытового образа и всех подробностей жития Преподобного Серафима, и по способу отношения к ним видно, что нигде память его не чтится с таким нежным и глубоким вниманием, с такой чисто женской заботливостью и разработкой подробностей, как здесь. В отдельных витринах, под стеклом, собрано все, что он имел на себе или около себя.

Вот лапти, им сработанные и в которых он ходил, — огромного размера и неуклюжего вида, хотя он, по-видимому, не был сам очень большого роста; но, верно, жестокие морозы заставляли много наворачивать на ноги онуч. Вот его посох, крест нагрудный, с которым он изображается на иконах и которого никогда с себя не снимал (благословение матери), мантия и клобук монашеские и камень или часть камня, на котором он молился. Если — этот подлинный, то какой же стоит в Сарове? Недостаток печатного руководства при обозрении трех монастырей, мною виденных, вообще спутывает понимание осматриваемых вещей. Здесь, уже подъезжая к монастырю, видишь множество убогих, калек, больных. В нескольких шагах от ворот я был почти испуган видом шести слепых, которые сидели рядом. В самый вечер, как я приехал в Дивеево, случилась почти беда: в соборе есть не картина, а поч-

ти скульптурное изображение Успения Пресвятыя Богородицы, вырезанное из дерева и украшенное венком и цветами. Оно стоит посреди храма, ближе к алтарю и немного вправо. Шла всенощная; и вот, приведенный сюда душевнобольной диакон неожиданно бросился к этому изображению и начал срывать с него венок и цветы. Его едва успели и имели силу оттащить. На другой день об этом шептались за обедней и указывали на больного, стоявшего тут же.

Свидетельством бережливого отношения ко всем «памятникам» Препод. Серафима служит довольно длинная тропинка, которая ведет к его келье по невысокому валу. На дощечке надпись, предупреждающая посетителей, чтобы они не спускались вниз и не топтали дорожку сейчас же внизу этого валика, ибо по ней, обыкновенно, проходил Преп. Серафим. Выражено это деликатно, — не как запрещение, а как надежда, что религиозное чувство самих молящихся удержит их от топтания священной тропинки. Самая келья, я уже сказал, одета в деревянный футляр, и, таким образом, ни дождь, ни снег не сократят ее жизни. Здесь непрерывно служатся панихиды по усопшем, как бы он еще вчера почил. Я пришел к концу панихиды, и служащий священник, взяв с аналоя просфору, подал мне («кому-нибудь», в толпе страшно теснящегося здесь народа). Подробности келии в моем представлении сливаются с подробностями виденной в Сарове. Но там — это копия, воспроизведение, а здесь — подлинная.

В Дивееве великолепна церковная живопись. Первый раз я имел случай убедиться, как тонко замечание знаменитого странствователя по Востоку епископа Порфирия Успенского, который писал под впечатлениями Афона: «Достоинно внимания, что афонские отшельники, не пускающие женщин на Св. Гору свою, любили изображать в своих церквах семейные добродетели и занятия. Представляю вам примеры: Иоаким и Анна угощают левитов и священников, пестуют Марию и любят ее. Пресвятая Дева слушает благовестие Архангела с веретеном в руках, прядущая червленицу для храма. Спаситель и Матерь Его присутствуют на браке в Кане Галилейской. Апостолы Петр и Павел обнимаются и лобызаются после примирения.

Весьма семейна икона Богоматери, питающей Младенца своего сосцом *обнаженным* (курс. еп. Порфирия). Умилителен образ ее, называемый Сладкое Целование. Мать и Сын лобызают друг друга. Эти картины и иконы внушили мне мысль о возможности дать новое направление церковной живописи, так чтобы она была семейная и общественная, а не монашеская только. Домашние добродетели и общественные доблести послужат превосходными и назидательными предметами для храмовой живописи»²⁵. Так писал один из самых великих наших монахов за XIX век. В сущности, о характере церковной живописи, позволенном или должном в ней, мы судим по живописи городских приходских церквей, где она, как отметил еп. Порфирий, «только монашеская». Ее одну и видят миллионы и десятки миллионов людей, весь народ. Между тем о «возможном и должном» гораздо больше могут сказать классические места сосредоточения Православия: и они говорят о живописи семейной, семейно-трудовой и общественной. Здесь, в Дивееве, я увидал широчайшее раздвижение темы: «Рождество Христово», с отдельными большими на сценах изображениями и пастухов около вертепа, слушающих пение ангелов, и поклонения «царей-волхвов» Спасителю, и самого рождения Его, и встречи Его богоприимцем Симеоном, как равно — рождения Иоанна Предтечи и Богородицы.

В последнем изображении, особенно семейном, женщины наливают в большой сосуд воду, чтобы совершить первое купанье новорожденной; тут же присутствуют родители ее, Иоаким и Анна. По сюжетам — удивительная параллель, впервые мною увиденная, храмам Флоренции и Рима; и это — в пустыне, буквально в пустыне! на половине дороги между Нижним и Тамбовом! Сперва я готов был принять это за подражание итальянскому; но по одушевлению, которое здесь чувствовалось в выборе сюжетов, по отсутствию эклектизма, «набора», «мешанины» сюжетов и мотивов я не мог не признать, что все имело под собою почву одушевление самого монастыря. Как это было не похоже на мертвую, пассивную живопись в Храме Спасителя в Москве! Снова я принужден был почувствовать, до чего в монашестве, и притом в нем единственно, хрис-

тианство получило себе крылья, поэзию, полет, свободу и философию. И как оно просто «не принялось», осталось «втуне» везде, едва вы переступили за монастырскую стену. Известно, что с принесением Евангелия прекратились пророки. «Где пророки? где пророчество?» Таинственно, и можно указать вопрошающим, что пророчество, только глубоко изменив колорит, переменив белый цвет на черный (монашество — «черное» духовенство), не угасло бесследно, а вот выявилось с другой и неожиданной стороны — в монашестве. «Кто пророк Нового Завета?» — на вопрос этот и можно ответить: «Вот — Серафим! вот — Амвросий! вот — старица — Мария! — Но они не гремят! не обличают! не угрожают!» Но это уже совсем другой вопрос: они *воодушевлены*, как и древние пророки (по-еврейски «пророк», «наби», значит «вдохновенный», «одушевленный»), но самый предмет и тема их одушевления действительно совершенно другие, до известной степени противоположные библейским. «Вот гроб мой: в него, вместо постели, ложусь я на ночь. Это и есть молчаливые письма мои, которых я не пишу, так как смерть потребляет всякие письма»²⁶.

Каким образом с идеями тления и «кончины всех вещей», каковые, несомненно, составляют зерно монашества, сочеталась эта живопись семейная, общественная, библейская, — необыкновенно трудно понять. Здесь мы стоим перед тою же трудностью, какую ученые встречают и при истолковании «хлыстовства», первый импульс которого несомненно состоял и до сих пор состоит в полном отречении от брака и всех плотских уз, а на другом конце оно имеет «радения» и пляски. Здесь, в нашей оригинальной секте, все доведено только до полюса: грубо и вместе сильно — как все у мужиков. Но это есть то же самое явление, краевая тень которого, первая зорька, отмечена уже Порфирием в Афонской живописи. «Таинственная смерть!», «таинственное *воскресение!*» — лучше и нельзя формулировать, как этими краеугольными тезисами «божиих людей».

VIII

Кроме семи «таинств»²⁷, нумерационно, вещественно и явно нам известных, есть в религии еще «таинства», которых мы не считаем по пальцам, не форму-

лируем их, а между тем присутствие их в ней несомненно. Вот, например, особенность: не увидав монастыря за *ранней обедней* или за *всенощной*, я не увидел и вообще *красоты* его. Отчего же? Живя в городе, я только однажды пошел к ранней обедне и был поражен ее сияющим, как бы горящим видом, — сравнительно с обеднями поздними, какие всегда посещал. Все знают, какое великое торжество — *заутреня* на Пасху, начинаемая с *12 часов ночи*. Даже светские люди, совсем атеисты, испытывают действие ее на душу и неоднократно ее описывали. Если взять деление духовенства на *белое* и *черное*, то нельзя не заметить, что черное как бы выражает собою эти ночные службы, с горящими свечами в ночи, — и само горит, воспламенено более; белое же духовенство выражает дневные, неодушевленные, рациональные и сонливые службы. Вот соотношение и параллелизм, которому нельзя не удивиться. День и ночь имеют совсем разную психологию в себе; я хочу сказать, что не только изменяется психика людей в это время, но что как будто и сама природа на ночь воодушевляется совсем другим воодушевлением, нежели какое владеет ею днем. Можно бы отнести это к зелени, к виду неба; но в городах небо за облаками и дымом не видно, а зелени совсем нет, и, однако, здесь также *поэт* или *философ* творят *ночью*, а не днем. Заседания парламента, где речи обдумываются, где люди хитрят, — бывают днем; а *музыка* и *танцы*, *концерт* и *бал* — непременно *ночью*. Даже если они случатся днем, люди входят в совершенно темное помещение и восстанавливают в нем привычное ночное освещение, т.е. хотя бы часть ночной своей психологии. Ночь более одушевлена, чем день: но не рациональным оживлением, а полетом скорее мистических сторон души. Тогда — молятся; тогда — изобретают стихи; тогда — слушают музыку, мечтают: все — после захода солнца или ранее восхода его. Таким образом, тут есть что-то космическое, «небесное» — в прямом, астрономическом смысле. Религия имеет связи с космогонией в прямом астрономическом значении; я чуть не сказал — астрологическом. Но, в самом деле, тут есть намек на астрологию, на странное «волшебство» ночи, на то, что она будто «колдует» над нами. Теперь возьмите деление христианства на церкви:

протестантство — оно сплошь дневное, рациональное, белое. Кажется, там вовсе нет ночных служб, как и нет вовсе черного духовенства. И оно — не мистично. Действие его на сердце и воображение слабо. Католичество, напротив, все — ночная религия: точно будто там исключены вовсе поздние обедни, а оставлены только заутрени и всенощные. Я не говорю буквально о службах, а о психологии веры. Католичество — это ночь и — яркая свеча, зажженная в ней. И на свечу эту летят народы. Прилетели дикари, вандалы, готфы. Летят до сих пор атеисты. Вообще притягательная его сила несомненно могущественнее, нежели остальных двух Церквей, — что сказалось в объеме народов и стран, подчинившихся ему. Спрашивается, где всему этому основания в *Евангелии*? Не ясно ли, что в сложение христианства и судьбу его вошли с могущественным влиянием такие факторы, о каких даже упоминания Христос не делал.

Мне хочется еще указать некоторые соотношения, вообще не приходившие или немногим приходившие на ум. Длинная скорбь, в самой вершине заключающаяся неземной радостью, — вот Христианство. Черный цвет в самой его маковке вдруг переходит в белый. Христианство определенным образом и неоспоримо учит, что вся жизнь есть грех, анти-божественное, грех и смерть: а вот после смерти — белое сияние, вечная жизнь, зрение *Бога*. Монастырь с светлой в нем живописью, жизнерадостной — только один из нескольких параллельных лучей, идущих в этом направлении. Но вот и еще: все монашество — в черных мантиях и клобуках (ночь), без единой в одежде белой или серой или цветной полосы; но тот, в коем венчается монашество и завершается вся сплошь черная иерархия Церкви, — надевает на голову чистый белый клобук, при остальных одеждах — еще черных (одеяние митрополита и, вероятно, патриархов). Каким инстинктом произошло это устройство одежд? Преднамеренной мысли тут никто не вкладывал. А «вышло» так, что мысль ясно прочиталась даже в одеждах. Идет клинок, но он имеет лезвие. Весь клинок христианства — черный; но лезвие — белое. И так повсюду, от живописи до одежд, от деления духовенства на черное и белое — до дневных и ночных служб, до разделения

всего времени христианского на черные посты, увенчиваемые торжеством Пасхи, Рождества, Успения. Это не догмат. Где такой догмат? Но это — гораздо более догмата, ибо пронизывает всю ткань христианства, от основания до вершины, и составляет самую душу его. Между тем никакой формулы этот «лейт-мотив» не имеет: никакого определенного о нем учения. На вопрос об этом всякий богослов ответит: «Не знаю, не приходило на ум; в рубрике вопросов этого не значит-ся». Иногда кажется, что *христианство живет вовсе не теми тезисами, какие вслух произносит, а подлинно живет теми тезисами, каких никогда не выговаривает*, да и сознательно, рефлексивно — не знает о них. Хотя все сердца бьются с ними в такт.

IX

«Ну вот и окончательно домой! — подумал я не без облегчения, садясь в коляску. — Ближе ко шам, ну ее, всю эту мистику, и белые и черные сияния, и музыку дня и ночи».

Прямо за стенами монастыря, как началось шлепанье грязи, овраги и пригорки, сразу входишь во всю реальность бытия. Это что-то совсем иное. Все познается через противоположности, и, можно сказать, не побывав в отрицании жизни, — не вкусил бы так остро самой жизни. Запах дегтя от колес волновал меня теперь не менее «благоуветливого» вида монахинь. И ямщик, как повернул домой, развеселился же.

— Эй, вы, зелененькие! — приветливо покрикивал он на лошадей.

Не видя сзади сидящих пассажиров, ямщик чувствует себя наедине с лошадьми и отдается крикам, брани и ласке, как бы никто его не видит и не слышит. Достаточно вам заприметить какой-нибудь странный его окрик и переспросить его о нем — и он всю дорогу не произнесет более его. В наименовании «зелененькими» сказалось столько ласки, и какой-то другой, рабочей ласки двух заработавшихся существ, ямщика и лошади, друг к другу, что я не мог не почувствовать, что выплыл из одного моря и вплыл в совсем другое. «Своя лошадь! своя *собственность!*» — вот первое и упорное и, наконец, вековечное отрицание монастыря. Где открывает свой глазок собственность,

личная, своя, особенная, поименная, а по связи с нею в прошлом дорогая и милая, — нет монастыря, да, пожалуй, там нет и христианства. Недаром древние, первые, одушевленные христиане «имели все общее», как записано в истории. Это не коммунизм, который ставит усиленный плюс на собственности: а совершенно ему противоположное, ибо здесь на собственности поставлен минус. Впрочем, не столько на собственности — ибо монастыри развиваются в богатые экономики, — сколько на собственности *поименной, индивидуальной* и, в последнем анализе, — вообще на всякой *индивидуализации человека*. «Своя жена! свои дети! свой дом!» — все это — отрицание и вековечное отрицание христианства, которое и учит о себе, что окончательное торжество его тогда настанет, когда «лицо мира прейдет»²⁸. Когда развяжутся, ослабнут основные инстинкты человека: как бы выпустит мир из себя человека, человек — выпустит мир. «Лошадь — моя или не моя: *все равно*»; «жена — моя или не моя: и это *все равно*». До чего это вековечно и неистребимо в христианстве, можно видеть из очень редко приводимых слов Христа, записанных у евангелиста Луки, глава XII, стихи 49—53, и с которыми никак не управятся моралисты, рационалисты и вообще вынимающие метафизику из христианства, оставляя его при одних «прекрасных словах»:

«Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!

Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!

Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? нет, говорю вам, но разделение.

Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех.

Отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей».

Вот Царство Христово: разодрание уз *между людьми* и с *землею*. Так это монастырь и понимает и чистосердечно, без подтасовок это и выразил. Спорящие против монастыря никак не хотят понять, что они в то же время спорят и против христианства, чистосердечнее сказать — прямо против Христа. Тогда так прямо

и надо это говорить, ибо никакая победа не может быть выиграна с фальшивыми картами. Нужно прямо говорить, что «*моя лошадь! моя жена! мои дети!*» — стоят вне орбиты христианства; что это — древнее язычество, которому еще остается верен человек и не может, да частью и не хочет, остаться ему неверным. Если «торжество христианства» сливается с «прехождением лица мира», то, пока он все-таки стоит, этот несносный мир, и мы привязаны — я к домашним щам, ямщик мой — к лошади, другой — к жене, к детям, мы все и вправе говорить: «Мир еще не *прешел*, и мы *язычники*». Монастырю, в свою очередь, на это нечего ответить: сжав губы, негодуя, презрительно он скажет: «Прейдет! испепелится!» Но, пока еще звезды не попадали с неба, мы — господа положения и... «*sumus ut sumus aut non simus*» (останемся как есть или перестанем вовсе быть), как ответил один папа XVIII в. на предложение изменить *status quo* католичества²⁹.

Трудно постигнуть, кто выживет и одолеет, — в судьбах истории и мира, — Лик ли Христов с Его испепеляющею красотою, покоряющею всякое сердце, покорившею языческий мир, или — столп земли с его тяготами, с механикой и геометрией, теоремы которой никак тоже не «испепеляются». Я был поражен великой эстетикой монастыря, а выехав из него, все-таки, все-таки сказал про леса, поля, ямщика и его хату: «Здесь лучше, с этими... *веселее*». И «веселее» — не дурным весельем, а просто в смысле «легче стало». Экстаз всякий тяжел, между прочим — и монастырский. Если эстетика приковывает внимание, то непременно должно быть и даже вожделенно что-то «после эстетики», т.е. где нет эстетики: ибо вечное напряжение невозможно, и хочется отдыха, свободы. Эстетика — это миг; а вечность — именно не эстетика, и даже что-то отрицательное в отношении ее. Здесь права Земли, права безобразного или вообще некрасивого. Эстетически можно умереть, прожить — никак нельзя эстетически, и здесь — права жизни, реализма.

Да и эстетикою ли по-настоящему красится жизнь человека? «Эй, вы, зелененькие» — этот грубый окрик ямщика, пробудивший меня к действительности чувством *его* собственности, напомнил мне другую соб-

ственность, вырвавшую другое восклицание. Плыл, неподалеку от Петербурга, пароход — и, уже подходя к пристани, загорелся. Так было близко от пристани, что он дошел до нее, почти по инерции, — но пламя уже странно разлилось на нем, и в нем не сгорела, но вся обгорела жена художника, ехавшая к мужу с детьми, которые каким-то чудом уцелели. Невозможно забыть, как рассказывалось об этом в газетах: выбежав, несчастная спряталась за поленницу дров, обычно складываемых возле пароходных пристаней. Ее нашли там. Но когда она увидела людей, она в страхе закричала: «Не извещайте мужа и не приводите сюда детей». Через несколько часов она скончалась. Всякий знает, до чего сильно болят ожоги. Это — не как антонов огонь³⁰, без боли убивающий. Что же несчастную среди этих мук озабочивало? Не о себе она думала, что вот кончается ее молодая жизнь, «умираю»: она предсмертно думала, как обеспокоятся, восскорбят, испуганы будут судьбою ее муж ее, дети ее. Между тем, не будь этого случая, никто бы и не узнал о ее особой любви, о всей нежности и глубине ее души, ее привязанности. Это — этика. Это — уже не эстетика. В последнем анализе эстетические нити именно белые, холодные. А *теплота* мира и содержится в этих грубых: «Моя зелененькая лошадь!», «Мои черноглазенькие дети», — и все поименно, индивидуально, конкретно. Тут — столп мира, «пуп земли», так же мало преходящий и «испепеливающийся», как и теоремы геометрии. Здесь встречается, т.е. получает себе изъяснение, евангельское предсказание, что «к концу мира — охладет любовь»³¹, разожмутся объятия, в которых держит человек прекрасную землю-родину и земные твари. Но это — как и «звезды посыплются с неба»³²... Пока еще любовь греет, а звезды стоят на месте — мы *sumus ut sumus aut non simus*.

* *

*

Я вспомнил о сгоревшей жене художника. Как живые, прошли ее слова через сердце. И забыл о монастыре как легком приглянувшемся облачке.

ГЕРМАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ (первая поездка)

ПО ГЕРМАНИИ

Сикстинская Мадонна

Предмет, о котором было наговорено слишком много, как бы сам теряет свою невинность, и подходишь к нему с самым смутным чувством, менее всего похожим на радость или восторг. Так я спешил к Сикстинской Мадонне. «Самое великое произведение искусства: испытаю ли?.. Но нет, конечно, я не испытаю перед ним самого сильного волнения в моей жизни, и, значит, до чего я груб, плох, мал, поверхностен!» В этом подавленном, скорее грустном, чем веселом, состоянии, я сел перед знаменитою картиною, для которой заехал в Дрезден.

Действительно, многие картины в этой же галерее произвели во мне более сильное движение души: алтарь работы Гольбейна, «Отдых на пути в Египет» Фердинанда Боля (чудо по благородству положений и лиц Богоматери и Иосифа) и «Жертвоприношение Маноя» Рембрандта (удивительно некрасивое лицо жены Маноя и удивительно сделанные пальцы рук Маноя). Одно, другое и третье дали новое моей душе; или, может быть, моя душа, простая человеческая душа, более наслаждалась этими братски-человеческими произведениями, оставшись глуха, или не впечатлительна, или тупа к произведению выше, чем человеческому (общее мнение о Madonna di San Sisto).

Прежде всего, св. Варвара здесь — красивый аксессуар. Это — идеальной красоты женская фигура, идеально поставленная и идеально задрапированная. Вообще вся Madonna di San Sisto, включая темно-зеленый занавес, из-за которого видна собственно картина, а не событие (очевидно), скомпонована удивитель-

но гармонично в фигурах, их положении, удивительна в тонах красок (напр., зеленая половина крыла левого ангела внизу). Совершенно противоположна, по реализму и портретности, *схематической* фигуре св. Варвары — фигура Сикста II. Темная, коричневая шея и загорелое старое лицо, рот чуть-чуть открытый, борода как с живого, во всей ее неубранности, непридуманности, а главное — эта стрела во взгляде, вот-вот видящем Богоматерь с Младенцем, — все это поразительно и показывает в Рафаэле великого натуралиста, когда он им хотел быть, когда ему нужно было быть им! Сикст более всего поразил меня в Мадонне; трепещу сказать — более всего в ней понравился. Затем — Она и Младенец...

Уверен, чрезвычайное множество мнений об этой картине возникло не по восхищению или не по нему исключительно, а по глубокому недоумению и любопытству зрителей спросить, сказать или понять: что именно хотел в ней выразить Рафаэль? А между тем особенная мысль у него несомненно была: *Madonna di San Sisto* глубоко разнится от всех других его «мадонн», дающих идеализированную Форнарину, Форнарину в небесной ее сущности, как она представлялась Рафаэлю или манила его¹. Этим не нужно особенно смущаться или двусмысленно улыбаться на это. Мне хорошо известно, — и я мог бы назвать имена и местности, — что даже в православных русских церквях на иконах иногда изображают, например, умершее свое дитя. Итак, Рафаэль, давая в «мадоннах» идеализированную сущность Форнарины, не погрешал особенно сильно, и тем более что это были просто картины, а не иконы, поставленные для поклонения и молитвы. Напротив, *Madonna di San Sisto* была нарисована именно для церкви и для поклонения, и потому она имеет сравнительно со всеми его другими «мадоннами» больший иконный характер. Это не могло не поражать зрителей, не породить в них очень много — предположений, догадок. Я не стану вдаваться в них и передам просто то, что рассмотрел в обоих лицах непосредственным взглядом.

Лицо Мадонны отступает, но не очень сильно, от других типов рафаэлевских Мадонн: оно, во всяком случае (по выражению), сдержаннее и серьезнее их

(иконнее?), я бы сказал — трагичнее их. Даже и начала трагедии, возможности или предчувствия будущей скорби — у Мадонн Рафаэля нет вовсе и нигде. «Оружие» никогда не «проходило через сердце»² их — как было об этом сказано живой Богоматери тотчас вслед за рождением Ею Предвечного Младенца. Я прочитал, — но так слабо, что это мог быть самообман зрителя, — что-то тоскующее в сложении губ Сикстинской Мадонны и растерянность в глазах (необыкновенно живых и с глубоким красивым разрезом). Так ли это, нет ли, пусть решат другие зрители: только когда я внимательно смотрел (а я внимательно смотрел, и много раз) — я опять и опять находил растерянность, наивность и бессилие во взоре, тоску — в губах. Мне кажется, зрители должны делиться просто тем, что они увидели, даже — что им *показалось*: и отсюда может проистечь польза или «кое-что». Затем, ни величия, ни небесной красоты, ни «божественности» в этом, конечно, прекрасном лице я не ощущал — вероятно, по обыкновенности своей.

Лицо Младенца всего поразительнее. Каждый знает, до чего Младенец Христос на прочих картинах Рафаэля и бесчисленных других его времени суть совершенно обыкновенные младенческие лица, так сказать, схематически прекрасные по замыслу и не всегда даже удачно прекрасные по исполнению. Но этого никак нельзя сказать про Христа на *Madonna di San Sisto*. Сразу же зрителя поражает, что это — самое серьезное и уже ярко трагическое лицо на целой картине. «Прежде чем мир сотворен — Я есмь»³: вот эти слова о Себе Спасителя единственный этот рафаэлевский Младенец может отнести к себе. Лицо Его не только трагичное: оно куда зрелее, старше лица старца Сикста. Тут во взятии *этого* содержанием Христова Лица сказался гений Рафаэля. Младенец-Сын старше и Матери, опытнее, проникновеннее, несравненно грознее, — и все это без нарушения гармонии и красоты картины, без оставления в зрителе впечатления неестественности... Конечно, в этом великая особенность картины, великая изобретательность Рафаэля! Как это достигнуто, какими средствами? «Когда был окончен постройкою храм св. Петра в Риме, то зрители, выдавшие тут же в Риме совершенно особый архитектурный склад

Пантеона Агриппы, заговорили о нем невольно. — «Это Пантеон, поставленный на Парфенон»³. Я несколько не думал подражать этому определению, но припомнил его по аналогии, когда губы мои неудержимо шепнули о Младенце Сикстинской Богоматери: «Это — голова Зевса, посаженная на Купидона». Рафаэль и вся эпоха его были проникнуты классическими впечатлениями: а известно, что впечатлительность бывает в нас сильнее и натуры, и таланта. Идея *грозы, старого* и миродержавного — а это несомненно есть в Младенце этой картины — просто не умела в то время отвязаться от классически уже найденного выражения головы Зевса, с его чуть-чуть приподнятыми волосами (что есть и у Рафаэля), приподнятыми внутреннею грозою и силою: и Рафаэль не то добровольно, не то невольно подчинился этой схеме, этому прототипу. Но он прибавил к этому и свое, — и вот тут более всего хотелось бы отгадать мысль Рафаэля: если всмотреться в глаза Младенца, необыкновенно яркие, блестящие, почти пугающие зрителя, и особенно если привести их в связь с чуть-чуть приподнятым ртом, как бы силящимся что-то выговорить, то скажется впечатление не только грозного, но чего-то дикого, в смысле «одержимого». Здесь я поставлю точку. Я не умею объяснить всего того, что здесь передал — но я передал совершенно добросовестно то, что увидел в великой картине простым, не претенциозным взглядом. Взглядом не художника, не человека искусства и красок (в этом я вовсе не компетентен), но все же несколько психолога, которым почему я не вправе быть? О чуде *искусства* в этой картине говорили многие: я же говорю о *выражении, о выразительности*, и, мне кажется, для этого, кроме правдивости, не требуется других способностей. Замечу еще последнее: голова и лицо Младенца почти не меньше или чуть-чуть меньше лица и головы Его Матери, — неестественность страшная, хотя в целях Рафаэля (если я верно отгадал их) нужная. И мастерство его было так велико, что опять эта несоразмеримость не производит впечатления неестественности и даже вовсе не замечается.

Капище Молоха

Накануне отъезда из Мюнхена, часу в одиннадцатом ночи, я вышел из отеля, чтобы подышать замечательным воздухом садов и улиц и где-нибудь выпить «Wasser mit Citronen»* — теперь ужасно мне надоевшего ихнего пойла, но которое я истреблял и в Берлине и в Дрездене неутомимо, по случаю жары. Брел наугад, ничего не искал; ничего мне не было нужно. Случилась небольшая русская «нужда», и я с большой и ярко освещенной улицы, по которой скользили трамваи и летали ласточки-велосипедисты, вошел в темный и до того узенький переулок, что он казался щелью между высокими стенами домов. Я двигался в темноте. Свет искусственный погас, светила только луна (и чудно светила); вокруг в грязных домиках мелькали огоньки еще не улегшихся жителей. Столица была в двух шагах; а между тем я попал как бы в глубокую захолустную провинцию. Вдруг прямо перед глазами моими начала подыматься какая-то черная громада, которой не умел охватить глаз, которая сразу задавила на душу мою каким-то небывалым впечатлением. «Это еще что за казарма Сатаны», — шептал я, отступая, чтобы что-нибудь рассмотреть, и закидывая назад голову, ибо громада неслась ввысь. Вижу, что готика, догадываюсь, что храм. Лунный свет ударял прямо в окна: но какие они были! Начинаясь невысоко от земли, каждое окно прорезало все здание, до самого верху, т.е. для моего взгляда и ночью оно терялось где-то в вышине. Промежутки между окнами не были шире самих окон, так что стена вся была как бы с прорезами, которые закреплялись и замыкались только у крыши. «Кому нужно давать балы в этой чертовой зале?» — подумал я, вспомнив наши бальные залы в два света. Стена была вся прямая, без выступов,

*«воды с лимоном» (нем.).

без фигур, без украшений. «Rien que le Dieu»*, — вспомнил я католический принцип. «Стиль»... Тут я понял, что такое стиль: все здание было из кирпича самого обыкновенного и из стекла — и больше ничего: но какое впечатление! Душа моя и стонала, и ликовала, — ибо я люблю новые ощущения. «Стиль» есть настроение, и только настроение, души человеческой, выразившееся в камне: и здесь это было настроение монопольное, монотонное, вечное, «до скончания мира», — страшное по напряжению, как бы влюбленность в некую идею, черную или светлую — все равно, и которое вдруг заворачивало камнями и подняло скалу на скалу. Теперешние здания не имеют никакого стиля, ибо никакого «стиля» не стоит в душе человеческой, которая ни во что не влюблена и, может быть, потеряла вообще способность вечной любви. Передо мною было здание «вечной любви», страшной влюбленности человека во что-то: и вот это заставляло меня очнуться и стонать. Но как все страшно, но как все черно!..

Я побрел вдоль здания. На стенах его, в кирпичах, были какие-то вырезы, изъеденные веками, стершиеся, — очевидно, «картинки», или символы, теперь уже нечитаемые или с трудом читаемые. «Все бы это надо разобрать, вдуматься в каждую надпись...» Стена завернулась, я вступил в еще большую темноту, ибо свет луны туда уже не падал, и издали увидал точно кровавую точку впереди. Я не торопился, а когда дошел, то рассмотрел и ощупал маленькую нишу в стене, за стеклом, где горела лампадка (красного стекла?) перед лежащим «истерзанным» Христом — любимым католическим изображением. «И вот бредет в ночи разбойник, сейчас зарезавший человека, идет оскорбленная мужем жена — и что они почувствуют при виде этой кровавой точки в стене тысячелетней своей, родной своей, ихней церкви? Такими-то впечатлениями и живет, и укрепился Рим». Я брел дальше и вышел опять на длинный фас (бок) страшилища. Журчит что-то. Слышу — вода, но не постигаю, откуда. Поднял руки, щупаю: бежит струя, а вот начало ее — узенькое отверстие в стене храма. Значит, там бак с водой, но стена пробита, и вот опять же в ночи или в зное полудня,

*Ничего, кроме Бога (франц.).

что-то напоминая, о чем-то шепча, бежит эта средневековая струя, «чтобы напоить жаждущего и грешного». О, поверьте, это — не обман: к чему он средневековью, когда об «истине» католицизма никто не сомневался? Тут сказался тот же «стиль» души, с одною мыслью, с *idée fixe*, с вековой проповедью: «Иди — и пей! Только у меня можно напиться! Я — и никого!»

Я решился остаться еще на день, чтобы лучше рассмотреть эту громаду, особенно внутри. С вечера, я слышал, мяукал их колокол: «Завтра воскресенье и будет месса». Однако месса была ихняя — «тихая» (полное молчание), и я вышел, посидев минут пятнадцать, и стал обходить стоявшие по стенам алтари (не меньше 40 во всем храме): то совершенно крошечные, для уединенной, почти одинокой молитвы «какой-нибудь грешной души», то огромные, «для торжества и славы». Храм весь разделялся как бы на три корабля двумя рядами восьмигранных страшных, по величине, колонн. Потолок стрельчатый: по всему потолку между «стрелами» готики звездочки золотые по голубому полю, — и так по протяжению всей церкви. Монотонно и великолепно. «*Dieu Seul*»* — излишних рисунков не нужно. Тут в нише увидал я и статую Лойолы (незаметно среди других, без выпуклости). «То-то, дружок!» Я вышел и опять смотрел стены, эти чудные стены. В довершение всего храм был и не буквально готический, ибо две его чудовищные башни оканчивались не углом (готика), а совершенно мною в готических зданиях невиданными двумя шапками-луковицами, как в некрасивейших русских церквах, — т.е. здание было «свое», конечно, — готическое, но без всякой мысли «выразить совершенство готики», было почти личное, туземное. Но какой стиль, какое вдохновение — невольно, непреднамеренно сказавшиеся!..

Я был глубоко взволнован. Ничего подобного я не видел раньше. Йоты этого впечатления не делает св. Стефан в Вене, который я так торопился осматривать. Видел я и св. Марка в Венеции, и св. Петра в Риме, наконец, — знаменитый готический собор в Нюрнберге. Ничего же подобного по силе, по страху, по серьезности! «Религия или церковь, имеющая вот один

*Один лишь Бог (франц.).

такой храм, уже выразила и увековечила и доказала свое Я». О, пусть это «я» будет черное как уголь — все равно оно огромно, а человеку свойственно клониться перед всем огромным. Католицизм, как известно, не уступил даже науке, не «снял короны» даже перед Ньютоном и Коперником, т.е. перед очевидностью и гением. Многие и подсмеиваются, что «папы до сих пор отвергают движение земли». Беззубая насмешка! Конечно, папство — «не разум». Но ведь — и Шекспир не «разум», а вдохновение; а «*Divina Commedia*» уже и совершенное безумие, полное фантасмагорий и «суеверий», но как она сделана! Плакало и человечество, и человек, уединенные глубокие души, над этим «безумием», и, может быть, сам Ньютон, человек с душой поражающей глубины, бросил бы в печь свою «теорию флюксий» (первое изобретение дифференциалов, долго им не опубликовываемое), будь ему дано на выбор: оставить ли человечество без дифференциалов, но с Дантом и Мильтоном или отнять у него «*Divina Commedia*» и «Потерянный рай» ради приобретения дифференциалов. И Пушкин — не «разум»: но разве мы его отдадим за периодический закон Менделеева? Но дело в том, что у католицизма чрезвычайно много «творений» уровня «*Divina Commedia*», и мы, неспециалисты, этого не знаем, а он их живо в себе ощущает, как вот, напр., и этот собор, перед которым я стоял зачарованный, оглушенный. Ей-ей, пусть меня распнут эстеты «словесности», но я утверждаю, что воздвигший его архитектор, или нация, или эпоха и в конце концов вера, *fides* — имели весь закон души и гений и силу Данта же, на йоту не уступая! Ну хорошо. Если Шекспира променять на открытия Ньютона нет оснований, то вот католицизм и стоит до сих пор на том, что «земля все же не движется», опираясь на соборы свои, на рафаэлевские «мадонны», на эти «тихие мессы» (как придумано! кто придумал? «для обмана»??!), на мерцающие в ночи огоньки, которые манят какую-нибудь преступную душу и ведут ее к лучшему, на точащуюся из стены воду, утоляющую «несчастную и скорбную душу», на все эти дивные дела свои, дивную придуманность, мудрость, зародившуюся еще в такие времена, когда не только Ньютона не было, но и никто в Европе до 100 не умел без пальцев сосчи-

тать. Ньютон так же неубедителен и нестрашен для католицизма, как он не был бы поразителен и побеждающ около Данта: две звезды разных категорий, и можно поклониться одной, а можно поклониться и другой. И люди, народы, тончайшие души (напр., Пастер) и делают это, продолжая «верить в пап», несмотря на «ужасные суеверия» католичества и доказанный разврат многих понтификсов. Что нам за дело до «похождений» Пушкина (которые ведь *были*) или до романов Екатерины II: мы их почитаем обоих, пишем их историю, изучаем творения, мы ими *восхищаемся*, потому что ими и *такими вот* — живем!!! Родники жизни, бытия, восхищения — ими богат католицизм, и с этим чрезвычайно трудно спорить, этого невозможно победить!!

Целый день я ходил около собора: это оказался «Duomo» — старинный кафедрал; теперь построен новый королевский «главный собор». Все же, однако, здание было чрезвычайно черно. «Казарма сатаны» — от этого не отказался я и в последний миг. «Белое христианство! *Нужно* белое христианство! Мы должны воздвигнуть *такую же и равную*, но *противоположную* поэзию, и мысль, и вдохновение, но имеющую окраскою своею *радость* религиозную, а не *отчаяние о всем земном* и опирающуюся на факт и чувство *воскресшего Христа*, а не *распинаемого, истерзанного Христа*: без этого мы пропадем, ибо нам некуда деться и убежать от чар и «колдования» католицизма, а он — страшен, за спиною у него — кровь, он все же осудил Галилея, справился бы с Ньютоном (не будь «руки коротки»), изобрел муки инквизиции и вообще всегда и везде был безжалостен и просто глух к человеку и человечеству («Dieu Seul»). Ничего наши «Василии Блаженные» не сделают с ним, ибо вот перед одною такою дьявольскою махиною они окажутся филигранною, незанимательною игрушкою. Нужно новое огромное творчество в противоположном направлении, с противоположным содержанием. Нужна новая и такая же по силе вера в Бога, но в *бель-Бога*, а не *черно-Бога*¹, которому по таинственным каким-то судьбам поклонился католицизм, и поклонился с такою страстью и вдохновением, что голова кружится. Нужна новая религия: ибо за католичеством с его расточаемою человеческою

кровью мы, все-таки, не хотим пойти — просто по доброте и простоте недалекого сердца. Но нужно же поставить нового Бога, и новую веру, и новый алтарь этим недалеким сердцам: иначе все погибло, ибо католицизм их увлечет в свое неодолимое течение, так как ни протестантство, ни наш «Никола на курьих ножках» (название одного храма в Москве) с ним справиться не могут».

Я волновался. Сколько вопросов! Сколько тем! Но отчего именно в Мюнхене такой собор, который сказал мне «загадку католицизма» более, чем все виденное и все прочитанное? — «Да ведь *Тилли боролся с Густавом-Адольфом*, Тилли и Валленштейн². Тилли был баварец. Бавария — это *Южная Германия*, со всей германской серьезностью воспринявшая католицизм и кроваво вставшая за него против «новшеств» Лютера и «Аугсбургского исповедания»³. Здесь, именно *на границе борьбы, на разделительной линии двух враждующих лагерей*, — и должно было выразиться «сredo» так мощественно, что руки опускаются, что даже хотящий проклинать — невольно благословляет.

Я вышел на главную улицу. Так же опять, как и вчера, скользили здесь ласточки-велосипедисты.

— Вот *кто* победил католицизм, — велосипедисты! Нет, серьезно. Во-первых, велосипедисты действительно никогда не вернутся в «лоно католицизма», не вернутся тверже, нежели Дарвин и Гельмгольц. А во-вторых, серьезно победила его маленькая нужда, маленькое удовольствие, победила *ежедневность, будничность*. Католицизм весь пустынен, вышел из пустынного, уединенного настроения души человеческой. Это — великий праздник души человеческой, хоть, может быть, и темный, но который главным образом отрицает, и бессильно отрицает, *будни*, который не охватил собою и даже не взглянул проницательно на великое и серьезное содержание *будничной жизни*, т.е. *простой ежедневной работы, ежедневного пота, крошечных здесь радостей* и огромной *нравственной стороны*. Вот когда все это встало и утвердилось на ногах своих, то католицизм и отодвинулся на второй план: просто он застроился новыми строениями, вот как этот Duomo среди этих улиц, о нем стали забывать, перестали о нем думать, заботиться, тревожиться им.

Мир заботы человеческой отошел в сторону от Тилли, Валленштейна, от Данта, от этого поразившего меня собора, как и они все, безусловно, никогда и даже в самой малой доле не были сами внимательны к работе и «заботе» человеческой.

В католической Германии

Самое большое удовольствие «заграницы» — чисто физическое: это отсутствие ветра. Две недели провел я в Берлине, Дрездене, Мюнхене, Нюрнберге, в равнинной и гористой Германии, а вовсе не чувствовал этой вечной доуки России: откуда-то дующего в лицо, в затылок или в щеку ветра. В Орловской, Симбирской, Нижегородской, Костромской, Московской и Петербургской губерниях, где я жывал подолгу, вечно откуда-то дует этот несносный ветер, мешает вам сосредоточиться, задуматься, «распахнуться» физически и душевно, задремать или замечтаться. Какие мечты, когда придерживай полу пальто и шляпу. Помню, в Аренсбурге весь летний отдых был испорчен и сведен на «нет» этим проклятым ветром, неизвестно откуда берущимся и который точно имеет себе удовольствие в том, чтобы раздражить и наконец измучить вас. Вышел гулять — испорчена прогулка; раскрыл окно — легкие предметы слетают со стола. Вечно борешься с ветром, много или мало, но борешься. Дума уходит на какую-то ненужную вам ерунду, и, рассердившись окончательно, вы закрываете окна, уходите с балкона и решаетесь предаться зимним занятиям, закупорившись в четырех стенах и потев около самовара.

Здесь и днем стоят недвижимые липы или тополя, а с закатом солнца наступает такая благодать, что все селение, закрыв свои магазины и конторы, высыпает на улицы. Улица здесь утроенно, учетверенно живет против нашего. У нас улицею только проходят или — несчастные обреченные — работают на ней, как извозчики, ломовики, маляры, дворники, полицейские или мостильщики, разбивающие булыжник для ремонта мостовой. Жить на улице никому не придет и в голову у нас. Отдых или праздничное — всегда у нас дома, на кушетке или в креслах, «в уютной небольшой ком-

пании». Отсюда у нас развита «дружба» и «хорошее знакомство» — немалые двигатели русской «душевности» и «психологичности», которые решительно бросаются в глаза, как преимущество, среди немцев. Здесь, на германском безветрии, широко раскинулось, напротив, «товарищество», как отношение людей друг к другу, пожалуй не проникающее особенно глубоко, но зато охватывающее тысячи и десятки тысяч людей, с возможностью им слиться на площади в «ферейн»¹, «ассоцию», «экспедицию», «торговую компанию», во что угодно, без психологических углублений, но огромное и сильное. Поди-ка на дожде собирай Крестовые походы; Петр Амьенский десять раз замерз бы, проповедуя у нас о них. Все у нас с улицы или смета-ется ветром, или разгоняется дождем, или прогоняет-ся морозом «домой». Отсюда великие преимущества русских, напр. эта психологичность, нервность, углубленность, задумчивость, затаенность, которые так и режут глаза или скорее прорезают воспоминание именно здесь, где видишь десятки тысяч лиц довольно гладких, довольно счастливых, громко о чем-то орущих, всегда разговаривающих громко, когда у нас все «шепотком». Но параллельно с душевностью «шепотком» ведутся у нас и темные дела, зарождается в «домашней обстановке» всякая чичиковщина, и, словом, растут рядом Тургенев и Гоголь, Достоевский и «типы Островского», «надувательства» и «великие признания» другу и брату.

Все, я думаю, от ветра, все — от дождя, все — от мороза.

Уже в Берлине чувствуешь, что улица есть *продолжение дома*, что это есть громадный коллективный дом, «свой» для каждого, а не «чужое» что-то, как улица для всех нас, русских. Я ехал не один, и спутники замечали мне, что ни в Петербурге, ни в Москве никто не решился бы «за неприличием» появиться так на улице, как ходят и гуляют здесь все, самая нарядная публика. Именно: у нас женщины надевают сверх платья еще верхнюю одежду или носят так называемый «костюм», т.е. цельное и довольно плотное платье, которое дома тяжело и неудобно. Во всяком случае, в обыкновенных комнатных платьях никто не выходит на улицу. В Берлине все идут, за делами и на

гулянье, в одних платьях, с открытой шеей, т.е. без воротничка, и совершенно прозрачными (до плеча) рукавами, прозрачною верхней частью спины и груди. Корсетов в Берлине совершенно никто не носит, и появляются они почему-то (но не у всех) только в Южной Германии. Нет и корсетных магазинов и мастерских. Конечно, немки никак не уступят в скромности русским: здесь так одеваются оттого, что психология и немножко быт улицы есть тоже психология и отчасти быт дома. Не этим ли духом и чувством, что улица здесь есть «домашнее» для всех место, «свое» и «родное» для каждого, объяснить то поразившее меня за границей явление, что здесь вовсе нет *уличной проституции*: явление до того странное для русского, что он никак не умеет справиться с впечатлением. Помню, лет 30 назад, в Москве, меня, тогда студента-второкурсника, взяла немка-квартиросодержательница (добрейшая и благороднейшая была женщина)² и свела с Страстного бульвара, по которому мы куда-то шли, на тротуар. Я удивился. Бульвар весь залит был нарядными барышнями. Я был новичок, из гимназии и провинции. «Это нехорошие барышни», — объяснила мне московская старожилка. Теперь я живу в Петербурге: и по Литейному, по Невскому пройти нельзя между 11 часами ночи и 2 часами утра от пристающих и движущихся толпами проституток. Очевидно, улица у нас — «чужое дело», куда выбрасывается «всякий сор». В Вене, Риме, Флоренции и вот теперь в Берлине, Дрездене, Мюнхене к часу ночи, а в Вене, Риме и Флоренции даже к 11¹/₂ часам ночи улица до того умирает, до того молчит, что шаг отдельного прохожего громко раздается, никаких разговоров не слышно, не слышно ни одного крика; а проституток, которых можно узнать по манерам, костюму и всему виду, не попадается вовсе: попало только в Дрездене при долгом моем гулянье по улицам, в конце одной из них, что-то похожее на толпу «кокоток», но все же не на профессиональную «растерзанную» особу, каковых у нас на главных улицах тысячи. Я уверен, из этого зрелища улиц огромных городов, что «такие барышни» на улицах есть какое-то наше, русское злоупотребление, наш, русский недосмотр. Тут какая-то общая вина, частью уличной администрации, частью всего нашего общества, которому следовало бы смотреть

на улицу как на *часть и продолжение своего дома*, как на *общий*, только открытый, *коридор*, связывающий частные жилища, «мое и моего друга», семью «мою и моих родных». Если принять во внимание, что дома терпимости запрещены в Берлине и их, конечно, нет, ибо полиция там всемогуща, зорка и неподкупна, то очевидно, что и в Петербурге или Москве, не говоря уже о губернских наших городах, «это дело» может быть устроено как-то обходясь и без таковых официально покровительствуемых (конечно!) пансионеров, и без засорения развратом улиц. Наполовину или на треть эта добропорядочность нравов достигнута введением всюду на Западе (и в католических странах) института гражданского брака, который, устранив знаменитые «препятствия к браку» благочестивых старцев, удвоил число семей, т.е. добропорядочно живущих людей; остальное, я думаю, сделала просто чистоплотность и брезгливость общества, раз оно двинулось на эти широкие, свободно каждому открытые пути лучшего семейного устройства. У нас, по законодательству и общественному взгляду, семья — не личное, не «свое дело» каждого, а «церковное учреждение», что-то среднее между «столоначальством» консистории и между «полицейским участком» государства. И говорят и пишут, даже «мыслители», что это есть «социальная ячейка», атом строя и общества. Соответственно этому она поставлена под сто духовных, полицейских и судебных глаз, — которые все «ячейку» берегут, устраивают ее с сотней обрядов и форм, а введенных в «ячейку» особ берут почти что под надзор полиции и вообще лишают всякой свободы, жен — даже свободы движения, выезда из города, переезда с места на место. «Ячеек» поэтому, естественно, мало: а все в них не попавшее со стороны одного и другого пола заливает улицу к ночи и устраивает социальное наслаждение святым старцам в мраморных опочивальнях, полицейским надсмотрщикам и врачам по венерическим болезням.

* *

*

В Мюнхене, вследствие множества садов, бульварчиков и огромного английского парка, расположенного в середине города, так и пьешь воздух. Он не толь-

ко чист, вследствие отсутствия пыли (превосходное устройство мостовых), но прямо — сладок!! Этого удовольствия именно от воздуха я никогда не испытывал: и вообще физические, чисто физические условия существования покрывают и, увы (стыдно признаться!), преобладают над наслаждениями художественными от здешних музеев. На воздух и кристальную, холодную воду (за которую, однако, приходится платить, хотя и гроши), на безветренность я променял бы прогулки в знаменитых Пинакотеке и Глиптотеке. Последняя (собрание статуй) небогата и не имеет в себе великих произведений, какими славятся Лувр, Флоренция и Рим. Осколки эгинских мраморов, сохраняемые в стеклянных ящиках (как известно, вся их масса увезена в Лондон), — совершенно ничтожны по величине и числу. Хорош только, в «Зале Ниобеи», — умирающий сын Ниобеи, лежащий с закрытым почти лицом, навзничь: какая красота и выражение лица! Кое-где в сгибе пальцев, в обломке ступни ноги и в эгинских остатках видно чудное мастерство греков (какой древней эпохи!), и именно чудная их любовь к природе и природному! Когда (это я видел в Берлине) переходишь от греков к средневековой с его высохшими, вытянутыми и условными фигурами, где все вымыслено и вымучено, поражаешься, до чего христианство точно заволокло от человечества каким-то туманом всю природу, *totam terram et totum coelum**, заменив все это какими-то новыми восторгами и упоениями, безмускульными, безнервными, бескровными, фантастичными или фиктивными, чему во всяком случае ничего соответственного в *природе* нет! Недаром так органически враждебно, так нервно враждебно богословие естествознанию... чует, где скрыт его главный враг, где таится его «крест и могила»... И вспомнил я наших хлыстов, с их припевом:

Царство ты, царство,
Духовное царство, —

вспомнил, смотря на истощенных пап, поджарых Францисков, выпускающих последний вздох Себастианов! Хлысты *все* обняли своим напевом, грубо, по-

*всю землю и все небо (лат.).

мужицки, но *все!* Я же сказал, что русские суть самые проницательные между европейцами, хоть и самые грязные, «невозможные».

Зато Пинакотека (собрание картин) мюнхенская меня поразила. Прежде всего галерея не имеет такой величины, как Дрезденская, где совершенно задыхаешься и чувствуешь точно изломанными ноги и спину от бесконечных зал, где невозможно же *не досмотреть* Рафаэля, Корреджио, Рембрандта, Тициана! Вообще, какое это варварство — галереи; какое варварское, чуданное отношение к искусству. Красива должна быть жизнь, и памятники великого искусства минувших веков должны быть раскиданы по всей стране, в ее храмах, дворцах, театрах, «земских собраниях» и «думах», в залах дворянских собраний, где и как угодно, но непременно везде и на глазах народа, трудящегося и веселящегося, — *ему* в веселье, на утешение и на воспитание! Ну что получил я, побывав в двух самых знаменитых собраниях картин в Европе? Я нарочно для этого заехал в эти города, т.е. сделав слишком многое «для каждого», для «каждого» — неподсильное и невозможное. Замечательно, что и в Берлине и в Дрездене проходящие, и вовсе не из простолюдинов, не могли указать «Национального музея» и «Картинной галереи», стоя в двух шагах от них. Но что же я получил? Ну вот то удовлетворение, что «видел». Можно бы вырезать свое имя на монументе, но для меня, живого человека, — какое в этом поучение? Да никакого. «Хорошо». «Великолепно». Мало ли это о чем можно сказать: я говорил это о дрезденской *воде* и мюнхенском *воздухе*. Особенного впечатления, поразившего душу и изменившего ее (как это должны бы и, конечно, могут делать великие памятники искусства), я не пережил. От Корреджио, которого я так особенно любил по гравюрам и фотографиям, снимки с которого покупал еще в дни студенческого нищенства, — от него я ничего не пережил! Отчего? Не всматривался и (вероятно) не понимал. Для исторического и вообще научного понимания нужно изучение, чтение, объяснение знатоков. И если таково *мое* впечатление, то, конечно, *не иное* оно и у прочей толпы туристов, кроме немногих изучающих знатоков. Но эти знатоки, изучая, положим, Рафаэля или Корреджио, могут или должны

(да и теперь приходится им) объездить *всю* Европу, посетить *все* ее большие собрания, не ограничиваясь Дрезденом, Мюнхеном, Флоренцией, Римом, Парижем. Теперь, посетить ли этим 10—15 знатокам 10 или 100 городов — все равно: университет, академия или личные богатые средства дадут для этого возможность, которая сводится для каждого к нескольким сотням рублей. Зачем же ради удобства «малого проезда» этих 10—15 знатоков лишать возможности «постоянного всматривания», т.е. уже постоянного впечатления, народную громаду или громаду общественную какого-нибудь города, которой вовсе не нужно видеть «100 мадонн», подряд поставленных, а хорошо и полезно видеть «одну мадонну», которая не сходит с глаз и утром и вечером, и сегодня и завтра, и в 1909 и в 1929 гг. перед каждым в его молодом, и среднем, и старом возрасте! *Собиратели* картин, конечно, суть великие благодетели человечества: но дар их удесятирился бы, усотерился бы, не запирай они сокровищ своих в чулан, именующийся «галереею», а рассыпь щедрою рукою свои сокровища по храмам (под особый и ответственный надзор), по театрам, оперным фойе, по залам дум и всяческих общественных собраний, по университетам. Вот *где* бы в них всматривались; вот где на них было бы *время смотреть*; и, кто знает, не нашел ли бы тогда другой Перуджино себе другого Рафаэля! Кто знает?! Тогда как из приезжих «туристов» трудно ожидать Рафаэля, а уличная толпа не знает, «где Национальная галерея», когда у нее спрашивают о ней, показывая пальцем на Национальную галерею: «Не это ли?» И какая тогда насмешка в этом слове: «*Национальная* галерея».

* *

*

Мурильо в его уличном жанре — вот (мне показалось) главное сокровище Пинакотеки. Все мы знаем Мурильо в его мадоннах, окруженных полупрозрачными головками ангелов, или в молящихся монахах: здесь находятся пять его картин совершенно другого характера, картин нашего духа, времени, культуры — за три века до нас! — и как сделанные! Вот два мальчика: один сочную, темную кисть винограда опускает

к жадно раскрытому рту, другой ест корку дыни, объедки которой разбросаны по земле. Как «вкусно» сделан этот завтрак крошечных оборвышей: хочется полакомиться около них! На другой представлена грациозная испанская девочка, считающая на ладони монеты; возле нее братишка и корзина винограда, предмет торга маленьких босоногих купчишек (как у нас — «с лотка»). На третьей — два мальчика и возле них собака; один ест кусок груши. На четвертой изображены три мальчика: два из них играют (кажется) в домино, третий ест хлеб; возле них разбитый горшок. Как сделана обувь и грязная подошва ноги у одного из них! На пятой, едва ли не лучшей, представлена старуха, ищущая в голове мальчика-сына лет 4—5; он лежит («валяется»), играя со щенком, и тут же возле него детская игрушка: на колесиках катушка с прикрепленной палкой. Все — верх реализма, верх натурализма. И вместе краски, фигуры — все изящно. Точно в нем (Мурильо) вдруг прорвался грек, замигал глазок Фидия сквозь всю толщу католицизма, аскетизма, фантастики и «невозможного, но сладкого» (их мадонны).

Здесь только чувствуешь слабость нашего Эрмитажа, где собрано множество превосходных картин и первоклассных художников, но, однако, картин не таких, на которые бы «весь свет сбежался смотреть». В Эрмитаже нет *miracola*, «чудес», вдохновения и гения; между тем, не говоря о Дрездене и Мюнхене, даже в маленьких итальянских галереях есть одно-два таких «чуда», и от них галерея сразу получает всемирный интерес. Так, «Форнарина» Рафаэля и «Беатриче Ченчи» находятся в совсем маленьких частных собраниях Рима. Без ознакомления с мюнхенской «Пинакотекой» невозможно изучение некоторых школ живописи. Грешный человек и человек дурного вкуса, я стал переводить мысленно на деньги «Пинакотеку» и сделал это совершенно невольно: я вошел в огромную залу, *всю сплошь* занятую (кроме трех-четырех высоко поставленных картин) *одним* Ант. Ван-Дейком, и именно самыми изумительными его портретами. «Чего это стоит! чего это стоит?!» — воскликнул я невольно: а там еще залы с Веласкесом, Рембрандтом и чуть не целый коридор Теньера. «Чего же это стоит?!» — восклицал я мысленно и завидовал не королевству баварско-

го курфюрста, а обладанию этою единственною в своем роде галереею, которая, право, стоит королевства. Нет, в самом деле, стоит такая галерея губернии или не стоит? На деньги она все-таки дешевле стоимости всех имений, земель и домов губернии, конечно, если их купить или продать вразброд: ибо при войне «падают» и «пропадают» довольно легко целые губернии, и даже не одна, а две. Я, например, был учителем истории, а решительно не помню, когда и при каких обстоятельствах была приобретена Курляндия: кажется, при Меншикове и вследствие каких-то его «действий», а не через определенную войну и не по определенному миру³. Во всяком случае, губерния если и страшно дорого («враздробь») стоит на деньги, то, например, к славе России что же прибавила Курляндская губерния или Бессарабская? Прибыло рекрутов, податей и цыган. Между тем Мюнхенская Пинаотека есть единственное и невозместимое: если бы она сгорела — человечество заплакало бы; мало того: заплакало бы громко, разрыдалось бы, потеряв такую вещь, какую ему, всему, в составе всех народов, едва ли нажить еще вторично. Таким образом, галерея эта есть в точности сокровищница труда и вдохновений человечества, наподобие сокровищницы Креза, о которой рассказывает Геродот⁴: но только лучше, умнее. Это — мавзолей, где похоронены или, вернее, затворены вздохи человечества, счастье его: ибо только в счастье творится художественно великое. Точно в этих каменных стенах лежит прекрасная любовница, вечно живая и не живая, не дышащая — и с румянцем на щеках, куда приходят люди, чтобы сказать: «Вот чем *был* человек! вот что он *мог*».

И мне казалось, когда я ходил по залам, — точно в самом деле они полны таинственных дыханий, вздохов, улыбок, признаний в любви, разочарований, восторгов, великого ненавидения человека человеком и великого любования человека на человека. Ибо, конечно, в каждом мазке кисти, в «выражении, которое он придал глазам», каждый художник отразил невольно или бессонную ночь, какую провел он, или счастливое утро наставшего дня. Одного встретила поцелуем любовница, другому подали просроченный вексель. Я хочу сказать, что гений, конечно, подлежит всем

впечатлениям простого смертного: но и впечатлительность у него бóльшая, да и больше моря в душе его, т.е. круче ходят в ней волны, чернее или, напротив, лазурнее всякое его настроение. Форнарина могла бы сколько угодно любить «простого смертного» — ничего бы не получилось, кроме визгливого блаженства, которое «оглушало всю улицу»; а для Рафаэля достаточно было Форнарины, т.е. хорошенькой булочницы («Форнарина» — нарицательное имя и значит просто «булочница»), ну — с величавою поступью, с дивной поволокою глаз, с коралловыми губами, но, однако же, не «царицы небесной» во плоти, — чтобы он вдруг заиграл идеалами, заискрился небывалыми вдохновениями и для всей Европы, для целого человечества создал целый ряд и, наконец, самый прототип и идеал «царицы небесной». Да не только создал: а человечество и поклонилось этому конкретному идеалу. Кстати: исходя из единственного этого случая (а ведь сколько параллельных! подобных!), возможно ли порицать и отрицать любовничество, любовь, ну — конечно, «свободную любовь» (хотя, мне кажется, «любовь» иначе как «свободною» и не умеет быть, не может быть), над которою, как только упомянуть о ней, — начинают хихикать. Хоть бы подумали о Рафаэле: возможно ли его «свободную любовь» порицать, когда она умилила все человечество плодом своим, результатом своим?! А когда его не можем мы порицать, не можем порицать и никого: ибо это уже аксиома юриспруденции, что «перед законом все равны». Ярко выраженная, документально оправданная «свободная любовь» Рафаэля оправдала и доказала как доблестные и все случаи подобной же любви и подобных отношений: и всем мирным супругам, отпраздновавшим свои «серебряные», «золотые» и «бриллиантовые свадьбы», придется склонить свои головы к подножиям его мадонн и сказать: «Мы знали *такое* же счастье, хотя и не умели его *так же выразить*; но кто через *свободную любовь* постиг и *наше счастье* и выразил его этим небесным способом, как не мог сделать ни один смертный, — достоин идти *среди нас* и *впереди нас*, и мы увенчиваем его *свободную любовь* всем нашим тысячелетним и многомиллионным авторитетом». В этих коротких словах я отвечаю на резкий разбор моих мыслей по поводу ро-

мана Чернышевского «Что делать?», где я полупризнаю взгляды на любовь и брак знаменитого публициста⁵. Все зависит от человека: скот и из «законного супружества» сотворит скотское явление, злобную драму Замоскворечья; ангел и из «свободной любви» сотворит небесную картину. Но когда это — *так*, и до очевидности — *так*: то будет лучше совершенствовать свою природу, вечно спрашивать, «ангелы» мы или «черты», и перестанем вовсе обращать внимание на то, живут ли люди в «свободном согласии» или «приняли закон», как говорили наши дедушки и папаши, принимаясь таскать за косы своих замоскворецких «мадонн». Все — от человека; от близости его к Богу, от закона совести в нем. А когда так-то, никакое преимущество некоторой форме отношений не принадлежит.

Из картин «Пинакотеки» меня поразили еще полотна Рибейры: «Св. Варфоломей», «Смерть Сенеки», — среди учеников, слушающих его последние поучения, — «Францисканец» и, особенно, опять жанровая картина — «Старуха с корзиною яиц и петухом». Есть что-то сокрушимое во всем идеализме философа Сенеки: а вот в такой старухе чувствуется что-то до того несокрушимое, чему до «Страшного Суда» быть, что переживет всяческую философию и всякий идеализм. В конце концов, грешный человек, я начинаю думать, что в «быте» и в «нравах народных» сам «Господь Бог почил»⁶, — и этот *быт* и *нравы* философичнее и идеалистичнее всяких наших «выспренностей». Я хочу сказать, что реализм и натурализм идеальнее, нравственнее и в конце концов метафизичнее всяких «попыток метафизики»... Из Веласкеса меня поразили № 1293 «Портрет молодого дворянина» и собственный портрет художника (ну, что это стоит!). У Рембрандта особенно хорошо «Жертвоприношение Исаака», с удивительными глазами барана, которого «Бог указал Аврааму принести Себе в жертву вместо собственного сына»⁷. Что художник хотел сказать этими глазами, данными животному и в которых отразилось все понимание священного события и также ужас перед своей «овечьей» судьбой? Удивительно! Далее, «Собственный портрет Рембрандта» (в возрасте лет 45), «Портрет турка» и «Жана Гаринга» (№ 345). Из работ Тициана по историческому значению особенно важен

портрет во весь рост Карла V, сидящего на кресле. Наиболее религиозное впечатление на меня произвела, однако, картина вовсе не первоклассного мастера Franc'e Francia; «Madonna in Rosenland», — столько в ней скромности, смирения, умиления, всего того, что, по крайней мере, мы, православные, соединяем со словом «святое», «религиозное», «святость», «вера»!..

Мюнхен мне показался как-то художественно вдохновеннее Дрездена, города прекрасного, чистого, «со всеми удобствами», но без «старых милых суеверий», которых я нашел много в столице Баварии. Я осмотрел здесь и две новых выставки: портретов Ленбаха (более 200) и «Международную выставку» статуй и картин. На последней как-то незаметно жались, чуть не в самом углу, работы князя Трубецкого: «Портрет князя Голицына» (бронза во весь рост, была выставлена и в Петербурге) и «Графа Л.Н. Толстого верхом на лошади» (небольшая статуетка, тоже выставленная в Петербурге). А у нас Трубецкой представляется гигантом: здесь он совершенно потонул в море интересных по замыслу и великолепных по силе исполнения бронз и мраморов. Выставка эта совершенно необозрима по своей величине. Впечатление особенное произвели на меня «Каин» (большая бронза) и «Сафо» (маленький мрамор), особенно последняя. Нельзя забыть лица мертвой (утонувшей) поэтессы!! Это прекрасно и навсегда сохранится в памяти. Да и вообще эта выставка богата вымыслом, богата содержательностью сюжетов. Такова, например, бронза «Рудокопы», очевидно, в момент обвала или вообще несчастья в рудниках: мертвый на руках живого, которому вот-вот, сейчас умереть: тоже нельзя забыть! По выставке ходишь, грустишь, волнуешься. Вот этого нельзя сказать о большинстве наших выставок, на которых только «ходишь» и «смотришь». Почему-то «Русский отдел» вовсе отсутствует на выставке. Почему? Сами не захотели во время тяжелой войны? Не пригласили по международной вражде? Последнее едва ли возможно. На выставке даны самостоятельные отделы «венгерским» и «румынским» художникам. Неужели русское художество стоит позади румынского или отодвинуто им назад? У нас есть Репин, Серов, Васнецов, Малявин, и именно сейчас русское художество, кажется, никому не усту-

пает. Я забыл упомянуть, что князь Трубецкой, как «флорентиец» по месту постоянного жительства, выставил свои работы в обширнейшем и едва ли не лучшем отделе, итальянском. Интересно бы это отсутствие русских выяснить в печати, для общества...

Выставка Ленбаха дает мысль: какое это счастье для целой исторической эпохи иметь такого портретиста! Моммзен, Бисмарк, Гладстон, Деллингер, двойной портрет Деллингера и Гладстона разговаривающих, и множество других государственных людей и профессоров ученой Германии увековечены его кистью. С некоторых лиц, как Бисмарка и Моммзена, им сделано несколько портретов: например, Бисмарк — в цвете силы, затем в отставке (лучший, мне показалось, его портрет, с выцветшими глазами и выражением бессильной рыси) и на смертном одре. Как я ни люблю «своих», Репина и Серова, мне показалось, что Ленбах могущественнее их как портретист: дать такую галерею портретов, и каких портретов!! Конечно, тут некоторая доля принадлежит и сюжетам: рисовать портрет с Бисмарка или с «тайного советника NN», с Моммзена или «с нашего известного Петра Петровича, который» и т.д. — разница!

Реликвии Кальвина

Женева, мирный из мирных теперешних городков, была когда-то местом великих, даже величайших штурмов, произведенных на нашу цивилизацию. В 3—4-х верстах от нее лежит Ферней, откуда Вольтер пускал ядовитые стрелы во Францию Людовиков и «ancien régime»* целой Европы¹. Там, в урне, сохраняется и сердце, в сущности, не доброго ли старика? Прими мы его сатиру в прямом смысле и припиши злое в ней злему сердцу, — пришлось бы причислить к злым и Крылова и Грибоедова. К сожалению, Ферней² открыт для посетителей только по средам, и мне не удалось побывать там. Еще опаснее для старой Европы были патетические, верующие речи Руссо. «Без Руссо не было бы революции»³, — сказал Наполеон, а он был компетентен судить о настроениях эпохи, все фазисы которой видел воочию и пережил сам. Вольтер оттолкнул, Руссо — притянул; первый решил «чему не быть»; но «чему *быть*», к чему *рвануться* — это определил Руссо. Кант, как известно, приостановил на несколько недель писание своей «Критики чистого разума», увлеченный одним из вновь появившихся сочинений этого «женевского гражданина», а наш Толстой в молодости носил под сорочкой вместо креста или наряду с крестом медальон с портретом Руссо⁴: какое время влияния! на какие умы влияние! Шиллера также нельзя объяснить и понять без влияния Руссо. Идеализм его, вера его, воодушевив революцию, воодушевила и всю Европу, пройдя по всей по ней заметным волнением. До сих пор чеканящиеся на французской монете девизы: «liberté, égalité, fraternité»** — суть в то же время темы «полного собрания сочинений Руссо», тезисы целой его жизни, и притом именно его, даже если и не исключительно, то *главным образом его*. В девизы, к сожалению, не вошло то, что, может быть,

*старый порядок (франц.).

**«свобода, равенство, братство» (франц.).

еще более любил Руссо, нежели «Братство, равенство и свободу», и что, в сущности, объединяет эти три понятия, именно — «*natura*». В самом деле, и «равенство», и «свобода», и «братство» суть только предикаты, только качества, как бы руки и ноги того истинно священного *существа*, в то же время цельного и живого *понятия*, которое именуется «природою», «естественностью», «натуральностью». Самая идеальная и самая многозначительная сторона проповеди Руссо лежала именно в призыве: «вернуться к природе»! Но, к сожалению, из этой проповеди были взяты только более утилитарные, прикладные и граждански понятные части и попали в виде девизов на пушки и монеты. Студентом в Москве, рассматривая расставленные около арсенала, в Кремле, пушки, отбитые в двенадцатом году у Наполеона, я прочел с волнением на коротеньких медных пушках республиканской эпохи: «*liberté, égalité*». Теперь это читаю на франках. В трактате Руссо «*Discours sur l'origine de l'inégalité des conditions*», напечатанном еще при его жизни, приложена на заглавном листе характерная виньетка: сидит молодая женщина, не то Франция, не то Человечество, или Философия, но, во всяком случае, — муза Руссо. Она открыла клетку, из которой вылетела (тут же, вот-вот) птичка. Около ног женщины разбитые части железной цепи (оков). Около нее, в стороне, дремлет мирно кошка (домашняя жизнь, «свой очаг»). В XVIII веке было больше изобретательства, чем в XIX. Эта простая виньетка, если б ее передать в чугуне или бронзе, имела бы куда больше вкуса в качестве памятника Руссо, чем тот очень обыкновенный памятник, какой ему поставила Женева (могло бы поставить человечество, Франция, Европа) на миниатюрном «*île de J.-J. Rousseau*»*. Здесь он представлен сидящим: и лицо его до того не похоже на его портреты, что только надпись: «*J.-J. Rousseau*» — говорит о том, кому памятник принадлежит.

* * *

*

Зато я посетил величайшие реликвии реформационной эпохи: домик Кальвина и церковь его. Осмат-

*«Острове Ж.-Ж. Руссо» (франц.).

ривая последнюю, я чуть-чуть, по неосторожности и неудержимому порыву, не примерился сесть на его стул. Но какой-то инстинкт вовремя остановил меня.

По глухим, узеньким улицам я стал подниматься в старую часть города. Они все ползут кверху, и до того узки и круты, что по ним совершенно нельзя проехать в каком бы то ни было экипаже. С берега озера был виден готический купол разыскиваемой церкви, а теперь, когда я, очевидно, был где-то неподалеку от нее, я совершенно не мог ее отыскать из-за этой ужасной путаницы щелей-улиц, откуда ничего не видно, кроме вот двух домов *vis-à-vis*, между которыми пробираешься. Оказывается, я уже несколько раз проходил почти мимо церкви, не заметив боковой щели-улицы, куда, наконец, меня толкнули в ответ на предложенный в десятый раз вопрос: куда же идти? Эта боковая щель называлась *Rue Calvin**. Я взволновался. Улица его имени? Верно, он жил тут где-нибудь, в этом квартале или поблизости. Я еще не знал, что есть даже его домик. Я шел, собственно, в церковь его времени и где он, вероятно или правдоподобно, служил. Подумайте о лютеранской церкви, где служил бы сам Лютер, и вы поймете мое волнение! Но с времен юности из всех реформаторов меня всего сильнее привлекал Кальвин — страшной сдержанностью и сосредоточенностью характера, великим блеском ума. Лютер совершил «реформу» скорее даже бесхарактерностью своею, чем характером, скорее волевой распушенностью, нежели волевою сосредоточенностью: он — весь в сердце, в порывах, в страстях, в огненном и глубоко правдивом темпераменте. «Благоразумную» роль около него выполнял Меланхтон. Около Кальвина не было Меланхтона; он сам им был для себя, или, точнее, он представлял великолепную форму, где неразъединимо слились: 1) горькая судьба (Кальвин с друзьями до переезда в Женеву); 2) огненный характер; 3) колоссальный ум, ум с *idée fixe*, ум-систематик. Известно, что католики больше его боялись и сильнее ненавидели, нежели Лютера: ибо он сам был католичнейшею формою ума, закалом души, и они растеривались перед ним, находя в нем себя же и в то же время видя, что

*Улица Кальвина (франц.).

он совершенно опрокидывает все здание их учения, администрации и культа, как они сложились к XIII—XVII веку. Как теперь Толстой в учении о науке, об искусстве, о браке и целой вообще жизни человеческой «аскетичнее и строже» официальной нашей церкви, ненавидит всеми силами души то самое, что она только слегка отрицает, или игнорирует, или пренебрегает, и вызвал, однако, величайший гнев этой церкви против себя: так точно и Кальвин с его мрачным учением о «предвечном предназначении одних людей к спасению, а других людей к гибели» превзошел тоже всякий возможный средневековый ужас и сумрак и, однако, ополчил до ярости против себя средненьких, ни горячих, ни холодных, наследников и исповедников этих самых доктрин. Католики испугались, что он так чисто выразил их же настроение и что он призывает их всех к суду за слабость в этом настроении. Как известно, он убедил женевцев, на которых имел неограниченное влияние, сжечь на костре Сервета, личного друга своего, и не за ересь какую-нибудь, не за определенное отклонение от учения Кальвина, которому этот Сервет чистосердечно и добровольно следовал, но за то, что Сервет, может быть гораздо более его (Кальвина) разносторонний и, во всяком случае, более мягкий, был сторонником так называемых «libertains»⁵ женевских, этих в своем роде «либералов» XVI века, людей попросту хотевших жить, а не только молиться, хотевших учиться, размышлять, торговать, немножко танцевать и немножко веселиться, а не только мрачно разгадывать, «не предназначен ли я самим Богом к вечной гибели и геенне огненной». Представить себе Толстого, который за недостаточное усердие к себе сжег бы Хилкова или за занятие «литературою как искусством» казнил бы, например, Максима Горького: и мы получим представление о фанатизме и исключительности Кальвина! Он напугал своих последователей; Женева, да и все «евангелисты» были испуганы его идеями и характером. Так как никто из «кальвинистов» не мог знать и ниоткуда, кроме как из своей совести и ее жизни, «про себя» не мог узнать — находится ли он в «счете» осужденных или в «счете» оправданных, и так как, согласно учению Кальвина о «Вечном Предопределении», ни такового осуждения, ни такового оправдания нельзя было изме-

нить и из него выйти ни подвигом, ни постом, ни молитвой, то всякий трепетал найти в себе слабости, «грехи», как признак осуждения, и трепетал, естественно, до такой степени, что уже действительно не совершал этих грехов, не впадал в эти слабости — от самой парализованности, испуганности души!! Получилось добродетельное общество, — чуть не безгрешных: но исключительно от напуганности своей, от несчастья, от того, что уже и при жизни своей каждый как бы горел в аду сомнения: «Не осужден ли я?» Может быть, и Кальвин оттого сжег Сервета, что испугался, как бы в слабости его не обнаружилось признака, не осужден ли и он сам, Кальвин. Представьте себе тайную полицию, перенесенную в душу самого заговорщика; или, еще точнее, что возможный или будущий заговорщик есть уже вчера и третьего дня и всегда от самого рождения пламенный агент тайной полиции — и вы получите невозможность заговора. Так и Кальвин «заговорил» своих последователей от греха, соделав их всех внутренне, психологически, всячески глубоко несчастными и сам будучи ранее всех их глубоко несчастным человеком! «Церковь» несчастных и праведных людей, праведных — от несчастья: что может быть трагичнее!!

Католики и испугались, сразу же оценив, что ни победить, ни расслабить таких людей невозможно. Во Франции они и были раздавлены просто силою, численностью, ножом и кровью (Варфоломеевская ночь)⁶, а не спорами; не лестью, не дачею компромиссов. Кальвинистов и теперь менее в Европе, чем, например, лютеран; нет кальвинистического государства. Но это есть самые интересные и даже единственно интересные из «протестантов» — людей с моралью, но без всякой метафизики. В кальвинистах есть «метафизика»...

Я вошел в темную, от густоцветных стекол, церковь. Показывала дочь или жена консьержа, девушка с чуть-чуть хромою ногою, полная, красивая и серьезная.

— Voilà le tombeau du duc de Rohan...*

Из чудного белого мрамора была сделана статуя, почти в рост, в одеянии и с известною одеждою, при-

* Вот статуя герцога Руанского... (франц.).

ческою (длинные волосы? парик?), стрижкою бороды (уголком) и усов XVII века. Лицо строгое и прекрасное, как у всех «их», как у Паскаля и мыслителей Порт-Рояля⁷. В руках поставленная на колено книга и сжатый свиток. Перед статуей подушка, и на ней герцогская корона.

Я сделал недоумевающее лицо, потому что ничего не помнил из истории о «Duc de Rohan», как мне слышалось.

— Duc de Rohan; chef des calvinistes*, — поправила она меня.

«Chef des calvinistes»... и я вспомнил все, что читал об этой ужасной и великолепнейшей войне, этой «Трое» европейской цивилизации, где были свои Патроклы и Гекторы⁸, но лучшие, но осмысленнейшие сравнительно с младенцами-греками. Я волновался самым неизъяснимым волнением. Помните арию и особенно характер верного оруженосца Рауля (сейчас я забыл его имя) в «Гугенотах»: Мейербер это дивно понял и выразил; характер этого солдата есть миниатюра всего кальвинизма.

Прошли мимо длинных скамеек. Церковь без алтаря и без всякого вообще средоточия. Где же главная часть — алтарь?

Задумчивая девушка помотала отрицательно головой:

— Вот стол трапезы. Алтаря здесь нет.

Действительно, на месте, где у нас устраивается алтарь, только ближе сюда, к «общине верующих», присутствующих за богослужением, стоял длинный коричневый стол, совершенно простой, старой работы. Верно, это в память Тайной Вечери⁹, и, казалось, один этот стол был перенесен сюда из воспоминаний евангельских: все прочее дышало суровым духом библейского Иеговы... «Богослужение» кальвинистов заключается, как известно, в одном только пении «общинною» псалмов, в одной как бы нашей Псалтыри...

— Voilà la chaise de Calvin...**

Я не сразу понял: но до чего же я взволновался; узнав, что это — то самое сидение, стул, на котором сидел Кальвин!! Оно как блин, узенькое и сухое. Боже,

*Герцог Руанский; глава кальвинистов (франц.).

**Вот стул Кальвина... (франц.).

что значит «стиль» души... Выбрал же он себе такое сиденье, с которого рисунок, право, можно дарить вместо портрета Кальвина: до того они похожи, до того слитны, суть одно. Лицо Кальвина, с острой бородкой и острым носом, в каких-то «смиренных» наушниках (какие у нас надевают в мороз) и в шапке, приплюснутой блином, совершенно походило на это «смиренное» и до ужаса строгое сиденье, деревянное, старое, потемневшее, страшно узенькое, только-только вот сесть, «уместиться», с высокой, узкой, прямой спинкой, жесткое (обито «блинчиком»-кожей), легкое. «Вот он откуда судил мир и выдумывал свое *Предопределение*». Я еще не сообразил, да даже и не знал, что это служилая церковь, что в ней сейчас служат: мне все казалось, что девушка показывает мне «былые камни кальвинизма», и я в великом порыве захотел сесть на то самое место, стул, на котором сидел Кальвин, от юности мною обожаемый. Подвигав легонький и маленький стулец в руках, я вот-вот уже приспособлялся сесть в него. Девушка молчала. Она бы закричала или ударила меня, если бы я сел: это была реликвия. Мне хотелось, чтобы она отошла в сторону, за колонну. Тогда бы я на секунду сел. Но она не отходила, может быть тоже инстинктивно опасаясь «неделикатности» со стороны иностранца. Наконец я оставил стул, стоявший под их высокою, приделанною к колонне кафедрою проповедника (обычный тип протестантских кафедр).

Церковь полутемная, с цветными стеклами, покрытыми рисунком, была готическая; и ее можно было принять за католическую, не отсутствуй здесь Мадонна и Распятый Иисус, эти два средоточия католического богослужения, — фундамент всего их и эстетического и морального пафоса. Мы шли. Все было обыкновенно, просто, строго.

— Voici la chapelle des Maccabees...*

«Придел братьев Маккавеев??!» Как он попал сюда, в христианский храм, в христианское богослужение? Но более, чем что-нибудь, он говорил о том, до чего Кальвин работал под давлением Библии, под этим давлением размышлял, судил и решал. И какой Биб-

*Это придел Маккавеев (франц.).

лии, которых ее мест? Под «давлением Библии» Рафаэль расписал «ложи» Ватикана, а флорентийские художники Возрождения отлили бронзовые двери «баптистерии» (=«крестильни») при Дуото (главном соборе): две эти песни идиллической жизни пастушеского народа! В Библии столько же есть ласкающих, нежных страниц, полных безграничного снисхождения к человеку, как и страниц суровых, строгих, взыскательных. Но есть целый разряд умов, которые останавливаются только на вторых местах, не замечая вовсе первых; и даже общее или преобладающее европейское представление, совершенно одностороннее, силится доказывать, что Бог «первого завета», именуемого неосторожно «ветхим», т.е. как бы устаревшим и ненужным, — был Бог только грозы и муки, мщения и гнева, пока вот не пришел Тот, Кто «трости надломленной не переломил»¹⁰... Кальвин впал со всей страстностью своего ума в ошибки этого представления и дал почувствовать в Европе не столько подлинный «дух Иеговы», сколько «дух Иеговы, как о нем рассказывают школьные учителя» и каким он кажется пессимистам-мизантропам...

— Неподалеку отсюда на улице Кальвина стоит домик, где он жил, №11, — сказала показывавшая девушка в заключение.

С каким чувством подходил я к нему... Старый кумир мой, к которому теперь, правда, я не испытываю никакого чувства, — он не только ходил здесь «в свою церковь», но и жил в котором-то из почерневших этих домов. Все они были черны, стары, неуклюжи, были «соседями Кальвина» или построились «вскоре после его смерти»... в разгар религиозных войн!!! А вот и он, № 11: черней соседей, немного странной архитектуры. В нижнем этаже, в котором проделан ход, вовсе нет окон; во втором этаже три далеко друг от друга расположенных окна. Там-то он читал и писал свои черные книги и переживал черные вдохновения. Тесно, темно и угрюмо было в этих комнатах. С удовольствием я увидел, что можно войти и на двор. Дворик крошечный и включенный весь внутрь дома, т.е. последний представляет собой кольцо или, точнее, ломаный пятиугольник, самая длинная сторона которого — задняя (во дворе), затем идут две коротенькие, боковые,

сомкнутые между собою фасадом дома. Здесь, свнутри двора, здание представляло два полные этажа: четыре окна были в задней его половине, по три в боковых и по три же в каждой из половин (разделенных воротами-ходом) фасада; фасад здесь представлял собою две сходящиеся под очень тупым углом линии. Виден был в жилище «субъективист», смотревший внутрь, а не наружу, обильнее развивший внутреннее, чем внешнее. Я прочел на дощечке надпись:

Jean Calvin

vecut ici

de MDXLIII à MDLIV*.

Дом был обитаем: на дощечке, очевидно, новой, проделанной двери я прочел надпись: «Bureau technique du nouveaux Cadastre de la ville»**. Не знаю, что это значит. Но подумал невольно: Sic transit gloria mundi***.

Кто же победил, Кальвин или Сервет? И здесь, как в католичестве, как, кажется, всюду, — необычайное старое побеждено «обычным» новым. Старые великаны рассыпались: и песок из колоссальных статуй мальчишки употребляют на свои игрушки-куколки, и печник — на утилитарные горшки¹¹. Sic transit gloria mundi. Или, по Пушкину —

Иные дни — иные сны¹²

Каждый век вправе, да и обязан, грезить «по-своему»... Без этого не было бы оригинальности в истории, не было бы новизны. А история, как и торговка, выкрикает: «Новенького! новенького!»

*Жан Кальвин жил здесь с 1543 по 1554 г. (франц.).

**Техническое бюро нового кадастра города (франц.).

***Так проходит слава мирская (лат.).

Возможный «гегемон» Европы

Чисто, свежо, физиологично — вот впечатление, которое я переживал уже шестой день, толкаясь по улицам Берлина. Какие у всех или почти у всех отличные волосы — верный признак хорошего роста и неиспорченной крови! Итальянки и итальянцы сравнительно с немками и немцами — какие-то потертые горничные и износившиеся баре. Из ста лиц здесь десять красивых, по крайней мере хороших, тогда как в Италии едва найдешь это число среди тысячи. Шаг у всех чуть-чуть быстрый, твердый. На улицах совершенно незаметно шатанья, «слоняющихся» господ. Ни одного не видел пьяного. Никого при мне не задавили. Ни разу этого вдруг понесшегося по улице крика, на который побежали толпы народа, — как у нас даже на Невском, не говоря о Садовой и «захолустьях»...

Свежо, чисто и очень самоуверенно, в самом хорошем смысле этого слова, без малейшей примеси нахальства. Это — громадная, миллионная толпа добропорядочных людей, которые знают, что завтра уплатят свой долг, которые не знают за собою «темной, пока не раскрытой интрижки», и все это благополучие, внутреннее и внешнее, отражается на лице довольной улыбкой, хорошим цветом щек, твердым с улыбкой голосом. Хотя я и не политик и ни за «союзами», ни за распрями внимательно не слежу, но никогда мысль о «союзе» не билась мне так упорно в голову, как здесь, среди берлинской уличной толпы. «Честно пожать руку этих честных людей, этих добросовестных работников» — значит сразу вырасти на несколько аршин кверху. «Характер императора Александра I стоит конституции»¹, — говорили в первое десятилетие XIX века. Говорившие, очевидно, не были из личных приятелей и особенно из «сослуживцев» Аракчеева... Но ей-ей, вот немецкий характер, как его дала человечеству их специальная немецкая история, все их

прошрое, — это в самом деле «стоит конституции», «стоит подписанного договора», и, словом, как угодно пропишите ценность вещи своими словами, но сохраните ту мысль, — что «немецкий характер — стоит золота». Я бы не был испуган фактом войны с немцами. Очевидно, это не нервно-мстительный народ, который, победив, стал бы добивать. Если они и свели на «нет» так называемых полабских славян средневековья, то, очевидно, потому, что те никак не умели сами просуществовать. Бессильное, раздробленное существование Германии, тянувшееся целую тысячу лет и вовсе не уничтоженное даже и сейчас, когда «Русь окрепла» уже ко времени отца Грозного, «окрепла» еще раньше этого Франция, — слишком показывает, что немец «en masse»* или «простак» в политике, или просто у него нет аппетита — все съесть кругом. Вот отчего войны с Германией я не страшился бы. Но просто — чрезвычайно приятно быть другом или приятелем этих добропорядочных людей. Не ради империи германской, не ради их «Kaiser Wilhelm» и Бисмарка, но ради бюргера немецкого, тянущего бесконечное свое пиво, и его доброй «Amalchen», такой чистоплотной, хотя немножко и бестолковой, я никогда и ни за что не разрывал бы союза с Германией и даже — без всякого меркантилизма — выказал бы ей всякое «уважение» и, наконец, уступчивость при всяческом столкновении, когда этому доброму бочару вздумалось бы вдруг заорать и поднять шум из-за того, что ему чего-то «не додали», когда ему все решительно уплатили. Прямо — я дал бы лишнее, и просто ради доброго характера. Уверен, что все потом вернулось бы сторицей.

Я знаю, что это не отвечает теперешнему международному положению России, и говорю мысль свою почти украдкой, «в сторону» для будущего.

Очевидно, сейчас Германия переживает счастливейший период своей истории, что-то вроде Рима после Пунических войн, Греции — после Платеи и Саламина, а еще вернее — добрых торговцев финикиян и карфагенян до столкновения с Римом; но только переживает все это короче и несообразительнее, без «за-

*В целом (франц.).

думчивости». Германия явно рвется и, вероятно, достигнет гегемонии в сонме европейских «puissances» — «могуществ», держав; но «гегемонии» такой, которой некуда им (немцам) девать и нечего из нее сделать. Нет, мне кажется, народа менее с «всемирным» призванием, чем немцы. Все их добродетели суть частные добродетели, и самый источник прекрасного немецкого духа, т.е. почва самой силы и вероятной или возможной «гегемонии», лежит в провинциализме этого духа, т.е. именно в его антигегемоничности. Человечеству до известной степени надоели всемирные и «общие» идеи, и вот в этот момент временной усталости и поднялась Германия, как воплощенное отрицание всемирных, централизующих идей, тонов и appetitов. «Когда никто, так я». Германия сейчас же отойдет на второе и даже десятое место, едва подыметя опять какое-нибудь всемирное течение, всемирное движение народов и идей, когда появится всемирная личность. Сами немцы не решатся возражать, что все их успехи при Мольтке и Бисмарке суть просто удача успешных над неуспешными, трудоспособных над ленивыми, добропорядочных над безнравственными; и словом, «школьный учитель победил», — тот «школьный учитель», который бежал без оглядки перед такой «фатальной» личностью, как Наполеон, да и вообще перед истинно всемирною и таинственною личностью (бывают такие). Как и германская цивилизация, эта «честная немецкая культура» потускнеет как сальная свеча, если (чего может и никогда не быть) появится когда-нибудь истинно прекрасное, истинно изящное в человеческом духе, в формах бытового, художественного, религиозного, но в основе всего — именно бытового творчества. Слыхал я, что англиканские духовные лица, из очень сильных и образованных, возвращаются в «лоно католицизма». Католицизма я скорее не люблю. В противоположность чувству к немцам, к нему можно испытывать страх, перед ним — тревогу, в соприкосновенности с ним — опасение. Все это так. Ну вот немцы никогда такого «пороха» не выдумывали, как этот тревожный, таинственный и лживый католицизм. Худо, но гениально. А у немцев — добродетельно, но не гениально. Дружить с ними можно. Ну а «серенады» немцам не запоешь. Я хочу сказать, что никогда они не пома-

нят и не доведут до слез, до слезной истерики человечество, как доводили его Афины, Рим, Иерусалим.

Не *священная нация* немцы — это очевидно. Гегемонию им можно всячески дать, даже с уважением, наконец, с охотой. И никому это не страшно. И ничего от этого не произойдет. «Честный учитель» так до гробовой доски и будет утешен, что вот и он когда-то был «гегемоном». Ну а чтобы дать радость 40 миллионам столь порядочных людей, можно другим народам и потесниться, даже чуть-чуть кому-нибудь пострадать. «Пусть немцы посекут нас; если это им в радость — ничего. Добрые люди вполне заслужили этого. И ничего от нас вследствие этого не убудет, и никому от этого слишком горько не станет». Да будет позволено сказать украдкой и эту приватную мысль.

«Верный немец», «тупой немец» равно с охотой и равно народно и исторически повторяет эти два определения самое население соседних стран. Повторил и я это, пересмотрев десятки тысяч берлинских лиц. Как они мне нравились! Вот уж не украдут, не обманут, не запутают. Тип Кречинского есть невозможность как сюжет немецкой литературы, равно и гений Гоголя и все его творчество было бы что-то совершенно чудовищное и неуместное, неприличное, невероятное среди их Новалисов, Тиков, Уландов, Шиллеров, Шлейермахеров, Гегелей. Немцы вовсе не имеют цинизма, того тонкого и подлого цинизма, которым (увы!) богата русская улица, и он есть «знакомое лицо» (к стыду!) и в русской литературе. Сколько Берне и Гейне ни пытались потянуть немцев в сторону шутки и остроумия — ничего не вышло. От этого отсутствия в немцах цинизма задача *en gros** немецкого правительства от полицейского до короля всегда была в сущности легка. Немецкий «Kaiser» так же добросовестно, преданно и с выразительным лицом стоит на своем «посту», как и толстый недвижимый сержант на углу Unter den Linden и Friedrichsstrasse**, а когда они два и подобно им все 40 миллионов немцев стоят равно «с отчетливостью» и добросовестно у своих лавочек, контор, банков, в учительской, в ученической, в пивной, в университете, в

*в целом (франц.)

**Под липами... Улицы Фридриха (нем.).

министерствах, в парламенте, то вот вам и готово государство, не всемирное, но в высшей степени удобное для обихода и которым вправе гордиться все Иоганны и Амалии. Сам бы я не женился на немке и лучшему другу-женщине не посоветовал бы соединить свою судьбу с немцем. Кстати, кажется, еще ни одна женщина из чужеземок не оставила своего мужа, не разбила свое счастье или полусчастье из-за немца, и даже этого нет как сюжета литературного. И в то же время ни за кого я с такою охотою не выдал бы замуж свою дочь, как за немца, и ни на ком бы не женил с таким удовольствием своего сына, как на немке. Как же: забота родительская, полное обеспечение! Себе — скучно, жене шепнул бы: «Скучно». А о детях — только забота, как бы обмана не вышло, как бы не вышло муки. У самого у меня железное здоровье, и я хоть с мукой, но потешусь. Вот этой «муки около потехи» или «потехи с мукою» совершенно не содержится в немецком характере. И от этого «Kaiser» их так счастливо улыбается и закручивает усы кверху. И Kaiser, и чиновники, и торговцы. «У нас дела идут хорошо: и, пока не стрясется над планетой чего-нибудь необыкновенного, — будут идти хорошо. К необыкновенному же мы не привыкли, и в необыкновенном мы растериваемся, попросту — бежим. Но такого мы не ждем, по крайней мере долго».

Все немецкое благополучно, и все немецкие дела идут пока в гору: это прямо видно на лицах тысяч проходящих, проезжающих людей, во многотысячной толпе, какую я видел в великолепном здешнем Зоологическом саду. Ни разу я не встретил этих тоскующих лиц, как у нас на Невском встретишь такого хоть одного за час прогулки; ни *одного испытующего взгляда*, мимоходом на вас брошенного, почувствовав который на себе — вздрогнешь. Нигде этих лиц, этих мимолетных встреч, какие, длясь минуту, помнятся годы, как у нас. Удивительно, никогда я так внутренне не плакал над несчастным русским характером, как здесь, среди этого довольства и благоустройства; так не растеривался при мысли об этом характере, как здесь; и нигде, однако, так ярко не чувствовал, до чего, при всем безобразии, русские — духовнее, талантливее, даже исторически как-то развитее и зрелее добрых сво-

их соседей-буршей. В Зоологическом саду, за длинным столом-«покоем» (П), прямо вот-вот передо мной заняли три лавочки студенты: совершенно как «малые» из Гостиного двора! Ни одной мысли, никакого выражения! Просто — сумма носа, губ, лба, галстука и шляпы. Да, мне известны омерзительнейшие истории из быта наших студентов: но чтобы можно было из студенчества нашего зачерпнуть вот подряд двадцать человек, ни на одном лице которых нельзя ничего прочесть, — это явление совершенно в России небывалое и невозможное. Лентяи они, озорники, невежды; но этой глупости, этой умершей «Психеи» (души) в них нет, в этом их обвинить невозможно. Даже иногда на сцене в театре выставлен студент «болтающийся», т.е. как сатирический сюжет, — и все-таки есть что смотреть в нем, чему смеяться, есть возможность живописи и портрета. Здесь я просто встал с лавки и, плюнув, сказал: «Дураки». Да будет прощено и это слово о великолепной в общем нации.

Не «великолепной», а скорее серенькой, тусклой: но что они сумели сделать из этого посредственного материала своей души через посредство работы, упорного труда, бесконечной добросовестности и наивной, героической и святой веры в прогресс, в вечную возможность вечного совершенствования! Россия не только по плечо, но и по пояс не доросла до Германии; и возможно ли не плакать, видя вот воочию, наглядно, как $2 \times 2 = 4$, до чего каждый русский сапожник и каждая портниха содержательнее, даровитее, духовнее, интереснее, фигурнее, изящнее (именно — изящнее!) таковых же немцев, и далее, перечисляя по рубрикам, то же скажешь о русском во всех положениях, состояниях, профессиях. Что за тайна?! Но никогда, как здесь, я не уверился в том, во что перестал верить в России: что теперешние ее несчастья, точно будто бы «разложение» и проч., есть что-то, очевидно, минутное какое-то недоразумение, что-то невероятное и, очевидно, имеющее скоро пройти! Ах, если бы не плутоватость наша, национальная, почти в каждом; если бы не эта наша русская лживость; если бы нам немножко немецкой нравственной серьезности, не патетической, но ровной и спокойной, — какая бы нация вышла на востоке Европы, какая судьба! Но нет

этого и, может быть, никогда не будет: и мы сумеем только «талантливо промотать» свое отечество, когда немцы сколачивают и сколотили уже из копеек великое царство. «Проклятая Россия», «благословенная Россия» — так эти две тезы и стучат в голову. Да будет прощено это слово, и вообще пусть читатель готовится извинять и извинять меня за несколько взволнованных мыслей, какие вызвал у меня Берлин.

Культура... Ну, вот отчего пишу эти мысли я, а не писал подобные или другие мысли в свое время Пушкин? То же чувствовал я в Италии: «отчего пишу я, а не Пушкин?..» Я хочу сказать ту простую оскорбительную и мучительную для русского мысль, что для человека такой наблюдательности, ума, впечатлительности, как Пушкин, не нашлось в России «в кульминационный момент ее политического могущества» каких-нибудь 3—4 тысяч руб., чтобы сказать ему: «Поди: ты имеешь ум, как никто из нас (и в том числе начальство, ибо это даже официально было признано!); и что ты увидишь там, что подумаешь, к чему вдохновишься — пиши сюда, на тусклую свою родину, в стихах или прозе, по-французски или по-русски. Пиши, что хочешь и как хочешь, или хотя ничего не пиши». И что бы мы имели от Пушкина, увидь он Италию, Испанию, Англию, а не одни московские и петербургские закоулки, кишиневские да кавказские таборы — с интересными «цыганами». Нет, ей-ей, русского человека с тоскующим лицом и винить (особенно, чрезмерно) нельзя. Вот перед великолепным здешним университетом (какое здание — дворец на Unter den Linden) стоят статуи двух, можно сказать, «святых» братьев, Александра и Вильгельма Гумбольдтов. Известно всем, какие впечатления Александр Гумбольдт вынес из путешествия по девственной, в научном отношении, Южной Америке. И тогда он захотел писать свой «Космос». Вот как происходит вдохновение! Но позвольте: что же бы Александр Гумбольдт написал, если бы какой-нибудь министр-вахмистр заставил его «составлять историю Берлинской королевской академии по архивным документам, хранящимся при канцелярии этой академии»? Александр Гумбольдт просто подох бы, ибо слушаться-то нельзя, вахмистр сильнее его, или превратился бы в какого-нибудь Пекарского,

Сухомлинова и пр. и пр., в знакомые тусклые фигуры наших университетских трудолюбцев! Параллель-то Пушкина, которую я привел, неопровержима. Сказать, что в России так-таки и не могло быть своих Гумбольдтов, Риттеров, Моммсенов, — невозможно. Но нужно вдохновение; нужна вдохновляющая культура: а у нас какая-то дикая азиатчина, что-то поистине нероновское или диоклетиановское в отношении к «Психее», «душе» человеческой, в смысле неуважения и презрения к ней, мучительства ее. Пример Пушкина неопровержим: почему пишу о Германии и Италии я, а не Пушкин? Пока это — так, а это — именно так, я неопровержим в той моей мысли, что русская культура просто раздавлена, как яйцо в руках самодура-силача. И ничего из этого яйца не вышло (кроме гадости), а может быть, вышла бы Жар-птица. Пушкин говорит и доказал собою, что могла бы родиться именно Жар-птица. Ну, может быть, вышло бы что-нибудь среднее, а у нас вышла просто гадость, вонючее содержание недоношенного яйца.

Бог с ней, с Россией, и с мыслями о ней. Пока я в Берлине и вижу эти довольные лица, я просто заражаюсь этим же довольством и радуюсь, что вот столько миллионов — не киснут, не охают, не «расстроены в нервах». Кто бы в человечестве ни был счастлив, а только был бы: мы должны этому радоваться всемирным человеческим чувством. Я сказал: задача немецкого правительства всегда была легка вследствие прелестных, особливых, глубоко провинциальных черт немецкого характера. Но и само это правительство, нельзя не заметить, всегда стояло впереди всяческого немецкого идеализма. Какое всюду — в памятниках, в надписях на памятниках — разлито уважение к этой, как я выразился, «вечной возможности вечного улучшения» в человечестве. Ученые здесь — короли, и царствуют наряду с императорами, и так же чтутся ими, как и сами чтут их. «Fridericus rex Apollini et Musis» («Король Фридрих — Аполлону и Музам»), — прочел я на здании немецкой оперы. «Artem non odit nisi ignotus» («Искусство не ненавидит никто, кроме невежды»), — вырезано на фронтоне Музеума — и читаешь это издали, так это огромно. Читают это гимназисты. В Музеуме они видят дивной работы крошеч-

ную ($\frac{3}{4}$ аршина) бронзовую статуетку «своего» Моммсена, читающего рукопись, и три портрета его же, удивительные по экспрессии фигуры и лица! «А вот как! Художники, король, вся Германия чтут этого длинноволосого старца, всю жизнь просидевшего за латинскими книгами». Ей-ей, это впечатление — как у афинян после Марафона: «Мы победили не силой, не величиной, но благородством, но уважением к уму, душе, к Психее человечества. И я буду таким же, не в его рост, *но растя туда же*, куда он». Такие впечатления даются улицей. И Иоганн с Амалией, потягивая свое безвкусное пиво и ведя безвкусные разговоры, думают, однако, и вправе думать: «Мы — граждане благородного отечества, первого в мире. У нас и Моммсен, и Гельмгольц, и Kaiser Wilhelm». И Kaiser Wilhelm старается для этих недалеких Иоганнов и Амалий, и старается для них же Моммсен. Все учат, муштруют друг друга, все вытягиваются — и все вперед, к «вечному прогрессу человечества». И он выходит. Да как ему и не выйти?!

Присматриваясь к этим удивительно непсихологичным лицам, к этому очевидному добродушию, простоватости и поверхностности, я все думал: откуда же взялась немецкая наука? и подлинно ли гениальна она? В «Музее древнего и нового искусства» есть целый узкий зал, где выставлены, в величину оригинала и с бесподобной точностью, снимки со всех работ Микель-Анджело. Перенесены сюда в гипсе, уже потемневшем, и гробницы Юлиана и Лоренцо Медичи, и Моисей — в полной величине. Вот такого никогда не имели немцы, как и чего-нибудь подобного католицизму — не сотворили же они. Какой-то материалист сказал: «Человек есть то, что он ест»². Конечно, это еще применимо к тому, что он «пьет». Вся немецкая культура и дух в конце концов замешаны на «добросовестном» пиве, но без игры виноградного вина. Вечного «Адониса», юного и прекрасного бога, увитого плющом и виноградом, все же никак не удалось залучить к себе немецкой культуре: ибо, напр., Винкельман и Лессинг, конечно, могли изучить «до ниточки» всякого Микель Анджело, Моммсен мог лучше, чем кто-нибудь, осветить Суллу, Гракхов и Цезаря: но это во всяком случае не то, что *быть самому* Буонаротти, или

быть Цезарем и Суллою, или *иметь* их в *своей истории*. Сама немецкая наука, которая, как ангел, осветила Европу XIX века, есть, однако же, ангел какой-то бескрылый, чуть-чуть тупой и толстый, даже в их Гегелях и Кантах, т.е. вершинах. Ну, послушайте, то ли это, что Платон в Академии, что Пифагор — во главе им организованного «Пифагорейского союза»? то ли это, что странствующие, тоскующие и певческие мудрецы Греции?! Глубокая неэстетичность жизни первых умов Германии, именно — что они только кабинетно сочиняли книги и теории, а сами почти что вовсе даже и не жили, отнимает свет и блеск у немецкой науки. Точно это вся наука «совершалась» где-то в погребке, а не на солнце и не приняла в себя солнца. Отсюда «история возрождения наук и искусств в Италии» — есть великая по занимательности, почти по романтизму страница всемирной истории. Ее изучать и описывать — увлекательно, *человечно*. Но, напр., писать «историю германской науки XIX века» — это почти только исчислять экспедиции и приводить «послужные списки» профессоров германских университетов, т.е. почти то же, что писать «историю королевской академии по архивным данным». Нет романтизма. Нет игры. Нет поэзии. Нет «бога Адониса» в германской науке, как не посетил он и их добросовестную, но не гениальную «реформацию».

Я зашел к воскресной литургии в главную здесь церковь на Королевской площади. Музыка вот-вот кончалась, когда я входил: и появился на высокой их кафедре пастор-профессор, лет 50—55, типа Шлейермахера. Наши русские студенты Духовной академии ныне совершают «учебные» или вообще «воспитательные» поездки куда-то за границу, то в Константинополь, то в Рим. Ну что же: напичкаются там археологией еще до большего пресыщения, чем до которого их пичкали и свои, туземные наставники. Пора бы подумать нашему духовенству и «духовному начальству» не об археологии, а о живом страдальце, русском народе, и позаботиться всерьез: как будущие пастыри станут его наставлять и просвещать; а для этой цели свозить сей «живой багаж» не только в тысячелетний Рим, но и в новенький Берлин. Проповедь пастора приурочена была к недавнему бракосочетанию гер-

манского кронпринца и была особенно обдуманна и торжественна. Он говорил о Лютере и реформации, что они значили для немецкого народа и из каких нравственных мотивов возникли. Это была дивно развернутая историческая лекция: и когда я смотрел на этого Шлейермахера «а presence»*, подумал: «Да, вот настоящий корень германской науки — реформация! И как реформация была и остается сутью и душою церкви, религии немецкой, так и их наука, выросшая на корне же веры, точнее, — ей в пособие, с ней в содружестве уже само собою почувствовалась королями и народом священно, религиозно, благоговейно». В самом деле, проповедь эта была только вдохновенной лекцией: и ведь послушайте, отличная лекция в самом деле может стоять хорошей проповеди, дышать духом проповеди и одушевить слушателя более, чем «поучительное повествование» о том, что поделывали Юстиниан с Феодорою в VI веке в Константинополе, и как их обличал Иоанн Златоуст³, и как в наше время встречаются такие же приблизительно пороки, как при Иоанне Златоусте, и слушатели сказанное Иоанном Златоустом должны применять к себе. Не знаю, справедливо ли мне передавали, но я слышал, что уже в народе, среди простолюдинов, о наших проповедниках поговаривают: «Да я дешевле, чем за три рубля (т.е. не иначе как за плату), не стану слушать никакой церковной проповеди»; а вот здесь тысячи две народа, и сплошь (судя по костюму и лицам) из образованных людей, не шелохнувшись, прослушали идейное освещение главного факта своей национальной истории и своей сердечной веры. Да и как не выслушать лекцию «какого-нибудь Шлейермахера»: вся Европа этих Шлейермахеров читает, по ним учится. Тогда как наших Филаретов и Платонов решительно невозможно, и не хочется, и не поучительно читать, кроме как специалистам; да и им они нужны в целях повторения и подражания, а не то чтобы от сердца и для ума. Ум-то и сердца-то настоящего, связи-то с жизнью вот этого русского народа, теперь и здесь — и нет в проповедях русских и у русских проповедников. И для научения этому их можно бы кроме Константинополя и Ри-

*современного (Шлейермахера) (франц.).

ма свозить в Берлин, в Брюссель, вообще в современные, дышащие теперешней, а не исторической жизнью города. Хорошему всегда и везде можно учиться, не теряя русского обличья и добрых сторон русского характера. Но я кончу о пасторе. Слушая его, я думал про себя: «Так вот корень немецкой науки; как и немецкой добропорядочности корень — в этом не гениальном, без Адониса, немецком протестантизме, в этом *furore morali**, с которым, можно сказать, мужик Лютер поднялся против великолепных кардиналов и порвал все их расчудесные мантии и тиары, все их хитросплетенное и лукавое учение, полное софизмов и своекорыстия. Германский пастор уже почти переходит в германского профессора, и профессор несет часть пасторского духа, жара, миссии. В то же время пастор — простой человек, как сказал о себе и Лютер, без «посвящения», без «тайинства» на нем: так что проповедовать может и каждый смертный, и раз, кажется, за это взялся даже Kaiser Wilhelm. И вот откуда вся их и всех их нравственная серьезность: что они все, и сапожники, и министры, и члены палаты депутатов, и банковые дельцы, и сам их царь, — немножко суть пасторы, со страхом Божиим, с законом совести и ответственности в сердце!»

*моральном пафосе (лат.).

РУССКИЙ НИЛ

(Впечатления на Волге)

В. П. ПЕТРОВ

ПЕТРОВ В. П.

«Русским Нилом» мне хочется назвать нашу Волгу. Что такое Нил — не в географическом и физическом своем значении, а в том другом и более глубоком, какое ему придал живший по берегам его человек? «Великая, священная река», подобно тому как мы говорим «святая Русь», в применении тоже к физическому очерку страны и народа. Нил, однако, звался «священным» не за одни священные предания, связанные с ним и приуроченные к городам, расположенным на нем, а за это огромное тело своих вод, периодически выступавших из берегов и оплодотворявших всю страну. Но и Волга наша издревле получила прозвание «кормилицы». «Кормилица-Волга»... Кроме этого названия она носит и еще более священное — матери: «матушка-Волга»... Так почувствовал ее народ в отношении к своему собирательному, множественному, умирающему и рождающемуся существу. «Мы рождаемся и умираем как мухи, а она, матушка, все стоит (течет)» — так определил смертный и кратковременный человек свое отношение к ней как к чему-то вечному и бессмертному, как к вечно сущему и живому, *тельному* условию своего бытия и своей работы. «Мы — дети ее: кормимся ею. Она — наша *матушка и кормилица*». Что-то неизмеримое, вечное, питающее...

Много священного и чего-то хозяйственного. И «кормилицею» и «матушкою» народ наш зовет великую реку за то, что она родит из себя какое-то неизмеримое «хозяйство», в котором есть приложение и полуслепому 80-летнему старику, чинящему невод, и богачу, ведущему многомиллионные обороты: и все это «хозяйство» связано и развязано, обобщено одним духом и одною питающею влагою вот этого тела «Волги», и вместе бесконечно разнообразно, свободно, то тихо, задумчиво, то шумно и хлопотливо, смотря по индивидуальности участвующих в «хозяйстве» лиц и

по избранной в этом «хозяйстве» отрасли. И вот наш народ, все условия работы которого так тяжки по физической природе страны и климату и который так беден, назвал с неизмеримою благодарностью великую реку священными именами за ту помощь в работе, какую она дает ему, и за те неисчислимы источники пропитания, какие она открыла ему в разнообразных промыслах, с нею связанных. И «матушка» она, и «кормилица» она потому, что открыла для человеческого труда неизмеримое поприще, все двинув собою, и как-то благородно двинув, мягко, неторопливо, непринужденно, повелительно. В этом ее колорит.

Все на Волге мягко, широко, хорошо. Века тянулись, как мгла, и вот оживала одна деревенька, шевельнулось село; там один промысел, здесь — другой. Всех поманила Волга обещанием прибыва, обещанием лучшего быта, лучшего хозяйства, нарядного домика, хорошо разработанного огородика. И за этот-то мягкий, благородный колорит воздействия народ ей и придал эпитеты чего-то родного, а не властительного, не господского. И фабрика дает «источники» пропитания, «приложение» труду. Дают его копи, каменные пласты. Но как?! «Черный город», «крошечный ад», «дьявольский город» — эти эпитеты уже скользят около Баку, еще не укрепившись прочно за ним. Но ни его, ни Юзовку не назовут дорогими, ласкающими именами питаемые ими люди. Значит, есть хлеб и хлеб. Там он ой-ой как горек. С полынью, с отравой. Волжский «хлеб» — в смысле источников труда — питателен, здоров, свеж и есть воистину Божий дар...

Нил связался у меня с Волгой, однако, не по этой одной причине. Я припомнил одно чрезвычайно удивившее меня сообщение, услышанное лет семь назад, в самый разгар моих увлечений страной фараонов. Сперва об этих увлечениях. Конечно, не фараоны меня заняли и не пресловутые касты, на которые будто бы делилось население Египта. Я хорошо знал, что эти касты никогда не существовали в том нелепом виде, как это представляют нам гимназические учебники, что образование открывало доступ к первым должностям в государстве всякому сыну пастуха или землевладельца; а что касается фараонов, то они... царствовали и завещали археологам свои мумии. Великий интерес

к Египту проистек у меня из удивления к такому подъему в нем жизненной энергии, сочных, ярких сил, какого, я твердо знал, никогда не существовало ни в Греции, ни в Риме, ни у евреев. Меня все занимал вопрос, откуда проистекала эта энергия, не опадавшая на протяжении времени, равного протекшему от Троянской войны (XII в. до Р.Х.) до наших дней. Греки гениально творили на протяжении каких-нибудь трехсот лет, римляне — на протяжении четырех столетий, но Египет не уставая, весело, с улыбкой творил начиная уже с 4-й своей династии, по крайней мере за три тысячи лет до Р.Х., и до этого самого Р.Х., когда александрийские художники славились еще изяществом и вкусом своих работ, а знаменитая библиотека, основанная Птоломеем-Филадельфом, видела в стенах своих первых ученых тогдашнего мира. И все это без усталости, без исторического утомления, без того утомления, которое после 1500 лет самобытной европейской истории так явно легло на все народы Западной Европы, французов, отчасти немцев и англичан, на полувывродившихся итальянцев, испанцев, португальцев, не говоря уже о жалком отребье, оставшемся от «эллинов». И как я угадывал не без основания, что родник жизни всякого народа лежит в его отношениях к трансцендентному миру, в его понятиях о Боге, о душе, о совести, о жизни здесь и судьбе души после смерти, то, естественно, меня и заняла мысль проникнуть в «святая святых»¹ племен, поклонявшихся каким-то странным Аписам и «волооким» Изидам. Это у Гомера имя Геры, верховного женского божества, всегда сопровождается эпитетом «волоокая», «с бычачьими глазами», «βοορίς»². «Что за красота?» — посмеивались мы гимназистами. Но когда я стал заниматься Египтом, то догадался, что Гера новенького греческого народца приходится кровною внучкою Изиде с берегов Нила, которая изображалась (не всегда) в виде женщины, но с головою коровы или (чаще) в виде молодой, красиво сложенной коровы, с разумными, почти говорящими глазами, «βοορίς», очевидно, осталось эпитетом от этих древнейших изображений ее бабушки. В Греции она стала полным человеком, без малейшего атрибута четвероногого, но «глазок» этого четвероногого сохранила.

Вдруг я узнаю, что один архилиберальнейший издатель³ в Петербурге, все издающий книжки по естествознанию и социологии, нечто вроде покойного Павленкова, имеет обыкновение каждые два года хоть раз съездить на берег Нила — так просто «отдохнуть и погулять», по-русски. На мое изумление, мне рассказали, что привлекают его вовсе не феллахи и английское владычество в Египте, но *памятники древности*; однако привлекают не как археолога и историка, ибо он не блистал этими качествами, а как *живого человека*, вот именно как издателя архилиберальнейших книжек, «самых современных и самых нужных». Удивлению моему не было конца. «Он просто любит это зрелище Египта, древнего, прежнего, сочного, яркого; и находит, что это очень напоминает нашу Волгу, но только напоминает как что-то осуществленное и зрелое, свой ранний задаток, свою младенческую фазу. Т.е. Волга — это младенчество, а Нил времени фараонов — это расцвет. И любитель Сен-Симона и социализма, немножко и сам социалист бродит около старых сфинксов с мыслью, что около Нерехты, Арзамаса и Казани могли бы стоять не худшие. Что придет время, и бассейн Волги сделается территорией такой же цветущей, хлебной, счастливой и здоровой цивилизации, как и побережье великой африканской реки».

Признаюсь, это удивительное сообщение, услышанное мною совершенно случайно, в мелькающем разговоре без темы, заставило меня взглянуть с совершенно новой точки зрения на наших радикалов. Несомненно, вот уже пятьдесят лет в них бьется какой-то сильный пульс. Несомненно, они куда-то ведут Россию. Их почему-то любят, за ними идут. Идут за их честностью, прямою, решительностью, готовностью к жертвам. И куда они приведут Россию? Порыв пока ясен в одном: в направлении к *сочности, жизни, цвету* народной и вообще человеческой жизни, без теснейших определений. Но я не думаю, чтобы это «безбожное» движение, каким оно выступает сейчас, и до конца осталось таковым. Когда-нибудь оно захочет молитв, поднимет глаза к небу, задумается о гробе и жизни. И тогда каковы будут эти молитвы? Куда? Кому?

Как бы то ни было, но, услышав приведенное сообщение, я крепко пожал руку оригинальному петербургскому либералу, которого никогда лично не встречал, хотя и знал его фамилию, как ее знает вся Россия. «Вот еще на какой почве русский человек может сойтись с русским человеком: не на вкусовом и симпатическом сочувствии, à la Чаадаев к католицизму, не на соловьевской теократии, не на протестантских чаяниях молодого нашего священства, а на вкусе, симпатии... просто к соку, силе и цвету бытия и жизни, на Ниле или на Волге». Кстати, в этот год вышла небольшая монография об одной египетской легенде г-на Сперанского⁴ в связи с вариациями той же темы в европейских сказаниях. При чтении ее меня поразило следующее: в египетских надписях, в папирусах собственные имена фараонов всегда сопутствуются предшествующими им предикатами: «Жизнь, здоровье, сила». Это что-то вроде нашего «благочестивейший, самодержавнейший». С этим постоянным устремлением ума на *биологический, виталистический* принцип жизни как было не прожить 3—4 тысячи лет? Все росло, все росли в «жизнь, здоровье, силу». Это уже не наше «надгробное рыдание».

И вот мне захотелось взглянуть на эти тихие воды, может быть, *будущие* «воды», в смысле далекой и новой судьбы, какая сложится на этих берегах для нашего племени. Сказал же о нем Лермонтов вещие слова: «Россия — *вся в будущем*»⁵. Сказал и обвел в своей черновой тетради эти слова чертою, как особенную и преимущественную свою веру, как свое горячее убеждение и предвидение.

Детство мое все прошло на берегах Волги — детство и юность. Кострома, Симбирск и Нижний — это такие три эпохи «переживаний», каких я не испытал уже в последующей жизни. Там позднее я как-то более господствовал над обстановкою, сам был зрелее и сильнее, и, словом, внутренняя моя жизнь, движение идей и чувств уже набирали впечатление улиц, площадей, церквей, реки. Не то в детстве, о котором и мамыши говорят, что «дитя — как воск, на него что *ляжет*, то и *отпечатается*». И вот я помню эту Кострому — первое самое длинное, тягучее, бесконечное впечатление. Знаете, взрослый человек как-то больше года, — хотя

и странно их сравнивать, — и от этого год ему кажется маленьким, коротеньким, быстро проходящим. Годы так мелькают в возрасте 40—50 лет. Но для шестилетнего мальчика год — точно век. Ждешь и не дождешься Рождества, и точно это никогда не придет. Потом ждешь Пасхи, и как медленно она приближается. Потом ждешь лета. И этот поворот лета, осени, зимы и весны кажется веком: ползет, не шевелится, чуть-чуть, еле-еле...

Дожди... Вообразите, что господствующим впечатлением, сохранившимся от Костромы, было у меня впечатление идущего дождя. У нас были сад, свой домик, и я все это помню. Но я гораздо ярче помню впечатление мелкого моросящего дождя, на который я с отчаянием глядел, выбежав поутру, еще до чая, босиком на крыльцо. Идет дождь, холодный, маленький. На небе нет туч, облаков, но все оно серое, темноватое, ровное, без луча, без солнца, без всякого обещания, без всякой надежды, и это так ужасно было смотреть на него. Игр не будет? Прогулки не будет? Конечно. Но было главное не в этом лишении детских удовольствий. Мгла небесная сама по себе входила такою мглою в душу, что хотелось плакать, нюнить, раздражаться, обманывать, делать зло или (по-детски) «на-зло», не слушаться, не повиноваться. «Если везде так скверно, то почему я буду вести себя хорошо?»

Или утром — опять это же впечатление дождя. Я спал на сеновале, и вот, бывало, открыв глазки (дитя), видишь опять этот же ужасный дождь, не грозовой, не облачный, а «так» и «без причины» — просто «дождь», и «идет», и «шабаш». Ужасно. Он всегда был мелок, этот ужасный, особенный дождь на день и на неделю. И куда ни заглядываешь на небе, хоть выбредя на площадь (наш дом стоял на площади-пустыре), — нигде не высмотришь голубой обещающей полоски. Все серо. Ужасная мгла! О, до чего ужасно это впечатление дождливых недель, месяцев, годов, целого детства — всего раннего детства.

«Дождь идет!» — «Что такое делается в мире?» — «Дождь идет». — «Для чего мир создан?» — «Для того, чтобы дождь шел». Целая маленькая космология, до того невольная в маленьком ребенке, который постоянно видит, что идут только дожди. «Будет ли когда-

нибудь лучше?» — «Нет, будут идти дожди». — «На что надеяться?» — «Ни на что». Пессимизм. Мог ли я не быть пессимистом, когда все мое детство, по условиям тогдашней нашей жизни зависевшее всецело от ясной или плохой погоды, прошло в городе такой исключительной небесной «текучести». «Течет небо на землю, течет и все мочит. И не остановить его, и не будет этому конца».

И не настало «конца», пока нас, маленьких двух братьев, не перевезли из Костромы в Симбирск⁶. Но тут началось уже все другое. Другая погода, другая жизнь. Я сам весь и почти сразу сделался другим. Настал второй «век» моего существования. Именно «век», никак не меньше для маленького масштаба, который жил в детской душе.

И вот почти в старости мне захотелось пережить «опять на родине», пережить этот трогательный сюжет многих великих русских поэтов.

* *

*

Обыкновенно, желающие отдохнуть на Волге отправляются из Петербурга до Нижнего и уже здесь садятся на пароход, чтобы видеть «наиболее красивые берега Волги». Это большая ошибка. Прежде всего железнодорожный путь, с летнею жарою и пылью, теснотой вагонов и вынужденною неподвижностью, является сильным приемом нового утомления на усталые нервы. Во-вторых... берега. Правда, после Нижнего они становятся гористыми, но это наши русские «горы», напоминающие только поговорку: «На безрыбье и рак — рыба». Действительно. Россия до того равнинная страна, что, всю жизнь живя в ней и даже совершая большие поездки, можно так-таки и не увидеть ни единой горы по самый гроб свой. Для такого переутомленного равнинностью соотечественника правый, «гористый» берег Волги, правда, кое-что представляет. Но для каждого, кто доезжал до Урала, бывал на Кавказе, в Финляндии и тем более кто видал Тироль и Альпы, «гористый» берег Волги является приблизительно «ничем». А так как «отдых на Волге» предполагает некоторые средства у отдыхающего, то большинство их видали *настоящие* горы запада и юга и, садясь

на пароход в Нижнем, имеют какое угодно удовольствие, но только не от «гористого» берега Волги. Напротив, если бы они сели на пароход в Рыбинске, как это сделал я, они испытали бы чрезвычайно много нового, свежего и поучительного, хотя бы и были заправскими туристами.

Важен не берег, а то, что на берегу. Как и везде в природе, интереснее всего человек. Верхняя половина Волги, до Нижнего, несравненно изящнее, красивее и одухотвореннее нижней тою огромною деятельностью, которая развита на ней именно начиная с Рыбинска. Едва по длиннейшим сходням вы спускаетесь на один из громадных, рядом стоящих пароходов, вы точно окунаетесь в «волжский труд», как что-то своеобразное, в себе замкнутое, как в особый новый мир, который сразу отшибает у вас память Петербурга, Москвы и даже вообще всего «не волжского». Удивительное ощущение, почти главное условие *действительного* отдыха, доставляемого Волгою! Пока вы сидите в вагоне, все равно, Николаевской или Рыбинско-Бологовской дороги, вы точно тащите за собою Петербург. Его впечатления, его психология, его тревобления — все с вами и около вас в разговорах, которые вы слышите, в ваших собственных думах. Даже когда живешь на даче очень далеко от Петербурга, уже по тому одному, что она связана непрерывною линией *рельсов* с Петербургом — этим железом и этим стуком, этою почтою и этими газетами, — вы никак не можете изолироваться от Петербурга и продолжаете, в сущности, жить в нем, но только как бы на очень отдаленной улице и мало посещаете центры его. Между тем для петербуржца *суть* отдыха, разумеется, заключается в *перерыве* петербургских ощущений, в разрыве с Петербургом. В этом отношении не только лучшим, но *единственным* способом «обновления духа» является плавание, и непременно не по Финскому заливу, который, естественно, является дополнением Петербурга, «предисловием» или «послесловием» к книге его духа и его истории.

Мерные удары колес по воде не утомляют вас, потому что это ново. Эти удары мягкие, влажные. Ими почти наслаждаешься, как простым проявлением движения и жизни, после того вечного стука и лязга желе-

за о железо или о камень, от которого никуда нельзя скрыться в Петербурге и в Москве и который истощает и надрывает всяческое терпение. У петербуржца и москвича половина душевной силы уходит на борьбу с этими *пассивными* впечатлениями, вам ненужными, которых вы не ищете, но которые лезут вам в душу независимо от вашей воли, и каждое из них потому только, что оно влезло в ваше ухо или в ваш глаз, — непременно «чиркнет» по вашей несчастной душе, как фосфорная спичка по зажигающей поверхности, и кое-что снимет с нее или покроет каким-то своим, повторяю, для вас ненужным и неинтересным налетом. Как бы эти впечатления ни были малы, но, уже в силу чрезвычайного их множества, они ложатся чрезвычайным балластом на душу. И я уверен, что так называемая неврастения, или душевное переутомление, столичного жителя происходит не столько от работы его, сколько вот от этих пассивных и ненужных впечатлений, зрительных и особенно слуховых, которые ни с какою работою не связаны, а раздражают даже больше работы именно оттого, что они невольны, неизбежны, что в отношении их чувствуешь себя каким-то зависимым рабом. Со временем, когда-нибудь, медики окончательно об этом догадаются и изобретут какой-нибудь *изолятор* для ушей, при котором они открывались бы только тогда, когда я хочу *слушать*. Все люди, желающие не только слушать, но еще и немножко размышлять и вообще жить «про себя» и «с собою», сторицею поблагодарят медиков за это изобретение. Говорят: «труд» и «труд». Но разве Бернулли и Лейбницы работали меньше теперешних докторов, адвокатов, журналистов? Но они решительно были *свежее, бодрее* их: и просто оттого, что в «доброе старое время» улицы еще не мостились, конки не звенели, фабричные трубы не дымили и не свистели.

Пассивные впечатления... ими займется когда-нибудь медицина!

* *

*

Уже на другой и третий день, как я сел на пароход, мне казалось, что я не только никогда не жил в Петербурге и помню его только какою-то *далекою памятью*,

но что я никогда не был и писателем. До того новый мир, «волжский мир», охватывает вас крепко своим кольцом, не дает пробудиться ничему из прежнего. Писем и не ждешь, тогда как прежде три раза в сутки почтальон «подавал почту». Газеты, во-первых, только на больших пристанях, а во-вторых, они до того являются запоздавшими против «сегодняшнего дня», что как-то не хочется и взглянуть. Да и сверх того натуральный, естественный мир самой Волги, панорама которой все шире раскидывается с каждым часом и сутками, решительно кажется вам интереснее всяких возможных политических новостей. Чувствуется, что здесь живут *века*: века строили эти городки и села, и, кажется, век стояла вот эта миниатюрная лавочка, где я покупаю чайную посуду. Сидит в ней и продает чашки какая-то «тетенька», а до нее торговала ее «маменька», а до них обеих — их «дедушка». И всегда-то это «было», не началось и не росло, а только было и дышало. И все на Волге, и сама Волга точно не движется: не суетится, а только «дышит», ровным, хорошим, вековым дыханием.

Вот это-то вековое ее дыхание, ровное, сильное, не нервное, и успокаивает.

* * *

*

Людей на пароходе, сравнительно с городской улицей, конечно, слишком мало. И это тоже очень хорошо, и даже слишком хорошо. Все молча становятся «знакомыми», запримечая друг друга некоторым ласковым примечанием. Не образуется опять-таки той «толпы без лица», вечно новой и куда-то уходящей, которая в Петербурге и Москве проходит перед вашими глазами как бесконечная лента шляпок и «котелков». «Фу, пропасть! Устал!» — этого вы не говорите на пароходе, видя, как вчера и сегодня усаживается за свой «чаек» та же чета, или семья, или одиночки. Мanners каждого помнятся, и образуется, повторяю, молчаливое ласковое знакомство всех со всеми, не утомляющее, не раздражающее и развлекающее.

Несколько практических замечаний для туристов: пароходы всех решительно компаний, вероятно нуждою соперничества, сведены к совершенно одинако-

вой плате за проезд и совершенно одинаковы в смысле комфорта, величины, хода и пр. Так что как одинаково покупать булку у Филиппова, Савостьянова или Бартельса, так совершенно одинаково садиться на пароход «Самолета», или «По Волге», или «Бр. Каменских». Все они теперь так называемой американской системы, которая дивила и чаровала лет тридцать назад взор волжан первыми пароходами этой системы: «Император Александр II», «Колорадо» и «Бернардаки». Теперь этих пароходов, нет, но все таковы же: только самолетские некрасиво розоватого цвета. «По Волге» — белого (очень красивого) и, кажется, других обществ — тоже белого. Белая стройная громада, быстро движущаяся по реке, чрезвычайно красива. Практическое замечание об одинаковости всех пароходов важно в том отношении, что делает совершенно ненужным телеграфный заказ себе каюты из Петербурга или Москвы: всегда в течение полусуток вы можете отыскать себе свободную и удобную каюту на пароходе, отправляющемся через 1—2—3—5 часов, и это не составляет многих хлопот, так как все пароходные пристани рядом. Далее, если бы вы сделали эту ошибку — заказали по телеграфу, то ни в каком случае не заказывайте первого класса, а второго. В старой конструкции пароходов, не «американской системы», действительно была разница между первым классом, который помещался наверху, и вторым, который помещался внизу, в корпусе корабля. В случае пожара, столкновения и вообще несчастья с пароходом, днем или, особенно, ночью, положение пассажиров второго класса было губительно, ибо каюты его быстро заливались водою, а выбежать из них нельзя было скоро; в этом отношении первый класс представлял огромные преимущества. Но при «американской системе» оба класса выведены на верхнюю палубу, каюты совершенно одинакового размера по величине и по всему убранству, и пассажиры обоих классов пользуются всею верхнею палубою, обнесенною барьером и ничем не разгороженною, не отделенною, совершенно слитою. Единственная разница заключается в том, что столовая первого класса имеет несколько великолепных кожаных кресел, тогда как во втором классе мебель столовой — гнутая, буковая, тоже превосходная в

смысле комфорта и изящества. Второй класс помещен на кормовой палубе, первый — на носовой. Вот и все. Разница до того ничтожна, что кажется нелепым самое разделение на «первый» и «второй» классы. Поэтому при большом рейсе, и особенно если поездка совершается семьею, причем цена билетов становится уже значительною, ни в коем случае не следует брать каюты первого класса. Несколько десятков рублей, выигрываемых при этом, гораздо лучше истратить на том же пароходе на что-нибудь более приятное.

Два слова о бескультурности, о нашей русской *молодой* бескультурности, которая объясняется не отсутствием ума или уменья, а вот именно только *молодостью*, неопытностью, недосмотром и какою-то именно молодою торопливостью, ажиотажем или застенчивостью. Например, в столовой первого класса есть рояль, но за восемь дней путешествия только один раз случилось, что одна пассажирка сыграла после обеда несколько пассажей, галантно попросив позволения у присутствующих. Между тем музыка так приятна на реке, что естественно было бы, если бы вечером перед ужином или после обеда «присутствующие» просили бы кого-нибудь в среде своей побаловать их роялью. И выслушали бы с простой благодарностью непервосортную музыку. Первосортная музыка требует и первосортного слушателя. Зачем эти претензии?

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь...⁷ —

как сказал наш Пушкин о книжном русском учении, и то же самое можно повторить о художественном и о музыкальном русском учении. Средний уровень слушателей, естественно, поблагодарил бы за среднюю музыку, и, безусловно, среди пассажиров, и особенно пассажирок, каждый день и каждый час были такие средние музыканты и музыкантши: это было видно по лицам, по платью, ибо «немножко музыке» у нас все учатся из известного круга. Но никто из них не сел за рояль по этой вот бескультурности, по этой почти мешанской мысли: «А вдруг среди слушательниц и слушателей кто-нибудь знает в музыке больше меня и внутренне посмеется надо мною». Какое-то уже апри-

орное предположение вражды и насмешки к себе в слушателях: какая-то своя вражда к этим слушателям. Фу, как это неумно!

В этой же столовой шкаф с книгами — крошечная пароходная читальня. Опять — как умна мысль! Но каково ее выполнение? «Рим» Э. Золя и еще несколько его же романов. Гончаров, Достоевский и несколько беллетристов из более новых. Почему «Рим» и зачем вообще Золя на Волге? Я пересмотрел заголовки книг: *ни одной, относящейся к Волге*. Это до того странно, до того неумно, что растериваешься. Между тем, строя огромный пароход, ставя на нем рояль, меблируя его великолепной (совершенно ненужной) мебелью, что стоило поставить в книжный шкаф «Волгу» Виктора Рагозина — огромное и дорогое (рублей 16) издание со множеством карт и объяснительных рисунков, вышедшее лет двадцать назад и, вероятно, именно по серьезным своим качествам не нашедшее ни рынка, ни читателей? Нет даже кратких «путеводителей» по Волге — ничего! Нет описания хотя бы какого-нибудь приволжского города! Между тем у нас есть «Географический словарь Российской империи» — многотомное издание академика Семенова, где есть исчерпывающие, хотя и сжатые, научные, не художественные описания решительно всякого местечка в России, и в том числе, конечно, Волги и всех не только городов, но и сел по ее берегам! Конечно, этому Словарю первое место на волжских пароходах. Есть целая литература о Нижегородской ярмарке, о движении товаров по Волге, о гидрографических свойствах и русла, и течения Волги, но из этого ничего нет, ни одного листка в «читальнях» волжских пароходов. Наконец, если уж брать «развлекающую» беллетристику, то отчего было не взять «В лесах» и «На горах» Печерского, это великолепное и единственное в своем роде художественное воспроизведение быта раскольников по верхней (лесной) Волге и по нижней (гористой) Волге! В составлении «читальни» выразилось глубокое неуважение пароходных компаний к своим пассажирам, которое на самом деле свидетельствует только о глубоком невежестве самих этих компаний. И между тем нельзя поверить, чтобы в составе «правлений» их не было людей очень образованных и умных. Просто

«так пришло в голову», «не догадались» вот этою молодую недогадкою 17-летнего юноши или только что кончившей курс гимназистки.

На стенах столовой — ни одного полтипажа приволжского города, тогда как, естественно, ожидалось бы встретить здесь «виды» всех значительных городов. Это так ведь легко! И наконец, — что составляет уже совершенное и необъяснимое варварство, — ни на котором из двух лучших пароходов общества «Самолет», на которых я ехал: «Князь Юрий Суздальский» (ходит до Нижнего) и «Гоголь» (от Нижнего до Астрахани), нет карты Волги и нет даже карты Российской империи, по которой бы можно было следить пассажирам, где они будут, к какому городу пристанут в ближайший час, какая река впадает в Волгу в этом-то месте и проч.! Между тем в Петербурге на Финляндском вокзале висит громадная карта Финляндии, и на ней все железные дороги ее и другие пути сообщения: реки, каналы, озера, все, что может быть нужно или любопытно пассажиру узнать.

Варварство! Дикое варварство!

И между тем эта грошовая претензия на интеллигентность: «Князь Юрий Суздальский» (знание до некоторой степени частных историй), «Гоголь», «Достоевский» (якобы любовь к литературе!). И такое невежество в простой грамоте!

На ночь в каюте, прекрасной, благоустроенной, пытаюсь запереть окно, выдвинув его из-за жалюзи, которое весь день прекрасно затеняло каюту. Ушиб руку, ссадил палец и должен был вызвать звонком слугу, который, наконец, и справился: наложил крючок на петлю. «Так просто?» — удивитесь вы. Но что же делать: крючок привинчен к движущейся деревянной раме так низко, что не может свободно вращаться вокруг своей оси, а упирается кончиком в подоконник. Окно (в задвигающейся раме) было в течение дня открыто, и предательский крючок уже наставился, так сказать, «упрямым лбом» в подоконник. Его следовало бы спичкой или гвоздиком *предварительно* приподнять и затем выдвинуть раму. Но, не ожидая «западни» в таком месте, я просто сильно дернул раму из пазов. Тогда «упрямый лобик» крючка плотно уткнулся в подоконник. Рассмотрев дело, я уже пыта-

юсь приподнять крючок спичкою. Не тут-то было: он «плотно уперся», спичка ломается, а он в том же положении. Дергаю — не поддается. Тогда, чтобы ослабить крючок и его «упорство», я чувствую, что раму надо еще дальше задвинуть внутрь пазов. Тогда все ослабнет, и я подыму крючок за «носик» спичкою. Но рама уже до края задвинута, и дальше подвинуть невозможно. А потому невозможно и ослабить упершегося крючка, а следовательно, и приподнять его, а с тем вместе и закрыть все окна! Я до того поражен глупостью и чепухой всего этого дела, что стал сильнее и сильнее дергать раму, думая, что она хоть сколько-нибудь приподнимется в пазу, крючок сделает оборот около оси — и все дело кончено. Ничего не вышло, — и я с болящей рукою зову слугу, который, рванув раму мужицкою силою, действительно заставил ее подняться на тот нужный миллиметр или два миллиметра, которые дали крючку повернуться около оси, — и рама выдвинулась!

Но, добрый читатель, ведь это целая метафизика народного характера! Пароход стоит миллион, на нем всяческие приспособления: машины, рояль, чудная мебель, «читальня». Почему же, когда делали раму, не выбрать было или крючок покороче на два миллиметра, или привинтить его к движущейся раме на два миллиметра выше! Наконец, отчего слуге не доложить капитану, что «в этой каюте окно не запирается», а капитану, взглянув, не приказать поставить другой крючок или переместить старый! Вдобавок, уже приехав в Кисловодск, я узнаю, что именно на пароходе «Гоголь» всего за сутки, как мы сели на него, убили и ограбили в каюте первого класса пассажира. Может быть, именно при незапертом окне! И даже, может быть, того несчастного пассажира, который пытался запереть более фундаментальное окно и, не достигнув цели, «плюнул», как говорится, на дело и положился на одно легонькое жалюзи, крючок коего отпирается без всякого затруднения и шума через сквозные отверстия между палочками жалюзи, для чего достаточно иметь длинный гвоздь с загнутым концом. Грабитель и убийца, бесшумно отодвинув жалюзи, мог столь же бесшумно войти через него в каюту и задушить и убить спящую жертву, не дав ей и вскрикнуть.

И после этого не осмотреть крючков! Как и не назначить дежурств около кают многочисленной прислуги парохода, не занятой ночью. Ничего!

Где же метафизика этого? Одна молодость нации? По крайней мере не одна она: еще *пассивность* народная, эта ужасная русская пассивность, по которой мы оживляемся только тогда, если приходится хоронить кого-нибудь. Тогда мы надеваем ризы, поем, кадим. Великолепно! Красота, поэзия, движение — точно все обрадовались. Но вот похоронили мертвого, остались люди жить.

И всем так скучно, так сонно!

Удивительная нация, которой «интересно» только умирать!

* *

*

Громадные новые мануфактуры и старинные церковные городки чередуются по верхнему течению Волги. Я назвал эти древние исторические города церковными, потому что в самом деле «храм Божий» был единственным не частным, не личным достоянием в городе, единственным местом, где собирался народ и где он единился в общих молитвах, обрядах, в уповании и таинствах, и, следовательно, единственным выражением его культурной и политической физиономии. А затем, до нашего времени, «храм Божий» сохранился и единственным историческим памятником города. Кроме него, что же еще, положим, в Нерехте, в Плесе, в Юрьевце, в Макарьеве? За чертою храмов, вне круга богослужений, уже начинается совершенно частная, пофамильная жизнь: начинаются те «семейные хроники», один образец которых оставил нам С. Т. Аксаков. Жизнь эта, бесполезно медлительная, почти стоячая, везде сходная, в каждом доме, во всяком дворе, есть уже достояние литературы, поэзии, бытовой живописи. Здесь каждый мазок, положим, живописца, изображает и момент, и вечность, ибо относится равно и к концу, и к началу XIX века, да даже, пожалуй, и к XIX, и к XVII веку. Я сказал, что это «стоячая жизнь», и мне грустно, что тут есть упрек, ко-

того в душе у меня нет: «стоячее» — я говорю не в ином смысле, как назвал бы «стоячим», не изменяющимся и наше лицо. И оно изменяется так медленно, как будто вовсе не изменяется. Но в этой своей неподвижности оно, конечно, живет. Так и был в XIX веке уже чуть-чуть не тот, что в XVII, но именно чуть-чуть. Так же доят коров, выгоняют их в поле, делают из молока творог и сметану, любят, женятся, рожают, умирают; рассказывают о колдунах и разбойниках; мечтают о царе, царице и царевиче. И надо всем этим единственной историческою фигурою стоит «поп», который крестит, венчает и хоронит по обрядам Византии⁸. «По обрядам Византии», а не по обычаям Нерехты: и как сказали это слово, так и началась история, открылись связь народов, судьба и водоворот культур. Византия — это павшее язычество, начавшееся христианство. Здесь приходи Иловайский и пиши свой труд взамен поэтических страниц Аксакова, Тургенева и Некрасова.

Вот почему я и говорю об этих городках: «церковные». Исторического в них только и есть церковь, храмы. И как же хороши они, напр., в Романове-Борисоглебске, двойном городке, раскинутом на обоих берегах еще неширокой здесь Волги⁹. Самые имена и одного и другого города, и Романова, и Борисоглебска, говорят о самом начале нашей истории, о князе Романе (неужели Галицком?) и святых убитых братьях Борисе и Глебе. Если связать все это с недалеким Ярославом, получившим свое имя от Ярослава Мудрого, мстившего Святополку Окаянному за умерщвление Бориса и Глеба, то вот и все «зачало» русской истории. Грустная история. И как-то сумела же она сохранить не только имя, но и колорит, или «наваждение», святой среди таких сцен убийства, братоненавидения и кровавых распрь. Читаешь подробности: все, кажется, дрались, убивали. Одно ослепление Василька Ростиславича чего стоит: нанятый раб вырезал ножом глаза предварительно связанному князю, который смотрел, как этот раб точит нож, смотрел последним смотрением очей своих и знал, что он готовится сделать, и заплакал последними слезами... Бррр!.. Но вот умерли все; посыпал всех землею исторический «поп». Собрат его летописец Пимен¹⁰ принялся за «Повесть вре-

менных лет» — «откуда есть-пошла русская земля»¹¹. И все стало «святым». Чудное действие воображения и исторической перспективы.

Только еще в Москве есть такие прекрасные церкви, как в Романове-Борисоглебске и Нерехте, да не знаю, сравнятся ли и московские. Пишу наугад и потому только, что московские мне тоже очень нравятся. Но когда я смотрел на эти палевые, темно-желтые или светло-серые колоколенки, высокие, остроконечные, с маленькими окошечками-просветами на все стороны: когда смотрел (у других церквей) на совершенно крошечные ярко-золотые главки, выделяющиеся на синем фоне купола храма, — мне казалось, что ничего лучшего не только нет, но и нельзя себе вообразить, нельзя пожелать. «Вечно бы молился в этом храме» — внушить эту мысль, вызвать это расположение — не есть ли задача вообще церковного строительства? И если она вызвана, в сущности, «избушкой на курьих ножках» (по величине и незамысловатости всего), то ведь что до этого за дело? Почему храм должен быть величествен, огромен, изящен, пропорционален, «Парфенон» или «Пропилеи»?! Нипочему. Храм должен быть просто храм, то есть чтобы вот молиться Богу. Должно быть, в русской душе есть что-то бесконечно прекрасное в отношении ее к Богу, милое, простое, доброе, что она создала такие для себя храмы, создала медленным тысячелетним созиданием. Уверен, в Греции таких нет. И нигде нет. Это вовсе не «влияние Византии», ибо ведь строили их уездные маленькие зодчие, ну — губернские, но вообще «какие-нибудь», не Растрелли, не Тоны, и проч. Отчего же этих московских приходских церквей или вот романово-борисоглебских и нерехтских нет в Петербурге, в Одессе, где ученые архитекторы, уж конечно, знают хорошо «византийский стиль»? Нет, тут провинциальный наш вкус, тот милый вкус, который дал кружево и аромат таким приволжским созданиям, как, например, «Обрыв» Гончарова, или тургеневским «Запискам охотника». Это воздвигла не «православная вера» и даже не «христианство», которые воздвигли же в других местах — св. Петра в Риме, св. Павла в Лондоне, кельнский и страсбургский кафедралы. Нет, просто это «русская вера» создала себе камороч-

ки, где она молится, где она теплится. И как это хорошо!

С печалью я думаю, и давно думаю, что пройдет время — и развалятся эти кирпичные уездные церковки. И вот будущий историк даже не поймет, о чем я здесь говорю: до такой степени отлетит память о них. Ибо, кажется, никто не сохраняет для исторической памяти и нигде в подробностях красок и размеров не воспроизведены эти уездные «избушечки на курьих ножках». Святейший Синод за два века своего существования не озаботился составлением генерального описания всех российских монастырей и церквей¹². «Генерального» — это прежде так говорилось о всем «всеобщем»: «генеральная карта России» и проч. Генеральное значило «универсальное», «исчерпывающее». Это в ту пору, когда Россия была помешана на генералах или, деликатнее, «чувствительно тронута» ими...

Когда мы подъехали к Кинешме, то, завидев издали такие-то вот две церковки на окраине города, за садами и в садах, я не утерпел и, так как пароход грузился у пристани два часа, решил осмотреть их. Взял возницу. Подъем. Пыль. Какие-то лавочки. Бульварчики. Бредут жители. Сонно, устало, жарко. Что-то копают, кажется, новый затон. Это по части «мануфактуры и торговли», и я спешил далее, к старой исторической Руси. Но вот показались и корпуса церквей с золотыми главками, над синим куполом. Соскакиваю торопливо с возницы, иду по лестницам (церковь, дальняя, поставлена высоко на пригорке, укрепленном каменной кладкою). Какой-то мальчик.

— Как пройти в церковь?

Оглянулся и бежит дальше... Точно никогда людей не видал.

Как же мне пройти в церковь?

— Эй, дяденька, как бы мне пройти в церковь?

Этот «дяденька» лежит на лавке и спит около церкви...

Дяденька пошевелился. Я его растолкал.

— Что вам угодно?

— Мы проезжие. С парохода. Нам хочется осмотреть церковь. Вы сторож будете?

— Сторож.

— Так вот, пожалуйста, отоприте. Взглянуть. Путешественники.

— Что это вы? Разве я могу своею властью. Спросите разрешения у отца настоятеля.

— А где отец настоятель?

— А вон домик, раскрытые окна.

Пошел. В воротах встретил какого-то гимназиста и гимназистку. На мой вопрос ответили: «Там».

Иду «туда». Торгнулся в крыльцо. Отворилось. В дверь — тоже не заперта. Кухня, таз, мыло и умывальник. Торгнулся в следующую дверь.

— Кто там?

— Мы.

— Чего нужно?

— Путешественники. С парохода. Хотим осмотреть церковь и пришли попросить у батюшки разрешения отпереть и показать нам. Сторож говорит, что не может без разрешения о. настоятеля.

Но я напрасно уже говорил дальше. Никакого звука «оттуда» не последовало. Опять повторяю. Опять стучу! Ничего! Заперлась баба — верно, «матушка», и не из добрых, — и, чтобы не беспокоить «батюшку», а вместе с тем и не вступать в пререкания, решила просто не отзываться. Этот стук в дверь, когда я знаю, что за нею сидит живой человек, этот мертвый и безответный стук до того меня раздосадовал, что и сказать не умею. Очарованность как слетела. Казенная вещь, а я думал — храм. Просто казенная собственность, которая, естественно, заперта и которую, естественно, не показывают, потому что для чего же ее показывать? Приходи в служебные часы, тогда увидишь. Казенный час, казенное время, казенная вещь. А теперь час сна.

Я шел. И на душе сумрачно. Обхожу кругом храма, который все-таки очень хорош. Сбоку, смотрю, дверца открыта, т.е. в фундаменте, и я вошел в полутемный сарай-хлев-погреб, не знаю что. Сырость, гадко, земля и кирпичи. Вижу, стоит тут плащаница. Старинная, живопись полустерта, но несомненно это плащаница, по изображению умершего Христа на верхней доске или, благочестивее, «дске», «дщице», а на передней боковой доске какие-то пророки или праотцы, и что-то они говорят, потому что от губ их,

входя в губы острым уголком, идут далее расширяющиеся ленточки, на которых написаны изречения, цитаты из этих пророков или праотцев, вероятно предрекающие пришествие Христа и Его крестную за нас смерть. Несомненно, это как образ, да и, кажется, плащаница считается еще святее образа: с каким благоговением к ней прикладываются в Страстную пятницу и субботу! Но куда же ее поместили? Это гораздо хуже сарая, это — хлев и даже более черное место, которое страшно назвать. Запах был несносный, тяжелый.

— Верно, эта старая плащаница, прежняя, не употребляемая более. И вынесена, так сказать, без священства в несвятое место.

Все, с кем я был, думали так же. Пошли спросить сторожа, ибо за плащаницу мы были смущены и почти испуганы. Но сторож куда-то ушел. Обошел вокруг церкви. Дворик, должно быть, сторожа. Вошел туда. Смотрю: женщина в положении католических мадонн чистит самовар. Следы юбки, расстегнута рубашка, груди наружу, молодая и нестесненная.

— А где сторож?

— Не знаю.

— Это что у вас за плащаница там?

— Плащаница.

— В сарае?

— Это не сарай, а место.

— Как «не сарай, а место»: это хуже сарая, там пахнет, грязь и сор, всяческое.

— Ну так что же?

— Как «что же»? Верно, есть другая плащаница, новая, а это — прежняя, вышедшая из употребления. Тогда — другое дело. Вы, верно, тетенька, не знаете.

— Знаю я, другой плащаницы в церкви нет. А что открыли место, и вам бы не надо туда заглядывать, то для того, чтобы просушить. Сыро там.

Еще бы не «сыро». Как в могиле. И какая ирония: поместить в самом деле «Христа в гробу», что изображает собою плащаница, в такую ужасную яму, под фундаментом, грязную! Воистину «в могилу»! Но как это сделано, конечно, без всякой имитации и уподобления грозному и ужасному событию Иерусалима¹³, а по кинешемскому небрежению, то невозможно не ска-

зять, что эта «простота», грубость и бесчувственность стоят западного острословия.

Ну, эти кинешемские Ренаны, пожалуй, отрицают не меньше парижского, только на другой фасон. А впрочем...

Я сел на извозчика.

— А впрочем, «казенное место»!

Пыль, жара, барышни, гимназисты, мост и строящийся затон. А вот и наш «Самолет» и пароход «Князь Юрий Суздальский».

* *

*

В Ярославле мне захотелось отслужить панихиду по недавно почившем архиепископе Ионафане — человеку добром, простом, чрезвычайно деятельном, но деятельном без торопливости и ажитации. Потеряв рано жену и имея дочь, он постригся в монашество, но сохранил под монашескою рясой сердце простого и трудолюбивого мирянина, отличный хозяйственный талант и благорасположенное, внимательное сердце к мириадам людей, с которыми приходил в связь и отношения. За это он получил название «отца», несшееся далеко за пределами его епархии. Ничего специфически монашеского в нем не было, но, не рассуждая, он принял с благоговением всю монашескую «оснащенность» и нес ее величественно и прекрасно, веря в нее традиционно, но полагая «кумир» свой не в клобуке и жезле, а в заботе о людях и в устройении надобностей епархии. И как-то он приветливо и хорошо это делал, что имя его благословлялось в далеких краях и рядами поколений. Богословом он не был, принимал целиком и все традиционное. Все из принятого было для него «свято». Но, выразив свое отношение к традиции в этих пяти буквах, он затем уже, не растериваясь и не разбрасываясь, всю энергию живого человека обратил на теперешнее, текущее, современное.

Пароход подходил поздно к Ярославлю, и я поспешил к мужскому монастырю, где погребен преосвященный Ионафан¹⁴, пока не заперли ворот. Вот опять эти памятные садики и дорожки монастыря — резиденции местного архиепископа. Только мне показалось, что все теперь запущеннее и распушеннее, чем

как было при Ионафане¹⁵. Впрочем, может быть, только показалось. По садику бредут... не то монахи, не то послушники, молодые и бородатые, и как будто нетвердою поступью. Подумал, грешный: «Венера и Бахус из древних богов одни перешли к нам: здесь, может быть, и нет Венеры, но царство Бахуса очевидно». Впрочем, может быть, это все мои преувеличения, и из намеков я построил действительность. Иду дальше, подхожу к какой-то арке, соединяющей два здания, и вижу монаха ли, послушника ли, идущего уже явно нетвердою, виляющею походкой и вытянув руки. «Ну, пьян так, что на ногах не держится, и ищет, за что бы ухватиться и поддержаться». Я смотрел с отвращением, но, подойдя ближе, с удивлением увидел, что это — слепой. Вынув гривенник, кладу ему в протянутую руку (слепой калека, сам не может пропитываться).

— На что? — переспросил он.

Голос резкий, громкий.

— Милостыня.

— Я милостыни не беру. Не нуждаюсь.

И он отстранил руку.

Сконфузившись, я сказал, чтобы он поставил свечку над могилой преосвященного Ионафана.

— Это могу. — И положил гривенник в карман подрысника.

— На что же ты, голубчик, живешь?

— На свои средства. Звонарь. Исполняю должность звонаря здесь.

— Звонаря? Но ведь это надо лазить на колокольню? Как же при слепоте?

Он, нащупав дверь и замок, отпер ее.

— Так что же? Слепота не мешает. Я везде хожу и все делаю.

И, главное, такой бодрый и крепкий голос, глубоко уверенный в каждой ноте, при очевидной старости монаха ли, послушника ли.

— Вы что же, монах будете?

— Рясофорный. Я рясофорный монах. (Т.е. имеющий рясу-мантию, довольно величественную.)

Это значит в монашестве то же, что у нас «столбовой дворянин».

Я стал вежливее и все удивлялся полуудивлением.

— Не хотите ли у меня чаю откусать?

Я и мои спутники поблагодарили его, но обещали зайти на обратном пути, отслужив предварительно панихиду по Ионафану.

Пошли и отслужили по доброму владыке. Мир праху твоему, воистину пастырь добрый.

Любопытство наше было возбуждено, и мы решили завернуть в келью слепого звонаря. Она помещается в фундаменте ли церкви или в толстой старинной стене — я не разобрал хорошенько. Во всяком случае три ступеньки от двора ведут вниз, в углубление. Стоит одиноко, не примыкая ни к каким другим кельям. Похоже на сторожку именно звонаря.

Вошли. Все чисто прибрано. Просторно, хоть и не очень. На стенах почему-то несколько часов. На комодке тоже часы. Посреди комнаты новенькая фисгармония. За нею кровать. Прибрано и чисто, но странно.

— Чья же это фисгармония?

— Моя.

— Кто же на ней играет?

— Я играю. — В голосе его удивление на мои вопросы.

— Как играете, когда вы слепы? Ведь вы не видите клавиш, куда же вы ударите пальцем?

Не отвечая, он сел за фисгармонию, издал несколько приятных аккордов.

— Что же вам сыграть, светское или духовное?

У «рясофорного монаха» мы решились выслушать что-нибудь духовное. Я попросил из пений на Страстной седмице.

Но как в пении это хорошо, так на фисгармонии выходило «не очень». Или слух не приучен, или уже те протяжные и монотонные звуки так и сообразованы только с человеческим голосом. Правда, «играть» и «петь» — какая в этом разница! Вероятно, звуки симфоний показались бы тоже нелепыми, попробуй их выполнить через пение.

Была игра, и правильная игра. Я вспомнил «св. Цецилию», слепую музыкантшу католической церкви. Право, этот деятельный русский монах мне нравился не менее. На этот миг.

Оставив клавиши, он заговорил (на мои вопросы):

— Рано ослеп. Ребенком. Света и не помню. Играю, потому что слух есть. Я все звоны здесь устано-

вил, до меня была нелепость, нелепый звон, не музыкальный и не согласованный.

Так как я не понимаю в звоне, то и не мог очень понимать его разъяснений. Но определение «нелепый звук», несколько раз твердо им сказанное, запомнил хорошо. Скорей из направления и тона его объяснений я понял только, что наука звона мудреная и сложная, требующая понимания музыки, гаммы; что требуется подбор колоколов и проч.

— И в Ростове Великом звоны я же устанавливал. Там пять звонов. (В цифре могу ошибаться.)

Он говорил явно о системе звона, о методе и тоне, что ли, не понимаю. Очевидно, однако, по твердости и уверенности объяснений и по высокой разумности всей речи, что он был высокий художник этого, в сущности, очень важного дела. Наблюдали ли вы, что по звонам, например, различаются католическая и наша церковь? В католической церкви колокольный звон — точно мяуканье кошки. Так вкус выбран. Что-то крадущееся и стелющееся, «иезуитское». У нас звон — точно телка бредет. Басок, тенорок и дискант — все в согласии. «Хоровое начало» славянофилов? Не знаю. Во всяком случае для городов и весей русских выбор характера колокольных звонов куда важнее «filioque»¹⁶, в котором никто ничего не понимает. Мелодично-грустный «вечерний звон» русских церквей скольких скептиков и сатириков удержал от протеста, критики и сатиры: и, может быть, только благодаря мягкому «вечернему звону» у нас никогда не зародился ни Вольтер, ни Ренан.

— А для чего у вас не одни часы на стене? Двое, трое...

Я обернулся назад, ожидая увидеть еще.

— Это не мои. Я поправляю.

Он указал на комод, где лежала по крайней мере пара карманных часов.

— Вы поправляете часы?!!

Изумлению моему не было предела.

— Теперь стар стал, и рука не тверда. Волоска (в механизме) не могу поправить, а прежде и волосок мог. Но если волосок цел и неисправны другие части механизма, я чиню хорошо. Разберу, поправлю и соберу.

— Не ошибетесь? Ведь так тонко и сложно все?!

— Как бы ошибался — не брался бы.

По возрасту монаху лет 45—50. Конечно, из мужичков, и «богословие» тут ни при чем. «Живет по преданию». Это «по преданию», мне кажется, естественно заменило «истину» для темного, безграмотного люда. «По преданию» — значит, ощупью. Пощупал батюшку — «так верил», пощупал дедушку — «так верил». И так до Николая-чудотворца и святителя Алексея. «Все так верили», — говорит, ощупав всех, слепой мужичок. И заключает: «Так». Как же иначе поступить?

Я вышел с истинным уважением к слепому монаху, наполнившему жизнь свою трудом, деятельностью и пользою. Отчего, при слепоте, он выбрал такие занятия, как поправка часов и установка звонов? Явно его ум был не только деятельный, но предприимчиво-деятельный; ум его окрылял и влек, ум был слишком зряч. А глаз не доставало.

Неподалеку от Ярославля расположился на левом берегу красивый Толгский монастырь¹⁷. Белая высокая каменная ограда отнесена сажен на 50 от берега, ввиду, без сомнения, весеннего разлива. Был ранний вечер, все золотилось в солнечных лучах... Красиво погуливали монахи около ограды, и другие, сидя на лавочках, любовались на проходящий пароход.

Толга — богатый монастырь с чудотворною иконою Божией Матери, явившейся здесь на дереве. Толгская Божия Мать, в подробностях ее написания, одна из прекраснейших икон православия.

Плыли мы и мимо старого Макария — древнего монастыря, по имени которого Нижегородская ярмарка именуется Макарьевскою¹⁸. Она, как известно, перенесена в Нижний правительственным распоряжением, а «сама собою» зародилась около Макарьевского монастыря и состояла первоначально из домашних изделий и товаров, приносимых и привозимых богомольцами, стекавшимися с Волги и впадающих в нее рек и речек, ко дню годового праздника преподобного Макария. Есть еще в Решме другой монастырь, того же имени, бывший еще недавно мужским, но теперь женский. Любопытна история его преобразования: монахов становилось все меньше, да и те своим пьянством и безобразным поведением только возмущали окрес-

тных крестьян. Наконец монахов осталось что-то человек пять, и монастырские службы не посещались никем. Монастырь надо было закрывать, но Влад. Карл. Саблер придумал другое — обратить его из мужского в женский. Появились «благоуветливые монашенки», с ними — деятельная и смышленная игуменья; запели они свои «стихири» и псалмы плачущими девичьими голосами, кроткими и жалобными, и народ кинулся сюда на богомолье и с приношениями. Старое имя и древнее место были спасены.

На пристани в Решме пассажиры парохода выслушивают «напутственный молебен путешествующим», и пароход, конечно пристающий здесь для своих торговых надобностей, не отходит, пока не кончится молебен и все присутствующие не получат кропления св. водою. Все это красиво и народно, и как бы не воспользоваться, чтобы ответить на порыв мирян помолиться тепло и торжественно, но служба (на этот по крайней мере раз) была до невозможности плоха, небрежна, прямо нечистоплотна. Все пассажиры были возмущены: служилось с пропусками молитв, и голоса читающих, поющих и возглашающих — точно спросонья или с перепоя.

Вот и красавец Нижний! Я посетил его. Как он переменялся, помолодел, покрасивел с 1878 г., когда я его хорошо знал. Теперь там действует фуникулер, почему-то называемый здесь элеватором; вагончики на зубчатом рельсе, поднимающие почти вертикально вверх. Это заменяет прежний медленный и трудный подъем на гору, на которой расположен город. Над гимназией те же две стрелки, к четырем концам которых прикреплены инициалы стран горизонта: «С.Ю.В.З.». Я помню, что учеником этой гимназии читал роман г. Боборыкина «В путь-дорогу», и, по словам автора, учившегося здесь, его товарищи в ту пору переводили эти буквы «юношей велено сечь zelo» (вместо: «север, юг, восток, запад»)¹⁹. Милое остроумие, едва ли очень утешавшее тех учеников, на долю которых выпадали роковые две буквы.

Я учился в этой гимназии в директорство Садокова, который за административные таланты был сделан впоследствии помощником попечителя московского учебного округа. Отличие для директора гимназии

неслыханное и небывалое никогда! Действительно, он был очень умен. Деятелен, дальнозорок, предусмотрителен, влиятелен, и даже очень влиятелен, в городе. Голос его, авторитет его везде имел вес. В трудах он был неутомим. Гуманен. Но я имею грех, что почему-то никогда не любил его. Не любил просто потому, что боялся и что он был «начальство». Нужно его было передвинуть не на пост *помощника* попечителя, а прямо попечителя; тогда этот крепкий русский человек, обязательно спокойный и ласковый, с железной волей и неустанный с утра до ночи, несмотря на 60 лет, сделал бы очень многое для образования в семи или восьми губерниях, подведомственных московскому попечителю. Но в качестве «помощника» он должен был стать только зрителем тех проделок и гешефтмахерств, какие его начальник, граф, утонувший в долговых обязательствах, проделывал на своем «ответственном посту» с помощью правителя своей канцелярии²⁰. Мир праху их всех...

Темное время, не любимое мною.

* *

*

Дни и ночи плывешь по Волге... Все так же рассказывают спицы пароходных колес ее воды... Солнце всходит и заходит, и, кажется, нет конца этой Волге. «Мир Волги» — как это идет! Свой особый, замкнутый, отдельный и самостоятельный мир. Как давно следовало бы не разделять на «губернии» этот мир, до того связанный и единый, до того общий и нераздельный, а слить его в одно! Россия, разделенная на совершенно нелепые «губернии», ничему в ней не отвечающие и ниоткуда не проистекающие, на самом деле представляет группу стран, совершенно иного в каждом случае характера, иной природы и со своим у каждой страны средоточием. Что Волга имеет общего с черноморским побережьем? С Кавказом? На Волге даже и не вспоминаются, даже и на ум не идут Одесса или Владикавказ. Просто не чувствуются, никак не чувствуются. А Рыбинск, например, чувствуется в Астрахани, и Астрахань чувствуется же в Рыбинске. Все это соединено, слито, а Рыбинск и Одесса «разлиты» по разным котлам. Самим Господом Богом разлиты. Тут не надо

противиться природе вещей. Не нужно трепетать за единство империи или, вернее, России, которая тем меньше будет иметь тенденцию рассыпаться, чем более каждая часть будет чувствовать удобнее себя, поместится удобнее для себя географически, хозяйственно и этнографически. Искусственное разделение на «губернии» с отношением каждой губернии только к Петербургу, а не к соседним губерниям или вот не к «матушке-Волге» *в ее целом* — это не может не вредить тысяче местных (приволжских) интересов и нужд, не породить тысячи упущений, не причинить тысяч и тысяч ущербов единичным хозяйствам и не внести в души людей тысяч и тысяч досад и раздражений. К чему все это? Очевидно, «Приволжье», «Приуралье», «Черноморье», «Кавказ», «Туркестан», «Балтика», «Литва», «Польша» — вот естественные «края» и «земли», вот великие «землячества», из которых состоит Великая Русь. Как инстинктивно умно студенты последних десятилетий стали группироваться в «землячества». «Земляк», «соотчич» — самое натуральное понятие, факт и имя. И никакого тут «разделения», «распада», «разложения», просто — естественность и удобство.

* *

*

Начиная с Нижнего, берега Волги резко изменяются: они становятся пустынно и малозаселенны, в то же время геологически красивее. Не видно этих постоянных деревенок, громадных торговых сел и частых городов. Чувствуешь, что удаляешься из какого-то людного и деятельного центра на окраину, менее культурную и менее историческую. На Волге в самом деле сливаются Великороссия, славянщина с обширным мусульманско-монгольским миром, который здесь начинается, уходя средоточиями своими в далекую Азию. Какой тоже мир, какая древность — другой самостоятельный «столп мира», как Европа и христианство. На пристанях все более и более попадаются рабочие-татары. А в Казани пристань парохота уже завалена их «басурманскими» шарфиками, шапочками и туфлями. «Ну, Магометово царство пошло», — думаешь.

Дюжий, здоровый народ. Во что оценить только одно, что из десятков и сотен миллионов от Казани до Бухары и Каира нет из ихнего народа ни одного пьяницы. Ни одного *пьяницы*: этому просто, кажется, невозможно поверить! Ведь вино так сладко? Да, но и опий сладок, но он *запрещен в Европе*. Запрещен, и нет, не манит. Проклятый алкоголь есть европейская форма опия, и если мы не кричим и не визжим при его виде, как закричали бы и завизжали, если бы народ вдруг начал окуриваться опиумом, то оттого только, что алкоголь у нас «свое», привычное. Но качества и следствия его — точь-в-точь как опия и гашиша: одурение, расшатанность воли и характера, нищенство, преступление, вырождение, смерть.

Поговаривают иногда о религиозном обновлении, о новых чаяниях и горизонтах здесь, в новом пророчестве и новом апостольстве: воистину не принял бы никакого пророка, который не начал бы дела своего с вышиба бутылки с водкою из народных рук. «Пьяный не помнит Бога, пьяный — *не мой*» — вот с каким *первым* словом пусть явится новый пророк на Руси. Да и в самом деле, какая религия около пьянства? Какая молитва у пьяного? Какого от него ждать исполнения религиозного закона? По самому существу дела, для каждого пьющего водка и есть «бог», это его «сотворенный земной кумир», который его вечно тянет, тревожит, заставляет забывать все, и в том числе Бога на небесах. Все пьющие, которые говорят, что они «верят», — лгут, их пьяный язык плетет, что угодно, — песню или молитву. Слово веры есть у них, но закона веры нет в них, и нет, и не может быть памяти Бога.

«Пьющие — *не мои*» — вот слово нового пророка.

Проплывая через Казанскую губернию, мы были зрителями странной картины, которая не сейчас объяснилась. Перед носом парохода пересекла путь лодка. «Утонут! Утонут!» — говорили пассажиры в страхе, видя, как несколько мужиков, очевидно пьяных, что-то неистово крича, ломались, вертелись в лодке, а один из них, перегнувшись через борт, окунулся головою в воду. Но поднялся и махал руками и что-то кричал, потрясая кулаком вслед уже проплывшего парохода, и неистово показывал, очевидно пассажирам парохода, на воду. Точно он толкал кого-то мысленно в воду. Како-

во же было наше удивление, когда минут через десять на пароходе заговорили, что это — не пьяные, а голодные мужики, из голодающих мест Казанской губернии, и кричали они проклятия прошедшему пароходу и желали ему утонуть или сгореть и чтобы все пассажиры «в воду»! Так как крики не были достаточно слышны, то окунувшийся головою в воду мужик и показал наглядно, чего он и все они, голодные, от души желают плывущим на великолепном пароходе сытым богачам. «В воду вас», «утонуть вам», «сгореть вам и утонуть», «и с проклятыми детками вашими, проклятые» — будто бы слышали с борта и с кормы пассажиры нижней палубы (III и IV классы). Но сейчас это передалось к нам, наверх (II и I классы). Никогда до этого я не видал «голодающих мест», голодного человека. Не оттого, что ему не было времени или случая поесть днем и он поест и даже наестся вдвое вечером, а голодного оттого, что ему нечего есть, нет пищи, у него и вокруг нехватка, как у волка в лесу, у буйвола в пустыне!! Представить себе это в Казанской губернии, в образованной и цивилизованной России, с ее гимназиями, университетами, православием и миллиардным бюджетом! Просто не умею вообразить! Хоть и видел на лодке, но не верю, что видел. Мираж, наваждение, чертовщина!

Гимназия, ученички в мундирах; почта цивилизованного государства, спокойно принимающая «корреспонденцию»: «У вас заказное письмо? Две марки». — «Простое? Одна марка». — «У нас простое, потому что это записочка к любовнику». — «Это — заказное, потому что отношение к исправнику». И около этого... человек, которому нечего есть, и он не ел сегодня, не будет есть завтра и вообще не будет есть!!! Бррр... Не понимаю и не верю. Читал в газетах — и не верю, видал — и все-таки не верю!!!

Как может быть то, чего не может быть? Разве «дважды два» уже «пять»?

* *
*

Вот наконец и вторая моя родина, духовная, — нагорный Симбирск. Я не надеялся когда-нибудь его увидеть, потому что не было и не предвиделось никогда повода спуститься так далеко по Волге. Зачем? Я

не странствователь, а домосед. Но выпал случай «хорошенько отдохнуть», и фантазия отдыха повлекла меня на Волгу.

Мы, гимназисты младших классов, ни разу не рискнули переплыть на лодке на ту сторону Волги — так широка она в Симбирске. Во время весеннего разлива глаз уже не находит того берега, теряясь на глади вод. Берег чрезвычайно крут: и самый город с его «венцом» (гулянье над Волгою) лежит на плоском плато, которое обрывается к берегу реки. В симбирской гимназии я учился во 2-м и 3-м классе в 1871—1873 учебных годах²¹, в пору директорства там Вишневого, в пору Луповского, Христофорова, Штейнгауэра и Кильдюшевского, из которых некоторые были известны не в одном Симбирске учебниками или литературно. Всякий, взглянув на эти коротенькие годы (1871—1873) и на молоденькие классы (2-й и 3-й), усомнится и не поверит: что же я мог тогда видеть, заметить и пережить? Между тем я пережил в них более новое и, главное, более влиятельное, чем в университете или в старших классах гимназии в Нижнем.

Я не только не встречал потом, но и не могу представить себе большего столкновения света и тьмы, чем какое в эти именно годы (и, вероятно, раньше и позднее потом) происходило именно в той гимназии. Вся гимназия делилась на две половины, не только резко различные, но и совершенно противоположные, тайно и даже явно враждебные, — совершенной тьмы и яркого, протестующего, насмешливого (в сторону тьмы) света. Прямо из «мамашиного гнездышка» (в Костроме) я попал в это резкое разделение и ощутил его не идейно и «для других», а ощутил плечом, кожей и нервами, для «своей персоны», что такое и *тьма*, что такое и *свет*. Воистину для меня это было как бы зрелищем творения мира, когда Бог говорил: «Вот — добро, вот — зло». Боже, какая разница *пережить* это разделение или только *сознать* его, какое богатство и преимущество физиологического ощущения над идейным, головным, когда копаешься-копаешься и вот докапываешься до «умозаключения».

Здесь чувствует кожа, и все незабвенно!

«Управлял» гимназиею Вишневский — высокий, несколько припухлый, «с брюшком» и с выпуклым,

мясистым, голым лицом генерал. За седые волосы и седой пух около подбородка ученики звали его Сивым (без всяких прибавлений), а «генералом» я его называю потому, что со времени получения им чина «действительного статского советника» никто не смел называть его иначе как «ваше превосходительство» и в третьем лице, заочно, «генерал». Но он был, конечно, статский. Он действительно «управлял» гимназией, т.е. по русскому, нехитрому обыкновению он «кричал» в ней и на нее и, вообще, делал, что все «боялись» в ней, и боялись именно его. Все мысли и всей гимназии сходились к «нему», генералу, и все этого черного угла, где, видимо или невидимо (дома, в канцелярии), стоит его фигура, боялись. Боялись долго; боялись все, пока некоторые (сперва учителя и наш милый образованный инспектор Ауновский) не стали чуть-чуть, незаметно, про себя, улыбаться. Так чуть-чуть, неуволимо, субъективно. Но как-то без слов, без разговоров, гипнотически и телепатически улыбка передалась и другим. От учительского персонала она передалась в старшие ряды учеников и стала по ярусам спускаться ниже и ко 2-му году моего пребывания здесь захватила вот даже нас, третьеклассников (т.е. человек пять в третьем классе). Улыбка разнообразилась по темпераментам и склонностям ума, переходя в сарказм, хохот или угрюмое, желчное отрицание. Всего было, всякие были. Улыбка искала себе опору: она ставила делом чести чтение книг, и никогда я (и мои наблюдаемые товарищи) не читал и не читали столько, сколько тогда в Симбирске читали, списывали, компилировали, спорили и спрашивали. Такой воистину безумной любознательности, как в эти 71—73 годы, я никогда не переживал. «Ничего» и «все». С «ничего» я пришел в Симбирск: и читатель не поверит, и ему невозможно поверить, но сам-то я про себя твердо знаю, что вышел из него со «всем». Со «всем» в смысле настроений, углов зрения, точек отправления, с зачатками всяческих, всех категорий знаний. Невероятно, но так было. Разумеется, невозможно было самому все это проделать, но, на счастье, я плохо учился, выйдя совершенным «дичком» из «мамашиного гнездышка», и для меня взят был «учитель», сын квартирной хозяйки, ученик последнего класса гимназии Николай Але-

ксеевич Николаев. С благоговением пишу его имя теперь, на старости лет, хотя уже сам классу к пятому вспоминал о нем не иначе как насмешливо и мысленно с ним споря²². Но это пусть. Фаза пройдена. А пройти ее, и так особенно и чудесно пройти, я мог только с Н.А. Николаевым.

Небольшого роста, светлый-светлый блондин, с пробивающимся пушком, золотистыми, слегка вьющимися волосами, как я теперь понимаю, он для меня был «Аполлон и музы». Он сам весь светился любовью к знанию и непрестанно и много читал. Ну а я был «подмастерье». «Сапожник» и «мальчик при нем»: самое удобное положение и отношение для *настоящей* выучки. Клянусь, нет лучшей школы, как быть просто «мальчиком», «подпаском» и «на посылках» у настоящего ученого, у Менделеева или Бутлерова. Но мне «настоящий ученый» был непонятен и, следовательно, не нужен или вреден: а вот Николай Алексеевич Николаев и был то самое, что нужно было и даже что «Бог послал». Конечно, он взялся за уроки и стал учить меня, — как — не помню. Ни одного урочного занятия не помню. Но он сам, я сказал, непрерывно и много читал, и я просто стал читать то же, что он: сперва Белинского, затем Писарева, Бокля, Фохта и проч. Кончив уроки, я шел к его столу и брал из кучки книжек «что-нибудь неучебное». Понимал я? Не понимал? Ну, конечно, фактов, сообщений «науки» я не понимал или понимал это в $\frac{1}{10}$ доле, но живым, чутким и (в ту пору) безгранично деятельным умом я схватил самый центр дела: не то, *что* писалось авторами этих книг, а что их заставляло все это писать, за что они боролись, страдали, куда летели. Словом, думаю и вполне уверен (теперь, в 50 лет), что я схватил *суть дела*, суть, если хотите, всего русского и европейского умственного развития, в 14—15 лет, с свежестью и безграничностью будущего, какая заключена в *сути* этого возраста! Тем, которые, читая эти строки, сомнительно качают головами, я скажу: но разве между мною, 14-летним симбирским гимназистом, и Боклем с его философской «Историей цивилизации в Англии»²³, было больше разницы, нежели между «рыбаком» Петром и И. Христом с его «глаголами жизни вечной»²⁴? И между тем не первосвященники, не учи-

тели фарисеев, не Никодим, а Петр и Иоанн восприняли слово Христово, полнее всего его уразумели и разнесли по всему свету²⁵. Вот почему, не в силах будучи проверить всех «сообщений» Бокля, я в святая святых души его, ума его, характера его, метода его — того всего, *ради чего* Бокль и жил, вошел, может быть, лучше всех европейских читателей и его переводчика Бестужева-Рюмина. Клянусь, из нас двоих — меня, 14-летнего мальчика, и Бестужева-Рюмина — Бокль прижал бы к сердцу как «своего» именно меня! Ибо я был тот же самый Бокль, только без «арсенала», без его эрудиции. Но «душа»-то боклевская и потом вот писаревская, фохтовская, Белинского — не вместе, а порознь и преемственно — в эти безумные два года чтения, эта душа через посредство той изумительной ассимиляции, восприимчивости, какая свойственна 14-ти годам, — она, эта душа, вошла в меня, росла во мне, жила во мне!.. Чего же им, как учителям, нужно было еще? Конечно, я был лучший их ученик в России и в Европе и говорю это твердо теперь, в 50 лет.

— Да когда же ты дашь мне покой? — выговорил как-то мой уставший учитель на прогулке или когда мы куда-то шли, может быть вот на пароходную пристань, где служил начальником конторы (по письменной части) его отец.

Этот его вопрос я помню: наконец, и он утомился, который сам во мне все пробудил и возбудил милыми, прекрасными, охотными разговорами-рассуждениями-разъяснениями. Утром ли, встав, я перебегал с своей постели на его; и вечером опять был под его одеялом. Мать его (моя хозяйка) была грубая, жесткая, смышленная и почему-то очень меня не любившая женщина, смеявшаяся над моею заброшенностью, сиротством (без отца и матери) и бедностью; старший его брат был слабоумный; сестра Соня была девяти лет; отец бывал дома только с вечера субботы до вечера воскресенья; остальное время он был занят службою в «конторке» на пароходной пристани «Самолета». Таким образом, не только для меня, но и для него не было вокруг и непосредственно родной атмосферы умственного общения: был только я, как для меня был только он (грубость семьи его, это я подчеркиваю, и это сыграло большую роль). Мать его была не только грубая жен-

щина, но и властительница, и от этого, верно, в доме его не появлялось его товарищей, кроме одного Соловьева, по-видимому влиявшего на него. Сам он в семье был и подавлен, и свободен, уважаем и ценим, но ценим, как ценят 17-летнего даровитого юношу его родители, заработавшие хлеб и давшие ему воспитание (молчаливое требование благодарности и повиновения). В самом доме, в отношениях его со старшими, образовалась атмосфера условности, сдержанности и умолчаний. Опять уже для него самого был, таким образом, открыт, чтобы «поделиться», только я один. И он меня никогда не учил, не наставлял, кроме разве первых месяцев моего пробуждения, а *жил* около меня, но свободно и делясь только со мною, и я тоже *жил* около него свободно же и делясь только с ним. Но какая это была жизнь...

Сдержанный в отношении к внешним, он был неизменно веселый (без шума), ласковый, остроумный, шутливый, изобретательный, «придумчивый» со мною; и сам-то, все читая и читая, только еще сам многое узнав недавно и вновь, он имел не только охоту, но и потребность делиться знаниями, «горизонтами», идеями, надеждами русскими и европейскими, по части «муз» и рабочего вопроса, критики и публицистики, социологии и политики — и делился со мною. Т.е. просто при мне и вслух мечтал, негодовал, восхищался, порицал, смеялся, как и я при нем недоумевал, спрашивал, негодовал, сомневался, — при нем и обращаясь к нему. Должно быть, и даже без сомнения, он нашел во мне душу, единственную по восприимчивости, впечатлительности и любознательности (тогда); такой пожирающей любознательности, желания все знать, во все заглянуть, все разрешить себе, на все построить умственный ответ и разрешение я никогда не испытывал сам и ни в ком никогда не встречал. «Перечитал бы все книги, переслушал бы всех людей...»

Почувствовав такую восприимчивость, он, вероятно, и меня ответно полюбил, как я его: о чувствах мы никогда не говорили. Считали «глупостями» это и вообще всякую нежность, в том числе дружбу с ее «знаками». Просто ничего не говорили о *себе* и *своем отношении*, а только о мире, о вещах, о предметах и вообще внешнем и далеком. Я хорошо помню, что мы

никогда и ничего не говорили даже об учителях и гимназии (в которой и он кончал курс), о доме или родных: мы исключительно говорили о далеком и идейном...

Не могу иначе передать этих отношений, никогда еще потом не пережитых, как что мы взаимно влюбились друг в друга, влюбчивостью идейной, мозговой, и формально прожили два года в любовничестве страстном и горячем, духовном, спиритуалистическом. Как иначе назвать эти двухгодичные отношения, в которых не было не только дня, но и минуты взаимного недовольствия, недоверия или подозрительности, неуважения, ни ниточки скрытности? И между тем, собственно, «симпатии», «милого» или чего-нибудь сюда входило так мало, что, разлучившись, мы с ним ни разу даже не обменялись письмом. Между прочим, и по невозможности: «личного» мы никогда ничего друг другу не говорили, а продолжать прежние рассуждения, разговоры — это значило бы бросить учение и вообще все дела, обязанности и только начать писать. Конечно, мы предпочли каждый «уткнуться носом» в свою книгу, расставшись и молча, мы оба погрузились в «дальнейшее чтение», «развитие»...

Помню, он выписывал на свои деньги газету «Самодетельность». Уж из заглавия читатель видит, что это была газета, с одной стороны, «60-х годов», а с другой — грядущего «освободительного движения»... Помню и выражение его: «Маленькая, но хорошая газета». Никогда я потом и позднее не видал ее. Казанская или петербургская? Кто был редактор и сотрудники?²⁶ Поступил он на медицинский факультет, где был годом его раньше кончивший курс Соловьев, вскоре умерший. Фигуру этого Соловьева, как друга моего друга, я ярко не помню.

По этим двум лицам, вплотную и без замены увиденным мною в 1871—1873 годах, я судил потом всю жизнь и до сих пор сужу, что такое тот менее идейный и более психологический перелом, какой около того времени вообще совершился в русской душе, а по зависимости истории от души — совершился и в истории русской. О нем можно было бы и нужно было бы писать целую книгу. Значение его, смысл его, содержание его, многоцветные ниточки в нем неисчислимы. Но для

меня выпуклее всего бросается в глаза следующее.

Грубость внешняя. Отрицание всяких «фасонов», условностей; всякого притворства, риторики, лжи. Всего «ненастоящего». Свирепая ненависть к «идеализму» и «утонченности», ибо от Жуковского до Шеллинга именно «идеализм»-то и «утонченность» стали какою-то неприступною и красивою внешностью, за которою пряталось и где мариновалось все в жизни ложное, риторическое, фальшивое, с тем вместе бездушное и иногда безжалостное, жестокое.

— Свирепая правда! — вот лучшее определение перелома. Притом самый перелом совершился до того целомудренно и застенчиво, так сказать, «не смотрясь в зеркало», что я даже не помню, чтобы слово «правда» и «правдивость» когда-нибудь и у кого-нибудь из «них» фигурировали или даже просто упоминались. Просто шли «боком» и «плечом» к правде, не смотря ей в глаза и (с виду) как будто «не интересуясь этой барыней».

Все движение было в шутках. Шутка была «колером» движения. Так ведь это и сохранилось потом и до сих пор, когда тон «Русского Богатства», «Отечественных Записок» или «Товарища» есть шутливый, шутящий, грубо и просто шутящий, если сравнить его с тоном «Вестника Европы», «Речи» и пр.

Под этою шероховатой, грубой, шумящей внешнею скрыто зерно невыразимой и упорной, не растворяющейся и не холодеющей теплоты к человеку и жизненного идеализма, во всем — в политике, социологии, литературе, публицистике, «музеях» и проч., и проч., и проч. Я не смогу лучше этого выразить, как сказав, что в ту пору, 60—70-х гг., родился (и родился) в России совершенно новый человек, совершенно другой, чем какой жил за всю нашу историю. Я настаиваю, что человек именно «родился» вновь, а не преобразовался из прежнего, напр., из известного «человека 40-х гг.», тоже «идеалиста и гегельянца», любителя муз и прогрессивных реформ. Этому тогда «вновь родившемуся человеку» не передали ничего ни декабристы, ни даже Герцен: хотя в литературе «этих людей» и трактовались постоянно декабристы и Герцен, даже трактовались с видом подчинения и восторга. Но именно только «с видом»... Если я назову Некрасова

около декабристов, Гл.И. Успенского около «великолепного» Герцена, — всякий поймет, что я говорю и насколько основательно говорю...

«Пошел другой человек» — вот слово, вот формула!

Наконец, я не скрою своей внутренней догадки, догадки за 20 лет размышления об этом явлении, так рано увиденном: что перелом этот есть не «оплакиваемое, желаемое и не полученное» возвращение к «естественному человеку», о чем говорили Руссо, Пушкин («Цыганы»), Толстой («Казачи») и Достоевский («Сон смешного человека»), а реальный и как-то даром и «с неба» полученный «натуральный человек», простой, добрый, безыскусственный, освободившийся от всех традиций истории. Буквально как «вновь рожденный». И чтобы договаривать уже все и сразу окинуть смысл происшедшей перемены, скажем так: что это... возвращение к *этнографии, народности, язычеству!*

Последний термин нуждается в объяснении: я наблюдал — на людях и в книгах, в журналах, в газетах, в разговорах, — что ничто до такой степени не чуждо этим людям, как хотя бы первый «аз» религиозной метафизики, которая нам известна под формою христианского богословия, чужд и неприятен всякий тон сентиментальной «кротости», «прощения врагу», «милосердия», «миротворчества», «непротивления» и проч., и проч., и проч.! Словом, весь тот *дух и тон*, какой мы соединяем с христианством, жаргон и фразеология его, его *мотивировка*, его слова и *манеры, жесты и причитания*, какие имеют «главным складом» своим духовенство и распространены всюду, которые имеют главною книгою Евангелие и действительно пошли от него, — все, все это имеет себе в «мыслящих реалистах», в Базаровых и Рахметовых такое непонимание себя, такое отрицание себя, такую вражду, гнев и презрение к себе, недоверие и отвращение, что я не умею передать! Да это все знают, все чувствуют! В этой «первичной этнографии», которую мы чудесным образом опять получили в своих Рахметовых и Базаровых, Писаревых и Добролюбовых, — русский человек станет с «этнографическим любованием» смотреть на еврея, татарина, язычника, тоже «этнографически» посмотрит и на «попа», без вражды, но чтобы он «подошел к нему под благословение» или записался в «брат-

чики» человеколюбивого комитета, им основанного, чтобы он о чем-нибудь начал «по душе» с ним разговаривать, — этого не было, нет и не будет никогда!

Все *реальность* — в одном!

Все *идеология* — в другом!

Непреодолимое расхождение! До отвращения, до крови!

Вот мой внутренний взгляд, внутреннее понимание явления, о котором размышляю тридцать лет, которое хотела понять вся наша литература и так и оставила его, не разгадав, несмотря на кажущуюся его простоту и элементарность. «Пришли новые люди, всем нагрубили и всех прогнали». Да, они «нагрубили», как остготы римлянам: и ведь никогда римлянин не мог понять вестгота!

* *

*

Я продолжу о состоянии симбирской гимназии в 1871—1873 гг., так как этот маленький уголок и за небольшое время был, в сущности, тою культурною «молекулою», которая повторялась на протяжении всей России и обнимает приблизительно 30 лет перелома в ее жизни — перелома, до такой степени важного, что я не умею сравнить с ним никакой другой фазис ее истории. «Рождался новый человек» — этим все сказано, ибо из человека рождается его история: и когда появилось новое в человеке, то уже, наверное, все и в истории пойдет иначе.

Вся гимназия разделилась на «старое» и «новое», разделилась в учениках, в учителях. «Нового» было меньше, около $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$. Но в каждом классе, начиная с самых маленьких (приблизительно с 3-го), была группа лично связанных друг с другом учеников, которые, точно китайскою стеною, были отделены от остальных учеников, от главной их массы, без вражды, без споров, без всякой распри, — просто *равнодушием*! Теперь, 35 лет спустя, это нашло себе выражение в терминах «сознательный», «бессознательный», «сознательное», «бессознательное». Термин очень удачен, ибо он попадает точь-в-точь в суть явления. Тогда этого имени и самого слова не было. Не попадало на язык. Но явление было точь-в-точь то самое, которое теперь охватывается этим явлением.

Масса учеников, $\frac{3}{4}$ или $\frac{4}{5}$, были, так сказать, реалистами текущего момента. Папаши с мамашами или, грубее (потому что в их лагере все было грубо), официальные «родители», «власть имущие», отдали их в гимназию. Гимназия, «казенное заведение», — это было что-то еще более «власть имущее», нежели сами родители. Робкая, смирная, недалекая, ленивая душа этих учеников, смесь сатиры и идиллии, снизу вверх с необозримым страхом взирала на эту как бы железную крышу всяческих «властей», домашних и городских, семейных и государственных, и, подавленная, только думала об исполнении. Исполнение — оно скучно, сухо. Это «учеба уроков» и хорошее «поведение». Нужна и поэзия: поэзией и утешением, грубее — развлечением для них служили драки, плутовство, озорство, ложь, обман, в старших классах — кутежи, водка и тайный ночной дебош. Как заключение этого подготвления, как награда за скучные учебные годы давалась и получалась «казенная служба», такая или иная, смотря по выбору, склонностям, успехам и связям или общественному положению родителей. В основе все это было лениво и косно. Было формально и без всякой сути — в себе. Тоже удачно было это названо в 80-х годах «белым нигилизмом». Тут не было ни отечества, ни веры, но формы «отечества» и «веры» были. Стояли какие-то мертвые скелеты, риторические выпренности, и им поклонялись мертвым поклонением высушенные мумии, просто с тусклым в себе я, без порыва, без идеала, без «будущего» в смысле мечты и вообще чего-нибудь, отличного от «того, что есть».

Люди «как они есть» и поклоняются тому, «что есть», — общее, чем этою формулою, я не умею выразить этого состояния.

Общею внешнею чертою, соединявшею этих людей (мальчиков и юношей), было отсутствие *чтения*. «На ловца и зверь бежит», — говорит пословица. Правда, в гимназии не поощрялось чтение, но в глубине явления лежало то, что, если бы чтение даже и поощрялось учителями и начальством, ученики эти все равно не стали бы читать по отсутствию внутреннего к нему мотива.

Я склонен думать, что и «русские условия» в самом обширном смысле слова, захватывая сюда не одну по-

литику, но и городской и сословный строй, и церковь, и «учебу», — все вместе мало-помалу измелчили «русскую породу», довели ее до вырождения, до бессилия, дикости, черствости, до потери самой впечатлительности, и эта тупость впечатлительности стала не личным явлением, но родовым, наследственным, откуда и объясняется множеством людей отмеченный факт, что более даровитыми и «обещающими» являются люди с крайне диких русских окраин, «сибиряки», с Дона, с глухой-глухой Волги, из далекого северного края, ибо эти люди выросли вне всяких влияний «русской гражданственности» и «русского просвещения», которые, как плохой плуг землю, только портят, а не обрабатывают человека.

Отсутствие «чтения» проходило разделяющею чертой не только между учениками, но и между учителями. И они тоже делились на читающих и нечитающих, на любящих книгу и не любящих книгу. Кажется, это странно встретить в учителе гимназии. Между тем уже в 1886 году при первом посещении мною семьи одного учителя русского языка я на вопрос о чтении его взрослых детей услышал ответ, сопровождаемый полуулыбкой, полусмехом:

— У нас, в дому, читают одного Пушкина. Дети, жена и я.

— Ну что же, отличное чтение. Одного Пушкина прочитать...

— Да не Александра Сергеевича. Мы ужасно любим, собираясь все вместе, читать Пушкина, рассказчика сцен из еврейского быта²⁷. Помираем со смеху!

Не знаю этого Пушкина и в первый и единственный раз о «Пушкине, рассказчике из еврейского быта» я услышал от этого учителя русского языка в русской гимназии, уже прослужившего 25 лет в министерстве народного просвещения и который в этом другом Пушкине находил более вкуса и интереса, нежели «в том, в Александре Сергеевиче», которого он, однако, по обязанности службы преподавал ученикам едва ли очень охотно.

«Нечитающая» часть учителей симбирской гимназии была, естественно, и «непросвещенною». Они были тоже «реалистами текущего момента». Служба министерству, порядок, благочиние, тишина, исправ-

ность. Чтобы ревизии (из Казани, от учебного округа) сходили хорошо да чтобы не было «историй».

— Мне твои успехи не нужны. Мне нужно твое поведение.

Так Сивый-директор кричал на ученика, распекая его. Очки его при этом бывали подняты на лоб: брюхо более обширное, нежели выпуклое, слегка тряслось, и весь он представлял взволнованную фигуру.

Он волновался только от гнева. Ничто другое его не волновало, не трогало.

Этот лозунг — «хорошее поведение, а до остального дела нет» — был дан давно Сивым или даже, может быть, до него. Мы, я в частности, уже вступали в этот режим как во что-то сущее и от начала веков бывшее (детское впечатление), но... чему настанет конец!

«Настанет! Настанет!»

И мы яростно читали.

Да будет благословенна Карамзинская библиотека²⁸! Без нее, я думаю, невозможно было бы осуществление этого «воскресения», даже если бы мы и рвались к нему.

Библиотека была «наша городская», и «величественные и благородные люди города» установили действительно прекрасное и местно-патриотическое правило, по которому каждый мог брать книги для чтения на дом совершенно бесплатно, внося только 5 руб. залога в обеспечение бережного отношения к внешности книг (не пачкать и не рвать, не «трепать»). Когда я узнал от моего учителя (репетитора) Н.А. Николаева, что книги выдаются *совершенно даром*, даже и мне, такому неважному гимназисту, то я точно с ума сошел от восторга и удивления!.. «Так придумано и столько доброты». Довольно эта простая вещь, простая филантропическая организация поразила меня великодушием и «хитростью изобретения». «Как придумали величественные люди города»²⁹... Это отделялось всего несколькими месяцами и не более чем годом от времени, когда я уже читал Бокля и конспектировал «Физиологические письма» К. Фохта.

Конспектирование мое произошло через желание все схватить, все удержать и при немощи купить хотя бы одну «собственную» книгу. Книги даются только читать, но ведь я должен их *помнить*! Как же сделать

это, когда я не могу ни удержать книги, ни купить новой такой же? Самый простой исход и был в том, чтобы, возвращая книгу в библиотеку, оставить дома у себя «все существенное» из нее, до того существенное, что, обратившись к тетради, я как бы обращался к самой книге.

Нужно заметить, что о существовании конспектов и вообще о самом методе этого отношения к читаемой книге я ничего не знал (3-й класс гимназии) и ни от кого не слышал. И мой универсальный во всем наставник Н.А. Николаев этого мне не говорил — это я хорошо помню. Вообще, он мне никогда ничего не навязывал и не «руководил» ни в чем: эта его благороднейшая черта была и педагогичнейшею. Я рос и развивался совершенно «сам»: только *около меня был* умный и ласковый, меня любивший человек, тоже смотревший всегда сам в книгу. Конечно, времени сохранялось тем больше, чем конспект был сжатее: тогда все чтение получало более быстрый или по крайней мере сносно быстрый оборот. А ведь мне предстояло сколько прочитывать! С тем вместе конспект должен был вполне заменить книгу, ибо и цель-то его была именно в замене книги. Поэтому энергично, с величайшею точностью, торопливостью и вниманием, я, как только ухватился за Фохта или за «Древность человеческого рода» Ч. Ляйэля, я начинал выбрасывать мысленно все лишнее, прибавочное, словесное, все литературные распространения — это с одной стороны, а с другой — все остающееся, «нужное», фактически и идейно сжимал в передаче до последней степени сжимаемости.

Мне неизвестно, поступали ли так другие читающие, но это все равно, — идя другими путями, они срывали другие плоды! Но ничего подобного этому «нахлынувшему чтению», какому-то «потопу» его, который все «срывал с петель», ломал и переворачивал в старом мирозерцании, точнее — ни в каком мирозерцании, а просто в старой лени и косности, я не запомню ни в последующие годы в нижегородской гимназии, ни потом в университете. Должно быть, не было уже этого возраста, святых этих лет, когда

И верилось, и плакалось,
И так легко, легко³⁰...

Прошу прощения у поэта, что ставлю применительно к воспоминаниям в прошедшем времени его глаголы...

Старшие классы этой гимназии, в которой я знал много учеников, конечно, «читали» уже гораздо сознательнее и серьезнее, чем мы, и, не вмешиваясь, молча мы прислушивались к их спорам. Совершалось все это на «сборных» ученических квартирах, где в одной комнате жили ученики и II—III класса и VI—VII. Нельзя сказать, чтобы мы искали слушать эти споры; нельзя сказать, чтобы ученики старших классов нам «пропагандировали». Они на нас не обращали внимания, но и не стеснялись. Итак, все вышло само собою. Во всяком случае и религиозный, и политический переворот стоял «вот-вот» у входа нашей души. Впрочем, нельзя сказать, чтобы «политический». В определенном смысле этого не было. Имен не было. Было «начальство», «вообще начальство», русское или французское, — и все это сливалось с Кильдюшевским, Сивым (директор Вишневский) и Степановым, который, бывало, своим грозным, положительно страшным голосом говорил:

— Дубьовский, боуан, пошел, стань хожей в угол.

Т.е. «Дубровский, болван, пошел, стань рожей в угол».

Он не выговаривал некоторых букв. Дубровский, высокий, худенький мальчик, был выше этого кряжевитого, низкорослого, масляного, бесшумного в движениях (кот) учителя со старомодными бакенбардами. Благодаря тому что он преподавал математику, а следовательно, и мог каждого сбить в ответе и свести к «богвану», каковое имя им выговаривалось страшно и грозно, мы, бывало, все затихаем, как мертвая вода, перед его уроком³¹.

Нам, читающим, он «богвана» уже не говорил. Вообще, удивительная вещь: мы их, учителей, ненавидели и боялись никак не менее, чем нечитающие, косные мальчики. Но, должно быть, что-то и у учителей было в отношении «читающих» учеников: я не помню ни одного случая, чтобы учитель, даже явно ненавидевший подобного ученика, сказал ему, однако, какую-нибудь резкость или грубость, закричал на него. Что-то удерживало. Я помню на себя окрик во II классе Сивого:

— Я тебя, паршивая овца, вон выгоню!

Но это было до «чтения». Случай этот, крик директора, мне памятен по причине первой испытанной мною *несправедливости*. В перемену мы бегали, гонялись, ловили друг друга по узкому длинному коридору между классами. Все это делают массою. Да и как иначе отдохнуть от сидения на уроке? Но когда в некоторые минуты шум и гам сотен ног становится уже очень непереносимым для слуха надзирателя (что понятно и извинительно), он хватает кого-нибудь одного за рукав и, ставя к стене или двери, кричит:

— Останься без обеда!

Это сразу останавливает толпу, успокаивает резвость и смягчает действительно несносный для усталого надзирателя гам беготни и стукотни. Это хорошо, и так нужно. Но схваченный и поставленный к стене явно есть «козлище отпущения», без всякой на себе вины, ибо точь-в-точь так же бегали двести учеников. Это знают и надзиратель, и ученики, но для «проформы» такого гипотетического «безобедника» после всех уроков, на общей молитве всей гимназии, все же вызывают перед директора (в этом и суть наказания), говорят: «Вот бежал по коридору в перемену» (т.е. худо, что не шел степенно), после чего директор обычно говорил: «Веди себя тише» — и отпускал, в отличие от других настояще виновных учеников. Когда я вышел перед директора, совсем маленький, и он, такой огромный и с качающимся животом и звездой на груди, закричал: «Я тебя, паршивая овца, вон выгоню!», — то мне представилось это в самом деле кануном исключения из гимназии! И за что! За беганье, когда все бегают.

Я помню хорошо, что когда долго плакал (прямо рыдал), услышав этот крик, то это было не от страха исключения, а от обиды *несправедливости*. «Все бегают, а грозят исключить меня одного». Почему? Как? Весь мой *нравственный* мир, вот эти заложенные в человека первичные аксиомы юриспруденции, ожидания юриспруденции, были жестоко потрясены.

И между тем в ту же минуту я знал, что этот личный и особенный окрик происходил из-за того, что мой брат и воспитатель (за круглым сиротством), в то же время учитель этой же гимназии и, значит, подчи-

ненный директора, за месяц перед этим перевелся из симбирской гимназии в нижегородскую по причине самых неопределенных и общих «неладов» с начальством. Брат мой не был либералом, но он читал Гизо и Маколея, любил Д.С. Милля и среди Кильдюшевских, Степановых и Вишневских, естественно, был «коровою не ко двору». Директор был, однако, оскорблен не тем, что он перешел в другую гимназию, а тем, что он сделал это с достоинством и свободно, тактично и вместе с тем чуть-чуть высокомерно в отношении к оставляемому месту. «Мертвые души», у которых он не выпрашивал ни прощального обеда, ни рекомендаций, ни тех «лобзаний на прощанье», которые помнятся столько же, сколько съеденный вчера блин, были оскорблены и обижены.

Доктор Ауновский (инспектор) шепнул мне на другой или третий день:

— Вы должны держать себя в самом деле осторожнее, как можно осторожнее, так как к вам могут придраться, преувеличить вашу вину или не так представить проступок и в самом деле исключить³².

Сущее дитя до этого испытания (по детскому масштабу), я вдруг воззрился вокруг и различил, что вокруг не просто бегающие товарищи, папаша с мамашей и братцы с сестрицами, не соседи и хозяева, а «враги» и «невраги», «добрые и злые», «хитрые и прямодушные». Целые категории новых понятий! Не ребенок этого не поймет: это доступно только понять ребенку, пережившему такое же. «Нравственный мир» потрясся, и из него начал расти другой нравственный мир, горький, озлобленный, насмешливый.

Тут я и начал читать (вскоре) Бокля и Ляйэля и злобно радовался, что мир сотворен не 6000 лет назад, как говорили папаша с мамашей и законоучитель, но что по толщине торфа, выросшего над остатками человеческих построек, по измерениям поднятия морского дна около Дании и Швеции земля, доказано, существует не менее 100 000 лет, а гипотетически, вероятно, она существует уже миллионы лет!

Так говорили мои книжки и конспекты, и, слушая или, точнее, не слушая законоучителя на уроках, я говорил в себе:

— Знаем, где раки зимуют.

И, оглядываясь на товарищей, которые правили свое «поведение» перед учителем, договаривал:

— Болваны.

* *

*

Никак не может быть доказано, чтобы содержалось что-нибудь «священное», даже просто специфическое в тех правильно выстриженных фигурках знаний, какие известны под именем «программ учебных заведений» — под именем «программы 3-го класса», «программы IV класса». Просто собрались чиновники в комиссию и, поковыряв зубочистками в зубах, промямлили: один, что по алгебре нужно пройти то-то, другой — что по Закону Божию нужно пройти столько-то, по истории — что непременно надо выучить германских королей франконской и саксонской династий, а то еще и «Суд Любуши»³³ и пр. Коньки, выстриженные из бумаги, только не детьми, а «действительными статскими» и «просто статскими советниками». Что это так, видно из того, что «коньков» этих стригут и перестригают так и этак приблизительно каждые двадцать лет. А потому я совершенно уверен, что наше тогдашнее гимназическое «чтение» — причем уроки, конечно, были не пройдены или полупройдены, — по крайней мере, дало все то же, что могли дать и эти уроки, но только все вошло в нас в пламенно сваренном виде, как металл из плавильного котла. Но мне и в голову не приходит уравнивать одно и другое. Какое! Мы пережили, точнее, переживали и каждые 2—3 года целую культуру и культуры. Вот «trivium» и «quadrivium» ранней схоластики³⁴, вот — renaissance, а там подалее и «революция»: у немногих бывала — да, бывала! — и целая «реформация», религиозные перевороты, переходы от веры в неверие и от неверия к вере глубочайшей искренности, чистосердечия, да даже, я думаю, — и глубины. Отчего нет? Что опять-таки за специфичность в вопросах Лютера?³⁵ Да и вообще, если измерять дело достоинством души человеческой, а не внешними событиями, разыгравшимися из этих душевных переворотов, если все мерить Божиею мерою, а не человеческою мерою, без тщеславия и искания славы, то непонятно, почему история наших тогдаш-

них душ меньше или незначительнее историй самых знаменитых душевных развитий, о каких записано в биографиях и автобиографиях, в мемуарах и правильно изложенных историях. Об одних *рассказано*, а о других *не рассказано*, вот и вся разница. Вспомнишь Ломоносова:

Герои были до Атрида,
Но древность скрывает их на нас³⁶.

Т.е. и до Ахилла были Ахиллы, но без Гомера они умерли и были забыты, как и вообще все как бы не существуют без истории и историков...

Из учеников старших классов симбирской гимназии — вот этих отшатнувшихся от начальства и вставших в новый строй — я помню Михайлова, Викторова, Расторгуева, Есипова, но особенно — братьев Беклемишевых, из которых младший был моим товарищем. Из своих товарищей, выходявших в «новые люди», — помимо двух братьев Баудер, Рупе (сын местного аптекаря) и особенно Кропотова, который почему-то звал себя и подписывался на записочках: «Kropotini italio». Что за фантазия? Конечно, потому, что Италия — страна Данте и Петрарки: это-то мы знали и чувствовали и в 3-м классе. Дело и шалости, «развитие» и поэзия, ребячество и чуть не замыслы «потом» перевернуть весь свет — все шло в восхитительном сплетении, узор и красоту узора которого рассматриваешь только вот в 50 лет. Боже, сколько свежести! Боже, сколько веры!

Вот отчего в зрелые свои 50 лет я скажу, что никакая «система образования», классическая или реальная, никакой лицей или гимназия, — не дали бы нам большего и, главное, лучшего, чем это «саморазвитие», в какое мы и целая симбирская гимназия тех лет бросались, как странствующие Робинзоны. Удачное имя: именно как Робинзоны, но только со страстью не к морским приключениям, а с определенной и твердою верою, что «там», где-то «дальше», за пределами нашей гимназии и за спинами этих Кильдюшевских и Вишневских, скрывается мир бесконечного и прекрасного идеала, людей истинно добрых и благородных, знаний безграничных, жизни светлой и возвышенной. Еще «подальше» манила нас какая-то благоустроенная

и мудрая жизнь народа нашего или, точнее, — всех народов, «человечества». «Но только для этого надо трудиться: этого еще нет: злые люди мешают». Когда потом, в старших классах гимназии, я читал у Щеглова и Чичерина о Кампанелле и Томасе Море³⁷, о «Республике» Платона, то это вошло в мою душу как что-то давно знакомое. И я замечу для историков, что все эти и подобные построения до того естественны и неприменны у человека в известную фазу его развития, в фазу среднюю и сливающую[ся] между научным знанием и мечтательностью, между отчуждением от действительности и верою в идеал!

.....
Увеличивая масштаб, скажу так: готовили из нас полицеймейстеров, а приготовили конспираторов; делали попов, выделали Бюхнеров: надеялись увидеть смиреннейших Акакиев Акакиевичей, «исполнительных и аккуратных», а увидели бурю и молнии... Масштаб надо уменьшить, чтобы не впасть в хвостовство, но *суть* была именно такова. Ведь недаром и есть в психологиях глава о «свободной воле», и глава эта не выкидывается даже в семинариях. Но там она «проходится», а мы ее *показали*. «Зачем же, наставнички, вы позабыли собственную главу в преподавании? Или относились к ней как к какой-то словесной схоластике, без того *реального чувства*, каковое вы сохранили к чудесам Феодосиев и Антониев? Ну а мы сохранили *реальное отношение* к свободной воле. И квиты, даже научно квиты».

Начальство, министерство, целая половина России вчера удивлялись этим «злым плодам учения». «Готовили одно, а вышло другое». Почему? Как? Но дело в том, что решительно *всякое* учение, как бы его ни кастрировали, ни обрабатывали «педагогически», содержит, однако, в себе непременно взрывчатые силы маленького или большого «renaissance'a», реформации, революции и т.д.: оно содержит определенные и не могущие быть выкинутыми из программы сведения *против* всяческой темноты, заскорузлости, традиционности, прямых обманов и лжи, какие вошли, и тысячекратно вошли, во весь уклад старой Европы. Ну, например, эти 100 000 *доказанных* лет от сотворения мира? *Красота* маленьких республик Греции и Италии?

Факт свободной воли? Да и это ли одно? А идеалы литературы и поэзии? «Мертвенность» или «консервативность» школы может заключаться в том только, что все это будет упоминаться глухо, на эти отделы будет накинута покров схоластики. Но *не упомянуть* об этом все-таки невозможно: просто эти отделы науки, вечного и повсюдного *знания*! Но преподаватели-то прошли это глухо и мертвенно, а ученики взяли да и *оживили*! Влили сок и кровь в слова! Возвели школу к *реальному*!

Для темных и старых сил истории есть только один выбор: *не учить вовсе, похоронить науку совсем*! Открыть не то чтобы «охранительные» школы, а *не открывать вовсе никаких школ*. Это можно, т.е. можно повести Россию к эпохе печенегов и половцев, к состоянию Кореи или Китая. Можно и это, но ценою бытия, жизни, ибо мертвые, неживые куски истории проглатываются живыми организмами. Тут и биология, и Бог — и с этим не справиться ни мудрецам, ни хитрецам, ни повелителям.

— От кого, от кого я мог ожидать этого, а уж не от Михайлова! — воскликнул удивленно директор Вишневский, узнав об аресте и заключении в тюрьму этого «украшавшего гимназию» ученика в первые же месяцы по окончании курса в ней. Заключение в тюрьму было на политической почве: в ту пору для этого достаточно было иметь на столе К. Маркса или что-нибудь из Лассаля, быть в дружбе с кем-нибудь из «ходивших в народ с книжками».

Этого Михайлова я помню: белый, умеренно полный, благовоспитанный, спокойный. Безукоризненных успехов и поведения. Да и мой репетитор Н. А. Николаев не спускался ниже 2-го ученика, т.е. был лучшим в своем классе, а в «поведении» тоже был довольно осторожен. Эта настороженность протеста и негодования вообще была «тоном» гимназии, обусловленным жестоким давлением сверху, бесцеремонностью и нечистоплотностью грозившей расправы. Но под льдом снаружи бежала тем более горячая вода внутри. Я не помню во все последующие годы, ни в нижегородской гимназии, ни в Московском университете, этой силы протеста, этой его определенности и упорства³⁸.



Было 11 часов ночи, когда пароход подвалил к Симбирску. Все собирались спать. Но я решился выйти.

Огни города были высоко-высоко над водою. Я знал «подъем» туда, на гору, по которому поздним вечером я подымался долго-долго, когда в 1871 году приехал сюда с братом-учителем. Нечего и думать было взойти туда: для этого надо часы (взад и вперед). Но я решился все-таки сойти на берег.

Ничего не узнаю: все ново. Только вот этот огромный, сложный (зигзагами) въезд-подъем. Я оглянулся на пароход и пристань: да, эти мостки к пристани такие длинные: они были и тогда, когда, бывало, мы с которым-нибудь товарищем или с моим любимым репетитором ходили на эту самую пристань «в гости» к отцу его, служившему на пароходной конторке. Это мы часто делали, раза два в месяц. И после длительного утомительного пути так-то, бывало, обрадуешься, когда завидишь эти мостки-сходни.

— Сейчас сядем — и чай с малиновым вареньем.

На обратном пути взбираться было ой как трудно! А крутом, в верхних частях спуска, вишневые сады. Спуск был очень сложен и, кажется, «неблагоустроен» — ради него можно было с главной дороги сойти в сторону и пробираться какими-то «сокращенными путями», которые на деле оказывались удлиненными, но зато более интересными, именно: попадались сады не огороженные или с совсем сломанным забором, в которые мы заходили «по пути» и совершенно невольно. Завидев здесь такую бездну вишен, какой нам и не случалось никогда видать дома или у себя в маленьких садах, вишен, по-видимому никому не принадлежащих и, во всяком случае, не охраняемых, мы торопливо наполняли ими подолы рубашек, в то же время наполняя и рот. Не понимаю, как мы не отравились: ведь в вишнях содержатся крошечные дольки амильной кислоты, и если съесть их бездну, то отравишься. Но мы положительно съедали бездну. Помню, один вечер мы так увлеклись, что и не заметили, как наступила ночь. Со мной был «Kropotini italio». Мы и не сумели бы выбраться из сада, решительно неизмеримого и стоявше-

го «где-то»; а главное — боялись поздно за полночь постучаться к своим грозным хозяйкам. Тогда мы решили переждать здесь ночь. Думали, — так, проговорим. Но «объятия Морфея» (иначе не выражался о сне мой товарищ) потребовали себе жертвы. Между тем с каждым получасом становилось холоднее. И земля была холодна. Легли отдельно и рядом — холодно. А спать хочется. Мы сняли свои мундирчики и, сделав из них одеяло (пуговицы одного мундира в петли другого), покрылись сей импровизацией и, обнявшись, заснули, не потому, чтобы можно было так спать, а потому, что не могли не спать. Сила нашей молодой природы одолела силу внешней природы: и заснули, и не простудились.

С солнышком — опять вишни и вожаденное «домой».

* *
*

Бреду... Какие-то рельсы. Ничего подобного не было тогда! Ночь темная-темная, ничего рассмотреть нельзя. «Родина моя, вторая родина, *духовная*, — еще важнейшая физической!» Тут первое развитие, первое сознание, первые горечи сердца, — отделение «добра от зла»... Так хотелось бы пронизать все глазом, и нельзя. Я оглядывался, ступал. Заборы, дорожки: все не то, не то, или я не узнавал ничего! Вдруг я почувствовал, что узнал одно:

— Воздух!

Да, этот самый, *индивидуально* этот, «в частности» этот. Читателю странно покажется, как я мог узнать воздух, которым не дышал 35 лет. Но когда, сперва как-то смутно ощутив, что я чувствую вокруг себя что-то знакомое, уже когда-то ощущавшееся, и не зрительно, а иначе, я остановился и с радостью стал спрашивать себя, «что это такое», то я уже и сознательно почувствовал, что кожа моя, и рот, и ноздри — все существо наполнено и обвеяно вот этим «симбирским воздухом», совершенно не таким, каков он в Костроме, Нижнем, Москве, в Орловской губернии и Петербурге, где я жил раньше и потом; не таков воздух и за границею или на Кавказе и в Крыму, где я тоже потом бывал. Только в Симбирске — от близости ли громад-

ной реки, от восточного ли положения, — но, мне кажется, я никогда не дышал этим приятным, утонченно-мягким, нежным воздухом, точно парное молоко. Тепло, очень тепло, но как-то не отяготительно тепло, легко тепло!

— Вот он! *Этот* воздух! Узнаю! И тогда в вишневых садах, и на пристани, и у нас в саду на Дворянской (Большой?) улице. Два года дышал им.

Вспомнил, вспомнил! *Другого* уже ничего не вспомнил: да и нельзя было — такая тьма!

Что-то безгранично дорогое хватало меня за душу. И захотелось мне дотронуться рукою до какого-нибудь жилья в нем. Кругом все коммерческие постройки — рельсы и проч. Я стал пробираться далее. Смотрю: деревянный домик с раскрытыми окнами, в стороне от дороги. Мне показался он в пять окон. Пошел к нему, и залаяла какая-то скверная собака, и так громко, скандально. «Еще напугаешь добрых людей». Вернулся назад — и разобрала меня досада на собаку. «Может быть, совсем паршивая, а мешает моему трогательному чувству» (сознавал, что трогательное). Пошел опять вперед. Собака лает, но я все-таки вперед. Смотрю — домик не в пять, а в три окошечка, а в пять он показался мне (светящимися окнами) оттого, что увидел я его наискось, т.е. в одну линию три передних окна и два боковых. И в переднее окно, раскрытое, я увидел, что стоит посреди комнаты и потягивается, должно быть, отец диакон в подряснике; потягивается и собирается снять подрясник. Разобрать точно нельзя: копошится около себя «на сон грядущий». «Вот еще, — думаю, — выглянет в окно и окрикнет», ибо собака все лаяла. Какая-то глупая канава, и вообще местность неровная, неудобная. Да, именно так. Всегда любил я деревянные домики: все хорошее на Руси пошло от них. Деревянные домики строили Русь, а казенные дома разрушали Русь.

Ну, вот наконец и угол: хорошо я его обнял и поцеловал. Бревенчатый и необтесанный, т.е. не крытый тесом: все точь-в-точь такое, что я люблю и считаю лучшим на Руси. И мои лучшие времена прошли в таких домах, одушевленные, творческие. В каменных домах я только разрушал и издевался.

Теперь собака уже тщетно лаяла. Я быстро пошел назад. Смотрю на сходнях фотографии-открытки (открытые письма) города. Между ними вдруг я увидел вид Свияги. Боже, да ведь Свияга-то для меня еще более дорога, чем Волга! Тут-то мы и купались, и буквально толклись все время на лодке. Свияга — маленькая речка, вся выющаяся (постоянно извилины), без пароходов и плотов на ней, — чисто «для удовольствия». Она протекает, сколько теперь понимаю, позади Симбирска и параллельно Волге. Во всяком случае мы, гимназисты, все время проводили именно не на Волге, а на Свияге, отвечающей величиною своею масштабу нашего ума и сил. Точно она для гимназистов сделана. Беклемишевы переплывали ее поперек. Тут превосходные были места для купанья. Но главное — катанье на лодке, тихое, поэтическое, которому ничто не мешает (т.е. шумные и опасные пароходы). Вообще тут не происходило ничего торгового, и она вся была для удовольствия, «для гимназистов»... Она сильно заросла около берегов травами; полноводная и довольно глубокая. Местами — деревья, склонившиеся над нею!

С наслаждением купил ее фотографию. Ступил дальше по сходням. Смотрю: великолепный букет цветов у булочницы.

— Продай, тетенька.

— Не продам.

— Да мне надо, а тебе зачем? Я тридцать лет назад тут жил, и мне дорого, с родины.

— Самой нужно.

— А сколько вы дадите? — слышался сзади голос. Обернулся. *Vis-à-vis* с ларем парень, должно быть, возлюбленный булочницы. Не видно, чтобы муж. У мужей другая повадка.

— Двадцать пять копеек дам.

— Отдай, Матрена, — распорядился он.

Она передала мне букет. И розы, и все. Прекрасный. Я вошел с ними на пароход. И все дивился: как попал букет к булочнице?

— Да ведь завтра Троица, — сказали мне на пароходе. — Букет она приготовила себе, чтобы идти с ним в церковь, и оттого не продавала.

Так и вышло, что «возлюбленный» и надежда завтра «выпить» принесли мне цветы с родины.

*
* *

На волжском пароходе мне встретилась молодая парочка. Он — светлый блондин, хорошего роста, с открытым веселым лицом; она — темная брюнетка, молчаливая и несколько угрюмая. Я все примеривал мысленно, какую службу он занимает, и решил, что служит или в банке, или по министерству народного просвещения. Любопытство взяло верх над нерешительностью, и я спросил его.

— Рабинович. Учитель Р-ской гимназии, по математике и физике.

— Но ведь это еврейская фамилия? «Рабби», «Рабинович»?

— Я еврей. А вы и не узнали?

— Но у вас из русских русское лицо! И вся повадка, манеры, речь. И жена ваша еврейка? Эту-то видно, такая темная!

— Из русских русская. — Он назвал фамилию в девичестве. — И она учительница, преподавала новые языки в В-ской гимназии.

— Значит, вы православный? Браки с евреями запрещены.

— Я евангельского вероисповедания. Да вы, может быть, слышали: наш род — старинный ученый еврейский род, но отец мой принял христианство, однако не православное, а евангелическое. Он, впрочем, был и не лютеранин. Он принял только христианство, в его общей форме, не церковной. И основал особую общину «Израиль Нового Завета».

Я тотчас вспомнил статью Владимира Соловьева, написанную с большим энтузиазмом, об этом новом движении в еврействе, какое тогда только что произошло. Влад. Соловьев указывал, что «доктор Рабинович» своею «общиною Новозаветного Израиля» даст радикальное разрешение еврейского вопроса, перекинув мост между племенами и культурами, доселе непримиримо враждебными. Он писал с энтузиазмом и о самой личности Рабиновича, высокоидеальной и чистой³⁹.

— Это о вашем отце писал Владимир Соловьев?

— Да. У отца моего хранилось много писем Владимира Соловьева. По его смерти их взял, для разбора и

издания, мой старший брат, занимающийся историей⁴⁰. Без сомнения, в них много есть любопытного. В лютеранском крае, у нас, о моем отце и возбужденном им религиозном движении читают лекции, и оно вообще вошло в круг протестантского богословского изложения.

— Неудивительно. Но я думаю, чтобы под этим лежала глубокая точка зрения. Ваш отец все-таки принял христианство если и не в протестантских формах, то в протестантском духе, и это не может не льстить пасторам, которые самолюбивы, как и все мы, грешные.

Из дальнейших расспросов открылась глубоко трогательная вещь. В самом начале 80-х годов сперва на юге России, а потом и в Москве прошло сильное движение против евреев. Совершились первые погромы с убийствами и разорением имущества, и страх этих погромов перенесся и в Москву. Я кончал там курс в университете и живо помню это время, когда евреи упрашивали христиан взять на временное сохранение драгоценные свои вещи. Именно тогда в нашей прессе прошел и впервые был поставлен вопрос о том, «что такое Израиль», какова его историческая судьба, была ли она хоть где-нибудь положительна и плодотворна для коренного окружающего населения, и, словом, возник впервые теоретический «антисемитизм» как оправдание фактической ненависти и гонений⁴¹. Еврейство заметалось. Невозможно представить себе ничего ужаснее, как то, что вот я, Борух такой-то, торговавший до сих пор папиросами и часами, оказываюсь обвиненным не за личные свои преступления, ненавидимым не за личные свои пороки или приносимый лично мною вред, а за то, что «когда-то» и «где-то» сделали люди, *лично* мне вовсе не ведомые, *лично* со мною никак не связанные, — люди, которые уже давно умерли и на которых я никак не мог повлиять, сколько бы ни желал этого! Есть *родовой, фамильный* аристократизм, и едва ли он симпатичен кому-нибудь: человек кичится «заслугами предков», сам не имея никаких заслуг или даже будучи отрицательною величиною. Насколько же ужаснее *родовое, историческое* ненавидение, бросающее камень в голову не того, кто виновен, но кто «черен и курчав», кто «еврей», — хо-

тя бы *лично* он был уже нам и дружелюбен, и полезен. Вспомнишь вековечное предсказание Исайи, где так удивительно и до подробностей точно описана грядущая судьба Израиля между другими окружающими народами: «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, — и мы отвращали от него лицо свое; он был презираем, — и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего на нем, и раню его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, — и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих; как овца, веден он был на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был изъят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут был от земли живых, за преступление народа моего потерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и Он предал его мучению; когда же душа его принесет жертву умилостивления, — он узрит потомство долговечное»⁴².

Знаменитое место это из 52-й главы пророка Исайи зачислено богословами в состав так называемых мессиянских мест, будто бы предсказывающих крестную смерть Иисуса Христа, но откуда же толкователи взяли, что у Иисуса Христа было «потомство долговечное» (конец текста), что Он был «изведавший болезни» (начало текста) или что окружающие «отвращали от него лицо свое»⁴³? Все было *обратное* этому! Между тем как к еврейскому народу, никогда *не умевшему защититься* даже при избиении его, в Средние века и до сих пор народно именуемому «порхатый», болезненному, не храброму, не воинственному, робкому, слабому и вместе давшему человечеству Библию ну и уж конечно имеющему «потомство долговечное», и безродному международному скитальцу все это относится с разительною *буквальностью*! Даже «от уз и суда он был взят» (что совершенно не относится к Хри-

сту, который был «в узах» и «судим»), как это очерчивает поразительную особенность евреев, что они почти не встречаются под судом и в темницах, «изъяты» от них. Но оставим в покое богословов, которые вечно тасуют какие-то чужие карты и вечно садятся за какую-то не свою игру.

В эту-то пору начавшегося нового гонения еврейскому националисту случилось быть в Иерусалиме. Затем я передаю почти буквально рассказ его сына: «С ним что-то произошло в храме Гроба Господня. Произошло чудо. Когда он стоял там, без молитвы, конечно, как еврей, и думал о народе своем — а о нем он постоянно думал, — его как будто что-то толкнуло и озарило. Озарила мысль, но точно пришедшая свыше. *«Вот здесь, в этом самом месте, лежит ключ ко спасению Израиля, в Гробе Иисуса Христа. Израиль должен уверовать в Иисуса Христа, и как он уверует в Иисуса Христа, — он будет спасен, вражда и ненависть к нему прекратятся»*. Эта мысль моего отца, точнее — потрясение его, волнение его, сделалась поворотным пунктом всей его жизни. Больше он ничего не делал и ни о чем не думал, как чтобы привести свой народ к Иисусу Христу. Он основал общину — *Израиль Нового Завета*. Он обратился к единоверцам с вопросом: почему в то время, как немец не непременно протестант, француз не непременно католик, славянин не непременно православный, но есть славяне и немцы католики, а из французов многие — протестанты, — одни евреи связывают свое племя с Ветхим Заветом? Религия — одно, а племя — другое, и между ними нет тождества и никакой вечной связи».

Я его перебил:

— Ну знаете, точка зрения вашего отца не была весьма глубокомысленна. Правда, православие или католичество и лютеранство не связаны непременно с племенем, но ведь в христианстве и вообще ничто не связано с кровью и семенем. Религия духа... чего же вы хотите? «Не здесь и не на сем месте будут поклоняться Богу, но везде — *в духе и истине*»⁴⁴. Как только это сказал Христос, так для последователей Его и разорвалась связь между народом и религией, между племенным началом и религиозным. Христианские церкви суть *исповедания*, и для вступления в них так же ма-

ло надо быть русским или немцем, как и для выдержания экзамена по алгебре. Но Ветхий Завет... вы понимаете, с чего он начался?

Он смотрел на меня с недоумением.

— Ветхий Завет есть договор *обоюдной верности*, в который Бог вступил с Авраамом и *потомством* его через знак, положенный на самый орган воспроизведения этого потомства, — через обрезание⁴⁵. Тут никакого исповедания нет, это не алгебра и не Никейский символ веры⁴⁶, под которым можно подписаться, как под присяжным листом. Это совсем другое дело, и суть *религии* еврейской и заключается в *племенности* ее, в *родовитости* ее, в *нисходящих потомках*, которые *поскольку рождаются*, постольку уже *состоят в Ветхом Завете*, со всеми добавлениями к нему, включительно до Талмуда. Поэтому для германца, например, стать католиком — не значит вовсе перестать быть германцем, отречься от духа германского и культуры германской. Но для еврея выйти из Ветхого Завета и перейти в «религию духа» — значит как бы умереть и родиться во что-то новое. Иисус Христос так ведь и сказал еврею Никодиму: «Нужно *родиться вновь*»⁴⁷. О «рождении» мы не станем распространяться, но я указываю, что отец ваш совершенно не понимал того, что для еврея выйти из Ветхого Завета — значит умереть как еврею. И, значит, вопрос о «спасении» Израиля не был нисколько разрешен им: он предложил ему «спастись» ценою «перестать быть». Неужели проповедь его имела успех? Уверен — нет. Простолюдье еврейское инстинктом знает, в чем суть дела.

— Нет. Община Нового Израиля составила, но не была многолюдна. Может быть, рассуждение ваше и верно, но проповедь отца моего имела то благотворное и обширное действие, что евреи на юге России перестали дичиться христианства. И, например, таких случаев, какие бывали в старину, что евреи убивали того единоверца, который принимал христианство, что нередко случалось с еврейскими девушками в случае любви к христианину и замужества с ним, — этих случаев более нет. Взгляды сделались терпимее, и браки евреев с христианами с переходом их в христианство — не редкость теперь на юге и не возбуждают той смертельной вражды, как прежде.

— Я очень стою за эти браки и от души радуюсь, видя вас женатым на русской, и, по-видимому, счастливо. Но это мой русский интерес и русский взгляд. Я люблю русских, и мне не антипатичны евреи. Я думаю, между этими племенами, в отдельности очень несчастными, гонимыми извне и угнетенными у себя дома, есть какое-то сочувствие и тяготение, какого, например, явно нет между русскими и немцами, да даже между русскими и французами. В этом взаимном тяготении, взаимной симпатии, которая для меня очевидна, несмотря на погромы, мне мерещится многое исторически значительное. Я думаю, от смешения этих двух кровей произойдет гениальное... Но, как и всегда в супружестве, связь должна быть обоюдосторонняя: мы, русские, должны многое взять у евреев, например их семейное целомудрие, верность, их половую чистоту, доведенную до щепетильности... Посмотрите наши нравы, семейные и вне семьи. Это что-то ужасное. Но немногие догадываются, что нравы эти проистекли не из расшатанности индивидуальной, личной — напротив, личность расшаталась под действием совершенно нелепых, неумных и неуклюжих законов наших о браке. Все «запрещения», все заповедь: «Не плодитесь». Ее нет сил исполнить, она против природы, и загнанная в темный угол природа порвала все путы и, не имея нормы и закона для себя, а только голое отрицание себя, кинулась в буйство, безобразия, обезобразилась сама и обезобразила все вокруг себя. Вот вам маленький комментарий к *общине новозаветного Израиля*, какого не дал Соловьев и какой я даю со своей стороны, даю совершенно твердо. У вас есть братья или сестры?

— Два брата; один женат на русской, и другой холост. И две сестры; одна замужем за шотландцем, другая так... не вышла ее судьба.

— Не вышла судьба?

— Она старая девушка.

— Вот уж и начинается... «Холост» один и «старая девушка» другая. В Ветхом Завете этого-то и не было. Вы знаете правило и народно-религиозный обычай евреев: девушка, если она некрасива, болезненна, глупа или слабоумна, — все равно раввины ей приискивают соответствующего жениха, тоже неказистого, но кото-

рый произведет с нею *детей*. В детях — все, и это-то и есть Ветхий Завет, которого щепки не осталось у протестантов, у католиков, у нас, церковь которых не имеет никакого взгляда на детей, а на деторождение имеет взгляд во всяком случае отрицательный. «Лучше не жениться», и естественно, что брат ваш остался холостым человеком, а сестра не вышла замуж. Тут законы, но, я думаю, тут и Бог. Будьте осторожны в своем личном браке; всеми мерами постарайтесь, чтобы у вас были дети, и много, и пристройте непременно всех их, и сыновей, и дочерей. Оглядывайтесь на Ветхий Завет, оглядывайтесь со страхом и смирением и не полагайтесь только на заветы вашего отца. Они великодушны, но не весьма далеко заглядывают вперед.

Но мне излишне было предсказывать: около несколько суровой и (мне показалось) холодной супруги-брюнетки этот белокурый и разговорчивый до болтливости еврей так и таял. С простодушием, какому я не знаю примера, он рассказал мне, как «роман» их сделался в две недели, как с первой случайной и непредвиденной встречи он не отходил от нее и вот теперь везет ее, свое сокровище, показывать родным, куда-то на юг. Она все молчала, вставляя немногие слова. И хотя учила новым языкам, а он — математике и физике, но, однолетка с ним, она, видимо, была как-то умственно и духовно зрелее его, старше его. В нем же так и бродило супружеское «шампанское»: никогда я не видел, чтобы молодой муж до такой степени млеял и весь был захвачен своим «новым счастьем», был так восторжен к предмету своего обожания, мне вовсе не показавшемуся особенно красивым.

И вспомнил я великое ветхозаветное изречение: «Того ради оставит отца и мать и прилепится к жене...»⁴⁸. Не сказано подобного же слова о жене: о ней сказано, что муж будет «господином» ее и что она будет иметь к нему «влечение»⁴⁹. Но я наблюдал, что в счастливейших случаях брака именно не жена «оставляет отца и мать», — напротив, после замужества молодая женщина укрепляется, серьезнеет в своей связанности с родительским домом, особенно со своею матерью, а «оставляет отца и мать» муж, который после женитьбы совершенно охладевает к родительскому крову, как бы отрезывается и окончательно отделяет-

ся от своих родителей, особенно от отца, и равномерно привязывается к родителям жены своей. Молодой этот супруг-еврей не преднамеренно, но невольно исполнил все эти тонкие черты, вложенные в слово Божие о браке и брачующихся...

И подумал я еще: этот еврей, до такой степени поработившийся своей жене — русской, какая иллюстрация для опровержения вечной подозрительности всех христиан, что евреи день и ночь все только и думают о подчинении себе христиан, о вытеснении их из всех поприщ деятельности, о рабстве и эксплуатации их!.. Какая иллюстрация: совершается еврейский погром — еврей вдруг находит, что народ его спасется, уверовав чистосердечно во Христа, и сам верует и основывает общину для перехода в христианство!.. Это среди погрома-то, при безмерной любви к своему народу как племени, как крови, как братьям. Мне кажется, другого примера такого великодушия, такого забвения обид не найдется еще в истории, чтобы в ответ на гонения вдруг слиться в братском объятии с гонителем. Мне не представляется шаг Рабиновича-отца гениальным, но в нравственном отношении это что-то единственное в истории!.. Совершенно поймешь, видя этот и подобные шаги, предсказание, сказанное Богом еще Аврааму и потом повторенное всеми пророками: «О семени твоём благословятся все народы»⁵⁰, т.е. что все они «процветут и расцветут, насколько потомство твоё будет среди них». В густой массе евреи как-то перетирают друг друга; они несносны по виду (неэстетичны) и точно начинают взаимно ломать судьбу один другого. Они именно должны жить в *рассеянии*, на что содержится указание именно в этих словах, что о семени их будут благословляться *другие народы*, среди которых, следовательно, они *будут и должны жить*. Какое предсказание при самом зарождении народа *первому* еврею! В этом рассеянии, как бы распыленные среди всех народов, они теряют свою компактную антипатичность и уже становятся красивым явлением на фоне сплошного другого племени, и посмотрите, везде они вносят труд, энергию, оживляют и связывают чужой труд своей предприимчивостью, изобретательностью, «посредничеством» (вечная их профессия) и ко всем народам относятся с ласковостью и готовностью к внешней ас-

симиляции (только не к общему деторождению), усваивая их костюм, быт, нравы. Как-то я рассматривал иллюстрацию «Бухарские евреи». Оказывается, в Бухаре они одеваются по-мусульмански, а один еврей мне объяснил, что вне Европы они и многоженцы. Следовательно, полное слияние с мусульманами во всем, кроме общего деторождения. Это единственный пункт, где они не смешиваются, в строгое исполнение требования пророков, да и всего Ветхого Завета, по которому вера их и верность Богу своему и заключается только в племенном, своем, единонаследственном размножении. Пыль эта, оживляющая все народы, она должна сохраниться в чистом виде, не для себя только, но и для интересов целого человечества, которое не перестанет никогда нуждаться в таком оживлении. Зачем соли растаивать — она все осоляет. Но горе, если плеснуть воду в самую солонку: тогда неоткуда будет взять соли, чтобы посолить пищу. Вот простой смысл несомненного (см. весь Ветхий Завет) Божия слова, чтобы евреи не смели ни с кем смешиваться, ни с кем плодиться: смысл, отнюдь не враждебный другим народам. Да и не нелепо ли предполагать, что Божие слово может быть во вред человечеству?! Это — те же карты, неловко стасованные богословами и в которые они убедили играть все европейское человечество...

Всюду евреи и входят к другим народам не только с ласкою и пользою (оживление), но и с истинным «влечением», вот как к мужу жена, как к жениху невеста. Этого мы не замечаем ни у одного народа: немцы, французы, наконец, живущие среди нас массами татары — все они живут *среди* нас, *около* нас, но отнюдь не *с нами*! Великая разница! Евреи же, приходя в Бухару или живя с русскими, с литвою, с поляками, с арабами (в Испании), живут *с ними*, *с нами*, слепляются, входят во все наши дела, в подробности их, входят везде с горячностью и с энтузиазмом. Известный Шейн, собравший два тома русских народных песен со всеми вариантами — песен свадебных, похоронных, бытовых⁵¹, — неужели еврей этот служил не нам, а евреям, желал «запустить жидовскую руку в песенное творчество русского народа»? Он так же желал «запустить руку», как бедный Рабинович желал «запустить руку в христианство», приняв Христа и призывая к этому соплеменников!

Удивительное «запускание руки» в чужой карман, оставляющее в кармане этом больше, чем сколько в нем лежало! Г-на Венгерова я не могу назвать талантливым критиком или историком литературы, но воображать, что он не для русской литературы, а «на пользу евреев» трудится, собрав биографические сведения о множестве русских писателей (в своем «Критико-биографическом словаре») и издав Белинского⁵², — это до того глупо, что нельзя на это возражать. И множество подобных явлений. В евреях есть что-то женственное, немного бабье. Они нервны, крикливы, патетичны, впечатлительны. Они не имеют басов, а более нежные тембры голоса, начиная с тенора и выше, но не ниже, не переходя в октаву. Все это черты женской души, женского сложения, как и их испуг перед оружием, врожденная антипатия к войне, к лязгу оружия, к грубой и жестокой борьбе, если это не нервная потасовка. Вот именно в такую «нервную потасовку» они вступили, бессильно и страстно, с римлянами, осадившими их Иерусалим⁵³, да и все их борьбы, войны напоминают колоритом своим, бессильною яростью и минутами жестокостью «бабью свару». Никогда это не было тяжеловесною, настоящею, грозною войною. Марса у них не было, а только тысяча Венер, тысяча вакханок, менад, разъяренных, пророчесственных... Таковы их Юдифи, Деборы, Эсфири, то нежные, то мстящие. Да таково и все племя — к тому и я веду речь, — влюбчивое во всякую окружающую культуру, влюбчивое в племена окружающие, около которых они не могут и *не умеют жить* только соседями, а непременно вступают с ними в интимность, «заводят шашни», вступают в любовную связь, в подлинное супружество, только не плотски, а духовно, сердечно, образовательно и культурно! Вот их роль! Далекая от роли татарина, немца, который живет собою и для себя, который всем сосед и никому не родня, в Бухаре, в Африке или в России⁵⁴.

* *

*

На пароходе вообще много едущих не за заботою, а для отдыха. Я все любовался двумя: очевидно, учительницами: в лицах их, манерах и всем поведении чувствовалось такое наслаждение этим отдыхом после

тяжелого труда, что было приятно смотреть. Праздники — отдыхи; так сказано в Библии. И кто не знает труда, не знает и праздника, в жизни своей, — лишение ужасающее! Эти учительницы постоянно были вдвоем, и прочей публики для них точно не существовало. Примостившись где-нибудь поуютнее, они располагались со своим чаем или пили благоразумное молоко; затем которая-нибудь из них принималась за рукоделие, а другая читала ей вслух. Я прислушался; книжки были интеллигентные, идейные. И негромко они рассуждали между собою во время чтения. Так они учились, большим или малым учением, и во время отдыха. И все было так умно и мило у них.

Озабоченная мамаша с пятью детьми, в возрасте между 12-ю и 5-ю годами, решительно не знала, что делать, и готова была каждую минуту расплакаться. Глаза ее выражали то молитву, то ужас, то раздражение; казалось, пароход разваливается и ее милые детки сейчас погибнут. На самом деле пароход хлопал колесами по воде, и ничего не совершалось грозного. Но детки ее были похожи на птенчиков с отрастающими крыльями, которые начинают подниматься над гнездышком и вылетать из него на несколько аршин или сажень. Так как мамаша с самого рождения не выпускала их из-под глаз, то, естественно, она и не заметила этой медленной метаморфозы и уже привычным глазом, всеми привычками души ожидала и требовала, чтобы они никуда не отделялись от ее больного, слабого, полуразбитого тела. От этого проистекали вечные задор и раздор благочестивого гнезда. Оно наполняло шумом своим пароход. Пассажиры, и в том числе я, любовались на резвых девчоночек и одного мальчика, которые спешили с носа на корму и с кормы на нос, открывая то тут, то там новые прелестные зрелища:

— Белый пароход идет! Белый пароход идет! Огромный!

Все бросались смотреть на белый пароход. Мамаша надрывалась от страха, что пароходы столкнутся и все погибнут, а главное — погибнут ее милые дети. Но кто-то из них уже перебежал на другой борт и оттуда звал сестренку:

— Лодка подошла к самому пароходу! Сейчас она

потонет! Под самыми колесами!

Пароход принимал нового пассажира, спускали трап; лодку, правда, страшно качало, но все обошлось без драмы и трагедии.

В чудном вечернем закате солнца пароход несколько притих. Чай кончился, и остающиеся час или полтора до сна все отдались любованию и безмолвию. Даже притихла и успокоилась заботливая мамаша, около которой сгруппировались ее дети, по-видимому уставшие за день. Старшая из ее девочек, несколько отделившись, сидела, поджав под себя ноги, и, вытягивая напряженно губки, что-то мечтала про себя. В руке у нее был клочок помятой бумаги.

Я подошел и заговорил с нею. Она подала мне клочок бумаги, который я выпросил у нее на память — так мне это показалось любопытным. Всего 12-ти лет, только что перейдя из первого во второй класс гимназии, она с ужасными кляксами и чудовищными грамматическими ошибками переписала для себя стихотворение, которое теперь восторженно повторяла про себя, как бы молитву, на сон грядущий или заветное письмо, полученное от подруги. На бумажке было написано:

На Дальнем Востоке заря загоралась.
Сегодня уснуть я всю ночь не могла.
То жизнь мне в венке из цветов улыбалась,
То терном колючим грозила и жгла.
О жизнь, не хочу я позорного счастья,
Твоих не прошу я обманчивых роз.
Хочу я свободы, свободы, свободы.
И знай, — не боюсь ни страданий, ни гроз.
Иди, я бороться с тобою готова,
Я жажду волнений, я жажду борьбы.
И пусть я паду за любовь, пусть паду я,
Не буду покорной рабыней судьбы⁵⁵.

Я был ошеломлен. Не было сомнения, что девочка не имела никакого понятия о том, к чему относилось это стихотворение, ничего не знала другого, так сказать, из «репертуара» этих понятий, слов и особенно действий. Между тем она читала его явно богомольно.

— Нравится вам это стихотворение?

— Очень нравится!

— Что же вам в нем нравится?

— Что? — Она подумала и указала на некоторые строки; это были самые красивые и патетические строки. Девочка схватила в стихотворении, так сказать, общую ситуацию души человеческой, души молодой и именно девичьей, каковою была сама, и приняла все стихотворение как прямо обращенное к себе. Именно как письмо, к ней адресованное, но которое почтальон не донес, выронил на дороге, а она случайно гуляла и нашла его. Известно, что дети растут впереди своих лет, «выходят замуж» и «женятся» в 9, 10, 11 лет, «имеют детей» и носят их в виде кукол. Предварение будущего — вечный закон души человеческой. Девочка страшно горячо взяла душою *выбор*, выбор между счастьем и *страданием*, и в сторону последнего. «Позорное счастье», «обманчивые розы» и, в противоположность им, что-то «грозящее и жгучее», что она примет на себя в какой-то «неясной борьбе», — это уже плакало в душе ее. Я видел это по глазам и губам. И, может быть, она заснет эту ночь, как и та 19-летняя девушка, к которой на самом деле письмо-стихотворение написано. Вот вы и подите, и исследите законы влияний души на душу, проследите те тропы и дорожки, по которым оно идет в стране, в народе, в обществе, в эпохе. Вспомнить из Иова вопрос Божий: «Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? Можешь ли рассчитать месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их?» (глава 39, стихи 1—2). Неисследимое! Неисследима живая природа в ее диком устройении, а уж душа человеческая с ее «тайничками» и культура человеческая с нехоженными дорогами, впереди ее и по всей ее, неисследима стократно...

— Откуда же вы списали, милая девочка, это стихотворение?

— Из журнала. Папа получает много журналов. Кажется, из «Русского богатства».

И что такое «Русское богатство» — она не знала. Короленко, Михайловский — все *terra incognita* для малютки, почти малютки.

И подумал я: какой вздор самая мысль остановить уже раз начавшееся движение идей! «Останавливать» что-нибудь можно было до книгопечатания, до Гуттенберга, при рыцарях, закованных в латы, и вообще в том

элементарном строе, когда «останавливающий» властелин или олигархия властелинов могли охватить глазом и руками комплекс явлений, подлежащих стискиванию, вот эту маленькую жизнь германского феодального княжества или какого-нибудь епископского городка. Но теперь? Теперь все явления социальной жизни стали воздухообразны и решительно неуловимы для физического воздействия. Воздух, электричество, магнетизм — вот сравнения для умственной жизни. Она автономировалась, получила ту свободу, какой никто не давал ей, просто потому, что стала волшебной-переносимой, волшебной-подвижной, волшебной-неуловимой, неосязаемой. «Лови руками холеру», «хватай щипцами запах розы» — вот что можно ответить цензуре и властелинам, рассмеявшись на их попытки. И вообще, уже все давно пошло свободно и свободно будет идти, повинуюсь лишь своим автономным законам, умирая, «когда смерть пришла», своя, внутренняя, от естественной дряхлости: а пока смерть «не пришла», то живи, несмотря на все палки и камни, которые неумные люди швыряют в запах розы или холеру, кому как угодно и кто как назовет.

Свобода и автономия, автономия каждой точки духовной жизни, — это уже такой факт, который никогда не исчезнет из истории человеческой! И как хорошо, наглядно объяснила мне это умная девочка. «Нельзя обнять необъятное», — сказали мне умные глазки, вытянутый ротик и эти две ручонки, из которых одна держала куколку, а другая — революционное стихотворение. «Неужели и меня будут арестовывать? Но ведь я такая маленькая, и мне хочется умереть, как и Иисус Христос, с терниями и муками, а не жить в позорном счастье, в венке из роз, все кушая варенье и пирожное»... «Это только дети делают, а я большая, завтра буду большая, — и это завтра скажет мне, за что умереть».

«Нельзя обнять необъятное», и «никто не знает, где рождаются дикие козы»...

* *

*

Не сам я познакомился и разговорился, а моя спутница тоже с одною интересною для наших времен пассажиркою парохода. Она ехала одна. И ее замечательное

лицо привлекло мою спутницу и заставило, как это возможно только в путешествиях, заговорить с нею на разные, сперва житейские, а затем внутренние и идейные темы.

Купеческая дочь. Ушла или, точнее, отделилась, без вражды, но упрямо, от родителей и, «остави отца и мать»⁵⁶, богатство и спокойствие, пошла по фабрикам и заводам Нижегородской губернии... с Евангелием!.. Да, я передаю читателю, как все слышал. Теперь она ехала вниз по Волге, ехала, еще не зная сама, куда и на что, негодующая, раздраженная и убитая: ее выгнали, осмелили, презрели.

— Народ страшно озлоблен! Так озлоблен, так озлоблен... Что я ни делала, ни говорила о Христе, о мире, который Он принес на землю, о прощении обид и огорчений, о несении каждым креста своего — все было напрасно! Это только мучило людей и озлобляло их еще больше. Глухая стена. Камень. А под ним страдание. Что делать? А между тем разве Христос — не истина? Разве Он принес на землю не истину? Но между этою Христовою истиною и теми людьми, среди которых я работала, легла какая-то непереступимая пропасть. Что такое — я не понимаю, и никто не может объяснить этого.

Она была, таким образом, проповедницей Евангелия среди народных масс. Все знают, что девушки и женщины гораздо восприимчивее, нежели мужчины или юноши, к евангельскому слову: что по лицу варварской Европы первые женщины пронесли евангельскую весть: св. Клотильда — у франков, св. Берта — у англосаксов, св. Ольга — у русских, св. Нина — в Грузии... И вот эта девушка, из купеческого звания, образованная и, словом, «интеллигентка», пошла в народ, в рабочую среду, в революцию, но не с темами о заработной плате и не с Карлом Марксом, а со словом, которое принесли варварам их первые святые и княжны! Не правда ли, удивительно? Уверен, что редкий этот случай не одинок. Она говорила:

— Нужно вовсе не это. Я догадалась. Примирить народ может только великая жертва. Такая жертва, такая жертва, которая была бы больше его собственного страдания, которое очень тяжело. И когда она будет принесена — сердце этих людей раскроется.

Что она разумела под этим словом — было совер-

шенно загадочно.

— Вы обо мне еще услышите...

И это было загадочно. Что услышать? О чем услышать? О подвиге? Может быть, о преступлении? Так все перепуталось в наше время. Была ли она христианка? Была ли она язычница, ибо только язычество знало натуральные жертвы, жертвы шкурой и кровью? Но она явно говорила о своем решении, о пожертвовании собою. И что значит: «Раскроешь сердце народное»? Судя по предыдущей проповеди Евангелия, как будто это должно было раскрыть сердце народное для Христова слова. Но она так явно была занята Россией и русскими, частнее — работающим людом, что, кажется, смысл ее клонился не к тому, чтобы втиснуть как-нибудь евангельское слово в душу народную, а скорее к тому, что нужно смягчить эту душу, погасить в ней злобу и мрачное отъединение, — и само Евангелие было для этого только испытанным орудием, попыткой неудачною и брошенною. Идея жертвы, как что-то огромное и новое, сильнейшее самого Евангелия, заняла бедный ум девушки, может быть начавший помрачаться.

— Нужна жертва! Нужна жертва! Я знаю.

Может быть, она умрет, работая около холерных. Так совпало. Она направлялась в низовья Волги всего за неделю перед тем, как голодный и измученный, одинокий и злобный люд начал, сверх всего, умирать от ужасной болезни, которая двигалась, как мрак, как ночь, без виновных, без суда и следствия. Может быть, она бросится в эту ночь, если чтобы не спасти, то чтобы утешить свое взволнованное сердце.

И кто запишет эти подвиги? Кто знает о них? Я услышал и точнейшим образом передал первые строки тихого подвига. А сколько их, сколько среди горькой и благородной русской земли! И — клянусь, — как ни бедна и истерзана и, наконец, унижена теперь наша Русь, — я не захотел бы ни за что быть сыном какой-нибудь другой земли, кроме нее. Я думаю, тысячи читателей, пробежав эти строки мои, скажут: «Аминь».

* *

*

Мы подплыли к Саратову. Город этот теперь назначен быть университетским, но это случилось уже пос-

ле того, как я побывал в нем. В самом деле, это — столица нижней Волги. Едва мы сошли на берег, как впечатления именно столицы пахнули на нас. Чистота и ширина улиц, прекраснейшие здания, общая оживленность, роскошный городской сад, полный интеллигентного люда, — все это что-то несравнимо не только с другими приволжскими городами, но и с такими огромными средоточиями волжской жизни, как Нижний Новгород и Казань. Из всех русских городов, виденных мною, он мне всего более напомнил Ригу, но только это чисто русский город, «по-рижски» устроившийся. И в этой подобранности и величайших усилиях стать «европейским», кажется, большую роль сыграли богатые литературные и общественные традиции Саратова. Это — родина Чернышевского, Пыпина и вообще «движения шестидесятых годов...». Граф Д.А. Толстой, в бытность министром народного просвещения, был так раздражен упорством «нигилистической» традиции, упрямо сохраняемой саратовскою семинарией, что сделал распоряжение исключительное и потому, в сущности, незаконное «в административном порядке»: из одной только этой семинарии не допускать приема ни в какие высшие учебные заведения России! Почему он думал, что саратовские семинаристы меньше принесут вреда как нигилисты в положении священников, нежели в положении врачей и инженеров, — это Аллах ведает. Оглядываясь на «докритическую» эпоху нашей истории, тогда думаешь, что управляющий люд в ней состоял сплошь из каких-то седовласых младенцев, даже и в тех случаях, когда они становились великими государственными мужами.

Ближайшею целью моею в Саратове было осмотреть Радищевский музей. О нем столько говорили и писали. В самом деле, Казанский университет, Карамзинская библиотека в Симбирске и Радищевский музей в Саратове суть выдающиеся точки культуры на Волге, хотя, к великому прискорбию, и не связанной ничем с Волгою в ее специальных особенностях. Когда-то кому-то придет на ум основать «Волжский музей», но кому придет эта мысль, тот сделает себе великое имя. За средствами дело не станет: на Волге живет столько богатеев и жертвователей, что дело тут не в

рубле и не в мошне. Не зародилось самой мысли, не запал в душу никому самый энтузиазм. Между тем «Волжский музей» явился бы интереснейшим в России по своим коллекциям, по своей библиотеке, по возможности сосредоточения в нем и около него, при его пособии и возбуждении, почти самостоятельной науки. География и геология Волги, ее интереснейшие этнография, история приволжских земель и, наконец, поистине неисчерпаемое разнообразие промыслов и вообще деятельности, связанной с Волгою, — все это необозримо. Наконец, этому отвечают приволжский дух, приволжский патриотизм, довольно (как я наблюдал в старые годы) значительный и гордый. Волжане любят свою реку, гордятся ею; с «Волги» они как-то начинают Россию, и, где нет Волги, им кажется, что нет и России или что Россия там ненастоящая.

Радищевский музей мне понравился менее самого города. Правда, здание великолепно. Но это именно то, что дал город. Мне не понравилось то, что это есть гораздо более «Боголюбовский» музей, нежели «Радищевский», и что вообще к памяти великого русского страдальца, писателя-народника он не имеет никакого отношения, если не считать таковым «отношением» портрета Радищева и его краткой биографии, отпечатанной на листочке и повешенных перед входом в залы музея наряду с портретом и тоже биографией и патентом на орден Станислава 2-й степени знаменитого Боголюбова, кажется всю жизнь прожившего в Париже и там писавшего посредственные картины, представлявшие «подвиги русского флота»... О всем этом прописано в патенте на ношение Станислава 2-й степени, каковой орден ему был исходатайствован генерал-адмиралом нашего флота Великим Князем Алексеем Александровичем: «За изображение подвигов нашего доблестного флота». А самый патент почему-то тоже пожертвован Боголюбовым музеем как историческое свидетельство, что художественные заслуги его ценились высокопоставленными особами, и вставлен музеем в рамку и под стекло, или, может быть, уже у самого награжденного станиславоносца он сохранялся под стеклом и в рамке. Боголюбов сделал, собственно, под предлогом «Радищевский» музей для сохранения и постоянной выставки своих собственных картин, ко-

торые без этого музея едва ли были бы сохранены и во всяком случае затерялись бы и не получили «взоров публики» по совершенной неинтересности своих сюжетов и посредственной технике. «Неинтересно! Серо! Скучно!» — с этими словами отворачиваешься от огромной залы, от пола до потолка увешанной произведениями парижско-русского маэстро, но неопытного в делах житейских.

Все это очень печально: и музей имел бы совершенно другой смысл, и даже сам Боголюбов неизмеримо вырос бы в глазах истории и общества, если бы, дав музей Саратову и сосредоточив в нем все реликвии, оставшиеся от Радищева, сосредоточив довольно большую литературу о нем, сам стал незаметною фигурою в стороне, если и дав для музея свои картины, то не более как в числе 2—3-х, и всего лучше ни одной, и убрав свои патенты, биографии и портреты. Но он этого не сделал. Радищева нигде не видно. Нет даже его «Путешествия от Петербурга до Москвы», теперь уже изданного, да напечатанного и ранее А.С. Суворовым, кажется, в 2—3-х экземплярах⁵⁷! Для музея имени и памяти Радищева во всяком случае было бы возможно раздобыться этою библиографическою редкостью! Наконец, в музее *памяти* Радищева должна быть собрана литература его времени, все эти «истории» и «записки» князя Михаила Щербатова⁵⁸, труды князя Долгорукова, Плавильщикова, Озерова, Княжнина, начинающего Карамзина, и, словом, книжность и словесность, поэтическая и публицистическая царствования Екатерины II. «Век Екатерины II» в книжных сокровищах и портретах — как это было бы интересно! Но здесь ни зги нет из века Екатерины II, нет даже портрета Новикова, сострадальца Радищева! Ничего! Это скучно и бездарно!

В музее, однако, собрано много величайших ценностей из пожертвований корифеев русской литературы 60-х годов или из пожертвований их родственников после их смерти. Тут находятся многие вещи Тургенева и Некрасова, из обстановки их жизни и орудий труда. Есть портреты корифеев и замечательных общественных и государственных деятелей их времени. Но именно их времени, как обстановка великого Боголюбова, а не времени *Радищева*, как обстановка его жиз-

ни и личности! Все это ужасно скучно! неумно! Музей сам по себе прекрасен, нужен и вполне заслуживал бы подробного описания с фотографическим воспроизведением замечательных вещей, которых в нем много, но по всему примазавшийся и во все вмазавшийся Боголюбов решительно все испортил. Город, конечно, сам от себя мог бы украсить свой музей, ибо это есть *саратовский* музей, а отнюдь не «Боголюбовский», по огромной материальной ценности, вложенной сюда городом в виде прекрасного здания, — портретами великих общественных и государственных деятелей России, но отнюдь не специально «современников Боголюбова», а вообще памятных и дорогих для России! Все те же портреты, которые украшают теперь музей, шли бы сюда, но дополненные другими портретами, от Новикова до Некрасова и от Никиты Панина и Мих. Щербатова до Татаринова и Зарудного; они получили бы совсем другое значение, а не это смешное — «осветить эпоху знаменитого Боголюбова», к тому же жившего в Париже.

Все это неудачно, и, мы уверены, ранее или позднее Саратов догадается это исправить. Пусть музей сохранит имя «Радищевского», но пусть он освободится от навязчивого живописца, и, например, взамен его «реликвий» отчего бы не собрать сюда все, что шло в истории и литературе нашей параллельно с Радищевым и последовательно за ним! Это был бы действительно музей *памяти Радищева*! И каким мог бы стать этот музей, если бы это сделать хранилищем всего словесного, живописного, музыкального и проч. и проч. движения в России, направленного к ее *освобождению*!

* *

*

Меня заняло в этом музее чтение длинного письма Гоголя, написанного незадолго до смерти. Несколько листочков, его составляющих, — старых, пожелтевших листочков! — помещены между стеклами, так что обе стороны каждого листка читаются с удобством; а все стекла, вделанные в деревянные тоненькие рамки, соединены между собою на шалнерах. Пример удобного и вместе с тем вечного хранения. Письмо писано к отцу Матвею, известному ржевскому протоиерею, имев-

шему подавляющее влияние на несчастного и больного писателя. Этого Мефистофеля Гоголя следовало бы поместить где-нибудь, на его памятнике в Москве — в уголку, медальоном или фигурою, но вообще поместить. Без него так же неполон Гоголь, как всякий франкфуртский чернокнижник без черного пуделя, преобразующегося в красного дьявола. Известно, что о. Матвей все пугал Гоголя адским огнем и требовал от него не только прекращения литературной деятельности и отречения от великих написанных произведений, которым сам о. Матвей предпочитал проповеди местного своего архиерея, но требовал также и отречения от чисто человеческой привязанности к памяти благородного Пушкина. «Все ничто в сравнении с вечностью и с соленым огурцом», — шутят гимназисты: но о. Матвей без всякой шутки уверял Гоголя, что «все ничто в сравнении с мудростью консисторских решений и с икотой матушки его, попадьи Смарагды», или как ее там звали. И «Мертвые души», и «Ревизор», и «Медный всадник», и «Цыганы» — только «грех». Можно думать, что «Выбранные места из переписки с друзьями» были опубликованы Гоголем в угоду этому своему наставнику-духовнику. Но, как это часто бывает с самонадеянными семинаристами, о. Матвей не одобрил и самой покорности своей воле, выразившейся все-таки через литературные формы, недоступные и чуждые протоиерею, буквально не читавшему ничего, кроме консисторских указов (консистории изъясляют свою волю «указами»), и не слыхавшему ничего, кроме икоты своей матушки. Он, очевидно, выбрал Гоголя и за «Переписку», найдя и в ней если не «соблазн» и «грех», чего решительно там нельзя было отыскать и чего не было, то все-таки найдя вредным тот шум и пересуды, вообще литературное и общественное волнение, какое возбудила «Переписка». Гоголь возбудил его «суету сует и всяческую суету», чего не одобряет Экклезиаст⁵⁹.

В письме, сохраняемом в Радищевском музее, великий писатель оправдывается перед о. Матвеем в опубликовании ее. Весь тон письма униженный, деланный и лживый; глубоко несчастный, и еще более нравственно несчастный, нежели умственно несчастный, Гоголь был странно сложен. Болея, умирая, он оставал-

ся несколькими головами выше своего советчика-духовника и инквизитора. Но это была уже рушащаяся башня, подкошенное болезнью и какими-то нравственными страданиями величие. Оно падало, и падало к ногам коротенького чугунного столбика, где-то терявшегося около его подножия. О. Матвей брал именно короткостью своего существа, где по самым размерам не могло уместиться ничего сложного. Он был прост, ясен и убежден. Он был целен. Всем этим он был неизмеримо сильнее Гоголя, как Санчо-Пансо сильнее Дон-Кихота и какой-нибудь лакей сильнее Гамлета, знающего столько сомнений. «Вера двигает горы», и о. Матвей своей упорной «верою», стоявшею на фундаменте неведения и равнодушия, житейского индифферентизма и умственной узости, не только сдвинул гору-Гоголя, но и заставил ее шататься и, наконец, пасть к ногам своим с громом, который раздался на всю литературу и был слышен несколько десятилетий.

Печальная и страшная история. Бог с нею. Так около гения наших дней в подобной же роли Мефистофеля стоит упорный узколобый его «друг» из Лондона, который, издавая за границею его морально-религиозные творения, в своем роде продолжение «Выбранных мест из переписки с друзьями», фанатично убеждает его, что около этого «соленого огурца» ничто и «вечность», и Шекспир, и «Анна Каренина»⁶⁰.

КАВКАЗСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

(вторая поездка)

ОКОЛО ЦЕЛЕБНЫХ ВОД

Опять этот неумолчный шум Ольховки, который, право же, составляет не меньшую прелесть Кисловодска, чем нарзан. Нарзан лечит, и поди дожидайся осязательных результатов этого лечения, а Ольховка — это что-то сейчас действующее, действующее страшно ново для коренного русского обитателя, слегка возбуждающе и вместе успокаивающе. Право, как нарзан действует в ваннах на кожу, так точь-в-точь Ольховка действует на слух: и оба действуют на душу, и еще вопрос, которое действие решительнее. По крайней мере я без Ольховки и ради одного нарзана ни за что не потащился бы [в] такую даль.

Я проследил ее верст за пять вверх, по направлению к так называемому Лермонтовскому гроту: это что-то больше ручья и меньше речки. Крошечная, живая, очень чистая речка, совершенно мелкая в сухое время года, — она стремительно бежит между извилинами гор, разливаясь шире в долинах. Я сказал: «Стремительно бежит». Разве это не ново для коренного русского обитателя, который знает только реки, медленно текущие, почти недвижные и совершенно бесшумные? Вот это «стремительно бежит» и действует на вашу душу: и она точно просыпается, протирает глазки, как бывает поутру, и весело начинает бежать, точно вперегонки с речкою. А деятельность, вероятно, вечное свойство души. Во всяком случае, стремительный бег ваших мыслей, фантазий и грез, пока вы бредете по краю капризного ручья, разливается каким-то здоровьем на все ваше существо, и вы, несмотря на усталость ног, веселее улыбаетесь солнцу, горам и стадам жеребят, коров и баранов, которые пасутся всюду вокруг.

Затем этот горный ручей вступает в знаменитый Кисловодский парк, который, может быть, и не разросся бы так пышно, не будь влаги этого ручья. Здесь,

в парке, через него перекинута несколько мостиков, каменных и деревянных. И в самом парке он шумит неодинаково: вот в грунте камня, по которому все время бежит он, образуется уступик, и шум его чрезвычайно возрастает, похож на гнев, хотя и детский. Впрочем, после дождей этот детский гнев переходит в настоящую ярость мужчины: он ревет. Но это случается редко. Ровнее его ложе — и ручей-речка чуть-чуть шелестит. Во всяком случае, пока вы идете возле него, ни на одну минуту шум не остается одинаковым: он то замирает, то оживляется. И наконец, шум этот, милый природный шум, до чего он не похож на механический шум города! Даже когда, разлившись, он ревет, все это мягко в звуке, не пилит и не раздирает ваших нервов, не стучит вам по голове, как эти фабрики, экипажи и ломовики в Петербурге.

Звука металла вы не слышите здесь, и уже одно это какое отдохновение!

Ванны нарзана — это «пользует душу», с другой стороны. Мне давно кажется, что наша кожа есть не что иное, как наша душа, пластически выраженная. Бывает же нервная сыпь на коже! Человек расстроен, получил неприятность, и вообще у него страдает душа: кожа покрывается у него сыпью, *от этого* покрывается! Не чудо ли? Не ясная ли связь души и кожи? С другой стороны, гипнотизеры усыпляют душу, проводя пальцами по коже лица, плеч, рук; проводя по ним и даже только вблизи их. Конечно, науки медицины я не знаю, и мне неведомо, что думают об этом гг. биологи, но приведенные факты до того крупны, осязательны, что по крайней мере обывательским простым умом невозможно не подумать: «Э, да кожа наша — это и есть душа наша или настоящее ее жилище». Почему нам думать, что душа в нас — это что-то подобное кусочку и что лежит она приблизительно в черепе? Почему не думать, что это скорее простыня и в нее завернут человек? Доброта человека, ум его, страсти — все качества *души*, как они отражены в *лице* его, т.е. снаружи, в коже... Человек боится — и бледнеет, доволен — и краснеет; растерян, смущен, солгал или усиливается сказать правду — и все это играет на лице его! А играет ли еще в мозгу — это Бог весть: никто этого не видал. Да как-то мозг и слишком тяжеловесен для таких танцев!

Потому утром мы умываемся — и свежем! Мы умываемся не для одной чистоплотности: чем же мы загрязнились, если спали на чистой подушке? Но физиологически проснувшись, нам надобно и психологически проснуться, и для этого мы умываемся. Мы этим будим свою душу. И только когда мы умылись, не ранее этого, мы говорим кругом: «Здравствуй! Здравствуйте!» Мы вдруг становимся веселы, обмыв кожу лица водою, холодною и чистою.

Ванны нарзана действуют как удесятеренная форма простой ванны. Это не шампанское, но полушампанское: без запаха вина, а существо то же. И шампанское шипит и пенится от заключенной в нем углекислоты, но вода нарзана содержит именно ее. Газ, проникая все существо ее, движется около вашего тела и все его покрывает через минуту, как вы сели в ванну, жемчугом крошечных пузырьков. Пузырьки эти наполнены углекислотою, и, следовательно, тело ваше берет собственно газовую ванну из углекислоты. Как известно, углекислыми ваннами (Наугейм, Кисловодск) лечатся болезни сердца, упадок сердечной деятельности; но поддержать свое сердце хорошо и для здорового. Сидеть в ванне не нужно более 10 минут, а начинают с 8-ми и 6-ти; сперва температура 27° (для старых — выше), а затем ниже, смотря по возрасту и силам организма; молодые и свежие организмы кончают курс лечения или удовольствия в 17-градусном общем бассейне. Это огромная купальня, где плавают, ныряют и проч. как в обыкновенной речной купальне. Но в 17-градусном бассейне нарзан подогрет, и очень сильно. Натуральная температура источника — 11 градусов. Это температура невской воды в конце сентября, т.е. такая, что страшно и подумать окунуться в нее. Есть, однако, бассейн этого натурального, неподогретого нарзана, доступ к которому открывает только специальное разрешение врача. Однако воспользоваться этим ледяным купаньем приходит на ум только субъектам, которые могут пропеть о себе стих Пушкина:

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда¹...

Гигантские легкие, железное сердце, мастодонтовая кожа, допотопные нервы, без переутомления... Уверен,

впрочем, что таких «птичек» слетается чрезвычайно много в Кисловодск.

Очень хорошо ощущение уже в ванне этих мириад ползущих по телу пузыриков газа. Но еще лучше по выходе из ванны. Идешь — и земли под собою не чувствуешь. Точно вместо кожи, гладкой и тонкой, бессодержательной, ваше мясное и костяное существо обернуто в бархат, толстый слой которого, весь из ворсинок и заключенного между ними воздуха, вы ясно чувствуете около себя! Воздух этот (газ, или нервное ощущение раздражения?), наполняющий вашу кожу, дает впечатление необычайной нежности и легкости: кажется, вот поднимешься и полетишь! Но нега еще преобладает над легкостью, и, как бы боясь потерять ее, грубо поцарапать, — напротив, все движения инстинктивно совершаешь медленно, а еще лучше хотелось бы лечь. Настоящие больные после ванн обязательно должны лежать. Я в качестве здорового медленно добираюсь до дома (все парком и сейчас за ним садом), ложусь и, если ничто не мешает, засыпаю. Сон глубокий, долгий и спокойный! Проснувшись, чувствуешь себя несколько помолодевшим и укрепившимся.

Все в совокупности так хорошо, что несчастным можно почитать каждого русского, кто не испытал этой величайшей прелести нашей родины — ванн нарзана! Что, если бы перенести их в Москву, в Петербург? Половину неврастения и хандры сняло бы!

* *

*

Всего года три действуют в Кисловодске новые ванны. Это — дворец, настоящий дворец, воздвигнутый в начале Тополевой аллеи, шагах в 50-ти от старых ванн, находящихся в конце галереи около источника. Одни говорят, что в новых ваннах газа не меньше, чем в старых, другие говорят, что меньше, что из труб происходит утечка газа. Возможно, что это сплетня, сопровождающая у нас всякое новое дело. Не отрицая, я не утверждаю ничего, довольствуясь свидетельством, что газа очень много, что тело покрывается бисером пузырьков через минуту, как вы сели в ванну.

Для чего понадобился дворец для ванн? «Надо то, что надо, а чего не надо, того не надо». Весьма воз-

можно, что для Кисловодска, который тянется стать на ногу первоклассного европейского курорта, было желательно получить лишнее здание à la palais; но что до этого больным и даже что до этого казне? Очевидно, больные нисколько не нуждались в каменном дворце для ванн, а в сухом, светлом, поместительном здании, с гигиеничными и, между прочим, с хорошо проветриваемыми (вентилируемыми) ванными комнатами при общем зале, отведенном для лежания-отдыха. Такой задаче могло вполне удовлетворить построенное на каменном фундаменте деревянное здание или 2, 3, 4 деревянных здания, соединенных между собою. Стоя вчетверо дешевле каменного, они могли бы включить в себе четверное количество ванн против теперешнего и удовлетворить наконец нужде в них, которой решительно не удовлетворяет теперешнее число ванн — 22 в старых ваннах, 60 в новых и еще 9 офицерских и 9 солдатских ванн, всего 100.

Казна не должна выносить ничего лишнего. Это принцип добросовестного хозяйства. На *свои* средства — строй дворцы и хоть «висячие сады Семирамиды»². Не на *свои* — только дай, что требуют. А казенные деньги — *не* свои для чиновников, администрации и даже для государства. Оно их только распределяет, утилизирует. Здесь пользующийся — народ и давальщик — народ.

Стоимость одной ванны 50 коп. до 1 июля (начала полного сезона) и 75 коп. — дообеденные часы и 50 коп. послеобеденные часы, начиная с 1 июля. Уже из этого повышения цен видно, что ванн не хватает. Самое повышение цен для казны — как-то щекотливо, мелочно и меркантильно. Казна должна брать то, что покрывало бы текущие расходы и окупало бы через известное число лет капитальную затрату, не извлекая выгод из таких преходящих фактов, как наплыв нуждающихся.

Новые ванны построены безукоризненно со стороны чистоты и высоты комнат; но в старых ваннах есть номера (напр., № 9 и 10) тесные, маленькие, совершенно невозможные для настоящих больных, которые в них задыхаются и чувствуют страшную головную боль при некоторых формах сердечных болезней, не испытываемую в высокой комнате. Несчастье здесь

заключается в том, что иногда прекрасные номера попадают туристам, которые «балуются» нарзаном; а приедут попозже больные, и им достаются номера хуже и, наконец, совсем плохие, вследствие занятости всех часов во всех хороших номерах. И валандается тогда в чудном номере пятипудовая барыня, а какая-нибудь несчастная учительница, притащившаяся из Тамбова или Нижнего, — со своими тощими костями и увядшей кожей влезает в ванну в душной, полутемной комнате. Это безжалостно и глупо.

Медицинскому персоналу, заведывающему ваннами, ввиду недостаточности их и далекого неравенства между качествами ваннных комнат, следует провести, мирно и добросовестно, классификацию между *больными*, для которых *необходимы* ванны, и между туристами, пользующимися ваннами для удовольствия. Туристы пусть пользуются «остаточками».

Время пользования ваннами — 30 минут. В ваннных комнатах, правда, есть диванчик из буковой гнутой мебели, но едва ли для «лежанья»: во-первых, на нем нет и подушки, и нельзя же подушку с собой приносить. А главное, 30 минут достаточны, только чтобы раздеться, одеться и принять ванну. Очевидно, администрация ванн и сама хорошо знала, что нельзя здесь лежать, нет времени, да это едва ли и полезно лежать в комнате, насыщенной углекислотой, после принятой и неспущенной ванны. Зачем же диванчики, такие красивые и, очевидно, дорогие? Тоже очевидная роскошь. А лежать негде, т.е. нет необходимого, медицински-нужного. Такие диваны для лежания, мягкие и с подушками, в большом общем зале, есть даже при грязевых ваннах частного заведения д-ра Мержеевского «Ramassaag» в городе Аренсбурге. Вообще это азбука такого дела. Что лежанье необходимо после углекислых ванн, необходимо как условие их пользы и действия, это я определенным образом знаю из строжайших указаний докторов, лечивших больных, страдающих сердечными болезнями. «Гуляющему курорту» вообще отдано в Кисловодске предпочтение перед «лечебным курортом». Конечно, нарзан всех веселит. Но некоторых он лечит; и вот перед нуждою этих «некоторых» должно все посторониться.

Я слышал, недавно Кисловодск сделан «городом». Раньше он был «местечком», по административной

терминологии, — значит, есть городское управление. И пришло же на ум этому городскому управлению начать ремонт улиц, да фундаментальный ремонт, с поднятием всех мостовых, и заняться проведением каких-то труб, — как раз к «полному сезону». Еще в июне можно было с запинками проезжать по улицам; но как раз к первому июля, когда в Кисловодске все дома, квартиры, мезонины и каморки расхватаны и везде толпится многотысячная толпа, городское управление буквально «подняло вверх дном» все улицы. Опять для туристов это только «Божье наказание», и то с улыбкой; но это составляет серьезное препятствие для лечения настоящих больных, которым, как я уже объяснял выше, после ванн нельзя двигаться, они обязательно должны возвращаться домой в экипаже, а между тем проехать до дому нельзя ввиду развороченности некоторых улиц или отдельных участков на улице. В Кисловодске летняя погода вдвое длиннее, чем, напр., в Петербурге, и для ремонта улиц есть и апрель и май, или осенью — сентябрь и октябрь. Лечебный сезон несомненно «подгажен» управлением города, который от него все имеет, который только и богат от приезжих, оставляющих сотни тысяч его населению, торговцам и всякому трудящемуся люду, всякому в нем промыслу и ремеслу. До чего это глупо, до чего глупо!

* *

*

Никогда и нигде я не видел столько породистости, такого хорошего роста и цветущего вида людей, как в Кисловодске. Южные темные цвета и северные бледные сливаются здесь в очень красивое сочетание. Первые дни по приезде невольно любуешься на людей: после Петербурга, Москвы и вообще внутренней России — это ново. И все люди не заняты, ничего не делают. До какой степени здесь отсутствует труд и забота, можно видеть из того, что, напр., писчую бумагу можно достать только в фотографии, а где можно достать стальных перьев — я уж и не знаю!

Вся многотысячная толпа съехавшихся гуляет, питается и влюбляется. Я не порицаю и не хвалю, — а передаю факт — и зрелище, нимало не маскируемое. Везде это — между прочим, везде — подспорье.

То же, что дрова для парохода: пароход, конечно, едет *не для дров*. Но здесь питание, удовольствие и любовь — самая цель существования, по крайней мере на эти «кисловодские дни». И это так ново!

Сам не склонный ни питаться, ни влюбляться, я смотрел первое время с удовольствием на эту отдыхающую толпу. Такая масса отдыха! И это передается как-то телепатически, гипнотически. Все не торопится, не спешит; даже не «идет», а гуляет. Редко в одиночку, а больше парами, группами. Сотни столиков с завтракающими и кофейничающими на открытом воздухе. Немного в стороне столиков шесть с играющими в карты статскими и военными; эти играют днем и вечером, при свечах в стеклянных колпаках. Игра в карты на таком райском воздухе, среди такой завораживающей природы возмущала меня и десять лет назад, возмущает и теперь. Это что-то вроде опиума: тупо и патологично. Для чего же было ехать в Кисловодск? Это можно делать и в Вологде!

Русские, армяне, в меньшем числе — грузины; слышна английская и много польской речи; речь немецкая и французская, изредка итальянская; немного персов, страшно редки турки, — вот тот тесный, душистый — от дамских духов, — нарядный и богатый фойэ, который представляет собой главная аллея парка, площадка перед источником и особенно большая площадь перед курзалом, где по вечерам ежедневно играет симфоническая музыка и куда собирается «tout Kislowodsk»*.

Утренняя музыка перед источником — так себе, и особенно мешает слушать вечно чем-то упоенный дирижер оркестра: до того он кланяется и движется, — точно вечно объясняется в любви с правыми и с левыми частями оркестра! И, главное — это во все лицо улыбка, лицо вечно сияющее, точно он каждый день именинник, — все это подзадоривает к смеху и рассеивает внимание. Но вечерняя музыка — действительно прекрасная и серьезная.

Наряды и наряды! Откуда только деньги взялись на них в разоренной России? Но, удивительно: Россия, разорение, революция, Г. Дума, министерство — все

*весь Кисловодск (франц.).

это в такой мере забыто в отдыхающем Кисловодске, до такой степени никого не занимает, что трудно этому поверить, не побывав на месте. Убийство Карангозова в Пятигорске³, о котором я узнал из телеграммы в поезде, в котором ехал в Пятигорск, не занимало никого ни в поезде, ни в Пятигорске, ни в Кисловодске. Брали телеграммы, — брали немногие и лениво читали, бросали затем под лавку и заговаривали с соседом о чем угодно, только не об убийстве. Ни впечатления, ни разговоров, ни вопроса о том: как и почему, — ничего! В Петербурге словам моим не поверят, но это — так!

Изумителен этот непоколебимый покой удовольствий, среди которых живет Кисловодск! Я шел брать ванну нарзана часов в 6 вечера. Прошел парк и его главную аллею, ничего. Вступаю на Тополевую аллею, на которой построено здание новых ванн: смотрю — солдаты с примкнутыми штыками к ружьям. Спрашиваю одного отделившегося: «Что? Почему?» Говорит: «Стреляют». — «В кого, где, когда?» — «Да вот в аллее застрелили барыню, только сейчас. Назначили патрули». — «Как сейчас? Да я сейчас проходил через аллею. Там ничего». — «Минут двадцать тому назад. Барыню пронесли на руках. Его арестовали. Муж стрелял, а она была со студентом»⁴.

Но я оставляю разговор. Через 20 минут после убийства (почти убийство, ибо раны кончились смертью) я прошел по месту убийства. И оно, как всегда, было полно гуляющими, и я не заметил ни смущения, ни смятения, ничего, ничего! Никто не отказался от своего стакана нарзана! Когда я потом шел назад, то эти красавицы — их можно назвать красавицами, в Кисловодске очень много красивых женщин — в дорогих кружевных платьях, такие высокие, стройные, с прекрасными бюстами, сильными ногами (походка), шли высоко подняв голову, и на лицах их я читал какую-то смесь торжества, гордости и неодолимой-неодолимой энергии.

— Так и будем, будем! Он застрелил, кровь, пусть... Но мы будем любить и хотим любить, и нас не остановит ни кровь, ни смерть, ничто, ничто... Пусть стреляют эти мужья или оставленные любовники: мы все-таки будем искать молодости, свежести и счастья!

Уверен, что я прочитал так смысл лиц. После убийства женщины именно настроение женщин поднялось! Я не ошибаюсь. И мне показалось, что этого потока темпераментов и сил никакая сила не остановит.

Я прошел смиренно и скромно, почти испуганно, домой.

В КИСЛОВОДСКЕ

Красные камни, Зеленые камни, Синие камни — это различные точки, куда направляются с утра кисловодские туристы-пешеходы. Красные камни совсем близко и красивее всех других. Их именем названа казенная гостиница, недавно здесь построенная. Еще десять лет назад сюда нельзя было пробраться. Теперь сюда ведут две дороги — пешеходная и для экипажей, и посажен новый парк, пока еще молоденький и «незрелый», но со временем обещающий стать соперником старого нижнего парка. Местность выбрана очень удачно. Она господствует над Кисловодском, очень суха, и с нее во все стороны открываются великолепные виды. Сама гостиница и стены комнат выбелены известью. Все имеет тот несносно казенный вид, который наводит если не болезнь, то хандру и на здорового.

Крыша — железная, раскаляемая южным солнцем. Почему здесь нет черепичных крыш, которые могут лучше защищать от солнцепека? Почему ни казна, ни собственники домов и дач в Кисловодске и в соседних курортах не применяют типа швейцарских домиков, — с этим балконом, идущим кругом всего дома? Отчего здесь не удержать тип кавказских туземных домов, — с плоскою крышею, на которую выходят обитатели дома после того, как спадет дневной жар? В Эссентуках, Железноводске и отчасти в Пятигорске удушающая жара; особенно в Эссентуках — главном лечебном курорте Кавказа. Все это жарится на солнце. И, как в насмешку, казна и мудрые архитекторы с усердием подбавили и все подбавляют сюда железа и камня. Непонятно!

Красные камни я назвал бы слоновыми: до такой степени массивы скал, поднятые над почвою, напоминают голову, уши и хобот слона, как бы вросшего ногами в землю. Играющим кругом детям я стал объяснять, что это окаменевший допотопный слон. И, видав слонов в Петербурге и Москве, они стали прис-

матриваться и недоумевать: до такой степени велико сходство. Самые впадины глаз есть: выбоины в скале, как раз сидят на месте двух глаз, под широким лбищем и по сторонам хобота. Все это кроваво-красного цвета. Не знаю, что это за порода. Но только это гораздо красивее гранита или порфира, и вообще по очертаниям и цвету так красиво, как мне не случалось еще видеть. Взятый в руку камень под давлением легко рассыпается. Очевидно, это выветрившаяся порода. Так она стоит высоким массивом, окруженная зеленым лугом, как бы лежа на нем. На самом деле — это, конечно, обнажение скрытых под почвою могучих горных пород.

Я дошел до Синих камней — это самые дальние камни. За несколько часов солнцепека кожа так прожаривается, что в последующие два-три дня вся сходит с лица. Это только здорово и украшает лицо, потому что следующий, молоденький слой кожи, конечно, лучше. Я думаю, что вообще это превосходная косметика, и потому усердно рекомендовал бы множеству толкущейся «перед музыкой» публике, которая, очевидно, равнодушна к цвету своего лица, направляться на Синие камни. Пространствовав туда август месяц, к сентябрю они расцвели бы такими незабудками, которых, наверное, петербургские и всероссийские кавалеры не забыли бы в течение восьми месяцев зимнего сезона и приехали бы вновь в Кисловодск искать любительниц Синих и Зеленых камней.

Впрочем, мудрая часть кисловодской публики, т.е. приблизительно $\frac{1}{10}$ часть ее, и теперь странствует туда довольно усердно. Взобравшись на Романовскую гору, подъем на которую начинается прямо из парка, видишь, как по дорожкам, ведущим к Зеленым и Синим камням, тянутся далекими точечками и группами точек туристы. Это умно. В нашей равнинной однообразной России, забравшись в такой живописный уголок, как Кисловодск, грех и позор сидеть дома или толчась «перед музыкой». Увы, эту долю избирает, однако, огромное большинство. Между тем стоит хоть раз преодолеть лень и взобраться на высоту, чтобы полюбить и, наконец, чтобы начать горные прогулки. Правда, устаешь; тяжело дышишь. Горная прогулка — это хорошая работа и для ног, и для груди. Но секрет

в том, что прелесть гор только и открывается при подъеме на них. Горы хороши не тогда, когда на них смотришь снизу: пока это — ландшафт, притом без подробностей. Он однообразен, неподвижен и, как бы ни был красив сам по себе, утомляет именно от отсутствия перемен. Но вот вы взбираетесь. Невольно делая передышку, оглядываетесь назад и почти вскрикиваете от восхищения. Заветная черточка человека — любовь к бесконечному, ширине — удовлетворена: перед вами море воздуха вверху, внизу, в стороны. Дышишь совершенно по-новому.

Горизонт страшно раздвинут, и тут же, далеко внизу, бежит речка, уже с глухим шумом, а панорама садов, города *à vol d'oiseau**, ближних станиц (пригороды) и, наконец, совершенно новых гор, поднявшихся из-за горизонта, на верхних горбиках и широких плато которых пасутся табуны лошадей и стада коров, — все это чарует глаз. Широко и легко. Вы ступаете дальше и, сделав шагов сто, вновь обертываетесь, ожидая встретить тот же вид, но он совершенно изменился теперь, оттого что вы передвинулись немного вправо или влево. Одни подробности ландшафта куда-то скрылись, другие — выдвинулись; он тот же и не тот же; и, что очень важно, изменились краски его: то, что было ярко-зеленым, подернулось голубоватой дымкой, многое стало неясным, а в резких контурах выдвинулись другие подробности.

Кисловодск лежит гораздо выше всех остальных курортов. Почти самая низкая точка его, источник нарзана и галерея около него, лежит на одном уровне с вершиной Машука, т.е. довольно значительной горы около Пятигорска, высота которой хорошо передается в восьми рублях взад и вперед — таковую цену берут местные извозчики, чтобы доехать по хорошей дороге до вершины его. От этой значительной высоты в Кисловодске совершенно не бывает жары, от которой задыхается бедная, больная публика Пятигорска, Железноводска и особенно Эссентуков.

Самая целебная местность, Эссентуки, вместе по природе, — самая тяжелая для больных и даже для здоровых. Голая местность, почти лишенная расти-

*с высоты птичьего полета (франц.).

тельности, страшный жар и духота (от низкого положения над уровнем моря). Ну и, понятно, гг. архитекторы подложили еще сюда камня и железа. Лечатся в Эссентуках (и превосходно!) тяжелые формы болезней печени, кишок и желудка. Тоже древние греки говорили, что «злая душа помещается в печени»¹. Говоря попросту, болезни печени сопровождаются отвратительным настроением духа — желчностью, раздражением и угрюмостью. В вагоне передавали случай:

— Гляжу я на больного, как он тянет через стеклянную трубочку свою воду (из стакана). Он вынул свою трубочку и закричал на меня: «Что вы на меня глядите? Я человек больной и могу вас ударить».

И вообще, все лечащиеся там печальны, имеют несчастный вид и взаимно озлоблены. Мне хочется сказать им в утешение, что эссентукские воды, в особенности почему-то знаменитые источники № 17-й и № 4-й, чудейственно действуют, — и все там лечащиеся должны иметь твердую надежду на поправление. Кстати, я здесь позволю себе сделать (в интересах больных) маленькое сообщение, совершенно беспристрастное, так как сам абсолютно ни от чего не лечусь и не выпил ни одной капли знаменитой эссентукской воды.

В поездках (между курортами), понятно, только и разговоров что о болезнях и о докторах. И здесь приходится выслушивать чрезвычайно жалобы на врачей, и особенно на небрежность их в постановке диагноза и назначении лечения, которая происходит от огромной массы принимаемых больных. В особенности много жалоб на одного профессора, который принимает ежедневно до 100 больных; принимает по предварительной записи и пользуясь помощью ассистента, которого лечившиеся у него пациенты презрительно называют «писаришкой».

— Этот писаришка, — т.е. ассистент, по мне, похож на писаришку, — расспрашивает вас о болезни, все расспрашивает и все записывает; потом вводит вас к профессору, который, взяв эту бумажку от него, назначает вам лечение, не свидетельствуя (одни голоса) или почти не свидетельствуя (другие голоса) лично вас.

— Мне назначил эссентуки (№ такой-то). Пью — хуже! Пью упорно, — гораздо хуже! В отчаянии пошел

к другому врачу. Он и говорит: да при болезнях печени нельзя принимать внутрь ничего холодного, и эссендуки вам нужно пить подогревая до 39-ти градусов. Профессор вам не сказал о подогревании, и хотя назначение вам номера вод правильно, но в том виде, как вы принимали воду, она вам только вредила.

Вот пример не ошибки в диагнозе и даже не ошибки в назначении лечения, а только поспешности, от которой происходит некоторая забывчивость, однако фатальная для больного! Дело в том, что, конечно, «время дорого» и для врача, и для больного. Но несомненно, что для больного оно несколько «дороже». Для человека с небольшими средствами или связанного службою или же большою семьею — собраться на Кавказ очень трудно, и иногда он это может сделать только раз в жизни. Таким образом, поездка эта является «последнею надеждою» и действительно «единственною возможностью» получить исцеление от тяжелой, затяжной, мучительной болезни (все болезни пищеварительной системы). И вдруг он натывается на врача, которому «некогда», на профессора, которому «очень некогда».

Между тем звание профессора таково, что «обыватель» не может и, наконец, «не смеет» ему не верить вполне. Во всех качествах врача его гарантирует университет, — слишком серьезное учреждение. Если бы на дощечке при входе в кабинет профессора было написано: «Некогда», — то с этим можно бы помириться. Всякий видит, на что он идет. Но раз «некогда» не сказано пациенту, — естественно, он быстрый осмотр себя профессором приписывает или огромной его опытности, или совершенной ясности своей болезни и нисколько не сомневается ни в диагнозе, ни в постановке лечения. «Последняя надежда» и «единственная возможность» могут быть жестоко обмануты.

От этого я позволю себе нескромность, — не называя фамилии торопливого профессора, — назвать имя врача Штурма, о котором в разное время и от разных лиц мне пришлось выслушать много рассказов, трогательных и благодарных. Все с похвалою говорят, что он ограничил прием больных 16-ю лицами; что бывает, что он выходит к больным после 10-го или 11-го приема (ведь приемы разные бывают по трудности) и

извиняется, что устал и не может более принять больных, т.е., конечно, не может принять их внимательно; что один раз в неделю он принимает больных бесплатно, и уже в этот день ни плата, ни протекция не откроют двери его кабинета, пока не будет окончен прием всех больных, именно бесплатных, бедных. Обо всем этом больные и бывшие больные рассказывают с величайшей признательностью к врачу, осторожному, опытному и внимательному. И ввиду того, до какой степени многие приезжающие больные растериваются здесь при выборе врачей, которых тоже съезжается множество со всей России сюда, я позволил себе передать этот говор вагонов, не прибавляя к нему ничего лично от себя. Г. Штурма я не знаю и даже не уверен, в Эссентуках ли или в Пятигорске он принимает. Я только с грустью говорил:

— Вот немец, и хорошо лечит. А профессор NN — русский, и так плохо лечит.

Мне ответили:

— Штурм — русский и православный, и такой усердный, что не пропускает никогда обедни.

Передаю все, что слышал, а читатель пусть разбирается.

И еще раз извиняюсь за невольную рекомендацию: я знаю, до чего страдают больные от незнания, к кому обращаются! И не поделиться с ними, пусть случайным и невольным сведением, было бы жестокостью. Но, очевидно, больные должны пять и десять раз перепроверить мое вагонное сведение, не придавать ему большего значения, чем сколько оно имеет.

БЕРМАМУТ

Дождь, грязь, мелкий дождь, четырехконная тяжелая коляска, заваливающаяся набок и то подпрыгивающая по камням, то тонущая в липком черноземе, пронзительный холод и ветер — такова обстановка, в которой я дотащился до Бермамута. «Какой черт понес меня? Может ли быть хуже в аду? Неужели может что-нибудь искупить эту омерзительную поездку?»

Я был в отчаянии. Я выехал в 12 часов дня, в сухую погоду, из Кисловодска. Но горная дорога быстро и неожиданно меняется. И часу в восьмом вечера лошади доползли до какого-то домика на вершине выступа горного кряжа, против Эльбруса. Эльбруса, конечно, не видать, да и не нужно. До того озяб, до того мерзко на душе, что и не взглянул бы, хоть покажи сто Эльбрусов. Дождь, туман и эта гадость, которая именуется «гостиницей пятигорского горного общества». Конечно, никакой гостиницы нет, и никакого дома нет, как мне кажется, нет, и только фиктивно значится: «Горное общество в Пятигорске». Вообразите, я увидал перед собою продранную картонную (не шучу) дверь, на петлях и с ручкою, и, переступив высоченный порог (картонный), вошел в полутемный хлев, однако все же с окнами в картонных стенах и почему-то с зеркалом!! «На кой черт тут зеркало, если это хлев?» Повернуться негде, узко, тесно, грязно: через дыры в картонной крыше каплет. В «общем зале» каплет, а в номерах течет.

Номера... Но лучше не описывать.

Приветливые, милые слуги внесли самовар, ведра в полтора, и даже не грязный. Слава Богу, хоть какая-нибудь теплота. Туристов, разных компаний набилось человек 18 в эту «общую» комнату с зеркалом. Точно все были в отчаянии и точно все от досады, усталости и отчаяния сделались сумасшедшими — так кричали, хохотали и почти плакали. У хохочущих оказались ар-

буз и бутылка вина, а плачущих экипаж вывалил на сторону, и они вывалились в грязи. Теперь, в пустом номере, на таком холоду, они переоделись, до белья включительно. Т.е. оделись без белья, отдав белье просушить в какую-то сторожку, где ставили самовар. Со мной были коньяк и лимон, и я предложил бедным Одиссеям согреться пуншем.

Пошел в номер, перетащил кровать из той половины его, где протекала крыша и на полу (деревянном) стояла лужа, в ту половину его, где не протекало и пол был сух, и, укутавшись в одеяло и плед, лег на сколоченные доски на четырех ножках, почему-то названные кроватью. «Черт с ними, с Бермамутом и с Эльбрусом. Только бы добраться живым домой». Пунш и одеяло подействовали, и я начал согреваться. Но к рассвету, к часам трем, сырость и холод, точно болото, полезли по бокам и спине.

Я закурил папироску и поднялся к окну. Небо проясняется.

Ну вас к черту, и луну, и небо; ни на что не хочу смотреть. Я забылся тоскливым, глухим сном. Снился Петербург и в нем что-то. Но я не помню.

Толкнули в бок. Пора вставать. Рассвет.

— Ну что же, недаром платить 25 руб. ямщику. Надо посмотреть.

Напялив пунцовое одеяло на голову, я вышел, как привидение, на воздух. Вчерашние «сумасшедшие», плакавшие и хохотавшие, уже все были здесь, рассеянно и группами.

То, что я увидел, никогда нельзя забыть. Небо изменилось медленным изменением, — в зависимости от солнца, еще невидного, но лучи которого из-за черных облаков дальнего горизонта, летя вверх, окрашивали так и этак (перемены с каждой минутой) и воздух, и высокие прозрачные облачка на высоком горизонте. Бермамут — это скала или, вернее, высокий горный кряж, повисший в воздухе над тридцативерстной (в ширину) пропастью-балкою, которая отделяет его от Эльбруса. Вследствие этого образуются два горизонта и, собственно, два неба: лазуревое, прозрачное, над вами и в стороны от вас, но повыше, и другое — ниже вас, которое все клубится белыми, молочными об-

лаками, в прорезях которых выступает то зеленое, то черное дно балки. Но только это нижнее небо отнюдь не есть стелющийся или поднимающийся туман, а именно облака той самой формы, какие мы обыкновенно видим на небе, но только страшно близко, у самых ваших ног, но только ниже и захватывая весь этот нижний горизонт. Думаю, зависит это от тридцативерстной ширины балки, на каковом расстоянии, конечно, уместится облако и даже облака, и еще от того, что дно этой «неизмеримой пропасти» имеет, так сказать, свое самостоятельное «устройство поверхности», со скалами, крутизнами, массивами горных пород. Вот эти-то возвышенности, поднимающиеся со дна балки, вследствие неравенства температур земли и воздуха, и сгустили около себя тучи, точь-в-точь как это делают Машук, Бештау и Эльбрус. Вы же на Бермамуте стоите выше всего этого, стоите в совершенно прозрачном воздухе и видите над собою лазурь неба, утренние звезды и громадную прекрасную луну, со всем рисунком ее поверхности, а под ногами вокруг вас клубятся, стелются и ползут облака, сквозь которые видна далекая земля. Над этими облаками, простирающимися так далеко, как видит глаз, поднимаются остроконечную грядкою пики Кавказского хребта. А прямо перед вами стоит громадный, над всем господствующий и все подавляющий двуглавый Эльбрус, засыпанный вечными снегами. Перед его громадою все, и самая цепь гор, уходящая вправо и влево по горизонту, кажется таким незначительным.

На этот раз он стоял серебряный, точь-в-точь как видишь его из Пятигорска с окрестных гор, с расстояния 80-ти и более верст, но только ближе. От редкости воздуха, скрадывающего расстояние, он кажется совсем близко, хотя в действительности он все еще далеко (30 верст). Но он не привлек моего любования: игры цветов на нем я не видал оттого, что из-за туч дальнего горизонта огромное белое яйцо солнца выплыло уже высоко. Вы знаете наше солнце: оно кажется в ладонь величиною, золотистого блеска нестерпимой яркости. Здесь оно выплыло над тучами в величине кажущегося аршинного диаметра, и не золотистое, а белое, цвета расплавленного металла. И как я понял, что древние египтяне принимали его за космическое

яйцо, плывущее по небесной реке, «Небесному Нилу». И мне показалось живым, живущим, чуть не дышащим, ибо оно, прорезываясь из облаков, точно качалось и вообще как-то жизненно, молекулярно двигалось. И такое огромное! И такое белое! Я понял, почему по утрам, именно взбираясь на высокие горы, пифагорейцы молились ему. Совсем иное впечатление, чем от нашего, например, петербургского, такого обыкновенного и простенького, точно его, и в самом деле, сделал «медник Миллер из Гороховой улицы», — как написал Гоголь о луне¹.

Здесь не было той изумительной игры цветов неба, зеленого, опалового, лазурного, желтого в тончайших оттенках и переливах, какую я наблюдал тоже перед восходом солнца (отнюдь не во время восхода) на «Rocher de Naye» в Швейцарии над Монтрё: не видел и этой кровавой точки, откуда брызнули разом на все небо золотистые лучи первый миг, всего секунд десять, показавшегося солнца. Вид Бермамута, «встреча солнца» на Бермамуте — совершенно что-то другое. Там была прелесть, но нельзя не сказать, что она была несколько однотонна: была прелестная, оконченная картина, как бы выдумка космического художника, который, нарисовав ее и положив кисть, пригласил человека полюбоваться своим новым произведением. На Бермамуте... вы точно сами побывали Господом Саваофом или украли любопытством ту минуту, когда Он сотворил мир — до того все здесь массивно, огромно, в таком находится смещении сеть туч, у вас под руками земля и небо, облака и твердь, целых два горизонта, хаос, космическое, недостроенное, движущееся, живое, ежесекундно неустойчивое. Ибо весь вид постоянно меняется. Именно — точно творится мир. И конченное, уже недвижимое, вот только этот один Эльбрус: а горы, Кавказ и его небо, эти облака над цепью их, — точно вот творится.

Не умею передать. Но в Швейцарии я не видел ничего подобного. И что это действительно что-то единственное, — можно судить из того, что на Бермамуте установилась всеобщая и непременная каждого туриста езда из Кисловодска даже тогда, когда не было этого проклятого картонного домика горного общества, а был только шалаш-землянка, и туристы в эту стужу и

высь брали с собою самовар и ставили его, бегая за три версты вниз в балку за водою.

Воображаю...

Если я чуть не умер от холода и отвращения за эту ночь на Бермамуте, то что же должны были испытывать тогда те несчастные?

И все же ездили: это лучшая оценка и измерение того, что представляет собою Бермамут!

На «Rocher de Naue», одинокую скалу на страшной высоте и страшной далекости от городов Монтрё, Террите и Кларанса, проведена железная дорога. По ней едешь час в безлюдной местности, и это во всяком случае не ближе, чем Бермамут от Кисловодска. Там стоит прекрасная гостиница, т.е. прекрасная в смысле удобства и стола. На Бермамуте, в отвратительном домишке, горное общество не поставило даже переносных железных печей с керосиновым нагреванием, что стоит несколько десятков рублей (по 10 руб. за печь), которые были бы щедро оплачены туристами. Ничего в смысле заботы и предусмотрительности — «любви к ближнему».

Я спросил об этом прислугу, расторопную и вежливую, по-видимому из «тутошних» жителей, вероятно из аула, который стоит в балке.

— Мы бы построили сами и от себя деревянное строение, да горное общество не позволяет. Все само делает.

Т.е. «не делает». Почему горное общество считает Бермамут «своим»? Аллах знает. Впрочем, у нас в России все «Аллах знает, как, что и почему». Я замечу только, что на высокой вершине Бештау (около Железноводска) простой трактирный хозяин, заведший там маленькое чаепитие и «фруктовые воды», действительно воздвиг для сего деревянный домик, кажущийся раем сравнительно с картонной гадостью горного общества на Бермамуте. «А еще образованные господа», — не могу я не заметить по адресу сего общества.

Впрочем, Бог с ними.

Под дождем и по такой же скверной дороге, скверной до того, что в опасных пунктах приходилось вылезать из коляски и месить глину ногами на больших протяжениях, я вернулся в Кисловодск. Встретившая меня владелица дачи, кисловодская старожилка², заметила мне:

— Я одиннадцать раз была на Бермамуте и не более двух раз видела его одинаковым. Он при всяком посещении мне казался новым. Так он меняется в зависимости от погоды и состояний неба и гор.

ДОМИК ЛЕРМОНТОВА В ПЯТИГОРСКЕ

Отдыхающие русские люди потянулись на чужой и свой юг. Я был удивлен в Интерлакене и Люцерне: куда ни ступишь — слышишь русскую речь. Помню первую прогулку по парадной улице Интерлакена, где расположены лучшие отели и роскошные магазины. Перед мною невдалеке две огромные спины. «Вот как хорошо растут немцы, — подумал я, — а наши...» Слышу бас:

— При постройке Троицкого моста... рассчитывали то-то или то-то, а украли столько-то и столько-то...

Я и не дослушал: так обрадовался! «Соотечественники!» Ну и конечно, родные темы: «сколько украли» и «где что скверно построили». Воистину.

И дым отечества нам сладок и приятен!¹..

Это совсем не то, что Италия, где пропутешествуешь месяц, два — и услышишь раз или два русскую речь за общим столом в отеле. Но германская Европа точно кишит русскими. В Берлине и Вене в больших магазинах всегда найдется приказчик с русскою речью, и я еще более удивлялся, покупая апельсины в маленьких фруктовых лавочках и говоря по-русски. Так как за границею я везде чувствовал большой подъем национального чувства, то думал: «Ну пока еще немцы собираются культурно завоевать нас, мы их уже завоевали». Передаю не теперешние свои мысли, довольно скромные, а тогдашние, которые были решительно воинственны. Мне казалось, что Европе «пора и честь знать». «Жила-жила, накопила столько славы, великих дел; не век же жить, надо подумать и о наследниках». И мне представлялось, что эти русские, рассуждающие в Интерлакене о петербургском Троицком мосте, приехали сюда именно для того, чтобы посмотреть, в исправности ли наследство. «Ну, для чего Европе еще жить? Лучше Шекспира не сочинишь, больше Ньютона не надумаешь. От гения до су-

масшества, от Гете до Ницше, они передумали все и пережили все. Им остается бездарное дряхлое изнеможение с калейдоскопом будничных происшествий. Но мы можем еще говорить, они — нет, и потому мы вправе быть завоевателями».

Все тогдашние мысли, отнюдь не теперешние.

И не оттого я перестал так думать, что произошла японская война. Отнюдь нет. Что нам японская война: и хуже бывало! Поляк в Москве сидел, Наполеон с Воробьевых гор диктовал, то бишь — хотел диктовать условия мира. Но, как уже предвидел Карамзин, «величие народа познается в несчастиях»², и никогда мы так блистательны не были, как после поляка и Наполеона в Москве. Уверен, что-нибудь такое выключится и теперь. Ну была война, ну была революция, ну были две Думы с провалом: пропорционально этому что-нибудь судьба и положит нам золотое в шапку. В сущности, японская война была для нас отличным «предостережением», к тому же, как оказалось, еще недостаточным. Ни на минуту не было ни у кого сомнения, что Россия не подвергается ни малейшей опасности, как государство, как нация и страна. Ужасно страдала только наша гордость, уязвлен был наш «престиж». С этой стороны действительно саднило... Ну и конечно, трагична, страшна и жалостна была гибель стольких молодых прекрасных жизней, да и пожилых «запасных», которых первыми посылали в бой, утилизируя молодых «на будущее»... Частные, личные страдания были ужасны. Но это вовсе не то, что колебания государства: его не было. Не было ничего подобного Наполеону перед Москвой. Невозможно и вообразить последствий, если бы без «предостережения» мы с тою же подготовкой столкнулись с Германией. Далее, пронесшаяся революция, как оказалось в итоге, выжгла только наш «нигилизм» — застарелую болезнь, с которой никто не умел справиться. «Нигилисты прошли» с неудачею московского вооруженного восстания³.

Конечно, все это не «золото в шапке», с моей точки зрения. Вернусь к заграничным впечатлениям. Когда я вернулся на родину, то мне показалось все так хорошо, что я подумал: «А для чего нам Европа?» В качестве литературно-исторического материала упомяну

о впечатлении, с каким старик Салтыков тоже переезжал через Вержболово после единственной своей поездки за границу; выйдя на станцию, нашу русскую станцию, нашу первую русскую станцию, минутах в двух от ихнего поганого Эйдкунена, он вдруг очутился перед громадным жандармом. Рост его, красивый и видный, до того поразил сатирика, что он вынул и подарил ему три рубля. Так как жандарм есть сокрыто мужичок, — то он не церемонился положить трехрублевку в карман. Приехав в Петербург, Салтыков гневно говорил знакомым и друзьям:

— Народу нет там (за границей). Дряннь какая-то! Мелюзга. Первый настоящий человек, что я увидел за (столько-то) времени путешествия, был русский жандарм на границе. И я дал ему три рубля. Просто от удовольствия видеть человека. Рост, плечи — красота!⁴

Старик мало ему дал: ведь жандарму он обязан всею своею литературною славою, всем, что этак и так получил от печатания. Жандарм-то, под разными соусами, и был его всегдашним кушаньем.

Но где же это моя тема? Хотел говорить о Лермонтовском домике в Пятигорске, — а пишу о встрече Салтыкова с жандармом, в Эйдкунене. Милая русская привычка говорить, писать и даже жить не на тему. Вы не замечали этого, что почти все русские живут не на тему? Химики сочиняют музыку, военные — комедию, финансисты пишут о защите и взятии крепостей, а специалист по расколоведению попадает в государственные контролеры, выписывает из Вологды не очень трезвую бабу и заставляет все свои департаменты слушать народные песни⁵. Винят бедное правительство; а где ему справиться со страной, в которой каждая вещь стоит не на своем месте и каждый чувствует призвание не к тому, к чему он приставлен, а к такому, о чем начальству его даже и в голову не приходило. Это бедлам или, пожалуй, это сто тысяч Валаамов, едущих на пророчествующих ослицах⁶. Империя весьма странная!

Я заговорил о юге в самом деле потому, что вот всю эту зиму писали о том, как лучше отметить близящееся 60-летие кончины Лермонтова, и остановились на мысли основать Лермонтовский музей в Николаевском кавалерийском училище, где он был юнкером и

откуда вышел кавалеристом. В виде кавалериста почему-то никто мысленно не рисует себе Лермонтова, — может быть, оттого, что он был сутуловат, и некрасив, и вообще лишен был той счастливой фигуры и физиономии, какая встает в воображении при слове «всадник». Конечно, Николаевскому кавалерийскому училищу, вероятно тоже «съехавшему со своего места», приятно указывать будущим музеям на то, что-де «вот каких людей я рождаю и воспитываю»! Но на самом деле Лермонтов имеет такую же связь с училищем, как, например, Пушкин с Невским, по которому он иногда ездил в санях.

Его отдали в училище. Он в нем учился. Но так как все вообще училища у нас тоже «съехали с места» или, лучше сказать, никогда и не становились на место, кроме разве единственного Московского университета, — то у нас вообще никакие биографии не связуемы иначе, чем *отрицательно*, с местом учения биографических лиц. «Шалил, не учился, скандалил начальству» или, еще хуже, — «терпеть не мог своего учебного заведения», — это такая страница, которую едва ли приятно вписать учебному заведению в свою летопись. А между тем обычно она только одна и правдива. Нет, не сюда несутся мысли при воспоминании о поэте и чтении его биографии. Они переносятся в Пятигорск, и именно — в тот домик, который каким-то чудом уцелел и где он написал все великое, все зрелое, что от него осталось.

«Что осталось от Лермонтова»... Слезы приступают при этом: остался один томик, из которого около $\frac{1}{3}$ еще так юношественны, что как-то портят впечатление от остальных, зрелых произведений его. В шесть месяцев последнего года жизни он написал больше, чем во весь предыдущий год, а все великое вырвалось из него каким-то вихрем на протяжении не более двух с половиной, трех лет.

* *

*

По значению и обширному влиянию литература Пушкина и Гоголя, конечно, несравненно превосходит все то, что осталось от Лермонтова; но изумительную сторону дела составляет то, что у Лермонтова есть

5—6 и даже более пьес такого построения, воображения и с такою красотой и силой сказанных, до того, наконец, универсальных в теме, как это не написалось у Гоголя и, может быть, даже у Пушкина. Никто не сказал того, что есть в «Ангеле» или в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива». Меня всегда поражал и его «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана») ... Последнее стихотворение, где он до мелочей обстоятельно и точно описывает образ своей смерти, наступившей вскоре после его написания, но наступившей все-таки неожиданно, нечаянно, являет собою чудесный феномен, которому веришь потому только, что осязаешь его. Но и осязаемое — это есть чудо: ибо «случаи» так подробно не совпадают. По одному этому стихотворению называешь поэта «другом Небес», угадываешь, что его посетило Небо, — и вот этого я не сказал бы в таком *личном* и *религиозном* значении ни о Пушкине, ни о Гоголе. У них было «вдохновение»; да, но это — не то. Значение их больше, неизмеримо больше, нежели историческое значение Лермонтова. Ну как у Кутузова больше значения, чем у святого «юродивого» Московского времени! Однако Кутузову церкви не построят, а «юродивеньким» — строят. Тут — *особенное*. Не это, не *подобное* «особенное» было и у Лермонтова.

Кстати, в «Сне» его описан не прямой сон, но сон во сне, сновидение уснувшего человека. Мне случайно пришлось прочитать, что в древней магической литературе, как известно занимавшейся и снотолкованием, придавалось особенно важное значение «снам во сне», т.е. тому, когда человек уснет и увидит себя спящим, и увидит, прозрит сон, который ему снится в этом втором сне. Тут является, так сказать, квадрат, удвоенность сущности сна и сущности сновидения: и понятно, что древние видели в нем особую и священную предсказательную силу, по глубокому разрыву в этом втором сне человека с действительностью и, следовательно, по свободе его унести особенно далеко, в будущее, в «вещное» и «вечное». Не невероятно и даже очень правдоподобно, что в этом стихотворении Лермонтов передал действительно приснившийся ему сон.

Оба раза, как я был на Кавказе и в Пятигорске, я посетил все оставшиеся там реликвии Лермонтова. Их

довольно много, и Пятигорск точно дышит его именем. Это единственный, кажется, городок, где имя поэта, жившего в нем, помнится и известно не одному «школьному юношеству» этого города или читающему верхнему классу, но помнится, известно и почитаемо и в самом населении, т.е. в мещанстве и у простолюдинов. Оно там народно и даже простонародно. Из реликвий, однако, ни одна так не прекрасна, как домик, где он жил.

В первый приезд мой на Кавказ мне не удалось его осмотреть. Обитатель его уехал куда-то, «не изволил обещать скоро вернуться», и, несмотря на все мои упрасивания, ветхая годами прислуга решительно отказала мне позволить войти в него. С досадой я видел, что за домиком сад. И туда не впустила старуха. «Мало ли что может быть, и Бог весть, кто вы такой и чего смотрите! Я за все в ответе». Ну что делать! Пошел прочь, и без всякой надежды еще раз увидеть эту прелесть и почти загадку. Ибо около Лермонтова и в связи с его памятью все кажется прелестным и таинственным.

В прошлом году, опять обойдя все реликвии, я, с унылой мыслью об отсутствующем хозяине и невозможности что-нибудь увидеть, все же направился опять к домику. Так тянет! Он стоит на Лермонтовской улице... Кстати, о переименовании улиц. Оно всегда мне не нравилось. Прежде всего — «Гоголевская улица», «Пушкинская улица», «Лермонтовская улица» — это искусственно. Такие названия не народны и не вытекают ни из быта улицы, ни из характера и физиономии ее, ни из ее истории и основания. То ли дело Сивцев Вражек (в Москве) или Ситный рынок (в Петербурге). Такое название — физиономия! В истории же и в быте все должно быть колоритно и сочно. Названия улиц именами писателей не украшают их, а портят, стирая, и вовсе напрасно, их физиономию и собственную сущность. А она и есть дорога.

Лермонтовская улица стоит на самом краю Пятигорска, почти за городом. И уже приближаясь к ней, видишь, что все пустеет кругом и город замолкает вдали. Так как, однако, все строения в нем каменные, то обычной деревянной рухляди, какою бывают уставлены въездные и выездные улицы внутренних городов

России, там нет: огромных домов уже не встречается, но все постройки приветливы, видны собою, не рушатся, не говорят о старости и бедности. Вот завернул и за угол последней улицы, идущей радиально от центра города, и очутился на Лермонтовской: она идет под прямым углом с предыдущею, уже не по радиусу города, а по его окружности. «Домик Лермонтова» окнами обращен за город и спиною к городу. Конечно, если здесь жить, то так и надо было выбрать, с видом на природу.

Он не угловой, но недалеко от угла, саженьях в 50—80. Все дома улицы и он, как почти и весь Пятигорск, построены из известняка, дарового туземного камня, который берут «тут же». Известняк этот — белый с желтизною и от множества в нем пор, с осевшею в них пылью, грязноватый. Пишу для северных жителей России, не знающих этого постоянного вида наших южных городов, городков, сел, даже одиноко стоящих хижин и даже заборов. На юге сады и вообще «частные места» нигде не бывают огорожены забором или частоколом: там лес редок и дорог, известняк же ничего не стоит, и, наломав из него глыб и придав им приблизительно квадратную фигуру, складывают их друг на друга, в один или два ряда, до груди или до пояса человека, смотря по ценности огороженного места. Дома строятся из того же материала, лучше обработанного. Но селения и весь почти город, кроме «правительственной собственности» и домов магнатов, всегда являет собою издали подобие стада грязно-желтых овец, толкущихся или разлегшихся по отлогу горы, по берегам речки-ручья или во впадине долины. Это обычное зрелище юга России и Кавказа.

* *

*

К удивлению и радости, домик Лермонтова в последнюю мою поездку в Пятигорск не оказался пуст. До сих пор «Домик Лермонтова», т.е. где он жил, составляет вторую и меньшую половину здания, выходящего фасадом на Лермонтовскую улицу, и его, таким образом, совершенно не видно с улицы. Закрывающий его парадный дом построен позднее, в целях доходности всего места. Пройдя мимо его по вымощенному

двору, вы подходите к совсем маленькому строеньицу, которое стоит в глубине двора, примыкая другою стороною к саду. Это — квартирка-домик, рассчитанный на небогатого, нетребовательного, но с некоторыми средствами жильца, с привычкой к чистоплотности и вкусом к уединению. Об этом говорит и положение домика в городе, и положение его на самом дворе; но более всего говорит самый домик, как только вы переступите через его порог. Конечно, это одна квартира, которая не может быть разделена. Она и не обширна, и не мала для одинокого; не допускает обширного приема гостей, но хороша для беседы и чаепития с другом. Друг Печорина — доктор Вернер.

Навстречу мне вышел старичок, и мне показалось, что я вижу перед собою Максима Максимовича в старости. «Вот удачный преемник жилища поэта! — подумал я. — Кому же и хранить его лучшую реликвию, как не этому отвергнутому другу Печорина», который, кстати сказать, мне нравится гораздо более самого Печорина... Я поздоровался и почтительно попросил позволения войти в дом, хотя это, очевидно, не может не беспокоить его теперешнего обитателя. Так как Максим Максимович не был излишне предан литературе, то и в стоявшем передо мною старичке я не предполагал особенного участия к имени и памяти Лермонтова. «Хозяин как хозяин». Но я ошибся.

Одинокий старичок ввел меня в необыкновенно чисто содержимый домик, и на меня пахнуло старой Великороссией, когда в переднем «красном» углу я увидал под стеклом огромный образ Божией Матери. «Вот хорошо! Как у нас», — подумал я и перекрестился...

— Федоровская Божия Матерь... — проговорил старичок.

— Федоровская Божия Матерь? Что-то имя знакомое. У нас в Костроме, где прошло мое детство...

— Чудотворный образ Федоровской Божией Матери хранится и охраняет Кострому, мою родину. Служба моя прошла на Кавказе, и вот образ Ее я привез с собою сюда...

Как я был удивлен. «Земляки!..» Я помолился и приложился к образу, которого с детства не видал, — да и не знаю, видел ли определенно и сознательно в

детстве, а только в ухе моем остался этот звук рассказов и молвы: «Федоровская Божия Матерь», «Федоровская Божия Матерь». Само собою, все преграды и отчуждения пали, когда и я в хозяине, и он в госте узнали залетных птиц с севера, в сущности из одного гнезда. Мы обнялись и поцеловались⁷. Неподалеку от образа были фотографии с живых и с усопших в гробу — матери, отца и покойного брата хозяина. «Все как у нас, в России, где предков почитают и помнят именно этим способом». Я оглядывался в приветливых комнатах, не зная, с чего начать осмотр.

— Все как были при *нем*, — сказал старичок.

Он сообщил мне документальную сторону дома и сопоставил ее со словами мемуаров о Лермонтове, которые все знал и помнил. Все важное в его рассказе я записал, как и срисовал на бумагу весь план домика, равно и сада потом. По заметкам этим я мог бы восстановить все подробно, но клочок бумаги затерялся в дороге, при возвращении в Петербург. Мне кажется, однако, геометрическая точность рассказа, конечно тоже интересная, не упраздняет любопытства общего впечатления, и я поделюсь им.

Комнатки, сажени по $2\frac{1}{2}$, по 3 в ширину и сажень пять в длину, разделялись на две половины: две комнаты, более парадные и официальные, если только слова эти применены к такому бедному жилью, были обращены во двор окнами, широкими, так называемыми «итальянскими», т.е. соединением одного большого настоящего окна с двумя узенькими полуокнами. Все в общем дает массу света, и такие окна у нас, например в Костроме, допускались только для светелок, как специально летнего жилья, не нуждающегося в защите от мороза. Здесь, в фундаментальном зимнем жилище, они, очевидно, сделаны в применении к климату. Затем им параллельно идет левая сторона жилища, — более субъективная и домашняя. Такими же окнами она обращена в сад. Кабинетом или читальней могла быть и парадная сторона: она все же достаточно мала и уютна. Но спальня поэта могла, наверное, устроиться только в которой-нибудь комнате, выходящей в сад. Они точь-в-точь повторяли собою первые: незатейливый и несложный план, с которым легко справился пятигорский архитектор 20-х или 30-х годов минувшего века.

Я несколько раз прошелся по комнатам, измеривая и перемеривая их, и догадался, что мне более всего нравится в них пропорциональность. Кто знает провинциальные, и особенно очень старые, постройки, тот знает, что это не так часто встречается. Низенькие потолки, приплюснутый вид комнат, — иногда одна огромная комната между крошечных других, — все это так обыкновенно. Простой и ясный вкус архитектора и выбравшего себе жилище жильца говорил о себе во всем. Мы вышли в сад.

Старичок хозяин отметил мне все деревья, которые росли еще при жизни поэта. Между ними, в переднем углу сада, выдавалось вековое дерево с таким раздвоением ствола у самого основания, которое образовало удобное естественное сиденье, — и где не мог не сидеть Лермонтов, как не может по крайней мере не примериться посидеть тут каждый даже случайный посетитель. Дерево, сколько помню, — грецкий орешник, но хозяин объяснил мне, что оно не попадает по северную сторону Кавказского хребта и, искусственно посаженное, представляет единственный экземпляр этой породы в здешних местностях. Старая засыхающая яблонь — по два дерева возле окон — все времени поэта; третье, меньшее дерево, возле окон, — позднейшей посадки. Тут же он прочитал мне, по старинному изданию Лермонтова, напечатанному еще при его жизни, строки стихотворения, правдоподобно навеянные именно этими деревьями перед окном. Я страшно жалею о всех этих частностях, занесенных мною на бумагу, которую так неразумно потерял. Но возможно, что строки эти побудят кого-нибудь из туземных жителей или заезжих туристов закрепить для памяти потомства все драгоценные подробности Лермонтовского домика и сада. Как жаль, что этого не сделано относительно дома в Тарханах, где поэт провел у бабушки свое детство и который недавно сгорел! Теперь уже никто не восстановит частностей.

Мне кажется, что ценность и интерес Лермонтовского домика и сада будут все возрастать со временем. Мне даже кажется необходимым взять все это место в казну или в собственность города⁸. И, сохраняя домик как реликвию, при нем в большем, новом здании устроить библиотеку или читальню имени Лермонтова.

Все это как-то живее и конкретнее, чем шаблонный монумент, воздвигнутый ему в Пятигорске. Монументов вообще мы не умеем строить. Слишком мы христианская нация, чтобы нам удавалось это языческое увековечение: «бронзовая хвала»⁹, как называл эти памятники И.С. Аксаков, слишком холодная, бездушная хвала. Что лучше простого креста над могилой или часовенки возле могилы? что лучше простой записи в «поминальце» — на «вечный помин раба Божия Михаила» где-нибудь в старинной церкви, связанной с его жизнью или смертью? И вот еще такое вечное сохранение жилища, где он жил.

Я простился с приветливым хозяином дома и еще раз не мог не сравнить его мысленно с Максимом Максимычем... «Такому и сторожить это прекрасное место»...

Кстати, маленькая поправка. В Пятигорске воздвигнут небольшой памятник на месте дуэли и смерти Лермонтова. Хозяин дома, Георгиевский, знал того извозчика, который вез тело поэта с места дуэли, и, по его показаниям, твердо говорит, что место это отмечено не совсем правильно: памятник поставлен в стороне от подлинного места дуэли¹⁰. Все это он рассказывал мне так любовно и так мотивированно, что видел был «любитель» памяти поэта, биографии поэта; и все давало впечатление, что сведения и догадки его, которые он не позволял себе смешивать со сведениями, совершенно точны.

ГЕРМАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

(вторая поездка)

ПОГРАНИЧНЫЕ ЗАПАХИ

Второй раз переезжаю через коротенький мостик, переброшенный через широкую канаву, вырытую между Deutschland'ом и Россиею, и то же впечатление...

Приложитесь лицом к отверстию большого мешка с заношенным бельем, которое отдается в стирку, и вдохните всей грудью воздух: это Вержболово... Я все ходил по его сложным коридорам, каким-то ненужным, пустым комнаткам и, наконец, по большому залу, где в семь часов утра пассажиры в последний раз пьют «русский кофе». Этот «носильный запах» немытого белья, какой-то потный, какой-то удушливый, какой-то неприятный, все время преследовал меня...

Лица тусклые, серые, недовольные... Перед поездом стоят огромные, красивые жандармы. Через поезд проходит, отбирая паспорта, жандармский офицер в клеенчатой накидке, — быстро и энергично совершая окрики и жесты...

— Ваш паспорт?..

Это он обратился к пассажиру, ночью влезшему в наше купе и сейчас же улегшемуся на верхнюю лавочку. Теперь от этого пассажира, из-за шерстяного одеяла, виднелась только спина.

— Эй, вы... — повторил офицер.

Не оборачивая спины, пассажир протянул руку с паспортной книжкой.

Возвращается. Пассажир все так же спит.

— Возьмите ваш паспорт, — говорил желчно офицер.

Тот не шевелится.

— Вам пора вставать, — говорит он досадливо, видя перед собою вместо человеческого лица опять ту же спину.

Из-за спины этого господина слышалась скороговоркой громкая брань, в которой можно было разоб-

рать только слова: «Это черт знает что такое. Легче готтентотскую границу переехать, чем русскую...»

Офицер прошел дальше. Пассажир не шевелился... Между тем ведь «сейчас выходить из поезда»... И все пассажиры, даже дети, стоят в пальто и шапках, в шляпах, у дверей, у окон, в проходах, встречая Германию и прощаясь с Россией.

Короткий свисток. Кондуктора встали на «подножки», и поезд тронулся.

Переходим из России в Германию.

По сторонам мостика два белые столба, наш «казенный» и тамошний «государственный». «Наш», как все верстовые, имеет черную, свившейся змейкой, кайму на себе. Но вот мост пройден: и «их» столб, короткий, белый, квадратный, — являет совсем другой вид.

Может ли быть «дух» у столба? У казенного, пограничного столба? Вообразите, — есть! Немецкий столб, именно — короткий и белый, без закругленностей и выгибов, — являет прямой дух, вместе с тем хорошо промытый и без запаха.

— Staats-rechts*...

Наш...

Я обернулся назад, к убегающей родине...

«Лукавая и грязная страна»... «без границ, без определений»... «без концов и начал»...

Поезд стал. На другой стороне подан германский поезд. Встречают пассажиров уже немецкие «Träger»'ы**. Совсем другие лица, чем «наши». Совсем другая компоновка мяса, фигур, другая живопись движений. И на станции... совсем другие надписи на вагонах.

Ругавшийся пассажир наконец слез с постели-лавочки. Это был рыжий еще молодой еврей, и такой худой, точно волк, которому несколько суток ничего не попадало на зуб.

* *

*

Таможенный досмотр...

Раскрывают чемоданы, сундуки. «Träger»'ы очень милые. Но перед высокой конторкой стоит и что-то

*государственное право (искаж. нем.).

**носильщики (нем.).

записывает со строгим, взыскательным видом человек в форме, лет 40—45-ти, огромного роста и красивый, с усами, как у императора Вильгельма. Совершенно такие же! И оклад лица, молодцеватый и без выражения, напоминает известное всем нам лицо, воинственное и без маски. Как это ухитряются немецкие супруги рождать мальчиков, в огромной пропорции, все «на одно личико», — я не знаю. Но вспомнил из Грибоедова:

А оттого, что патриотки¹.

Немцы, очевидно, не ревнуют своих жен к этому «мысленному искушению», которое, наверное, есть...

Мы перешли на другой поезд.

«Е у d t k u h п е н».

Как и в первый раз, лет шесть назад, меня обрадовали и удивили эти совершенно не встречающиеся на русских железных дорогах широкие, будто двойные, окна... Точно отодвинута часть стенки вагона, и воздух, полевой-лесной, врывается широкою струей в вагон.

Все чисто, легко дышать. Как легко вдруг стало дышать!

ДНЕВНИК ТУРИСТА

— Вот и старость... и болезни...
и может быть...

— Может быть, подлечимся и
еще поживем.

I

В столовой «Carlton-Hôtel» в Наугейме, на небольшом отдельном столике, стоит торжественно красивый томпаковый самовар... «Вот прелестно... Можно напиться чаю», — подумал я вслух.

— Нет, — ответила русская старожилка отеля. — Его никогда не ставят.

— Почему?

— Не умеют.

— Я их научу.

Действительно, я люблю ставить самовары: удовольствие для меня сходное с ездой на велосипедах. Сперва трудно и неприятно (пока руками катят велосипед, — до вскакивания), зато потом продолжительное удовольствие.

Самовар должен не «кипеть», а вскипеть, т.е. фыркать паром...

И тогда длинная беседа, милые разговоры... воспоминания, признания — все льется «около самовара», так легко и красиво, как это не может выйти за обедом, где все утоляют голод, т.е. озабочены и работают, сознаюсь, довольно некрасиво.

— Я им поставлю самовар, — сказал я, готовый «споспешествовать» русской культуре.

— Невозможно.

— Отчего?

— У них нет угольев... в городе, в стране, кроме каменного угля, которым топят паровозы, нет обыкновенных угольев из печки.

— Да, в самом деле, тогда невозможно. Самовар есть, вода есть, чай есть, сахар есть, но невозможно

«поставить самовар».

Теперь я понял, отчего не «распространяется самовар» на Западе, где уже давно его знают и, конечно, не прочь бы перенять, как все хорошее и удобное.

— «Нет углей»!

Собственный их чай омерзителен. Это что-то теплое и недоваренное. Именно не «вскипел самовар»... Прелесть чая — не столько вкусовое, сколько художественное.

Бедные русские покупают здесь кастрюльки, жалким образом кипятят в них воду и пьют «кое-что», а не чай.

И сахар у них отвратительный. Вообразите, желтого цвета, — и рассыпчатый, как склеенный песок. Нашего белого, крепкого, кристального — и в помине нет.

II

Уныло тянутся больные... Какой грустный вид... Многих везут на двухколесках. Молодых очень мало. Преобладающий возраст от 50 и до 60—70 лет; немного — среднего возраста; совсем немного — молодых, изредка, однако, попадаются подростки — мальчики и девочки. Красивые, улыбающиеся — они там «везутся» в двухколесках наемными служителями и служительницами.

— Это не безногие. Но во время лечения тяжелым больным запрещается всякое движение, даже ходьба. И они «гуляют» лежа...

Так пояснили мне.

Какие есть странные и... благородные болезни. Большинство лечащихся в Наугейме страдают так называемым «утомленным сердцем», «усталым сердцем». Сердце не имеет никакого порока, у многих не перенесло даже никакой болезни и вполне нормально и здорово по своей структуре и анатомии. Но в жизненной заботе, в жизненной тревоге, наконец, в «домашних хлопотах», «беспокойстве» — или на тяжелой, хлопотливой и ответственной службе — оно переутомилось просто от того, что долгие годы билось усиленно и тревожно.

И я смотрю с немножко богомольным чувством на всех этих старушек и старичков.

Полные, спокойные. Много очень благородных лиц, по очерку, по окладу. Все «усталые сердца», «усталые от жизни».

И, встречая взглядом их на тротуарах, на аллеях, я мысленно говорю: «Не бойтесь! Отрастут крылья! И опять полетите в возможную заботу и труд».

III

Не понимаю, отчего немцы не едят нормальных кушаньев нормальным образом.

Напр., картофель: ясно, что «молодой картофель» надо есть со свежим сливочным маслом... разрезая горячую, очень горячую картошку и покрывая каждый кружок ломтиком твердого холодного масла. Так вкусно, что ничего лучше не придумаешь.

Но немцы подают... тоже молодой и рассыпчатый картофель, чуть тепловатый и вымазанный в чем-то коричневом.

Яйцо: что может быть прелестнее яйца «в мешочке», яйца всмятку, — особенно, если выпустить 2—3 яйца на кусочки разломанного черного хлеба, и все это посолишь и перемешаешь... получится объеденье.

Наконец, — яичница, с кусочками ветчины и ломтиками прожаренного в масле хлеба.

Сам Бог так устроил.

Но немцы все переиначили: они на большом блюде подают не то яичницу, не то просто выпущенные яйца, с чем-то зеленым и мокрым...

Мясо: что яснее рубленых котлет с сладким зеленым горошком или с картофельным пюре. Не догадываются... Котлет совсем нет. Не имеют понятия «рубить мясо». И подают все какие-то кусочки, непременно замазанные.

У них все намазано.

«Суп» ихний — это тарелочка, в которой чего-то намазано на донышке или разлито 5—6 ложечек. Цыплят нет жареных, а какие-то моченые.

IV

Вечер... Большая толпа гуляющих. Мы еще только идем «на музыку»... Передо мною в двух шагах идет старушка, маленькая, тонкая и прямая. Видя, что она идет уж очень изящно, я стал вглядываться в подроб-

ности: волосы не белые, но всею массою серые, т.е. на два седых волоса один темный. Около тонкой шеи ажурный воротничок, — «мое почтение». Кофточка, черная, шелковая, вся вышита. На голове сделана прическа, с ихнею «подкладкою», что ли. Вся мала, вся стара: а идет молодо и прямо великолепно.

Я шепнул своим:

— Обратите внимание: ей не меньше 65 лет, а как одета!

Старожилка наугеймская ответила:

— Еще в Германии так и этак, но во Франции и Англии нет старух.

Я изумился. Она продолжала:

— Вы нигде не видите старух. Старые женщины одеваются совершенно так же тщательно, с таким же изяществом, как молодые...

Передо мною шедшая старушка была «совершенно молодая». Вместе с тем она была безупречно скромна, в движении, походке. Ее одежда, очевидно, вытекала не из желания или надежды нравиться (65 лет), но... я думаю, из нежелания чей-нибудь взгляд оскорбить зрелищем старости *как усталости, как небрежности, как неряшества.*

Это не гениально, но красиво.

V

Как же все это произошло?.. Иду мимо огромного пруда с завивами, с заливами, среди огромного парка.

Глаз любовался на широкую гладь вод.

Сколько бы жаркое солнце взяло дани с этой глади вод, в виде паров, которые потом свернутся в дождь. Конечно, *этот* пруд ничтожен в смысле обещания дождя. Но его масса охлаждает воздух кругом. И вспомнил я знойные поля в безлесном Елецком уезде... Три недели, месяц ни дождя, ни росы. Даже ночью воздух дышит жаром. В комнате развешивают мокрые простыни: нет возможности заснуть без этого. В деревне изморенный скот и обессиленные крестьяне. Какой-то колодезишко в конце села.

Все задыхается.

И связал это с окружающими господами на «Дне» Горького. Вот незабываемый «барон», идущий с корзиной чего-то краденого на базар; выдающийся Лука;

летающий на парах «алкоголик» и еще несколько господ, обыгрывающих добросовестного огромного татарина. Не «знают», «куда преклонить головушку», к чему «приложить рученьки».

Ну, господа: если «рабочая республика», то «все за работу». Сразу всего не осуществить, а по частям можно и давно бы пора начать. Всем этим господам со «Дна», потерявшим себя, собственно, по безволию и по без-«путию» (потеряли «путь» жизни), нужно давно предложить работу не мудреную, не сложную, но в форме довольно усидчивой — копать глубокие и широкие пруды-озера по засыхающим, знойным местам России. По Звенигородской улице, где я живу в Петербурге¹, вплоть до Загородного проспекта стоят в расстоянии 10—15 сажен один от другого ряд пареньков-нищих, до того здоровых и сильных, что хоть куда. Стоят и протягивают руки прохожим. Настоящие женихи: не только сильны, но и красивы. И почему-то ни одного старого, все лет от 16—23. Все Адонисы «с ручкой». По утрам, видишь, полицейские по всем направлениям конвоируют молодой и крепкий люд: кажется, для бесплатной высылки «до Любани», оттуда они возвращаются «зайцами» в Петербург, а Петербург опять их «высылает». Что-то глупое, непонятное, все-российское.

Почему бы им не копать пруды? По всей России таких «неопределенных» людей наберется до 500 000. В год тысяча человек выкопала бы «агромадных» два пруда. Все — 100 прудов. Через 50 лет Россия имела бы 50 000 таких прудов: и гладь вод дала бы солнцу питье, а земле благодетельную влагу дождя.

А живы, следовательно, кормятся и, следовательно, одеты. Сыты хлебом с мужицкой нивы, одеты в лен с крестьянского поля.

Этим можно было бы «предложить с настойчивостью», но есть следующая степень социального состояния, где положительно должен быть создан обязательный труд. Почему совершившие «вину» против общества, «отбывающие наказание», отбывают его таким способом, что становятся пенсионерами жителей, против которых «вина» совершена? Что такое за государственное сутенерство? Государство берет себе в каких-то «любовников» всех преступников и «содержит» их,

в последнем анализе, конечно, на народный счет, на счет трудовых людей.

Ведь конечно же это так! Ведь, конечно, таков именно кругооборот государственного колеса.

Пока работаешь, никто тебе не поможет.

Как украл, пырнул ножом, сейчас принимается на казенное содержание.

Странствуя по России, живя в России, где бы вам это ни случилось, вы везде встречаете «лодырничающих людей»... Это — народное слово, народ их так окрестил: «Лодыри». Это — люди без дела, слоняющиеся, ни к чему не приставленные, от всего отставшие.

Без пути, без воли и только с аппетитом.

Государство должно им дать путь и волю — и подставить под залог этого обеспечения аппетита.

VI

Одна из отличительных особенностей «заграницы» есть полное исчезновение этих «слоняющихся» или «стоящих по стенкам и по заборам» людей, с ленивым и толстым лицом, с неопределенным взглядом, с повислыми руками. Зрелище это до того отсутствует по переезде Вержболова, что наши «трутни» представляются каким-то «дурным сном на родине». Кажется этот факт невероятным... За границею он неуместен: просто не нашлось бы угла, не нашлось бы места, не нашлось бы помещения для такого.

Как можно «стоять» среди улицы, когда все по ней идут твердым шагом к определенному делу? Идут непременно за чем-нибудь?

Как это детина в 20 лет «задумался», «ковыряет в носу» и «никуда не хочет»...

И какой черт ему скажет: «Бедненький, может, ты хочешь покушать».

Не в Наугейме... не в Германии... Вся наша «пенитенциарная»² система, якобы научная, выросла из какого-то дурного и больного юродства. Ее родина — не наука, но те рвы возле Московского Кремля, где еще во времена Иоаннов и Василиев собиралась «нищета убогая», которую кормили царь и бояре³. «Бога для...» Пока не пришел Петр и не погнал всего этого дубиной... Не погнал на верфи, в казенную работу, к обя-

зательной грамоте. Но после Петра Русь опять размякла и раскислась.

VII

Не могу не привести о Наугейме одного замечания, мною услышанного. Конечно — от русской:

— Я видела много курортов. Но Наугейм выдается тем, что вполне *законченный курорт*. Неряшливость, небрежность, недоделанность, недовершенность раздражает глаз и ум, хотя бы она к вам и не относилась, вас не задевала. Эта же законченность сообщает больному уверенность и твердость жизни, дает покой. Знаешь и видишь, что уже лучше ничего нельзя.

Нужно заметить, что сердечные больные, — не по душе и характеру, но от болезни, — страдают все раздражительностью, волнуемостью, повышенной впечатлительностью! И покой — главная составная часть лечения.

Тропинка идет с таким медленным подъемом кверху, что только на большом расстоянии глаз замечал, что это неровная дорога. Это для усложнения ослабнувшей мышцы сердца. Неужели этот «медленный подъем» — природа? Отчего же *именно такого* я никогда не встречал? А если то же сделано или «прибавлено» (к природе), «приноровлено» (в природе), — то опять чего это стоило!!

«Все мало-помалу», «все кусочек за кусочком»; «рано вставали, поздно ложились», «хлебец не даром ели», — как будто отвечают те утихнувшие хулиганы, которые без этой работы, может быть, «свернули бы голову» маленькой немецкой землице, с ее когда-то маленьким правительством, маленьким войском, маленьким князьком.

Место девичества русской Императрицы

Задыхаясь от усилия и страшно ударяя копытами о камень, пара лошадей подымалась по узкому въезду в замок Фридберг, с поседелыми от древности стенами и с огромной красивой башней, уносившейся ввысь. Все говорило о войне, страхе; об упорной защите против кого-то; о врагах, не знавших пощады; о крови, оружии и о воинах, закованных в железо с головы до ног.

Такова нахмуренная наружность и замка, и дворца, где наша Императрица провела свое девичество, как гессенская принцесса.

У входа нас встретила девочка лет 15 — прелестная, как Гретхен, по скромности, миловидности и манерам; ее — во время осмотра — незаметно сменил ее отец — огромная фигура, с красивым, свежим, почти молодым лицом и с таким его выражением, будто счастливее его никого нет на свете. Впрочем, почему это и не так! С женою — некрасивой пожилой женщиной — и прелестной дочкой он один живет в старинном замке, охраняя его и там и здесь производя неторопливый ремонт.

Благополучие его, однако, основывается не на одном удобстве занимаемой должности. Это — само собою; это «хлеб»; но «не о хлебе едином жив бывает человек»⁴. Поэзия его, размолодившая его лицо, — это воспоминания «о русской теперешней Императрице, нашей маленькой принцессе Алисе, которая провела в этом замке детство и девичество».

Он поступил сюда, когда ей было три года, и, естественно, носил ее еще на руках. Об этом он первым делом упомянул. Ее лицо и детские слова — за разные годы возраста — точно врезались в его ум и память: и он непрерывно говорит о ней, и только о ней одной. Я спросил его имя. — «Obst», — ответил он. Хочется сохранить имя человека, до такой степени преданного, до такой степени верного памяти.

Полы некрашенные, деревянные, тесаные... В спальнях и кабинетах они закрыты коврами, скромного достоинства. Потолки очень низки, ниже, чем даже в обычных наших помещичьих домах. К скромности обитательницы относится то, что нигде нет ее портрета.

Все удивляло простотой и скромностью. Мы еще более удивились, пройдя во второй этаж, «в комнаты для гостей», т.е. для приезжих. Не будучи так правильно расположены, даже имея в расположении нечто дикое (какие-то переходцы, стенцы и потом комнаты), они простором, свободой и наконец высотой своей более нравятся, чем «великогерцогские комнаты» внизу. Здесь развешаны идиллические сцены, то из средних веков, то из Библии. Вот одна из классических «Юдифей», а вот «Неаполитанка, плачущая на развалинах своего дома» (должно быть, после извержения Везувия); немного далее — «Семья неаполитанского рыбака»... Гравюры превосходны.

Грозная видимость замка, когда к нему подъезжаешь, находится в полном контрасте с идиллическим миром внутри. Это, в сущности, большой, просторный помещичий дом, духом, видом и величиною напоминающий русские барские дома старинного пошиба. Комнаты очень просторны, но ни одной огромной. Даже «приемная зала герцогов», в сущности, просто большая зала, без всяких «герцогских» признаков, кроме портретов. Они везде развешаны, эти портреты: и членов нашего Царствующего Дома здесь почти так же много, как Гессен-Дармштадтского. Семьи Александра II и Александра III, все в молодости, в цветущем возрасте представлены здесь. Вот «принцесса Дагмара», Императрица Мария Федоровна, в бытность ее невестою великого князя Николая Александровича, и он сам, ее жених, до брака угасший... Вот Александр II, скачущий верхом на коне по полю, в грозной позе и с ласковым лицом. Изображения, очень схематичные, скорее мифологичны, чем историчны. Вот совершенно молодой, почти юный, Франц-Иосиф, император Австрии; и самая первая красавица из всего собрания гравюр — его супруга Елизавета, убитая ударом шила анархистом из Швейцарии. С прекрасной, немного лукавой и насмешливой улыбкой в губах могла ли ду-

мать юная красавица о таком грубом, жестоком и бессмысленном конце своей жизни?

Мы спустились в сад. Он дает впечатление уединенных задумчивых прогулок и чужд возможности шалости, игры, резвости. Происходит это от его странного устройства. Отступя сажен пять от стены дворца-замка, идет глубокий ров, и сад в одной половине своей занимает длинную и узкую полосу земли, примыкающую к стене дворца. Она естественно разработалась в чрезвычайно длинную линию. По другую сторону рва есть также сажен пять ширины — это земляной вал, примыкающий к каменной стене с крепостными зубцами. Вал этот также занят аллеею и еще параллельной ей дорожкой, ничем не обсаженной. Таким образом, весь «сад» представляет собой две старые, вековые аллеи, с купами цветущих кустов возле деревьев, но аллеи эти разделены широким и глубоким «военным» рвом. По ту сторону зубчатой стены открывается вид на весь город Фридберг, уездный городок Гессен-Дармштадтского герцогства, с его старинным, XIII века, готическим собором. Замок, собственно, расположен на каменном утесе, господствующем над городом и всею странюю. Отсюда старые воины-герцоги держали в страхе и повиновении городских бюргеров и окрестное крестьянство. В саду, в первой аллее, стоит несколько прислоненных к стене замка надгробных плит, надписи их уже тусклы, но могли бы быть разобраны археологом. Однако и я прочитал на них цифры XIV и XV веков. На этих плитах из буро-красного камня изображены и бывшие «владыки» замка, рыцари в латах, шлемах, забралах, точь-в-точь каких описывает Вальтер Скотт.

Все прошло... Двери везде растворились. Никто никому не грозит. Крестьяне и бюргеры исполняют «в силу судьбы», «безработицы» и «голода» тяжелый труд гораздо тщательнее, чем когда-то они исполняли его вследствие «крепостной зависимости». Бывшие феодалы танцуют, путешествуют, предаются спорту, служат, и когда «служат», то тоже с аккуратностью бюргеров и крестьян, — иногда ради «креста», «ордена»...

Боже, как изменилось все... к худшему? к лучшему? Итоги истории знает только будущее.

Еще испорченный памятник

Наугейм поставил памятник виновнику своей славы, богатства, — а главное, конечно, наблюдательному врачу, который облегчил страдания сотен тысяч больных. Это — Бенеке. Наш врач торопливо оканчивал «выслушивания» и «назначения номера ванн», говоря, что он спешит, в составе других своих коллег, не опоздать «к открытию» памятника...

— Бенеке был профессором патологии и, таким образом, не был специалистом в той области, в которой сделал открытие. Он первый сделал опыт — посадить больного сердечною болезнью в углекислую ванну. К удивлению — опыт удался. До него никто не решался на это, полагая, что возбуждающие углекислые ванны для сердечных больных могут быть только убийственны. Опыт Бенеке указал, что никакого ухудшения в положении больных не бывает, а, напротив, наступает улучшение сердечных функций... Начались опыты, наблюдения — комбинации ванн, диеты, движений активных и пассивных... И наконец, созданся целый «Наугеймский метод лечения сердечных болезней» — новая ветвь науки и практики.

Уж конечно, кому человечество должно бы ставить памятники и не щадить средств, — это врачам. Они борются и поборают самым прямым и непосредственным образом главного и язвительного мучителя всех людей — болезнь. Сколько побед! А какой длинный путь труда, забот, науки, наблюдений, изысканий, опытов под этим... И все наблюдения в душной, мучительной атмосфере и обстановке стенаний, охов, бледных, изможденных лиц. Кажется часто, что нет науки выше, нет деятельности священнее...

* *

*

Каково же было мое удивление, когда, выйдя на прогулку часа два спустя по уходе доктора, — я заметил в

60-ти шагах от своего отеля небольшую толпу явно «еще не разошедшихся людей», и когда протеснился через нее и взглянул на то, что она закрывала собою, то не мог сомневаться, что это и есть «вновь открытый памятник»!! Он стоит совершенно незаметно на незаметной улице, *vis-à-vis* с шалашом, где продают ягоды и фрукты, под деревом или около дерева, но во всяком случае на месте, совершенно невидном, затемненном и где никого даже не бывает, кроме «проходящих» в другие, и красивые и наполненные народом места Наугейма! Что за фантазия — непостижимо! Какое громадное и чудное место, занятое лаун-теннисом... Сколько есть красивых мест по берегам озера-пруда... Например, островок среди этого озера, со всех сторон видный! Сколько есть удобных для этого полян в парке, осененных чудно подобранными деревьями, с разными отливами в окраске листьев. Наконец, в верхней, поднятой части города есть небольшие площадки, застроенные великолепными отелями. Самое естественное же было — поставить памятник посередине этого огромного квадрата из зданий для ванн, на котором бьет источник «*Sprudel*» и где, дожидаясь очереди, сидят сотни больных со всего света... Вот кому нужно видеть этот памятник и, естественно, что-нибудь знать о лице, которому он поставлен...

Его же поставили почти в луже... Серьезно: это — самая сырая, низкая, угрюмая и неприглядная часть Наугейма. Его именно только «проходят», и никто сюда не «приходит».

Глупо, плоско и совершенно же «по-германски». Но мысль памятника еще бедственнее места, которое для него избрано. По-видимому, тут была «ученая мысль».

Как известно, в древнем мире «богом исцелений» был Эскулап, в греческом наименовании — Асклепий. У него был женский двойник. Это — богиня Гигиейя. Атрибутом, постоянно сопровождающим как Эскулапа, так и Гигиейю, была змея, в античном мире почему-то олицетворявшая здоровье. У Эскулапа эта змея обвивается кругом его жезла; а Гигиейя кормит змею из чашечки, причем змея вьется по руке богини. Оба изображения — один из самых частых в

греческой и римской скульптуре, и из двадцати древних монет непременно одна попадется с красивым изображением Эскулапа или Гигией, всегда в одной позе и всегда с неразлучною змеею. По этому-то атрибуту чашечки и змеи я сейчас узнаю в памятнике Гигиейю, «богиню здоровья», но в таком виде и позе, как она вовсе в древности не изображалась, неизменный ее вид — в длинном одеянии и стоя. Но наугеймские эскулапы и зодчие представили ее совершенно нагой и присевшей к земле; в позе женщин, полющих грядки или чего-то ищущих на земле! К довершению скандала, возле ее ног они сделали четыре отверстия и провели из городского водопровода воду в пустоту, скрытую в массиве памятника. Все, прямо с чувством позора, разглядывали эту голую огородницу, с висящими грудями, из-под ног которой льются тоненькие струйки воды, наподобие которых уличные мальчишки пускают изо рта фонтаны... И как место именно «проходное», то пример всем едущим с вокзала, кажется, что бьет, падая вниз, одна струйка...

Но где же Бенеке?!

Под Гигиейей на пьедестале, на котором она сидит, есть дощечка, величиной ладони в две, много-много — в четыре, и на дощечке — лицо Бенеке.

Весь «памятник» похож на куколку: он так миниатюрен, что толпа его действительно закрывает.

Что это такое? Карикатура? Бездарность? Но во всяком случае глубокая неблагодарность наугеймских или, точнее, баденских властей (заведовавших делом постановки) к памяти человека, уже на самую грубую оценку проводшего в Баден и Наугейм неистощимую золотую реку...

Откуда такая скупость воображения? Неужели не умеют вообразить и оценить, «что выйдет, когда памятник будет готов»? В таком случае почему же не делают предварительно большой, «в полный рост», модели на месте из дерева, окрашенного в цвет будущего памятника? Тогда бы все было видно, и безобразие кинулось бы в глаза... Почему такая неудача в памятниках, как оказывается, везде? Тут что-то общее есть... Почему не только в Москве, в Петербурге, но и в Наугейме? Гаснет великая способность олицетворять, — разумно и благородно олицетворять.

Дневник туриста

В канун св. Ольги вспомнил, что у меня в Петербурге две именинницы завтра, и, кроме того, произошло нечто дома, за что следовало «поблагодарить Бога», — и я отправился в русскую церковь.

Ее не видно... и, даже подходя с улицы, издали я все еще не узнавал русской церкви. Как слышал, она переделана из католической, должно быть купленной, хотя я не знаю и немножко не понимаю, можно ли вообще «покупать» или «продавать» церкви. Как будто что-то неуместительное. Но Бог с делом и историей. Мне было досадно, что я не видел издали сияющего на все стороны креста, не видел золотого и зеленого купола... Что-то бедное и как будто загнанное в сторону. И только вот-вот совсем подойдя, я над входом увидел изображение Николая Чудотворца, в том его оттенке изображения, где он представляется более всем всегда старым, — с волосами редкими и как бы рассеивающимися в воздухе и лицом крайне гневным, строгим до гнева.

«Это — так, это — наше», — подумал я, увидя образ, и уже без колебания вступил в «свой храм».

Какое чувство... но он в самом деле есть. Везде, ходя по Наугейму, я чувствовал, что хожу по чужой земле среди не наших деревьев, брожу в какой-то дальней и не родной культуре... Но еще я поднимался только на первые ступеньки узкого и неудобного входа, еще не слышал пения, ничего, — как начал ступать с необыкновенной твердостью, сапоги точно стали срастаться с землею, и ощущение гордое и свободное, совершенно независимое «от них», охватило меня... Еще шаг, два, три... В дверь, в лицо гудит навстречу «Господи, помилуй», «Господи, помилуй!» и сейчас протяжно — «Аллилуйя, аллилуйя — слава Тебе, Боже...». И я вошел, как властелин к властелинам же (молящимся), с таким чувством собственности, какого и представить нельзя...

«Наше!! Стоим и не уйдем... И никто нас не тронет, не смеет тронуть. Тут мы в своем царстве, тут мы на родине».

Лица великолепные, как в Москве и Петербурге (в Петербурге тоже есть великолепные лица)... И эти наши, именно наши плечи, каких не рождается у немцев... Седая грива у одного, «с хитрецей» взгляд у другого. И барыни, высокие и неуклюжие, — все «наше»... А вот и милые, прелестные подростки, такие деликатные и образованные, — все «наши». Нигде еще *такого* же; *именно* такого, точь-в-точь — нигде решительно!

Тут у меня родилось другое: «наша порода»... Есть разные породы в природе: гранит, кварц. То же у людей: «наша порода, может быть, и худая — но *единственная* и ни с кем не сливающаяся». И опять это важно как факт, как вывод, как начало бесчисленных выводов...

Церковь, однако, ужасно бедна. Она вся из серого («дикого») камня, и как снаружи ее — серый камень, так и внутри он являет этот же скудный серый цвет. Как стена, снаружи и внутри одного цвета? Неблагообразие. Что-то «нежилое», «неживое»... Стены и потолок, очевидно, должны быть зарисованы, и «русские в Наугейме», из которых многие есть и очень богатые, должны, очевидно, увеличить «лепту» на блюдо и в кружку... Можно бы подумать и о «братстве», вообще о более тесном единении...

Молящихся много... Потом только я догадался, что назавтра много Ольг, но сперва понял это бескорыстно, и сейчас от этого стало теплее. И хорошо молятся, стоят. Все было хорошо, очень серьезно, очень усердно.

Священник — лет 50, как будто несколько греческого мира (очень смугл)... Очень жаль, что волосы, очевидно, подстригает. Бедность храма сказалась и в том, что риза, очевидно, не по нему: сшита на средний рост «вообще», тогда как он ниже среднего, и риза едва не касается пола... Это нехорошо. Но так как риза «больше, чем по росту», то она пышно раздувалась при движениях священника, и как он сам был достойного и гордого вида, несколько властного, то все в общем давало оттенок великолепия. Все было и говорило (почему-то) о власти, силе, достоинстве...

«Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа...»⁵ — любимый мой момент во всенощной...

И все такое наше... костромское, московское, нижегородское, петербургское... Просто точно «опять на родине». Да ведь и в самом деле так!

— Как наивны посланники, — шептал я в себе, — воображают, что они «представляют Россию»... Ее «представляют», конечно, поп, и дьячок, и вот все молящиеся...

И Серафим Саровский... вот он, точь-в-точь как в Петербурге... На большом образе, в деликатном сложении рук и склонении головы...

Божья Матерь — в васнецовском оттенке, который, кажется, становится господствующим в церковных изображениях (и, вероятно, скоро вытеснит другие), — *когда Она изображена в полный рост*. Однако усердствовать в этом распространении не следует: должно непременно сохранить около них и привычные русскому глазу и русской молитве поясное и грудное Ее изображение. Образ Васнецова хорош, очень хорош. Но не идеал, не завершение. Даже старое и обычное (поясное) — выше его уже потому, что не утомляет, будучи постоянным и повсюдным. Напротив, если бы случилось на десяти иконах «подряд» увидеть «все Васнецова» — все сейчас почувствовали бы утомление и... приторность, что ли. Значит, тут *вечного* нет.

* *

*

Какая мысль у меня мелькнула на богослужении... Конечно, главное великолепие его и жизнь состояли в горящих, зажигаемых свечах и лампадах. У меня вдруг мелькнуло: «Боже мой, если бы это из Москвы». Сложность пережитых чувств, должно быть, родила эту мысль: «Не зажигать бы огней православных здесь, в Наугейме, этим их наугеймским огнем, должно быть, от спичек (как же иначе?!), а этот огонь как-нибудь в поездах, ну а, конечно, лучше «в руках» и «пешком» (год ходьбы) принести из Москвы, от Иверской или из Успенского собора...» А потом разлилась мысль и дальше, на предположение: «А отчего бы вообще *всем* в России церковным огням не родиться от *одного источника*, например киевских пещер или еще естес-

твеннее — от того самовозжигающегося света (в Пасхальную заутреню), какой появляется в Иерусалиме в Храме гроба Господня...»⁶ Но Иерусалим далеко... Да и лучше иметь свой огонь. Но гуще и сплоченнее, наконец, одушевленное мы почувствовали бы себя в Наугейме, если бы все знали, что зажигаем «вот эту свою свечу» от огня, «непрерывно рожденного из Москвы».

И как просто этого достигнуть. Сто «ходебщиков» понесли бы такие свечи, зажигая одну от другой и меняя их, — и донесли бы до Наугейма, Карлсруэ, Лондона, Парижа; да и в Руси хорошо бы церковным светом зажигаться от одного или от немногих «родоначальных»... в Новгороде, Киеве и Москве.



Помянули после «Святейшего Синода»... «и господина нашего Владимира, епископа кронштадтского». Это — новизна; все заграничные церкви, т.е. духовенство их, объединены теперь под «управлением» одного епископа. Но сердце иначе выслушало бы в Наугейме слова: «И господина нашего митрополита московского»... Отчего бы не подчинить заграничные церкви московской метрополии? «Дела много у Москвы?» Но ведь по *существу-то* это — дела канцелярии, а там «умножай столы» (столоначальства) — и дело с концом. Между тем вся «заграница» почувствовала бы иное, услышав голос из Москвы или о Москве.

Зазвонили «к Достойной»⁷... Но и звон некрасивый. Раскосый какой-то и путаный. «Не наш» и ничей. Этого таланта здесь нет. И колокола малы и невыразительны.



Хор тоже беден. Три-четыре человека, среди них одна барышня. Поют так себе. Как это слабее великолепного женевского хора, какой я слышал лет шесть назад. Про тот хор мне рассказали удивительную вещь: по нотам, где написаны русские слова (молитвы) латино-французскими буквами, пели любители и любительницы из французского женевского населения, с примесью только небольшого процента наших («зак-

васка»)⁸, и пели великолепно, безукоризненно в про-
изношении, стройно... вовсе не понимая слов, смысла,
ничего! *Почти* ничего! «Как же это произошло», — я
спрашивал. «Ужасно любят наше богослужение, —
разъяснил мне псаломщик, — и сами напросились в
певчие. А так как нельзя же и долго бы их учить сла-
вяно-русскому языку, то между линеек нот им и впи-
сали молитвы французскими буквами».

Он рассказал мне потом, что еще недавно (тогда)
умер старый-старый католический священник, уже «на
покое» живший, больной (не мог ходить): он не про-
пускал ни одной русской службы и говаривал, что те-
перь в старости и болезни нигде не чувствует себя так
хорошо и «дома», как слушая и созерцая русскую служ-
бу, — хотя и полупонятную ему. Нужно сказать, может
быть, в объяснение, что священник (грек родом) был
большой художник, и, может быть, не без «хитрецы».
Когда я его слушал, мне показалось, что он в послед-
ней чахотке и что ему вот-вот месяцы жить. Голос до
того слаб, совсем замирает: но в маленькой церкви
вполне слышен. Каково же было мое изумление, когда
псаломщик сообщил мне, что он совершенно здоровый
человек, мне «сходить бы к нему», и что там, дома, он
говорит совершенно здоровым голосом! «Нет, просто
боюсь идти. Я мнителен — а вдруг он сейчас умрет?»

Никогда такого служения не слышал. Как при «со-
боровании» (около умирающих) — что действительно
есть самая художественная, самая трогательная служ-
ба, или треба, из всех сущих... Католик-священник не
мог не плакать (кажется, псаломщик мне сказал, что
он даже плакивал), и ему, в такой старости и болезни,
конечно, все показалось «своим» и «родным». «Еди-
ным на потребу»⁹...

Богомольная Русь. Но и с «хитринкой» везде.

* *

*

В Женеве меня поразила красота службы — *всей
слошь при открытых дверях*. На удивление, мне объяс-
нили, что это везде делается так за границею: царских
врат не затворяют. Канонично это или нет, не знаю; но
виден тут московский дальний взгляд: «Пусть бусурма-
не позавидуют: ведь ничего подобного у них нет».

Действительно нет. Любопытно это отражалось на пономарях.

В Наугейме он имел вид Ранке или Вагнера... С сильною проседью. Лет 50—55... Среднего роста. Превосходный сюртук, брюки как сейчас сшиты, без пятнышка, без складочки. Безукоризненная рубашка и манжеты. Никогда я так не уважал человека. С «видом Вагнера», с ти-пи-чней-шим немецким лицом, какие бывают только на старых портретах, в «век немецкого классицизма», — он все делал, двигался, принимал от молящихся свечи и ставил их перед образами, подавал кадило священнику и все прочее с выпученными от страха, торжества и гордости глазами... Кстати, волосы и борода у него были чудно расчесаны и, редкие, длинные, волокнистые, — являли действительно «седую красоту». Он был самый серьезный и самый напряженный человек в церкви. Есть, кажется, выражение: «топотать ногами» (не «топать»), о моменте страха, готовности, желания и только о невозможности сейчас куда-то бежать. Это вот и выражало его, — в лице, фигуре, в действительно выпученных глазах и готовности точно съесть кого-нибудь (если бы не благоговейно стоял) и вот сейчас умереть тут на месте за эту службу, за этого священника, за всех молящихся тут, за детей, стариков, и только за них одних во всей Германии.

А священник, короткий и толстый, с красивым полным лицом, в золотом пунцовом облачении, повертывался немного так и этак, медлительно и как господин вяло. Риза оттопыривалась, — и все выходило еще великолепнее.

Немного в стороне, на аналое, тоже в золотом облачении, лежал чудный, очень большой образ св. Ольги. Чудное, тонкое письмо. Лицо одухотворенное, идейное, — и святой, и дикой (по тому первобытному времени), и княжеской красотой. Тонкие губы, мудрый взгляд.

Я приложился.

Все хорошо, что хорошо.

В театре «Deutsche Kunst»

I

Грусть, тоска... какое-то задыхание в груди, страшное разочарование и желание «схватиться за что-нибудь» — вот глухие, темные чувства, с какими я ехал после четвертого дня «Кольца Нибелунгов», в «Deutsche Kunst», по мюнхенским аллеям-улицам. У меня было намерение писать и о театре, и о многом в связи с ним, но волна ощущений, поднятых «последним днем», вдруг раскрошила в куски все намерения, и я возвращался чем-то убитый и в отношении себя, и всего, всего. Огромная и страшно нарядная толпа, наполнявшая театр и теперь разбежавшаяся по всем направлениям, мне представлялась чем-то ненавистным, убогим и отвратительным. Хотелось сорвать эти кружева и шелки, обидеть эти «счастливые физиономии», ничего не выражающие. «Неужели они ничего не понимают? Что это настало за время?» Но мысль пулею переносилась от «них» к «себе» и, не находя здесь удовлетворения, — вырастала в страх, тревогу, тоску, какую-то внутреннюю и вместе всеобщую. Светились две точки:

неизбежность —

и другая мысль:

ответственность.

Припоминалось то мелкое и безобразное, мышинное и заячье, что есть во всякой личности и биографии, и так хотелось, чтобы этого не было... И так невозможно было, чтобы его не было! «Случилось», «было». И слова эти — огромные слова:

ответственность.

Перед кем? Перед Богом? Скорее всего — перед Судьбою, которая есть какой-то синтез и «Бога» и людей, есть проекция Бога и людей, «на меня проложенная», и в которой я барахтаюсь совершенно бессильно; и не могу ничего, и понимаю очень мало...

«Но все взыщется»... «Все замечено, что было, — и свяжется неизбежно с тем, что настанет»... «И тогда уже поздно будет ахать и вздыхать»...

Таково действие музыки. Этих громадных волн звуков, которые поднял Вагнер и которые катятся на вас из невидимого оркестра, подавляя, подчиняя, убеждая в чем-то грозном и страшном, что есть, но чего вы не видели в дневном освещении и что давно забыли «в суете». Вагнер будит страшно серьезное, с чем мы родились, «пришли на землю», но что сейчас же после рождения потеряли или забыли. Он будит страшно ответственное и сложное:

я — человек, —

с пробуждением чего мысль не может успокоиться; то маленькое «животное», в которое мы все перерабатываемся обстоятельствами, что ли, но в основе, конечно, просто легкомыслием... своим, моим легкомыслием.

Жалость... Жалко человека, меня, «наших», всех... Музыка Вагнера раздавливает личную гордость — это главное ее действие. Ту гордость, в которую мы все, в сущности, страшно погружены, делаем ради нее $\frac{3}{4}$ своей «жизни», когда в сущности ради нее и совсем ничего не стоит делать, потому что самый-то «божок» этот такой маленький и призрачный... Вагнер вдруг обволакивает эту «гордость», это «я» такими звуковыми «обстоятельствами», среди которых оно теряется и исчезает, чувствует полную свою беспомощность, разбитость, утлость.

* *

*

Переворачиваясь с боку на бок, я не мог заснуть всю ночь. К Вагнеру идет прямая соединительная нить от Канта: это все «германский дух», «протестантский дух», с его страшною нравственною серьезностью; с такими католическими мифами, как вот «о Св.Грале». И, наконец, этот длинный, сложный, «в немецком духе», миф о Нибелунгах и «золоте Рейна», которое Бог его знает, что значит и выражает. Я все дни, как живу в Мюнхене и брожу по его галереям и церквям, думаю: «Все-таки у нас никогда не возникало вот такой легенды как о «Св.Чаше» (Св. Грале)¹⁰, непонятной, притя-

гательной, очаровывающей, главное — воспитывающей». Между тем это легенда не книжная, ее никто не «сочинял»; это забродившее как-то и почему-то в народе представление, которому поклонились рыцари и простолюдины, задумались над ним девушки и старцы. И «задумались» и «поверили», потому что в основе «хотелось» и думать и верить... Это — страшно многозначительно. Все русские песни очень хороши, но уж как-то очень коротки и ясны. Нет «дали»; нет загадки для мысли и нет приманки для подвига. Но главное: нет того запутанного для мысли, над чем «просидеть бы жизнь», но только «разгадать бы»... таким образом, уже *народно и издревле* мы народ не мыслителей. Это страшно жалко.

От этой «чаши Св. Граля»¹¹ и нравственной философии Канта, которая гонит всякую улыбку, — идет и музыка Вагнера. Она не имеет в себе тех арий и «местечек», какие в итальянской опере заставляют таять всех слушателей; вообще она имеет мало «соловья». Род ее, происхождение ее — совершенно другое. Она страшна и потрясающа. Она человечна. Она — хочется сказать — религиозна, хотя и имеет сюжетом мифологию. Но и в мифологии есть религиозные задатки, религиозные веяния; особенно же в мифологии германской. Она есть, родилась и возможна только у народа, который когда-то потряс всю Европу негодованием и войнами из-за «папских злоупотреблений» и в другое время, еще гораздо раньше, пронес «знамя креста» от Рейна до Иерусалима.

II

«Prinz-Regent Theater»¹² построен и существует при поддержке целой компании капиталистов-меценатов, по вдохновению и замыслу принца Луитпольда, который, за душевной болезнью короля, постоянно окруженного врачами и лечащегося, управляет Бавариею. Судя по портрету его, во весь рост и очень хорошей работы, в «Военном музее», он очень стар и очень устал. Более всего — устал. Он приходится дядею больному королю Оттону, портрет которого чеканится на баварской монете. Принц Луитпольд всеми любим и уважаем здесь, и теперешний Мюнхен чрезвычайно много обязан ему своим духовным, художественным

процветанием. Без устали он возводит музей за музеем, улучшает прежние и не жалеет средств и усилий для доставления всяких пособий любимому и почитаемому «немецкому искусству». Так возник и театр, о котором я говорю, полный вкуса и предусмотрительности.

Он стоит почти за городом; подъезжая к нему, даже проезжаешь мимо какого-то «пустыря», незастроенного и заросшего травой. Но так как весь Мюнхен очень невелик, то это все-таки близко ото всех частей города, и проехать к нему гораздо ближе, чем к Мариинскому театру с угла Литейного и Невского. А так как едешь наполовину великолепными улицами и наполовину (ближе к театру) прохладными аллеями, возле реки Изара и Английского сада, то поездка положительно приятна. Между тем время проезда, естественно, освобождает несколько душу от «домашней будничности», как и побыв в театре — тоже не сразу возвращаешься к «домашней будничности». Впереди и позади ложится по полчаса времени, отдаваемому мысли о музыке и впечатлению музыки. Каждый оценит, как это обдуманно, сколько здесь уважения к музыке и деликатности к ее слушателю.

Театр невелик, хотя и не очень мал. Значительно меньше Мариинского и меньше Большого зала Консерватории, где у нас слушается итальянская опера. Лож и хоров нет. Театр весь состоит из одного партера, но поднимающегося греческим амфитеатром, так что перед вами сидящие зрители приходятся головами на высоте вашей груди, даже чуть-чуть ниже. Вследствие этого происходящее на сцене видно каждому с такою полнотою, как если бы он был единственным зрителем в театре. Таким образом поднимающиеся дугами сиденья доходят задним рядом до высоты $\frac{1}{3}$ зала. За задним рядом — редкие колонны и за ними «места за колоннами» или «ложи» — я не разобрал, но боковые стены, хотя украшены балконами и над ними деревянными балдахинами, — сидений не имеют. Вообще — лож нет; как и никакой «галереи» или «балкона» вокруг театра.

Сиденья автоматически притягиваются к спинкам, и, когда хоть на одном спуске кто сидит, нельзя пройти «дальше». «Вход» — минут 8 и затем за 5 до подня-

тия занавеса, — трубится военным рожком, что очень красиво. Публика входит почти разом: и постоять, пока проходят, приходится минуты четыре, не более. Все и стоят, дамы и «высокопоставленные». Кресел нет, и вообще никакого различия между сиденьями первого и последнего ряда. Везде эта дощечка «нужной человеку ширины и глубины», со спинкою. Все мягкое (заглушающее, поглощающее звук) убрано. Ни подушек, ни драпри.

Цена всех мест одинакова, потому что отовсюду видно и слышно одинаково, и «удобств сиденья» никаких также нет, или, лучше сказать, везде они есть те же. За два билета на четыре представления (т.е. восемь билетов) я заплатил 160 марок. Билеты выписываются по почте: некоторые русские «заказали места» из Наугейма, за месяц до «использования»; а в нашем пансионе две шведки получили по почте билеты в Стокгольме. Общество в театре совершенно международное, всесветное. Вокруг театра-партера идет широкий, с колоннами, коридор-зал, дугою; за ним громадное фойе и затем выход в небольшой, но чудно разработанный сад. Поэтому в свои «места» публика и не входит иначе как минут за пять до начала; тем более что вход прост и ясен в каждое место, и не может образоваться «беганья», «суеты» и «искания своего места» или недоумения, «по которой лестнице идти» и «куда надо повернуть с площади, направо или налево». Отсутствие «верхов» и «ярусов» устранило «смятение перед представлением».

Раз за разом, долго и резко, военным веселящим зовом прозвучал рожок. Все на местах... Почти... Но еще есть «оазисы», между тем как театр вообще весь полон и дирекция знает, что «пустых мест нет»: поэтому капельдинеры по сторонам «дуг» амфитеатра зорко выглядывают, — и ожидают немногих запоздавших. С нами был казус: рассчитывая на извозчика и что «королевский театр, конечно, в центре», мы вышли из пансиона за полчаса. Все ехало, автомобили и лошади, — в одном направлении; но — *ни одного пустого*. Все в большой тревоге, ужасно спеша, мы идем улица за улицей, вот и Английский сад (край города), и «памятник Победы» (совсем — край), а встречные все показывают «дальше»... Задыхаемся; тревога до последней

степени. Встречный извозчик: вскакиваем в него, кричим: «Prinz-Regent Theater». Он кричит: «Auto» — и не поворачивает. «Auto» — значило: «Возьмите автомобиль; опоздали». Но я не сообразил и решительно приказал ехать, и скорее. Но их лошади «скорее» не бегут (запрещено, что ли), и он поехал чуть-чуть скорее обыкновенного. С ужасом видим, что едем еще очень долго, со многими заворотами, и на извозчике. Поминутно он смотрит на часы и качает головой. Мы в страшном страхе: «Первое представление смысл всего — и разрушить такую гармонию...» Театр в виду; видим, что «он», извозчик, с милым, за нас радующимся лицом (никогда не забуду) повертывается и успокоительно кивает головой. «Не опоздали!» — восклицаю я радостно. Действительно: это и были те «пять минут», ровно пять, во все четыре представления не больше, которые в культурной Германии любезно дают для «несчастно и опрометчиво запоздавших».

Но затем — роковой миг — дверцы (уже при давно потушенных огнях залы) закрываются, исчезает свет даже как мерцание... И затем эти дьявольские дверцы ни для кого не отворяются. Ни разу и ни одной за все четыре представления. Очевидно, «и подумать нельзя». Между тем однажды перед нами два места остались пустыми: чета, очевидно, слишком запоздала и, конечно, впущена не была.

Так, в сущности, и следует: почему «запаздывать»? Совершенно глупо. Если же «лень было вовремя выехать», то «сиди совсем дома, где приятнее». Совершенно естественное следствие.

Каков же был наш испуг за «опоздание», когда все четыре действия «1-го дня» оказались слитыми в одно; и с пяти часов дня до 8¹/₂ не был впущен в залу ни один человек. Шесть минут опоздания лишили бы нас совсем представления, — совсем лишили бы этого дня. То-то честный извозчик кричал «Auto» и так обрадовался, когда увидел, что поспел. Но труд высидеть все четыре акта, не став с места, — чрезвычайен. Зато как звучали воды Рейна, катясь... Уже интродукция захватила меня всего... Какая благородная, спокойная и величавая музыка!

Небольшой театр наполнен звуками не только оркестра (скрытого), но и голосов. Отчетливо слышно

каждое слово: совершенно уничтожена или, вернее, не допущена сюда эта противная манера тянуть «ноту», не выговаривая слова или выговаривая его небрежно, сминая во что-то... Затем, все голоса, в сущности, одинаковы в качественном отношении: нет слабых и сильных, «похуже», «получше» и «совсем хороших». Эта художественная мешанина, постоянно слышимая у нас и в Мариинском театре, и в Консерватории (итальянцы), совершенно невыносима для слушателя тем, что держит его в постоянном ожидании, минутами в недовольстве, и вообще в *нервном* настроении. А спокойствие, т.е. ровность, — условие наслаждения.

Театр «Deutsche Kunst» действует всего сорок дней в году и существует специально для вагнеровских опер. Это не нужно приписывать преувеличению... В Мюнхене как для «цикла вагнеровских опер» существуют сроки и театр, так точно дано место и время специально и для Бетховена, и другое — тоже специально — для Моцарта. Музыка всех трех великих композиторов, которые действительно представляют собою «Deutsche Kunst» в его удавшейся и ставшей всемирною форме, — идет «циклами», чтобы дать полное выражение каждому лицу, каждому стилю, каждой школе. Это в равной мере воспитательно и художественно.

Совершенно ровный подбор голосов в вагнеровских операх достигнут тем, что кроме значительных сил мюнхенской Королевской оперы к участию приглашены: два певца из Берлина — г. Краус (Зигфрид) и г. Задор (Альберих), одна певица из Вены — г-жа Вейдт (Брунгильда), одна из Петербурга — г-жа Збруева (Эрда) и один певец из Киля — г. Грифт (Доннер). Остальные мюнхенские, несколько, однако, не уступающие приглашенным. Наша Збруева пела — к сожалению, небольшую роль — с тем великолепием, какое хорошо известно Петербургу. Но не были слабее ее и другие голоса. Вообще звуковая, певучая волна, не досягая, и далеко не досягая, тех чудес, какие дают мировые певцы — великие Мазини и Зембрих, — была везде прекрасна, могущественна, чиста и давала полное удовлетворение...

Суть Вагнера, однако, в музыке, а не в певучести. Суть в мысли и действии на мысль. Суть — в могучем

вдохновении творца, который есть не только звуковой виртуоз, но прежде всего — могучая поэтическая и нравственная натура, натура религиозная и философская, которая выбросила свой поток «на струны»... Там и нет для голоса таких «вещиц», как «птичка» в «Кармен» или песнь умирания в «Травиате». Нельзя и вообразить... Совсем другой стиль, совсем разные роды искусства.

В музыкальной трагедии или музыкальном мифе Вагнера игра певцов так же почти важна, как и качество их голосов. В этом отношении не был силен Зигфрид—Краус (Берлин)... Толстая, мягкая его фигура, к тому же довольно массивная, мешала впечатлению; три дочери Рейна более цвели здоровьем (изумительные тела), чем являли вдохновения; Фрикка (г-жа Преузе-Матценауэр) и Зигмунд (г.Кноте) — были обыкновенны; были бесцветны и невыразительны в их небольших ролях Доннер, Фрох и Фазольт... Но здесь и оканчивается «так себе»... Игра Мима (г.Кун из Мюнхена), Локе (г.Гунтер-Браун из Мюнхена), Альбериха в «Гибели богов» и также в «Гибели богов» Брунгильды (г-жа Вейдт из Вены) — была изумительна и по непосредственному вдохновению, и по глубокой обработке роли. Смотря именно на «игру» здесь — думалось: «Да, это «Deutsche Kunst», и тут нет преувеличения. Недоумевающая и не понимающая, что творится, Брунгильда; Альберих — когда у ног сына Гэгена он нашептывает ему советы, до которых тот и своим умом дошел, Мим — все время, Локе — все время — это была сплошная победа пластики и жеста над душою зрителя. Эта душа задыхалась, плакала, изнемогала от отчаяния — вместе с душой могущественного актера.

Сидя и мысленно сравнивая с игрою Шаляпина — я не понимал, почему это ниже. Думал и думаю, что это — равное мастерство.

Вотан (г. Фенгал из Мюнхена), имея чудесный голос, был обыкновенен в игре. Кстати, сделаю замечание: для чего в первых действиях он одет как воин — и в шлеме с крылами птиц по сторонам его? Он — царствует, тогда как вечно воюет — Марс, которому Вотан вовсе не соответствует. Вотан есть Зевс германской мифологии. Этому соответствовало бы не специальное воинское, но торжественно-царственное одеяние... За-

метка Вагнера, что Вотан, являясь под видом «странника», одет «в голубое платье», — в сущности должна быть отнесена к Вотану на всем протяжении его роли: ибо, конечно, у Вагнера не могло быть мысли, будто «странники» непременно ходят в голубых платьях. Этого нет, и это нелепо. Но «богу Неба» Вотану вообще приличествует небесный, голубой цвет; это естественный его символический цвет. В более развитых мифологиях, как египетская, боги имели определенные цвета — то есть их статуи было запрещено окрашивать в какой-нибудь цвет, кроме одного, канонического. И Фта, бог Неба, там имел именно голубой цвет. Это так величественно... Добавим, Валькириям, по мифологии девам-птицам, совершенно шли бы воинские шлемы, украшенные птичьими крыльями (шлем Вотана), как и телам их следовало бы иметь перистое одеяние. Но в Мюнхене им даны почему-то шлемы греческого, коринфского стиля. Это ни из чего не вытекает и ничему не соответствует. Мне кажется, в «Deutsche Kunst» не должно быть и этих ошибок, которые хотя и мелочны, однако режут глаз недоумением...

Световые эффекты театра — удивительны, как и его технические средства. Последние чувствуются, когда одна сцена, после 3—4 минут «клубящихся облаков», переходит в совершенно другую сцену, ничего общего с первою не имеющую. Далее, небо «течет», как и в природе, с тою же страшною медленностью, когда его не замечаешь. Только начав специально смотреть, я заметил это уже во «второй день» драмы, относя облака к недвижным точкам перспективы и сцены. Как и в природе, — они медленно приближаются, совпадают и затем медленно расходятся, например, с вершинами деревьев, с горами. Все это для «живости представления», очевидно, не нужно. Слушателю, зрителю не нужно: ибо, повторяю, зрительному залу вообще кажется, что «небо совершенно неподвижно». Но это нужно Deutsche Kunst'у, которое, как всякое искусство, — «бескорыстно»... «Пусть будет все как в природе»: и в Мюнхене исполнено это с умом, заботливостью и рассуждением, как это умеют только немцы, и особенно умеют именно здесь.

Спасибо доброму старому принцу; по международному космополитическому характеру представлений

«цикла Вагнера», как и «цикла Бетховена» и «цикла Моцарта», он доставляет наслаждение и вместе воспитывает все европейское общество. Сразу кидалось в глаза, что баварцев здесь небольшой процент; главная масса была — англичане и французы. Затем много шведов, итальянцев, русских. В высшей степени приятно, что среди исполнителей участвуют русские силы. Для ознакомления с их качеством — нет лучшей арены.

В «Christliche Hospice»

По рекомендации, наскоро мотивированной, я остановился в Мюнхене в «Christliche Hospice»¹³, «ввиду ее дешевизны и прекрасных качеств хозяина». Она оказалась битком набитою жильцами, и оставалась свободною одна только комнатка, где-то совсем под крышею. Но надвигалась ночь, мы были страшно устали, — и взяли «с благодарностью», что было. Все было неудобно, неприиспособленно, прислуги не дозовешься, ужин подали через час после заказа, и какой-то жесткий и грубоватый... Я вздыхал и открыл старую огромную книгу, лежавшую на столе. Оказалась «Библия», и с рисунками. «Верно, кто-то забыл», — подумал я, — и заснул с мыслью перейти назавтра куда-нибудь в другое место.

Утром, часов в семь, я пробужден был прекрасным пением, несшимся в открытое окно. Прислушиваюсь... И по мотивам, всемирно общим, узнаю церковное пение. «Что такое?..» Я не связал это с книгою, которую нашел вчера на столе, и, признаюсь, ничего не понимал. Спустился вниз, к ихнему «завтраку», — что соответствует нашему «утреннему кофею», и несколько больших, но совершенно простых комнат нашел уже наполненными народом.

Ничего не понимаю... Оглядевшись, я рассмотрел на стенах, деревянных и незакрашенных, несколько большого формата и превосходных, тонких гравюр, изображавших великие события германской истории или великих личностей этой истории... Выбор сюжетов не оставлял сомнения, что все это сделано кем-то с большою любовью, с большим вкусом, с подробным знанием германской культуры. И все это, развешанное по темному, но хорошо сработанному дереву, являло какое-то радующее душу изящество. «Не пахнет гостиницей».

Между тем казалось, что это «гостиница втрое»... Сколько народу!.. И все выходят и входят. Накануне,

когда я вошел и в полусенях, полукомнате ожидал с полчаса ответа на вопрос, есть ли свободная комната, заказанная с дороги по телеграфу, — я был удивлен гурьбою валившим сюда народом и несколько раз слышал: «Nein, Herr Professor», «Ja, Herr Professor»*. И по лицам, выслушивавшим эти ответы, узнавал, что это в самом деле «Professoren», и никто другой быть не может. Теперь утром я видел немного этих прекрасных седых волос, этих полных мысли лиц; общество было моложе, но как будто дух «Herrn Professoren» разлился и на них всех. Из такого множества я не видел совершенно ни одного лица тупого, дряблого, апатичного, как и ни одного жуирующего.

«Кто такое? Кто их подобрал? Или кто их собрал? Отчего так много и все в движении?»

Действительно, движение составляло главную прелесть того, что было передо мною и что начало меня «захватывать»... Уже выехав из Hospice, я узнал, что и другие русские, бывшие со мною, испытывали то же впечатление, но, как и я, молчали о нем. Меня же «захватило» и увлекло, что все эти люди, среднего возраста и молодые, иногда пожилые, иногда дряхлые, иногда мальчики и девочки, но никогда дети, — куда-то спешат с невероятной свежестью лиц и движений, которых усталость как будто не коснулась и не смеет коснуться, лень не коснулась и не смеет коснуться, «дурная мысль» тоже не липнет к ним — и все они будто летят или собрались полететь в какой-то в высшей степени благородный, воздушный и чистый полет. Все одеты очень просто; ни одного «туалета», как везде в отелях и пансионах; ни одного даже «нарядного платья» и, наконец, ни в одном лице никакого кокетства или хотя бы подавленной «занятости собою». Будто они «о себе не думают», а «о чем-то другом», в высшей степени интересном... И невольное уважение закрадывается к этой непонятно куда торопящейся, занятой толпе.

«Что такое? Кто такое?»

Мне не хотелось оставлять так скоро «Hospice». И на завтра я перешел в другую комнату. Комнаты поминутно «оставлялись» и опять «занимались», и всегда

*«Нет, господин профессор», «Да, господин профессор» (нем.).

свободною оставалась только «одна»... К удивлению, и в ней я нашел Библию.

.....
По вечерам, да и днем я спускался в комнату «внизу» — полуприхожую, полуприемную, с несколькими столами и плетеными стульями; она была между входною дверью Hospice и «бюро», где «принимались» жильцы и записывались, где они получали нужные «ответы», брали приходявшие им (во множестве) письма и вешали ключи от комнат, когда уходили. Оказалось, что то, что я делал, делали и другие мои спутники, повинувшись безотчетному влечению и любопытству, но, как и я, молча.

Никогда в жизни на одном месте и в недолгий промежуток времени я не видел стольких лиц... не красивых — это бедно, но истинно прекрасных. Пожилые и некрасивые — все равно были прекрасны; хотя, мне кажется, они были и красивы, многие, бесспорно, были красивы. Много, очевидно, было художников и художниц; много музыкантов; были гг. Professoren; но масса состояла из учащего и учащегося люда всех ярусов и наименований — из учителей, учительниц, студентов (без формы, значков «корпораций»), но, очевидно, «на выбор», — из самых деятельных и предприимчивых представителей профессий и положений. Это был пункт, где случайно встретился и пересекся действительно «цвет» германского образованного общества; все молодо или с неиссякаемыми в себе силами (в случае преклонных лет), любопытствующее, любознательное, все вместе с тем физически бодрое и, от соединения этих качеств, изящное. С серыми, синими, коричневыми мешками за спиной, где, очевидно, положено «немного хлеба и немного белья», с длинными заостренными палками в руках, иногда с предметами художества или маленькой музыки, иногда с книгою — они сами были до того изящны в фигуре и движениях, в большом и смелом шаге, в быстром повороте, в голове, крепко и красиво сидящей на плечах (бывает «повиснувшая» голова или «излишне размышляющая»), а главное, в этом прекрасном «образованном» свете в лице, до того ясном, до того чуждом «сентиментальности» и «истерике» (наше образование), злобе или затаенной насмешке (тоже наше образование),

что я дивился и дивился, и прямо здоровел, выздоравливал оттого, что вот второй и третий день все вижу их и их...

Я стал догадываться, а потом и совсем разъяснилось, что это было «Христианское убежище» (Christliche Hospice), нечто вроде «Странноприимного дома», основанное духовной организацией, и, вероятно, в специальных целях «обращения», пропаганды, а может быть, и просто приюта... Отсюда — Библия на столе в каждой комнате, слышавшееся мне пение... Отсюда же чисто «отдельные» неудобства и неуклюжести. Но, очевидно, цель или отошла на второй план... или ее «пересекли» и «захватили» другие... Hospice имеет *благородный* характер, чуждый «гостиницы» и «отеля», т.е. все-таки несколько трактира, и к тому же страшно дешев: и сюда кинулось, как в пункт стоянки и отдыха, все бедное, но не очень, «со средними средствами», что в то же время захотело «осмотреть свою страну», «свою Германию», осмотреть бесчисленные художественные сокровища Мюнхена и, наконец, полазать по недалеким Альпам... Цепь Альп и альпийских озер начинается всего в двух или трех часах железнодорожного пути к югу от Мюнхена. Но, очевидно, «альпинистов» здесь была только часть, и не главная; даже вообще «туристов» — не главная часть. Очевидно, это был училищный люд, воспользовавшийся каникулярным временем, чтобы «смотреть», «видеть» и «изучать»: но опять же не исключительно он, а сильно разбавленный людьми просто «общества», но с этими же духовными стремлениями и интересами. От разнообразия состава, при единстве цели, и получился этот поразивший меня цвет людей, цвет лиц, цвет фигур, о которых я твердо говорю, что, видя их, — я видел все лучшее, что рождает Германия.

Свет Наугейма вдруг погас для меня. Да, там все культурно, доведено до высокой степени совершенства, но слишком богато, чтобы могло быть изящно. От богатства происходит некоторая лень если еще не движений, то в «цвете лица» или вот в «постановке головы». Наконец, решительно не изящны эти изысканные платья. В Hospice все были одеты в «несколько рублей», — и это совершенно необходимо для красоты человеческой, для достоинства человеческого. Шелк и

камни Наугейма вдруг показались мне возмутительным мешчанством. Я вспомнил Грецию, вспомнил, ей-ей, сквозь слезы: ибо здесь, в Hospice, я увидел кусочек ее же, древней Эллады, но в христианском преображении... И здесь профессор и гимназист, девушка и юноша, бедняк и «со средствами человек», все соединилось в одну толпу под благородным одушевлением, совершенно одинаково одетую, одинаково едящую, одинаково беспритязательную, потому что она одинаково образованна... «Как в Греции»... где Перикл и его Аспазия, философ Анаксагор и с ним полемизирующий Сократ были одеты равно в полотняные хитоны и туники и не было на них печальных и гробовых мундиров, орденов, чинов и «положений».

Из русских каждому советую сходить туда и хоть «для виду» на денек-два поселиться там. Впечатление незабываемое, и его нигде не сыщешь. Небольшая вывеска «Hospice» (без «Christliche» — это имя стоит только на печатных бланках «приюта»), и находится он на Matildenstrasse*, недалеко от вокзала, в маленьком переулке, — неподалеку от Sonnenstrasse**.

*улице Матильды (нем.).

**Солнечная улица (нем.).

В ДОМИКЕ ГЁТЕ

Домик, где родился Гёте, страшно разочаровал меня... И это разочарование легло на душу печалью нескольких дней. В первый приезд во Франкфурт-на-Майне, когда я ехал осматривать старые части города, я вдруг увидел на стене большого коричневого дома мраморную доску с надписью: «В этом доме родился Гёте 29-го августа 1749 года». Я заволновался. Но на предложение сейчас же сойти с экипажа и осмотреть его я отказался... «На это надо особый день... Нельзя смешивать впечатление от него с другими впечатлениями...»

И промежуток с неделю, до вторичного приезда во Франкфурт, я продумал о великом старце Германии.

Выньте «Гёте» из «Германии» — одного человека из целой страны, — и она вся вдруг потеряет значительную часть своего сияния. Потеряет больше, чем если бы Шекспира вынуть из «Англии». Дело в том, что около Шекспира Англия имела еще несколько таких же колоссальных личностей, с гением равным, с натурою столь же неугомонною, пылкою, творческою, низвергающею миры и создающею из себя миры: Бэкона, Мильтона, Байрона... «Личность» английского народа поэтому не укоротилась бы и не сузилась бы из-за отсутствия Шекспира. Совсем напротив — Германия. Все ее развитие было несравненно уже и беднее, чем английской нации. В *волевом отношении* она выдвинула, правда, двух колоссов — Лютера и Бисмарка; но второй был «правительственное лицо», а первый был реформатор веры, — и как одно, так и другое слишком специально и не дает из себя сияния на целую культуру, не говорит ничего об уме и гении *общества и племени*. Великие философы Германии, в особенности — Кант? Но для *общества* как-то и он не характерен: затворник своего кабинета, он, кажется, никогда не перешел даже на соседнюю улицу. Какой же

он «представитель общества»?.. Шекспир, Байрон, Милтон, Гёте, связанные с обществом ежедневною жизнью, творившие среди общества, писавшие для общества, находившие себе возлюбленных среди общества, оцененные при своей жизни обществом, — вот выразители «германской массы» в ее *идеальных возможностях*... Германцы не имеют права измерять себя Кантом, которого и из современников понимало только сто человек, — а говоря строго, только два человека: Фихте и Шеллинг; и из последующих поколений каждое «понимало Канта» только в лице такой же сотни высохших кабинетных умов. Напротив, Гёте понимали все, им восхищались «Германия», и, следовательно, «Германию» мы не только можем, но и обязаны «измерять» беловолосым старцем, прожившим 82 года.

Это совершенно изменяет дело, — это *одно* и сразу повышает уровень, на котором стоит нация; повышает почву под нею.

В жизни каждой нации, даже самой счастливой и удачливой, возможны трагические, страшные минуты... Когда о жизни ее идет вопрос... Когда она окружена со всех сторон поднявшимися волнами злобы, гнева... и, наконец, усилия «не уважать».

Вот это усилие «не уважать», перекинувшееся через имена Канта, Фихте, Шеллинга, — дойдет до подножия монумента, где стоит фигура Гёте... и отступит назад. «Не могу...» Снова поднимется волна, доплеснет досюда — и опять отошьет назад.

Можно Лютера «не уважать»: он был слишком очевидно негениален.

Можно «пренебречь» Кантом: что-то длинное, сухое, своеобразное, узкое, исключительное. Если и «гений», то «урод».

Но Гёте? Всякая критика остановится, и не найдет-ся для него «презрительного Терсита»¹, который бы охаял, злобствуя и плюясь.

Гёте — гармония.

Гёте — разум.

Гёте — мудрость.

Но выше всего в нем, — что он весь *гармоничен*, развит *равностороннее* в разные стороны... Что он есть *цветок*, у которого не недостает ни одного лепестка.

Вот эта *живая органическая его цельность, полнота* способностей и направлений в нем и есть самая главная, ему исключительно присущая... Ибо ни на какой другой человеческой личности народы, страны и века не могли бы остановиться, сказав:

— Я удовлетворен, —

с тем покоем, твердостью и уверенностью, как на Гёте.

Мильтон был правдолюбец и поэт. Шекспир — великий сердцевед, поэт и живописатель нравов, Пушкин — «эхо» всех звуков, красок и цветов, Толстой — живописатель людей и вечно чего-то ищущий и не находящий, — но Гёте...

Одним уже *спокойствием* ума своего он как бы поднялся над всеми ими.

И тоже поэт...

И тоже мудрец...

Он знает все «тревоги» души человеческой, ее тоску, ее смятения: но, — как пишет Платон в «Федре», — этот «возничий» умеет «править конями»²... и все восходит по дуге горизонта, как солнце, не зная ни возвратов, ни падений.

Главное-то и заключается в том, что Гёте не знает ни «возвратов», ни «падений», без которых ни один смертный не обходится...

Он поэт, философ, но не на манер Канта: его философия несравненно живописнее кантовской, плодотворнее, человечнее; прямо — мудрее. В «мудрости» Гёте как бы задышала «мудрость» всей Германии, чего никак не скажешь о Канте. «Мудрость» его понятна детям, матерям, крестьянину, ремесленнику, чиновнику, всем...

Он так же «народен», как и высоко «интеллигентен». Вторую часть «Фауста» едва раскусывают умудренную в «философии»; а «Гёц фон Берлихинген» и «Рейнеке-Лис» суть народной поэмы.

«Тихие долины» наворачивают слезы на глаза старца, а «Лесной царь» слушается с замиранием сердца 11-летним мальчиком.

Через Гретхен он стал дорог всем девушкам, — целого мира.

Через Вертера — всем юношам.

В «Фаусте» и Мефистофеле он нашептывает слова, советы, предостережения мудрецам и старцам.

Он дал прекраснейшие, трогательнейшие выражения широты, мировой наивности, мировой веры; это в том диалоге Гретхен с Фаустом, где она спрашивает возлюбленного: «Верит ли он?» и «Как верит?»³

И дал высшее, самое деликатное выражение человеческому скептицизму, сомнению...

И, наконец, он же дал образ и дикого цинизма:

Мой совет — до обручения
Дверь не отворять!
Хо-хо-хо!..⁴

Пушкин в «Отрывке из Фауста» как бы дал «суть всего»⁵... Но вышло именно только «как бы»... «Суть» «Фауста» именно в подробностях, в тенях, в переливах, в нежности, деликатности; эта суть в «нерешительности». И кто «решительно» извлек «зерно всего», тот и разрушил «суть» этого единственного в мировой литературе произведения...

* *

*

Гёте как бы вышел из всех цивилизаций в *их разрозненности* и соединил на себе их всех *сияние* и тонкий *аромат*.

Узкие церковники назвали его «язычником»; хвастливая часть интеллигенции прибавила: «Великий язычник». Но вспомним его любящие слова о представлении крестьянами в одной деревеньке Саксонии «Страстей Христовых», и из этого мы поймем, что никакой вражды к христианству у него не было⁶.

Но он был «немножко в стороне» и от христианства, как и с «язычеством» он нисколько не сливался.

Но от того и другого он взял прекраснейшее и слил его в «мире Гёте», совершенно особенном, его личном мире, который не был и ни христианским, и ни языческим, а только и просто «высоко человеческим»...

Что можно указать высокого и благородного в христианстве, чему бы Гёте не поклонился? Есть ли хоть одна страница в Евангелии, которая у него вызвала кривление губ? Разве в Мефистофеле он нам не нарисовал духа зла, которого советы и философию мы ненавидим и проклинаяем? Скажите, что очаровательного он придал этому духу зла, — как это придавали

ему Лермонтов, Байрон и даже мельком — Пушкин? Гёте наделил его только умом, — как в «зле» и действительно есть ум, смысленность и прозорливость, знание жизни. Но это все — «во зло». И Гёте показал ум Мефистофеля как чисто разрушительную, дезорганизирующую способность.

Всеми силами души, которыми мы любим Гретхен, чистый цветок жизни, — мы этими самыми силами ненавидим Мефистофеля.

Где же зло и где же его антихристианство? Обвинять его в этом могут только «братцы Мефистофеля», если бы им что-нибудь из советов темного духа вздумалось ввести *внутри* церковной правды. Ну, если пастор похлопает по плечу Мефистофеля и за ним затащит:

Мой совет — до обручения
Дверь не отворять... —

тогда Гёте от такого пастора захлопнет дверь своего чистого и возвышенного мира и скажет: «В этой точке и линии я перехожу в языческий мир, потому что тут христианство темно и страшно».

Мир Гёте везде чист. Он везде ясен, спокоен и разумен. На стенах его не лежит, *даже как возможности*, ни одной человеческой кровинки. Он так же наукообразен, в смысле точных наук, — как и философичен. Мысли и рассуждения Гёте о теории света, о развитии костей человека, о морфологии растения — предварили на несколько десятилетий великие европейские открытия... Но важность не в буквальном содержании этих мыслей, а, так сказать, в духовно-методическом: в том, что «в мире Гёте» они внесли этот научный, пытливый дух, дух наблюдения и опыта, — которого вообще другие великие поэты не касались, не умели коснуться... Например, «мир Толстого» явно противонаучен; «мир Пушкина» индифферентен в этом отношении; «мир Бэкона» — пытлив, но грубо непоэтичен.

«А мир Гёте» — в нем есть все, благословенное Богом и благословляемое человеком.

* * *

*

«Церкви европейские» в том отношении могут «точить зуб» на Гёте, что если бы пороками и злоупотреб-

лениями своего духовенства они окончательно отшатнули от себя людей, то для этих последних мир Гёте представил бы что-то вроде естественной религии, куда переход был бы возможен... Вот это *отсутствие* отчаяния, от которого спасает Гёте, — и есть причина ненавидения его ортодоксами, желавшими бы поставить человечество перед выбором:

— Или мы, нечесанные, пьяные, с насекомыми...

— Или — отчаянье, тьма, пропасть...

Гёте дал мостик «между»...

* *

*

Я вошел с толпою посетителей в подъезд большого дома... И уже застал там другую толпу... Шум, говор мужчин и женщин... И над всеми ими возвышается отчетливый голос молодого служителя, из вахмистров или дворецких, с усами и счастливой, à la Вильгельм, физиономией, «объяснявшего» дом...

Все было противно, скучно... Все сразу же сделалось неинтересно.

Дом, собственно, родителей Гёте, но где он родился, воспитывался, учился в детстве и отрочестве и написал некоторые свои произведения, — это дом очень зажиточного бюргера, члена франкфуртского магистрата равно удаленный от бездумной, беспечальной роскоши и от бессветной озлобляющей бедноты. Среднее, хорошее состояние: хорошее, почти высокое образование родителей и, очевидно, среды; жизнь еще патриархальная, безыскусственная: недалекие горы, с Гарцем и Брокеном в центре («Лысая гора»⁷ Германии), под ногами — Рейн, усеянный развалинами замков с их легендами; княжество маленькое, «уездное»; Австрия и Пруссия с их политикою и войнами — совсем на далеком горизонте — вот обстановка и условия роста Гёте.

Здесь ничто не подавляло, с одной стороны, — и ничто искусственно не возбуждало душу, способности и ум.

Все зрело спокойно, не торопясь. Но при очень больших задатках все могло развиваться в большую широту более внутренним побуждением, нежели внешними толчками.

*

* *

Пока идешь по лестнице во второй этаж, по ее стенам и по стенам обширных, как комнаты, сеней видишь развешанными большие гравюры Рима. Все они старой, грубой работы и, очевидно, резаны на дереве. Так как отец Гёте никакого отношения к Риму не имел, — то почти без ошибки можно предположить, что этими гравюрами сын украсил отцовское и вместе свое жилище по возвращении из своего путешествия по Италии. Колизей и Мавзолей императора Адриана, обращенный папами в крепость св. Ангела, господствуют видностью своею над другими гравюрами. Нижний этаж состоит из приемных комнат — общесемейных. Второй этаж можно назвать этажом отца Гёте, — по его библиотеке, соединенной с кабинетом. Библиотека занимает все стены; вид ее совершенно тот, какой имеют «заветные» лавочки старинных букинистов в Петербурге, на Литейной улице, или в Москве, близ Сухаревой башни, только беднее и однообразнее. Содержание книг — деловое и сухое, по преимуществу юридическое, с римским «*Cognus juris civilis*» во главе. Как знак необыкновенного трудолюбия и деловитости отца Гёте — стоит не менее десяти фолиантов в пергаментных переплетах: это собственноручно исписанные им «бумаги» франкфуртского магистратного управления, его, так сказать, «делопроизводства». Это — целый архив местной жизни. Гёте-поэт, уже *по памяти к отцу*, никак не мог презирать «чиновничества» и «гофратства», хотя бы и стоял головою выше его, а душою совершенно вне его. «Ремесла» отца никак не сумеешь презирать — и по естественной семейной деликатности, и потому, что оно когда-то кормило тебя. Об этом совершенно забывают биографы Гёте, осуждавшие его за «тайное советничество». Он был «тайным советником» и «мировым поэтом»: осудим, что другие «тайные советники» не суть ни в какой степени поэты; но что «поэт» был в то же время «тайным советником», — это вообще не составляет ничего в нем, не есть предмет ни для похвал, ни для попрека.

Наиболее интересный верхний, третий этаж: как бы *интимный и личный* в жизни семьи Гёте. Здесь-то, ес-

ли пройти направо, в самой отдаленной, «задней» комнатке великий Вольфганг Гёте увидел свет. Очень небольшая (меньше всех других комнат), низенькая, очевидно, со спертым и тогда воздухом, и полусветлая спальенка фрау Гёте выходила на двор, засаженный огромными (теперь) тенистыми деревьями и сжатый боковыми каменными строениями. Все здесь тесно, серо и тускло... Мебель отсутствует, — а что такое спальня без мебели? Волнуешься мыслью, что здесь, в этом небольшом кубе помещения, был рожден Гёте... Но глаза видят одну странную, дикую пустоту и голизну стен...

Прибита невысоко на стене золотая фольговая звезда, привезенная из Веймара «в дар» этому дому: она была при погребении Гёте, «в знак того, что его всегда в жизни как бы вела благоприятная звезда» (объяснение хранителя дома), — сентенция слишком в немецком духе, чтобы могла понравиться. Под звездой — два небольших венка, из числа «погребальных». Да на другой стене прибита вырезка из местной франкфуртской газеты, от 2-го сентября 1749 г., № LXXI: «У члена городского магистрата, господина советника Гёте, родился в пятницу, 29-го августа, сын, нареченный при крещении Вольфгангом». Черта патриархальной наивности, которая нравится...

Но все это ничтожно...

Нужно было весь «дом Гёте», и уж особенно эту комнатку, сохранить в том самом «живом виде», какой она имела при жизни стариков Гёте... По памяти сына, да и друзей и знакомых семьи Гёте, все это можно было восстановить в точности; расставить ту же мебель, шкапы, комоды, зеркало, повесить то же платье — все до мелочей.

Рядом — самая уютная комната всего дома. Это — комната «субботнего чаепития» фрау Гёте. Вечер субботы, очевидно, проводился во Франкфурте так же уютно, семейно и тепло, как и у нас «канун праздника». Большая столовая, где постоянно обедала и ужинала вся семья, находилась особо, во втором этаже; эта же небольшая комната, как бы «пред-спальня», была в распоряжении матери Гёте, и она здесь принимала по субботам самых интимных друзей своих. Здесь теперь стоит огромный деревянный почерневший уже фо-

нарь, — с местом для вставки двух свечей: улицы совсем еще не освещались в XVIII веке, — и в случае вечернего выхода перед «господином» или «госпожою» несли зажженный фонарь, освещавший (конечно, немощеную) дорогу... Число свечей разрешалось по чину, и дамы выше фрау Гёте имели в фонаре три или четыре свечи, а ниже ее, — «надворные советницы» или «коллежские регистраторши» — могли иметь не более одной свечи...

Сейчас же рядом — комната Вольфганга... Здесь были написаны им: «Эгмонт», «Гёц фон Берлихинген» и начало «Фауста»... Сохранился, весь укапанный чернильными пятнами — до невозможности более! — письменный стол. Он представляет соединение стола и шкапа: писал Гёте, собственно, на откидной доске, которая лежала на двух выдвигаемых справа и слева четырехугольных жердочках, а когда он кончал занятия, то, подвинув вперед бумаги, поднимал доску и запирал ею «все написанное». Под доскою — выдвигаемые ящики, — для бумаг, рукописей и проч. Впереди доски — «горка», т.е. этажерочка с небольшими ящичками. Вся в такой мере мало занимает места и одновременно поместительна, — что удивительно, отчего и теперь не устраивают такие «письменные столы». Для писателя и интеллигента — нет ничего удобнее. Сейчас около стола — этажерка с книгами Вольфганга. Их — немного. Я списал заглавия главнейших. Вот они: Библия — in folio — с гравюрами, 1545 года; Agrippa; Grandissons Geschichte Ulandt; Ossianus Gedichte; Klopstock's Schriften; I. von Welling — Opus Mago Caball; Pantheum mysthicum. Florian Lersner — Chronica von Frankfurt.

За этою «комнатою занятий» Вольфганга находится такой же величины другая — с кукольным театром... Этот «кукольный театр» был ему подарен... Сделан он из тонкого, оклеенного бумагою, дерева или склеен из толстого картона — я не разобрал. Но он очень велик, сделан с большим мастерством и большою подробностью, и на нем, очевидно, Вольфганг делал постоянно «представления» для себя. По-моему, можно судить, что Гёте был чрезвычайно привязан к сценическому искусству и не мог обходиться без него, даже сидя дома или в каникулярные приезды в родительское гнездо.

Вот и все...

Деревянный стул перед письменным столом, как и комод в «чайной фрау Гёте» и вообще вся мебель — деревянная, толстая, широкая, где возможно — «пузатых», выпуклых форм... И, глядя на нее, без труда, немного укорачиваешь и обделываешь мысленно мебель в «мамашиных комнатах» раннего детства и тогда узнаешь в ней все «родное», «былое»...

Так жили вообще люди «того времени»...

* *

*

При доме Гёте, — перейдя маленький полудворик, полусадик, — «музей Гёте»... Здесь портреты и мраморные бюсты Гёте и его великих литературных современников, его друзей; его отца, матери, герцога и герцогини Веймарских, при которых он провел вторую половину своей жизни. Интереснейшее здесь — две маски с лица Гёте, слепок кисти его руки и его волосы. Волосы (не седые) — льняного цвета.

Это не представляешь себе, глядя на его портреты в книгах и на гравюрах. Кисть руки — некрасивая, толстая, с толстыми и тоже некрасивыми пальцами; без тени изящества и «выгиба». Маски лица, передающие, конечно, мельчайшие подробности, неуловимые в портретах и изваяниях, — дают замечательно *римский* очерк лица, как мы знаем римлян по массе мраморов и по монетам... Лицо надменное, высокомерное и холодное; линия рта — дугою кверху, с опущенными углами рта; нос, лоб, строение костей, отсутствие мясистости в щеках, все мелочи, вся пластика дают характерный образец римлянина.

Почему это и как это произошло, — не знаю. Бюст отца Гёте — до чрезвычайности германский, вульгарно-германский; мать, с которою он имеет на *портретах* (но не на статуях!) разительное сходство, на самом деле дает сходство только *передней части лица*, великолепного строения глазных впадин, лба и рта. «Живой портрет матери», — скажешь о Вольфганге. Но скажешь, пока не взглянул на портрет матери в скульптуре, где даны боковые части лица, дана голова и шея: тут во «фрау Гёте» узнаешь типичную немку, зажиточного, спокойного вида, твердую, уверенную, превос-

ходную хозяйку и домоводку прежде и выше всего. «Нет, это не Гёте», — думаешь тогда.

Откуда же Вольфганг?

Из небес. Хотя он и сказал о себе: «Здравый смысл и практичность у меня от отца, а любовь к песням и сказкам — от матери»⁸, — но, думается, главное в Гёте было не наследственное, а то «третье», Бог весть откуда являющееся во всякого ребенка, что не имеет в себе нимало материнского, нимало отцовского и что обычно растет потом с необыкновенным упорством и силою.

Часто это бывает порок, преступление.

В Вольфганге это гений, осветивший всю землю.

Благословенно его имя... благословенно для всех народов.

В БЕРЛИНЕ

Все немецкие лица какие-то бесформенные, неопределенные, безлинейные, бесстильные... Точно Бог начал что-то творить, но бросил, не закончив, за какою-то безнадежностью...

Похоже, как над одною гробницею Медичи во Флоренции — неоконченная скульптура Микель-Анджело... Корпус вышел, фигура вышла, но лицо недоделанно: тусклое, неясное...

Самый цвет их, в общем здоровый, — не имеет решительности... Что-то красноватое, но с прослойками белого или с проступающим сквозь кожу белым... Бык, но «с малокровием»... Ужасно странно.

Это все их немецкое пиво. На некоторых улицах Берлина самый воздух улицы пропитан пивом. Это противно.

И вообще, противного много в Германии. Это не юг и его стиль...

Пошел в Берлине посмотреть университет. Ведь там училось много и русских. Берлинский университет — почти русский университет: туда входили с прекрасной, волнующейся душой Грановский, оба Киреевские, Тургенев¹. Помните тургеневское в предисловии: «Мне нужно было окунуться в Немецкое море»². Это он писал об университете.

Вход, однако, «посторонним лицам запрещен». Из дверей его выходили и студенты, и барышни, очевидно «курсистки». В противоположность впечатлению прежней поездки, когда я видел группу студентов в Зоологическом саду, — на этот раз лица студентов были прекрасны «наукою», мыслью, одушевлением. Может быть, я взял их в хорошую минуту: ведь они только что выслушали лекцию. И еще то: ведь это летний семестр, шел их «июль месяц», и, очевидно, на лето остались заниматься самые лучшие. Но нужно сделать *pota bene*: в Германии, в университетах, лекции не

прерываются и на лето. Много работают и не жалуются, что «жарко» или «устали».

Да ведь и все мы летом работаем. Вот и я пишу же.

* *

*

Университет немного наискось от монумента Фридриху Великому и против дворца. Он отделен от улицы небольшим двором, усаженным деревьями. Выходя на тротуар улицы, стоят перед ним два великодушные памятника братьям-ученым первой половины XIX века — Вильгельму Гумбольдту, знаменитому лингвисту, и Александру Гумбольдту, творцу «Космоса», естествоиспытателю. Оба памятника из белого камня (мрамора?); ученые — в сидячем, свободном положении, полном естественности. Я долго рассматривал лица, — и что касается Александра Гумбольдта, лицо которого известно по множеству превосходных портретов, то сходство и выразительность лиц в камне достигнуты вполне. Лицо Вильгельма Гумбольдта еще выразительнее, изящнее и одухотвореннее, чем Александра. Оно вполне прекрасно, и не хочется от него отойти.

Посреди двора — белый мраморный памятник Гельмгольцу, величайшему натуралисту второй половины XIX века, обогатившему открытиями своими почти все области естествознания, между прочим такие далекие друг от друга, как физика и физиология. Ученый стоит в докторской мантии; лицо еще не старо и полно одушевления. В глубине двора, уходя влево (если идти с улицы), — совсем закрытый деревьями, памятник-бюст Моммзену. Совсем около стены университета — черный бронзовый памятник Трейчке, в позе говорящего пылкую речь оратора (стоящая на пьедестале фигура). На фронте университета надпись, которую, к сожалению, я не списал. Она отличается тем, что содержит в себе *личное* и *любящее* отношение к университету построившее здание короля. Приблизительно смысл ее: король Вильгельм (или: Фридрих?) посвящает (или: жертвует? дает?) это университету (или: музею университета?). Во всяком случае, что-то личное, а не шаблонно-казенное...

Цвет наук в Германии сыграл большую роль в порыве германцев к единству... И «железный канцлер», сев верхом на это ученое одушевление, выковал стальную империю, под тяжелыми доспехами которой задохлись музы... Таково кругообращение времен... Глядя на беспримерно тупые и вместе счастливые и торжествующие лица «квартильных» на углу улиц Берлина, вглядываясь в нарядную толпу берлинских буржуа, коммерсантов и «статских советников»,двигающихся в роскошных автомобилях по чудно мощенным улицам, наблюдая отсутствие какой-либо мысли в этой массе с плещущимся в утробе ее пивом, не умеешь провести никакой соединительной мысли между «порой Гумбольдтов» и «теперь»... Как будто той «поры» даже и не было никогда... Как будто «Universitas» и трогательная ему надпись еще скромного «короля Пруссии», — скромного короля скромного королевства, — есть какой-то счастливо приснившийся сон, который прошел, и от него ничего не осталось...

Проснулись пруссаки в «великую империю», которой трепещут французы и побаиваются англичане... Но, Боже, — что из этого? Кому это нужно?

А Гумбольдты, и Моммзен, и Гельмгольц были всем нужны. И о них можно сказать то, что история сказала о кротком императоре римском Тите: они были «утешением рода человеческого».

Не по зависти, не из страха о копье, мече и щите тевтонов говорится и думается: «Это решительно никому не нужно и даже решительно никому не интересно».

Из «пивной» Германии явно никакого «второго Рима» не выйдет... Постоит... погрозит кулаками на все четыре стороны... и повалится, как огромная глиняная бесформенная масса.

И когда она повалится, «музы» Германии засияют опять для мира прежним вечным блеском.

В ВОЕННОМ ЛАГЕРЕ РИМЛЯН

Молитва и удовольствия — вот единственное, остатки чего сохранились нам от древности. Таковы Колизей и Пантеон, храмы Пестума и руины театров в Помпее и Сиракузах. В целом виде или в обломках, наконец, в виде совершенно раздробленных камней, — это все игра и игра или все жертвоприношение и жертвоприношение (эквивалент нашей молитвы) старого, умершего и почти уже непонятного язычества. Поэтому я чрезвычайно обрадовался, узнав, что неподалеку от Гомбурга сохраняются развалины римского военного лагеря.

«Римский военный лагерь!» — это уже не игра и не «молитва» холодного и, по существу, не религиозного, хотя и благочестивого, народа, а его мировая «служба»: то, ради чего сохранено его имя в истории. Сто Колизеев, с ревущей от озверения толпой зрителей, не составили бы ни малейшего мотива произносить богомольно имя «Roma» полторы тысячи лет спустя после того, как умерло все «римское»... Колизей, это — *decadence*, грязь и смерть Рима; напротив, «военный лагерь на берегу Рейна», это — свежесть и молодость Рима, та его «*virtus*»*, и гражданская, и военная, коею он держался еще долго, когда внутри его, на берегах Тибра, уже все сгнило, рушилось и издавало одно зловоние. Сердцевина дерева сгнила, а кора и наружные слои все еще были крепки. Мне предстояло увидеть «подлинную кору» «подлинного Рима» — без следов интимности и индивидуальности, о которых всегда говорят останки молитв и удовольствий, — но с могучим выражением безличного «дела», безличной «работы», которые у этого именно народа и сыграли мировую роль.

Пусть эллин хвалится цитрой и мрамором...

Пусть еврей выразил себя в псалмах...

*доблесть (лат.).

Рим выразил себя в том, о чем у нашего Майкова вырвались удивительные строчки:

И вековые бегут
В пустынях римские дороги¹.

Все умерло, рассыпалось с пришествием Христа на землю, но и с этим пришествием на опустелой и перекореженной новыми событиями поверхности земли продолжали стоять неразрушенными остатки римской цивилизации, как цивилизации не песен и вдохновений, а труда, заботы и разумного управления народом. Так насыпи и мосты наших железных дорог переживут остатки вдохновенных созданий Растрелли и др. До Рима история говорила стихами... короткими, обрывающимися, прекрасными, невечными. В *Риме* первом история заговорила прозою: о *деле*, о *нуждах* человеческих... И это пережило собою все.

* *

*

До лагеря долго нужно ехать местностью, до сих пор не свободною от лесов... Нужно же представить себе эту местность две тысячи лет назад, когда и в помине не было тех городов, какие украсили теперь правый берег Рейна. Уже поездка дает впечатление ухождения куда-то вдаль от цивилизации, шума, суеты и гама окружающего... точно зарываешься в глушь куда-то, и вместе все свежает кругом первобытною свежестью. Нет ни деревень, ни сел. Местность, однако, все поднимается... не круто, едва заметно, но поднимается. Зоркий глаз римского полководца, сохранявшего «границы республики», выбрал для постоянной стоянки сторожевого легиона местность, не заливаемую разливами рек, не топкую, сухую и как бы господствующую над окружающими низинами или скатами. Наконец, въезжаешь в лес. Совершенно глухо. И неожиданно открываются глазам «*Castra Romanorum*»*... каменная твердыня, выдерживавшая 2000 лет назад натиск рокотающих волн варварства.

Это — Германия, дикая, Бог весть откуда пришедшая из Азии, белокурая, со страшными топорами на длинных древках, с дубинами, стрелами и луками, со своими

*римский лагерь (лат.).

колдунами и «куколками»-богами, бородатая, плечистая, грудистая, — лезла на худощавый, стройный, сухожилый, смуглый Рим, с его гордостью победами и властью над миром. Только здесь, в глухом лесу Германии, воочию видя перед собою «римскую кладку стен», ту самую, которую видал в фундаментах храмов в Риме, Байях и пр., оцениваешь всю неизмеримость мощи, охватившей такое действительно неизмеримое количество земель. Кажется, и голос не долетит, и весть не дойдет отсюда до Рима... И самая мысль и воображение отказываются «соединить воедино» горячий уголок Италии с маленькою мутной речкой, с «такими обыкновенными человеками» на его форумах, с этою сырою, холодною лесистою страною... Ничего «единого», ничего «общего»... И тут только, на этой почве Германии, оцениваешь, что «сухие, черноволосые человечки» на форумах Рима были, на самом деле, вовсе не «обыкновенными людьми», а какими-то действительно «духами-гениями» истории, с Фаустом в каждом *civis**, с Мефистофелем в каждом *civis*... Веришь в «духа земли», которого позвал Фауст и так испугался, когда он появился на зов².

До телеграфа, до железных рельсов, до почты... как могла «шумная толпа по форуму» переброситься сюда, на Рейн? Не только мыслью, воображением, но и властью и «силою законов»...

Вот она где впервые сказала «сила законов» и дала почувствовать себя миру... Раньше чувствовали прелесть арфы... Или власть деспота, насильственную, нелепую, ломающую, но и ломкую. Рим обнял все мягким железом «договорного начала», тягучим, умным, нигде не рвущимся, то истончающимся, то утолщающимся и везде непрерывным. Он все связал с собою; всех привязал к себе. Вечно выступая покровителем бессильных, он одолел всех сильных. Вторые были сломлены, а первые стали естественными подданными Рима³.

И все это протянулось, наконец, от Рейна до Евфрата: никогда ни Наполеон, ни Карл Великий, ни халифы Востока не соединяли под своею властью столько земель!

А даже не было ни простой почты, ни телеграфа, ни железных дорог. Как же все уместилось в маленький

*гражданине (лат.).

мозг черноволосого, бритого, со стриженной головою римлянина, — одетого, вместо «платья», в белую простыню, с узлом на плече?

Но «уместилось»... В сущности, *государство*, в полный рост и в полный *гений* его, и было только *римскою*. Потом были «этнографические группы» и удачные завоеватели.

* *

*

Мы подъехали... Но это не «военный лагерь», как мы его себе представляем и как это у нас есть в действительности, а настоящая крепость, только небольшого объема. Стены невысоки, но страшно толсты и, конечно, могли выдержать какие угодно удары наивных орудий варварства. С внутренней стороны к стене примыкает вал, — как бы улица, на которой густою толпою, многими рядами вглубь, стояли защитники-римляне. От лезшего на стены врага их отделял невысокий, в аршин высоты, краешек стены и подымавшийся до человеческого роста зубцы ее. За этими зубцами и стояли, конечно, римляне, недоступные стрелам германцев, и из-за зубцов поражали их копьями, мечами и метательными орудиями. Стена, сама по себе невысокая, со стороны осаждающих представляла значительную высоту, потому что под нею был глубокий ров, из которого земля, очевидно, и была выбрана на внутренний вал, за стеною, по которому ходили римляне. Его предварительно германцы должны были засыпать своими телами, чтобы уже по телам товарищей, «как по ровной земле», живые могли дойти до стены и, наконец, взобраться на нее...

Но их было море, этих варваров... А римлян — небольшая горсточка. «Лагерь» в конце концов был взят и разорен. Т.е. римляне были убиты, замучены и уведены в плен. Но стены и здания, ни на что не нужные «варварам» и более не страшные им, остались в глухом лесу... И благодаря отсутствию поблизости городов и каких-либо селений, жители коих могли бы брать кирпич и камень для своих домов и построек, — он весь в материальной своей части сохранился в целости до нашего времени.

Это такая же прекрасная, волнующая и интересная руина древности, как и храмы Пестума, древней «По-

сейдонии», сохранившиеся на берегу Тосканского моря. Даже душу они волнуют еще более.

Это «труд» Рима; это «пот» его; это «оправдание» его в истории. О, как это благороднее Колизея!

А так просто все... Крепость образует совершенно правильный квадрат, с четырьмя воротами посередине каждой стены и двумя «сторожевыми башенками» над каждым воротами: точь-в-точь как это видим мы на монетах Константина Великого, построившего *Urbs nova** (Константинополь) и по этому случаю приказавшего изобразить на обороте монет этого времени часть городской стены, примыкавшей к «воротам», и вот с этими сторожевыми «башенками». Над воротами «нового града», «Царя-града» виднеются две звезды: «путеводные звездочки», или «звездочки-покровительницы» его в истории; так выражена идея «судьбы» и «вера» в эту идею первым христианским императором, впрочем поклонявшимся еще в то время Митре...

Мы вошли в ворота... В немногих саженях за ними простое и тесное здание, все из того же плоского и тонкого дикого камня («римская кладка»), видом напоминающего наши «вафли». Это — *quaestorium*, «казначейство», первый признак «дела» и «работы», «ответственности» и «начальства». Все здание было мало, потому что представляло собою «ящик для денег», как и «казначейства» наших дней. Далее шли «жизненные части» всякой крепости, подвергающейся осаде: колодцы, с крышами над ними, бадьями и блоками. Черная вода виднелась глубоко. Но римляне, хранители цивилизации тех давних веков, именно отсюда черпали и пили воду: ведь это было тысячею лет раньше, чем Владимир Святой крестил русских в новую веру! Вот они, колодцы, старейшие, чем вся Германия! Какие новенькие перед ними Гегель, и даже Лютер, и даже сам седой легендарный Карл Великий!

Все ново... Все, как младенчество... Все, как «пошедшие потом дети». Это — «пращур» всего. Здесь, в штурме варваров, блеснула впервые заря «европейской цивилизации», этой новой и характерной культуры, так непереступаемо отделенной от античного мира.

*новый город (лат.).

Далеко по сторонам квесториума, почти подходя к стенам крепости, виднеются несколько глубоких квадратных ям: это «купальни», где освежались воины в жару...

Проходя в глубь крепости, находим небольшой крытый «плац», где в зимние месяцы когорты (роты) упражнялись в военном строе и обращении с оружием. Далее следует «преториум» — место торжественных государственных служб: это как бы общая, коллективная «душа», которою жила маленькая горсточка римлян, заброшенных, «куда ворон костей не заносит», — нашей живописной терминологии. Здесь римляне дышали тем воздухом, тою атмосферою понятий и отношений, какою они дышали и в самом Риме. Здесь, между прочим, собраны военные орудия, найденные в останках лагеря: видишь преобразование... лука и стрелы в пушку! В самом деле: это целая машина, с рычагами и блоками, которая «натягивает» чудовищную тетиву лука, древком которого служит почти ствол целого дерева. «Спущенная тетива» бросала тяжелый камень на далекое расстояние вперед, в кучу врагов...

Это «ядро» древности, каменное ядро, — с которым начал и Бертольд Шварц, монах-алхимик, набредший случайно на состав пороха...

Наконец, как последнее, — «атриум», алтарь, с прекрасно сохранившимся митрианским памятником. К концу республики, в помпеянское время, быстро распространился по всему протяжению римского мира непонятный культ Митры азиатского, — может быть, персидского, — божества, которое энергично стало вытеснять чисто римских, капитолийских богов. Предание говорит, будто победители — солдаты Помпея — усвоили это божество у побежденных ими пиратов, по крайней мере до войны Помпея против пиратов о культе этом ничего не было слышно в Риме, с этого же времени он впервые появляется и отнимает алтари у всех старых богов. Учение поклонников Митры было тайное, как тайное было и «богослужение», происходившее в пещерах и вообще не над землею, а *под* землею. В чем оно заключалось, — никто не знает. Но не может не волновать душу митрианский памятник, всегда стереотипно повторяющийся в местах, где происходило это тайное служение. Митра, юный бог во фригийском колпаке, с которого совершенную ко-

пию представляет теперешний монашеский остроко-
нечный куколь (остроконечная шапочка), умерщвляет
могучего быка. Бык пал на передние колени. Юный
бог держит его левою рукой за ноздри (всунув пальцы
в ноздри), тогда как правая рука по самую рукоять
вонзила нож в правое плечо, на границе туловища и
шеи. Левое колено Митры упирается в бок быка, пра-
вая обнаженная нога поставлена твердо (упираясь же)
на землю. Но что характерно и что волнует душу, —
Митра смотрит вовсе не на быка, борьба с которым и
победа, казалось бы, должны были поглотить все его
силы и внимание, а куда-то назад, вперед, вверх, как
бы забыв о быке и отдавшись какой-то своей мысли,
другой и новой... Изумительная в живости и вдохнове-
нии, его поза увлекает зрителя. Можно долго просто-
ять перед памятником, не отрываясь. Памятник имен-
но, полетом вдохновения очаровывает. Это при пол-
ном еще непонимании *смысла* памятника, и можно
представить себе, как он увлекал «посвященных», ко-
торым было шепнуто разъясняющее слово жрецом и
учителем. На Митре короткий хитон, вроде полотня-
ных кофточек католических патеров; но, как бы разве-
ваемый ветром, за спиной его широким полукругом
поднят плащ, весь испод (подкладка) которого виден
зрителю (в древности — молящемуся), и этот испод
плаща усеян звездами. Так во всей древности, в Егип-
те, Сирии, у греков, *везде, решительно везде*, бык
(Апис) служил символом, олицетворением и вырази-
телем плодородия и вообще животной, половой силы,
страстей плотских и страстей кровных, и это совер-
шенно бесспорно и совершенно исключительно, что я
никак не умею связать стереотипный «митрианский
памятник» и с ним всю «религию Митры» иначе как с
первым и вместе пламенным появлением на земле мо-
нашеской идеи, скопческой идеи, аскетической идеи.
Иначе никак нельзя его понять, раз что бык есть сим-
вол «половой силы». Тогда вдохновенное лицо Митры
и его плащ, усеянный звездами, есть только вдохно-
венное ранее слово: «Суть скопцы... ради Царства Не-
бесного»⁴. Но если это так, то совершенно понятна по-
беда Митры над Юпитером: монашество и до наших
дней *как-то и почему-то всегда побеждает!* Никогда и
никто не разъяснит, почему и как... Казалось бы, про-

тиворечит оно природе, противоречит оно науке, разуму, даже противоречит явному, очевидному завету Божию («плодитесь», «размножайтесь»)⁵ — всему противоречит, а идет и идет, побеждает и побеждает, «против разума и натуры». В нем содержится какая-то неодолимая привлекательность для душ, влечет их именно «преодолеть природу», «выйти» из природы и унести... куда-то вдаль, к звездам (митрианского плаща), в несбыточное и мечтаемое. Торжество *мечты* над действительностью, *идеала* над нею же, торжество *подвига* над «естественностью» — вот суть «аскетического», «монашеского» и (я думаю) митрианского. Но закончу о памятнике. Все его многочисленные аксессуары говорят о том же, и ни один не противоречит изложенному мной: метнувшийся пес (презренное животное, принадлежность домашнего очага и друг хозяйства) один только лижет жалобно падающую потоком кровь быка. «Она нужна только псам, эта кровь, источник животной силы...» Ту же идею доканчивает плоская, бессильная змея (это подчеркнуто на памятнике), опустившая голову в сосуд, куда стекает семя быка... «Жратва для змеи, олицетворения зла и гибели». Внизу — уснувший лев, другой представитель в древнем мире жизненного огня и силы. Убит бык, уснул лев — «вот когда мир успокоится». Позади, «прощаясь», стоит юноша, тоже в монашеском куколе (фригийском колпаке), с опущенным вниз погасшим факелом. «Все кончено! Прошла слава мира, суета его»⁶. Впереди же стоит такой же юноша, все в том же куколе, но факел его поднят и горит. «Отныне будете как ангелы на небесах, с небесными радостями»⁷... Все, вся сцена, включено между двумя лестницами: «нужно подниматься, восходить»; «Царство Божие берется с усилием»⁸...

Во всяком случае что-то такое побрезжилось древнему миру раньше христианства. В век Антонинов Митра стал всепобеден, а образ мысли, а характеры, а домашнее поведение и, словом, *весь* духовный облик этих императоров и внутренний уклад их семьи, — есть уже глубоко не языческий, а типично христианский, кроткий, идеальный, не мстящий за обиды, прощающий обиды... Таков Антонин «Благословенный» (Pius), таков Марк Аврелий. Тогда понятен и источник

новой веры: солдаты, морские разбойники, одни и другие — на низинах общественного положения, грубые, необразованные и простые души. «Сих есть царство небесное»⁹. В другой стране, у другого совсем народа, аналогичная (и высшая, конечно) «благая весть» появилась тоже среди «детей», «женщин» и «рыбаков» и также одолела «книжничество и фарисейство», науку и формальный обряд.

Я стоял перед памятником, не в силах будучи оторваться и от красоты его, и от судьбы бродящих в истории идей... Так русское скопчество, сколько ни «опровергают» его миссионеры и ученые, все ползет и ползет, находя восторженных последователей идеи «умертвить в себе быка» и обратиться или хоть уподобиться «безгрешному агнцу», «кровью искупившему грех мира»...

А суровая твердыня Рима стояла передо мною. Его сокрушили «варвары» и подточили вот такие «мистические бредни». И Антонин и Марк Аврелий — уже не римляне, хотя по форме и продолжали «числиться» язычниками. Весь Рим крушился извне и подтачивался внутри... Таял, как холодный снег при восхождении нового солнца. Чары Востока сокрушили его...

Особенно внутри, в семихолмном городе, на берегу Тибра...

Но еще крепка была кора и зелены последние листья тысячелетнего дуба. Всего несколько сотен квадратных сажен земли да 5—6 тысяч крепких черноволосых мужчин, без жен и детей, несли свою «военно-монашескую службу» — без метафизики, реально — на границах неизмеримого царства и вместе безмерной по смыслу и качествам цивилизации... И долго разбивались об эту крошечную твердыню усилия народов и племен, массою так же превосходящих эту горсточку людей, как море превосходит ковш воды. Но «*virtus*» римская стояла. Не уступали сухожильные воины, за спиною которых, от этого Рейна до Евфрата, хранилось все ценное, все мудрое, все поэтическое и нежное, что выработали четыре тысячи предшествовавшей истории: от песен Анакреона до псалмов Давида, до сокровищ Александрийской библиотеки.

Выходя из porta Decumana (входные ворота «лагеря»), я заметил над ними безвкусную надпись:

GUIELMUS IL FRIDERICI III FILIUS
CUILELMI MAGNI NEPOS
ANNO REGNI XV IN MEMORIAM ET
HONOREN PARENTUM
CASTELLUM LIMITIS ROMANI
SAALBURGENSE
RESTITUIT*.

Это понятно для посетителей, но древние никогда не писали «сын» и «внук» всеми буквами, а только обозначали инициалом первого звука. Надпись императора Вильгельма, очевидно, копирует титул Германика, знаменитого победителя тевтонов при Тиберии: он был «усыновлен» Тиберием, который, в свою очередь, был «усыновлен» Августом, — и об этой двойной связи на монетах, выбитых в честь его сыном его Каем Калигулою, чеканилось: GERMANICUS CAESAR TI (BERII) F(ILIUS) DIVI AUGUSTI N(EPOS)... и т.д.

*Внук Вильгельма Великого на 15-м году правления в память и честь родителей восстановил Зальцбургское укрепление римского рубежа (лат.).

ПОЛУПОНЯТНЫЕ РУИНЫ

Во Фридберге я посетил две «готики» — христианскую и еврейскую.

Христианская, это — собор XIII века. Он не чрезмерен, но все-таки очень велик, а его размеры наружные и внутренние прекрасны и гармоничны. Он состоит из «нефа», т.е. средней части, и двух «абсидов», боковых «аллей». В самом деле, разделенный двумя рядами готических колонн, со стрельчатыми сводами над каждою, готический храм представляет собою, в сущности, три древесных аллеи, с перекрещивающимися суками не то высоких пальм, не то суровых сосен Севера. Что за идея его? Говорят: «Это — устремление души кверху», «полет ее в небо». Наверное можно сказать, что все эти позднейшие объяснения искусственны. Соборы строились народно. Это — «готика», работа «готфов», варваров или полуварваров. Что они хотели выразить этими стрельчатыми линиями? «Душа устремлялась кверху» у восточных аскетов не менее, чем на Западе; даже более: ибо на Востоке христианство было созерцательно, на Западе — практично. Но на Востоке строили купол и не знали никаких стрел.

Я бы не упоминал о Фридбергском соборе, ничем особенно не замечательном, если бы не увидал на нем одной подробности, которую знал только по описаниям у Гюго «Собор Парижской богородицы».

Это — химеры, волки, гады и чудища, «демоны» и «грехи», символизированные фигуры, окружающие его купола. Как возможен обман позднего наблюдателя. Мы знаем, конечно, что это «изгнанные из своего места духи» или что это «демоны, не смеющие переступить ограду храма». Но каждый третий, каждый наученный, каждый чуждый нашей культуре и ее понятиям человек не без права мог бы заключить, что это есть «место, где люди поклоняются демонам, безобразные фигуры которых одни, естественно, они выста-

вили на его фронтонах, около купола и по стенам».

Русские, у которых на этих самых местах стоят «святые угодники», непременно так бы подумали и были бы прямо испуганы видом старого католического храма.

* *

*

Когда я заказал извозчику повезти нас в «старую еврейскую купальню», он улыбнулся.

Экипаж, слегка поднимаясь по камням, въехал в совершенно узкую улицу, застроенную бедными жилищами, старого и местами чуть ли не архаического стиля. Очевидно, это было старое еврейское «гетто», т.е. определенное, ограниченное место, отводимое в средневековых городах евреям, вне которого они не имели права селиться. Улица и называется «Judenstrasse», «Еврейская улица», хотя сейчас в ней живут немцы. Экипаж остановился скорее перед лачугою, чем перед домом. На стук в дверь вышла смуглая еврейка лет 35-ти, за спиной которой виднелась худая и совершенно рыженькая девочка лет 13-ти, явно ее дочь. Мы сказали, что нам нужно. И она ввела нас в древнее святилище своего народа, полного смысла которого и сама, вероятно, не знала.

Они есть везде, эти потаенные святилища еврейского народа, где только живет хоть какой-нибудь клочок их племени. Ни одна еврейская семья без него не может обойтись, — как не может обойтись христианская семья без крестильной купели. Евреи держат в секрете эти купели свои; о них инородцы ничего не знают. Это — семейная, субъективная тайна Израиля, о которой так же не разглашают и так же не показывают, как чужим и внешним людям не показывают семейные спальни, семейного ложа и, вообще, следов и проявлений супружества, девичества и деторождения.

— Вот, — сказала еврейка, введя нас в сенцы с деревянным помостом.

Это была совершенно тесная комнатка.

— Спускайтесь по ступеням, — проговорила она.

Было полутемно. «Куда тут спускаться», — не видел я. И заглянул за перильца, за которые инстинктивно схватился. Узко, тесно, немного страшно. Снизу, од-

нако, шел свет. Если бы не этот нижний свет, невозможно было переступить шага. Но он был ярок и шел из какой-то световой розетки внизу, т.е. из яркого, белого, воздушного кружка, казалось пересеченного нитями. Я начал ступать, все еще ничего не понимая и будучи совершенно убежден, что эта страшная яма, куда мне предлагали идти, внизу имеет выход куда-то в светлую преисподнюю, с огромным, могущественным источником света в себе... И, главное, с воздухом, воздушностью: насколько не хватало воздуха, настолько снизу, казалось, шли потоки его...

«Свет» и «воздушность», «возможность дышать» смешивались в этой преисподней.

Спутники мои, перешагнув несколько ступеней, остановились. Я пошел вперед, мнимый любопытством и некоторым волнением. За мною, с тускло горевшей свечою, шла еврейка.

Лестница шла винтом по кругу. Ступени огромные, т.е. очень высокие, и нужно было широко «разевать ноги», чтобы переступить с одной ступени на следующую или подняться с одной на следующую. В то же время могли установиться на одной ступени человека четыре, но не более, и, во всяком случае, двое. Несомненно, это место «в действии» выражалось в том, что по ней вились две ниши человеческих существ — одна, спускаясь вниз, и другая, поднимаясь ей навстречу, вверх.

«Смелей! Смелей! Дальше, дальше!» Все к светлому кружку в страшном дне.

В местах «сгиба» лестницы стояли, на больших друг от друга расстояниях, серые колонны. Поднося к ним свечу, еврейка объясняла:

— Это — древний вид колонн, перенесенных из Соломонова храма. Вот это — миндальные цветки.

Она указала на капитель, серую, обшарпанную: действительно, она являла вид тех «чашечек цветка», какие я знал по серебряным сиклям Симона Макковей и которые у нумизматов именуются «цветком гиацинта»... По-нашему бы просто — «колокольчик», «чашечка цветка».

Опять, через несколько ступеней, она подняла свечку к серому камню:

— Это — гроздь винограда...

Да, гроздя и листы.

И, наконец, совсем низко:

— А вот — фиговые листы.

Я едва-едва узнал форму листов, прикрывающих «известные места» на гипсовых статуях в залах Академии художеств.

И, едва сделав еще шагов пять, — я остановился...

Передо мной сверкала черная вода. Я присел и опустил в нее руку. Холодна чрезвычайно. С волнением я рассек раз, и другой, и третий эту воду... Она очень чиста и свежа. Боже, сколько веков прошло! И сколько еврейских женщин погружали в эту самую воду свои тела и прошли вот по этим самым ступеням, и таким мертвым по числу усопших, когда-то по ним ходивших, и вместе таким живым: ибо в каждый год, положим XVI века, евреи знали, что по этим самым ступеням, никак не минуя их, пройдут их внушки, правнучки, и так «из рода в род»...

Страшная встреча жизни и смерти.

«Миква»¹, или «купель Израиля», представляла собою очень тесный и неглубокий бассейн, в который каждая еврейская женщина должна была погрузиться с головою три раза и, дабы очистить и внутренность свою, должна была сделать три глотка воды. Объяснявшая женщина говорила, что погружаться должны были только «женщины».

Но это только теперь мужская половина уже не исполняет древнего закона, и она, очевидно, ошибалась, имея в виду современную, небрежную практику. На самом деле, в четверг, в дневные часы, погружалось все мужское население, а в сумерки — все женское: и это было приготовлением всего Израиля к встрече «Небесной Невесты», «Царицы Шабас»², сходявшей во все еврейские дома, в каждую хижину семейного еврея, в вечер пятницы, с появлением первых вечерних звезд. Эти «погружения» было наше разлитое «крещение», пульсирующее во всю жизнь еврея и еврейки. Их значение — такое же, как нашего «крещения»: оно очищало от «скверны», «нечистоты» и «греха» еврея, тело его и душу его... Как это в формуле «очищения от скверны» удержалось в нашем крещении до сих пор. Наше «крещение» есть обрядовое и вместе таинственное, сакраментальное, священнодействующее «погру-

жение в воду» еще евангельских времен, но в евангельские времена и в Иерусалиме, вообще в Палестине, и у евреев не было других «погружений», кроме как это, которое я теперь рассматривал в Фридберге.

Бесшумною струею человеческие тела вливались в бесшумные черные воды, с ярким серебряным кружком посредине, — «звездой» Израиля, «солнцем» Израиля... В каждой религии есть или, точнее, попадают-ся, случаются, «выходят» световые, звуковые иллюзии, которые верою верующих поднимаются к особенному смыслу и на всех производят особое очарование. Таков «вечерний звон» православия. Этот «свет внизу», «из земли выходящий», тоже должен был производить на фридбергских евреев особое впечатление. Войдя в воду, по ритуалу не глубокую, чуть-чуть выше пояса, они (по ритуалу же) должны были низко присесть, «так, чтобы на поверхности воды не остался сухим ни один конец волоса», и, повторив это три раза, — выйти. Вне сомнения, одевание происходило уже наверху, — при массе народа невозможно было допустить никакого замедления в движении сюда и отсюда, а это непременно произошло бы, если бы внизу же и одевались. И другою сторонкою лестницы, нежели какою произошел спуск, освеженная и как бы «воскреснувшая» или «выздоровевшая» вереница тел подымалась вверх, навстречу спускающимся. Вот каждое к каждому подходит, сближается, почти коснулось, расходится, разошлось и, разойдясь с одним, с десятым, с другим, или одиннадцатым, опять сближается, почти коснулось и опять расходится.

Два как бы блока, параллельные, друг возле друга, движутся непрерывно, но оба, и притом в каждой точке, с психеею в себе, с неразгаданной и молчаливою душою.

Грубые камни. Такие большие. Холодные камни. Но горяча душа по этим камням идущих.

* *

*

Мы стали подниматься. «Откуда же это белое пятно?» — спрашивал я еврейку. Она что-то говорила, чего я не понимал. Наконец, она подняла руку кверху. Я взглянул туда же. Простое стекло-потолок, круг-

лое, вставленное над бассейном. «О Господи, как просто!» — подумал я и немного рассердился. На большом расстоянии и ярко освещенное солнцем, оно, «как зайчик», сияло светом внизу.

«Все просто на свете». Для идеи «миквы» (еврейские ритуальные омовения) во Фридберге все удачно соединено. Вода, по закону, должна быть не нанесенною искусственно, не налитую в бассейн, а почвенною. Это важно. Но весь Фридберг лежит на каменном массиве. Пришлось прорубить его до почвенных вод, т.е. очень глубоко. В то же время Фридберг находится в виду Наугейма и его целебных источников. Из камня брызнул ключ, холодный, в 8 градусов температуры... И евреи, и еврейки выходили из него с тем чувством, как русские богомольцы, искупавшись в «источнике св. Серафима Саровского»³. То же чувство, и психология, и все...

Освеженные, они входили в свои дома в вечер на пятницу, за немного часов до встречи «Царицы Шабас»... И она входила в их домики, к этому часу тщательно вымытые, выметенные, без крохи «кислого» на кухне, в щелях, в соре. «Кислое» — окисляет собою все, производит брожение... Коснувшись крови, свертывает ее. А еще особенностью и «чудом» древнего храма было то, что, — по легендам раввинов, — в его атмосфере, в его дворах и стенах, кровь никогда не свертывается, не могла свернуться, т.е. оставалась вечно живою. «Все — к жизни, ничего — к смерти» — таков закон, дух и традиции. Отсюда — вражда евреев к окисляющему (т.е. свертывающему кровь).

На дне я задумчиво водил рукою в холодной и черной (вблизи) воде, вспоминая веру всех евреев: «Бог очищает душу евреев, как миква очищает тела. Бог — миква Израиля».

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР

I

Если бы мы были внимательны к своей мысли, к чужим словам, — мы бы находили каждый день случаи к соображениям самым поразительным, к пониманию самых глубоких и тревожных вопросов истории.

* *
*

Вхожу в Наугейме к даме лет 55-ти. Самая тяжелая больная, судя по опросам и исследованиям доктора, из всего круга нашего знакомства. Между тем как никто по виду даже не сочтет ее за больную: полная, с цветущими щеками, она ежедневно часами гуляет. Любя музыку, выписала из Мюнхена билеты на представление «Кольца Нибелунгов», в составе его 4-х опер и 9-й симфонии Бетховена. После курса лечения и отдохнув недели две, поедет наслаждаться искусством, которое любит давно и горячо, которое не только слушает, но и о нем читает литературу. В то время как сама лечится, своих двух сыновей она отправила путешествовать: одного в Норвегию и другого в Испанию. Умеренно богатая, всегда скромно одетая (как и ее сыновья и дочери), она не жалеет тратить несколько тысяч в год на их теоретическое и практическое воспитание. О последнем она раз сказала мне с улыбкою:

— Никто же не жалеет тратить тысячи на обстановку? Отчего же не истратить столько же на обучение детей. Нет, я не нахожу, чтобы воспитание в России стоило дорого: оно кажется таким только оттого, что все привыкли к дешевому казенному воспитанию, которое никуда не годится.

Она говорила о частных школах, где воспитываются ее дети, и о жалобах родителей на дороговизну как платы, так и «пансионата» в этих школах.

«Тяжелая ее болезнь», о которой я упомянул, заключается в мучительных припадках, которые «прошли», — и как ничего не бывало. До следующего близкого или далекого. Лечение и имеет целью хоть *разделить* эти припадки, ибо в последнюю зиму они уже стали повторяться по одному или по два, по три в месяц. Все это я узнал от нее после неотвязчивых вопросов, заинтересованный лечением. Она долго не хотела говорить, по какому-то специфическому целомудрию всех больных. «Пусть это знает доктор, но зачем это знать другим».

Мне же всегда хочется знать все о больных. Я исполнил маленькое поручение этой дамы и теперь пришел сказать об этом и проститься. Она уезжала для «лечебного отдыха» на Боденское озеро, и комната была уставлена чемоданами, корзинами, бельем и пр. Я сел.

Тут впервые я и расспросил ее о болезни. Она с затруднением, но сказала. И, поворачиваясь, что-то завывая, сказала:

— Мы вечером не виделись, и я не сказала вам, что вчера (воскресенье) была в нашей церкви.

— Вот и я был...

— Вы были просто за обедней, а я была на архиерейской службе. — И она улыбнулась.

— На архиерейской службе? В Наугейме?

В самом деле, там русская церковь такая маленькая, что, кажется, архиерей в нее и не «уместится». Т.е. не уместится пышность служения. Полная противоположность представлений, как к ним привык уже за много лет жизни.

— Епископ Владимир из Кронштадта?

— Нет, русский епископ из Рима. Ему подчинены все русские заграничные церкви.

Тут я чего-нибудь не понимаю, или мне неверно сообщили. Псаломщик русской посольской церкви мне только на днях передал, что «все русские церкви за границею подчинены кронштадтскому епископу». Но, вероятно, это «русские *посольские* церкви», т.е. приписанные к министерству иностранных дел, что ли. Тогда как *частные* русские церкви за границею, *обыкновенные приходские*, должны быть подчинены русскому епископу в Риме¹. Передаю, как до меня

дошли два известия, не решаясь судить, где тут правда или в чем тут дело. Оба сообщения, очевидно в каком-то отношении, с каким-то ограничением, правильны.

— Хорошо служил? Это так интересно: русское архиерейское служение за границею. Для иностранцев — полная новизна, а для нас — такая «родина». Ужасно жалею, что не знал и не был. Но как служил он? Неужели со всеми подробностями?

— Очень хорошо служил. И со всеми подробностями. Откуда взяли, уж я не знаю, но вынесли на середину церкви это архиерейское сиденье, и он сидел все время литургии, торжественно и властно, посередине церкви. Очень хорошо...

— Что хорошо?

Она улыбнулась. Она была очень образованна.

— Хорошо, что старо. Хорошо, что наше...

Помолчав:

— И сказал проповедь. Отлично сказал, горячо и хорошим голосом... Только очень властно, очень страстно...

Она помолчала еще.

— Видно, что это властный и твердый человек, т.е. владыка. Что же, это и хорошо: он управляет. Управление требует характера.

— Так-то это так... Я отлично понимаю, что «управление требует характера». Вот и римляне, без «характера» могли ли бы они управлять столькими землями и народами?.. Все это так...

— Ну?

— Ну, и иподиаконы все так же низко кланялись, и «исполатчики»² все так же подкладывали под ноги его круги с орлами...

Она улыбнулась:

— Все, все как у нас...

— Митра?

— Золотая.

— Одежды?

— Лиловые, длинные, шелковые, с «реками текущими»...

Действительно, полосы на епископской мантии обозначают «реки текущие», должно быть «поучения» или «благодати».

— Но ведь, Анна Владимировна, — воскликнул я, — это язычество!

— Полное.

Я был поражен, что она так просто сказала.

— Что вы говорите?

— Я говорю, что это полное язычество.

Я опешил.

— Почему?

— Потому, что это в полном противоречии с Евангелием.

— Что?..

— В полном противоречии с Евангелием.

И так спокойно и твердо, как спокойно и твердо говорила всегда эта труднобольная женщина.

— Но по тону видно, что вы это любите?

— Люблю.

— Почему?

Она что-то аккуратно укладывала в ящик и, кончив, села к столу и продолжала более систематично.

— Почему люблю? Почему-то любитесь... Я пошла в церковь перед отъездом из Наугейма оттого, что захотелось пойти. А отчего «захотелось»... оттого, что это — родное, давнее, что к этому привыкла с детства...

— Но вы говорите: «В полном противоречии с Евангелием». Я понимаю, о чем вы говорите: беседа с Никодимом, беседа с самарянкою, «Дух веет идеже хочет»³...

— Да! Да!

— Ну?

— И все-таки это тоже хорошо... Это — тепло, и этого... нигде не найдешь. Оглянитесь, вспомните свои отношения к людям: все — холодное, чужое. Везде расчет или корысть. Но когда, именно как молящаяся, я вхожу в церковь, — я этого не чувствую кругом себя. И кладу двугривенный на блюдо с мыслью, что это нужно церкви... т.е. храму. Вот и все. И я согреваюсь душою, я менее болею там, чем вообще в жизни; и мне теплее там, чем сидя в гостях или когда у меня гости. Еще: я там успокаиваюсь, на час забывая дом и все «домашнее», вечно несколько беспокойное...

— Да, понимаю, понимаю... Но вы любите и Евангелие?

Она улыбнулась несколько восторженной улыбкою, но без экзальтации.

— Да, вот, подите: сколько есть книг, и прекрасных, мудрых. Но каждая книга может приестся, если ее постоянно читать, и одну читать. Или даже читать много и часто. Но Евангелие... сколько бы вы его ни читали, — оно никогда не наскучит... Еще удивительнее, что когда снова перечитываешь какое-нибудь место, давно знакомое, много раз читанное, — внимательно подумав, найдешь в нем непременно новую мысль, новое освещение какого-нибудь предмета, какого раньше в этих же словах не замечал. Это удивительно... Евангелие совершенно не похоже ни на какую книгу.

— Так что, вы его часто читаете?

— Постоянно.

— Но «культ»... Потому что вы, конечно, говорите о «культе» вообще, когда говорите, что это «язычество»?..

— Культ — это одно... — Она движением рук придала какую-то особенную отчетливость словам: точно «отрезала» или «отсчитала». И продолжала: — И Евангелие — это совершенно другое! Между ними — ничего общего, никакой связи.

— И культ вы называете язычеством?

— Это же так очевидно! Он в полном противоречии с Евангелием, с его всем зовом, с его всем идеалом, с его всем смыслом. До отрицания *культа*, т.е. форм как сущности, — Новый завет не начинался.

— Но вы любите культ?

— Люблю.

— Давайте говорить о другом.

Я был взволнован, как редко в жизни.

* *

*

Дело в том, что если, может быть, она что-нибудь еще читала «о религии», то о церковных делах и вопросах она, наверное, ничего решительно не читала. Обширная служба ее покойного мужа была техническая или учено-техническая; воспитание она получила в институте и у «бабушки», — стародворянское. И отношение к церкви у нее было исключительно практи-

ческое, т.е. отношение к богослужению только и как прихожанки. Ни связей, ни знакомств в этой сфере... О мне она знала как о сотруднике газет, но чтобы я имел специальный интерес к церкви, — она этого не подозревала. Из книг моих ни одной не читала.

Но каким же образом, без споров, без «навождения на мысль», она так ясно высказала эти, в сущности, ужасные суждения? Значит, это так ясно? Да, она образованная женщина, спокойно образованная; да, знает Евангелие, любит его. И еще понимает, что такое «культ»... Вот и все, только. Из этих трех знаний, знаний просто образованного человека, вытекает суждение, которого, однако, во всем его объеме и резкости не только не имеет русский народ, до которого это «специально относится», и не знает *все духовенство*, которого это тоже «специально касается», — но оба они, и духовенство, и народная масса, похолодели бы от страха, представься им это все даже как просто подозреваемое, как возможное...

«Значит, так ясно... — стучало у меня в голове. — Так безошибочно верна эта мысль, от которой все похолодели бы в ужасе... И, может быть, она завтра откроется всем... Знает же ее, и с такой непоколебимостью в тоне, русская барыня, лечащаяся в Наугейме».

* *
*

Это — одно.

Но и затем другое:

«— Я люблю это...»

«— Я люблю и то...»

Ее ум отнюдь не был философский, и она просто и правдиво выразила то, что чувствовало ее сердце.

Не усложнить ли ее мысль так:

— Как человек, — я люблю Евангелие.

— Но, как русская, — я люблю церковь.

Это говорили оттенки ее слов: «Я привыкла»; «Я встречаю здесь все родное»; «Тут — связь моя с родиною»; «Это — давнее, это — наше». Все это, очевидно, синтезируется в мысль: «Я — русская». Но почему она любит читать Евангелие? Ее вечной душе говорят вечные слова, которые Христос сказал «и не евреям, и не хананеям», а человеку, и она их принимает уже не как

«русская», а как больной человек, как Анна, как образованный человек, образованный общим образованием.

«Я — человек»: и Евангелие понятно.

Но «я — русский»: и церковь тоже вдруг становится страшно дорога.

При сознании:

Что между ними нет ничего общего!

От этого-то бы и похолодела кровь у всего русского народа и у всего духовенства.

Что это такое? При всем множестве того, что я писал о церкви, мне даже обдумать невозможно того огромного смысла, который содержится в словах, не только совершенно очевидных в истине, но и очевидных до младенческого сознания. «Так ясно... скоро дети заговорят на улицах...» Что ясно?! Дети — почти говорят, а самым ученым — не ясно.

Этого не знает Гарнак.

Этого совершенно не знал Ренан.

Никогда этого на ум не приходило Штраусу.

«Что не приходило на ум?»

Полная противоположность церкви и Евангелия.

Нужда Евангелия.

Нужда и церкви...

Именно в сопоставлении своем эти три истины до того жгут ум, до того мутят сердце, до того «растеривают всего меня», что не знаешь, что делать, как жить... Кажется невозможным дольше жить...

«А живешь...»

II

Сотни мыслителей не только у нас, но и в «мудрой» Европе, восставая против учреждений и духа церкви, больше же всего против ее «застарелости» и консерватизма, пытаются положить на «плечо рычага», которым они думают произвести переворот и обновление, — *Евангелие*... «Дух Евангельский», «учение Христа»... «Ищите прежде Царствия Божия и правды его»... «Будут поклоняться и не здесь, и не в Иерусалиме, но на всяком месте, в духе и истине»⁴... И проч. и проч. Но отчего-то все это не действует. Проповеди этой внимают (самое большее) сотни тысяч (в Европе), тогда как «к обедне ходят» по-прежнему (во всей Европе) сотни миллионов... И «служилое духовен-

ство», никакой философией не занимающееся, не только не потрясено своими полемистами и «ссылками на дух Христов», но как бы просто не замечает этого, не придает этому никакого значения и остается твердо и уверенно в себе, как если бы ему вечно стоять... Почему это? Что за явление?

Да в том и явление, что церковь именно «в застарелости» своей есть факт, совершенно в стороне от христианства стоящий и потому евангельской критике совершенно не подлежащий, не поддающийся, ее выдерживающий совершенно спокойно и твердо и вообще ею совершенно не *разрушимый*... Факт — другого порядка, в другом поле лежащий... Церковь так же нельзя критиковать Евангелием, как, напр., нельзя земледельческую культуру Англии критиковать стихотворениями Теннисона или обратно. Нельзя упрекать или нельзя опровергнуть «дух Англии» ссылками на бурскую войну⁵ или тем, что Англию русские называют «коварным Альбионом». Все это отскакивает как резиновый шарик от старой, казалось бы, «заплесневевшей», казалось бы, от полуразрушившейся, но все-таки каменной стены и которая на самом деле, несмотря на свою «руинность», продержится еще Бог знает сколько времени... Стар Колизей, стар; только мыши в нем живут, а глядишь — переживет молоденькое и свеженькое итальянское королевство. Церковь ни на что не обращает внимания, и всему сопротивляется, и все держится оттого, что она есть «собственное тканье» европейской жизни, «самodelьщика» Европы, но, во-первых, — за 1½ тысячи лет европейской жизни и, во-вторых, в работе над чем, в «тканье» чего приняло участие все самое первое, самое духовное, самое гениальное в целой Европе, наконец, — самое поэтичное, самое вдохновенное, самое чуткое и отзывчивое... и еще опять, наконец, — самое близкое к народу, всего ближе к народному сердцу лежащее. Пусть теперь они «спят», но ведь «теперь» они повторяют «старые слова»; а слова эти впервые были сказаны, впервые подумались *именно самими живыми, самими нервными* людьми на протяжении целой Европы. Тут работал Дант и его «Divina Commedia»; работали, с одной стороны и в одно время, Лютер и Меланхтон, а с другой стороны и в другое время, — римские Григо-

рии и Иннокентии. Да, работали, думали, вдохновлялись, страдали, жалели и любили человека, как любили!! И всем этим, всею работою этого своего сердца и своего ума, золотили «слово церкви», ниточка за ниточкою, пуговка за пуговкою вырабатывали (бессознательно) и, наконец, выработали (до сознательности) «культ» церкви, ее «обряды», «требы», весь «богослужебный круг», весь «церковный год». Ведь все так медленно и незаметно произошло, что историки не могут сыскать, когда именно и что произошло... Церковь — потухший вулкан, но зола его и до сих пор тепла, и на нем родится превосходный виноград; а главное — на склонах его построились целые города, построилась вся европейская цивилизация. Да и еще «окончательно ли потухший»? Итак, вот все оно стоит: человеческое, «одно человеческое», — как выразился тонко Мережковский об язычестве⁶. Недостает только последней догадки, недостает мудрым, но о которой начинают кричать дети на улицах:

— Да, язычество!

Но такой величины, такого смысла, такой огромности и драгоценности для человечества, — вот для больного, вот для старого, да и просто для «среднего человека», что вдруг перед этой золотой старой стеной оседает куда-то в невидность и незначительность такое слово как «ищите прежде правды его» или «блаженны нищие...»⁷.

* *

*

Он болел... Больная сердцем говорит: «Я задыхаюсь... У меня припадки». Что же ей могут помочь «ищите прежде правды» или «блаженны нищие». Но кто-то безвестный, длинноволосый, может быть, с недостатком человек, «просто человек», когда-то жалостливо прижался к такому вот больному, и... один придумал слова, другой *пополнил* их, третий указал дать больному *в руки зажженную восковую свечу* и четвертый *дал тон* напеву, чтениям и возгласам, — и получилась «служба церковная» (соборование), которая так действует на труднобольного, что он боли не чувствует, что он не огорчен, не страдает, не раздражен, что он, вообще, не мучится больше ни телом, ни душою,

а как-то весь преобразается во что-то тихое и вечное, светлое и вечное. И умирает, и не умирает: болен, но и не болен... Но он умер, окружающие поражены, разбиты; что же им, уже упавшим, вы скажете: «Э, оставьте мертвым погребать мертвецов своих, вы же идите за мною и слушайте слово»⁸. Им нужно другое, совсем другое, и опять это «совершенно другое» церковь также дала в молитвах погребальных и в затихающей памяти «9-го» и «40-го» дня. Все смягчено; удар смягчен. «Язычество». Но на это, отойдя в сторону от прямого удара, она может ответить:

— Да, язычество, но совершенно необходимое человеку, без которого он не может жить, которое, наконец, по содержанию своему, по мотиву, по вдохновению, — есть святое. У меня, и только у меня одной язычество вернулось к святому, облеклось святою оболочкою, наполнилось святым содержанием. И я им накормляю человечество в жизнь вечную...

С этой точки зрения совершенно переворачивается весь смысл истории, прожитой, поистине, «бессознательно», не озираясь на себя, как и вообще все живое и значительное творится бессознательно, «по вдохновению». «Вдохновенно» восстановилось язычество, но не в детской, играющей, юной своей фазе, которую оно проходило две тысячи лет назад, а соответственно опыту и увеличившимся «тяжестям» человечества, увеличившимся его воздыханиям, увеличившемуся труду его, страданиям, в форме несколько угрюмой, старобразной, отягощенной, мрачной, страдальческой и нравственно-серьезной. «Язычества нет», — подумали мы только потому, что нет игры, веселости, цветов и нимф. Но суть в сути, а не в нюансах. Суть в дереве, а не в лаке, которым оно покрыто, и особенно не в рисунке, которым раскрашено. Язычество воскресло, вернулось, и вот, подите, *теперь* серьезное и трагическое, столкните его. Попробуйте его свергнуть ссылками на Нагорную проповедь, на беседу с самарянкою, с Никодимом⁹: оно даже не шелохнется...

С великим трепетом, с великою горячностью ума философствующие и публицистические умы литературного и научного наклона пытаются ухватиться за слова первых апостолов, слова идеалистического и духовного оттенка, кричат до истерики о словах Христа:

практическое христианство, т.е. нужное народу, вот эта *реальная, действующая* церковь не подвигается ни назад, ни в сторону. Все усилия новаторов рассеиваются просто в «мнения», «преходящие мнения»... Рассеиваются просто в «слово», о котором сказано было, что оно «пришло», и о котором время теперь сказать, что оно «ушло»... В теперешней форме, угрюмой и серьезной, «плоть» форм, обычаев, привычек, выработавшихся жестов, выработавшихся обрядов, непременно требующихся одежд, непременно требующегося *вида*, «установленного» образа мысли, «установленной» манеры слова, «установленного» способа жизни или хотя бы личины жизни (кожа, наружность, форма, *плоть*) — вся эта необозримая *плоть и плоть*, приобретающая святое сверкание, святую пахучесть, святую добротность, святую вкусность, не уступит ни «пришедшему», ни который «опять придет»...

Она, эта *плоть* необозримой видимости, скажет о себе: «Меня погребли духовники, — погребли юною и невинною, но в пору, когда я в самом деле забылась и начала совершать легкомысленные поступки, однако нимало не связанные с существом моим». Однако *плоть* необходима человеку, пока он живет: человек — во плоти. Победа была мнимою и не могла не быть мнимою, — так как она ненатуральна и неестественна. Мнимо умершая *плоть*, мнимо побежденная *плоть* стала со всех сторон охватывать своего победителя, проникать в своего победителя, — и, шаг за шагом, год за годом, век за веком, вернула все свое, отвоевала назад все отнятые позиции, вытеснила «духовного победителя» отовсюду, оставив от него одно имя, пустую видимость и мнимость, пустую претензию на пустую и невозможную победу. «Без плоти» человек не может жить; «без плоти» существует только то, о чем мы говорим, что оно «умерло». «Без плоти» *воспоминание* о том, что «было»; «без плоти» надежда на то, чего не будет. Но и «надежда», если она исполнится, — исполнится через то, что «войдет в *плоть*». Так что это именно «плоть», а не «дух», — есть «истина и путь живот». «Духу» надо было сказать что-то; и явился вопрос: «как» это сказать? Т.е. вопрос о форме, т.е. вопрос о плоти. Сам «дух» потребовал «плоти», т.е. «победитель» позвал опять к жизни «побежденное». Да ина-

че и быть не могло... «Дух не победил меня, но борьбою измял, измучил и состарил... И я не так свежа и молода теперь, как прежде... Щеки теперь у меня бледные; голос старческий; согбенный вид. Но ничего: все-таки я, именно плоть, и победившая. Моя плоть в огне, которым зажигаются лампы; моя плоть в воске, из которого делаются свечи. Попробуйте делать свечи не из воска, а из сала; а вместо лампад с маслом из священной оливы зажечь керосиновые лампы, — и вы увидите, много ли от вашей «духовной религии» останется. Олива — дерево, живое; и воск — от пчелы, от жизни. Священные частицы священной плоти мира. Я вошла в воду, которою вы крестите детей; я вошла в масло, которым вы помазываете больного. И без масла самого «помазания» нет, т.е. нет и «священства», а с ним — нет и всего. Попробуйте мазать квасом: и увидите, что останется от христианства. Без священных стихий мира, как одно слово, — «христианство» будет интересно читателям; но *народу* оно нужно не будет. Я, плоть, — именно *народна*, и именно *нужна*. И этою *народностью* и *нужностью* и победила, т.е. спаслась сюда от гонителя, так как непобедима-то я по *существу* своему. Не дух рождает плоть: этого никто не видел, и это бывает только у спиритов, которые изобличены как вральи; а плоть рождает дух, из плоти, от плотского, в плотском дух зарождается, возникает, болеет, цветет, укрепляется: и это порядок всей природы. Вся она живет мною; я вся живу в ней. Мы-то и есть истина, а прочие, вновь возвестившие себя «истиною», были только мнимостью, которая прошла по закону всего мнимого».

МЮНХЕНСКИЙ МОНАШЕНОК

I

Растопылив широко руки, расставив ноги, красивый мальчишка, с лукаво и ласково улыбающимся ртом и хорошенькими щечками полудевочки, полумальчика, одет в «глубокий траур» католического монаха, со стихарем на груди... Куколь-башлык закутывает его головку, — совершенно как на портретах Саванароллы. Но не распятие он держит, как грозный обвинитель Флоренции и Медичисов: в поднятой правой руке его пенящаяся кружка пива, а в левой — пучок вкусных редисок... Есть и вариант: пальцы правой руки сложены в «священное благословение», а в левой — Евангелие...

Это — мюнхенский Купидон. В то же время — исторический герб города. С изумлением раз я увидел этого же «треклятого монашенка» в церкви, в самом алтаре: те же расставленные ноги, раскинутые в сторону ручонки... И пиво, и редиска. Я глазам не верил; потом подумал: «Что же, герб города. Алтарь (придел) поставлен в память и честь какого-нибудь рыцаря-крестоносца, защитника веры, пошедшего в Иерусалим из Мюнхена. И вот что этот святой воин был родом «из Мюнхена» — строитель алтаря и выразил мюнхенским гербом...»

Я бы не провел трех недель так весело в Мюнхене, если бы не этот монашенок. Но куда ни взглянешь — везде он. Я кончил тем, что стал влюбленным в него, как мало-помалу влюблялся и в город. Я всмотрелся во все его подробности: личико — всегда хорошенькое, никогда уродливое. Ни тени карикатуры... Вид «почти благочестивый»; но улыбка и вдаль (и вкось) устремленный взгляд вас манит к каким-то несказанным удовольствиям...

«Ну монашенок: веди, куда хочешь. Отдаю черту душу».

Но «монашенок» нисколько не грязен: в том его и остроумие, что он невинен, как белый сахар!.. Иначе его фигуру давно бы сбросили в клоаку, теперь же она внесена даже в церковь. Мальчик только манит куда-то вдаль. Куда? И туда, где крестовые походы, — и туда, где бесчисленные девушки разносят посетителям необозримое пиво. Это — особенность Мюнхена: пиво везде подают молодые девушки. Усталые, сонные, некрасивые теперь, но, конечно, были и другие века, и другие девушки. И Мюнхен и его «монашенок» родились не теперь.

Около дворца, в Лоджии... но о них нужно сказать два слова.

Вообразите: баварские короли до того влюбились, между прочим, во Флоренцию, что одно ее здание, XIV—XV века, *целиком* перенесли в Мюнхен, т.е. повторили его в *виде, размерах, даже в цвете камня*, в каждой ступеньке и колонне. Это — Lodgia, «сенцы», около Palazzo Vecchio, украшенные статуей (помнится, Персея, державшего в одной руке меч — а в другой отсеченную голову Медузы). Против Lodgia на площади и был сожжен Саванаролла. Но Бог с ним, монахом, захотевшим «вертеть» землю в другую сторону, чем куда она вертится по воле Божией. Lodgia хороша. Старая, вся пепельная... Изгрызанная веками. Однако *выдающегося, исключительного*, мне по крайней мере, не показалось ничего. Но зоркий глаз которого-то из Максимилианов подглядел в ней единственное в своем роде изящество, и перед окнами своего дворца, близко-близко, он поставил точь-в-точь такую. Только вместо Персея здесь поставлены две бронзовые статуи: знаменитого вождя баварцев Тилли и какого-то фельдмаршала, о котором надо справляться в ученом словаре. Тилли, везде гнавший и бивший протестантов, не знавший усталости, неудачи и замедления, был впервые разбит Густавом-Адольфом, после чего и выступил Валленштейн. Статуя Тилли, сделанная, конечно, по портретам, производит большое впечатление. Роста только-только среднего, скорее малорослый, он точно весь железный: с маленькой бородкой и низким, точно осевшим над глазами лбом, упрямым и несокрушимым. Так и чувствуется, что он может только бить и не может быть разбит. Но «дух Божий» был с благо-

родным шведским королем, приведшим в Германию всего только 15 000 воинов, и Тилли все-таки был побежден. Но фигура «графа Тилли» так характерна для 30-летней войны.

Я все-таки свожу это к «монашенку». «Купидон есть жестокое существо», — говорит в «Пире» Платон¹; и этот «монашенок», который, конечно, есть в то же время купидон Баварии, наряду с проказами знает и минуты беспощадной суровости и когда-то вел баварцев к суровым и великим делам. Теперь великая и историческая Бавария «связана по рукам и ногам» Пруссией, этим в своем роде «мещанином во дворянстве»², — и лукавый купидон посоветовал ей на время лучше пить пиво; пить пиво до более исторических времен. Она так и сделала; рассыпалась вся в веселости, беззаботности и искусствах.

Я говорил тамошним немцам: «Ведь Бавария не только меньше, — она и несравненно беднее России: откуда же это богатство? Ваш Rathaus (новое здание городской думы) не только по великолепию и чудовищной огромности здания, но и по внутреннему убранству зал есть почти волшебный дворец. Здание суда так и называется «Дворцом правосудия», в Петербурге только самые огромные дворцы могут сравниться с ними». Но и вообще все здания в Мюнхене поражают огромностью... Мюнхен весь, наконец, усеян мраморными памятниками, между прочим во множестве учеными профессорами Германии. Между тем какой малый памятник Ломоносову во дворе Московского университета. Сколько лет собирали на памятник Гоголю?! Памятника Жуковскому нет, кроме какого-то бюста в Александровском саду. Домик Лермонтову в Пятигорске, приобрести который в казну стоит всего 15 тысяч (мне говорил его старый, почти умирающий хозяин), без сомнения, будет «когда-то куплен» и всеконечно сломан или превращен в трактир; дом Жуковского, как пишет Пришвин, уже обращен в амбар для яблок и всяких фруктов³. Сохранить все это, приобрести в государственную собственность, стоило немногих десятков тысяч, и за сто тысяч можно было бы, я думаю, купить «все дома» (конечно, «хижины») всех русских поэтов, на таланте которых, между прочим, выросла вся теперешняя

международная слава русского духовного, русского сердечного гения.

— Что прикажете делать: денег нет.

Вот об этом всегдашнем русском, вернее, всегдашнем петербургском «денег нет» я и вспомнил в Мюнхене, городе всего с 500—600 тысяч жителей и столице такого «по меридиану» крошечного королевства, что если поставить его около нашей империи, то оно покажется величиной с мышиное гнездо. Но оказывается, что это гнездо какой-то райской птицы, а вот на Востоке, напротив, точно поле, изъеденное мышами.

— Денег нет, сударь: даже на элементарную школу нет, куда же тут покупать домик Лермонтова! Пятнадцать тысяч, какой капитал! На маниловскую фантазию...

Но слышит ухо мое, что говорят господа, которые около казенного же сундука воздвигли себе, но именно себе, а не *России*, преогромные палаты... И уж тут не жалеется денег ни на люстры, ни на ковры.

«Зачем нам домик Лермонтова, когда у нас есть паюсная икра».

В том все и дело. Все заросло диким эгоизмом, вкусом пустынного кочевника, который странствует по цивилизации, ему внутренне чуждой, ни к чему не прилепляясь, срывая с нее фрукты, но жалея плеснуть на ее корни сколько-нибудь воды. Не бедны мы, но бедна Россия: потому что мы все, в сущности, обираем ее, толстая только в собственный живот.

* *

*

Это невольно думается в Мюнхене при виде, до чего много в этом небольшом городе небольшого народца воздвигнуто для славы и чести, ради гордости и просвещения родной земли...

Он весь зарос искусством... Только пропустив много времени, соображаешь, что название, каким назвал его свет и он сам называет себя: «германские Афины», в сущности, вовсе не идет к нему. Он построил Пропилеи: но это — *копия*; перенес Лоджия к себе, ничего к ним *не придумав*. Пинакотека наполнена вековою живописью всех стран: но в нем германская живопись занимает едва заметный уголок, а баварская — почти

никакого. Тогда как Афины украсились тем, что *сотворили сами*. Гораздо правильнее назвать Мюнхен не «германскими Афинами», а «германскою Флоренциею»: это название было бы точно и вполне идет к нему, и совершенно заслуженно. Флоренция подражала античному. И она сама ничего не сотворяла... Козимо Медичи с друзьями *зажигал лампаду* перед бюстом Платона, и в этой как бы языческой молельне друзья читали великие философские и вместе поэтические диалоги афинского философа. Суть Медичи и суть Флоренции заключалась не в собственном творчестве, национально-тосканском: суть была в поразительном по благородству и бескорыстию влюблении в чужое творчество, именно в античное, с полным и вековым забвением себя и своего. Как невеста передает себя жениху вполне и окончательно, ничего не оставляя для себя, все свое забывая, отрекаясь от родовой фамилии, от отца и матери, сестер и братьев, и входит в мужнин дом как в свой, а случится жениху и мужу умереть — убивает себя на могиле его: так Флоренция дала повторение этого чудесного феномена личной жизни в жизни коллективной, в жизни целого народа, города и дворцов. И положила венец на свою голову этим чудным отречением от себя. «А, так вот как можно любить! Как можно предаваться!..» Вот этот подвиг, отнюдь, однако, не афинский, скорее христианский (самоотвержение), повторил и Мюнхен и его воистину прекрасные и благородные короли.

Все-таки огромные средства баварской казны они расточили на бесчисленные музеи и благородные, бескорыстные постройки. Эти «бескорыстные постройки» Мюнхена, вне «житейского волнения» и материальной необходимости, волновали меня самым сильным волнением. Таков, например, Максимилианеум. Широкая улица, как наш Невский, и длинная-длинная ведет к нему... Издали он виден, поднимаясь какими-то террасами, на берегу зеленого (цвет воды), шумящего Изара. Этот шум и тревога Изара необыкновенно поднимают нервы: он — как конь, поднимающийся на дыбы; около него не заснешь. Пересекши мост через Изар и все поднимаясь слегка, подъезжаете к Максимилианеуму. Входите и удивляетесь: около него ни кабинетов, ничего; никакой канцелярии; странная нео-

битаемость. Он есть только анфилада зал, с громадными картинами по стенам на исторические сюжеты. Нужно непременно начать с картины №1, иначе все перепутается, и вы не поймете самого смысла здания. А начав с первого номера, мало-помалу усваиваете этот смысл. Первый номер: Адам и Ева в раю; второй или третий — построение Вавилонской башни; приблизительно шестой — построение пирамиды Хеопса, величайшей в Египте. Все картины многосаженные, с бездной народа на каждой. Все яркие, цветисты, недурны. Положительно великолепно «Битва при Саламине» Каульбаха: Ксеркс судит на троне, воздвигнутом на материковом берегу для него, и видит гибель своих кораблей; пенящееся море, гибель массы людей, в воздухе «парящие предки, герои Афин» поражают персов (передача легенды), смятение, красота, смысл великого события волнуют вас... Из других по сюжету я долго не мог оторваться от «Взятия Карфагена римлянами»: жена Ганнибала приносит в жертву Молоху детей своих, а римские воины лезут и лезут... И стены Карфагена сложены из чудовищных саженных камней, по типу чуть ли не камней пирамид... Дальше «Тунсельда в римском плену»; а вот и «Вход крестоносцев в Иерусалим» и «Фридрих II Гогенштауфен», мирно беседующий с арабскими учеными, математиками и врачами... «Да что это такое? К чему все это?» — спрашиваешь себя. Наконец (не без удовольствия), я наткнулся на картину «Основание Петербурга Петром Великим»... Все наше, наш Петербург, его Нева и знакомые (не очень точные) черты Петра Великого, работающего или распоряжающегося работами.

— Что такое? Что такое?

Спрашиваю разъяснений... Максимилианеум, оказывается, воздвигнут для раздачи наград студентам всех высших учебных заведений города и есть только «актовый зал» Баварского королевства!.. Не правда ли, хорошо придумано: в минуту, действительно несколько «упоенную» для юноши, он проводится перед зрелищем всей всемирной истории и видит в одном месте и в один день все героическое, что совершил какой-нибудь народ. Забыл, что между картинами есть и две следующие: афинские художники воздвигают Пропилеи и Пантеон, по предложению Перикла и на сред-

ства казны; другая: Перикл произносит речь к народу после обвинения его за эту трату денег. Войны, искусства, падение государств, возвышение царств — все видит юноша в 22 года, прежде — в 17 лет (раньше оканчивали курс). Какое впечатление, какое переживание!

И Бавария бросила миллион на это! Просто — для актового зала, где ученикам раздаются награды.

Да, это по-флоренски! Это красиво, как у Медичисов. И, кажется, без подражания Медичисам.

II

Около Odeon-Platz тянется углом крытая галерея. Тут расположены бесчисленные кофейни, и вообще это место гулянья, просто гулянья, притом среднего класса. Крытая галерея открыта в сторону сада и представляет: 1) потолок, 2) стену по одну руку, а по другую — ничего и выход в сад. Она страшно длинна, — так же длинна, как две стороны этого сада. Гуляют, отдыхают, ничего не делают. Но стена, что «по одну руку», вся разделена на квадраты, и масляными красками на них нарисованы: 1) важнейшие события всей баварской истории — это одна серия; по окончании ее идет другая; 2) виды всех замечательных городов древней Греции с их развалинами. Тут и Сиракузы, и Коринф, Сикион, Митилены и проч. и проч. Проходите это, медленно проходите, возвращаетесь, — и наконец, идя дальше, встречаете в громадных медальонах на стене снимки со всех героев и важнейших мифологических сцен Греции, наконец, видите «символику греческую», в точном рисунке и с точными буквами, воспроизведенную с красивейших античных монет. Так как вся эта «крытая галерея» величиною и видом походит на «проход около Гостиного ряда» у нас, то спрашивается: возможно ли, чтобы вот в таком «гостином ряду» вместо возможных и ожидаемых «барынь с декольте» были помещены точные копии с подлинных античных монет?! Сколько для этого нужно образования, вкуса: и, наконец, королям сколько надо было иметь доверия и уважения от народа, «просто вот пьющего кофе», чтобы угостить гуляющих таким «латинским зрелищем».

И гуляющие не «мажут ворота» этой попытке королей учить и учить... Как, может быть, случилось бы у

нас с попыткой «показать им Акрополь». Прошло нечто интимное: короли, правда, влюблены были во все эти Коринфы и Сикионы далекой Эллады, на берегу изумрудного моря; но они не любовно рассматривали все это, «сами попутешествовав», а показали в огромных размерах «дорогому нашему баварскому народу» (надпись на многих государственных зданиях и памятниках искусства), и народ это почувствовал, взял указку в руки и стал учиться.

Оттенок влюбленности, а не «делания спустя рукава разных польз для народа», выразился в следующем: города древности или, точнее, художественные уголки мира, художественные и исторические ландшафты показаны в разных степенях совершенства, очевидно, с напряжением достигнуть *того же, но лучше*. В новой Пинакотеке, колоссальном дворце, посвященном собственно баварской живописи, а также живописи вообще новой германской, в самом конце здания находится огромный зал если и не темный окончательно, то почти темный. Прямой свет проникает только через дверь. Войдя, вы поражаетесь зрелищем: все античные города в их теперешнем виде, т.е. с морем, окрестностями и остатками храмов и театров, исполнены великолепно в красках на стекле и просвечивают, как транспарант. Для зрителя, сидящего в темной комнате, каждый выбранный город, которым он любит, кажется осыпанным горячими лучами южного солнца. Этому одному залу можно посвятить несколько часов или просто приходить сюда отдыхать. Наконец, в этой же Пинакотеке интереснее, чем она сама, — Антиквариум. Здесь кроме этрусских саркофагов и глиняных ваз греческой и этрусской работы есть следующее: в саженных моделях воспроизведены: 1) старинные корабли времен от Колумба до XVIII века, но это так себе, по интересу; 2) города, как Мюнхен и другие исторические города Баварии (может быть, и Германии вообще), за разные века существования, насколько сохранились карты и планы, тут же висящие по стенам; и, наконец; 3) воспроизведены, тоже в колоссальных моделях, из камня тех же цветов и той же устарелости, все античные «останки» Италии и Греции... Вот еще языческие храмы из Тиволи, вот Пантеон и Колизей, вот фунда-

мент и часть стены первого христианского «официального» храма-базилики Константина Великого в Риме, вот три храма Пестума... Называю здания, мною виденные и которые я внимательно рассматривал: они воспроизведены точно, «до крапинки», и дают полную иллюзию для видевшего, будят все заснувшие воспоминания: Отсюда прямо невозможно выйти: до того это великолепно и поучительно! И... какого же труда и *кропотливости* стоило все это сделать? Друзья мои: кто видел в Петербурге «модель Киева XV века»? «Модель Новгорода за XVII век»? Я отродясь не видел в России ни одной «модели» русского исторического города.

И, наконец, в этнографическом отделе «Национального музея», пройдя все этажи его, доходишь до самого верхнего и здесь вступаешь в темные же коридоры, и здесь через огромные окна видишь панорамы живых теперешних городов... Я узнал рынки Неаполя, где-то «стоящую церковку и двух девочек, идущих к ней по каменному помосту» (живые народные и местные сцены)... И, наконец, далее — караван в Сахаре, сцены в Константинополе, Каире, пирамиды, сцены в Индии... весь свет! Опять — поучению и прелести нет конца!

И в основе — сколько денег!

Сколько труда!

И в основе — сколько энтузиазма ко всему миру, «которого мы не видели», «который далеко».

Та мучительная любовь, которая у русского просто-народья есть «ко Святой Земле», к «старому Иерусалиму», — она видится везде здесь, но без приуроченья к одному месту, а к целому свету. Но *эта же* самая русская любовь. Палестина здесь представлена со стороны географии и истории: напр., панорама Рождества Христова, Рождества Богородицы или «Ученики, идущие в Эммаус». Для детей, для учеников — сколько поучительности...

* *

*

И все это сделал лукавый монашенок, я верю. Суть в том, что он весел, что у него прекрасная невинная улыбка. На всем Мюнхене разлита печать ве-

селости: ничего угрюмого, монотонного! За три недели, как я там прожил, я не видел ни одного расстроенного лица, вышедшего на улицу с тоской или недоумением. Ничего! И, конечно, ни одного пьяного. Этот огромный разлив веселости произвел веселый труд: а веселого труда всегда сработает втрое больше, чем труда «сквозь слезы», или «со скрежетом зубовным», или монотонного и скучного. Гений дела и лежит в этом монашенке, который «все молится», — ведь такова его функция, но и все смеется, — таков его наряд. Нигде я не видел так переполненных храмов, как в Мюнхене: они огромные, а нет места на скамеечке присесть. И лица молящихся одушевлены, серьезны. Многотысячная толпа слушает проповедь, одушевленную и голосом на всю церковь, францисканца, подпоясанного веревкой. Вообще Вольтер не взял никакой себе здесь дани, и «монашенок» — не Вольтер. Он наивно смеется, не циник, и от этого не устал. Но улыбается зовущей улыбкой и манит куда-то, я думаю — не все же к безгрешным вещам. Здесь наблюдаешь конкретный католицизм в его необозримом изгибе, на одном конце которого стоит Тилли и ужасы, война и гроза, а на другом... античные нимфы, восторг к «храму Афродиты в Тиволи» и «Мадонна», начать молиться которой никогда не могло бы прийти на ум русскому человеку. От небесной грозы до подземного смеха, католицизм включил в себя необозримую гамму чувств, ощущений, мыслей, раскаяний и греха и расцвел всею ею, как брызгами разбитой радуги. Он и черен, он и бел, кусает и ласкает, мучит и ведет к торжествам...

Все — «монашенок»: черный и смеется. Я чужой человек, и все-таки прямо почувствовал с ним головокружение.

А, отъезжая, ночью накануне, еще раз объехал черные стены его «Fräulein-Kirche»... Как я их боялся. В 11 час. ночи, если светит луна, «Fräulein-Kirche» есть первое католическое здание в мире.

И чего я боялся? Уже подъезжая к Берлину, я в *pendant** «монашенку» грозил из кармана кулаком и повторял себе: «Fräulein-Kirche» — просто церковь

* в дополнение (франц.).

барышни», т.е. в буквальном переводе по-русски. Или «церковь поклонения барышне»... Ах, с этой «Мадонной» их совсем закружишься... Из-под голубого хитона всегда, как десять жемчужин, пальцы ног. Совсем можно смутиться; но вот, слава Богу, и Вержболово.

КИЕВ И КИЕВЛЯНЕ

КИЕВ И КИЕВЛЯНЕ

КИЕВ И КИЕВЛЯНЕ

Город тополей и старых святынь, напоенный океаном степного воздуха почти на тысячу верст кругом, — в углу, где сходятся племена великороссов, малороссов и поляков, с их особою психикою и своею у каждого физиономией, — не столица и вместе несколько столиц. Киев есть самый прелестный город России. В нем нет той тяжеловесности и угрюмости, как в Москве, до излишества трудившейся в делах «собрания Руси»; нет легкомыслия и поверхностности Петербурга, его скуки, серости, тоскливости, бессолнечности; Варшавы он несравненно чище, изящнее, занимательнее; о прочих городах наших что же и говорить? Киев весь гармоничен, светел какою-то прекрасною душевною светлостью, умен без тяжеловесности, весел без скандала, шумен без оглушения. Он всегда будет надеяться, никогда не придет в отчаяние; в Киеве, я думаю, менее всего совершается самоубийств, и они как-то «на ум не идут»... Он весь почему-то и как-то *не грязен*: а это так присуще вообще городам и особенно большим... И когда дышишь этим воздухом, глядишь на эти виды, бродишь по захолустным улицам, то поднимающимся круто вверх, то падающим вниз, с ларями каких-то игрушек, с фруктами почти «даром», с веселой болтовней торговцев и торговок, с лицами открытыми, доверчивыми, без привычной ужасной «ругани», как везде на улицах в России, — то невольно мерцает мысль о какой-то «Киевской (местной культуре)», которая на фоне «общерусской культуры» так же выделяется, как какая-нибудь «культура Микен» на фоне культуры «всей Эллады». А так как «культура Киева» длится тысячелетие, то это и не случайно, не момент и не впечатление. Нет: святыне издревле в самом деле благословили Киев. И это благословение хранило его от больших грехов... А «большие грехи» надолго кладут печать на город, на самый воз-

дух его... Москва никак и никогда не получит «невинного вида»; Петербург никогда не сумеет стать грациозно-веселым городом. Есть что-то родное и взаимно связывающее между почвою и человеком, между самыми камнями мостовой и историей города.

Планета Земля крепко держит человека в своих объятиях; в этой планете есть золотые кусочки. Такой «золотой кусочек» — и Киев. Я думаю, если через две-три тысячи лет Россия будет умирать, то тоскливо подумает: «Пойду-ко в Киев»; «если и не *отживу* там, то в Киеве легче умереть, чем где-нибудь». Киев всегда надо беречь, «на остаточек», «на кончик». Долго-долго спустя после «теперь», в эпоху совсем иную, несбыточную и невероятную для «теперь», Киев станет необыкновенно дорог.

Теперь это что же? Провинциальный город, с губернатором и полицеймейстером. И без единого министра.

Забавно было видеть, как торговцы, торговки, швейцары гостиниц, извозчики, «так прохожие» — в самом деле чувствовали себя виновными в смерти Столыпина: «Опростоволосились *мы*», «*не усмотрели*», «*не сберегли*»¹.

— Да как же бы ты, брат Иван, дежурящий в коридоре гостиницы «Националь», стал «уберегать Столыпина» в театре?! Ты что-то городишь неуместное...

— Ну как!.. Он *гость* был наш... Такая *честь*, *приехали все*... А мы и не сберегли... проворонили!

Нельзя переубедить. Стоят на своем. Из Петербурга, когда приходили вести о тоске киевлян, мне это казалось выдумкой корреспондентов или неприятным притворством на месте. Но нет: в самом деле тоскуют и чувствуют «срамом своей земли», «преступлением города».

— Ну как! У *нас* случилось! Грех *города*!!

— Да в чем «грех»? Летела ворона над городом и уронила свою нечистоту на город: какая же *его* вина в том?! Чудаки!..

— Ну как!..

Я уж не разубеждал... Но не понимал, как они «местным умом» не видят, что преступление притащилось к ним откуда-то, из России ли или, всего вернее, из Петербурга, и *обмарало* их город... И *жаловаться*, соб-

ственно, они могли, что на них положено такое незаслуженное и беспричинное *пятно*. Что Богров — местный житель, то ведь это ничего не значит: не убил же он потому, что «в Киеве родился», а убил потому, где учился, «развивался», начинался «идейностью»; все же «идеи» русские — из Петербурга; и он есть ученик Петербургского университета. Петербург и нанес эту гадость на Киев, как он вообще разносит гадость по всей России; и разносит потому, что он — бессолнечный, что в нем — болота; вечно дождь идет, и всем сыро и холодно.

— Так промозгли все, что хоть около бомбы погреться.

Петербург не мог завести никаких благородных утешений, никакого изящного веселья, не мог выдумать никакой яркой краски на жизнь, колокола у него маленькие, звон пустой, души человеческие без звона, глаза у жителей, как у рыбы, вместо литературы — сатира, дедовское он все проиграл в карты и пропил, грудишки у всех впалые, плечонки узенькие. Да это уже само по себе есть «нигилизм», физиологический нигилизм, из которого родился естественно и духовный нигилизм, как ненависть вообще «ко всему порядку вещей», и, в сущности, оттого, что у самого-то у него «порядка нет в душе», т.е. нет в ней красоты, гармонии и звука. Нигилизм — последнее историческое отчаяние души безнадежной...

И оно ударило комком грязи и в Киев.

Но мне нравилась эта скорбь киевлян «о своем преступлении».

* *

*

— Вот тут бились печенег! На этом самом месте! — сказал, топнув о глину ногою, А.В. Прахов. Мы улыбнулись: он совсем был молод, 65-летний белый старец. Одному политическому деятелю с супругою и мне он показывал древности «своего Киева».

Мы стояли у левой стены св. Софии Киевской, — в отличие от св. Софии Новгородской, позднейшей. Впрочем, я могу путать, «левая» или «правая» это была стена: и да не обрушатся за мои ошибки на меня ревнивые перуны Прахова. Он «ревнив» к своим свя-

тыням, к знанию их, к мельчайшей в них детали.

Мы входили в ограду св. Софии с скептическим недоверием: «Ну, все, конечно, заделано и переделано, ничего древнего решительно нет! Самое позднее — Алексея Михайловича». Но еще в воротах он закричал:

— Остановитесь и глядите. Все эти части собора, окна, над ними фризy, эти низенькие башенки — все Ярослава Великого... Я называю так Ярослава Мудрого потому, что он был не просто «великий князь Киевский», а был великий государь великого государства: и Киев при нем был третьим городом в образованном мире, после Константинополя и Рима. Киев — не город Владимира Святого; «Владимирова» тут ничего нет; да и было-то при самом Владимире только урочище, маленький городок величиной в теперешний наш «квартал». Потом я вам покажу (и он действительно показал) черту, где оканчивался Владимиров город, этот Палатинский холм Руси. Основателем и строителем Киева был на самом деле Ярослав, перебросившийся мыслью далеко за рубеж родной земли, живший воображением и представлением в Европе, с великими династиями которой он перероднился через браки дочерей и сыновей...

И, к нашему ужасу, он начал исчислять и, главное, объяснять эти «браки» с такою подробностью и любовью, как бы дело шло об его тетках и племянниках...

— Скажите, что это за проклятые «печенеги», которые столько нас мучили тогда? — перебил его кто-то из нас.

— Печенеги, несомненно, предки теперешних *румын*, — ваши предки, — обратился он к даме, которая сказала, что мать (или отец?) ее носила румынскую фамилию. — Летописи указывают исход их всегда один — низовья Дуная, нынешнюю Бессарабию и Румынию. Но это — не славяне: «печенеги» значит «печеные», и киевляне их называли так за «печеный», смуглый, с бронзовым отливом, цвет кожи, который сохранился и до сих пор в этих местах только у румын, потомков римлян...

В самом деле, «румынские» лица не похожи ни на какие: действительно, они все точно «печеные»... Приставить к лицу румына печеное яблоко — и не отличишь, где яблоко, где живая кожа. Сливаются. Но

почему это знает один Прахов?

— Этих-то «печенегов», на этом самом месте, после упорной битвы и разбил Ярослав и в благодарность за победу на месте крови воздвиг св. Софию в 1036 году.

В 1036 году! Неужели это сохранилось? И камни, и формы? Неужели в самом деле мы входим в постройку Ярослава Мудрого?.. Мне даже казалось, из Петербурга и Москвы, что это Иловайский наврал, будто были какие-то «Ярославы», а на самом деле ничего такого не было, были все булочники и все табачные лавочки, да университет, да гимназия, да квартальные и пристава... Что Алексей Михайлович был — этому можно поверить, ибо есть и я видел его *терема* в Москве... Но «Ярослав» — невообразимо, невероятно...

— Войдем!

Мы вошли.

* *

*

Возня реставраторов «с фресками и мозаиками» всегда представлялась мне, издали и не видя, делом, может быть, и очень ученым, но антихудожественным. Ну что можно «реставрировать» от 1036 года? Если и восстановишь, то это будут какие-нибудь жалкие «пятна», тусклые, грязные, прости Господи — «скверные», которые ни образа человеческого не дают, ни — сцены, ни вида. Утешение — «реставраторам», а молящимся — ничего. Конечно, нельзя не «реставрировать», раз уже заведены археологические институты и есть такие ученые, как проф. Покровский, Успенский, вот Прахов... Что же они будут делать, если им не дать «реставрировать»... Но это — новая фабрика новых усилий, без *действительного отношения* собственно к Ярославу, которого, по всему вероятию, Иловайский ради патриотизма выдумал...

Что-то поговорив, куда-то ткнув пальцем, Прахов быстро подвел нас под главный купол собора. И вот, закинув голову...

Я увидел Ярослава *живого*, или как бы вчера умершего, в делах его, вкусе его, в воображении тогдашнем... воображении 1036 года!!

Купол был весь цел, весь живой! И — живой алтарь!

Конечно, это — не *мы, не наш век, не наш вкус!* Все было совершенно иначе и несравненно лучше, изящнее, одухотвореннее и... к удивлению, осмысленнее!!

Основное впечатление — бархатистость и нежность. Я говорю о *всем, о целом*. Ни одна краска не кричала. Ни одна линия не проведена резко. В самом деле, это — молитва, с переливом тонов ее, с шепотом. Краски шептали, а не говорили. Это удивительно соответствует делу, цели. Конечно, храм не должен иметь ничего «режущего» — глаз, ухо, все равно что. Он весь — в смягчениях, в успокоении. И «Ярославовы краски» были именно таковы.

Кстати, в них ничего не потускнело: это — камень и его натуральный цвет, который у «яхонта» такой же, конечно, в 1911 г., каким был в 1036 году. Но почему «камешки не выпали», как я ожидал о всякой *мелкой мозаике*, через 600—900 лет?!

Прахов даже удивился, что, по моему представлению, «некоторые камешки должны бы выпасть», а «остальные раздробиться», — и сохраниться могло бы «лишь кое-что». Сейчас же он объяснил что-то об извести, масле и еще о чем-то, что составляет минеральную массу, куда вставляются цветные камешки картины; и, наконец, что он нашел под всяким камешком, который для исследования вынимал из гнездышка, *раздавленное хлебное зерно*. «Не размолотое, — добавил он строго, — а раздавленное». Греки были хитры, и русские — за ними: строя свои «мозаики», они нашли какой-то вечный, неразрушимый состав той массы, в которую «элемент мозаики», цветной камешек, вдавливался — и выходила вечная картина!! каменное впечатление!!!

Удивительно. Я стал всматриваться. Прахов объяснял.

В куполе, в его глубине, — Иисус Христос, основатель нашей веры.

Ниже — четыре ангела, символизирующие четыре страны света: восток, запад, север и юг. Вера распространяется по всем странам горизонта.

Еще ниже — четыре евангелиста: те, через слово коих — узнано все в вере, сохранено все в ней.

Еще ниже, на четырех столбах, сорок мучеников; «в знак того, в уразумение того, — сказал Прахов, — что

церковь вся зиждется на крови замученных за правду».

Как это хорошо... Храм научал! «Да, храм научал, — подтвердил и Прахов, — научал *видом своим*», в котором нельзя было ничего перепутывать, ибо тогда храм был бы книгою с перемешанными листами, которую невозможно прочитывать. Как все правильно, основательно и рационально... Бросим, впрочем, это тощее слово «рационально», — употребим древнее полновесное выражение: как все было мудро!!

— Ну вот и *Нерушимая Стена*², — подвел он нас к Царским вратам, указывая на «запрестольный образ». — Это была Богоматерь во всю величину стены, с согнутыми в локте руками и поднятыми ладонями — тип, хорошо известный и теперь. Так как, однако, я все рассматривал «в толикой древности», то не мог не припомнить *точь-в-точь* таких же изображений, именно в отношении *полуприподнятых* рук, расставленных *в сторону* (вправо и влево), на бесчисленных античных монетах, где изображена Диана Эфесская: и там, в локтях, эти руки (очевидно, тяжелые в статуе) подпирались каждая жердочкою. Зрительное впечатление абсолютно — одно!

Тут я, к сожалению, не припомню в точности объяснений Прахова. Хорошо помню, что он объяснял о «Св. Софии», — как об имени, о понятии, принесенном к нам из Византии, — что она «обозначает просто Иисуса Христа, как Второе Лицо Пресвятой Троицы, и именно ее — Премудрость». Это совершенно понятно и, очевидно, правильно, ибо так толкуется в богословии, что «Христос» есть воплощение «Логоса», «Разума», или, иначе, той же «Софии», «Мудрости». — «Только впоследствии, в более грубые времена, — продолжал Прахов, — забыли это естественное понимание, и под «Софиею», или «Божественною Премудростью», начали рисовать в уме своем какое-то четвертое божественное существо, женственной природы. Но это — невежество, искажение и вранье». Все слова эти — точны. Но я не помню отчетливо, приурочил ли Прахов это объяснение к имени церкви, «Святой Софии», — или не сказал ли он этого в отношении к «Нерушимой Стене», что в ней представлена эта «София» в ее искаженном толковании, в ее позднем толковании, позднем *для Византии*, но которое совпало с *юностью* Руси, только не-

давно крещенной. Здесь я оставляю дело в той неопределенности, как это существует в моей памяти.

«Нерушимая Стена» была великолепно, впечатляюща. И эти же мягкие, тусклые, осенние цвета.

Прахов так и бросился изъяснять подробности одежды. Его больше всего занимало, что по этой одежде мы можем судить о *женской одежде XI века в Сирии*, откуда заимствованы ее подробности; особенно он указывал на покрывало на голове, чуть ли не в сочетании с диадемою. Это «головное покрывало» действительно встречается уже на античных монетах Сирии, Финикии, Египта, — но перенесено было и в другие страны. К XI веку, как живой «теперешний костюм», это, очень может быть, удержалось только в Сирии и Палестине. Прахов, конечно, тут везде знаток. Толковал он много и о фиолетовой мантии, и о красных (*тускло-красных*) туфлях. На распростертых руках она держала омофор.

Я припомнил из всенощного пения:

— «Покрый нас, Святая, — покрой твоим святым омофором...»³ Не знаю, почему-то эти слова мне особенно помнятся; всегда я чувствовал в них что-то глубоко *воспитательное*. Как-то «защищая человека», они «воспитывали его душу». Может быть, иллюзия.

Обращая наше внимание на молитвенное сложение образа — с поднятыми руками, — Прахов заметил, что, несомненно, он выражал и олицетворял собою «*Церковь молящуюся*». «Нерушимая Стена» — это «Церковь», это «молящийся народ». Как бы то, что Нестеров представил в своей «Молящейся Руси».

И опять я подумал: «Как все осмысленно! Это в самом деле академия в картинах; академия до Гутенберга, до книги, до школ грамоты и гимназий».

Ниже, под «Нерушимою Стеною», изображение главного таинства христианства — евхаристии.

— Глядите: два Христа! — сказал Прахов.

Мы с изумлением смотрели: точно — два Христа, а в обычном виде, которого нельзя смешать с другим.

— Причащение — под *двумя* видами: и в левой половине изображения: И. Христос причащает шестерых апостолов «хлебом» из своих рук; а в правой половине Христос же подает шестерым остальным апостолам чашу с вином — кровью Своею.

Таким образом, «два Христа» разъяснились просто и понятно, как тоже *вразумительное*, понятное и для *простецов* изображение двух видов евхаристии. Все было применено к целям популярности и вместе догматической тонкости и полноты.

За изображением евхаристии следует, ниже, изображение литургистов: св. Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова и других, — как строителей и творителей главной и основной церковной службы — литургии. Тут мне не ясно одно: все литургисты лишь видоизменили основной текст литургии, уже содержащийся в апокрифических «Апостольских постановлениях», происхождение каковых гораздо древнее времени жизни всех перечисленных литургистов. Я об этом спрашивал священников, даже очень образованных (авторов книг), но они, может быть как неспециалисты по литургике (особая наука в семинариях и академиях), ничего мне не могли разъяснить⁴. В «Апостольских постановлениях» — памятник, происшедший раньше *возникновения монашества*, ибо слово «монах» нигде не упоминается в них, — я читал почти все привычные и знакомые нам возгласы диакона и священника на литургии, как и почти все пения клироса.

— Теперь обратите внимание, — говорил Прахов, — на эти кресты, в длинной цветной ленте...

Это было живописное «украшение», — усеянное *равноконечными* крестами, как орарь⁵ и диакона, как священнические одежды; как мы ставим на вышивках «крестики».

Мы смотрели.

— Это — и кресты и не кресты. Видите: вертикальная палочка имеет в верхнем конце загиб вправо, а в нижнем конце загиб влево; поперечная же палочка загибается вниз левым концом, и вверх правым концом. На самом деле это не *крест*, а изображение двух палок, через быстрое трение которых, в точке «перекрещивания», добывался в древности огонь. Этот инструмент для добывания огня назывался «свастикою»: и изображение ее в храме, перенесенное из античных времен, показывает наглядно всю необычайную древность храма и его живописи, всего!

Боже — «свастика»; да это нередкое изображение на монетах дохристианского мира. На монеты древние

переносили все, что они любили, чем любовались, чему удивлялись. И перенесли «свастику», — из волшебного трения которой получалась стихия огня! Как не удивляться: дойти до этого изобретения было трудней и волшебней, а уж нужнее-то несравненно, чем нам дойти до электрического фонаря.

— Теперь я вам покажу гробницу Ярослава Великого...

Неужели сохранилась? Отчего же русские не совершают *паломничеств* сюда? Паломничеств студентов, гимназистов — к этим *осязательным* начаткам нашей истории, которые для русских то же, что «тroyанский конь» для греков. Греки уж, наверное, побежали бы все смотреть «тroyанского коня», если б он сохранился. У нас — сохранилось, но мы никуда не бежим.

Он провел нас в боковой придел. Он узок, мал, безвиден, не великолепен: а между тем каким великолепием следовало бы окружить гробницу Ярослава Мудрого!..

— Но почему вы знаете, что это гробница Ярослава Мудрого? Ведь надписи нет или стерлась?

Он указал на стене прибитую дощечку со славянским текстом; это было извлечение из Нестеровой летописи: «1054 г. Преставился в. князь Ярослав, и положиша его в раце мраморяне, в церкви св.Софии»⁶.

— Но гробница гораздо древнее самого Ярослава. Гордый князь выписал ее из Цареграда, и ему был прислан великолепно украшенный саркофаг, притом не новейшей работы, а старого мастерства, как показывают украшения. Видите, по углам ее как бы головки, или шйшки. В языческую пору тут изображались страшные маски: они имели заклинательную силу и оберегали тело усопшего от причинения ему вреда злыми духами. Так это было в древности, в язычестве. Когда же победил христианский мир, то вместо страшных масок начали помещать на этих возвышениях изображения креста, к которому перешла сила прогонять злых духов. Однако эти характерные возвышения и сохраняются только на гробницах раннего христианства, когда еще была свежа его победа. Позднее они исчезают: и Ярославу была привезена из Цареграда гробница, на несколько веков сделанная ранее, чем в нее лег наш великий князь.

Он задумался и, очнувшись, продолжал:

— Я убежден, что сохранилась здесь и гробница Владимира Мономаха, но только не опознана. Она пустая и громадного размера. Я покажу вам ее. В летописи под 1126 годом записано, что Владимир Мономах погребен в этой же церкви св.Софии. Где же его гробница? Гробницы нет: но в церкви найден громадный каменный саркофаг, и это совершенно отвечает летописному изображению Владимира Мономаха. Он был колоссального роста, побеждая вручную не только волков и медведей, но и туров, т.е. зубров. Почему этот огромный каменный гроб не есть именно *его*, Мономахов, гроб?

Мне казалось все так ясно и убедительно, что я удивлялся, почему колеблются ученые. Раз в летописи не записано ни о ком еще другом, чтобы он также был погребен в *самом храме* (что, как известно, запрещено мирянам), и раз в *самом храме* найден каменный гроб, притом исключительными размерами отвечающий исключительному росту именно этого князя, — то совпадение кажется несомненным.

Он провел нас к этому исполинскому гробу. Он стоит совершенно мизерно, в темноте, без страха и всякого уважения к нему. Размеры действительно циклопические: в этом гробу лежал исполин едва ли не более чем саженого роста.

И около гробницы Ярослава, уже бесспорной, и с *его прахом, костями*, — ни лампад, ни зажженных свечей. Ни кануна, ни помина. Просто «археологическая, музейная вещь». Как это печально, как недостойно — и *дела*, и *нас*...

* *

*

Мы выходили. А разговорчивый профессор продолжал:

— Некоторые фрески были покрыты новою живописью уже в XVIII веке: между тем через 80 лет масляная краска превращается в камень, и ее не берет даже отточенное долото. Что было делать? Как высвободить старую живопись из-под позднейшего мазанья грубых ремесленников? Но я вспомнил, что мы живем в веке химии. Масло и известь в соединении с кали

дает мыло: я облил твердую как камень краску раствором кали, получилась грязная и обильная пена, которую я смыл водой, как мы смываем с рук мыло. Старые фрески вышли из-под них в той самой сохранности, в какой их видел 80 лет назад художник, думавший, что навсегда погребает их под своею кистью.

Мы стали всходить на «полати» (верх, хоры). В поворотах очень широкой лестницы стены расписаны сценами княжеской жизни: большею частью — охоты на кабана, на медведя, на белку, — но также — суда и ввержения в темницу; есть сцены конного нападения на врага. Живопись, к удивлению, нисколько не тускла, не «пятнами» или «отрывками», а полная; между тем по костюмам и позам видишь, что это краски, положенные... еще до покорения Руси монголами!

Наверху, — между двумя близко стоящими столбами, — прибита толстая грубая темная доска: каково же было изумление, когда Прахов объяснил, что это — великокняжеская еще доска! Тогда прибили, гвоздями в камень, — и до сих пор цела.

— Да почему вы знаете, что это *того времени*! — не удержался я воскликнуть.

— По точным словам летописца: он говорит, что однажды «на полати» набралось очень много народа, и так как сделалось очень жарко, то люди, «сняша свои порты», т.е. одежду вообще, «повесили их на доску», что прибита между двумя столбами, и точно указал место. Это — первая вешалка, или первый гардероб, в цивилизации.

* *

*

За нами украдкой и робко следовали какая-то чиновница и студент, стараясь что-нибудь уловить в объяснениях. Я шепнул студенту, что объяснения делает «такой-то», — раскопавший всю эту древность и реставрировавший ее. Он еще более стал ловить полуслова. Любознательность есть: но ничего не сделано для ее удовлетворения. Нет ни гида, ни описания, ничего!

— Вы бы, Адриан Викторович, производя свои работы, взяли в привычку водить с собою и вообще иметь у себя под рукою 3—4 студентов университета: и

они составили бы просто *компиляцию* всего того, что вот вы сейчас говорите. И была бы польза городу, обывателям; и для них самих это было бы отличною школою. Ведь не все же учиться из книг: очень скучно. Нужно учиться, *уже работая*, в *процессе* работы...

Он ответил что-то неясное и сбивчивое. Но в самом деле: какая может быть лучшая *школа*, чем эта *помощь* опытному ученому, сотрудничество ему... Сколько узнаешь в одних беседах! Как отточится ум, когда делаешься *зрителем* его колебаний, недоумений, сомнений, самых ошибок, потом исправленных! «Учеными» делаются не иначе, чем ремесленниками; нужно побывать «в мальчиках» около ученого, «на посылках» у него: быть исполнителем около его мелочей, вспомогательных работ, предварительных работ. Это — лучший «семинарий», какой можно представить себе. И Аристотель сказал: «Все незрелое становится зрелым через зрелого»⁷ т.е., в применении к данной теме, из «юноши вообще» можно стать ученым и образованным человеком, лишь «побывав в руках» настоящего ученого, послужив ему и созрев около него.

— Позвольте не из простого любопытства, а в некоторых государственных целях спросить вас: чем же вы были награждены за все эти работы по реставрации, которые, очевидно, потребовали годов работы? Это так важно и ценно, такой труд, полный осмысленной любви к родине?..

Мы уже выходили «на воздух», и чувствовался естественный отдых. Лицо Прахова вдруг оживилось и повеселело. Заботы (объяснений) не было: и он рассмеялся самым веселым смехом.

— А об этом есть классическое изречение Ивана Давыдовича Делянова, который был умнейшим человеком своего времени и лукавым циником в размерах, каких я никогда не встречал. Так вот он, бывало, все нам говаривал: «Работать и служить — это одно; а получать *награды* — это зависит от таланта, который дается Богом».

Он смеялся. И так как я восхитился этой римской поговорке, то он прибавил и другую из своей памяти:

— Иван Давыдович тоже говаривал о студентах и гимназистах: «Их *надо просвещать*, но только так, чтобы *это на них не действовало*».

Тут «наш былой Делянов» просто представился мне Сократом: нет, муж Ксантиппы, конечно, никогда не был так остроумен. В этих двух изречениях — целая эпоха. Это как-то полновеснее, многозначительнее, *государственное*, чем шутки Грибоедова, рассыпавшиеся легкими и безвредными брызгами. Это уж не «брызги», а море, туча... скептицизма, гнева, слез и почти революции.

Во Владимирском соборе

Обращали ли вы внимание на установленный и принятый теперь везде, — принятый и народом любовно, — образ св.Серафима Саровского. Конечно, перед тем как установить «тип», было много подумано, — притом подумано людьми долгой и твердой исторической традиции. *Лично* творцы образа, может быть, и не были гениальны, даже не были талантливы: но они и не заявляли об этом, не имели претензии на это, даже, может быть, были рады этому. «Нужно писать не так, как мы хотим, а как *понимает* народ и он *хочет*; по молитве — образ, по молящемуся — икона. Образа — не художество; образа — часть религии».

И вышло «хорошо». По крайней мере так почувствовал народ. Зажигают свечи. Теплят лампы. Икона Серафима Саровского становится любимой. Ее вносят в дома; в церквях, на видном месте, в значительном размере, она уже везде есть, не только в России, но и за границею.

Что же выражает этот образ, для подробностей которого, о которых сейчас скажем, вовсе не было *подчеркнутых* указаний в житии святого. Ибо «бытовые» особенности его мы также знаем и видим на других его изображениях, *не иконных*.

Он выражает покорность, молитву и службу. Притом в таком их сочетании, что ни одна не вырывается из состава трех и две другие держат каждую — держат и ограничивают.

Лицо простое, ясное — без всякого «умудрения». Хотя он был по жизни «прозорливцем», но физического указания на это, во взоре, в сложении губ, не перенесено на икону. «*Не надо*. Это — *не главное, не всеобщее*». Лицо в высшей степени благостное, притом

какою-то пантеистическою благостью, обращенною на весь мир, ко всем существам. Нет ничего, чего бы он в душе не благословил; нет ничего, с чем бы захотел бороться. Между тем уже Спаситель *удержал руку* Петра⁸, когда тот хотел мечом защитить Его; св.Николай Чудотворец *удержал руку* с мечом, поднятую для казни⁹. Наконец, Спаситель *изгнал торгующих из храма*¹⁰. Да, но русские говорят и ввели это в свою «русскую веру»: «Знаем, читаем в Евангелии, читаем в истории; но это все — *не главное*. И *не главного* мы не хотим вводить в молитву».

Весь «лик» Серафима Саровского в высшей степени кроток, ясен и благ. И вся фигура несколько склонена вперед. По житию мы знаем, что он, получив повреждения от разбойников, ходил совершенно согнутым, — как бы переломившись в пояснице под прямым углом. Но это не взято в икону. «Слишком... Зачем?» Лишнее, случайное в биографии — отмечено. Изображался идеал, прототип; что «должно» и «ожидается»; чему мы молимся.

И вот это «несколько склонился» — взято в схему, в обобщение, в молитву.

«Русская святость» есть несколько склоненная; «неспорчивая» святость.

У греков Иоанн Златоуст боролся с византийским двором; обличал; был послан в изгнание за это. Русские «и знают это», и «не знают». Знают каким-то косым знанием, не твердым, «не обращающим внимания». Как бы говорят: «Знаем... Что делать, бывает необходимо и это или, вернее, бывает неизбежно. Но тут — горе, и все-таки лучше, *если б этого не было*. Вот отчего хотя Златоуст и обличал, но его в момент обличения мы не возьмем в икону. Как и Спасителя нашего мы никогда не изображаем с веревкою, изгоняющим торговцев из храма. Ведь *не этим* Он спас мир? И Златоуст просветился великим светом во вселенной не через борьбу с Феодорою¹¹, а через то, что *учил* нас, *устраивал* нашу душу».

От этого, не возникни даже раскола, известный старообрядческий вероучитель Аввакум все-таки не взят был бы никогда русским народом во всеобщее поклонение; перед ним не зажгли бы лампы; ему не сотворили бы иконы. «Не наш», «не наша вера». Меж-

ду тем он был правдив, терпелив, страдалец; и измученный и ревнивый его образ биографически так трогателен и привлекателен. «Да, биография большая, но жития нет».

Митрополит Филипп, изобличавший Грозного, *правдиво изобличавший*, — не взят в икону как *изобличающий*. «Знаем, правду говорил... Но — *не надо*».

Изобличение, борьба, гнев признаются русским народом, — основным его материком, этою «неизмеримою Русью», — как бывающее и невольное, но как всегда горькое, дымное, «пожарное». Пожар — не норма. На пожаре ничего нельзя выстроить. Этого исторического «пожара» решительно не переносит Русь, заливается при виде его слезами и отворачивается от него, хотя бы в нем была правда или необходимость. «Не надо! Все равно не надо!» Единственное «пёкло», какое представляет себе народ, есть пёкло против «грешников», т.е. в своем роде против моральных «поджигателей» и «зажигателей». Русский «ад» есть, собственно, вода на огонь. «В огне горят» — это значит горят «в огне собственного греха и окаянства». Пламя тут из них исходит, «из грешников», а не то чтобы они, мокрые и холодные, были «ввергнуты в пламя». Ведь все они — служители различных «страстей», «окаянных страстей», т.е. служители разных «огоньков», синеньких, красненьких, желтеньких...

Вот этих «огоньков», ни в какой крупице их, ни в малейшем зародыше, — народ не допускает в свой «иконостас»... Когдаходишь в церковь и оглядываешь все *лики* ее, — оглядываешь взглядом обобщенным, без «придирчивости», без «мелочей», и спрашиваешь: *что это и почему?* — то отвечаешь себе, чувствуешь и убеждаешься, что вошел в *царство победы*. Храм в собирательном и историческом виде своем, — есть «сборище», или «собор», победителей; есть победное место Руси; религиозно-победное. Оттого он так любим. Входя в него — священник, мужик, солдат, рабочий, — видят все то, для чего они живут, работают, трудятся, страдают, терпят, недоумевают, тоскуют, спрашивают и остаются без ответа, — видят в моменте завершения, конца и победы. В моменте покоя и удовлетворения. Смута уже прошла. Смута была на земле, — при жизни, где спорили, обличали,

дрались, боролись. Это все — «не надо». И тогда, при жизни, «в пути», было «не надо»: но не удержались, отдали долг необходимости, подняли пыль и оказали побои. От этого ничто так не «грязнит» церковь, как шум, беспорядок; возможная ссора, возможная брань. «Тише!» — душа и суть церкви. Это «тише» слышится в напевах, в *наклоне* их; особенно — в живописи, в иконах вот; во всем ходе службы. «Тише» — есть в просфоре, «тише» — есть в окроплении водой. Когда безмолвно, именно бесшумно за всенощной подходят сотни людей к образу и целуют его, а стоящий тут же священник помазует маслом «крест» на лбу каждого приложившегося, — и это длится долго-долго, и все молящиеся как-то счастливы в то время, — то тут это «тише», как суть всего православия, выражено громовым образом. «Победа! Победили! Победная минута! Победное место!»

Вот в лице св. Серафима Саровского все это выражено и соединено удивительным образом. Случайно так вышло — но вышло. Но, затем, — он в эпитрахили. Это — служба.

Св. Серафим Саровский есть великое «служилое лицо» русской истории. На особом месте, в особом устройении, в совершенно особом виде, — но он несет ту «службу», какую в другом виде и в другом месте несут солдат, мужик, всякого звания человек, от низин до последней высоты. Русский человек не понимает «жизни», как не-«службы»: и, будь ты без мундира, без ранга, без положения, — все равно «служи» и «служи». Это — не цветочное представление жизни. Какие на севере особенные «цветы»? Угрюмый Север, угрюмый холод, огромный труд в стране неизмеримой, дикой, необработанной, — создал концепцию жизни как труда, работы, до самого конца, до самой могилы работы: и чем ее больше было, тем человек и «оправдывается» в смертный час. Это — и в подробностях, иногда скучных. «Поповские проповеди» — это не выкрик души, с зигзагом «в небо»; «куда такие зигзаги, и не понятно, и не нужно». Пусть «поп» скажет слово поучительное, длинное, вразумительное: чтобы молящийся, выслушав, перекрестился и пошел домой. «Пошел домой» — и больше ничего. Отнюдь не в пустыню, не для экстазов и видений: а — «домой», для труда, для

работы, около семьи, дома, села, города. Проповедь — помогает работе, и больше ничего не нужно. А «святой» Руси помогает работе всего царства, всей земли; отдаленно и обобщенно — всей истории.

«Святые» Руси — великие «трудовики» русской истории: и так это принял народ, понял, утвердил. «Не иначе», — говорит вихрастый плотник, кузнец, ямщик, пахарь. «Все пашем, работаем, молотим, куем железо, строгаем дерево». От этого с *правом* и *силою* идут к нему сонмы народа, не заботясь, что «обеспокоят», «помешают», что он «не захочет говорить». Он правит свой «долг» около народа, и к нему идут с твердостью, как в казначейство за рублем. «Нам этих *акрид*¹² не надо», — ни «бараньей шкуры, свешивающейся через плечо» (католическая живопись И. Крестителя; его же фигура в «Явлении Христа народу» Иванова): а «ты *дай совет в хозяйстве, в семье*, в запутанности житейской, в какой я сам не найдусь; помолись обо мне в *болезни*; помолись о моем *грехе*; устрой мою *душу*».

Святой «строит душу человека», как мужик складывает избу. «Не иначе!» Экстазов не надо, выкриков не надо: а надобен совет от разума и по молитве. «Тебя Бог устроил, а ты устрой меня», или: «тебя Бог призвал, вразумил, открылся тебе, в видениях и озарениях: а ты от всего этого богатства и милости Божией удели и мне, ибо я грешен, слаб, весь в поту, в пыли, в житейском, и мне Бог не открывается и открыться не может по черноте моей. Однако же и я человек, персть, как и ты, и ты все это божественное передай и мне: в боли — исцели, при смерти — помолись, в житейской трудности — вызволи: советом, словом, молитвой, прозорливостью, чудом». «Чуда» от своего «святого» народ требует, как от воина государство — подвига, победы или смерти на поле брани. «Коли не *чудеса* — какой же он *святой*». «Чудеса» всегда в помощь человеку, главным образом чудеса исцеления, — в тягчайшем положении человека, в боли, болезни. И все это есть необходимая доля, невольная подробность в представлении трудового человека, и именно на холодном, трудном Севере. «Что *учение*, подвиги, житие в подробностях: есть чудеса, и спор кончен, вопрос исчерпан»: он — «ср й». Так ведь было и бывает дело в

процессе всякого «объявления» святого на Руси: все «объявления» суть не догматические, а как бы трудовые. «Помог мне», «даровал чудо!». «Видно! Засвидетельствовано!» — «Святой»!

Это — Север и пашня, пашня необозримая, трудная.

Сейчас мы и догадаемся, почему в жизни и на земле «споров не надо». «Мешает в деле», «вносит смуту»... Пахарь никогда не спорщик, пахарь не полемист. Пахарь ведет свою борозду с великою верою, что солнце согреет зерно в земле, и к осени вырастет колос, почти «чудом» и во всяком случае «непонятно». Вот этот основной, — *личный* у каждого и *общий* у всех в течение тысячи лет, — факт и основал великую народную «веру», которую никакой полемикой и никаким инквизиторством не разрушишь. Во-первых, «все непонятно» — это «первый догмат»; и, во-вторых, «все благо» — это второй догмат. Не мы своими руками или своим дыханием согреваем зерно, а Бог: но Бог именно дает мужичку к осени урожай. «Все хорошо, и правда всегда победит»: вот от этого-то, единственно от этого, «смуты» не надо, «споров» не надо, «гнев» совершенно неуместен и ничему не поможет. А помещать, — *потому что отвлечь*, — он может. Мужик, пошедший в город «за судом», не вспахал поле: и если выиграл «процесс» на десять рублей, то потерял сто рублей, потому что в августе остался без урожая. Поэтому «гневаться не надо», «судиться грех», «обличать неистово другого» — просто скверно, даже хуже греха, хуже воровства «по бедности». «Все это смутьяны — в пёкло их» — так говорит народ о человеке нервов, говорит станом своим, говорит громадою своею; говорит такою октавой, какую не заглушат «образованные» дисканты. Собственно, эти «нервные дискантишки» только не умеют связать концы с концами в своих же выкриках. Известен лозунг: «растворить бы темницы», «судить не надо», «казнить — это ужас». Но договаривайте же, господа, договаривайте: гнева — не нужно, сердиться — грех, Щедрин писал пошлости, Герцен кипятился по-пустому. Ибо где «гнев», — там уже и одна «стенка» тюрьмы. Не вся тюрьма, но стенка — есть; не целый замок, а ключик к нему — готов; не вся цепь, а звено ее, одно колечко, — сковано. Народ бе-

рет целостно: «не надо судить» и «я ни с кем не сужусь», «не подаю жалобы», а просто «терплю»: с надеждой, что «Бог меня не оставит и к осени я буду иметь урожай». Добрая концепция. Но когда словесники журнального и всяческого слова подняли бурю полемики, распалили гневом всю страну, ожесточили страсти и, словом, зажгли по всем странам горизонта зелененькие, красные, синенькие огоньки, да все чтобы «поядовитее», чтобы «подпекало больше», — и в то же время они же заявляют, что «не надо бы тюрем и казни», то этому несведению концов с концами можно только посмеяться.

Не надо казни: тогда откажитесь от Герцена.

Не надо тюрьмы: тогда в ауто-да-фе Щедрина и Чернышевского.

«Ну их всех»... Все не «святые»... которые бы терпели, молились, советовали и не полемизировали.

Из сопоставления этого видно, до чего ни одна «йоточка», ни одно зернышко из «богатств и милости» нашего образования, нашей культуры или якобы культуры народ никогда не возьмет в «иконостас» себе; и, с другой стороны, — если взять из народных лампад горячего маслица и помазать им «дела» наши, — дела и мысли и головы, — то это все «под маслицем» вдруг начнет таять, слабеть, испаряться и обратится быстро в ничто, «в воздух».

«Я *есмь*» образованных классов в переводе значит: «*Не надо* народа! *Смерть* ему. *Смерд* он...»

И обратно: «Я *есмь* народное» звучит для образованных как черное, как похоронное: «*В пёкло* их». — «Пусть жарятся, окаянные».

И ничего третьего. Никакого облегчения. Если все брать в суровой правде и неприкрашенной натуральности. Тут споры могут быть около подробностей; могут быть оговорочки, «увиливания в сторону»; «отступления с подходцем». Но черная правда такова.

«Не надо полемики»: отсюда покорность, работа с надеждою, отсюда вера в будущее. Вера «в победу» в истории и в то, что вот во «всенощной» исторического труда все потянемся к образу и поцелуем его, и «Сам Христос нам всем положит крест на лоб»... И уйдем. И уснем.

Народ в храме молится именно «концу» истории. Если бы не этот «конец», не октавная, громадная, мо-

гущественная вера в него: сегодня же народ поломал бы свои бороны, сохи, сжег бы собственные избы, выгнал в поле жен, детей и устроил бы такой «пожар» и «кутеж» на весь мир, что вселенная бы содрогнулась. И умер, — или уснул бы пьяным, непробудным, последним сном. А на слова: «Ты будешь сыт», «ты будешь счастлив», «ты будешь Щедрина читать и яблоки есть» — махнул бы рукой, сплюнул и не обернулся.

Так что продолжать нашу «интеллигентную работу» нужно очень и очень «почесав затылок». Добросовестные, вдумчивые — «почешутся»... А с недобросовестными тем, однако, народ справится, что не обратит на них внимания. «Ну вас к лешему, с вашим всеобщим обязательным обучением¹³: это чтобы Вербицкую-то вашу читать? Так у нас у самих скоромной пакости в сказках не переслушаешь»¹⁴.

* *

*

С этими мыслями я вошел во Владимирский собор; точнее, они все ярче вспыхнули, эти старые мысли, столкнувшись в «бурном перекрещивании» с зрелищем того, что я в нем увидел...

Что это: точно все краски замешены не на благочестивом деревянном масле, а на уксусе и горчице. И огоньки, огоньки, зелененькие, желтенькие, всякие...

Я говорю о *живописи*, которою восхитилась вся Россия; и *художественно*, конечно, и я восхищался.

Ах, это *личное* вдохновение! Этот особенный *талант*! В нем все и дело. Писали бы «по-казенному» (говорю без порицания) эти Васнецов и Нестеров, Сведомский и Катарбинский... Но они бурные, страстные люди. Нестеров, которого всегда с таким интересом слушаешь, видишь, уже полон «бури и натиска»¹⁵ (черносотенного — без порицания); но говорит: «Я — что, вода: вот Васнецов — с ним разговаривать нельзя. Он может кричать только и драться». Говорю обобщенно, но мысль эта: Васнецов весь горяч, страстен, полон внутреннего спора, гнева... против «новшеств» (политических, культурных).

Но это все равно: спор уже влез в его душу. Спор, гнев, полемика, — пусть мысленная. Но это уже «душевный огонь», душевное «адское пламя». Русский

тезис: «не спорь даже за правду; все равно к осени рожь вырастет». Это — основная вера, что «все победит правда». О ней народ говорит: «правда светлее солнца», и затмения ее, гибели ее, народ и в ум не допускает, в сказках не предполагает. Как же это сомнение о победе, и *спокойной победе* правды, — допустить в молитву, в храм?

Солнце поколебалось; или, как сказано в Евангелии о конце мира: что перед ним «поколеблются основания вселенной»¹⁶. Допущение полемики в душу есть именно такое колебание самых «оснований вселенной», ибо суть ее есть личное сомнение о конечном торжестве правды, т.е. допущение в душу подлой мысли: «А Бог, может быть, и *не спасет*»... Ужасно. Где же «концы вселенной»? Тогда человек, вместо надежды на солнышко, сам ляжет брюхом на землю и начнет согревать посеянные зерна. Конечно, никакого урожая не получится. Получится чепуха. Получится гибель к осени. Разорение, голод. Может, к зиме — смерть... Это «конец мира»... И просто оттого, что нет веры в солнце; в правду, в вечность; в тихую всенощную, с помазаньем глав елеем.

В нем-то вот и усомнились благородные живописцы, расписавшие Владимирский собор, главным образом пламенный Васнецов, которому и по объему, и по значительности принадлежит $\frac{3}{4}$ собора. Он, как и Нестеров, вырос в нигилистическую пору русской истории; и перед их глазами прошла вся вакханалия поругания старых святынь, прежних святых, древнего, почерневшего в позолотах иконостаса. Они были (я представляю их детство) прежде всего благородные мальчики, с задумчивостью, с идеалом. Видя, как «Герцены и Чернышевские» расправляются с Русью, а потом еще пришел этот Щедрин, они заплакали оскорбленными и мстительными слезами; мстительными как бы за «пощечину матери». Ведь весь наш нигилизм есть «гнусное предложение на улице» нашей уже старушке-матери, заплутавшейся в несчастные сумерки в городе.

Представим же себе мальчика-юношу Васнецова, приехавшего в Петербург, страшно бедного (рассказы о его юности), с его талантом и вместе с полным бессилием выразить мысль, сказать, защитить, заспорить, перед этой грудой катящихся на него, катящихся кру-

гом его журналов, газет, книг, с «Ренаном, Боклем и Спенсером», которые все так образованны, когда он, Васнецов, из глуши России, так необразован. Никакой гнев так не пылает, как немой; никто так не мстителен, как бессильный. «Как одолеть Бокля?» Мальчик затрепетал. В «категории слов» он не мог одолеть не только Бокля, но и последнего журналиста в предпоследнем журнале: а душа, такая талантливая, без слов, немая, — рвется...

Вдруг это предложение — «расписать Владимирский собор», казенная задача в казенной истории. Прахов передал, все рассказывая и показывая, маленькую подробность: собор стоил невероятно дешево, что-то 800 000, что мне кажется даже неестественным. Боюсь ошибиться: не стоимость ли это только *одних работ внутри*, внутренней отделки. По всему вероятно, — последнее. Но следующее вполне точно: за все свои работы, т.е. главный *труд всей жизни*, за живопись, составившую эпоху в истории русского искусства, Васнецов получил 50 000 руб., тогда как Репин за *одну* картину «Государственного Совета» получил 100 000 руб. (слова мне гр. Ив. Ив. Толстого). Прахов, ввиду малого ассигнования (он заведовал и руководил расписанием собора), приглашая художников, говорил им: «Господа, если кто-нибудь из вас хочет разбогатеть, надеется разбогатеть на этих работах — не идите сюда; этого вы не найдете здесь, средств нет. Но для народа храм есть училище; он не имеет наших наук, нашего просвещения, книг; он не видит театра, наша музыка ему недоступна. Храм есть все для него: тут он находит музыку, тут он видит зрелище, для него здесь живет единственно понятная ему и нужная ему история. И вот если вы посмотрите с этой стороны на дело и захотите послужить народу, который всего был лишен, то, может быть, вы найдете здесь величайшее удовлетворение вашему призванию». На призыв, так благородно выраженный, — не все художники, но вот эти отозвались с величайшим энтузиазмом. «Вся история... все идеалы... вся святая Русь... Развернулось именно *поле*, на котором не словесно, но образно, художественно можно было победить всю эту катившуюся волну отрицания, грубого, самоуверенного, как бы «до скончания века»... (60-е и 70-е года нашей истории).

Победить и даже отомстить...

Зажглись огоньки... Позы встали, выпрямились. Ни одного «согбенного», как Серафим Саровский; ни — с этой благостью «на все стороны» и «до скончания века». Суд и борьба пронизывают весь храм; суд, рассуждение, спорт, желание «показать свое», в смысле доказать и утвердить. Все это пламенно, лично; нигде — схемы, обобщения, нигде бесстрастия и... *покоя*.

В котором и заключается *все дело*. Если «урожай сам вырастет к осени», то среди какого бы то ни было нигилизма, отрицания, даже среди глумления не было причин для беспокойства, ибо все это должно было пройти, как мутные воды весны, кончающие зиму и предсказывающие лето и которые в себе самих не несут ничего сердцевинного и вечного. Момент, а не век. Церковь наша и духовенство наше так и отнеслись к нигилизму; писались «протяженные полемики с г. Дарвином», но, в сущности, никакой тревоги о Дарвине не было. Во Владимирском соборе есть тревога. «Урожай по осени может весь *погибнуть*»; вот это отсутствие *надежды на Бога* уже водило и водит кистью и Васнецова и Нестерова.

Это не Серафим Саровский, с приложенной к эпитрахили рукою, — который «вообще ни о чем не спорит» и потому всепобеден: но, в благородных формах и отдаленно, — это уже Илиодор, возможность Илиодора, тень его... Илиодор: но только не в торжестве, а в унижении, замученный или как вот он будет перед кончиною, как его можно представить себе перед кончиною. Тела нет, а дух горит; тело повержено — но дух встал, зовет, закликает. Таков весь Владимирский собор, с «опавшею плотью» и пылающим в груди огнем.

Тенденции или склон — католический, насколько он *определился борьбою* с гнилым (тогда) язычеством; или — реформационный, насколько он *определился борьбою* с загнившим к тому времени католичеством. Сходство положения создало общность и духа. В этом склонении духа есть или что-нибудь провиденциальное и «чему расти», или оно — случай и минует «само собой», об этом трудно судить. Весь вообще XIX век Руси уже пронизан «огоньками», — и в этом отношении Владимирский собор нов, характерен и «историчен»,

ибо в нем «тревога XIX века» впервые перелилась и в храм, проникла в религию. Как будто «протяженные проповеди» стали более недостаточны, и понеслись «выкрики к небу». «Иеремия на развалинах Иерусалима»¹⁷ — непредставимый и недопустимый образ, недопустимая концепция в старом православии. Но он, однако, всемирно-то и исторически был: и это — часть тоже религиозной концепции, но только не нашей, не русской. Великое в старой вере Руси — это ее основной идеализм и оптимизм. «В основе мира лежит и лишь до времени скрыто благо; благо как чудо, святость и победа, которая непременно придет. Поэтому всякий человек непременно должен трудиться, и из труда его вырастет непременно доброе, как бы труд ни был мал и незаметен. Бог все устрояет, Бог поддерживает и организует все человеческие труды, к благу конечному и завершающему. Его мы должны ожидать терпеливо, не торопясь ни к чему, не торопя других, зная, что времена и концы всех вещей у Бога. И не должны судить никого, веря, что все дурное — пройдет, что дурное, *eo ipso**, — не вечно, а подано нам как испытание и урок...» Нельзя не сказать, что эта концепция, с религиозным чувством к ней, с религиозным в ней одушевлением, — содержит удивительно благоприятное условие для труда, — для культуры, замешенной «на елее», а не замешенной на уксусе и горчице. Есть одна, есть и другая. Одна пылает, жжет, разрывает, мучит. Она быстра и ломка. «Продукты культуры» в ней все «скоропелки», вроде «всеобщего обучения грамоте» как «всеобщего чтения Вербицкой». Ну, есть и лучше Вербицкой, есть серьезнее. Скажем так: смесь одного Пастера с сотнею Вербицких. Но непременно — «с Вербицкой» и, *может быть*, без Пастера: основное горе и основное возражение. Вторая культура просто растет, страшно медленно, «Пастера» долго не дожидаться, зато и Вербицких вовсе нет. Может быть, Пастера не появится, но «Вербицких» — во всяком случае не появится. Культура эта — просто природа, с ее медленностью и вечностью. Первая культура — постройка, поделка. И она может быть изумительно художественна; но только она неизбежно невечна.

*следовательно (лат.).

В БЕССАРАБИИ

В. П. ПЕТРОВИЧ

УГОЛОК БЕССАРАБИИ

I

— Ну вот и река «Днестр, широкая до того, что птица не перелетит через него», по выражению фантаста-Гоголя, и через который преспокойно переправляются на дощатом пароме-самодельщине. Но его крутые берега — точь-в-точь такие, по каким скакал Бульба, убегая от ляхов, да выронил люльку (трубку)¹.

— Стой, чертов конь! Не хочу, чтобы и люлька доставалась проклятым ляхам!! — И он нагнулся, чтобы поднять с земли трубку. Тут на него и надели гнавшиеся по пятам поляки и схватили.

Днестр течет из Карпат и после усиленных жаров всегда разливается. Это — подтаивают снега на Карпатах. «Карпаты» же — это опять напоминает Гоголя, именно — того страшного всадника, стоявшего на одной из вершин их, который столько лет ждал колдуна-братоубийцу, чтобы сбросить его в пропасть. Помните «Страшную месть», читая которую мы, бывало, дрожали гимназистами.

Так, с воспоминаниями о Гоголе, казаках и войнах, я взлез на паром, который пересек Днестр, — и из Подольской губернии, лежащей на левом берегу его, перевез в Бессарабскую, тянущуюся по правому его берегу. Совсем край Руси!

— Здесь все самочувствие другое, чем в России, — говорили мне тамошние старожилы. — Что такое Бессарабия? Ведь она всего десятки лет отошла от Румынии и перешла к России. Кто же мы? От Румынии отошли, а к России еще не приросли. *Сейчас-то* мы приросли: но я помню родительский дом и всю судьбу мою, выросшую из этого дома. То была дичь, какую невозможно себе представить. И не то чтобы было дико образование, — этого не было, потому что у нас семья была образованная. Но дичь именно *положения*. Тянет — к Румынии, тянет — к России: и мы

остановились между этими двумя притяжениями, как лодка, застрявшая среди камышей на реке. Ни назад двинуться, ни вперед продвинуться, *ничего не можем*; и не по своему бессилию, а потому, что все вокруг бес- сильно, смутно, темно, не утверждено, не решено. В зависимости от случайного и нерешенного положения страны складывалась нелепо и случайно судьба семей.

Никогда этого на ум не приходило. Мы живем внутри России «как у Христа за пазухой», по народному говору, — и для нас «уже при Ярославе Мудром» было все «решено и ясно», — даже до отвращения. О *колеблющейся психологии* окраинного жителя вообще на ум никогда не приходит. А она — *факт*, и, очевидно, это есть господствующий факт, Прибалтийского края, Финляндии, Кавказа. Очень интересно.

Из села (и железнодорожной станции) Рыбница, где, очевидно, еще Россия, Россия в самом звуке имени, паром перетащил нас минут в 10 в село Сахарну, где столь же очевидно присутствие «чего-то *не нашего*», и тоже в звуке самого имени. Сахарна? Никогда не слыхивал. Будем смотреть Сахарну, куда я приехал выжаривать на солнце мокрые петербургские грехи, что накопились за зиму.

Две жидовки, старая и молодая, проводили паром, — и какой-то жид встретил его на другом берегу. Лошади взяли и сильно повезли на крутой берег.

— Это еврейский паром?

— Все еврейское, — угрюмо сказал возничий. — И паром еврейский.

Въехали в красивую Сахарну. И на душе расцвело. Эти домики, мазанные глиной, одна сторона белая, другая темно-желтая, третья синяя и без *единого пятнышка* на стене, являли необыкновенно веселый вид именно тем, что владелец, очевидно, до того влюблен в свое жилище, что разукрасил его так, как только мать украшает дочь-невесту. Во мне заговорило чувство собственности. Видеть *настоящую привязанность* человека к *своей вещи* так же приятно, как смотреть вообще на все настоящее, созревшее «до полноты»... По той очевидной радости, какую доставляло это имущество человеку, я не мог не назвать его «святым имуществом». Почему, в самом деле, «привязанность к своему дому» мы поставим ниже

привязанности человека к живописи, к книгам, ниже привязанности его к наукам. У меня «дома нет», но мне совершенно очевидно, что «владеть домом» и так проводить кисточкой тоненькие узорчики около рам — такая же поэзия и ум, как писать статьи и книги; столь же вдохновенно, глубокомысленно и священно.

Было очень рано, часов семь утра, — и на одном дворе доигрывала музыка.

— Вчера была свадьба, пир шел всю ночь, и музыка с последними гостями затянулась до утра.

После я узнал необыкновенную множественность здешних праздников. Празднуют почему-то сверх воскресенья девять четвергов после Пасхи, которые называют «русалочками», да какого-то «хромого Кирика», да еще «Фоку», который почему-то есть в то же время «огонь», да «зеленую травку» — специальный праздник замужних женщин, после Троицына дня первый понедельник. «И Боже избави не отпраздновать зеленую траву: весь год будут несчастья из-за травы или с травой». Я ничего не понял. Видно только, что, воспользовавшись переходом от Молдавии к России, стали праздновать все русские праздники и все молдаванские праздники. Как-то по вечерней заре я вышел послушать песни возвращавшихся рабочих, парней и девушек (с полевых работ). С высокого нагорного берега неслись красивые, протяжные звуки:

— Святый Боже! Святый крепкий! Помилуй нас! — Чистая речь.

Ушам не верю. Это же похоронное пение! Зачем рабочим? здесь? парням и девушкам?!

— А это они из церкви... Просто *нравится*.

Действительно, другая ватага молдаван тянула совсем другую песню, — другого мотива, тона, очень гармоничную. Молдаванский говор вообще красив, приятен, и народ, очевидно, музыкален. В православной церкви села Сахарны, как я узнал после расспросов, половина пения и чтения — по-славянски и половина — по-молдавански. И действительно, лучшее пение, похоронное, они взяли без всякого отношения к его смыслу — в музыку себе и обратили в полевое, гулевое, рабочее пение.

Въехали в какую-то черную часть села.

— Жиды, — сказал возничий... Он молдаванин, но говорит по-русски, что здесь встречается лишь у молодежи, побывавшей в училище.

— Ничего не растет. А вот синагоги. Три подряд.

Три почти разломанных домишка являли во всех крошечных окнах ряды тоненьких восковых свечей, вытянутых по бордюру рамы... Очевидно, что-то «богослужебное», «религиозное». — «Конечно, синагоги!»

— Зачем *три*?

— У *каждого сословия* — своя синагога. Бедные не молятся с богатыми, а богатые не молятся с бедными. Оттого *три*.

— Отчего же «ничего не растет»? — переспросил я удивленно, заметив выражение возничего.

— А вот, глядите. Сейчас поедem мимо дома: перед ним три посохшие деревья. Отчего они посохли? Нигде в Сахарне нет высохших деревьев, все зелено, кусты, деревья, на дворах и на улице — трава. Здесь же, в еврейской части, ни травы, ни листочка, ни дерева. Одна черная грязь, залитая во дворах помоями. Вот, взгляните, — эти сухие деревья.

Действительно, было жутко смотреть: три большие деревья, как у нас бывают перед старообрядческими домами березки, — совсем выросшие, сформировавшиеся, зрелые и, стало быть, сильные в росте, необъяснимо почему-то высохли и не являли ни единого зеленого листа. С тем вместе они были стройны в стволе и в ветвях и не имели тех изнеможенных от старости, опускающихся по сторонам сучьев, по которым мы узнаем старость растения. Три молодых сильных дерева, как трое юношей или «молодых людей», являли собою «остов», «костяк», «мертвое тело», черные прутья торчали кверху. Я смотрел со страхом, не понимая, что такое и отчего, — и мысленно шептал, что ведь «Мертвое море», и как *имя*, и как *явление*, существует единственно во всей географии *только в Палестине*.

Склонный к символизму и мистицизму, я затревожился.

— А я-то все ищу у евреев «Ваалов» и «Астарт», плодородия и вечного зачатия. Вот тебе и «плодородие»... Оно дальше «своей постели» не идет: и чем «своя постель» плодороднее, тем более умерщвляют они все вокруг... У них плодородие — не пантеисти-

ческое, «размножиться бы луне», «размножиться бы всем звездам», — коровам, и дереву, и хохлу, и русско-му, и немцу. А только «самому», и никому больше! Их плодородие — скопческое! *Ни у кого* оно не скопческое, но у них — скопческое.

Я трепетал. «Не понимаю, непостижимо». Какое-то совмещение «да» и «нет», противоречие в принципе. «Мне — все; но я даже этим всем пожертвую, только чтобы у остальных не было уже *решительно ничего!*» Ужасно.

Позднее я узнал: это черное место Сахарны самое богатое. «Они живут в изломанных домишках, потому что еврею вообще крепкий дом не нужен, так как он квартирант в Сахарне, в Бессарабии, да и вообще *езде* — только *квартирант*, меняющий дом, соседей и даже меняющий образ жизни и ремесло в зависимости и в направлении, *где глубже*, по поговорке: «Рыба ищет, *где глубже*, а человек — *где лучше*». Еврею нужно «лучше»; «лучше» *ему самому*, и только *ему*; ему и *им*, евреям. А каково *всем вокруг* их, это не входит ни в какой расчет еврея и ни в какое соображение. Он берет, чтобы *уйти*, а не берет, чтобы *расти здесь*. И он мнет траву вокруг, перерубит корни у дерева, если для чего-нибудь нужно, нужно для мелочи, потому что *под этим деревом не сидеть его сыну* и не сидеть *ему самому под старость*. Ему вообще ничего кругом не нужно, и он страшно *антикультурная* сила в каждой местности, где живет. Сила его всегда больше силы окружающего населения, хотя бы евреев была горсточка и даже всего пять-шесть семей, ибо эти пять-шесть семей имеют родственные, общественные, торговые, денежные связи с Бердичевом и с Варшавой, да и с Венгрией, с Австрией, в сущности, со всем светом. И этот «весь еврейский свет» поддерживает каждого Шмуля из Сахарны, и «Шмуль в Сахарне» забирает всю Сахарну в свои руки, уже для пользы не своей, а всего совокупного еврейства, ибо, укрепившись здесь, он немедленно призывает сюда родственников, родичей, единоверцев, в помощь себе, в компанию с собою, в сущности, за один обеденный стол с собою, где они кушают темную молдавскую Сахарну, кушают ее посеvy, ее птицу, ее скот, все это скупая за бесценок через моментально образуемые в каждом местечке синдикаты и

не подпуская никакого чужого покупателя ни к какому продукту, сырью, свежине. Сахарна пашет, работает, потеет, а евреи ее пот обращают в золото и кладут в карман. Они имеют «у своих» бесконечно растяжимый кредит, кредит под свои способности, под свою живость, под свою оборотливость. Какая же с ними конкуренция, когда в каждой точке они — «все», а всякий русский, хохол, валах — «один». «Все» и съедают «одного», и Сахарна в руках их, как в их руках на другой стороне Днестра — Резина и Рыбница, в их руках Бессарабия и вся вообще эта «черта оседлости», отданная им на уничтожение. «Черта оседлости», может быть, и сохраняет что-то для самой России, но для самой «черты оседлости», и именно для всего *русского* здесь, для всего *местного*, для этих темных валахов, для хохлов, для поляков, она ужасна. Здесь все съедено, разорено евреями, все извращено и погублено.

— Извращено? Почему?

— По привитию к населению самых подлых вкусов, самых подлых привычек, самых подлых мод. Войдите в черную разломанную избенку еврея, по-видимому держащего только паром через Днестр: паром — одно покрывало, одна видимость. Сюда заходит наивная девушка, и ей за десять копеек продают отвратительных белил, еще за десять — гнусных духов и румян, а за два целковых продают секрет вытравить у себя плод. У соседа этого паромщика за пять целковых паренек получает часы с фокусом, но которые будут идти всего два месяца; и напротив в лавчонке молдаванка покупает «варшавские моды», какую-нибудь блестящую дешевку, которая блестит, звенит и привлекает ее как дикарку, но которая во сто крат хуже и безобразнее ее простого, изящного, гордого народного костюма. Все *местные* одежды, комнатная утварь, наряды, эти изящные «деревенские вышивки», вырабатывавшиеся веками и полные вкуса, — все выбито и убито «варшавскою дешевкою», которая на самом деле есть еврейская дешевка, а сами евреи взяли и занесли ее сюда с пошлого всемирного рынка, где не видно никакой народности, никакого лица. *Обезличивающее действие* евреев на народ ужасно...

Я слушал, и это мне казалось чем-то совершенно новым, о чем я никогда не слыхал. Передаю все в том

«сыром материале», как взял с земли, не прибавляя ни размышления, ни даже «да» или «нет», для коего я некомпетентен.

* *

*

Мне кажется, «грехи» свои я выпарю в Бессарабии. Воздух удивительно легкий. Его не чувствуешь, грудь не утомляется, тогда как в Петербурге и в мокрой Финляндии вечно дышишь холодом, туманом и дымом и после десяти дыханий одиннадцатый раз непременно кашлянешь. Угораздил же Бог русских выбрать «центром» и «головой» Империи местность, где нельзя не кашлять, не сердиться, не ипохондричать, не уходить душою «в подполье», как назвал Достоевский мрачайший из своих рассказов². И весь Петербург, и все «петербургское» отсюда, между благословенным Днестром и дальним Киевом, представляется каким-то временным «подпольем», через которое суждено проташиться русскому духу для каких-то углублений, но проташиться именно временно, чтобы выйти в свет, ясность и лучшую одушевленность.

II

Кое-что новое видишь, слышишь:

— Земля меня кормит, как же я *уйду* от земли?

Так говорила помещица, лет 50-ти, в имении которой я живу, которую я видал в Петербурге в 1903—1904 годах на религиозно-философских собраниях и в кружках живописцев, писателей и просто обывателей³.

— И я решила *отсюда* не уезжать, из Сахарны, даже на зиму. Покинуть землю для владельца все равно что женщине покинуть мужа. Это просто дурно.

Таким решительным голосом, прижав палец к груди.

— И я счастлива. Вокруг меня все растет, тучнеет. Встаю в шесть часов утра, пью воды и иду в хозяйство. Мечта моя, чтобы школа *стояла среди самого поля*, а не в селе, как теперь; и чтобы мальчики жили среди работ и сами работали; чтобы учились на работе и через работу, а не отвлеченно, по книжкам, Бог знает каким сведениям и Бог знает для чего им нужным. Но программа министерства... и ничего нельзя сделать. Как

этот *врачебный пункт*: я хочу, чтобы он был здесь, около леса и виноградников, а не в еврейской черной и грязной дыре, которая всех заражает, которая сама есть уже болезнь. Но нельзя: далеко *врачу* привозить провизию; и оттого, что врачу удобнее жить в черной дыре ради провизии, и больные должны лежать там же и дышать зараженным воздухом.

Приходится везде уступать: все в деятельности *лица* зависит теперь, вследствие сложности и перепутанности цивилизации, от учреждений местных и центральных. «Программу» устанавливает до мелочей министерство, одно или другое; учителя присылает и за ним наблюдает и, наконец, ему предписывает училищный совет, с депутатами: 1) от земства; 2) от дворянства; 3) от духовенства. Может быть, я путаю, от кого и как: только впечатление — «много», «много всего и всех». И когда мне пытаются объяснить связи и затруднения, я зажимаю уши и говорю: «Ничего не понимаю». Нельзя понять: каждый от всех зависит, и никто ничего не может сделать.

Я как мужчина бросил бы все и уехал в Петербург, где мне никто не мешает «на Коломенской» и я живу в квартире свободно, как Скупой рыцарь Пушкина в своем погребке с золотом. Столица страшно освобождает, провинция безумно связывает. Не от этого ли все неспособные к борьбе и ленивые бегут в столицу, и тротуары Петербурга так усердно топчутся стадами людей, тоскливо выжидающих, какой департамент их позовет сочинять «бумаги».

Но где мужчина не устоит, баба уцепится. Легко, мягко и властительно 50-летняя умница отстраняет препятствия с дороги или выжидает, пока «сами пройдут».

Впервые, «куда-то забредя» и открыв случайно какую-то дверь, увидел бочки чудовищной величины (точно маленький дом) для вина: осенью они наполняются вином, теперь пусты. В бочку входит, как я узнал, 600 ведер вина, а в каждом ведре 16 бутылок. Сколько же бутылок в бочке и сколько их в тех 5—6 бочках, которые я видел в погребке, куда «непредвиденно» попал! Все крестьяне пьют это сахарное вино, вероятно дешевое. Потому что то вино с этикеткою «Сахарна», которое я однажды пил в Петербурге, мне показалось вкуснее всякого, какое я когда-либо пил.

— Сбыт? — спросил я тогда.

— Никакого. Только сами пьем. Это *чистое вино*, русские приучены уже к подделкам и примесям.

Я и тогда, как теперь многого, ничего не понял. Покачал головой с недоумением и некоторым сомнением.

Чуден лист виноградный, обрызганный медным купоросом (тут же разводится, в яме): точно шкура красивейшей зеленой ящерицы. Это — от филлоксеры, вероятно, в предупреждение.

Крестьяне пьют дешевое виноградное вино своей выделки и своих виноградников. Справляются с тем и с другим.

В имении — «земская» школа виноградарства и виноделия с опытной фермой и завод черепицы (для крыш). Слово «земская» ставлю в кавычки: бездетная вдова, моя хозяйка определила все вообще свои земли, с виноградниками и прочим, в дар земству, и потому школа заранее именуется «земскою». Но земство приплачивает на содержание что-то пяти или семи учеников из 30 или 25-ти. В виноградарстве я не понимаю: но *черепица* мне представляется истинным благодеянием для местности. Уже проезжая Рыбницу и Резину, я почти не видел этих воистину ужасных русских соломенных крыш, которые, собственно, давно должны бы быть всюду *правительствами запрещены к употреблению*, как запрещено держание в домах пороха, перевозка в багаже пороха и целлулоидных вещей, как вообще нечто угрожающее общественной безопасности и целостности соседнего имущества. Что такое горящая соломенная крыша среди соломенных крыш соседних домов? Да огонь среди соломенного пороха. Деревня не может *вся не сгореть*, раз загорелась одна изба. Это же «постройки, угрожающие общественной безопасности», и как таковые недопустимы при благоустройстве. Крестьяне, как только *первая* черепичная крыша сохранила дом от последнего пожара и *не пустила огонь дальше*, начали энергично переходить на черепицу. Соломенные крыши еще попадаются, но как чрезвычайная редкость, и в таком разреженном виде среди черепицы, что не угрожают ничему, кроме «себе». «Сами» сгорят, как ворох бересты, и «дальше» бедствие не пойдет.

Но «безопасность» не все. «Главная и лучшая роль завода — экономическая, и ради этой его роли сделаны все усилия, чтобы его поддерживать, даже в годы, когда он не дает прибыли или даже дает небольшой убыток. А это бывает. Пока дела у крестьян хороши, завод малоощутителен для них, кроме выработки полезного продукта. Но вот засуха выжгла хлеб *малолетним*, или дожди сгноили сено и рожь: все бросаются на завод, и он спасает население от отчаяния. Экономия («все хозяйство»), если не богатая, то состоятельная, заготавливает черепицу впрок, на будущее, расширяет производство, мужики видят глину и на самом заводе получают работу выделки. Все обходится без эксплуатации, так как бездетная помещица вообще задумала «все добро» по смерти определить в «добро *тут, тут, тошним*». В первый раз на этой мелочи я понял разницу между «проходящим, странствующим» элементом немцев (колониисты) или евреев и между «русским местным помещиком», «русским дворянином». Конечно, когда он бежит от земли, когда земля дает ему только барыши для жуирования в Петербурге или Москве, он для своего места не лучше еврея или немца. Но в то время как немец или еврей непременно только «странствуют», некоторый процент дворян и помещиков все-таки *сидят на месте*. И *сидящие на месте*, при средствах, при широком горизонте зрения, какой дается образованием, решительно становятся *закрепою* местной жизни, тем гвоздем, за который все цепляется и которым все поддерживается. Отсюда знаменитый лозунг восемь лет назад — «Жгите дворянские усадьбы», «Громите помещичьи владения», — который подсказывали темной сельской массе Герценштейн и Тан-Богораз (организация «крестьянского союза»), подспудно имел ужасный смысл: «*Вас* мы съесть всегда сумеем (какое же сопротивление массы, не умеющей считать до двухсот?). Но *вас* съесть можно только тогда, когда среди вас не будет единоплеменного и единоговерного разума, защиты, поддержки и широкого горизонта. Вот *их*-то и надо вырвать, и вы, темные, передуйте своими руками сперва сознательных среди вас!» И Богораз, и Герценштейн были из «странствующего племени»: один якобы только радикальный журналист, а другой — деятель еврейского банка, *бравше-*

го в залог имения, и, конечно, условия залога должны были сделаться тем тяжелее для закладывающего и стать тем выгоднее для банка, берущего земли в залог, чем существованию имений большее угрожало, чем больше трепетали и бежали от земли своей помещики. Поразительно, что «умная» русская печать приветствовала обоих чужеродных странствователей, скупщиков и, кажется, стихотворца (Богораз). Вообще русские всегда за кем-нибудь «носят зонтик».

Оставивший лично свою землю помещик и дворянин есть уже полу-помещик и полу-дворянин. Это всегда тающий снег, ни зима, ни лето. Он неопределен, он пропадает. Но всякий вообще *отреченец*, отрекающийся от дела и от функций своих человек, есть что-то *полу-живое*, и он являет отвратительность всякого начинающегося трупа, всякого умирания. Но тут необходим анализ, различие. Отвратительное и принадлежит *смерти*, но что же оно говорит о *живом*? Да то, что оно *нужно*, что оно *прекрасно*. Чем гаже труп, тем священнее человек! Ничего нет ненавистнее «трупа отца», «трупа своего ребенка», потому что они-то *как живые всего дороже*! Вообще, чем несноснее труп, «хуже пахнет», тем больше надо бежать от него и охранять *жизнь живому*, любить его, приветствовать его, его оберегать. Мы исторически и особенно литературно делали и продолжаем делать величайшую ошибку, смешав трупное дворянство, трупное помещичество, гуляющее по столицам, по заграницам и т.д., словом, *бросившее свою землю арендаторам* или на «управляющих», с помещичеством здоровым, с «дворянством здоровым», *сидящим на земле и делающим местное дело*. Последнее нечем заменить. Самый лучший крестьянин и множество крестьян, целая, положим, деревня их, целое село не могут заменить такого «местного дворянина», если он просто *нормален, здоров*, если он не допускает эгоизму перейти в хищничество, энергии перейти в насилие и эксплуатацию. Но против таких инстинктов всегда есть отпор в самозащите крестьянства, и крестьяне давным-давно перестали быть «стригомыми овцами», «кроткими овцами». Этого нет, и это все знают. «Нормальный помещик» совершенно не заменим никем и ничем, потому что он есть *однородная с крестьянством духовная сила*, озирающаяся

назад, озирающаяся *вокруг*, к чему крестьянин вообще не способен по необразованию или по очень маленькому образованию, по слишком сосредоточенному эгоизму *«только своей избы»*. Ну а нужен ли дух телу, об этом напрасны споры. Дворянство нормальное, *рабочее на месте*, и есть дух крестьянства, духовная сторона крестьянства как необозримо протяженного тела. Таково и было поистине гениальное *в роли своей славянофильство*, собиравшее и сохранившее, как зеницу ока, крестьянские песни, сохранившие в своем быту крестьянский же быт, крестьянский узор жизни, крестьянскую тонкость и глубину сердца, но в виде развитии, обширном, *усложненном*. Нужно только твердо держать в уме — *мы судим о нормальном* — и не переносим на «нормальное» трупных определений, трупных качеств, трупной вони. *Нормально* именно самому крестьянству, необходимо и полезно дворянство, как *его же, этого крестьянства*, завершение, одухотворение, осмысливание и, в случае опасности и тревог, смерти и несчастий, голода и пожаров, мора и болезней, предводительство, указание, защита, охрана. Не знаю, нужны ли «предводители дворянства» (скорее нужны *попечители* странствующего дворянства, *падающих* его частей), но вот «предводители крестьянства» безусловно нужны, иначе «в предводители» сейчас навяжется тайный недруг его, который завтра оберет его и уже сегодня имеет план обобрать, но пока притворяется благодетелем, лечит, учит, нашептывает, поднимает в «движении», убегает, когда «движение» не удалось, а если удалось, то располагается в положении инструктора, направляющего и тоже управляющего, но уже управляющего иной породы, иного духа, иной исторической связи... Иное дело *своя болезнь*; худой помещик — *своя русская болезнь*. И иное дело чужой тать, поджог чужою рукою, беда *со стороны*. От «своей болезни» есть лечение, но «чужая рука» раздавит, задушит и выбросит, обобрав.

Сам я не дворянин, никогда им не собирался быть, но в Смоленской губернии, в Татеве, где *двадцать лет* учил крестьянских ребят вышедший в отставку профессор Московского университета С.А. Рачинский, а имением управляла его сестра Варвара Александровна⁴, — и вот теперь во второй раз в Бессарабии среди

деятельного и благородного собственно хозяйства я наблюдаю явление, которое представляется правильным и нормальным с *первого взгляда*, уже по *теоретическому* воззрению и которое если имеет исключения, то лишь патологические, насколько все вообще подлежит умиранию и болезни. И «образованность» имеет свои болезни; даже имеет дефекты сила, здоровье, наконец, богатство. Есть «недостатки» в книгах и книжности. И однако, *все это* суть благо. Едино-родное и едино-верное дворянство есть такой естественный и необходимый член национальной организации, народного строя, земского устройства, член именно защищающий, охраняющий и предводительствующий, который может оспариваться только тем, кто ненавидит *самую страну, самую землю и самый народ*.

Крестьянство, дворянство и духовенство если живут у нас «не в ладу» или *если они где* живут «не в ладу», то лишь как «не в ладу» бывают между собой сербы, болгары, греки, румыны. Это — несчастье и случай, это — минута, но никак не «естественное положение вещей». Чего-то недостает; но во всяком случае недостает подробностей; и это совсем не то, что неодолимый антагонизм. Дворянство у нас два века уже — «французского образования», вместо того чтобы быть православно-русского; духовенство часто, увы, совершенно необразованно и *не воспитано сердечно*. Крестьянство вообще темно. Кроме того, всем трем не было никогда сказано какого-то *целебного слова*, которое тоже есть и, возможно, которое может тайной волшебного действия связать несвязанные части и одушевлять омертвевшие члены. Духовенство мелочно завидовало дворянству и грубо отправляло формальные службы около крестьянства; дворянство ушло или уходило в шик, тщеславие, мелкие светские пороки, в жизнь порочную, блестящую и разорительную, вместо того чтобы работать на земле и быть стражем-хранителем крестьянских интересов и нужд. Крестьянство менее всего виновно, потому что при темноте все *вины* суть уже *не вины*. В последнем анализе, конечно, именно *крестьянство*, именно *толща народная* есть та драгоценность, та «жемчужина», которую должны все сохранять, все оправлять в лучшую оправу, согревать, просвещать. В конце концов и дворянства и духовенства

роль — *жертвенная*. Но в самой этой жертве ввиду огромности ее и величия того, кому жертва приносится, должно быть великое счастье. Тосклива должна быть, горька, скучна и самоубийственна и жизнь дворянства, и жизнь духовенства, если она есть *эгоистически сословная жизнь*. Дворянство, живущее «в пузо дворянству», неодолимо и непременно будет вымирать; вымирать как скука и вымирать как грех, и духовенство тоже, если оно начнет жить «в пузо себе» или «во славу канонов своих», *безотносительно* к народу, лишится всего и не только не сохранит канонов, но, пожалуй, убьет и самую церковь, и церковность в народе. Народ же, при темноте своей, уже по тому одному, что он *неизмерим массою*, «довлеет себе», носит цель и задачу свою в себе самом, а не в постороннем, не в третьем, и выполнил еле на земле назначение, если *просто* только *сам* счастлив, хорош, чист, не загнил, не зачервился в пороках, ранах и болезнях. Народ — лес: стоит и шумит. А дворяне и духовные — мудрая охрана его, мудрое сбережение его.

Нормально — так это и есть. И вовсе не так редко это *действительно* бывает. Нельзя «по анекдотам» писать историю; но мы, русские, вообще склонны мысленно понимать свою историю именно по анекдотам. «Случилось» то-то, «рассказана история» о том-то; и мы рушим мысленно целый строй, в сущности, «по анекдоту» и по «рассказанной истории». Это беллетристическое отношение к родной истории, это художественное к ней отношение в высшей степени нам присуще, — и мы забываем, что нет действительности без «анекдота» и что самый совершенный социальный строй предполагает за фасадом своим уголовную тюрьму. «Порочного человека» мы всегда выводим из «порочного строя», тогда как «порочный человек» есть только показатель, что строй *жив* и, как все *живое*, подлежит *заболеванию* и *лечению*. «Высыпала корь», и мы «режем больного»: вот наша воображаемая, мысленная, мечтательная политика. «Зарезать» строй, «разрушить» строй: потому что в нем то-то «случилось», потому что о нем рассказан такой-то анекдот. По этой схеме у нас построено 0,9 литературы и печати: «вырезать горло» скарлатинному, «вырезать легкие» чахоточному — вот наша вечная политическая

хирургия, основанная на полном невежестве в анатомии, физиологии и патологии.

Ну, будет рассуждать...

— Взгляните на уголок старой Молдавии!

— Где?

— Здесь, внизу.

И хозяйка свела меня вниз своего дома. По узкой железной винтовой лестнице мы сошли в нижний этаж, едва заметный через небольшие окна, когда подъезжаешь к дому. Я даже не догадывался вовсе, что дом *не* одноэтажный. Но оказался там ряд просторных комнат, во всем повторяющих хозяйственное жилище, но только с более низкими потолками.

Я и в Петербурге, посещая хозяйку, бывал удивлен, что вся мебель и часть стен завешаны какими-то сельскими работами из полотна и деревянными штучками, не весьма понятными. Теперь я увидел источник этого: в Петербурге воспроизводилась *часть* того, что я увидел вокруг. Это был, в сущности, *уже собранный этнографический музей*, но расположенный *не музейно, а жилищно*. Вот столы грубой ручной работы, за которыми крестьяне обедают, вот кровати, где спят, своеобразные детские люльки, прелестные *самопрялки* (лен прядут), весьма не похожие на наши, легкие, переносные, с которыми «можно идти по полю и продолжать прясть», огромные трубки, кальяны и множество хотя грубой, но, в сущности, красивой посуды из глины. И «наверху» я заметил, что вместо «европейских подсвечников» расставлены и употребляются везде, в сущности, очень красивые, но неизмеримо более удобные глиняные подсвечники, состоящие из огромной, как бы полоскательной чашки, из середины которой поднимается самый подсвечник, т.е. цилиндр, в который вставлена свеча, и верхушка этого цилиндра соединена огромною ручкою с краем полоскательной чашки. Все вымазано блеклой зеленой краской. Такой можно взять и барышне, ибо, в сущности, он элегантен, и можно взять мужику «лапищей», тогда как наш подсвечник по миниатюрности можно взять «пальчиками», а не рукой. И затем в полоскательную чашку можно навалить сколько угодно окурков и даже налить туда воды, чтобы «сразу все тухло». Подсвечники так мне понравились, что я захвачу хоть один в Петер-

бург: для трубокура и ночного читальщика нет удобнее. Можно поместить целое хозяйство, а в воде даже утопить неприятного автора.

— А вот и печь!

Опять «русская печь для печения хлебов» немного не такая, как в Великороссии. Хотя элементы те. Особенность — необыкновенная фигурность во всем и элементарный, повсюду понапиханный узор каких-то нелепых и очень милых лилий, синих, красных, оранжевых, кружочками, завитушками и дрожащей «змейкою» линий.

— Вот как живут наши мужики.

— Хорошо живут.

Рубахи мужские почти не отличаются от женских, с незакрытым воротом (жара).

— Так и женщины ходят? ведь не закрыты груди?

— Ну что же: и на севере бабы кормят ребят на виду всех.

Мы стали подниматься. Милая хозяйка остановилась на полулестнице и, глядя вниз на свои сокровища, сказала:

— Вы не чувствуете, что здесь детьми пахнет?

— Где?

Сама она бездетная, вдова. Сын, безумно любимый, умер четырех лет. Прелестный грустный мальчик (по портретам).

— В моем домашнем музее. Вы же видите, что деревья нигде не видно, все покрыто коврами, полотнищами, диванчики низенькие, и все таково, что можно в каком угодно месте положить ребенка. Каждая комнатка просит женщину и ребенка.

— Это великолепно. Пока вы не сказали, я не чувствовал, хотя чувствовал в обстановке какую-то нежность и мягкость. Но как вы сказали, и я чувствую, что сюда недостает детей.

— Не правда ли, — сказала она с восторгом. — Я покажу вам наших молдаван. Это прелестный народ, полный воображения и черт знает каких выдумок, которым смеешься, смеешься, а потом и задумаешься. Живая мифология, творящаяся сейчас. В чем-нибудь *действительном*, реальном их трудно убедить: это кажется им неинтересным, и они не верят. Но если вы расскажете им что-нибудь совершенно невероятное,

они моментально в это уверуют, как в несомненное, — и сами постоянно рассказывают небылицы, «на той неделе бывшие в соседнем селе», слушая которые вы помираете со смеху... Да вот вам: раз приходят и жалятся, что в учебнике для ребят написано (о первом марта 1881 года⁵):

— Скажите, барыня, разве это может быть?

Молчу.

— Царь не может умереть, а тут сказано даже, что его...

Молчу. Не понимаю. Потом догадываюсь из их слов, что, по их мысли, *цари вовсе не переменяются*, что в России *постоянно царствует один царь*, который бессмертен.

Хозяйка взяла руки в боки и громко весело расхохоталась.

— Ведь *видят, знают!* Вот в книжке учебной *напечатано*: но параллельно этому у них живет упорная какая-то своя мысль, и они тверже верят ей, этой своей вере, нежели тому, что им говорят и даже о чем напечатано. Ночью как-то вылетела из-под крыши огромная черная птица и бесшумно полетела. Должно быть, сова. Я взглянула на горничную, стоявшую возле. Она стояла бледная.

— Это, барыня, Полночь.

— Это сова!

— Нет, барыня, вы не знаете. Это не птица, а Полночь пролетела.

— Что я с ними стану делать. Их невозможно выучить, но нельзя их не любить. И все в фантазиях...

Смеющаяся толстушка мне так понравилась своей гармонией с крестьянством, что я невольно поцеловал ей руку.

III

Оказывается, богослужение здесь действительно на двух языках, молдаванском и русском... Под Вознесенье поехал в один монастырь, с настоятелем отцом Иннокентием, и совсем недавно, ранним утром, в другой — с отцом Варсонофием. Направлений уже не помню. Только помню, один раз ехали «туда», а другой — «сюда». Все — в горах, и направлений не видно, и дороги не очень понимаешь. Тут, оказывается,

«отроги Карпатов», и видно небо и самое коротенькое расстояние вокруг.

«С отцом Иннокентием» монастырь лежит в глубокой балке. «Балка» — это рассеившаяся, как бы зигзагообразно треснувшая почва. Я не верю, чтобы «балки» образовались от ручьев, текущих тонкою ниточкою на дне их. Мало ли таких тоненьких ручейков у нас на севере; почти около каждого города своя «Черная речка», но балок — нет. Течет ручей или речка в плоских берегах, и больше ничего. Откуда же эти колоссальные трещины-балки? Похоже на то, как будто бы всю местность кто-то выгибал вниз, «на колене», — гнул, гнул, и вот она в местах сгиба не выдержала и треснула, в одном месте, в другом почти параллельно, дав этот излом и остроту углов. Ничего — лощинного, сглаженного, ничего — прямолинейного.

В одной из красивейших складок, на уступе трещины, и приютился монастырь «с отцом Иннокентием». Раньше я его видел сверху, ехав на осмотр хлебных полей Сахарны. Тогда он кажется совсем в пропасти и чрезвычайно красив. Окрест, по «морщинкам балки», раскиданы огороды; гряды роют несколько иначе, чем у нас на севере. На севере гряда длинная-предлинная, все гряды — рядышком, и борозда между ними очень узенькая. Здесь очень много земли уходит на борозды. Они так же почти широки, как гряды; в них можно бы спокойно спать, даже раскинувшись. Это, очевидно, неутилитарно, и мне непонятно, зачем — при тесноте в балке — столько места потрачено непроизводительно. Земля возделана тщательно, «бархатно». Особенно был хорош огород одного глухонемого монаха. Вообще все огороды сделаны руками монахов. Монастыри, как и у нас на севере, крестьянско-монашеские. Вошли.

Все наше. Вот и Серафим Саровский. Его невольно ищешь теперь почему-то, входя в православную церковь на чужбине или несколько на чужбине. «Проверка, по-русски ли». Образ большой, в эпитрахили, в несколько склоненном виде, — и с этой белизной лица и волос, какая присуща всему великорусскому. Но кроме его лика лики остальных святых и многочисленных, в богатых окладах, богородиц — все уже темного, молдаванского отлива. Это какая-то темная бронза. Не

смуглость и чернота, как на иконах греческой церкви, на Лиговке, в Петербурге, а своя, особенная. Цвет скорее всего недоспелой сливы.

Богослужение торжественное и очень длинное, монастырское. Меня поразила нарядность риз; в них меньше золота и серебра, чем у нас, и нет повсюдных крестиков по полю ризы или в значащих ее местах. Место этого заняли огромные и чрезвычайно яркие цветы, чашечки цветов, «шапки» цветов, пунцовые, голубые, зеленые. Кажется, самое поле ризы — светло-зеленое, и по нему эти большие «головки цветов». Все имело вид «макового поля», и это маковое поле на старых или пожилых иеромонахах, частью громадного роста, было своеобразно.

Настоятель — молдаванин и с сильным молдаванским акцентом читал Евангелие и произносил возгласы. Правый хор — русский, с безукоризненным русским пением (почему-то «акцент» в пении теряется), т.е. с пением славянским, к какому мы привыкли. Левый хор — молдаванский. В том, конечно, я ничего не понимал. Но почему-то, когда пел правый хор (порусски), по поклонам и усердию, в особенно патетических местах, я видел, что богомольцы, сплошь одни крестьяне, и в большинстве старухи и старики, — все, очевидно, понимают. Вообще совершенно было ясно, что богослужение на двух языках не затрудняет и не неприятно народу; все точно чувствуют, да и практически знают, в службах у хозяев, на заводах, садясь в вагон железной дороги, что не знать русского языка — значит попадать в затруднения. И рады случаю где-нибудь услышать русский говор.

Вообще это нормально и до того «само собою разумеется», что нужно вмешательство Мехелина, русского патриота Милюкова и Чарторыйского, чтобы возбудить думать иначе. «Океанские течения» истории, которые не остановишь «своим пальцем».

Всей службы не мог выстоять. Слишком продолжительно. Потихоньку вышел и просил показать монастырь, и особенно одну «дальнюю келейку» — для пустынника. Она высечена в камне. В одном месте попались старинные церковные книги. Я думал — молдаванские. Но, открыв, увидел нашу славянскую вязь. Кажется, мелькнули и славянские слова, т.е. по звуку.

Только позднее, рассматривая у хозяйки-помещицы ученые издания археологических обществ в Бухаресте*, я увидел, что все надписи на иконных изображениях древних молдаванских «господарей» сделаны тоже славянскою вязью, как надписи на всех *русских иконах*, тогда как самый текст журналов, текст ученых статей в них, напечатан на румынском языке и буквами *латинскими* или *французскими*. «Господи, что же это такое? Теперь они говорят и пишут по-французски, т.е., очевидно, по-молдаванскофранцузски, когда, очевидно, прежде, в святую древнюю эпоху, говорили и писали по-славяномолдавански?!»

Объяснение некоторое нахожу в словах своей умной хозяйки-помещицы:

— В Румынии все теперь тянет к связям с Западною Европою, но это я нахожу ошибочным. В Бухаресте есть историческое общество, оно производит раскопки, находит римские надписи и, указывая на них, говорит: «Вот видите — мы римляне, мы — кусочек Италии, закинутый сюда; мы — Европа и нисколько не славянство, не Восток». Это — ошибочная тенденция, потому что воспоминание *не живое* есть уже и не воспоминание, а какое-то шевеленье чужих гробов. Народу это непонятно и чуждо. У народа были «господари» и «воеводы», и портретные изображения вы можете найти в этом же «Журнале Археологии», а народ видит эти изображения на западной (задней) стене своих церквей. Вот бородатый, в короне, отец, — и безбородый сын его, — поддерживают руками построенную ими церковь, т.е. ее план и копию, ее рисунок, — совсем как у нас в Москве и Великороссии. И внизу, между двумя большими их фигурами, ряд маленьких: это — последующие ктитеры, или «старосты» церковные. Портреты, таким образом, светских лиц, лиц политических и общественных, отнюдь не «святых», — внесены внутрь церквей, и, может быть, темный народ на них иногда и помолится. Большой беды от ошибки нет: он молится «храмостроителям» своим. Что же эти старые и древние храмостроители, в огромных кафтанах с широкими рукавами, с квадратными бородами, — имеют общего с

*Buletinul comisiunii monumentelor istorice. Bucuresti. 1912—1913 гг.

римлянами времени императора Адриана, когда, по-видимому, выведена была на низовьях Дуная римская колония и был построен город Адрианополь? Да это русские бояре и русские архиереи на портретах и на иконах: вот Николай Чудотворец, и подпись по-славянски: «Св. Никола». Связи — с Болгарией, больше и теснее всего потому, что из Болгарии пришли в Румынию первые святые, первые архиереи, первые монахи, первые священники, — и оттуда же принесли они это церковное, т.е. церковнославянское, письмо вязью. Затем — горячие живые связи, но страдальческие, с Турцией; и довольно уже отдаленно и отвлеченно связи с Византиею, с Царьградом и Афоном. Церковь — единственно живая, *ежедневно перед глазами текущая история*, и она ни одного не имеет воспоминания о Риме, Италии, о Франции или Европе, а вся связана с *тутошними делами* на Балканском полуострове. Но даже и не в этом, не в церкви главное, а в народе: я нахожу, что добрый, в высшей степени ласковый и приветливый молдаванский народ, доверчивый, прямой и наивный, сам собою сливается совершенно с таким же русским населением, и хоть они не понимают или с трудом понимают ваш говор, но вы по улыбкам, по жестам, по походке мужика на улице, по сниманию шапок при встрече с прохожим, — видите, что между *вами* и *им* нет никакой психологической разницы, нет раздора и даже непонимания, а, напротив, есть полное интимное понимание, только без слов, как есть такое понимание между матерью и ребенком в люльке, где тоже речей нет, а есть связывающая обоих улыбка. Что же между этим «валахом» и «молдаванином» общего с французом, с ксендзом, с австрияком или венгерцем? с католическою мессою и всем подстриженным и выбритым бытом Европы вообще?! Ничего. Но «валах» и русский «увалень» даже по звуку похоже, и естественно им жить вместе. Собственно, никакой «Румынии» нет, это есть дипломатический и политический термин, созданный преднамеренно, чтобы отделить страну от России; есть «валахи» около Дуная и «молдаване» севернее, и есть «Молдо-Валахия». И французская азбука им дана в целях того же гражданского, школьного, книжного отделения от России. Но *вид* церквей, таких же, в Яссах и Бухаресте, как в Ярославле и в Москве, как в Ки-

еве, — говорит *народу* о другом и тянет к связям совсем в другую сторону... Румынская история испорчена и за этот век, но, Бог даст, поправится.

Я несколько распространяю смысл слов моей хозяйки, но он этот, и своей тенденции я не вкладываю. Как-то в праздник, во время обеда (*час дня*, — ибо хозяйка встает в *шесть* утра), я услышал громкое пенье, которое принял за пение проходящих мимо дома девушек... Но что-то очень громко и близко; любопытный, я, извинившись, вышел из-за стола, чтобы посмотреть в окно рядом со столовою находящейся «конторы» (просто — комната с хозяйственными книгами): голоса — совсем в ухо! Отворив дверь рядом, где висит на гвозде одинокая сумка для писем, я увидел 6 или 8 девушек, зашедших сюда «ни ради чего» и начавших петь на своем молдаванском языке... Я долго не мог свести с них глаз, а они, немного поулыбавшись, продолжали «вовсю...». Голоса едва ли не в большинстве — контральто. Нельзя было не улыбаться на них и им встречно не улыбаться: это было что-то до того дикое и первобытное, до того «ни до какой Германии» не доскачешь, что как будто я попал не на границу России, а что ни на есть в самую Симбирскую губернию, откуда вообще ни в какую сторону до края России не дотянуться. Я был как загипнотизирован их глубоко счастливыми лицами, «отчаянными и отважными», и невольно думал:

— Боже, Боже! куда девалась *политика*... Да это совсем «каменные бабы», каменного периода, — какие-то деревянные статуи, состоящие из живота, орущих горл, полного блаженства сегодняшней погодой и единственно нуждающиеся в мамалыге (еда из кукурузы, во всех формах, хлеба, каши и похлебки) и в муже. И — ничего еще... «*Была мамка, и будут детки*» — вот и вся история. Быт, экономика?

— Сотня — два рубля (черепица)... Так отпусти мне две сотни... Мне надо больше немного, но как же считать... Две сотни...

Ничего среднего между *сто* и *единицей* уже не вмещается в голову. Все промежуточное — уже неуловимо, и даже он думает, что этого никто не сумеет сосчитать. Так передавала хозяйка один свой торг, добавляя:

— Как же их не обманывать, — и вы понимаете, что делают с этим народом евреи...

Все это отразилось на поющих девушках. Они пели от хорошего воздуха и хорошей погоды. «Боже мой, куда им тяготеть, — к Румынии, Австрии, к России...» *Вопросов этих никогда для них не существовало и не может существовать.* Они живут совершенно до истории и вне истории, для них «царь, конечно, бессмертен», царь, сказки, песни, мифы, виноградники и вино. Это та жизнь, которой отражения мы имеем в «Илиаде» Гомера, в наших былинах и сказках, финны имеют ее в «Калевале»... И, ей-ей, я никогда не разрушал бы этой жизни, блюдя только, чтобы она была трудолюбива и трезва...

Но разные «системы политик» уже, кажется, ходят около деревни, и как не припомнить церковного слова: «Бродит лев, рыкая и иский кого поглотить...»⁶

IV

Другой монастырь, «с отцом Варсонофием», лежит на дальнем берегу Днестра. Как и предыдущий, он называется «Сахарнянский», по имени местности, и без специального своего имени «во имя угодника» или «во имя праздника» (как наша «Введенская пустынь» и проч.). Ехать пришлось очень долго, по берегу над обрывом. Впервые увидал здесь (южных) аистов, чего-то ищущих около воды и шагающих там по берегу.

Доехали. Оставили лошадей на берегу и стали взбираться на необыкновенную кручу. Идем, идем, идем... И спины, и ноги ноют. «Святые трудились, и мы потрудимся...» И вот — кресты, иконы и все благочестие...

Лесенка вырублена в камне, и самый монастырь, т.е. кельи его и церковь, врублен в стену. То есть они все выдолблены в массиве горы, и «фасад монастыря» есть в то же время просто каменная первозданная стена. Монастырь на середине подъема, и лесенка, также вырубленная в камне, вьется дальше еще столько же. Таким образом, монастырь висит в воздухе, как орлиное гнездо, — и даже буквальнее — это как «ласточкино гнездо» у нас по высокому берегу Оки, являющее просто дырку в песчаном грунте откоса. Куда же «идти», куда «спасаться из этого монастыря» или как из него «уходить в мир»...

Село на другом берегу Днестра — наискось и далеко. Вблизи вообще *ничего нет*. Притом село, очевидно, не древнее, а монастырю — несколько веков, он раньше самой Сахарны. И значит, раньше монахи жили прямо как ласточки, на совершенно диком, пустынном берегу в степях и горах бегущей реки. Одиночество, уединение было выражено разительно.

— Эй, *кто тут? Кто жив и есть?* — закричал мой спутник.

— Никого нет, — вышла баба с ответом. Смотрит сверху, облокотившись на камень «вместо перил».

Я ахнул от изумления. Мужской монастырь и одна баба.

Просто стою и не произношу слова от изумления. Что-то символическое. Смех разбирает «от пупика». — «Нет, это вечно попадаютса Розанову такие истории. 15 верст ехал, чтобы увидеть мужской монастырь. Пустыня, в горе. Полный Афон. Вошел: одна баба».

Не стара. Лет 40—35.

— Да что ты тут делаешь?

— А прибираюсь. Полы мою.

Естественно. Не монахам же судомойничать.

— А где же отцы?

— Наверх ушли. К обедне (ранней). А после обедни задержались.

Дело в том, что совсем на горе, на «равнине страны», — как пишется в географиях, вот над этим обрывом-берегом, построен лет шесть уже полный и настоящий монастырь (потом мы посетили его), с каменным благообразным корпусом для келий монахов, и к корпусу приделан домик, где в трех комнатах — необыкновенно чистых и приветливых — помещается отец Варсонофий, игумен. Он «совсем наш», русский. Поил жидким чаем. Скатерть (чтобы не замочить ее и не запачкать) покрыта раскрытым листом «Вечерние Биржевые Ведомости». Подивился. Все чудно. Афон. «Биржовка», благообразный, очень разумный старец и внизу баба.

Попросил покрепче наливать чаю. Сумели. А то приносили просто желтоватой кипяченой воды. Очевидно, культуры «чаепития» нет, и этот парад заведен только для больших праздников или для гостей.

Возвращаясь, доскажу, что на твердо нами выра-

женное намерение осмотреть кельи в горе баба ушла и минут через пять, приглаживая волосы, вышел послушник, — вообще в «стихарчике» кто-то, весь масляный и молодой, пригожий и смуглый, который на «службу не пошел» наверх, — и показал нам и церковь здесь, и старую келью отца игумена (*теперь* она перенесена наверх), с окошечком прямо в алтаре церкви, через которое отец игумен века слушал службу церковную, молился и надзирал за благоговейностью монахов на службе. «Все по порядку и в полноте».

Место это важно потому, что сложилось и жило еще за века до присоединения Бессарабии к России, что *оно-то* помнит и гайдаматчину, и запорожье, и времена Тараса и Остапа.

Вышел я и, опершись на камень-перильца, долго смотрел на необыкновенной красоты панораму, открывшуюся передо мной.

За спиной — крест, церковь и каменная стена с выдолбленными кельями. Отсюда века 5—6, 8—10, 15—20 монахов и в вечерний тихий час, и в утреннем солнце смотрели, как я же, вниз и питались тем видом, каким наслаждался я сейчас. Внизу, на страшной глубине, вьется широкий Днестр; все-таки очень широкий. По той стороне степь, где ныне раскинулось веселое и суетное село. В старые века и его не было; одна безлюдная степь.

В очерках византийского монашества Вл.А.Кожевникова («Религиозная библиотека» М.А.Новоселова, один из выпусков)⁷ я прочел, что в старой Византии, веке в VI, VII и позднее, монастырей было до того много, что это, наконец, стесняло жителей и города. Монастыри возникали буквально как растут грибы: везде, постоянно, возле каждого села, на каждой горе; сегодня — есть, завтра — нет; соберется 2—3 старца, построят кельи в лесу — и вот «монастырь»; умерли — и нет монастыря. Зато он вырос «в том краю леса», и просто оттого, что туда пришел «старец» и хочет спастись в одиночестве. Никто этих «монастырей» не записывал, никто их не считал, никто за ними не наблюдал, не «надзирал»; «производить ревизии» и в голову не приходило.

«Что же это было за явление? — думал я. — Есть ли «теперь» монастырь то самое, чем был он «тогда»?

Вот сюда залезли, в такую кручу, в такую неприступность, 6—8 человек. Зачем?»

Да просто — в одиночество, в уединение. Великая жажда *уединения и молчания* так же велика в человеке и вечна в нем, как потребность общежития и разговор. «Монастырь» такой же столп цивилизации, как город. В городе человек рассеивается, в монастыре человек сосредоточивается. Там он «тратится», здесь он «собирается»⁸. Это не только природа человека, но и природа географии. Море испаряется, собирается в облака и рассеивается через *дожди*; а они собираются в ручьи, реки и впадают опять в море. Пропорционально тому, как люди шумят, общаются, торгуют в одних местах, они *где-нибудь* должны рассеяться, разъединить, побыть «с собою» наедине. Я сам здоровее и свежее себя чувствую, потому что передо мною океан воздуха и я не слышу ни единого *голоса человеческого*.

Беззвучность, молчание — да это рай духовный. Леса, пустыня, океан чистого воздуха, восход солнца — да это исцеление души! В это «исцеление души» люди и уходили, — уходили древние люди древней Византии, той *утонченной* Византии, которая в 5—6 лет воздвигла Софийский собор в Царьграде, которого ни понять (в тайнах архитектуры), ни воспроизвести не могут современные ученые-архитекторы; и ни в какие потом века не могли такого же построить. Наконец, та *утонченная* Византия, которая без университетов и академий дала столь совершенный кодекс законов («Corpus juris civilis» — Юстиниана Великого), какого тоже не могут создать наши «цивилизованные» государства. По этим крупнейшим, фундаментальным фактам, по уменью дать ответ на вопросы, «где молиться» и «как судиться», — мы можем заключить, что варвары и неучи — мы, а цивилизованны были — они. И вот, на третью великую потребность — «усталой души», они тоже изобрели великое исцеление: одиночество, природа, *монастырь*. Монастырь был просто откинутою в сторону жизнью, без запретов, отчетов, ревизий, решительно без всякого «экзамена поступления в монастырь» и без всякого «устава». «Устав» явился уже потом, и он не мог явиться ни ранее, ни одновременно с тем, «для чего устав», «кому устав». Сперва — люди, избранное ими состояние; и потом — «устав» сос-

тояния. «Сперва — город, а потом — полицеймейстер». Как же неправильно мы понимаем, когда думаем, что сперва полицеймейстер, а потом «вокруг полицеймейстера и для исполнения его распоряжений вырос город». Это чрезвычайно важно и освещает одну из запутанных особенностей богословия наших дней. Когда пришел «устав», и пришел совсем «потом», то он захлестнул в «правила» свой *обыкновенный вид* этих одиноких «спасающихся людей», — именно *бессемейность их*, безженость, безбабность. И так как вокруг этого пункта по понятным причинам закипел внутренний молчаливый спор и душевная распря, то захлестнул это правило упрямо, крепко, как «первый параграф». Вырос знаменитый аскетизм, заволокший все небо церкви; вырос из «первого параграфа монастырского устава». Между тем это было именно «обыкновенное зрелище», но никак не «сказанное мною себе условие». Отдохнуть и исцелиться душою, воскреснуть в природе, помолчать и пожить в беззвучности, — именно я пойду *один*, совсем один, без *детей* и *семьи*. Но это не выражает моей вражды к *детям*, к *семье*. Вражда — вообще грех, а уж к *детям*, *семье* — что-то чудовищное. Если принять концепцию, о какой я думаю, то эта чудовищность, не вмещающаяся ни в какую религию, не совместная ни с какой любовью к Богу, — возникла чисто случайно и ненароком, произойдя описанным способом. «Случайное» потом было записано «в форму», к этой форме приставили «канцелярию», надели на нее «мундир»: и все так «запечаталось», что печати этой теперь и отодрать невозможно.

Но *вне канцелярии*, в *самых монастырях*, безотчетно живет традиция древнейшего духа, живет древнейшее *понимание* монастыря, как именно только одиночества и «удаления от мира», без «прочего». Таким образом, *сам-то монастырь* в поэзии своей и в глубине своей не враждебен нисколько ни одной заповеди Божией и не производил никакого «водоворота» в богословии, водоворота между Ветхим и Новым Заветом. Отсюда его душевный мир, ясность жизни и мирозерцания, какие очевидны каждому, кто переступает его порог. «Монахи» не то что приставленная к ним канцелярия.

— Мы живем тихо, никому не мешаем. Не мешайте и нам.

«Зачем им мешают», — думал и я, смотря на Днестр. «Господь благословен в утре и вечере, в ночи и в дне, в городе и одиноком ските». И благословляли бы друг друга, и никто бы ни к кому не прицеплялся.

И я мысленно проклял Боккачио с его анекдотами («Декамерон»). «Боккачио ничего не понимал». «Боккачио — просто канцелярия и в помощь канцелярии». «Боккачио поэтическим пером помогал и усиливал то, что писали канцелярские перья». Целая полоса литературы, самая остроумная, померкла для меня в своем смысле.

Монашек хотел поцеловать у меня руку за данный ему рубль (помолиться о «здравии»). Я отнял руку и поцеловал его в голову: «Оставайтесь с миром и помолитесь о рабе Божиим Василии» (и *присных* его). Стали спускаться к лошадям. Это было гораздо легче, чем подниматься, и грудь дышала легко.

ВОЗЛЕ ХЛЕБОВ

Ранным утром не гудел обычный гудок — и как-то скучнее всталось к кофе. Гудок-два, и ко второму, в 8 час. утра, «готов» барский дом ко всем домашним работам и исполнению своих обязанностей, ко всему «общему» и «не личному». Не «личное» и «особенное» — время до 8-ми утра. — «Что же гудок не гудел? Без него скучно!» — «Остановлены и завод (черепичный) и мельница паровая, — все рабочие и работницы потребованы «наверх» (в поле, над высоким берегом Днестра) убирать хлеб. Дожди и частью ливни, перепадавшие последние недели три, держали под испугом весь господский дом: приближалось время жатвы, хлеб доспевал, и если не совпадет «день уборки» и «ясный день», — беда. Меня поднял «подъем дома», и я попросился в поле. Передам кое-какие словечки заведующего работами. Весь волнуясь и рассекая воздух рукою, он выкрикивал, пока мы подымались на лошадях в кручу:

— *Сегодня нет завтра, сегодня есть только сегодня!!* И годовая работа ста человек, и талант земли поставлены на карту одного-двух-трех дней. К счастью, хлеба вызревают в постепенности, но вызревание завтрашнего хлеба гонит жатву сегодняшнего, и нельзя замедлить не то что двух дней, а двух часов. Что у писателя «сгорела рукопись готовой книги» и нельзя ее восстано-вить, потому что не сохраняется черновики, — то этот неповторяющийся срок в хозяйстве, который, если пропущен или если не дано в нем солнца, — пропало все. Какой же может быть вопрос об усталости, о сне, о недостатке рабочих людей. Люди *должны быть*, выпишся *после*. Уборка хлеба — в одном слове — «хватай». Готово богатство, тысячи, много тысяч, — на что будет имение жить год, на что будут кормиться ученики школы, будут оплачиваться рабочие завода, сами будем есть хлеб. Но богатство это — как кредитные бумажки на ветру, которые сейчас разнесет: «Хватай и

прячь в карман» — вот одна мысль. Вчера и ночью убрали пшеницу (и вчера гудков не было), сегодня убираем ячмень. Всех — 6 номеров. Сегодня же 1½ «схватить», если нельзя двух.

«Номер» — это площадь однородного хлеба, десятин в 30—40—50, сплошь и «гладкая», где машины работают без перерыва и помехи в бугре или в ручье, в канаве. Вообще, — «часть», «номер газеты», «глава книги», пространственно и хлебно выраженная. Половина имения «отдыхает», половина разбита на шесть таких «номеров».

Верхами — на далеких расстояниях — ездили ученики школы виноградарства и виноделия, надсматривая, поправляя «задержки» (жатвенная машина стала и не едет), помогая распоряжением. Они тоже, — как и вся почти домовая прислуга, подняты «наверх» (в поле, в работы). Другие таскают снопы, иной правит «сноповязалкой». Эта машина разом: 1) жнет; 2) колосья складывает в сноп и 3) перевязывает сноп бечевкой — самым тугим и превосходным образом. Жнет, т.е. стрижет колоссальными ножницами, правый бок машины, а с левой стороны ее уже выпадают перевязанные снопы. Все — прямо премудрость. Машину тащат четыре лошади, и все рычаги, винты и прочее, огромные лопасти, подгибающие колосья в зев ножниц, и (самое хитрое) связыванье их бечевой совершается через движение самой машины, в зависимости (должно быть) от вертящихся колес и каких-нибудь прицепок к ним. Таких машин шло четыре, друг за другом, — и они снимали разом широченную ленту хлеба. На «поворотах» колосков оставалось. «Это уж нельзя иначе», — чуть поджинают косой и вообще «вручную».

— Ах, проклятые социалистишки, — шептал я, глядя на удивлявшую меня машину. — Хоть бы вы выдумали «улучшение» сноповязальной машины, которая захватывала бы и эти вот «колоски на повороте». Американцы выдумали машину, а «русские социалисты», например Плеханов и Мякотин, вот бы прибавили к ней «свое русское улучшение», и получилась бы «гармония России с западной цивилизацией» и настоящий «прогресс»... Но нет — самый ум не направлен сюда, не ищет ничего здесь, не ищет хлеба, не ищет еды, не ищет «как бы лучше», а ищет только как бы

«злее». Волчья наука, волчья и отчасти жидовская, весь этот «социализм», завершивший политическую экономию, поднявшуюся с почвы народного хозяйства. Какие же «хозяева» евреи, они — счетчики. Нельзя представить и нельзя нарисовать еврея, «идущего за плугом», или еврея, «сеющего зерно», а можно только нарисовать еврея со «счетами» в руках или обрезающего червонец. И как только из рук англичан, французов и немцев политическая экономия перешла в еврейские руки, к еврейским теоретикам и ученым (а она вся перешла к ним), так она и переменяла тон хлебного хозяйственного дела на тон дела: 1) счетного, 2) потом обирательного и теперь (социализм) — 3) «разорить бы все» (революция). Она потеряла мысль и перешла в шум, в зубы и когти чуждой Европе, враждебной Европе нации. «Рабочие» и «бедняки» — только штурмующие колонны в распоряжении евреев, которые имеют «предмет» в штурмуемой крепости, — европейской цивилизации, — а отнюдь не в этих «колоннах» блузников. Отроду еще я не видел, да и никто, вероятно, не видел, чтобы социалист чему-нибудь практически полезному подучил «пропагандируемого простолюдина», подучил бы мастерству, подучил бы делу и довел до художества, а через это и до *прибыльности* в деле. Он его злит и «уськает на другого», рабочий для социалиста — всегда собака, а не человек.

Гуськом бы я их впряг в плуг, вместо «высылки в места отдаленные», и работал бы через мускульный труд гг. чернильных людей и солдатский хлеб. Давно бы пора создать «казенные рабочие батальоны», à la фаланстеры Фурнье, и умирать души не наказанием, а нужною отечеству работою.

Но это — раздражение мое, — может быть, тоже излишне теоретическое. Перейду к впечатлениям, которых было много, и, главное, они были очень сложны и новы для горожанина.

* *

*

Я старался безмолвствовать и не мешать моему спутнику распоряжаться. Кое-что лишь в минуты отдыха он мне объяснял. Но понимать-то понималось в

минуты разъяснения, однако все теряло «ответственную определенность» через $\frac{1}{2}$ часа, через час... У меня осталось впечатление, что это — сложнейшая наука, столь же практическая, как теоретическая, и полная интереса, вовсе не денежного только, а какого-то воздушного, одушевляющего.

— Вот у меня и был интерес: захватить этот осот (сорная, крупная с цветами трава в хлебе), пока он не выронил зерен. Он цветет, но не созрел. Хлеб должен быть сжат в момент, когда он сам *дозрел*, а сорные травы — *не дозрели*. К счастью, это не совпадает или *может* не совпасть, и тогда этим надо пользоваться. Травы эти отлично ест лошадь, машины их (при молотбе хлеба, что ли) отбросят, а земля останется хотя с корнями этой дряни, но не получив в себя зерен их...

— Вот на этом номере (сжатая вчера пшеница) совсем не было трав. Ни е-ди-ной!! Мужики дивились, ходили. — «У этого барина совсем нет травы в хлебе». Но это удалось только в этом «номере», и для этого надо было нумеровать одним годом.

И тут он объяснил мне механизм «подготовки поля», который мне показался наукою:

1) Нужно, чтобы микроорганизмы (или черви?), подготавливающие землю для плодородия, — могли жить, и потому *воздух должен проходить глубоко в почву*. Для этого она должна быть так-то вспахана, так-то повернута.

2) Надо, чтобы земля не сохла: для этого *поверхность соприкосновения ее с воздухом должна быть наименьшею*. Поэтому поле должно быть гладкой простыней, без ямок, углублений, без косых плоскостей, горизонтально в каждой четверти.

3) И потом еще во внимание приняты сорные травы, осот, — борьба с которыми тоже целая наука. Тут их корни, тут их семена; тут — время обсыпания семян.

— Крестьяне не понимают, что *пустое, сжатое* поле не есть *неработающее поле*; и выгнать им свой скот в чужое поле, с вывезенным с него хлебом, кажется «ничего». А между тем *примять землю* — значит испортить поле для будущего года. Он думает, что я скуплюсь: «Барин такой *скупой* — не дозволяет выгнать коров на *сжатую полосу*»... Вот вы и объясните ему...

Что же «я ему буду объяснять», — подумал я: я ничего не понимаю сам. Мне тоже кажется, т.е. всегда казалось, что «не дать попасть скоту на пустом поле» — одна скупость и одно злодейство. Но *кто* мог бы, и гениально мог бы, объяснить это мужикам, да объяснить на всю Россию, — это гр. Л.Н. Толстой. Не хочется поминать печально великого старца, но, чем срисовываться и в тысячах снимков передавать себя «идущим за плугом», что интересно только для безработных студентов, или чем складывать печь вдове Лукерье, — было бы плодотворнее для всей России взять *свое* мастерство в руки¹, — мастерство дивного, простого, всем понятного слова — и написать вместо морализующих христианских рассказов — книжку, и даже ряд книжек: 1) как надо ходить за землей; 2) как надо ухаживать за скотиной и чем ее лечить (в простейших случаях); 3) как надо держать дом и детей, с маленькою тоже наукой чистоты и порядка. Может быть, пропущен был в нашей литературе и даже вообще в русской культуре единственный случай сочетания человека, жившего и имевшего влечение жить крестьянским трудом и крестьянскою жизнью и имевшего дар *такого дивного изложения*, понятного мужику, бабе, — ребенку понятного, — какой может никогда еще не повториться. Толстой мог написать *деревенскую книгу*, какой никто бы не написал, какой нет во всемирной литературе. А он занялся «вегетарианством»... Упущенное время, в своем роде осыпавшийся хлеб... Мне, видевшему хлеб только в виде «булки от Филиппова», объяснения моего спутника были темны, так как самый предмет, самый материал всего этого чужд, чужда «сия природа вещей»; но крестьянину, конечно, все это усвоимее, он хватал бы все с полунамека, зная, что к чему относится...

На меня пахнуло только одно:

Мудрость и добродетель.

Все это «дело около земли» мне представляется именно в силу его великой сложности, многообъемлемости — какою-то мудрою книгою. Тут работает и *червяк*, пропуская землю через кишечный аппарат свой и обогащая ее какими-то кислотами этого кишечника, «*нужными хлебу*», — и солнышко, самый Большой Барин в деревне, и хозяин земли — человек, и прибыль

его, и талант руководить массою (рабочих), приласкать, угрожать, приказать. Тут «абсолютное веленье» летом, исполнить которое нельзя замедлить ни на минуту, подготавливается «заботой о твоей нужде» (крестьянской, служилого люда), о «твоей боли» — всю зиму. Тут такая масса отношений, психологичности, что — опять же повторю слово моего спутника:

— Это — целая губерния! Он говорит полевым, не комнатным языком, и вся речь не очень понятна, но главное слово всегда выбежит четко вперед. Что они там (в канцеляриях) пишут. Вот *управься с этими землями и с этим народом*, — не обижая, не упуская, принося пользу всем и не допуская никакого себе вреда. Это — королевство, как немецкие маленькие княжества, по сложности интересов, предметов и людских отношений.

Сказал он это с глубочайшей, проникновенной верой. А я, как бывший учитель истории, подумал:

«Ба! Да ведь тут есть *историческое объяснение*. Все государства выросли из *земельных угодий*, из «своей усадьбы», которая доросла до княжества, до королевства... Не так ли росла, сложилась, крепла Москва, «поместье Калиты» и рода его... Но это было не в *одной* Москве, но везде...»

Мысль моя уносила. На земле, где я гощу, много работается, и как-то мелькнул даже афоризм, удивительный в устах помещицы: «Следовало ли ревизовать дворянские имения, и кто *отдает в аренду свою землю*, — у того ее отнимать». Ну, это, положим, — слишком. Она даже сказала резче: «Есть турецкая поговорка: *конь* — того, кто на нем ездит, *меч* — того, кто им сражается, а *девица* — того, кто с нею наедине, — и, рассмеявшись, прибавила: — А земля. — того, кто ее работает». Это нельзя сказать, потому что прежде всего потребуется сделать исключение для малолетних, исключение для больных, — при каких «владельцах», естественно, земля не может не быть сдана в аренду. Ну а раз нашлись исключения, придется сделать «оговорки» и в других случаях. Нет: подобно тому как в «торговле» основные деньги есть, конечно, «золото», но допускаются, и даже невольно, и «кредитки», а, наконец, ходит наравне с деньгами и «вексель», «заемное письмо» и прочее, — так точно и

в земле хотя основной владетель есть работающее землю лицо, но от него правомочными *наследниками* являются его дети... Слова моей хозяйки можно принять и следует запомнить как некоторый моральный зов, как отдаленную угрозу и как самый общий, отдаленный принцип... Мысль моя обратилась к другому. Я припомнил миленькое герценштейновское (служил в еврейском земельном банке — Полякова в Москве): «Земля — Божья», т.е. разумелось: «ничья». И еще дальше подразумевалось: «Забирай ее» от помещиков и, конечно, в следующем поколении «передавай евреям»... Мне же кажется, что не *жалованье*, не писательский *гонорар* (в эпоху революции не испытывавший «потрясения»), не «учет» в банках и банковские же «взыскания по векселям» являются прототипом и кряжем *собственности*, а именно *мною обработанная земля, с положенным в нее зерном, с положенным в обработку ее трудом, искусством и мудростью*. Таким образом, именно помещичьи-то земли, а не «гонорары», не «рабочая плата» — и непотрясаемы по существу идеи справедливости. Земля действительно «Божья» — пока она «пустырь»: а как по ней прошел плуг и положено зерно — так она его «хозяина», крестьянина или помещика, имя тут ни при чем. Сравнивали с «воздухом», с «реками», с «морями». Ну, все это жидовские сравнения, сравнения политической экономии и банка: воздух и реку никто не «работал», и «зерна в них никто не клал». *Обработанная земля* есть начало всех *собственностей*, — особенно начало, так сказать, по богатой беременности своей, по «чреватости *будущим*». В противоположность «гонорарам», «жалованьям» и «заработным платам» — вещи слишком подвижной и сегодняшней — «земля земледельца» по содержащемуся в ней зерну есть *годовая собственность*, а по обработке ее есть *вековая собственность*, вековое «мое», «мое и детское», «мое и *рода моего*»... Из «гонораров» никогда королевства не вырастет, а из «землевладения» выросли королевства, и из них пошла история. Это — вещь. Именно, пришедшие в Европу «безземельные евреи», с характерною неспособностью к обработке ее, с неспособностью «пойти за плугом», — и вместе тоже чуждые и построения *истории*

европейской, с ее «королевскими домами», с ее «домом Калиты» и проч., накинудись на землю и ее *прикрепление к человеку*, из чего растет все, на чем зиждется все... Им хотелось бы и землю пустить в тот «финансовый оборот», в тот «бумажный водоворот», с его мечтою остаться единственным «дворянством на земле», дворянством «золотым» и «учетным». Не нужно «дома Капетингов», ни «дома Калиты», — не нужно уже для того, чтобы «очистить место «дому Ротшильда», «дому Полякова» и его верного прислужника Герценштейна. Но «счет на золото» не всегда надежен, и особенно он не окончателен. На «все мое, — сказало злато» — есть ответ, который все помнят².

Но я все рассуждаю, когда мне хотелось бы наблюдать. Спутник мой рассказывал:

— Можно всех распустить и можно всех воодушевить. Я посетил одно имение молодого талантливового помещика, который преждевременно скончался. И говорит мне его мельник: «Барин наш, Василий Иванович, *то-то* задумывает, *это-то* хотел устроить. Теперь нет никого, все нападает, запущенно». Мне это восклицание мельника показалось самым интересным из всего, что я видел в имении. Я посмотрел на него сбоку: у него была печаль. Что ему барское имение? Чужая вещь. Он только нанят. Но у него есть душа, и он «не только нанят». Когда барин работает, — это всех подымает. Пусть работает новое, пусть затевает больше: все ему кинутся в помощь, потому что мужик вовсе не животное, а человек с душою. Ему интересно, когда барин *интересуется*, — пусть своим интересуется, но он — соучаствует, не кошельком, а какой-то неуловимой поэзией в душе. А когда барин «повис», и все виснет, — когда барин в Петербурге — из человека с душой рабочий превращается в хулигана, который думает, где бы утащить себе из этого вообще пустого места.

Я слушал с удивлением и подумал:

«Да, хозяйства умирают, как и человек. Хозяйство имеет душу в себе. Это вовсе не «экономия», как кажется. Это у американцев она «экономия», потому что сам американец без души, а только кошелек и доллар. Но русские не даром имеют песни и сказки. «Земля» у русского есть продолжение его песни и требует песню

в себя, — требует именно *мудрости и поэзии* и без этого умирает. А с этим дает «сам-сот урожая»».

Вообще, понюхав земли, чувствуешь, что она родит не один хлеб, но и душу. Сколько мыслей лезет в голову!...

От 20 до 28 июля точно все стало «вверх ногами», все «шиворот-навыворот», будто природа «нарядилась в кого-то другого» и обманывает землю и людей, показывая с небес какую-то гримасу. Что такое «22 — 28 июля»? По Волге, бывало, гимназисты задыхаются от пёкла и сидят целый день в воде, вылезая на берег лишь отдохнуть. Улицы, поля дышат зноем, от которого некуда спрятаться, и забиваешься в лес, чтобы как-нибудь передохнуть. Люди, стада, мальчишки, бабы, мужики толпятся, вздыхают, обливаются потом, ругаются, хандрят от этого «солнца, от которого некуда спрятаться», и не спрятывает его, не ослабляет ни единое облачко. Небо белесовато-голубое, «хоть ты тресни».

С нами крестная сила: что же это делается, когда те же дни в Бессарабии, в 60—70 верстах от Черного моря, уже в 4 часа утра идет дождь, а когда в 8 час. утра высовываешь голову в окно, то видишь, что проходящие мальчишки и мужики «месят грязь ногами», и везде мокро, мокро, — ветви каштанов висят, все вообще висит, птицы не поют и не летают, — ветер, суровость, ставни хлопают «с размаха», точно пушки, и все говорят кругом: «Это Порт-Артур берут...»

Безнадежность.

— Каждый день срезает десять процентов урожая, — говорит печально хозяйка, отвечая на вопросы, «поправимо ли», «может ли поправиться *потом*»?

Даже *утром*, «после зари», нет солнца. Вообще — нет зари, только есть час ее. Все вообще переменялось и извратилось. Такая погода в июле есть, конечно, *извращение*; и «неурожай» есть извращение хозяйства, экономии, природы, земли, неба. Всего.

А еще недавно так весело «теребили горох». Я поднялся «наверх», в поле. Был праздник, «нерабочий день» (только не воскресенье), и собрали народ на работу музыкой. У нас в Великороссии это называется

«помощь», у хохлов — «толока», у молдаван — «клака». Нанимают музыкантов, — приходят «скрипка», «альт», флейта, труба какая-то с большими изгибами и турецкий (здесь называют — «военный») барабан. Оркестр стоит в стороне и играет музыку, песни, танцы, в то время как парни, бабы и девицы энергично (действительно — энергично! я видел) «убирают поле». Так это продолжается некоторое время, когда работающие дают себе передышку: они сбегаются, музыка переменяет песню на танец, и все начинают танцевать. Отдохнув, опять начинают работу.

Работа действительно идет как не работа, а как игра, хотя она совершенно серьезна и «поле убирается». Моя хозяйка обобщила эту мысль в замечательном выражении:

— Не нужно *креста* в работе, т.е. чтобы она чувствовалась как *крест* и *страдание* человеком. Нужна *радость* в работе, чтобы человек чувствовал ее как удовольствие, как необходимость для сильного тела и живого ума.

Присматриваясь (вечерело), я увидел, что как будто одна баба, с опущенным почти до носу платком на голове, явно уже не молодая, вся согнувшись, неистово теребит горох, а ноги ее топают. «Танцует?» Недоумевая, я перешел край поля и приблизился.

Выпрямилась и подняла с глаз платок. Старая не старая, а совсем пожилая.

— Что же ты, баба, так танцуешь?

Молдаванка. Мотает головой. Не понимает. Опять опустилась. Музыка играет, и она в каком-то увлечении опять не только топает ногами, но буквально совершает полный «тур танца», только не вокруг кавалера, а вокруг захваченной в обе руки копны вялого, повислого, блеклого, зрелого и перезрелого гороха, — уже почти повалившегося на землю (оттого и надо было торопиться убирать).

— Не баба, а король. — И все весело смотрели на нее. Даже молодежь завидовала. А когда поле убрали, все перешли на двор «полевой конторы», и до глубокой ночи гремела музыка, и человек 60 всевозможное «отплясывали».

— Где они учились? — спросил я одного русского или, кажется, молдаванина, говорившего по-русски.

— Нигде! — сделал он большие глаза. — От отцов идет.

Даже дети танцевали, мальчики с мальчиками и девочки с девочками. «Машерка с машеркой», как у нас на танцевальных вечеринках в гимназиях младшие классы. Спросил я о танцах потому, что это как будто наши «образованные танцы», парами и прочее, — отнюдь не хоровод, не присядка и вообще не «полная деревня». Очевидно, «наши танцы» когда-то, еще дедами, были усвоены в деревне, переменялись, огрубели, «заросли», но передаются от поколения к поколению, как веселость и удовольствие.

* *

*

Полный урожай стоял в поле. Часть пшеницы была уже снята. Ржи и других посевов тоже. Показывая престные янтарные зерна на ладони, хозяйка радостно говорила:

— Вот *лучше этой* пшеницы уже не бывает.

Действительно, это какое-то благородное зерно, все прозрачное, с золотистым, желтоватым отливом; тогда как зерна других хлебов мутны, непрозрачны.

Все было в радости. «Земля родит», как «женщина родит». Все готово, все радуются. Все торопятся, страшно устают, ночи не спят: но эти 10—15 дней уборки хлеба и *обмолачивания* его до того нужны, великолепны, обогащают хозяина каждый час, каждый день, что, несмотря на гигантскую работу, никто не чувствует изнеможения, никто на «величину труда» не жалуется, а все «величине труда» радуются... «Сбор хлебов» имеет в себе что-то опьяняющее, торжественное; тут «земля венчается с человеком», — «земля-кормилица» дает хозяину-человеку «дитя свое», «урожай свой», который он будет весь год есть, сыт от него будет, торговать им будет, богатеть им будет.

Венчание... И вдруг оно расстраивается.

Дожди. Опозорена земля. Небо строит «рожу», показывает «рога».

Дожди.

Сегодня дождь.

Завтра дождь.

Нет солнышка.

Люди едва удерживают слезы. Каждый день их разоряет. То же, что у сочинителя «горят книги» или «цензура арестовала и уничтожила сочинение».

Но сочинитель жалуется, проклиная, винит. Деревня имеет свое величие, свое религиозное величие. Задолго до дождей хозяйка как-то обмолвилась:

— Удивительна деревня, крестьянство. Случается, выпадает неурожай. Хлеб весь погиб. Барин обойдется, но для мужика это голод.

Лицо ее приняло одушевленное, прекрасное выражение.

— И ни е-ди-но-й жалобы вы ни от кого не услышите в деревне, ни в одной избе. Жаловаться на неурожай, они считают, — значит роптать на Бога, упрекать Бога. Они это считают страшным грехом. И молчат. Т.е. не то чтобы не говорят гнева, не говорят вслух, но и в сокровении души они не допускают самого *огорчения*. Потому что нельзя огорчаться на Бога. Они говорят: урожай дал Бог, а когда он не вышел, напр. его смочили дожди, то Бог *взял только свое*, а не *отнял что-нибудь у человека*.

«Урожай» они рассматривают как «милость». Человек просил «Христа ради». Но не во всяком окне подают. Под некоторыми окошками рама не поднимается, рука не протянется с хлебом, и нищий отходит к другому окну, не жалуясь на это, а иногда даже проговаривая и «неподавшему» доброе слово: «Господь вас сохрани» и проч. Так не каждый год и с неба «Господь подает хлебушко», и тогда мужик проходит ровно, спокойно этот год, терпя. И не допуская ни единой хулы в душу.

Я был изумлен. Потом подумал:

«А в самом деле, допусти мужик хулу за неурожай, — хулу на кого? На Бога? на судьбу? — и... он бы помешался, сошел с ума и, *в общем*, перестал бы работать, бросил бы землю, «урожай» и «неурожай» и погиб бы сам. Таким образом, он глубоким инстинктом, прямо мировым инстинктом, космическим инстинктом не допускает даже простого и обыкновенного *огорчения* на неурожай, останавливаясь на черте его как на черте гибели своей, и только этой могучей удержкой перед психологической пропастью удерживает в душе ровный ясный свет, на всю жизнь свет. В городе «без

Бога» можно, но в деревне «без Бога» совершенно нельзя. Нельзя быть. Помешаются все люди. «Неурожай»? — Что такое? Случай. Как можно, чтобы «случай» доводил до голода, до смерти. Значит, «случай» Бог? Тогда пиши с большой буквы «Случай» и поклоняйся ему, и, естественно, Случаю лучше поклоняться за картами, в трактире, на большой дороге с ножом: ситуации жизни, в которых «случай» выносит. Но что такое поклоняться «Случаю» в деревне, признать «случай» в хлебопашестве? Нет здесь «случая», не может его быть, ибо все это есть дело порядковое, законное; земледелие есть «закон» и «законное царство», где есть Господин и Господь, Который дает милость, и всегда почти дает милость, но иногда приходится пройти и у закрытого окошечка».

— Значит, не заслужили.

— Значит, грешны.

— Значит, зло в нас.

— Гневаемся.

— Сердимся.

— Надо исправиться. Не роптать. Терпеть. Молиться.

Душа не развялилась. Тело не обвисло. И на следующий год «как бы ничего не бывало», «неурожая не было», — мужик пашет вновь землю с надеждой, с верой, с крепкой душой.

Вот что значит «наша церковная вера в деревне», без которой один неурожай, два неурожая кряду обратили бы деревню в сумасшедший дом, в кровавый дом, в мошеннический дом, полный ужасов и *сейчас же гибели* всего крестьянства.

Никогда не приходило на ум. Никогда так очевидно и связно.

И хозяйка говорит в другом ярусе философии, но несколько сходно с мужиками:

— Бог хочет жертвы. Что вы сделаете, — и все идеальное, прекрасное требует себе жертв. Разве терпит один хозяин, земледелец? Разве художники, ученые, разве все родители, рождая детей, не приносят жертвы, старея сами с каждым родом и теряя красоту? Ученые заветным целям своим приносят в жертву досуг, отказываются от богатства, комфорта. Не мы одни несем жертвы «в неурожай». Какое же мы имеем право роптать более, чем другие?

И, помолчав, продолжала:

— И когда мы *сами* не догадываемся или не хотим «принести жертвы», Бог берет *Сам* эту жертву у людей, у земли. Был урожай, было богатство: только бы собрать.

Сделав жест рукой:

— Вот — взять в пригоршню и положить в вагон. Получить деньги и на них жить год. И все отнято. Дожди — как в здоровье *болезни*. Откуда они приходят? Не всегда ясно. Не всегда оттого, что не «поберегся» и «простудился». Но человек всегда чувствовал потребность и долг за собою «приносить жертву». Может быть, мы чего-нибудь не доделали в жизни, сами не совершили «жертвы» лучшему, что сами признаем. И «жертва», которой мы не сделали, у нас «взята», не спрашивая нас. Переменим разговор и не станем об этом думать.

* *

*

Ветер, дожди. Снятый хлеб «прорастает». Что такое?!! Если б его обмолотить и сложить в сухие амбары, — он был бы «жив», как оказалась «живою», «одушевленной» пшеница, найденная в фараоновых гробницах. В сухом, подготовленном помещении (вероятно — в элеваторах) пшеница и всякий хлеб может сохраняться *без малейшего повреждения века*. Но для этого всякий хлеб надо немедленно обмолотить. Но мокрый, намоченный хлеб молотить нельзя. Тогда он начинает «прорастать». Необпелеванный младенец собирается родить. Зерно «растет дальше», после полной «зрелости». *Куда же растет?* Оно хочет, по законам нормальной природы, «до человека» и «без человека» — упасть в землю, прикрыться ее пушком и «прорастить», т.е. пустить из себя корешок, дабы на следующий год дать новый из себя колос. «Обыкновенный кругооборот вселенной».

— Я отрицаю человека, не хочу его, — говорит зерно — и «прорастает» на новый год, в следующий из себя колос.

— Что же я буду есть? — восклицает человек. — Тысячную часть вас, зерен, я оставляю в рост на будущий год, а 999 из тысячи зерен буду есть год.

— Нечего «есть», — говорят зерна. — Мы хотим все в землю. Хотим умереть сегодня, умереть эти дни, под дождичками, — для того, чтобы вырасти пышным золотым полем на будущий год. «Неурожай», — причем ядущий человек остается голодным и даже может умереть, если *не сберег от прежних лет запаса*, — есть «бунт природы в свою пользу», без обращения внимания на человека. То же явление, когда курица «перестает давать яйца человеку» и сама садится на них, чтобы произвести потомство. В «неурожае» природа «берет все свое назад», не уделяя человеку никаких «остатков от себя», «даров своих»: земля отдыхает полным отдохновением, зерно или вовсе не рождается, или полным составом хочет уйти опять в землю. Таким образом, то, что нам, малодушным и младенчествуящим, представляется «рожей» с неба, «рогами» с неба, — есть какая-то необходимость в кругообороте вселенной. И, очевидно, этот «случай», что июль иногда похож на сентябрь, есть вовсе на самом деле не случай, а такое же явление, как пчелы и бабочки, вмешивающиеся своим перелетом в оплодотворение цветов. Как будто приходит явление «со стороны» и «неведомо откуда взявшись». Ведь бабочки абсолютно чужды цветам, нимало плодородию их не хотят помогать, даже нимало не знают, что своими перелетами с цветка на цветок они опыляют их все, оплодотворяют их все. Да, *бабочки* не знают. Но кто-то за бабочек знает и привел в гармонию, в сочетание, в согласование бабочку и цветок, — с душами и с лучом жизни, столь далекими и несходными. Это не «кто-то», но очевидный разум, заставивший сказать о себе человека: «Бог». Когда «льют дожди» в июле, то окажется это «сумасшествием природы», а на самом деле «кто-то» отстраняет ядущего, незаботливого и самонадеянного человека от лона рождающей земли и говорит:

— Подожди. Ныне она не даст тебе ничего. Ты должен был быть молитвен, заботлив, благоразумен и сберечь все нужное себе от предыдущих лет, чрезмерно обильных. Но ты поленился это сделать или даже прогулял излишек. Будешь ты голоден или совсем умрешь (а возможность не умереть была дана тебе в излишке предшествующих лет), — все равно. Ныне ты ничего не получишь, т.е. я не допущу тебя ничего взять,

сколько бы ты ни усиливался, как бы ни изощрялся. Я берегу тебя, но берегу и землю. Будь на ней не хищником, выбирающим «последнее» и «безостановочно», а земледельцем и мудрецом. Я любил тебя, жалел тебя год, два, три, девять лет. Ныне — десятый год. Урожай этого года — «десятина Богу», и ее Он оставляет Себе и земле.

Вот смысл неурожая, полный смысл. Земля не дает человеку, земля сдерживает в себе. «Веселая свадьбка» земли и человека расстроена; земля отказала жениху своему, и ему остается постоять у дверей до будущего года, не клеветая, не злобствуя, а вспоминая грехи свои.

ИЗ МОНАСТЫРЯ ДОМОЙ

Я ехал из С-ского монастыря с инженером-мечтателем... По званию он, собственно, инженер-технолог, но больше любит цветы, землю, любит «обещающих учеников» в школе; музыки не понимает, но очень любит живопись, и в картинах, и в жизни, в книге, в убранстве и расположении комнат. Говорит плохо, залпом, сразу сто слов. Постоянно волнуется и часто бывает раздражен.

Он только со мной поехал в монастырь, а вообще в церкви никогда не бывает — по причине неудачных встреч со священниками (черствы к крестьянам). И говорю ему:

— Бросьте! Бросьте вражду к церкви. Не то... Вы сами художник, народник и, отворачиваясь от церкви, — невольно, неодолимо, фатально отворачиваетесь от всего мирового художества и вместе от мирового фокуса народа. Я тоже не умею говорить, но вы поймете с полупамятки. Отчего бредут эти черные головы все в храм и храм?..

Навстречу по двое, по трое шли, точно пробираясь, загорелые, лохматые люди, очевидно направляясь в монастырь, откуда мы только что выехали... По этой дороге больше некуда было идти.

— Ездя в Саровскую пустынь, я по дороге заехал в Понетаевский женский монастырь; и, подъезжая, до чего был поражен, увидя сельскую церковь почти возле монастырской стены, только по сю сторону стены, вне его, для мужиков и свою мужицкую. Она была новенькая. Ведь это тысяч десять стоит...

— Нельзя на десять тысяч построить церковь, — сказал он как инженер.

— Вот. Построили «свою», нимало в ней не нуждаясь, ибо монастырские большие и малые храмы, во всем богатстве и великолепии, всего в двух шагах. В старых городках наших, как я видал в Костроме, в

Нижнем, в Арзамасе, в Ельце, церкви прямо «на носу друг у друга» сидят, «наискось одна против другой»; и явно большинство их строилось вне какой бы то ни было нужды, где помолиться... «Где» молиться, — было чрезмерно, до преизбыточества, до явной чепухи. Откуда же этот пыл, страсть, готовность, прямо счастье какое-то «строить и строить», — прямо, уж извините за сравнение, точно у любовника шептать грезы возлюбленной. «Ромео в постройке церквей» — народ русский. Сравнение очень неподходящее по форме и как будто оскорбляет предмет, но по существу «горения души» очень подходит и указывает страшную высоту и жизненность предмета. Откуда же это? В христианстве и богословии народ, ничему не ученый, так мало разумеет, литургия тоже для него не очень и не везде разумительна. Да уж если хотите знать всю откровенность, то народ, стоящий в храме, не очень и по крайней мере не весь сплошь внимательно слушает службу... Так, «иное слово» скорее, чем «все». Он смотрит, глядит. Тут великое «*qui pro quo*»*. Литургия, конечно, имеет свое устремление, вне этого глазенья народа; и литургии, собственно, «до этой толпы» и дела нет: служат «заутреню», когда в церкви бывает 1—2 нищих. Служба служится для службы, это — мировое «в самом себе». Но это «мировое в самом себе» и народное, о чем я говорю, встречается в *одной точке*. Теперь пока я говорю о малом, о меньшом. Знаете, чего народ любит храм Божий и храмосиждительство? В нем он *коронуется самого себя*. Вот отчего мысль каждого села — иметь свой храм, непременно свой и непременно отдельный и самостоятельный. Хотя у нас «нет прихода» и все прочее, но народ считает себя собственником храма. «Мой храм», «наш храм», «наш сельский» или «у нас на Никитской улице». И вот он входит в «свое место», «свое владение» и «свое упование», где говорят самые дорогие ему слова.

Молятся о Царе и Царице.

Молятся о всем воинстве и, значит, «о моем угнанном в солдатики сыночке».

О всей, смутно чаемой, «палате», т.е. больших генералах.

*«одно вместо другого» (лат.).

О покойниках и «моих родителях».

О будущей моей кончине.

О Страшном суде.

«Чаю воскресения мертвых»¹.

Мужик содрогается. «До чего все — мое!.. Чаю, чаю, здесь — жду, здесь — несчастен. Но чаю, чаю, — другое будет. Бог будет, Бога на кончине узрю...»

Все в «нашем-то селе»... таком навозном, грязном, с тасканием за волосы друг друга, с охальными девками и непокорными сыновьями... Пришел вот батюшка и говорит, все эти слова... Прислан сюда, к нам...

— Тут — бух! — земной поклон за Царя...

«Не кто как Царь» прислал ученого, из семинарии; он все знает, творения святых отец читает, табаком не балуется, с матушкою живет в благочестии и нам кажется путь...

И в церкви мужик чувствует себя не забытым «всею палатою», чувствует в составе великого царства, неизмеримых пространств, как сознательный член их; и, — позволю сказать, — гордый член. «Что барин, — дурак. В церковь не ходит. Табак курит. С любовницей живет. Наших девок трогает. Слепыш богатый, — совсем неученый и без разума. Живет как трава и пропадает как трава»².

В храме, за службой, мужик приобщается вечному и чувствует это и приобщается всемирному — и тоже чувствует это. Таким образом, это что-то больше, чем «коронование мужика». Скорей это открытие ему души его, именно как мы понимаем или, вернее, тоже «чаем» в мечтах и надеждах своих: придет время, и всякий человек будет Человек. Помните у Некрасова:

Кто меня назвал...

Хоть бы раз Иван Мосеич³.

В церкви, и *только в ней одной*, все века, все тысячелетие не произносилось повсюдного, мирового, площадного «Ванька», «Машка». Никто *так* называть не смеет, и — не смеет в одной церкви!! Большого боярина и его «Ивана Малых» поп перед причастием и на исповеди произносит *ровно, одинаково*:

— Иоанн.

Как монумент, как металл. Без отчества, без преувеличения, и — без уничижения, уменьшения. Металл.

Но «царь прислал больше». «Он» и «святые отцы» утвердили фимиам, ладан, золото на алтарь. Большой бас диакона, тихий благородный тон священника. И золото... золото... и лики святых, которые «за нас Бога молят».

Таким образом, «человеческое самосознание крестьянства» совершается только на богослужении, в единственном месте храма, и через таинства, «требы», молебны, крещение, похороны, свадьбу, исповедь. Народ хватается за храм и строит, строит его — как человек с надвигающимся безумием держится «линии здравого смысла», как разоренный бережет «последний остаток имущества» или больной прибегает к «последнему, и притом *наверному, лекарству*». О «наверном лекарстве» потом — это «церковь в самой себе». Но вы видите, что отнять у народа церковь, как-нибудь ее затронуть, посеять в народе сомнение к ней — значит лишить народ решительно всего его смысла, самостоятельного и собственного его смысла, — отнять у него всякую радость, всякое достоинство. Народ *убьет такого*, и, знаете: я с ним согласен и тоже попросту стал бы убивать обухом, поленом, чем попало всякого, кто осмелился бы пальцем дотронуться хоть до одного кирпича (говорю в идейном смысле) в этом «храмовом народе», в «народной церковности»...

Государи наши бесконечно мудро поступают, что не решаются и *сами* единого слова «поперек» здесь молвить. Не вмещиваются. Не позволяют себе думать об этом.

Слова очень огромны:

«Со страхом и трепетом миром Господу помолимся».

Кто такое скажет? выдумает? У самого Пушкина ни мыслей таких, ни слова такого нет.

Одним словом — «паникадила». Стой и молись. А не то — вон. Убьем. Разорвем. Ибо всякий, сюда подкрадывающийся, несет нам гибель. Сравнительно с которой холера, чума — ничто.

* *

*

— Теперь, мой возлюбленный, — продолжал я, — взглянем с другой стороны. И, знаете, я даже рад, что

вы инженер, математик и в церковь никогда не ходите. Ибо для понимания моей мысли не надобно быть христианином, не надо даже принадлежать к какой-нибудь религии, не надо даже в Бога верить.

А надо быть только человеком.

— Вы вот любите ходить по выставкам — и из своего жалованья, тысячи четыре в год, всегда что-нибудь купите, и потому, что «понравилось», и еще для того, как раз мельком сказали, что «вам жаль бедных молодых начинающих художников и никто-то из глядящих на их, конечно, несовершенные произведения не поддержит их самой реальной поддержкой — купить картину, или гипс, или что». Все глупые и ленивые «стипендии». «Отмахнулись», «заткнули глотку голодному», а для художника ничего не сделали. То же вы рассказывали об одном банковском служащем, который годовое жалованье убухал на покупку скрипки Страдивариуса; и, играя на ней зиму, — на лето кладет ее в железный ящик банка. Ну, так вот — вы меня поймете.

Планета наша вообще сжимается, как старичок, которому «стукнуло 70 лет». Поэзия вообще увядает, и не лично увядает, а вот планетно увядает. Вообще планета стара: и, знаете, социализм, сведший все к экономике...

Собеседник мой вздрогнул.

— Знаю, что вы почитывали. Но социализм характерно выражает это старческое вырождение всей планеты, упорно и сумасшедше сводя «жизнь», — сводя голубое небо, и запах фиалки, и любовь дорогой женщины к «экономическому расчету»...

Он опять вздрогнул. Я знал, что он любит и фиалку, и небо, и женщину.

— Обратите внимание на то, что ландшафта стало ужасно мало, т.е. в жизни, в людях, в быте. «Барышня у телефона» — это одна картина. Вы скажете: «Ее нарисовать нельзя, потому что бедно и мало». Тогда я возьму такую роскошь и всемогущество, как всемирная парижская выставка: ни Рембрандт, ни Ван-Дейк решительно не найдут тут сюжета. Это очень замечательно. Жизнь стала несрисовываема и невоспеваема. О, я знаю — вы певец в душе и оттого и не умеете говорить или «сразу 100 слов». Во что же вы оцените и как вы отнесетесь к тому факту, что жизнь вообще ста-

да невоспеваема... Вообще невоспеваема!.. У меня кружится голова, и я готов взять кирпич и разбить голову социалисту, на что-то «надеющемуся». Он *не смеет надеяться*, он не смеет говорить по тому одному, что у него есть глотка и ни грамма мозга... Эти «глочные» люди, орущие, говорящие, пишущие, — тоже из прозы наших дней; и вы ведь хорошо понимаете, что их тоже нельзя «нарисовать», хоть они и «рисуются»... Убогое племя.

Теперь, когда реки мелеют и океан высыхает, неужели вы станете искусственными машинами испарять последнюю воду, которая осталась на планете в котловинах, в прудах, в особо глубоких озерах и кой-где в особо бездонных местах когда-то «Великого Океана». Знаете, — пирамиды, в сущности, «бесполезны». И стены Московского Кремля ни от какого врага ее купцов не защищают. Вообще все это глубоко *не нужно*. Я перебрасываюсь к религии: разумеется — человек, больной раком или чахоткою, умрет, исповедует его священник или не исповедует. И Иоанн Кронштадтский не исцелил столько, сколько вылечил Захарьин. Итак, я позитивную сторону всю вижу. Все умрем. Все мы болеем. Все страдаем. И «религия решительно ни от чего не избавляет». Но, знаете, можно умереть вошью и можно умереть *человеком*. Можно погибнуть «так», а можно погибнуть «иначе». Вот смертельно раненный в поле битвы не так умрет, услышав о «победе», как услышав о «поражении». Помните Эпаминонда: «Не вынимайте из груди стрелы, пока воины сражаются». Воины бились иначе, зная, что их любимый вождь ждет. И победили. Тогда он сказал: «Выньте стрелу». И истек кровью. И умер⁴.

Вот.

Судьба человека может быть различна в зависимости от того, живет ли он и ощущает себя как «вошь», как «турист на всемирной выставке» и «только телефонистка», или он сознает себя... почти как Бог, близким Богу, «другом Бога» (так назван в беседе Спасителя, предсмертной), «сыном Божиим»... Ощущения, о которых и вы скажете, что это — остатки когда-то «Великого Океана», уже теперь непонятного и незримого... Тех времен остатки, когда строился Кремль и пирамиды... А телефонистка-то *оттого* несчастна, что

она только телефонистка, и ей оттого грустно — о, бесконечно грустно — умирать, что всю жизнь она только телефонила и к ней относились всю жизнь лишь настолько, насколько она может «мне потелефонить»: «Чудовище! Все — тебе!! А я?» — «Вашего «я», барышня, нет. Вы телефонистка». Тогда, знаете, можно не только телефон порвать, а всю планету разбить... И, знаете, я подозреваю, что планета стала особенно быстро подсыхать, когда Бог увидел, что не стоит этих гадов поить водой, что если они «позитивизм» выдумали, то и пусть издыхают от «рационального пересыхания морей». Словом, Бог вступился за телефонистку и решил ей пожертвовать планетою. Бог выбирает и спасает «лучшее», а не «многое». Телефонистка от чухотки умирала бы совсем иначе, если бы она видела, что весь мир чувствует ее «ты», что она телефонистка-то телефонистка, но это — лишь башмаками и карманом, а всем существом своим, поднимаясь от «щиколотки», от «колен», от божественных «бедр», неизъяснимых «персей», и шеи, и царственной головы, — уходит в бесконечные дали, в бесконечные выси, к звездам, к небу, к Богу...

— Я *царица* и раба...

Позитивизм говорит:

— Ты *только* раба...

«Да, свободная работница. По телефону. Как другие — по текстильному производству и по железоделательному», — мурлыкает социалист.

— О проклятые, — кричит несчастная умирающая девушка. — И ничего лучшего, ничего большего вы, мудрецы, поэты, художники...

— Ничего подобного, барышня. У вас нервы. Примите валерьянки. Вот и г. доктор...

— О проклятые, о проклятые! Убийцы, убийцы... Убийцы души моей, родителей моих, потомства моего... Я *один раз* сошла в мир, и вы говорите, что сошла только для того, чтобы телефонить цены на рожь и еще телефонить поздравления с именинами...

Подходит монах, быть может склонный к винопитию и недалекий. Ставлю эти определения, вовсе не такие уж частые, потому что вы, собственно, на них споткнулись в своем отрицательном фактическом отношении к церкви, как спотыкаются об эту же сторо-

ну и очень многие. Конечно, она — важна, но, собственно, как грусть и печаль при встречах, — грустна *лично мне или лично вам*. Но эта сторона дела, т.е. качества священников, решительно ничего, абсолютно ничего не решает относительно церкви, — как бытие плохой гимназии не опровергает величия и истины математики. Итак, к девушке подходит монах вышере-ченных качеств и гудит баском:

— Успокойтесь, барышня. Валерьянки не надо. Пришел последний час. Не верьте им, блудословам. Они сами не знают, что рекут. Как ваше святое имя?..

— Катерина. «Катькой» звали. Да «Катюшей»...

— В память св.Екатерины-мученицы, града Лаоди-кии, в провинции римской «Асии». Такожде и еще больше мучилась, чем вы... чем *ты*... Отпускаются гре-хи твои многие, вольные и невольные... И аз *недостой-ный иерей*...

Девушка совсем умирает. «Те трезвые и ученые. Этот нетрезвый и явно глупый» (думает). Да он так и говорит, что иерей «недостойный». Без хвастовства и попросту. Как и я ведь звалась «Катькой», а была де-вушкой...

Она заплакала. Вспомнила ласку матери. Неприятно пахло от монаха... Она отвернулась к стене... Но ру-ку протянула к нему и проговорила:

— Спасибо, батюшка. Вы точно мне что от родимой матери принесли. Покойницы. И говорите, я увижу ее *там*?..

— Увидите, да! да! Она тоже страдала и теперь вы-ше цариц, и вы страдали, и ждет вас *там* Вечный Же-них, уготовивший вечерю брачную всем *любящим* Его... Любите ли вы Его?

— Люблю.

— Надеетесь ли на Него?

— Надеюсь...

— По вере твоей дастся тебе, раба Божия Екатери-на. Ныне. И присно. И во веки веков. Аминь.

* *

*

Вот это-то — «царственная жизнь» всякому, и «цар-ский венец» всякому, и «снова воды в Океане» — и со-держит Церковь. А что случается попы бывают «пья-

ны», то ведь «по вере нашей будет нам» и когда-нибудь проспят же и нетрезвые среди них.

И скажут золотые слова от древних времен, — те великие и особенные истины, каких выдумать наше время совершенно не может, и даже лишь очень немногие и лишь в патетические минуты своей жизни способны выслушать, почувствовать и понять эти слова, — скажут их чистыми и достойными устами. Любите Церковь: она не только самая великая, но и последняя красота на земле. В религиях и в пришествиях их на землю есть действительно что-то астральное... Теперь самой короткой молитвы выдумать не могут, а тогда они лились пуками, лились непрестанно, из уст самых темных людей. Другое сердце было. Другой ум. Мы перешли, планета наша перешла в плохие созвездия... Все серо, тускло, люди стали малы. Как же мы не будем слушать то, что нам осталось от иных, счастливых веков планеты, когда человек чувствовал себя золотым, чувствовал святым себя, близким звездам и Богу. Слава Богу, что слова эти сохранены, записаны...

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ ЖИЗНЕННЫХ ВСТРЕЧ (Памяти Железновой)

Присяжные признали экс-депутата, трудовика, невменяемым и вынесли ему оправдательный приговор

Отчет судебной хроники

**Так думный дьяк, в приказах
 поседелый,
Добру и злу внимает равнодушно
Пушкин¹**

Какая разница прочесть три строчки пети́та в газете или хоть случайно, «на ходу жизни», прикоснуться боком к обрызганной кровью скамейке, к обрызганному кровью и пронизанному пулями стволу дерева, из-под которого замертво вынесли человека.

Я был почти свидетелем убийства Железновой², поцеловал лоб усопшей в гробу и помню все то живое волнение, смуту, крики о мести и злобный шепот вокруг, какие поднялись тогда в Кисловодске. Даже не верится, что это было уже в 1907 году, — кажется, позапрошлый год! Так свежо впечатление, и так быстро летит время. Летит-летит, — и не успеем оглянуться, как *мы все* будем близки к этому ненавистному гробу, к этой ненавидимой могиле. У, черное чудовище, яма... Боже, помолимся все, чтобы нам хотя бы в горе и унижении, в нужде и заботах, но побыть еще на земле, с ее дождичками, с ее непогодкой, все равно, но живыми. Перебросимся картишками, прочитаем книжку, может быть, кого-нибудь полюбим. Ну, так, приволокнемся, черт возьми, пройдемся по улице с тросточкой, но все-таки же не лежать в яме, обернутым в коленкор, с стеклянными глазами. Бррр... Не хочу!

Не хотим! Не хотим! Все! Никто не хочет... Ни Недоносков, который ее убил. «И мне не хочется», — сказал бы он, если бы его спросили.

— Вы так несчастны, покинуты любимой женщиною, может быть, запутались в делах, может быть, нуждаетесь в деньгах... Умереть бы?

— Не хочу!

«Не хочется!»

Она вся цвела. Ложно ли, истинно ли, порочно ли, праведно ли, — никто тогда в Кисловодске не знал, никто даже не интересовался знать. Но все говорили: «Вот она прошла по аллее...» Оглядывались, старались встретиться. «В этот сезон это — самая красивая дама в Кисловодске». Прекрасно одевалась, и при ней постоянно был высокий, худощавый грузин — техник, в форменной тужурке, еще совсем юноша. Любили они или не любили друг друга, — тоже никому не было интересно. Но общим мировым сочувствием все предполагали, что «любили», и думали: «Ну и слава Богу, и — к стороне: в печальном житейском море одна пара счастлива, денег не просит, помощи не просит, в заботах не нуждается, никому не в тягость и просто цветет, как две яблоньки рядом в саду, — и Бог с ними, о чем же тут думать». И все любовались ими не с большим, но и не с меньшим чувством, как двумя яблоньками в цвету.

О всем этом я узнал из шума... Сам же лично, много трудясь то лето, просто многих из «публики» не замечал, в том числе ни Железнову, ни грузина... Помню, я прошел в тот начинающийся вечер к «новым ваннам» нарзана... Отсидел свои пятнадцать минут и так же рассеянно и деловито, пройдя часть «аллеи тополей» (совсем не красива), вступил на площадку перед главной аллеею, когда почти «пробужденный» увидел, что все в смятении...

Бежали, кричали:

— Убили! Убили!

— Кого убили?

— Ах, оставьте!! Женщину!

— Кто убил? Что такое?

Никто не знал. Толчея. Круговращение. Побросанные столики с картами и деньгами.

Хохот — грубый, сатирический:

— Деньги-то генералы побросали. Думали: бомба, — в них палят. Вот они около кумысной... Теперь оправились, выходят. А то все кинулись в кумысную, под защиту татарина.

Особенно потом над этим много смеялись. Время было «сатирическое», и наблюдательность направлена в эту сторону. Я уже передаю по слухам, а в ту минуту искал: «Где? Кто? За что?»

Чуть-чуть темнело. На Юге сумрак образуется чрезвычайно быстро. Иду в гушу.

— Вот на этой скамейке.

Скамейка — как раз против «кумысной» и столиков для карточной игры — в том «расширении» гулянья, где можно присесть, всех видя и никому не мешая. «Отсюда любуются, и на них любуются...» «По-русски...» И я всмотрелся в капли крови, — человеческой крови, — на скамье... А в дереве указывали пули. Подошел: да, дырочка, дырочки...

— Где же она?

— Сейчас вынесли. Еще жива. Четыре пули, все в живот.

«В живот! Как Пушкину! Значит, смертельно».

Я мысленно «похоронил» виновную... Потому что кричали о «вине»:

— Муж! Она бежала от мужа и проживала здесь... Гуляла. Муж ей говорит: «Поди ко мне!» Она не пошла. Он еще раз: «Поди!» Она опять не идет. Ну, тогда рассвирепел и стал стрелять. Она была со студентом.

— Что же, что со студентом, — вступился я: вид *человеческой крови* (незабываемый ужас!) помутил меня. — Муж, и все-таки не смеет убивать.

— Как это?

— Так это!

— А это кто?

— Т.е. студент? Ну, с ним гуляла, значит, он и есть муж! Убирайтесь!

Совсем не помнил себя и, как во всех подобных «воспламенениях мысли», готов хоть гору повалить, только чтобы отстоять «кровь». «Гора», это — «муж». Против меня стоял полный, в широком пальто, господин, очевидно тоже «муж», и отстаивал «права мужа»...

— Раз она мужа оставила и ответила ему: «не хочу», через это он и должен был понять, что он «более не муж». И должен был отстать... А «муж» есть тот, кого она при себе *оставила*... И убил здесь не «муж жену», а «посторонний человек убил жену на глазах мужа»! Вот вам...

Как всегда в жару: не помнишь, что говоришь и что отвечают. Но эта физиономия, довольно толстая, господина в пальто была мне противна...

* *

*

— Убили кого-то, — сказал я, входя домой. — Женщину. Молодую. Из ревности. И кровь видел. И пули. Генералы бежали. Все пули в живот. Умрет.

На другой день стало известно, что убили «ту самую, — красивую»... О фамилии несколько путались: называли «Недоноскову»... Потом прибавляли: «Того самого Недоноскова, который был депутатом в Думе». Так вот, «депутат в Думе» связывалось с понятием чего-то «просвещенного и передового», но я никак не мог связать с «депутатством» убийства «лишь из ревности» и стал думать, что он какой-то «не настоящий депутат», а прошел в Думу «фуксом»... «Недоносков, — что за фамилия?»

— Недоносков и по виду, — отвечали мне. — Невзрачный, некрасивый. Ничего собой не представляет.

«А она такая красавица, — об этом все говорят».

Имя «Железновой» было названо совсем поздно: «Да она не Недоноскова, и убийце своему вовсе не *была* жена. Она — *Железнова*, но с мужем давно не живет, а жила с Недоносковым, депутатом Государственной Думы. Но потом разошлась. Он остался в Одессе, она приехала сюда. Постоянно она была окружена молодежью, и у нее всегда бывали веселые вечеринки...» В одну из таких вечеринок к ней постучался муж, приехавший из Одессы. Но она уже его непустила. Виновата ее служанка: чем промолчать бы или что скрыть, а она все рассказала ему о поведении госпожи: может быть, и с прибавками рассказала. Но, во всяком случае, для Недоноскова не было никакого сюрприза; никакой не было «измены втайне» и «обмана». Еще в Одессе все было кончено, она решительно порвала с ним все, — все порвала, — и приехала сюда как совершенно свободная женщина, не связанная никакими узами и обещаниями... И распоряжалась здесь собою как совершенно самостоятельная и независимая женщина. Тайны не было. И он мстил во всяком случае не за «роковую измену» и не «коварной женщине».

«Коварства не было», «обмана не было», — на этом встал весь Кисловодск. «Судите ее за *поведение*, — но нельзя судить ее как обманщицу». «Она не обманщица!»

Так стоял ропот в воздухе. Когда узнали, что Недоносков «даже и не муж», — стали проклинять его. «Как он смел убить женщину, когда она ушла от него, — когда он сам увел ее от мужа». В самый способ перехода к нему Железновой уже входило как бы молчаливое условие, но условие очевидное, что она от него уйдет также, если разлюбит его. Очевидно! Или он не вправе был сблизиться с нею (чужая, не разведенная жена), или не вправе был протестовать против ее ухода.

— Но страсть?

— *Его* или *ее*? Если он имеет страсть, — явно, и она имеет страсть! И если его страсть пользуется *правами*, — явно, и ее страсть пользуется тоже *правами*.

— Он «никак не мог с ней расстаться»...

— Вообразите: она «никак не могла расстаться с грузином-техником»! Ну, решительно «никак», — «никаких сил»... До того «влюбилась». Что делать, — «страсть».

— Должна была «удержаться»...

— Вот именно: почему он «не удержался» там, в Одессе, когда она ему сказала, что «все кончено»... «Сделал бы усилие», «постарался». Он — мужчина, да и старше ее. Что за слабые нервы у *члена Думы*, у *трудолика*. Ей же всего было 26 или 28 лет, и она вся была стройна и гибка, как еще молоденькое, недоразвившееся деревцо... Если у кого быть самообладанию, то, конечно, у него. У нее же, уже по годам, и страсть кипит сильнее, и ей простительнее легкомыслие... По годам, по образованию, по всей прошлой жизни, так рано начавшейся ломкою семьи.

Весь Кисловодск встал на ее сторону... Главное, — эти ежечасно приходявшие известия: «лучше», «хуже», «пули вынули», но «все кишки перерваны», тоже «печень прострелена»... Все пули — в мякоть, в нижние органы, ни одна — в кость. Верно, она привстала, когда показался револьвер, — и была, очевидно, выше его ростом.

Передавали, что она мучительно боролась со смертью, — точнее, цеплялась за жизнь, очевидно счастливую и обещающую. Это видно было из жалобы, которую передавали: «Я хочу непременно, чтобы его засудили!» У нее была месть. Так понятно: ну-ка, в вас, читатель, четыре пули в живот... Среди расцвета жизни. От опостылевшего человека.

— У... все взял!!! Хоть бы цветочек еще, еще весну...

И умерла. Я пошел на похороны. Собрался весь Кисловодск. Множество венков и лент с молодыми надписями: «Несравненному человеку», «Удивительной душе»... Я приблизительно передаю, но совершенно точен смысл, что в надписях на лентах сказалось то обожание молодежи, залитой воображением и туманом, когда она дает эпитеты, совершенно не соответствующие делу и, во всяком случае, для посторонних неожиданные. В ее смерти было, конечно, свое «все-таки», «однако»... Молодежь перескочила через всякие «однако», смыла всякое неуважение, опрокинула, отшвырнула всякую тень его и подняла и вознесла ее... Я не мог не улыбаться надписям: буквально было что-то вроде: «Единственной в мире душе, после которой мир осиротел»... Или «Украшению мира»... Известно, — молодежь. Улыбаться ей улыбаешься, а все-таки это нравится. *Совершенно верно*, — что она ей нашептывала слова чудного содержания, в те вечеринки, в уголку, одному, каждому. Сама была счастлива, — а в счастье приходят счастливые мысли.

В гробу она лежала угрюмая... «Где же молодость? Красота?» Ей казалось лет 35: десять лет надбавили четыре дня мучений. Так ее молодою и красивою я и не видал, потому что раньше не заметил.

Поцеловал. Вышел. Огляделся. Искал, где же «он»... Вдали, в уголку церковной ограды, кусая платок и залитый слезами, стоял тоненький, стройный грузин, лет 20—21—22, в форменной тужурке. Усы и борода чуть пробиваются. Как у всех грузин — тонкие, благородные черты лица. Он был убит, и, очевидно, он ее чрезвычайно любил. Но как-то боялся, чтоб его все видели... Когда я стоял около «скамейки» и толпа шумела, то на вопрос: «А почему же возлюбленный не вступился?» — ответили: «Первым убежал». И тогда я и все его осуждали, смеялись, презирали.

Известно, еще у Лермонтова сказано:

Бежали робкие грузины...³

Теперь я ни капли не осуждал: нет, ему не было и 20-ти лет... Это был совершенный еще *мальчик*, но только от южного солнца и по южной своей породе кажущийся уже юношею. Как мальчик, он был испуган ужасом, который начался, — испуган жертвой, жадостью, больше, чем страхом... Вообще, он, не «спасая шкуру», бежал, а бежал, точнее — упрыгал куда-то, как заяц или зайчик, когда вдруг ужасный охотник застрелил его «матку»... Убежал, зажав уши и глаза и, верно, твердя дома под подушкой: «Сон! не было! сейчас проснусь и увижу, что она цела и ничего не было!»

Но не проснулся. И это был не сон.

* *

Ужасно... И в результате:

— Ничего!!!

Я помню, как тогда в Кисловодске хлопотали при мысли, что он может быть «оправдан». Огромное чувство толпы, которое чего-то стоит все-таки, не допускало этого... Говорили: «Оправдают!..» Но и говорившие, и выслушивавшие принимали это как кошмар...

В последующее время, месяцы, год, когда доносились печатные слухи, что «дело отложено за неполнотой данных», а г. Недоносков «остается пока на свободе», — было это же хлопотание гнева и удивления. *Естественное чувство* справедливости возмущалось. «Как, застрелил *среди нас*... как курицу или котенка... и ничего. На свободе». «Разве это возможно?!»

Три года все «откладывали» дело. Наконец собралась вся «армада» суда. Все принято во внимание, чтобы суд был «скор, милостив и справедлив». Выслушали все, — уже по бумагам. Судили в Пятигорске, тогда как убили в Кисловодске. Никто ее предсмертных стонов не слышал. Ни этого доходящего до дна души крика: «Я хочу, чтобы его засудили». О, ведь это так основательно, т.е. что так гневалась так умиравшая.

— Вам, судьи, ничего, — а я умираю.

— Вы, судьи, стары, — а я молода.

— О, как хочу жить! Хочу! Хочу!!!

— Но нельзя жить; кишки порваны; пойду в могилу. Вы, живые, отомстите за меня...

Поговорили, подумали. И сказали:

— Ну, что там... Уже, чай, и мясо черви съели. Не хлопотать же из-за одних костей. Ступайте с миром и впредь так удерживайтесь поступать. Вы — к обеду, и мы — к обеду...

* *

✱

Так Русь кушает и кушает. Крестит ли — кушает. Хоронит ли — кушает. И будет она стоять своим стоянием еще тысячу лет.

О ДЕЛИКАТНОСТИ И ПРОЧИХ МЕЛОЧАХ

Одно из ценных приобретений наших новых годов — большая подвижность молодежи. Мы все, от годов учения до начала службы, собственно, просидели над книгами, начиная от «задачника Малинина и Буренина» и до шеститомного павленковского издания Д.И. Писарева. Потом — служба и вечная усталость... Потом, для счастливых, чин статского советника и могила, для несчастного — «неудачи по службе», недовольная жена, множество детей и тоже могила... Для самых счастливых, редко счастливых людей под старость лет наступала некоторая обеспеченность, и вот, с геморроями, перебоем сердца и прочее и прочее он выезжал «за границу» — увидеть «большой свет» и «настоящую Европу»... Потом, «увидевши», тоже возвращался домой и тоже умирал. Так проживал свою жизнь «средний русский человек», существо несчастное и бесцветное, охающее, вздыхающее, раздраженное и бессильное...

«Коптили небо...»

Теперь не то...

С весною почти все ученики частных школ куда-нибудь «собираются». Младшие классы — поближе, осмотреть свою губернию или посмотреть «достопримечательные места» соседних губерний; ученики старших классов, а особенно студенты и курсистки — за границу, и даже — за границы Европы... Так, это лето совершена была учащимися экспедиция... в Египет! Образуются целые компании, намечаются маршруты, являются «предприниматели» и «организаторы» этих поездок, в один год нескольких и в разных направлениях. «Новые годы» сказались в общем подъеме здесь, пробуждении инициативы, пробуждении подвижности... Может быть, «новая голова» и не выросла, но выросли «новые ноги», и, ей-ей, это почти лучше, чем если бы выросла одна голова, опять с одними книж-

ными впечатлениями и с новым «поклонением» — после Ницше кому-нибудь...

Бог с ними...

На молоденьких, свеженьких ногах побежало русское юношество по всем направлениям... Это — целое преобразование, незаметное, тихое... Кто учтет, кто усмотрит ту иногда гениальную мысль или гениальное движение души, какое переживает какой-нибудь «бурш из Тамбова», нечесаный и снаружи сонный, рыжеватый, с веснушками, войдя в кёльнский собор или подняв глаза на настоящие, «натуральные» пирамиды...

Мы, бывало, в свои ученические годы, все «на картинках»... Нил — на картинке, бегемот — на картинке, «Генрих стоит на Каноссе»¹ — на картинке. Черт бы его побрал, этот школьный, замазанный красками картон. Одно утешение было — покурить в отдушину на перемене, покурить в самом классе и «на носу у начальства» — язвительное удовольствие. Все учение было искусственно, и «натуральны» одни шалости. Оттого мы к ним так и рвались. Теперь-то соображаешь: «естественная реакция» и «спасение себя».

С этою странствующею или, вернее, начинающею странствовать молодежью мне хочется поделиться двумя впечатлениями «заграницы». Пожалуй, в целях обратить ее внимание сюда или спросить ее: «Заметила ли она то же».

Первая касается нравственного порядка вещей, вторая — научного.

* *

*

Деликатность — вот имя одной...

Во все три путешествия, по Италии, Швейцарии и Германии, какие мне удалось совершить в качестве «особенно счастливого русского человека старых времен», я был более всего поражен и, наконец, растроган разлитой повсюду деликатностью. Вообще, «настроение» заграницы совсем другое, чем России. Нет угрюмости... Нет нашей ужасной северной угрюмости, сплетенной из печали, тоски, более всего сплетенной из скуки и «вечных русских неудач», наконец, из злости и раздражения. Все это перелилось в форму вечного и

повсюдного в России «раздражения на соседа», который данному человеку ничего не сделал, но этот «данный человек» непременно порадуетя, если вы споткнулись, ошиблись, что-нибудь проглядели, куда-нибудь не успели, вообще если вы в «неудаче»... «Русский бог», о котором поют поэты, больше всего есть «бог неудач»...² И злорадство по поводу «неудачи»... При подобном «расположении духа», довольно странном и даже диком, было бы совершенно невозможно жить, если бы почти всеобщее зложелательство не прорезывалось «рыданием на груди»... «Камень, точащий слезы», — вот, кажется, лучшее имя для России. Туман и холод родины прорезываются истерическими выкриками, истерическими рыданиями... И будем говорить правду уже большими словами: каменный лик «вообще русского человека» в некоторых точках прорезается мыслью и чувством до того высоким, до того ангельским, чистым и одухотворенным, взглянув на что хочется умереть и не надеешься увидеть ничего лучшего. Это — тоже есть... Но где оно «есть»... Где-то в потемках захолустьев, в безвестности, «в трактире за перегородкой», куда Достоевский помещал интимнейшие беседы своих героев (Алеша и Иван Карамазовы, Версиков и его побочный сын — в «Подростке»). Всегда это в России — случай, всегда — без получения «общественного значения». Вот еще особенность России: все свинское непременно получит у нас «общественное значение», а дорогое, прекрасное, возвышенное — умрет в безвестности.

Странная Русь... «И как только на такой живут люди».

— Где часовня Медичи? — спросил я во Флоренции, выйдя на небольшую площадь, как все у них площади. Я знал, что часовня, с знаменитыми изображениями «Дня» и «Ночи» Микель-Анджело, где-то тут. Но где, на которую улицу из сходящихся к площади пройти, — не знал. Обратился я к старушке, не дряхлой, маленькой и худенькой.

— Часовня Медичи? — Она живо указала на улицу, выходящую на площадь с противоположной стороны.

Я перешел через площадь... и замедлил шаги: две улицы, под небольшим одна с другой углом, выходили сюда. «По которой же идти?» Я выбрал и нерешительно поплелся...

До локтя моего дотронулась чья-то рука. Оглянувшись — это старушка-итальянка. Я не туда попал, и она указала мне на смежную другую улицу.

Значит, она не только указала мне улицу в первый раз, что сделал бы, конечно, каждый и во всякой стране: она проследила, туда ли я пройду, а когда я ошибся, — догнала и поправила. Она была стара, я (тогда) — средних лет. Она потеряла свое время и, как была «дама», конечно, не рассчитывала на «что-нибудь в руку».

Это было десять лет назад. В ту же поездку, в Вене.

Нужно было мне пройти на главный почтамт за получением важного и срочного письма. Спрашиваю на улице, приблизительно мещанина или приказчика... Объясняет, жестикулирует (немецкого языка я не понимаю): вижу, что-то очень далеко и сложно. Сказав: «Danke sehr»*, я пошел, скучая, вперед. Что «вперед-то», — это я понял. «А там кою-нибудь опять спрошу», — обычное русское утешение. Видя мою скучную походку, догнал меня мещанин и, тронув руку, пошел рядом. Довел до угла и опять что-то говорит, указывает и разъясняет. Должно быть: «Теперь совсем легко — вон туда», но из жестов видно было, что повернув «куда-то» предварительно. Но когда «предварительно», — я опять не понял и потому пошел опять, скучая. Опять догоняет меня немец, за что-то упрекает и, сказав решительное «gut»**, пошел совсем рядом, быстрой и огромной походкой, за которой я едва поспевал. Он вел меня минут двадцать и, ткнув пальцем, сказал — «вот». Это был почтамт. «Danke sehr, danke sehr», — кланялся я ему. Он сказал «gut» и пошел назад. С вопросом я обратился к «встречному», т.е. он ради меня повернул назад и довел меня до «дела», не получив и не собираясь получить тоже ничего. Он был хорошо одет, лет 30-ти, здоровенный, «как все они»... Без нервов, может быть «без души» (по-нашему — без истерики), но с добропорядочностью и вот этою «на сегодняшний день» добротою, которая, слагаясь по мелочам в горы, образует общий колорит деликатной, вежливой, мягкой жизни... Мягкой цивилизации... Ведь это как огромно!

*«Большое спасибо» (нем.).

**хорошо (нем.).

Когда, всего через несколько часов, я приехал на пограничную станцию «Граница», — был поражен совсем другим видом и колоритом. Была ночь. Сыро. Почему-то никто не вышел на станцию. Должно быть, багаж осматривали в варшавской уже таможне — словом, подробностей я не помню, но только помню, что никого на станции не было и вышел я один покурить и размять ноги. Станция небольшая, и «в промежуточной комнате» я увидел сидящего на лавке жандарма: и вот его фигура до сих пор у меня в воображении. Он полудремал, и на полусогнутых руках я увидел только «ихнее серое солдатское сукно», с нашивкой, — до того жесткое (во впечатлении), грубое... И рукав огромен, и полы огромные... И согнулся он жестко, подозрительно и недоверчиво. Он и дремал, и все видел... Не знаю, но никогда мне в голову не пришло бы о чем-нибудь его попросить, даже спросить. Сказать: «дайте воды», «дайте огня» — невозможно.

Почему? Он мне не сказал ничего грубого. «Проходите мимо», «проходите мимо», — говорила вся его фигура. «Проходите, не задерживайтесь»... И еще последнее, безмолвное: «Я вас всех вижу: и возьму — кого мне нужно. А дремлю, чтобы вы не обращали на меня внимания и не мешали мне делать мое безмолвное дело, вам непонятное и мне нужное».

Не знаю... Не умею выразить. Но это все было — и фигура его запечатлелась навсегда.

* * *

*

В Наугейме, это лето, возвращаясь в отель, вижу прекрасно одетую даму, идущую навстречу. Не доходя шагов двадцати, она нагнулась и подняла с земли «что-то белое»... Могла быть бумажонка, могла быть тряпка, — но она заметила «вещь». Действительно, это был носовой платок, похожий на тряпку, потому что он лежал в той маленькой грязи, которая образуется и в чисто плотном Наугейме при ежедневных тамошних дождях. Дожди эти — всегда на несколько минут, теплые и приятные... Она развернула тряпку-платок и, увидев, что это именно *платок*, стряхнула его и положила на перекладинку перилец палисадника, мимо которого шла. Не заметил ни лица ее, ни фигуры.

Чей платок, — она не знала.

Почему же она его стряхнула, улучшила?

И зачем, наконец, вообще подняла? «Мало ли сору на земле...»

Но она механически, машинально (давление цивилизации, смысл цивилизации), заметив, что это «вещь», или только заподозрив, что «вещь» (рассматривала, отряхала), почувствовала моментально, что кто-то будет «жалеть» ее и что это вообще чье-то «огорчение». И подняла, улучшила и сберегла, чтобы, — сколько от нее зависит, — уничтожить то крохотное «горе», «неприятность», которые выпали сегодня кому-то.

Это — цивилизация.

Я повторяю это огромное слово «цивилизация» в отношении такого мелочного факта: ибо — увы! — пока мы не будем такими в мелочах, мы никогда не сделаемся таковыми и в большом.

Еще: сижу в огромном зале перед ваннами, где все ожидают «своего номера», который выкрикивает барышня Человек около ста в зале, — одной из многих перед многими корпусами ванн. И вот одна из стоявших перед столиком с газетами больных дам незаметно для себя выронила свой билет (на ванну). И я этого не видел. Сидел я поодаль, на стуле. Но я увидел, что молодая дама, лет тридцати, встала с дивана, довольно далеко, — прошла половину зала, подняла билет с полу и подала стоявшей больной. Эти «больные» наугеймские не хромают, не кашляют, не истощены и — такова особенность сердечных болезней — неизменно имеют цветущий, расцветающий вид. Таковы были и обе больные. Сидевшая издали могла бы громко сказать: «Вы уронили билет», могла бы чуть-чуть подвинуться с тем же замечанием. Из десяти русских пять просто не обратили бы внимания, «прошли мимо», и едва ли кто-нибудь сделал бы именно так: не беспокоя потерпевшую, обеспокоиться самому и сделать все то, что должна была и могла сделать она.

Это — цивилизация. Повторяю, без этого «единения и братства» в мелочах, называемого «вежливостью», ничего не возможно, не возможна культура.

Теперь параллельное воспоминание в Москве. Я любил ходить в баню («дворянские», по 10 коп., —

сохранилось ли теперь это название, бывшее всеобщим лет тридцать назад?). И вот однажды, войдя в «паровую» комнату, вижу мещанина, лет 30-ти, который ведет на полок парить своего сынишку, лет 8-ми, самое большее — 10-ти. «Куда такого маленького», — мелькнуло у меня в голове. Но промолчал. Другой же, сходявший с полка, благообразный, тоже мещанин, стал говорить вразумительно и деликатно, что таким маленьким париться вредно, мало ли что может случиться, может прилучиться болезнь или что-нибудь. Поговорил все так ласково и ушел: у меня до сих пор стоит в ушах и в глазах голос и вид отца этого мальчика. Он разразился таким гневом, таким потоком «отборных» ругательств по адресу говорившего, который «осмелился его учить», «будто он сам не знает», — и, главное, в тоне его было так много злости, обиды, что я был изумлен. Ничего, кроме благожелательности, не было у того. Он решительно сказал деликатным тоном, с очевидным чувством, что позволяет себе вмешиваться не в свое дело... И вот подите же...

Мелочь... Но представьте себе, что проведен «грубо» ваш день... Там — от прислуги, здесь — от хозяев; случится — от жены; случится — и от детей; у одного — от начальства, у другого — от подчиненного. Представьте, и вы увидите, насколько отяжелел для вас этот день, т.е. к той необходимой работе, какую вы исполнили за день по долгу, по нужде, ради заработка, — прибавилась эта тяжесть, совершенно не нужная, «вторая» — от грубости... Насколько ваших сил (чтобы выслушать и вытерпеть) истратилось больше, и, следовательно, завтра вы сделаете дела меньше, чем сколько естественно могли бы.

Грубость понижает интенсивность работы в стране.

ПАМЯТИ Е.И. АПОСТОЛОПУЛО

С 5-го на 6-ое ноября скончалась после продолжительной и тяжелой болезни, на 58-м году жизни, в Одессе, Евгения Ивановна Апостолопуло, урожденная Богдан, бессарабская помещица-дворянка. Это была одна из тех синтетических личностей, которые поистине живут общество своим умом, талантом, рвением, вечным возбуждением и готовностью ко всему лучшему и благородному. Ее знали в литературных и в художественных кругах в Петербурге, когда из своей родной Бессарабии она приезжала в 90-х годах минувшего и в первое десятилетие нынешнего века. Все знали ее как «русскую», и она была русскою по воспитанию и образованию, по всем своим воззрениям, по деятельности, работе, по интересам и большим сочувствиям; но не закрывался никогда маленький уголок ее сердца для маленькой родной ее народности — молдаван Бессарабской губернии.

Ее имение «Сахарна», близ большого молдавского села того же имени, неподалеку от станции Рыбница Юго-Западных ж. дорог, было расположено на правом берегу Днестра, на самой границе Бессарабской и Подольской губерний. И дедовские, и родительские корни ее и воспоминания все тянулись к совместным отношениям России и Румынии, их соединению и роковому разделению. Всегда она негодовала, что в румынском королевстве выбросили вон древнецерковнославянское начертание букв, заменив его, из политических тенденций, начертанием латино-католическим, — и простое население Молдавии, обучаемое в школах только латинскому алфавиту, уже не может в своих старых сельских церквях, как равно в старых соборах и монастырях Бухареста и Ясс, разбирать и читать надписи на могильных плитах, на церковной утвари, на иконах.

Она мне показывала надписи сфотографированных старых икон; это — *наши* славянские надписи, как на

наших иконах. Согласно этому воззрению и всем своим историко-культурным убеждениям, она всецело отрицала «отдельную Румынию», говоря, что вся Румыния есть и должна быть своеобразным уголком России. «Народ политикой вовсе не интересуется. Народу политика вовсе не нужна. Народу должна быть сохранена только его культурная и бытовая старина, старинные краски и узор жизни».

Этот простой народ своей местности, своей «дедины», она очень любила; любила его особую интересную психологию, его поговорки, из которых хочется привести одну: «Когда девушка свистит — Богородица плачет» (требование скромности); любила его обычаи и нравы. Мечтою всей ее жизни было — собрать и открыть местный музей в Кишиневе, посвященный общерусской живописи и местной старине, народному творчеству в костюмах, в домашней утвари, во всяческом роде ремесленно-художественных изделий. Нижний этаж ее дома уже представляет собою такой музей, — собрание мебели, ковров, предметов церковной утвари, икон, внутреннего расположения молдавских изб. Чем-то столько же восточным, как и западным, веяло от этого музейчика, удивительно уютного, какого-то «теплого» по своему духу. Музей был в то же время «молдавскою избою», т.е. это не были «вещи», собранные в кучу или лежащие в витринах, а это было «народное жилище», но только подобранное из предметов всей страны и всей ее старой истории. Едва она узнала о своей неисцелимой болезни, — как тотчас же озаботилась составлением духовного завещания, по которому после ее смерти должно было реализоваться ее имущество (ей принадлежит один большой завод в Одессе) и на вырученные деньги (около миллиона) должна быть осуществлена ее мысль касательно музея. План и осуществление самого здания музея возложены на друга ее, с детства, известного архитектора Алексея В. Щусева, — который вообще принимал близкое и горячее участие в ее художественно-народных интересах.

Потеряв рано мужа и пятилетнего единственного сына, потеряв вообще связанность и прикреплённость к месту, она в девяностых годах прошлого века приехала в Петербург, и здесь ее занимала мысль — дать место и

условия для работы молодым начинающим художникам, избавляющие их от забот о «хлебе насущном», от жизни по «петербургским углам» и от ранней потери здоровья. Скромная и не желавшая «выдаваться вперед» («Богородица плачет»), она незаметно и безгласно устроила здесь, на Галерной улице, обширную квартиру, с общей мастерской и комнатками для жильцов, где безмездно жили и работали «ученики художества», едва ли знавшие свою хозяйку иначе как разве при поступлении. Это была художественная коммуна, где коммунары едва ли давали себе отчет, кто это им устроил; как и я, посещавший этот дом, — не знал, что это такое, пока, много лет спустя, она рассказала свой план. Трудно найти слова, чтобы передать всю степень и всю сложность особенных дарований этой женщины, — и казалось иногда, что именно *для общественной службы* нужны такие лица, без рекламы и выставки, без публичных речей, без торжественных собраний, без «уставов» и параграфов, но с постоянной работою и заботою души около всего доброго — с одной стороны, около всего даровитого — с другой.

Синтетичность ее личности восходит и к истории: в сущности, — славянофилка, с интересною прививкою славянофильства на чужую почву и чужую кровь, — в то же время в раннем девичестве она узнала в своей местности несколько молодых людей из духовного сословия, «с нигилистическими замашками и нигилистическим образом жизни», лечивших и учивших, «людей удивительной наивности, невинности и чистоты» (ее рассказ). И образ этих людей «70-х годов», очевидно, вел в ней, как «завет» и «путь». Но в них не было ничего «от Базарова и Марка Волохова», не было цинизма и нигилизма, а только — труд среди народа и для народа, учение, лечение, слияние с простотой крестьянства... Как она передавала, впечатление, ими оставляемое, было таково, что тогдашний местный попечитель учебного округа, покойный Арцимович, будучи католиком и поляком, лучше и «роднее» относился к этим русским и православным, нежели к своим сородичам и единоверцам. Ее родительская семья была близка (кажется — в соседстве) с этою семьею Арцимовичей. В детях, по крайней мере некоторых, эти Арцимовичи совершенно слились с русскими, слились «по вере и крови».

Ее сравнительные наблюдения над молдаванами и

русскими очень замечательны. «Когда священник мало просит за свадьбу, то молдаванин оскорбляется» (гонор, честь). И весь народ молдаванский — картинный, любит картину, все цветное, — но не ярких, а смягченных тонов, любит в жизни и в домашнем обиходе — красивый узор. «Они — народ воображения и строят легенду и сказку около всякого обыкновенного события». «Но у них, — добавляла она, — нет глубины и мистицизма русских и их великого нравственно-религиозного начала». Она работала на голоде в Казанской губернии, и ее выводы¹, сделанные на этой работе, и послужили фундаментом для таких заключений. «Один, последний каравай хлеба в избе; после него — помирать; и вот мужик разрезает его пополам и половину кладет на окно: возьмет кто голоднее, кому уже — сейчас помирать». Это действительно поразительно. Она приводила и другие примеры деревенских решений морально-бытовых затруднений. И говорила в заключение: «Если взять русского крестьянина верстах не ближе ста от железной дороги, то я вообще не знаю лучшей породы человека, лучшей его *природы*, чем этот крестьянин». Основав в имении две школы, одну — виноградарства и виноделия, она говаривала: «Увы, уже из школы почти сплошь выходит вовсе не то, что принимаешь в школу. Летам к 17-ти они все знакомятся с Леонидом Андреевым, с дурными болезнями и ищут носить штиблеты с высокими каблуками. Что с этим делать и как этого избежать — я не знаю и не умею. Это что-то повальное». Кошмаром ее было влияние на первородную молдаванскую, малорусскую и польскую этнографию соседних еврейских «местечек». «Они заражают крестьянство варшавскими модами, убивая домотканые материи и национальные костюмы, развращают аптекарскими лавочками с продажей грошовых косметик и вредных для здоровья снадобий (особенно для вытравливания плода), порабощают и разоряют своим «кредитом» (ростовщичество)». Проведя несколько зим в Петербурге, она решила, что место ее — не здесь, а «там», у себя; и ради скрепы с местом и населением решила проводить в «невылазных бессарабских грязях» (чернозем) и томительную осень, и совсем одинокую зиму.

Вся ее личность была в непрерывном, удивительном творчестве. Наблюдения, афоризмы — все это сы-

палось в ее тихой беседе, как зерна хлеба с перезревшей нивы. «Подставляй кошницу и собирай». Но не было условий для этого. И вот ушла в землю и будет зарыта, с холодным прахом, — и эта кошница живого ума и чудной, обаятельной души, в которой светились мириады мыслей, грации, возбуждений, положительно — «открытий». Ну вот хоть что-нибудь: «Дважды два никогда не четыре. Это — только в арифметике. Дважды два всегда *пять* — в жизни». Т.е. жизнь иррациональна, непоследовательна и нелепа, и мила — именно поэтому; и в ней вечно приходится возиться, переделывать, подправлять хоть приблизительно «до четырех» ($2 \times 2 = 4$). Не правда ли, как кратко, выразительно и верно? Об эпохе огрубения, принесенного Максимом Горьким и вообще литературой «разночинцев»: «Если в темноте я натолкнусь на столб, то скажу невольно — *ragdon*. Это — неодолимо, я так воспитана и привыкла». И как понятна из этих простых слов старая «дворянская литература», без зуботычин, критических и беллетристических. Творчество ее было постоянно. И приходилось говаривать: «Позвольте, у меня — *свои* мысли. Вы говорите столько интересного и нового, что я ощущаю боль в голове от тесноты и своего и вашего». И об этой «боли» от собеседника и его умственной производительности мне ни разу еще не пришлось никому сказать.

А женщина. И без литературы. Но она была прелестною литературой «на ходу», в изустном слове. Вечная ей память. Как неутешна будет без нее ее Сахарна, и памятный пастух, столь любимый, и беднота, и бездомные, находившие у нее приют.

— Этого мальчика я купила за семь копеек.

— Как «за семь копеек»? (бутуз лет четырех).

— Нищая молдаванка его водила с собою — мать. Я и говорю: «Отдай мне его, я его выучу мастерству».

— Дай семь копеек.

— Я дала. Она взяла семь копеек и оставила сына. Из дальнего села. Мне его личико показалось интересным и обещающим.

Так она ко всему была внимательна, к вещам, людям. И выбирала. И трудилась.

КОММЕНТАРИИ

Тексты очерков печатаются по прижизненным, в основном газетным, публикациям. Как правило, автографы статей не сохранились в творческом фонде писателя, что затрудняет работу над текстологией. Учитывая розановскую специфику свободного обращения с формой употребления имен, названий и т.д., мы стремились сохранить это свойство писателя и не приводить к унификации разнообразные тексты. Явные опiski и пропуски восстанавливаются без упоминания в комментарии, из них более грубые и могущие вызвать двусмысленность заключены в редакторские квадратные скобки. Кроме указанных сокращений источников, цитирования библейских текстов и условные сокращения источников приводятся по Юбилейному изданию Московской Патриархией Библии 1988 г. Комментарий содержит историко-литературные и реальные пояснения, дополнения и, где возможно, параллели. Сведения об исторических, библейских и мифологических лицах вынесены из комментария в аннотированный указатель. В этом же указателе сведены литературные, художественные и музыкальные произведения и персонажи, а также книги. Отдельным указателем собраны географические названия, которые часто упоминаются в книге путевых очерков. В этом указателе аннотируются только малоизвестные названия. Впервые мы сделали попытку составить тематический указатель, в который сведены основные понятия и темы Розанова, периодически присутствующие в его творческом наследии. Несмотря на их ненаучный характер, в начинающемся розановедении они будут иметь несомненное значение. Мы стремились в указателе тем вынести понятия в авторской форме, но, естественно, они не носят формального характера.

Переводы иноязычных слов и выражений принадлежат И. Маханькову.

Выражаю признательность за дружескую помощь в подготовке этой книги Евг. Мамиконяну, А.В. Семушкину, В.В. Кожинову, Н. Архиповой, О. Леоновой, И. Маханькову, А. Ужанкову, С. Джимбинову о. Александру (Хмельницкому).

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Воспоминания Розановой 3, 4 — Воспоминания Татьяны Васильевны Розановой об отце — Василии Васильевиче Розанове и всей семье // Русская литература. Л., 1989. № 3, 4. Публикация Л.А. Ильюниной и М.М. Павловой.

Геродот — Г е р о д о т. История. Л., «Наука».1972.

Гоголь 1 — 14 — Г о г о л ь Н. В. Полное собрание сочинений. М., Изд-во Академии наук СССР, 1952.

Жития святых 1 — 12. — Жития святых, на русском языке изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского, с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых: В 12 кн. (15 т.). М., Издание Московской синодальной типографии, 1903—1911 (репринт 1991—1993).

Достоевский 1 — 30 — Д о с т о е в с к и й Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., «Наука». 1972—1990.

лпТПГ — литературное приложение к «Торгово-Промышленной Газете» (СПб.).

Лессинг — Л е с с и н г Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., Художественная литература, 1957.

Ливий 1 — 3 — Л и в и й Т и т. История Рима от основания города: В 3 т. М., Наука, 1989—1993.

Литературные изгнанники — Р о з а н о в В. В. Литературные изгнанники. СПб., 1913.

Литературные очерки — Р о з а н о в В. В. Литературные очерки. СПб., 1902. Изд. 2-е.

МИ — журнал «Мир Искусства» (СПб.).

Молитвослов — Православный молитвослов и Псалтирь. Москва. Издание Московской Патриархии. 1988.

НВ — газета «Новое Время» (СПб.).

НВип — иллюстрированное приложение к газете «Новое Время» (СПб.).

НС — журнал «Новое Слово» (СПб.).

О Достоевском и Толстом — Р о з а н о в В. В. О Ф.М. Достоевском и графе Л.Н. Толстом: Сб. М., 1994. — Сост. В.Г. Сукача.

О себе и жизни своей — Р о з а н о в В. В. О себе и жизни своей. М., Московский рабочий, 1990 — Сост. В.Г. Сукача.

Около церковных стен 1—2 — Р о з а н о в В. В. Около церковных стен: В 2 т. СПб., 1906.

Опыты — Опыты: Литературно-философский ежегодник. М., Советский писатель, 1989.

ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (СПб.).

ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).

Плутарх 1 — 2 — П л у т а р х. Сравнительные жизнеописания. В 2 т. М., Наука, 1994.

РВ — журнал «Русский Вестник» (СПб.).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РС — газета «Русское Слово» (Москва).

Темный Лик — Р о з а н о в В. В. Темный Лик: Метафизика христианства. СПб., 1911.

Толстой 1-90 — Т о л с т о й Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М.; Л., Художественная литература, 1930—1957.

Тургенев 1-28 — Т у р г е н е в И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. М.; Л., Наука, 1960—1968.

КАВКАЗСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ (первая поездка)

Первая поездка была предпринята с конкретной целью пользования кисловодскими ваннами для поправления здоровья жены. На Кавказ Розановы выехали 1 июня 1898 г. (см.: Письмо *Розанова* — А.А. Александрову. Б.г. // *РГАЛИ*, ф. 2, оп. 2, ед.хр.15, л. 70) и возвратились в Петербург в начале августа.

Статьи первой поездки на Кавказ печатались в периодике и позднее вошли в *Литературные очерки*, которые издал друг Розанова П.П. Перцов.

ОКОЛО БОЛЯЩИХ

Впервые опубликован очерк в «Биржевых Ведомостях» (1898. 15 сент.¹ Печатается по этой публикации.

¹Ср.: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки» (*Откр.* 8, 10—11).—3.

²Розанов свободно передает евангельский сюжет. Ср.: «Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать; доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому» (*Ин.* 9, 2—6).—3.

³Из стихотворения А.В. Кольцова «Молитва (Дума)» (1836). Ср.:

Но, Боже, и вере
Могила темна!—3.

⁴См.: *Шекспир* У. Гамлет. Акт II. Сц. 2.—4.

⁵Ср.: «Да будет Бог все во всем» (*1 Кор.* 15, 28). Розанов пользуется церковнославянским выражением.—4.

⁶Розанов сравнивает медицину с чудом воскресения из мертвых, сотворенным Иисусом Христом. Ср.: «Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа́ куму́», что значит: девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала...» (*Мр.* 5, 40—42).—4.

⁷Ср.: «Die Gedanken etwa in demselben Verhältnis zum Gehirn stehen, wie die Galle zu der Leber oder der Urin zu den Nieren» (Мысли находятся примерно в таком отношении к мозгу, в каком желчь находится к печени или моча к почкам. — нем.). Это знаменитое высказывание К. Фогта впервые опубликовал в своей книге «*Köhlerglaube und Wissenschaft*» («Наивная вера и наука») (Gießen, 1854). Людвиг Бюхнер писал по этому поводу: «Эта подвергавшаяся разнообразным нападкам мысль была высказана уже задолго до Фогта французским врачом и философом Кабанисом (1757—1808). «Мозг, — говорит он, — предназначен для мышления, как желу-

док для пищеварения или печень для выделения желчи из крови и т.д.» (Бюхнер Л. Сила и материя: В 2 вып. СПб., 1907. Вып. 2. С. 161).—4.

⁸Силоамская купальня (купель) находилась при источнике того же названия, который был на юго-восточной стороне Иерусалима. Сладко-солончатая на вкус вода источника, как издревле в это верили жители Иерусалима, имела целебную силу. Из источника евреи брали воду в праздник Кушей в храм для торжественного возлияния на жертвенник. Делалось это в память чудесного изведения воды из скалы во время странствования евреев по пустыне (см.: Ис. 12, 3). Поэтому вода из Силоамского источника считалась священной. Евангелист Иоанн, повествуя об исцелении Спасителем слепого, говорит, что Господь, сделав брение и помазав им очи слепому, сказал: «Пойди умойся в купальне Силоам...» (Ин. 9, 7).—5.

⁹См. евангельский рассказ: Лк. 10, 30—36.—6.

¹⁰Ср.: «Ни одна из них (птиц) не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же вы лучше многих малых птиц» (Мф. 10, 29—31); а также: «И волос с головы вашей не пропадет...» (Лк. 21, 18).—6.

¹¹Ср.: Иов. 1, 1—19; 42, 12—17.—6.

¹²См.: Ос. 13, 14; 1 Кор. 15, 55.—7.

¹³Согласно учению древнегреческих стоиков (Зенон, Клеанф, Хризипп), душа человека не бессмертна, но некоторое время пребывает в пространстве, и только душа мудрецов живет до окончания мира. Космос и души с кончиной мира поглощаются единой огненной пневмой, или богом (он же Зевс, провидение, судьба).—7.

¹⁴См.: Триодь постная. Тропарь на утрени понедельника, вторника и среды Страстной седмицы.—7.

¹⁵Из стихотворения А.С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).—8.

¹⁶Из стихотворения И.С. Никитина «Дедушка» (1857—1858).—8.

¹⁷Ср.: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь...» (Откр. 1, 8); а также: «Я есмь Первый и Последний, и живой; и был мертв...» (Откр. 1, 17—18).—8.

¹⁸См.: «И сказал: выйди и стай на горе пред лицом Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]» (3 Цар. 19, 11—12).—9.

¹⁹Эпитрахиль — священное облачение, надеваемое на шею, спускающееся до ступеней. Эпитрахиль означает совершительную и свыше сходящую благодать Св. Духа. Без эпитрахили иерею нельзя совершать ни одной службы. Камлавка — шапка, которую носят духовные лица и священники, из бархата фиолетового цвета, а монахи — из черного.—9.

²⁰Розанов имеет в виду историю самокапывания сектантов в 1897 г. в Бессарабии. См. об этом: Темный Лик. С. 115—224.—9.

С ЮГА

Впервые очерк печатался в трех № НВ (1898. 14, 24 июля и 2 сент.) как три главки. При переиздании его в Литературных очерках издатель Перцов (возможно, Розанов) все три части озаглавил

соответственно: «В Кисловодском парке»; «Горе от ума»; «Военно-Грузинская дорога» — и вместе с очерком «Около болящих» поместил под рубрикой «С юга». Известно, что Розанов жаловался на выправление Перцовым его «долговязых» заглавий (см.: *О себе и жизни своей*. С. 370). В настоящем издании мы возвращаемся к авторской первопубликации.

¹Ср.: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10, 14).— 10.

²В период 1863—1866 гг. возникшие в российской внутренней политике национальные проблемы были широко отражены в «Московских Ведомостях» влиятельным М.Н. Катковым. Прежде всего имеются в виду статьи по финляндскому вопросу (декабрь 1863), прибалтийскому (1864—1865). Относясь отрицательно к сепаратизму финнов, народов Прибалтики, грузин и армян, Катков в отношении евреев высказывался за идею слияния их с русским населением (см.: *Неведенский С. Катков и его время*. СПб., 1888. С. 256—333).— 11.

³Имеется в виду Кирилл Петрович Яновский (1822—1902), который за время своего управления Кавказским учебным округом (1878—1899) повысил уровень и расширил систему образования.— 13.

⁴Розанов передает наряду с другими факт закрытия Брянской прогимназии в 1884—1885 гг. из-за непосещаемости учеников, когда он там служил учителем (см.: *Розанов В. Богоспасаемый городок // НВип.*— 1901. — 21 июля).— 14.

⁵Намек на евангельский сюжет. Ср.: *Ин.* 11, 1—44.— 14.

⁶См.: Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра // Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981. С. 429.— 16.

⁷Намек на евангельский текст, напр.: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).— 16.

⁸Профанация термина Достоевского. Ср.: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только... стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите» (*Достоевский* 26. С. 147). Этот прием Розанов сохранял в течение всего своего творчества (см., напр.: *О себе и жизни своей*. С. 580).— 16.

⁹Розанов вольно передает евангельский сюжет. Ср.: *Ин.* 11, 21—43.— 18.

¹⁰Действ. IV. 522.— 20.

¹¹Действ. IV. 520—521.— 20.

¹²Ср.: «В комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? Ответ: *Грибоедов*. А знаешь ли, что такое *Чацкий*?.. Все, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым и тому подоб.» (*А.С. Пушкин — А.А. Бестужеву*. Конец янв. 1825).— 21.

¹³Действ. III. 371.— 22.

¹⁴Вольный пересказ. Ср.: *Толстой* 11. С. 277— 279.— 22.

¹⁵Действ. IV. 421.— 22.

¹⁶Действ. III. 151—152.— 22.

¹⁷*Тургенев* 7. С. 261—265.— 23.

¹⁸Такой строки в «Горе от ума» нет. Ср.: Действ. II. Строф. 417:

Взглянуть, как треснулся он — грудью или в бок?—24.

¹⁹Действ. II. 261.—24.

²⁰Ср.: Пушкин А.С. Евгений Онегин. Гл. 8. 51:

А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О много, много рок отъял!—25.

²¹Действ. I. 425.—25.

²²Розанов имеет в виду заключительные слова Чацкого в 3-м действии, однако фразы: «Прекрасной нашей до Петра одежды» — в них нет. Ср. Действ. III. 600—605:

Пускай меня объявят старовером,
Но хуже для меня наш Север во сто крат
С тех пор, как отдал всё в обмен, на новый лад,
И нравы, и язык, и старину святую,
И величавую одежду на другую
По шутовскому образцу...—25.

²³См.: Рылеев К. Думы. М., 1825.—25.

²⁴Розанов ставит имя Грибоедова в ряд с именем государственного деятеля графа Д.Н. Блудова, назначенного по рекомендации Карамзина Императором Николаем Павловичем делопроизводителем Верховной следственной комиссии по делу 14 декабря. Блудов исполнил это нелегкое для него дело, так как среди декабристов у него было много хороших знакомых. Известный мемуарист и критик А.В. Никитенко был уличен в «знакомстве» с декабристами, что едва ли не поломало его жизненную судьбу. Однако, несмотря на это, он всегда был верен государственному долгу. Розанов все время приводил в пример исполнение государственного долга и независимой гражданской позиции Никитенко. Ср.: «Он (Никитенко) «служил», т.е. работал, вез воз России. Такие, как труженики России, имеют право негодовать и сердиться: «Моя работа есть право на критику»... Никитенко имеет право говорить. Вот эту революцию («стиль Никитенко») я люблю и уважаю» (Розанов В.В. Сахария // Литературная учеба. — 1989. — № 2. — С. 106).—26.

²⁵См.: Толстой Л. С. 282—286.—26.

²⁶Ср.: Действ. II. 69:

Век при дворе, да при каком дворе!—26.

²⁷Действ. II. 212—213.—27.

²⁸Вокруг имени Сперанского в литературе существовало много историй, легенд и сплетен, однако печатного источника рассказа Розанова нами не обнаружено.—27.

²⁹Ср.: Действ. II. 80:

На куртаге ему случилось обступиться.—28.

³⁰См.: Пушкин А.С. Полтава. Песнь II. Строф. 208.—29.

³¹Ошибка Розанова: нужно Увар Иванович. Эту ошибку П.П. Перцов исправил в *Литературных очерках* (см.: С. 200). Мы оставляем авторскую редакцию как характерную для Розанова.—29.

³²2 Цар. 16, 21.—30.

³³Н.А. Грибоедова воздвигла в 1833 г. на горе Мтацминда в Тбилиси памятник на могиле мужа, на котором была надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя» (см.: Шадури В.С. Как сооружался памятник Грибоедову на горе Мтацминда // Там, где вьется Алазань: Сб. Ставрополь, 1977. С. 64—68).—30.

³⁴Намек на известный рассказ Геродота о тиране Поликрате, который ради благополучия по совету друга решил принести в жертву дорогую для него вещь — перстень, бросив его в море; однако перстень был возвращен морем владельцу: его нашли в чреве рыбы, поданной на кухню тирану (см.: Геродот. Кн. 2. 39—43).—32.

³⁵Розанов привлекает предметы детских воспоминаний. Ср. наст. изд. С. 385.—32.

³⁶Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Спор» (1841).—35.

³⁷20-го числа каждого месяца чиновники российского государственного аппарата получали ежемесячное жалованье.—36.

³⁸Ср.: Шекспир У. Гамлет (пер. Н. Полевого). Акт IV Сц. 2.—36.

³⁹Шекспир У. Гамлет (пер. Н. Полевого). Акт III. Сц. 1.—37.

⁴⁰Ср.: Быт. 1, 2.—37.

⁴¹Весь вышенапечатанный абзац в первой публикации отсутствует. В *Литературных очерках* он восстановлен, вероятно, по рукописи.—38.

В ПРИБАЛТИКЕ

Этот отдел книги посвящен впечатлениям, вынесенным Розановым из летней поездки в Прибалтику в 1899 г. Для этого он снимал дачу под Ригой (Карлсбад, Рижско-Тукумской ж.д., Дюненштрассе, дача № 45 (см. письмо Розанова к священ. А.П. Устьянскому, ок. 19 июля 1899 // РГАЛИ. ф. 419, оп. 1, ед.хр. 315, л. 28) с середины июля. В биографических материалах поездка в Прибалтику освещена недостаточно полно. Вероятно, с этой дачи он наезжал в Ригу, совершал (или совмещал) поездку на острова Эзель и Абро. В Петербург Розанов возвратился в середине августа.

ФЕДОСЕЕВЦЫ В РИГЕ

Очерк впервые был опубликован в *НВ* (1899. 27 авг.). С незначительной редакторской правкой текста вошел в *Около церковных стен* I. С. 23—36. Печатается по последнему изданию.

¹Имеется в виду первая поездка в Петербург на рождественские каникулы 1889 г. по приглашению Н.Н. Страхова.—45.

²До этой поездки Розанов жил в губернских и уездных городах: Ветлуге, Костроме, Симбирске, Нижнем Новгороде, Брянске, Ельце, Белом.—45.

³Розанов посетил Кострому, город детства, в 1895 г., приехав на похороны брата Димитрия, скончавшегося 8 ноября.—46.

⁴Розанов наблюдал французских моряков во время посещения

французской эскадры в 1897 г. Ср.: «Наблюдения над французами-простолюдинами, какие можно было сделать за эти дни, конечно, кратки... Наивность, т.е. прежде всего неиспорченность, не растленность крови, расы... что-то веселое и открытое, а главное — совершенно детское, совершенно безыскусственное и доверчивое было в лицах и движениях многих» (Розанов В. Недавние впечатления // *Народ*. — 1897. — 26 авг. — С. 2).—47.

⁵Ср.: «— А я вам доложу, князь, — сказал приказчик, когда они вернулись домой, — что вы с ним не столкнетесь; народ упрямый. А как только он на сходке — он уперся, и не сдвинешь его. Потому, всего боится. Ведь эти мужики, хотя бы тот седой или черноватый, что соглашается, — мужики умные. Когда придет в контору, посадишь его чай пить, — улыбаясь говорил приказчик, — разговоришься — ума — палата, министр, — все обсудит как должно. А на сходке совсем другой человек, заладит одно...» (Толстой 32. С. 223).—47.

⁶Намек на известную строку из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Ср.:

Там русский дух... там Русью пахнет!—49.

⁷Т.е. церквам; калька — от нем. Kirche (церковь).—49.

⁸Солея (от евр. solia — гряда, насыпь, возвышение) — возвышенное место, простирающееся перед иконостасом через весь храм от южной его стороны до северной. Часть солеи пред царскими вратами, иногда еще более возвышенная, называется амвоном.—50.

⁹Ср.: «Все дышащее да хвалит Господа!» (Пс. 150, 6). — 51.

¹⁰Всего вероятнее, Розанов передает в вольном пересказе слова протопопа Аввакума. Ср.: «Альманашники, и звездочетцы, и вси зодейшики познали Бога внешнею хитростию, и не яко почтоша и прославиша, но осуетишася своими умышленьми, уподоблятися Богу своею мудростию начинающе, якоже первый блядивый Неврод, и по нем Зевес прелагатай, блудодей, и Ермис пияница, и Артемида любодейца, о них же Гронограф и вси кронники свидетельствуют; таже по них бывше Платон и Пифагор, Аристотель и Диоген, Иппократ и Гален: вси сии мудри быша и во ад угодиша... [...] Виждь, гордоусец и альманашник, твой Платон и Пифагор: тако их же, яко свиней, вщи съели, и память их с шумом погибе, гордости их и уподобления ради Богу. Многи же святии смирения ради и долготерпения от Бога прославившася и по смерти обоготворени быша, понеже и телеса их являют в них живущую благодать Господню, чюдесьми и знаменьями яко солнце повсюду сияют» (Жития протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения. М., 1960. С. 138). — 51.

¹¹Ср.: «Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь, Бог твой...» (Втор. 5, 16).—52.

ЭСТОНСКОЕ ЗАТИШЬЕ

Статья печатается по единственной публикации в *НВ* (1903. 20 авг.).

¹Ср.: «Из Ельца я перевелся в Белый, как «куда-нибудь», — в 130 верстах от железной дороги и с 3¹/₂ тысячами жителей. Город был до того глух (он состоял из одной «Кривой» улицы, от которой начинались проулки — в поле, но в проулках было дома три-четыре, с ого-

родами), что однажды волки разорвали ночью свинью (не убранную) между собором и клубом» (*Литературные изгнанники*. С. 295).—58.

²В Смоленск Розанов заезжал из Белого, в котором служил учителем в 1891—1893 гг.; в Севастополе он бывал проездом в Италию. В Орле он мог бывать, пока служил в Ельце учителем в 1887—1891 гг.—58.

³Замок на о.Эзель основал в 1343 г. Герман фон Оснабрюге, епископ рижский. Сюда он перенес епископскую кафедру. Возникшее вокруг него поселение получило название от слова Ааг (орел — эмблема патрона замка по символике евангелиста Иоанна). Аренсбург и весь о.Эзель был под владением датчан (1560—1645), Швеции (1645—1721). В 1710 г. Аренсбург был взят русскими, укрепления и часть замка разрушены, город сожжен.—60.

⁴Об этой комнате, в которой были найдены в 1785 г. останки замурованного рыцаря, судя по одежде, XVI в., писали энциклопедии (см.: *Новый Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона*. Т. 3. Стб. 449. СПб., б.г.).—61.

ПОЕЗДКА В АБРО

Впервые заметка опубликована в журнале И.Ф. Романова (Рцы) «Летописец» (1904. — № 8. — С. 255—256) и с тех пор не переиздавалась. Печатается по этому изданию.

¹С кем Розановы ездили на о. Абро — неизвестно. Возможно, это была семья И.Ф. Романова.—67.

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

Очерк был написан осенью 1901 г. для «Северных Цветов». Редактор-составитель альманаха В.Я. Брюсов, получив рукопись в декабре 1901 г., писал Розанову: «Мне эта «Тревожная ночь» представляется лучшим, т.е. совершеннейшим, из всего, что Вы написали. Здесь как-то удивительно соразмерно сочетались все особенности Вашего творчества и даже все его недостатки, за которые мы Вас так любим. Нет остроты и страстного самозабвения Ваших злободневных статей, но ведь это же рассказ, в нем зато сила образа, свобода от путей рассудка, весьма неверных путей от души к душе» (*РГАЛИ*, ф. 419, оп. 1, ед.хр. 724, л. 46—47). Очерк был напечатан Брюсовым в «Северных Цветах на 1902 год» (М., 1902. С. 3—15). Розанов включил его в *Темный Лик* «вместо послесловия» (с. 271—285). Печатается по этому, последнему, изданию.

¹Розанов направлялся домой в сторону 3-й Мещанской улицы (сейчас — ул. Щепкина), где в доме Сабуровой (дом не сохранился) они снимали две комнаты.—71.

²Таких слов у Гоголя не обнаружено. Ср.: *Гоголь* 2. С. 206.—73.

³Ср.: «Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне» (*Пс.* 112, 1).—74.

⁴Ср.: «Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали, от страха мучений ее, плача и рыдая и говоря: горе, горе тебе, великий город... Ибо в один час погибло такое богатство!» (*Откр.* 18, 15—17).—78.

⁵Ср.: «...к концу времени и времен и полувремени...» (*Дан.* 12, 7).—79.

⁶См.: Дан. 9, 27.—79.

⁷См.: «У южной стороны городской стены, на склоне горы Мория, где стоял храм Соломона, — так называемое место плача иудеев. По преданию, после разрушения императором Титом уцелела, в числе немногих других, именно эта часть стены. Сюда-то, в течение 18 веков, евреи приходят ежедневно перед закатом солнца, а в особенности по пятницам, молиться и оплакивать разрушение храма и утрату независимости, так как на самую площадь, где стоял храм, евреям строжайше входить запрещается. Пение псалмов сопровождается рыданием; многие становятся перед стеною на колена, падающие лбызают камни. По мнению археологов, эта часть стены действительно весьма древнего происхождения, а в особенности нижние ее ряды, по мнению евреев входившие в состав храмовой стены» (Вейнберг Л.Б. и А.Я. Иерусалим // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1894. Т. 13—а. С. 655).—79.

⁸Принесение жертвы Богу было в Ветхом Завете выражением здоровой религиозной жизни народа. Отпадение от Бога, «мерзость запустения» наступает с «прекращением жертвоприношения». Ср. пророчества Даниила: «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней» (Дан. 12, 11).—79.

⁹Ср.: «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2, 4).—79.

¹⁰Из стихотворения А.С. Пушкина «Бесы» (1830).—79.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Этот отдел книги посвящен циклу очерков, навеянных впечатлениями от путешествия Розанова по Италии весной 1901 г. Очерки печатались в периодике в течение 1901—1903 гг. и в 1909 г. были собраны в сборник под названием «Итальянские впечатления» (СПб., 1909). Наблюдение за печатанием книги взял на себя С.П. Каблуков. В своем дневнике он отмечал, что к работе приступил 22 февраля 1909 г. (см.: ОР РНБ, ф. 322, ед.хр. 3, л. 22—25). На последней 319-й странице: «Окончена печатанием 25-го апреля 1909 года в типографии А.С. Суворина». В свет книга появилась между 29 апреля и 9 мая (см.: Книжная летопись. — 1909. — № 19. — 12 мая) тиражом 2400 экз. Выход книги сопровождал ряд положительных рецензий, в которых отмечалась свойственная Розанову меткость глаза, талантливая вдумчивость и задушевность путешественника. «Прекрасное явление, — писал критик А. Измайлов, — среди сегодняшнего бездарного и фальшивого дня — удивительно вылилась исконная русская черта какой-то необычайной нашей русской глубины и вдумчивости» (РС. — 1909. — 3 июля). «Пламенная дума на самые серьезные философские темы» (Измайлов А. Там же). «Прочтешь эту книгу, — писал Ю. Беляев, — и хочется мечтать» (НВ. — 1909. — 24 июня). Георгий Лукомский писал: «“Итальянские впечатления” В. Розанова — книга бесхитростная и глубоко-мысленная» (Аполлон. — 1909. — № 3. — С. 25). В рецензиях отмечалась обычная розановская свобода обращения с историческими и источниковедческими предметами. Рецензент И.К. Маркузе находит даже грубые ошибки у Розанова, но все это автору прощается ради того, что он «рассказывает так живо» (НВ. — 1909. — 16 июля). Читательская

судьба книги была довольно сносна. К 1912 г. Розанов отметил, что на книжном складе 623 экз. остались непроданными.

Розанов в Италию выехал 14 марта вместе с женой и, кажется, падчерицей А. М. Бутягиной. В дорогу Розанов взял рекомендательные письма от А.В. Прахова к русскому консулу в Венеции И.А. Сунди и сотруднику российского посольства в Риме Ф.И. Шмидту. Не позднее 21 мая Розановы возвратились в Петербург.

Все статьи в нашем издании перепечатываются из книги 1909 г. Они сверены с первопубликациями, и все расхождения в тексте оговариваются в преамбулах к очеркам.

[ПРЕДИСЛОВИЕ]

Написано специально для издания «Итальянских впечатлений».

¹Ср. с «историческим интересом» Достоевского и А.С. Хомякова: «За границей я не был ни разу; рвался я туда чуть ли не с моего первого детства, еще тогда, когда в долгие зимние вечера, за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф... Вся «страна святых чудес» [так назван Запад в стихотворении А.С. Хомякова «Мечта» (1834)] представится мне разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе» (*Достоевский* 5. С. 46—47).—83.

²См.: *МИ*. — 1902. — № 7. — С. 3—6; № 2. — С. 65—68.—83.

³Ср. характеристику Бакста, записанную Розановым в 1915 г.: «Его нельзя было не любить. Вечный мальчик. Розовый и рыжий. Со щурящимися от солнца глазами, вообще «рассматривающий», и с трудом, впереди себя что-то, насчет чего ошибается. «Это, Левушка, не баба, а мужик» или «это, Левушка, не мужик, а баба». Он был глубоко рассеянный и в себе сосредоточенный; смеющийся или улыбающийся. Скромный, всегда и глубоко скромный. Становящийся в тень с большою любовью, чем выставляющийся вперед» (*ОР РГБ*, ф. 249, М. 3871, л. 190).—83.

⁴*Триремы* у римлян и карфагенян — боевое гребное судно с тремя рядами весел, расположенных в шахматном порядке.—84.

⁵См. преамбулу к разделу «Германские впечатления» (первая поездка).—84.

РИМ

Страстная пятница в соборе св. Петра

Первоначально очерк печатался в *НВ* (1901. 31 марта) под названием «Римские впечатления: Страстная Пятница» под рубрикой «Маленький фельетон» и отмечен как «Корреспонденция «Нового Времени»». В книге текст подвергся незначительной редакции.

¹В Римской католической Церкви *каноник* — член капитула, т.е. совета при епископе, высшем иерархе Церкви; *прелат* — звание, присваиваемое высшим духовным лицам Церкви.—85.

²См. объявление в *НВ* (1893. — 28 марта. — С. 1): «Действительный статский советник В.Н. Штрик скончался 26 марта 1893 года в 1 ч. 30 мин. пополудни. Вынос тела 29 марта в 8¹/₂ утра (Фонтанка,

№ 133). Отпевание в Александро-Невской лавре, в церкви св. Исидора, в 11 ч. утра». Розанов присутствовал на похоронах генерал-контролера Штрика как новый чиновник Государственного контроля, только что, 16 марта 1893 г., перемещенный из Министерства народного просвещения. Однако Н.Н. Страхов, поджидавший Розанова в СПб. из Белого, в письме от 31 марта 1893 г. недоумевает, почему Розанов не приезжает к месту службы (см.: *Литературные изгнанники*. С. 359).—86.

³Розанов был страстным коллекционером античных монет. См. его слова в письме к Максиму Горькому в августе, (или сентябре) 1911 г.: «У меня римских [монет] 1300. Греческих 4500. Больше, чем есть в Московском университете (150 лет собирали дураки и меньше моего собрали!!!)» (*Бочарова И.А. О «безвидной дружбе» (Письма В. Розанова к М. Горькому) // Вопросы литературы. — 1989. — № 10. — С. 163).*—87.

⁴Наиболее распространенная версия о происхождении имени Рима от имени Ромул, одного из двух братьев, вскормленных волчицей, который, по преданию, основал город в 754—753 гг. до Р.Х. на Палатинском холме.—87.

⁵См.: *Плутарх* 3. С. 175—180.—88.

Страстная Суббота в Колизее

Очерк впервые напечатан в *НВ* (1901. 1 апр.). Текст первой публикации переиздан с незначительной редакторской правкой.

¹Католическое песнопение на слова покаянного 50-го псалма, начинающегося словами: *Miserere Domine* (Помилуй мя, Боже!).—89.

²Священное коронование Государя Александра III произошло 15 мая 1883 г. Ср. описание празднеств: «Еще задолго до сумерек в первый день иллюминаций, 15 мая, толпы народа наполняли центр ее — Кремль. Пред дворцами не смолкало ура. Около 8 часов весь Кремль осветился. Все башни и зубцы Кремля сверху донизу загорелись бесчисленным множеством огней. Здания Кавалерского корпуса, Дворцовых казарм, Арсенала и Окружного Суда, все сплошь сияло. С последним ударом девяти часов на Спасской башне, как бы по мановению волшебного жезла, вспыхнула сверху донизу громада Ивана Великого». И т.д. (*Московские Ведомости*. 1883. 17 мая. С. 4).—89.

³*Foro Romano* — в Древнем Риме площадь, на которой происходили народные собрания; впоследствии сделалась обыкновенною торговою площадью.—90.

⁴Гонения против христиан в первые три века христианской эпохи в языческом Риме приобрели форму мученичества. «Слово «мученик», которым переводится у славян греческое — свидетель, передает лишь второстепенную черту факта и явилось, как отзыв непосредственного человеческого чувства на повествование о тех ужасных страданиях, которые переносили» (проф. *Болотов В.В.* Лекции по истории древней Церкви. СПб., 1910. Т. 2. С. 3).

Арена Колизея служила местом, где диким зверямставляли обвиняемых в чем-либо, юридически бесправных христиан. Это было одной из форм зрелищного развлечения развращенного Рима. На поклонение месту свидетельств святых мучеников в Рим, в Колизей, совершали хождения многие русские православные люди. Ср. опи-

сание Колизея в ночь перед Святым Воскресением известного духовного писателя А.Н. Муравьева, который совершил посещение его более чем за пятьдесят лет перед Розановым: «Наступил вечер великой субботы, не ознаменованный никакими высокими обрядами в Риме... Я воспользовался свободой великолепного вечера, чтобы посетить Колоссей, особенно привлекательный и чудный при лунном сиянии, которое как мантией прикрывает его развалины, давая им вид целости. Отрадно было, накануне празднуемого в Риме воскресения Господа, видеть там и поприще славы совоскресших с ним, которые некогда, в давнопрошедшее вчера, сраспинались и спогреблись ему, чтобы ныне прославиться, вместе с своим Спасом, в царствии его.

Пустынно плавала луна по римскому небу: лучи ее падали в глубокий Колоссей, наполняя его серебристою пеною и, как из разбитого сосуда, струились вон из его развалин. Иногда чудный исполин сей казался стоглазым черепом, который еще страшно смотрел сквозь пустые отверстия своих окон и мертвым свинцовым взором смирал вокруг себя прочие остовы державного Рима, на этом поле смерти! Мы взошли во внутренность здания, сооруженного людьми на погибель людей: белым полотном разостлалась пред нами его обширная площадь, сколько раз обагрявшая кровию мучеников! Сквозь яркий свет луны, странно мелькали, на верхних ярусах, восходившие и нисходившие огни, по ступеням полуобрушенных лестниц: это были факелы любопытных, которые пришли, подобно нам, осязая труп Колоссея, как некоего чудовища, когда оно уже мертво... Я посмотрел во внутренность Колоссея, в этот глубокий водоем мученической крови, еще обставленный разбитыми ступенями народа, некогда ее алкавшего и в свою чреду стертого с лица земли: все в нем было тихо и светло, как на сердце тех, которые там пострадали: плетеницы диких цветов роскошно пробивались из-под рассевшихся камней: голубое ясное небо проглядывало из бесчисленных окон, и над его зубчатою вершиною, со стороны холма Целийского, подымались стройные кипарисы бывшего зверинца Домитианова, как погребальный венок, один достойный украшать чело колосса, в его вековой борьбе с сокрушительным временем!» ([Муравьев А.Н.] Римские письма: В 2 ч. СПб., 1847. Ч. 1. С. 159, 160—165).—91.

⁵Карл Бедекер, составитель путеводителей, носящих его имя — так называемых *бедекеров*, которые благодаря добросовестности и умелому подбору материала приобрели широкую популярность у путешественников. По Италии составлено 4 части. См.: *L'Italia des Alpes a Naples. Manuel abrégé du voyageur par Karl Baedeker*. Leipzig; Paris, 1909. 3 édition.—91.

⁶В Древнем Риме: жрицы богини Весты, богини домашнего очага, давшие обет целомудрия.—92.

⁷См.: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и (все) произрастания земли» (Быт. 19, 24—25).—92.

⁸Католическое песнопение; исполняется как благодарственный молебен.—92.

⁹*Лития* (от греч. *λῑτή* — моления) — всенародное усердное моление; совершается обычно в храме. Она установлена частью в память

общественных молений (или крестных ходов), совершавшихся по случаю народных бедствий.—92.

¹⁰Кондак, который поется на заупокойном богослужении: «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».—92.

Пасха в соборе св. Петра

Впервые очерк был опубликован в *НВ* (1901. 13 и 14 апр.) под названием «Римские впечатления: Пасха в соборе св. Петра». В книге перепечатана с незначительной редакцией.

¹*Филиокве* (filio que — и от Сына) — учение католической Церкви об исхождении Святого Духа от Бога Отца и Бога Сына. Это учение было одной из причин разделения Церкви в XI в.—93.

²*Опресноки* — постный, неквашенный хлеб. См. о начале раскола Церкви в кн.: *Поснов М.Э.* История Христианской Церкви (до разделения Церкви — 1054 г.). Брюссель, 1964. С. 535—540.—93.

³Речь идет об известном в европейской истории случае, когда занимавшиеся торговлей иезуиты не захотели согласовать свои действия с законами Франции, ссылаясь на положения своего устава. На предложение внести некоторые изменения в устав Лоренцо де Риччи, генерал Ордена иезуитов с 1758 по 1773 г., ответил: «Sint ut sunt, aut non sint» (Пусть будут такими же или вовсе не будут. — *лат.*). После этого иезуиты были изгнаны в 1764 г. из Франции.—93.

⁴Розанов передает библейский эпизод, который посвящен тому, как пророк Господний победил «четыреста пятьдесят пророков Вааловых и четыреста пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели», жены израильского царя Ахава (см.: *2 Цар.* 18, 18—28).—93.

⁵Ср.: «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее» (*3 Цар.* 19, 10).—93.

⁶Молитва мытаря (см.: *Лк.* 18, 13).—94.

⁷Простонародное выражение названия антифонов (*греч.* ἀντίφωνος — звучащий в ответ), псалмопение, исполняемое поочередно двумя хорами или солистом и хором. Поются по праздникам, в отдание праздников и по воскресеньям. Ср.:

«Я еду к ефимонам с Горкиным... Это мое первое с т о я н и е, и оттого мне немножко страшно...

— Горкин, — спрашиваю его, — а почему с т о я н и е?

— Стоять надо, — говорит он, покивая мягко, как и все владимирцы. — Потому, как на Страшном Суду стоишь. И бойся! Потому — их-фимоны.

Их-фимоны... А у нас называют — ефимоны, а Марьюшка-кухарка говорит даже «филимоны», совсем смешно, будто выходит филин и лимоны. Но это грешно так думать. Я спрашиваю у Горкина, а почему же филимоны, Марьюшка говорит?

— Один грех с тобой. Ну, какие тебе филимоны... Их-фимоны! Господне слово от древних век. Стояние — покаяние со слезьми. Ско-рбе-ние... Стой и шопчи: Боже, очисти мя, грешного! Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому, их-фимоны!..» (*Шмелев И.С.* Лето Господне. — Богомолье. М.: Московский рабочий, 1989. С. 34—35).—94.

⁸Начало великопостной молитвы святого *Ефрема Сирина*: «Господи, и Владыко живота моего, дух праздности, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». — 94.

⁹Окончание молитвы из вечернего богослужения: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Услыши мя, Господи». — 94.

¹⁰Совершается в Страстную седмицу вечером Великого Четверга, когда последовательно читаются 12 отрывков из четырех Евангелий. Во время этой части службы раздаются свечи священнослужителям и молящимся. Свечи по прочтении погашаются и возжигаются к началу следующего чтения Евангелий. Перед каждым Евангелием ударяют в большой колокол столько раз, какое по счету читается Евангелие. — 94.

¹¹Розанов обыгрывает вопрос Никодима и ответ И. Христа. Ср.: *Ин.* 3, 4—5. — 94.

¹²Ср.: *Быт.* 1, 8 и т.д. — 94.

¹³Ср.: «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (*Мф.* 4, 1—3). — 96.

¹⁴Розанов по памяти передает слова св. *Василия Великого* из 1-й «Беседы» («О посте»): Ср.: «Пост узаконен в раю. Такую первую заповедь принял Адам: «От древа, еже разумети доброе и лукавое», не снете (*Быт.* 2, 17). А сие «не снете» есть узаконение поста и воздержания» (Творения иже во святых отца нашего *Василия Великого*, архиепископа Кесарии Кападокийской: В 6 ч. М., 1846. — Ч. 4. — С. 3). — 96.

¹⁵См.: *Мк.* 2, 23—28. — 96.

¹⁶Имеется в виду папа Лев XIII (в миру Джованни Винченцо Печчо, 1810—1903). В 1901 г. ему было 91 год. В 1900 г. Римская католическая Церковь отмечала юбилейный год, празднество, которое она отмечает каждые пятьдесят лет. См. статью *Розанова*: Лев XIII и католичество // *НВ.* — 1903. — 13 июля (а также: *Около церковных стен* 2. С. 203—224). — 98.

¹⁷В газетном варианте вместо вышеприведенных двух предложений следующий текст: «Это символ того перстня, о котором Спаситель говорит в притче о блудном сыне: “И принесите ему лучшую одежду, и дайте ему перстень на руку”» (Ср.: *Лк.* 15, 22). — 99.

¹⁸Слава! Слава! (*лат.*). Вторая часть католической обедни (мессы), начинающаяся исполнением «Слава в вышних!» (*Gloria in excelsis*). — 99.

¹⁹См.: «Приидите, пиво пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник, из гроба одождивша Христа, в Нем же утверждаемся» (3-я песнь из Пасхального канона; творение *Иоанна Дамаскина*). — 99.

²⁰См.: «На божественной стражи богоглаголивый Аввакум да станет с нами и покажет светоносна Ангела, да станет ясно глаголюща: днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всемогущ» (4-я песнь Пасхального канона). — 99.

²¹Ср.: *Иов.* 20, 17. — 100.

²²*Митра* — в православной и католической церквях — позолоченный головной убор, надеваемый высшим духовенством во время богослужений.—100.

²³См.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Кн. 5. Великий Инквизитор // Достоевский 14. У Достоевского рассказ о Великом Инквизиторе назван *поэмой*, но с легкой руки Розанова, посвятившего ему известное сочинение «“Легенда о Великом Инквизиторе” Ф.М. Достоевского» (1891), этот рассказ фигурирует как *легенда*. — В настоящем комментируемом месте надо отметить, что мысль Розанова проводилась под влиянием идей К.Н. Леонтьева. Ср.: «Ведь я, признаюсь, хотя и не совсем на стороне «Инквизитора», но уж, конечно, и не на стороне того безжизненно-всепрощающего Христа, которого сочинил сам Достоевский. И то, и другое — крайность. А еванг(ельская) и святоотеч(еская) истина в середине. Действительные инквизиторы в Бога и Христа веровали, конечно, сильнее самого Фед.Мих. Ив. Карамазов, устами которого Фед.Мих. хочет унижить католичество, — совершенно не прав» (Леонтьев — Розанову. 25 мая 1891 г. — Из переписки К.Н. Леонтьева // Русский Вестник. — 1903. — № 5. — С.162—163).—101.

По старому Риму

Впервые очерк опубликован в *НВ* (1901. 17, 21 апр. и 8 мая) под рубрикой «Маленький фельетон». В книге перепечатан с незначительной редакторской правкой.

¹Этот абзац в газетном варианте отсутствует.—102.

²Култ богини Весты в римской религии — один из древнейших. Хранительница домашнего очага, Веста олицетворяла благодетельный огонь. Ее храм находился на Форуме и носит черты глубочайшей древности. В 241 г. до Р.Х. храм сгорел и был восстановлен так же, как и другие древние италийские дома, — из плетеных стен и соломенной крыши. Позже он несколько раз перестраивался, но постоянно сохранял круглую форму.—102.

³По преданию, матерью основателя Рима была весталка, жрица храма Весты, обязанная хранить целомудрие. См.: «Весталка сделалась жертвой насилия и родила двойню, отцом же объявила Марса — то ли веря в это сама, то ли потому, что прегрешенье, виновник которому бог, — меньшее несчастье» (Ливий 1. С. 12—13).—102.

⁴Вероятно, Розанов передает эпизод, относящийся к истории основания Рима, когда соперничающие братья Ромул и Рем поссорились при избрании на царство. Ромул очертил границу города, назвал черту стеной. Рем в насмешку перескочил через «новые стены», и Ромул в гневе убил его, воскликнув: «Так да погибнет всякий, кто перескочит через мои стены!» (Ливий 1. С. 14—15). Однако Розанов, может быть, учел и деятельность второго после Ромула царя Рима — Нумы Помпилия, «знатока сего божественного и человеческого права». «Получив... царскую власть, Нума решил город, основанный силой оружия, основать заново на праве» (Ливий 1. С. 26).—103.

⁵*Лациум* (Latium) — древняя область в Средней Италии, заселенная латинами, покоренная Римом.—104.

⁶Ср. речь апостола Павла: «Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: “неведомому Богу”» (Деян. 17, 22—23).—104.

⁷Вольски (Volsci) — один из народов Центральной Италии, который вел многовековую борьбу с латинами.—104.

⁸Прозвище *Кориолана* (Coriolanus) получил римский патриций Гней Марций, прославившийся при взятии города вольсков Кориол (493 г. до Р.Х.). Легенда о Кориолане внушила Шекспиру тему для одной из лучших его трагедий. В сочинениях Цезаря имя Кориолана не упоминается.—104.

⁹По еврейскому закону агнец (козленок, ягненок) был пасхальной жертвой. Иоанн Креститель, встретившись с Иисусом Христом, узрел в нем будущую жертву ради рода человеческого и сказал: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29). Наименование Иисуса Христа Агнцем говорит о глубочайшем смирении Его, но особенно и преимущественно оно применяется к Нему как к великой и умилоостивительной жертве за грехи мира (см.: Откр. 5, 6, 7, 9, 14, 17).—107.

¹⁰Ср.: «Если кто из сынов Израилевых (...) поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его...» (Лев. 17, 13—14).—110.

Дети и монахи Боргезе

Впервые очерк опубликован в *НВ* (1901. 24 апр.). В книге перепечатан без изменений.

¹Вилла *Боргезе* принадлежала знаменитому римскому роду, возвысившемуся со второй половины XV в. Основателем виллы был сын сестры папы Павла V (1605—1621) Шипионе Каффарелли, ставший кардиналом и получивший имя Боргезе. Папа Павел V, согласно господствовавшей при римской курии системе nepotизма, пользовался своим могуществом для обогащения своих родственников. Вилла располагалась перед северными стенами города и была расширена позднее садами Джустиниани. В 1901 г. вилла была куплена государством за 3 млн лир и передана Риму в качестве городского парка. Она служит любимым местом прогулок горожан.—112.

²Вероятно, Розанов имеет в виду так называемые передвижные школы, которые были созданы в сельских местностях Норвегии еще в 1827 г. Их вел учитель, переезжая с одного места на другое.—113.

³*Эскориал* — архитектурный ансамбль (монастырь-дворец), расположенный в Новой Кастилии, близ Мадрида, построенный для короля Филиппа II (1527—1598). В залах музея собрана богатейшая коллекция скульптуры и живописи XVI—XVIII вв.—113.

⁴*Стихарь* — одежда диаконов, надеваемая при богослужениях.—114.

⁵Розанов был учителем уездных гимназий в 1882—1893 гг.—114.

⁶Догмат о непорочном зачатии Девы Марии был провозглашен папой Пием IX 8 декабря 1854 г. Догмат о личной непогрешимости

папы в делах веры и морали, а также определение примата папы было провозглашено на Вселенском соборе в Ватикане 18 июля 1870 г., когда была принята 1-я догматическая конституция «*Pastor aeternus*» («О Церкви Христовой»).—114.

⁷*Триденский* (Триенский) вселенский собор Римской католической Церкви заседал в 1545—1547, 1551—1552 и 1562—1563 гг. в Тренто (лат. Tridentum; нем. Trient) и в 1547—1549 гг. в Болонье. На нем были закреплены догматы католической Церкви и выработана программа борьбы с Реформацией. *Базельский* собор проходил в 1431—1449 гг., был одним из моментов в процессе реформации Церкви.—114.

⁸Имеется в виду аббат Прево (Прево д'Экзиль Антуан Франсуа, 1697—1763), автор романа «История кавалера де Гриё и Манон Леско». Вопреки утверждению Розанова автор подвергался преследованию за оскорбление морали в романе, а сам роман был присужден к сожжению.—117.

⁹*Консул* в Римской республике был высшим должностным лицом (выбирались два консула на год); *ликтор* — должностное лицо при высших магистратах в Древнем Риме.—120.

Выцветающая живопись

Впервые статья была напечатана в *НВип* (1901. 26 мая). В книге перепечатана с небольшой редакцией.

¹*Архиерейский дом* в Древней Руси являлся церковно-административным учреждением, которое управляло епархией, обширными вотчинами или населенными землями, приобретенными церквами или монастырями в период удельных и особенно московских великих князей и первых царей. Значение архиерейского дома ограничил Петр Великий, а во второй половине XVIII в. он стал резиденцией архиерея.—121.

²*Сикстинская капелла* была построена в 1473—1481 гг. в Ватикане архитектором Дж. де Дольчи первоначально как домовая церковь. Стены расписывали С. Боттичелли, Пинтуриккьо и др., свод и алтарную стену — Микеланджело.—121.

³См.: *Мф.* 1, 1—16.—121.

⁴См.: «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! он стал, как вдова... Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник; все ворота его опустели; священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому...» (*Плач.* 1, 1, 4).—121.

⁵См.: «Иже херувимы тайно образующе и Животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение, яко да царя всех подыдем, Ангельскими невидимо дороносима чинми, аллилуйя». Поется перед Великим входом, т.е. перед перенесением Святых Даров с жертвенника на Престол. *Херувимская песнь* является подготовлением всего молитвенного собрания к одному из торжественных отделов литургии.—123.

⁶Эти аристотелевские категории Розанов всегда любил приводить в своих сочинениях.—123.

⁷*Сивиллины книги* (*Sibyllini Libai*) — книги пророчеств, приобретенные, по преданию, Тарквинием Гордым. Представляют собой собрание стихотворных оракулов. Сивиллины книги находились в ведении жреческой коллегии хранителей и истолкователей. К ним

обращались по решению сената, чтобы определить, что следует предпринять для умилоствления богов при неблагоприятных знамениях.—124.

⁸Розанов имеет в виду прежде всего посольство римских граждан в 452 г. во главе с папой Львом I Великим в лагерь вождя гуннов Атиллы, которое уговорило его отказаться от намерения сжечь и разграбить Рим. Народ Рима почтил папу Льва I наименованием «Великий» в память об усилиях его, направленных на защиту Вечного города.—127.

В музеях Ватикана

Впервые статья была опубликована в *НВ* (1901. 23 мая). В книге текст статьи значительно доработан.

¹Ср.: Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси: XI—нач. XII в. М., 1978. С. 122. Розанов передает неточно: послы посещали мусульманские мечети на Волге у болгар, которые на службе сидели. У греков богослужение проходило при стоянии богомольцев.—130.

²Одна из форм католической литургии, введенная, вероятно, еще Триденским собором и упраздненная 2-м Ватиканским собором в 1962—1963 гг. Особенности *missa tacita* следующие: священник стоит лицом к алтарю и спиной к верующим и читает тихим голосом, чтение не сопровождается пением, но иногда может участвовать орган.—131.

³См.: Лессинг. С. 485—488.—134.

⁴См.: Исх. 25—28.—135.

⁵См.: Иез. 40—43.—136.

⁶Цитата сконтаминирована Розановым из сообщений философов древности об учении *Пифагора* и его последователей, так как сочинения знаменитого мудреца не сохранились. Ср., например, высказывание *Аристотеля* в «Метафизике»: «Пифагорейцы, занявшись математикой, первые развили ее и, овладев ею, стали считать ее начала началами всего существующего. А так как среди этих начал числа от природы суть первое, а в числах пифагорейцы усматривали (так им казалось) много сходного с тем, что существует и возникает, — больше, чем в огне, земле и воде (например, такое-то свойство чисел есть справедливость, а такое-то — душа и ум, другое — удача, и, можно сказать, в каждом из остальных случаев точно так же); так как, далее, они видели, что свойства и соотношения, присущие гармонии, выразимы в числах; так как, следовательно, им казалось, что все остальное по своей природе явно уподобляемо числам и что числа — первое во всей природе, то они предположили, что элементы чисел суть элементы всего существующего и что все небо есть гармония и число». (*Аристотель*. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1976. — Т. 1. — С. 75—76).—136.

⁷Ср.: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (*Быт.* 1, 27).—136.

⁸Ср.: «Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или

женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо [гада], ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах и ниже земли...» (Вм. 4, 16—18).—136.

⁹Лессинг в известной книге о Лаокооне не упоминал об этом. Скорее всего Розанов имел в виду высказывания известного немецкого историка искусства И.И. Винкельмана (1717—1768). Ср.: «На базисе фигуры, с правой стороны, написано по-гречески: “Фидий и Аммоний, сыновья Фидия, ее делали”» (Винкельман И.И. История искусства древности. Ревель, 1888. С. 198).—137.

¹⁰См.: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]» (Быт. 2, 21—23).—138.

¹¹См.: Плутарх 1. С. 482—483.—138.

¹²Ср.: «Посовещавшись, должностные лица и члены совета Минтурн решили немедленно умертвить Мария. Однако никто из граждан не хотел взять это на себя, лишь один солдат конницы, родом галл или кимвр (историки сообщают и то и другое), вошел к нему с мечом. В той части дома, где лежал Марий, было мало света, и в полутьме солдату показалось, будто глаза Мария горят ярким огнем, и из густой тени его окликнул громкий голос: «Неужели ты дерзнешь убить Гая Мария?» Варвар тотчас убежал, бросив по пути меч, и в дверях завопил: «Я не могу убить Гая Мария!» Всех граждан обуял ужас, ему на смену пришли жалость и раскаяние в незаконном решении, которое они приняли, позабыв о благодарности спасителю Италии, не помочь которому — тяжкое преступление» (Плутарх 1. С. 479).—138.

¹³Ср.: 1 Ин. 4, 12.—139.

На вершине Колизея

Впервые статья была опубликована в *НВип* (1901. 9 июня) под названием «Римские впечатления: На вершине Колизея». В книгу вошла без изменений.

¹Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле была во времена Розанова самым высоким зданием в Москве.—143.

²Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Умиравший гладиатор» (1836).—146.

³Ср.: Жития святых 10. С. 651.—147.

⁴Ср.: «Воскресения день и просветимся торжеством и друг друга обимем...» (Пасхальная стихира // Канонник. М.: Издание Московской Патриархии, 1986. С.476). Розанов часто обращается к этим словам, используя их в разных контекстах.—147.

⁵Ср.: «...кувыркается рай и ад, и вообще «все потрясается», а звезды, путевые огоньки человечества, осыпаются с неба, как пуговицы с изношенного сюртука...» (Розанов В. На лекции о Достоевском // О Достоевском и Толстом. С. 459).—148.

⁶Розанов употребил схоластический термин, означавший высшую степень реальности (*eminentia* — превосходство — лат.).—151.

«Умиравший гладиатор» и «Моисей» Микель-Анджело

Впервые очерк опубликован в *НВип* (1901. 2 июня) под заглавием «Римские впечатления: “Умиравший гладиатор” и “Моисей” Микель-Анджело». В книге перепечатан без изменений.

¹См.: *Грегоровиус Ф.* История города Рима в Средние века: В 6 т. (12 кн.) СПб., 1886—1888. — Т. 2. — Кн. 6. — С. 298—299.—152.

²См.: *Аврелий Марк.* Размышления. Л., 1985.—152.

³См.: *Исх.* 32, 22—24.—154.

⁴В «Теогонии» Гесиода упоминание *Гекаты* не сопровождается атрибутом «страшной». Наоборот, она выступает как богиня высокопочитаемая, дарует счастье и победу, мудрость в собраниях, процветание молодежи и рост стадам. Под влиянием орфического учения она сделалась мифическим божеством и в этом виде смешалась с другими мистическими существами, как-то: Деметрою, Персефоною, Реею Кибелою. Начиная с трагиков, она превратилась в подземное божество, которое под именем Кратейды страшно и могущественно правит тенями, вызывает души умерших из преисподней и страшит людей призраками.—154.

⁵Ср. стихотворение *Ф. Шиллера* «К радости!» («An die Freude!»; 1785) в переводе Ф.И. Тютчева:

У груди́й благой природы
Все, что дышит,
Радость пьет.—155.

⁶*Рог* как символ силы, могущества, крепости и богатства (изобилия) восходит к библейской культуре. См.: *Исх.* 27, 2.—155.

⁷В библейских текстах описание статуи Ваала не обнаружено.—155.

⁸См. примеч. 5 к с. 4.—155.

⁹Ср.: «Уже он хотел перескочить с конем через узкую реку, выступившую рукавом среди дороги, как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и, чудо, засмеялся!» (*Гоголь* 2. С. 276).—156.

¹⁰Розанов имеет в виду евангельский сюжет, когда некто Димитрий, серебряник храма Артемиды, собрав ремесленников, сообщил им, что проповеди ап. Павла лишат их благосостояния: «Ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вселенная» (*Деян.* 19, 27—28).—157.

¹¹Ср.: «...яко земля еси и в землю отъидеши...» (*Молитвослов.* С. 250).—157.

¹²Ср.: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (*Быт.* 2, 7).—157.

¹³У Шиллера нет стихотворения под таким названием. Вероятно, Розанов имеет в виду стихотворение немецкого романтика *Новалиса* (1772—1801) «Ученики в Саисе».—158.

¹⁴Слова из *Херувимской песни*. Ср.: Всенощное бдение. Литургия. М.: Издание Московской Патриархии, 1982. С. 47.—159.

¹⁵См. стихотворение *М.Ю. Лермонтова* «Умиравший гладиатор» (1836):

...Вот луч воображенья
Сверкнул в его душе... пред ним шумит Дунай...
И родина цветет... свободный жизни край.
Он видит круг семьи, оставленный для брани,
Отца, простершего немеющие длани,
Зовущего к себе опору дряхлых дней...
Детей играющих — возлюбленных детей.
Все ждут его назад с добычею и славой...— 159.

¹⁶Из стихотворения *Г.Р. Державина* «На смерть князя Мещерского» (1779). Ср.:

И солнца ею потушаются,
И всем мирам она грозит.— 160.

¹⁷Ср.: «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная» (*Молитвослов*. С. 250).— 161.

¹⁸Ср.: «Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле» (*Чис.* 12, 3).— 161.

¹⁹Вольный пересказ библейского сюжета. Ср.: «И сказал Моисей Господу: для чего Ты мучишь раба Твоего? и почему я не нашел милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего? разве я носил во чреве весь народ сей и разве я родил его...» (*Чис.* 11, 11—12).— 161.

²⁰Ср.: «И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, [Господи!] народ сей сделал великий грех: сделал себе золотого бога; прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (*Исх.* 32, 31—32).— 162.

²¹Когда израильтяне стали роптать в пустыне на Бога и Моисея, то Господь наказал их, послав на них «ядовитых змей» (*Чис.* 21, 6), которые жалили народ, отчего многие умирали. Когда народ в смертельной нужде обратился к Моисею, тот получил от Бога повеление сделать медного змея. «И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив» (*Чис.* 21, 9). Позднее израильтяне стали поклоняться медному змею (называя его Нехуштан, т.е. медный кусок) как божеству, пока благочестивый Езекия, боясь, что народ впадет в язычество, не уничтожил его.— 162.

²²*Гомер. Илиада. Песнь 2. 528* (пер. Н.И. Гнедича):

Рек, и во знаменье черными Зевс помавает бровями...— 162.

²³*Вья* — шея (*церк.-сл.*); иногда значит — гордость; *вья* жестокая — твердая, несклонная шея — непокорность (см.: *Втор.* 27, 31,).— 162.

НЕАПОЛИТАНСКИЙ ЗАЛИВ

Чудовище

Впервые очерк опубликован в *НВ* (1901. 26 сент.) под названием «Из Италии: Чудовище». В книге перепечатано без изменений.

¹Имеется в виду роман Э. Сю «Мартин-найденых, или Записки мердинера» (М., 1847).—163.

²Этот пассаж направлен против монашеского принципа в христианстве.—167.

³На Шпалерной улице (дом 39, кв.4) Розановы снимали квартиру в 1899—1904 гг.—167.

⁴Во время службы учителем гимназии в уездном городке Белый Смоленской губ. (1891—1893).—169.

⁵Ср.: «Ах, как скучно празднично в вагоне сидеть, ну вот точь-в-точь так же, как скучно у нас на Руси без своего дела жить. Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть подчас даже там убаюкивают, что, кажется бы, и желать больше нечего, а все-таки тоска, тоска, и именно потому, что сам ничего не делаешь, потому что уж слишком о тебе заботятся, а ты сиди да жди, когда еще довезут. Право, иной раз так бы и выскочил из вагона да сбоку подле машины на своих ногах побежал. Пусть выйдет хуже, пусть с непривычки устану, собьюсь, нужды нет! Зато сам, своими ногами иду, зато себе дело нашел и сам его делаю, зато если случится, что столкнутся вагоны и полетят вверх ногами, так уж не буду сложа руки запертый сидеть, своими боками за чужую вину отвечать...» (Достоевский 5. С. 52).—170.

Солнце и виноград

Очерк впервые опубликован в *НВил* (1903. 28 мая). В книгу перепечатан без изменений.

¹Ср.: Памятники литературы Древней Руси: XI—нач. XII в. М., 1978. С. 98.—176.

²Ср.: «Все эти Успенские, все эти Помяловские — они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! Все честные люди России! И отчего они пили? — с отчаяния пили! пили оттого, что честны!» (Ерофеев Венедикт. Москва — Петушки. Париж. Утса-Press, 1981. — Изд. 2-е. — С. 78).—176.

³Ср.: «Я много стал думать о пьянстве. [...] Т.е. как люди приучаются пить, берут первую и 101-ую рюмку? в этом — секрет. Поразительно, что евреи и магометане этого не делают; я спрашивал на Кавказе кумысника-туземца (дворянин-кабардинец — не вовсе без образования, т.е. своего). Он объяснил, что им запрещено собственно, виноградное вино, а не спиртное (хлебное, коего во времена Магомета и в странах Магомета не было): но они не пьют, т.е. их не тянет. Не пьют жида, эти всемогущие Дрейфусы, от коих ой-ой как плохо Европе будет к концу XX-го века. Пьет только Европа, и если не водку, то хлоралгидрат (в Ирландии), и пьет неудержимо, жадно. Если мы будем наблюдать индивидуумов, то заметим любопытную вещь: не пьют и чувствуют глубокое отвращение к вину все активные натуры: не пил Пушкин; о Гоголе не имею много сведений, но уверен, что он не мог рюмки проглотить — чувствую по сочинениям; не пил игрок рулеточный Достоевский; ничего не известно о любви к «рюмочке» корнета Лермонтова» (Розанов — С.А. Рачинскому. 14 марта [1899 г.] // ОР РНБ, ф. 631. Переписка С.А. Рачинского, л. 63—70).—178.

Капри

Впервые опубликован очерк в *НВип* (1902. 4 мая). В книге перепечатан без изменений.

¹Лк. 1, 38.—191.

²Германский король Фридрих, прозванный Барбаруссой, совершил четыре похода в Италию. Однако связь с островом Капри нам установить не удалось.—192.

Uno, duo, tre

Статья впервые напечатана в *НВ* (1901. 4 сент.) под названием «Из Италии: I. Уно, duo, tre. — II. Салерно». В книге перепечатана без изменений.

¹Имеется в виду св. мученик из Никомидии Аникита († 305 или 306 г.), отличавшийся стойкостью. Память его Церковь отмечает 12 августа. См.: *Жития святых* 12. С. 190—194. В русском народном творчестве он приобрел имя *Аники-воина*.—193.

²Имеется в виду разгром итальянской армии в горном проходе Догали (Сев. Африка) в 1887 г. абиссинцами.—195.

³Розанов имеет в виду эпизоды политической истории Италии второй половины XIX в.—195.

⁴*Парфенопа* — одна из сирен, своим пением губивших мимоплывущих моряков. Одиссей со своими спутниками хитростью прошел мимо сирен. Если же кто благополучно пройдет мимо них, они, по судьбе, не могут этого пережить. Тело бросившейся в море Парфенопы прибило к берегу, и возле ее могилы появилось поселение Парфенопея. На месте этого поселения позднее возник основанный халкидскими греками из Кум (первой греческой колонии в Италии) город Палеополь («Старый город») и затем Неаполь («Новый город»). Со временем название «Палеополь» совершенно вышло из употребления.—196.

⁵Этот пассаж Розанова связан с гимназическими годами в Костроме, когда из-за латинской грамматики он остался на второй год в первом классе. Для внедрения классической системы образования в русских школах преподавали («по Кюннеру») выписанные из Чехии немцы. Розанов не раз об этом упоминает. См., напр.: «До 1898 г. я о древнем мире, можно сказать, вспоминал по поводу «братьев чехов», которые обучали нас Кюннеру: мучительные и брезгливые воспоминания» (*РГАЛИ*, ф. 419, оп.1, ед. хр.85, л. 6). Или еще: «Потом были классики, но уже сухие и страшные. Из чехов. По моему дурному учению это была *terra incognita*, может, поэтому и страшная» (*Розанов В. Кострома и костромичи // НВ. — 1909. — 2 июля*).—197.

Помпеи

Очерк впервые опубликован в *МИ* (1902. № 5—6. С. 352—358) под названием «Из итальянских впечатлений». В книге перепечатан без изменений.

¹Город Помпеи был засыпан извержением Везувия в 79 г. до Р.Х. Раскопками (с 1748 г.) открыта часть античного города.—200.

²Перелом мировой истории постоянно привлекал внимание Розанова; ср.: «Разве Евангелие не повалило в яму и Рим и Грецию, как щенков?» (*О Достоевском и Толстом*. С. 461).—200.

³Имеется в виду профессор Московского университета, а потом и министр народного просвещения А.Н. Шварц. См. также: *Розанов В.* Из дел нашей школы // *НС*. — 1910. — № 8. — С. 25—26).—201.

⁴Ср.: «И сказал Каин Господу [Богу]... всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал Господь [Бог]: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро» (*Быт.* 4, 13—15).—201.

⁵Великая хартия вольностей (*лат.*) — государственный акт 1215 г., подписанный английским королем Иоанном Безземельным с восставшими против него баронами. Этот документ получил в истории значение «краеугольного камня английской свободы», а в переносном содержании — как незыблемое право человека на свободу.—202.

⁶Начало молитвы Честному Кресту (*Молитвослов*. С. 21).—204.

⁷*Омфал* («пуп» — от греч. ὀμφαλός) — по греческим сказаниям — упавший с неба камень (метеорит) в Дельфах, означавший средину, как пуп земли; хранился в святилище Аполлона и почитался как божество. Аполлон часто изображался сидящим на нем; в архитектуре — ключевой камень.—205.

⁸Ср.: «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей *стоят* спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток и кланяются на восток солнцу» (*Иез.* 8, 16).—205.

⁹Собственно, это место можно считать первым свидетельством «солнцепоклонения» Розанова, которое к концу жизни вышло на неумеренные гимны солнцу (см. *О себе и жизни своей*. С. 598, 604, 641).—205.

¹⁰Стеклянные трубки, служащие для изучения световых явлений, сопровождающих электрические разряды в разреженных газах.—207

Салерно

Очерк опубликован впервые в *НВ* (1901. 4 сент.) под заглавием «Из Италии: I. Упо, duo, tre. — II. Салерно». В книге перепечатан без изменений.

¹*Английская гостиница* была и в Петербурге.—208.

Пестум

Очерк впервые опубликован в *МИ* (1902. № 2. С. 65—68) в сопровождении рисунков Л.Бакста, которые Розанов перенес в книгу «Итальянские впечатления». Текст в книге перепечатан без изменений.

¹*Пестум* расположен был на западном берегу Лукании и от луканцев получил это название. Раньше он назывался Посейдония. Это был один из городов сибаритов, греческих колонистов, он основан в 524 г. до Р.Х. В 424 г. он попал под власть римлян.—212.

²Из стихотворения А.С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1830).—213.

³Ср.: «... он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых» (*Деян.* 10, 42).—213.

⁴Ср.: «...что князь мира сего осужден» (Ин. 16, 11).—213.

⁵Ср.: «...язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу» (1 Кор. 10, 20).—213.

⁶См.: Гомер. Одиссея. Песнь 6.—214.

⁷Начало века в творчестве Розанова было временем разрешения двух миров: языческого и христианского. См., например, его статью «Концы и начала, «божественное и демоническое», боги и демоны» (МИ. 1902. № 8).—215.

ФЛОРЕНЦИЯ

Впервые очерк был опубликован в МИ (1902. № 7. С. 3—6). В книге опубликован без изменений.

¹Речь идет об известном Флорентийском соборе.—216.

ВЕНЕЦИЯ

Золотистая Венеция

Впервые очерк был опубликован в НВ (1902. 11 июля). В книге перепечатан без изменений.

¹В эпитафье, вероятно принадлежащем Розанову, обыгрывается политическое положение Венеции, которая в то время находилась под владычеством Австро-Венгрии.—219.

²Колокольня собора св.Марка, построенная в XII в., обрушилась в 1902 г., но в 1912 г. была восстановлена по старым чертежам.—219.

³Розанов имеет в виду, вероятно, стихотворение А.С. Пушкина: «К вельможе» (1830) и отрывок из поэмы «Цыганы» (1827) («Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда...») (с. 104—105).—221.

⁴Дож — глава Венецианской республики (VII—XVIII вв.); *нобиле* — представитель знати в Средние века.—223.

⁵См.: «...вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему» (Откр. 4, 6—7). По христианской символике — орел (выражение возвышенности) соответствовал евангелисту Иоанну, телец (выражение питания) — Марку, человек (выражение разумности) — Матфею, лев (выражение силы) — Луке.—224.

⁶Ср.: «Наслаждение и труд суть «боги» мира. Труд — в пыли дневной, в морщинах и мозолях. Но вот закатывается солнце... Я помню эту раннюю ночь на пьядетте Венеции. Все молчали. Пьядетта была точно голубая, и вся Венеция была залита каким-то голубым светом, шедшим от неба, или от звезд, или луны. Повторяю — все молчали. Витал великий «бог» наслаждения, главный «бог» земли. И человек забыл мозоли, труд, пот. Все, что он делал днем — он позабыл легким забвением. Днем он работал, снискивал хлеб, пропитание, — не для пропитания и самого хлеба, ибо если бы для них работал, то лучше убить себя, — а чтобы все забыть ввечеру и отдаться наслаждению. Наслаждение есть великий «бог», главный «бог». У него чудовищные глаза, чудовищные ноздри, чудовищное ухо, чудовищный язык и, увы, — чрево. Все чудовищно и, увы, — прекрасно. И этот страшный

«бог», вот когда взойдут звезды, тянет в себя все ароматы мира, все звуки мира, все краски его, все его сладости... как и мы тогда безмолвно тянули каждый свою «ниточку удовольствия».

— Хочу! живу! и для Меня живет все... А я обратно уже даю всему жизнь, — говорит великий «Бог» Ночи.

Так чередуются день и ночь, фабрика и храм, «обыкновенное» и «божественное» (Розанов В. Среди художников. СПб., 1913. С. 414—415).—224.

⁷Кони у многих языческих народов почитались посвященными солнцу. Во времена язычествующих царей (Ахав, Ахаз) во многих местах при храмах были кони изваянные, но при храме иерусалимском содержались и живые. Иосия, царь Иудейский, начал бороться с идолопоклонством. И между прочим «отменил коней, которых ставили цари Иудейские солнцу пред входом в дом Господень» (4 Цар. 23, 11).—225.

⁸См.: Дан., гл. 13.—227.

⁹Ср. молитву св.Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначала не даждь ми...» (Молитвослов. С. 113).—227.

¹⁰В 1797 г. Венеция потеряла независимость после захвата ее генералом Бонапартом.—228.

¹¹Райская птица живет главным образом в Австралии и на Новой Гвинее.—229.

¹²Ср.: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю» (Откр. 3, 19).—229.

К падению башни св. Марка

Впервые статья была напечатана в *НВ* (1902. 22 июля). В книге перепечатана без изменений.

¹Ср.: Фоменко Кл., протоиер. К падению башни св. Марка // Прибавления к Церковным Ведомостям, издаваемым при святейшем правительствующем Синоде. — 1902. — 13 июля. — № 29. — С. 982. Розанов приводит цитаты с небольшими неточностями. Дальнейшие цитаты см. на с. 984—985, 986).—230.

²Пс. 126, 1. Этот псалом принадлежит Соломону, как указывает еврейская библия (см.: Толковая библия, или Комментарий на все книги св.Писания Ветхого и Нового Завета / Под ред. А.П. Лопухина. СПб., 1907. С. 380).—231.

³Ср.: «Глас грома Твоего в круте небесном...» (Пс. 76, 19).—231.

⁴См.: Рим. 1, 22.—231.

⁵Ср.: «...одна участь праведнику и нечестивому, доброму и [злому]...» (Еккл. 9, 2).—232.

POST SCRIPTUM

Впервые опубликовано в *НВ* (1902. 16 марта) под названием «Практическое указание». В книге перепечатано без изменений. См. также: *Около церковных стен 2*. С. 143—146, — под названием «Кто задерживает обновление Церкви?».

¹См.: «Итак, что же делать? Вопрос, который ставится не в одной сфере церковной, но и в политической (и в последней еще настоячивее и резче, нежели в первой). Как для исправления наших

церковных неладов некоторые верующие люди (между прочим, покойный Вл. Соловьев и благополучно здравствующий В.В. Розанов) указывают на Запад (на Рим), так и для исправления наших кричащих неладов политических нам зачастую указывают на Запад (на правовое государство). Но и в том и в другом случае совет нецелесообразен!» (Киреев А. Письмо в редакцию // *НВ*. — 1902. — 12 марта. — С. 2—3).—233.

²См. примеч. 2 к статье «Пасха в соборе св. Петра».—234.

³*Ин.* 5, 3.—234.

⁴См.: *Около церковных стен* 2. С. 71—94.—235.

⁵«Еще помолимся о Богохранимой стране нашей, властях и войнстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте» (Сугубая ектенья).—235.

⁶См.: *Около церковных стен* 2. С. 55—70.—235.

⁷Ср.: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом...» (*Мф.* 13, 31—32).—235.

ПО ТИХИМ ОБИТЕЛЯМ

Впервые очерк был опубликован в *НВ* (1904. 10, 18 авг.; 1 и 15 сент.). Вошел в *Темный Лик* (С. 5—60) с небольшой редакторской правкой. Как пишет в воспоминаниях Т.В. Розанова, поездка в Саров была совершена по желанию Варвары Дмитриевны с целью укрепить здоровье 9-летней дочери Тани в благодатных местах преп. Серафима. В поездке принимали участие кроме В.В. Розанова Варвара Дмитриевна, Таня и 5-летний сын Вася. Подробности поездки мало освещены в материалах биографии Розанова. Есть косвенные свидетельства, что по пути в Саров Розановы посетили Ярославль, в котором доживал свой век архиепископ Ионафан, дядя В.Д.

Печатается по *Темному Лику*.

¹Этот эпизод записал в свой дневник под 4 декабря 1833 г. А.С. Пушкин, который услышал из уст Н.К. Загряжской, свидетельницы события. «Наталья Кирилловна рассказала анекдот с большой живостью. Княгиня Кочубей заметила, что Дашкова вошла, вероятно, в алтарь — в качестве президента Русской академии».—245.

²Ср.: *Рим.* 5, 12—14.—245.

³См.: *Реутский Н.В.* Люди Божьи и скопцы. М., 1872; *Доброворский И.М.* Люди Божьи: Русская секта так называемых духовных христиан. Казань, 1869.—246.

⁴Ср.: «Так будут последние первыми, и первые — последними, ибо много званых, а мало избранных» (*Мф.* 20, 16).—249.

⁵Ср.: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (*Мф.* 7, 13—14).—249.

⁶Ср.: «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, что имел, и купил ее» (*Мф.* 13, 45—46).—249.

⁷В феврале 212 г. по Р.Х. был обнародован закон, так называемый *constitutio Antoniana*, которым император Каракалла даровал

права гражданства всем жителям империи, за исключением класса дедитициев.—250.

⁸Ср.: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (*Ин.* 16, 33).—250.

⁹Ср.: «О, свидетельство души, христианки по природе!» (*Тертулиан К.С.Ф. Апология // Богословские труды: Сб. № 25. М., 1984. С. 185*). См. также в сочинении «О свидетельстве души». Тертулиан взывает к душе: «Ты, сколько я знаю, не христианка: ведь душа обыкновенно становится христианкой, а не рождается ею» (*Тертулиан К.С.Ф. Избранные сочинения. М., 1994. С. 84*).—250.

¹⁰См.: *Лк.* 10, 42.—250.

¹¹Ср.: «Тит, унаследовавший прозвище отца, любовь и отрада рода человеческого...» (*Светоний Транквил Гай. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1964. С. 205*).—250.

¹²Начальные строки из стихотворения *Ф. Шиллера* «Песнь радости» («*An der Freude*»; 1785) в пер. В.Г. Бенедиктова.—250.

¹³См.: «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников» (*Мф.* 21, 12—13).—251.

¹⁴См.: *Мф.* 9, 12.—251.

¹⁵См.: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя...».—251.

¹⁶См.: *Ин.* 14, 2.—252.

¹⁷Розанов приводит церковнославянский текст Евангелия. Ср.: «Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно...» (*Лк.* 10, 41—42).—252.

¹⁸Игуменья *Митрофания* обвинялась в подлоге векселей и мошенническом присвоении денег в пользу монастыря. В октябре 1874 г. Московский окружной суд присудил ее к ссылке в Енисейскую губернию на 3 с половиною года (см.: *Записки баронессы Прасковии Григорьевны Розен, в монашестве Митрофании // Русская Старина. — 1902. № 1, 2, 5, 11, 12; а также: Дело игуменьи Митрофании / Подробный стенографический отчет, составленный Е.П. Забелиной. М., 1874*).—256.

¹⁹См., напр.: «...приносили к Нему всех больных и бесноватых» (*Мк.* 1, 32); см. также: *Мф.* 4, 24; 8, 8, 16 и др.—262.

²⁰Ср. Икос 2 из «Акафиста Преподобному и Богоносному отцу нашему Серафиму чудотворцу»: «Радуйся, добродетели матери своея унаследывый; радуйся благочестию и молитве ею наученный» (*Угодник Божий Серафим: Сб.: В 2 т. / Сост. игум. Андроник (Трубачев), А.Н.Стрижев. Издание Спасо-Преображенского монастыря. 1993. — Т. 1. — С. 286*).—264.

²¹В 1903 г. в связи с канонизацией преподобного Серафима Саровского монастырь посетил Государь Николай Александрович.—265.

²²Из стихотворения *М.Ю. Лермонтова* «Три пальмы» (1839). Ср.:

И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети...—266.

²³Ср. евангельский сюжет: *Мф.* 14, 14—21; *Мк.* 6, 32—44.—268.

²⁴Ср.: «В этих местах Александр однажды встретил каких-то македонян, возивших на мулах меха с водой из реки. Увидев Алек-

сандра, страдавшего от жажды — был уже полдень, — они быстро наполнили водой шлем и поднесли его царю. Александр спросил их, кому везут они воду, и македоняне ответили: «Нашим сыновьям; но если ты будешь жить, мы родим других детей, пусть даже и потеряем этих». Услышав это, Александр взял в руки шлем, но, оглянувшись и увидев, что все окружавшие его всадники обернулись и смотрят на воду, он возвратил шлем, не отхлебнув ни глотка. Похвалив тех, кто принес ему воду, он сказал: «Если я буду жить один, они падут духом». Видя самообладание и великодушие царя, всадники, хлестнув коней, воскликнули, чтобы он не колеблясь вел их дальше, ибо они не могут чувствовать усталость, не могут испытывать жажду и даже смертными считать себя не могут, пока имеют такого царя» (*Плутарх* 2. С. 144).—268.

²⁵Во всех книгах, посвященных еп. *Порфирием* «Востоку христианскому», цитату, к сожалению, разыскать не удалось. Однако несомненно, что она принадлежит знаменитому археологу и путешественнику.—273.

²⁶По всей видимости, цитата мнимая. Розанов в ней обобщает бесчисленные факты восточного (и русского) аскетического подвижничества. Ср., например, слова из рассказа отшельника, выкопавшего себе пещеру на горе Синай, которая служила для него гробом: «Я выкопал здесь, как мог, могилу для себя и вот ожидаю здесь конца своей жизни и приношу Господу молитвы...» (*Мосх Иоанн*. Луг духовный. Сергиев Посад, 1915. С. 128). Ср. слова иеромонаха *Сергия* о Серафиме Саровском: «Умертвив в себе ко всем мирским прелестям желание, он всегда пред очами имел память смертную по учению Иисуса сына Сирахова: «Помни последняя твоя, и вовеки не согреши» (*Сир.* 7, 39). Он упросил сделать себе дубовый гроб и поставил его в сенях своей келье, всегда готовый к исходу от здешней жизни к вечной, и сидел в келье своей, как в гробе, подобно живому мертвецу». Келейник святителя Тихона Задонского *Иван Ефремов* писал, что «гроб заготовлен был им (св. Тихоном) до кончины его за четыре или за пять годов...» (*Тихон Задонский*. Творения: В 5 т. М., 1889. — Т. 5. — С. 19).—274.

²⁷*Семь таинств* Православной Церкви: крещение; миропомазание; св. причастие; покаяние; священства; брак; елеосвящение.—274.

²⁸Ср.: «...ибо проходит образ мира сего» (*1 Кор.* 7, 31).—278.

²⁹Ср. с примеч. 3 к с. 93.—279.

³⁰Т.е. гангрена.—280.

³¹Ср. слова И. Христа на горе Елеонской: «И по причине умножения беззакония, во многих охладее любовь...» (*Мф.* 24, 12).—280.

³²Ср.: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда...» (*Откр.* 8, 10); а также: «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю...» (*Откр.* 9, 1). Образ падающей апокалипсической звезды Розанов любил использовать в разных контекстах в своих сочинениях.—280.

ГЕРМАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ (первая поездка)

В 1905 г., вероятно в июне и июле, Розанов с семьей совершил поездку по германским землям. «В 1905 году, летом, — вспоминала дочь писателя, — мы поехали за границу по окружному билету: Бер-

лин, Дрезден, Мюнхен, затем Швейцария и обратно через Вену. Но отцу очень хотелось посмотреть Нюрнберг. Он красочен и интересен. Ходили в костел, слушали орган. За границу ездили: отец, мать, сестра Аля, Вера, Варя и я» (*Воспоминания* 3. С. 218). Путевые очерки Розанов, как всегда, посылал почтой в редакции периодических изданий. Позднее они вошли заключительным отделом в книгу «Итальянские впечатления», откуда мы и перепечатываем. Автографы нам неизвестны.

Сикстинская Мадонна

Впервые очерк опубликован в *НВ* (1905. 3 июля) под названием «Дрезденская Мадонна». В книгу «Итальянские впечатления» перепечатан без изменений.

¹См. высказывание русского историка искусства Италии Алексея Владимировича Вышеславцева (1831—1888): «В многочисленных Мадоннах и изображениях других женских образов в фресках и картинах Рафаэль является единственным и неисчерпаемым в олицетворении благородной женственности, целомудренной девственности, чистой радости матери, услады счастьем детей; поэтому так понятно желание узнать, кто была женщина, любовью своей вдохновлявшая его творчество? Любовь к другому полу слишком характерная черта в Рафаэле, натура которого сама отличалась некоторою женственностью и в описании его жизни трудно умолчать о ней. К сожалению, сохранилось слишком мало данных и понятное любопытство прекрасной булочнице, Форнарине, дом которой еще и теперь указывают в *Via Dogotea*» (*Вышеславцев В.А. Рафаэль. СПб., 1894. С. 433—434.*)—284.

²Ср.: «И Тебе Самой оружие пройдет душу...» (*Лк. 2, 35.*)—285.

³Таких слов в Евангелии нет. Ср.: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (*Ин. 17, 5*), а также: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (*Ин. 8, 58.*)—285.

⁴Источник не установлен.—286.

Капище Молоха

Впервые очерк был напечатан в *НВ* (1905. 9 июля) под названием «Средневековая твердыня». В книге текст перепечатан без изменений.

¹Форма написания Розановым наверное связывается с *Белобогом* в западнославянской мифологии, приносящим удачу и счастье. Противоположностью положительного начала выступает *Чернобог*, который встречается в мифологии прибалтийских славян, а также у кашубов.—291.

²Розанов упоминает события Тридцатилетней войны в Германии в XVII в.—292.

³*Аугсбургское исповедание* — изложение основ лютеранства, составленное Ф. Меланхтоном (1530).—292.

В католической Германии

Впервые очерк был опубликован в *НВ* (1905. 27 июля). В книге перепечатан без изменений.

¹Калька — от нем. *der Verein* — союз.—295.

²Речь идет о жене инженера Федора Ивановича Пфафф, у которой студент 2-го курса Розанов снимал с товарищем две комнаты на Мещанской улице, в доме Сабуровой. Подробнее об этом см.: Сукач В. Жизнь Василия Васильевича Розанова «как она есть» // Москва. — 1991. — № 11. — С. 147.—296.

³Курляндия (территория Латвийской республики) была занята после Полтавской битвы графом Шереметевым.—302.

⁴См.: Геродот. С. 18—26.—302.

⁵См.: Розанов В. Когда-то знаменитый роман // НВ. — 1905. — 8 июня; Маркузе И.К. По поводу старого романа // НВ. — 1905. — 20 июня. — Подпис.: М-е.—304.

⁶Ср.: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал» (Быт. 2, 2).—304.

⁷Розанов составил произвольную фразу по библейскому сюжету, Ср.: Быт. 22, 12—13.—304.

Реликвии Кальвина

Впервые очерк опубликован в НВ (1905. 2 авг.). В книге текст перепечатан без изменений.

¹Этот исторический термин был, вероятно, введен во французскую историографию Великой французской революции И. Тэнном. См.: Тэн И. Происхождение современной Франции. СПб., 1907. Т. 1: Старый порядок. См. также: Токвиль А. Старый порядок и революция. СПб., 1900.—307.

²В городке Ферней с 1758 по 1778 г. жил Вольтер, и Розанов хотел посетить это историческое место великого безбожника.—307.

³Мысль эта принадлежит не Наполеону, а Робеспьеру. Ср.: «Руссо — человек, больше всего способствовавший приготовлению революции» (Робеспьер М. Избранные произведения: В 2 т. М., 1965. — Т. 1. — С. 164). —307.

⁴См. запись французского слависта Поля Буайе (1864—1949) слов Л.Н. Толстого во время посещения 30 июля 1901 г.: «Я прочел всего Руссо, да, все двадцать томов, включая «Музыкальный словарь». Я не только восхищался им; я боготворил его: я пятнадцать лет носил на груди медальон с его портретом, как образок. Многие из написанного им я храню в сердце, мне кажется, что это написал я сам» (Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 268).—307.

⁵Либертины — обычное название приверженцев оппозиции, восставших во имя свободы против суровых порядков, которые установил в XVI в. в Женеве Жан Кальвин.—310.

⁶В день св. Варфоломея, в ночь на 24 августа 1572 г., в Париже были гредательски убиты свыше 2000 гугенотов (протестантов), собравшихся на празднование брака своего вождя Генриха Наваррского и Маргариты Валуа.—311.

⁷Дружественный круг мыслителей и писателей, к которому примыкал Б. Паскаль. Центром его был монастырь Port-Royal (Пор-Руаяль). В русской литературе утвердилось написание Пор-Рояль. К этому сообществу близко стоял Р. Декарт, с ним был также связан Ж. Расин.—312.

⁸Розанов намекает на религиозные войны во Франции между гугенотами и католической официальной церковью. См. также: Лучицкий И.В. История феодальной реакции во Франции в XVI и XVII вв.: В 2 т. Киев, 1871—1877. —312.

⁹См.: *Ин.* 13, 2.—312.

¹⁰См.: *Исх.* 42, 3.—314.

¹¹Намек на образ *А.С. Пушкина* из стихотворения «Поэт и толпа» (1828). Ср.:

Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.—315.

¹²Ср.: *Пушкин А.С. Евгений Онегин. Отрывки из путешествия Онегина*:

Другие дни, другие сны.

Ср. также цитату из стихотворения *А.С. Пушкина* «Приметы» (1829):

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой...
Я ехал прочь: иные сны...—315.

Возможный «гегемон» Европы

Статья впервые опубликована в *НВ* (1905. 29 июня). В книге перепечатана без изменений.

¹Слова Ж. де Сталь, сказанные в 1814 г. в Париже Императору Александру I: «Sire, votre caractère est une constitution pour votre empire, et votre conscience en est la garantie» («Государь, ваш характер — это конституция для вашей империи, и ваша совесть — тому порука». — *Франц.*) («Dix années d'exil». Chap. XVII). Слова г-жи де Сталь были широко распространены в русском образованном обществе в 10—20-е годы XIX в. См. запись Пушкина: «Русские защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции» (Заметки по русской истории XVIII в. Т. 5. С. 259).—316.

²«Der Mensch ist was er ißt» — известное выражение Л. Фейербаха, впервые высказанное в рецензии на книгу Молешотта «Lehre der Nahrungsmittel für das Volk» (Erlangen, 1850) // *Blätter für Literarische. 3 Unterhaltung.* 15. Nov., 1850. S. 1082. Ср. со словами православного богослова: «Человек ест то, что он ест» — провозгласив это, немецкий философ-материалист Фейербах был убежден, что этим утверждением он положил конец всем «идеалистическим» рассуждениям о природе человека. На самом деле, однако, сам того не подозревая, он выразил самую что ни на есть религиозную идею человека. [...] Согласно автору первой книги Бытия, сразу же за приказом плодиться и владычествовать над землею, человеку предписывается есть от плодов земли: «Вот Я дал вам всякую траву, сеющую семя... И всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу» (*Быт.* 1, 29). Для того чтобы жить, человек должен принять мир в свое тело и превратить его в себя, в свои плоть и кровь. Человек действительно есть то, что он ест, а весь мир явлен как праздничная трапеза» (*Шмеман А., прот. За жизнь мира.* New York, 1983. С. 7—8).—324.

³Розанов допустил ошибку: св. Иоанн Златоуст обличал византийскую императрицу Евдоксию († 404), намекая на книгу

О.Тьерри «Иоанн Златоуст и императрица Евдокия. Христианское общество Востока» (М., 1884). Ошибка Розанова наложилась из-за развратных нравов императорского византийского двора Юстиниана (482 или 483—565) и его супруги Феодоры (508?—548), происходившей из низкого сословия, известной по сочинению историка Прокопия Кессарийского «Тайная история» (см.: *Прокопий Кессарийский. Война с персами. — Война с вандалами. — Тайная история. М., 1993).*—326.

РУССКИЙ НИЛ

Очерк впервые опубликован несколькими фельетонами в *РС* (1907. 26, 30 июня; 17, 18, 24 и 27 июля; 5, 24 и 31 авг.) под псевдонимом *В. Варварин*. Розанов пересылал статьи в московскую редакцию газеты во время путешествия и не мог следить за корректурами. Вследствие этого последние два фельетона получили редакционные названия: «Израиль» (24 авг.) и «В современных настроениях» (31 авг.). Однако Розанов настаивал на цельности очерка (см.: *О себе и жизни своей. С. 495*). — Свою летнюю поездку на Кавказ Розанов решил по рекомендации друзей совершить через Волгу. Он (вместе со всей семьей) ехал из С.-Петербурга железной дорогой до Москвы, и из Москвы до Рыбинска, потом пароходом из Рыбинска до Астрахани и через Каспий — на Кавказ.

Очерк печатается по первопубликации.

¹См.: *Исх.* 26, 33—34.—333.

²См., напр.: *Гомер. Илиада* (пер. Н.И. Гнедича). Песнь 1. 551.

К Зевсу воскликнула вновь волоокая Гера...—333.

³О ком идет речь, установить не удалось.—334.

⁴См.: *Сперанский Д.А.* Из литературы Древнего Египта. СПб., 1906. Вып. 1: Рассказ о двух братьях.—335.

⁵Ср.: «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем» (*Лермонтов М.Ю. Сочинения: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 384*).—335.

⁶После кончины матери в июле 1870 г. младших братьев — Василия и Сергея — взял под опеку Николай Васильевич, в то время получивший после окончания Казанского университета в Симбирске учительское место.—337.

⁷*А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 1. V.*—342.

⁸Ср. воспоминания видной кадетки: «На тех верхах петербургской интеллигенции, которые я знала, мне редко приходилось слышать горделивые речи о прошлом России. К русской истории принято было относиться сурово, пренебрежительно, насмешливо. Как-то раз собрались у нас гости. Был и Ф.И. Роднчев. Не помню, по какому поводу он разразился речью о том, что у России вовсе не было истории. За тысячелетнее свое существование Россия не выработала личностей, самодержавие не давало им возможности развиваться, а без личностей не может быть и истории. «Взгляните на земли бывшей Новгородской республики. Посмотрите на берега Волхова. Тысячу лет, если не больше, владеем мы ими. Это места старейших русских расселений, а живут там, как жили во времена Гостомысла. Все застыло. Лучше не говорить про русскую историю. Ее просто нет». С

бедным В.В. Розановым, который, пощипывая рыжую бородку, стоял тут же, чуть не сделался удар. И другие гости поддерживали эту чаадаевскую точку зрения на прошлое России» (Тыркова-Вильямс А.В. На путях к свободе. Нью-Йорк, 1962. С. 425).—347.

⁹Романово-Борисоглебск — уездный город Ярославской губернии, располагался как два города на обоих берегах Волги. Романов основан в XIV в. не Романом Мстиславичем, князем галицким, а великим князем Романом Васильевичем, сыном ярославского князя Василия Давыдовича.—347.

¹⁰Обмолвка, свойственная Розанову: вместо Нестора, автора «Повести временных лет», он припомнил летописца Пимена, — персонаж трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».—347.

¹¹См.: Памятники литературы Древней Руси. XI — нач. XII в. М., 1978. С. 22.—348.

¹²В то время, когда жаловался Розанов, завершалось издание книги. Приводим полное описание титульного листа: Православные монастыри Российской империи. Полный список всех 1105 существующих в семидесяти пяти губерниях и областях России (и в двух иностранных государствах) мужских и женских монастырей, архиерейских домов и женских общин. С кратким топографическим, историко-статистическим и археологическим описанием, библиографическими примечаниями, статистической таблицей и четырьмя алфавитными указателями. С указанием ближайших к монастырям почтовых и железнодорожных станций. Со ста девятью рисунками в тексте и картой монастырей (в две краски) на вкладном листе. Составил Л.И. Денисов, действительный член Московского общества любителей духовного просвещения, церковно-археологического отдела при нем и Комиссии по осмотру и изучению памятников церковной старины города Москвы и Московской епархии. Издание И.Д. Сытина. Москва. 1908.—349.

¹³См.: Мф. 27, 57—60; Мк. 15, 42—47; Лк. 23, 50—55.—351.

¹⁴Архиепископ Ионафан скончался 19 октября 1906 г. и похоронен в Спасском монастыре.—352.

¹⁵Из контекста этих слов видно, что Розанов посещал Ярославль до этого. Возможно, это было в 1904 г. (см. преамбулу в примечаниях к статье «По тихим обителям»).—353.

¹⁶См. примеч. I к статье «Пасха в соборе св. Петра».—355.

¹⁷Первоклассный мужской монастырь в Ярославле. Расположен на левом берегу Волги при впадении в нее реки Толги. Основан в 1314 г.—356.

¹⁸Макарьевская (или Нижегородская) ярмарка — периодический торг в Нижнем Новгороде. Возникла в середине XVI в. возле обители преподобного Макария Желтоводского (1349—1444), на левом берегу Волги. Ярмарка функционировала раз в год как праздник в память о преподобном Макарии, отмечавшийся Православною Церковью 25 июля (по старому стилю), с 15 июля по 25 августа. После перенесения ярмарки в Нижний Новгород в 1817 г. Макарий (ныне Макарьевск) захирел, и к началу XX в. там насчитывалось менее 2000 жителей.—356.

¹⁹Ср.: «Гимназия — большое двухэтажное здание с флюгером на крыше — обставляла площадь справа и вместе с почтовой конторой стояла у въезда в улицу, ведущую к острогу. Она была выкрашена дикой, сумрачной краской, и флюгер ее очень внушительно торчал в небесном пространстве; он придавал зданию педантский вид, го-

вора проходящим и проезжающим о своем ученом значении. От палки ко всем четырем сторонам шли железные прутья, на конце которых приделаны были буквы: Ю. В. С. З. ... Один из учителей математики, отъявленный остряк, переводил эти буквы на понятный язык. «А это значит, — говорил он, — юношей велено сечь зело»» (Боборыкин П.Д. Сочинения: В 12 т. СПб.; М., 1884. Т.1: В путь-дорогу. С. 55).—357.

²⁰ Имеется в виду попечитель Московского учебного округа граф Павел Александрович Капнист (1840—1904).—358.

²¹ Здесь и далее у Розанова обмолвка: Розанов жил в Симбирске в 1870—1872 гг.—362.

²² Через четыре года из Нижнего Новгорода Розанов писал в Симбирск общему товарищу Васе Баудеру: «Я теперь нередко думаю о Николае Алексеевиче, и мне теперь он во многом кажется крайне несостоятельным. Я желал бы теперь поговорить и поспорить с ним. На мой взгляд, он был слишком односторонен и поверхностен, что, вероятно, было результатом односторонности тех книг, которые он читал, и недостатком того сильного умственного анализа, который один только может дать нам твердые, ясные и наиболее близкие к абсолютной истине убеждения» (О себе и жизни своей. С. 674).—364.

²³ Книга Г.Т. Бокля «История цивилизации в Англии», столь популярная в России в 60-е годы, выходила в двух томах в издании Тиблена и Пантелеева (СПб., 1863—1865) в переводе К. Бестужева-Рюмина (известного историка) и Н. Тиблена. Перевод выдержал три переиздания. Но наряду с ним существовал другой перевод — А. Буйницкого и Ф. Ненарокова, который также переиздавался три раза.—364.

²⁴ Ср.: Ин. 6, 68.—364.

²⁵ См.: «Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских...» (Ин. 3, 1). Петр и Иоанн, апостолы, прежде были рыбаками. Это любимая мысль Розанова, которую он всегда приводит «в пользу малых мира сего».—365.

²⁶ См.: Самодеятельность (листок «Вестника благотворительности»). СПб., 1870. Выходил два раза в месяц. Издатель-редактор — д-р А. Тицнер.—367.

²⁷ См.: Пушкин И.Н. (Чекрыгин). Жидок. Сборник еврейских песен, куплетов, романсов и арий со сценами, в двух частях, с фотографическим портретом автора. Изд. 3-е. М., 1879.—372.

²⁸ Карамзинская библиотека в Симбирске была основана в 1846 г.—373.

²⁹ Первым председателем правления Библиотеки был Петр Михайлович Языков, брат известного поэта, уроженца Симбирска. Должность перешла по наследству его сыну Александру Петровичу.—373.

³⁰ Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Молитва» (1839). Ср.:

И верится, и плачется,
И так легко, легко...—374.

³¹ Ср. также: О себе и жизни своей. С.144—146.—375.

³² Николай Васильевич учительствовал в Симбирской гимназии всего один год и, перейдя в Н.-Новгород, оставил младших братьев на 1871/72 уч. год на попечении Николаевых.—377.

³³См.: Краледворская рукопись. Собрание древних чешских лирических и эпических песен. М., 1846 (в переводе Н. Берга).—378.

³⁴*Квадривий* — четыре учебных предмета: арифметика, геометрия, астрономия и музыка, которые вместе с тремя другими — грамматикой, диалектикой и риторикой (тривий) — составляли круг так называемых семи свободных искусств. На этой базе покоилась школа поздней античности, затем это легло в основу средневековой школы. Различию тривия и квадривия впоследствии дано было значение различия между гуманитарными и реальными (естественными) науками.—378.

³⁵Розанов имеет в виду тезисы Мартина Лютера, обнародованные 31 октября 1517 г., по поводу продажи индульгенций. В этих тезисах Лютер выдвинул принцип внутреннего раскаяния как решающего момента в деле спасения и противопоставил ему грубовнешнее понимание греха в практике продажи индульгенций. Обнародование тезисов принято считать началом Реформации.—378.

³⁶Вольный перевод *М.В. Ломоносовым* четверостишия *Горация* (Оды. IV. 25—26).

Герои были до Атридов,
Но древность скрыла их от нас.
Что дел их не оставил вида
Бессмертный стихотворный глас.

См.: *Ломоносов М.* Полн.собр.соч. М.; Л., 1952. Т.7. С. 591.—379.

³⁷См.: *Щеглов Д.* История социальных систем от древности до наших дней: В 2 т. Изд. 2-е. СПб., 1891; *Чичерин Б.Н.* Политические мыслители древнего и нового мира. М., 1897.—380.

³⁸Любопытно заметить, что речь идет о той гимназии, которую начал посещать через 10 лет Володя Ульянов. «Социальная психология», так рельефно описанная Розановым, как видим, оказалась весьма провиденциальной.—381.

³⁹См.: Новозаветный Израиль // *Соловьев Вл. С.* Собрание сочинений. СПб. Издание Товарищества «Общественная польза». Б.г. Т. 4. С. 182—195.—386.

⁴⁰В издание писем В.С. Соловьева (см.: Письма Владимира Сергеевича Соловьева: В 4 т. СПб., 1908—1923) письма Рабиновича не вошли.—387.

⁴¹Термин *антисемитизм*, обозначающий чувство неприязни к евреям, получил распространение в 1880 г., когда появился в Германии журнал Вильгельма Марра под названием «Zwanglose Antisemitische Hefte».—387.

⁴²См.: *Ис.* 53, 3—10. Розанов везде понизил заглавную букву Мессии, преследуя свои цели. Текст приведен неточно.—388.

⁴³Розанов полемизирует с писателем-богословом Г.К. Властовым (1827—1899), книга которого «Толкование на книгу пророка Исаии» (СПб., 1896) находилась в его библиотеке и с которым он был знаком.—388.

⁴⁴Ср.: «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине...» (*Ин.* 4, 23).—389.

⁴⁵См.: «Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весь-

ма размножу тебя. И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: Я — вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов; и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя; и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет Мой, который вы *должны* соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамение завета между Мною и вами» (*Быт.* 17, 1—11).—390.

⁴⁶Первый символ веры, составленный и принятый на Вселенском соборе в 325 г. в Никее.—390.

⁴⁷Ср.: «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (*Ин.* 3, 3).—390.

⁴⁸Ср.: «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа (своего). Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут (два) одна плоть» (*Быт.* 2, 23—24).—392.

⁴⁹Ср.: «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (*Быт.* 3, 16).—392.

⁵⁰Ср.: «И благословятся в семени твоём все народы земли...» (*Быт.* 22, 18). См. также: *Сир.* 44, 22.—393.

⁵¹См.: *Шейн П.В.* Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах... В 2 вып. СПб., 1898—1900.—394.

⁵²См.: *Венгеров С.А.* Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней): В 6 т. СПб., 1889—1904. Издание не закончено. — См.: *Белинский В.Г.* Полное собрание сочинений: В 13 т.; Под ред. и примеч. С.А. Венгерова. СПб., 1900—1917; 12—13 т. — под ред. В.С. Спиридонова (М., 1926—1948).—395.

⁵³Римляне брали штурмом Иерусалим под предводительством Помпея в 63 г. до н.э. (трехмесячная осада Храма); в 70 г. до н.э. под командованием Тита (пятимесячная осада) и в 135 г. н.э.—395.

⁵⁴Привычка Розанова выносить в печать все частные стороны жизни людей, с которыми он так или иначе встречался, приносила ему массу неприятностей. Это произошло и в случае описания встречи на Волге с учителем Ревельской гимназии П.О.Рабиновичем. См. запись Розанова: «Очень милые два брата-еврея (см. «На Волге» — мой фельетон, приведший к ужасной ссоре)» (*ОР РГБ*, ф. 249. М. 3876, л. 221). С Рабиновичем у Розанова после знакомства на пароходе были встречи в СПб., где, видимо, и произошла ссора. После письма Розанова с извинением им было получено ответное: «Ваше письмо, полное извинения в помещении фельетона в «Рус. Слове», мы получили. И я и жена уже давно простили Вас. Я — после объяснения в магазине «Нов. Времени», а жена — после того, как я ей рассказал

о встрече и разговоре с Вами в Питере» (*П.О. Рабинович — Розанову*. 22 окт. 1908 г. // *ОР РГБ*, ф. 249. М. 3876, л. 218).—395.

⁵⁵В просмотренных номерах «Русского Богатства» за 1906—1907 гг. стихотворение обнаружить не удалось.—397.

⁵⁶Розанов профанирует слова *И. Христа*. Ср.: «И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (*Мф.* 19, 29).—400.

⁵⁷См.: Путешествие из Петербурга в Москву. Сочинение А.Н. Радищева. Воспроизведение издания 1790 года. Изд. А.С. Суворина. СПб., 1888. Издано для «знатоков и любителей» тиражом 100 экз.—404.

⁵⁸Имеется в виду сочинение М.М. Щербатова «О повреждении нравов в России» (см. факсимильное издание изд-ва «Наука» (М., 1983).—404.

⁵⁹*Еккл.* 1, 2.—406.

⁶⁰Розанов имеет в виду В.Г. Черткова (1854—1936), проповедовавшего толстовство, многолетние отношения которого с Толстым оценивались крайне отрицательно (см., напр.: *Розанов В.* «Друг великого человека» // *НВ*. — 1911. — 5 июня).—407.

КАВКАЗСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ (вторая поездка)

Вторую поездку на Кавказ Розанов совершил так же, как и предыдущие с целью отдыха и пользования грязевыми ваннами в Кисловодске жены. В этой поездке впервые принимала участие вся семья Розанова. По рекомендации художника М.В. Нестерова в Кисловодске Розановым подыскала дачу вдова художника Н.А. Ярошенко (1846—1898). В этот период в Кисловодске отдыхал и Нестеров, с которым Розанов вел дружеские беседы.

Статьи никогда не переиздавались и в настоящем издании перепечатываются впервые. Автографы нам неизвестны.

Около целебных вод

Впервые статья печаталась в *НВ* (1907. 18 и 22 июля; 7 авг.).

¹См.: *Пушкин А.С.* Цыганы. Строф. 104—105.—413.

²Согласно греческим историкам (Диодор и др.), в Вавилоне легендарной царицей Семирамидой были построены «висячие сады», которые древний мир почитал как одно из «семи чудес света».—415.

³Источник не установлен.—419.

⁴См. подробнее об этой истории очерк Розанова «Из жизненных встреч (Памяти Железновой)» в наст. изд. (с. 623—632).—419.

В Кисловодске

Очерк впервые был опубликован в *РС* (1908. 25 июля) за подписью *В. Руднев*.

¹Душа, по представлению древних греков (и, в частности, у Платона), трехчастна: первая часть, разумная, находится в голове; вторая, аффективная, т.е. страстно волеизъявляющая, находится в сердце; третья, вожделеющая, или животная, находится в печени (см.: *Платон*. Государство. IV. 439be; а также: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и

изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 169). Розанов, говоря о «злой душе греков», имел в виду третью часть души.—424.

Бермамут

Впервые очерк был опубликован в *РС* (1908. 27 июля) за подписью *В. Руднев*.

¹Здесь у Розанова столпотворение неточностей: во-первых, речь идет об «известном Шиллере, жестяных дел мастере в Мещанской улице» (*Гоголь* 3. С. 36), а не о «меднике Миллере из Гороховой улицы», как переделал героя повести Гоголя «Невский проспект» наш философ; во-вторых, ни Миллер, ни Шиллер не делали луну. Луна была «сделана» по капризу другого героя Гоголя, Поприщина, из «Записок сумасшедшего». См.: «Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. [...] Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак никакого понятия не имеет о луне» (*Гоголь* 3. С. 212).—430.

²Вероятно, речь идет о М.П. Ярошенко, вдове художника.—431.

Домик Лермонтова в Пятигорске

Впервые очерк печатался в *НВ* (1908. 16, 23 и 30 июня). Второй фельетон печатался под названием «Лермонтовский домик».

¹См.: *Грибоедов А.С.* Горе от ума. I, VII, 386. См. также: *Ашукин Н.С., Ашукина М.Г.* Крылатые слова. М., 1966. С. 264—266.—433.

²Ср.: «Великие люди и великие народы подвержены ударам рока, но и в самом несчастье являют свое величие» (*Карамзин Н.М.* О любви к отечеству и народной гордости // *Избранные статьи и письма*. М., 1982. С. 94).—434.

³Имеется в виду декабрьское восстание 1905 г. в Москве.—434.

⁴Ср. сюжет заключительных страниц сочинения *Салтыкова-Щедрина* «За рубежом» (1880—1881) (*Салтыков-Щедрин М.Е.* Собрание сочинений: В 20 т. М., 1972. Т. 14. С. 241—243). Розанов полностью исказил смысл сюжета.—435.

⁵Розанов имеет в виду ученого-химика А.П. Бородина, офицера М.Ю. Лермонтова и министра Государственного контроля Т.И. Филиппова, много времени отдавшего русскому песенному фольклору. В его ведомстве Розанов служил чиновником в 1893—1899 гг. Кто из финансистов занимался теорией укрепления и защиты крепостей — установить не удалось, возможно, Розанов имел в виду Цезаря Антоновича Кюи, инженер-генерала, военного ученого в области фортификации и известного композитора.—435.

⁶См.: *Чис.* 22, 20—31.—435.

⁷В дополнение обстоятельств знакомства Розанова с пятигорским старожилом приведем небольшое свидетельство их встречи: «“Слава”, «знаменитость» и подобные термины — в смысле «общераспространенность», «общерусская известность», происходящая от участия в общераспространенной газете (в Пятигорске хозяин пятигорского домика, оказывается, преспокойно уже «знал меня»: а он был старенький, полуумирающий чиновничек в отставке...)» (*Розанов В.* Уединенное. СПб., 1912. С. 300).—441.

⁸Дочь писателя вспоминала: «Старичок этот что-то умиленно и долго рассказывал о Лермонтове моему отцу... Оттуда мы вышли очень грустными с мыслями о том, что память о Лермонтове плохо сохраняется в Пятигорске, что рассказ о последних его днях неясен.

Отец выразил желание написать о домике Лермонтова и просить его сохранить для потомства, что он и сделал, написав в «Новом Времени» в 1908 году об этом. На статью обратила внимание Академия наук, а затем и общественность, и спустя некоторое время домик был передан в ведение города» (*Воспоминания Розановой* 3. С. 219).—442.

⁹Ср. слова из речи И.С. Аксакова на думском обеде 6 июня 1880 г. в Москве в честь открытия памятника А.С. Пушкину: «Пушкин — это народность и просвещение; Пушкин — это залог частного примирения прошлого с настоящим, это звено, органически связующее, хотя бы еще только в области поэзии, два периода нашей истории. Не случайно поэтому, а глубокий исторический смысл оказался в том, что именно в Москве, в древней исторической столице русского народа, признаваемой и теперь средоточием его духа, воздвиглась медная «хвала первому истинно русскому, истинно великому народному поэту»» (Пушкин в оценках 1880 года // *лпТПГ*. — 1899. — 23 мая. — № 9. — С. 4).—443.

¹⁰Ср.: «Ходили смотреть место дуэли Лермонтова. Рассказ старожилы Пятигорска о смерти Лермонтова казался сомнительным... Если бы дуэль была на том месте, где указывали, то Лермонтов должен был бы упасть в пропасть и разбиться насмерть, так как площадь была небольшая...» (*Воспоминания Розановой* 3. С. 219).—443.

ГЕРМАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ (вторая поездка)

В отличие от предыдущих поездок за границу и по России настоящую поездку летом 1910 г. Розанов совершил только с женой. Попутчицей в путешествии по Германии была Елена Сергеевна Левицкая (†1915 г.) — начальница Царскосельской женской гимназии. Цель поездки: пользование ваннами в Наугейме. По приезде из Германии в Петербург 20 августа 1910 г. Варвару Дмитриевну разбил паралич — событие, перевернувшее дом Розановых.

Статьи из Германии Розанов посылал в «Новое Время» и «Русское Слово» одновременно, где они и печатались. Сумма статей, написанных под впечатлением этих двух поездок, должна составить по замыслу Розанова книгу «Германские впечатления».

Все статьи второй поездки печатаются впервые.

Пограничные запахи

Впервые — в *РС* (1910. 2 июля) под псевдонимом *В. Варварин*.

¹Ср.: *Грибоедов А.С.* Горе от ума. Действ. II. С. 316:

А потому, что патриотки.—449.

Дневник туриста

Цикл очерков под этой рубрикой впервые опубликован в *НВ* (1910. 6, 21, 26, 29 июля; 17 и 28 авг.) шестью фельетонами, каждый из которых, кроме первого (6 июля) и четвертого (29 июля), имеет свое тематическое название.

¹На Звенигородской улице (д. 18, кв.23) Розановы снимали квартиру с 1910 по 1912 г.—454.

²Относящаяся к наказанию, преимущественно уголовному.—455.

³Роль и место нищенства как социального явления в России занимали Розанов и в 90-е годы. Тогда он, рецензируя брошюру В.О. Ключевского «Добрые люди Древней Руси» (Сергиев Посад, 1892), горячо поддерживал тезис историка, что нищенство на Руси является условием поддержания нравственного состояния общества (см.: В.О. Ключевский о древней Руси // РВ. 1892 № 7. — С. 213—217).—455.

⁴Лк. 4, 4.—457.

⁵Самая торжественная часть всенощного бдения, называемая полиелеем (многомаслием или многоосвящением), напоминающая о радостном воскресении Христовом. Начинается с пения стихословия из псалмов 134 и 135.—465.

⁶Сошествие благодатного Огня на святой Гроб Господен в Иерусалиме под Светлое Воскресение повторяется с глубокой древности, о чем повествует св. Григорий Нисский: «Сие видел, Петр поверил, видел же не только чувственными очами, но и высоким апостольским умом: Исполнен был Гроб света, так что хотя и ночь была, однако в двух образах видел: внутренне, чувственно и душевно». Следует сказать, что это явное чудо совершается только тогда, когда празднует Пасху Православная Церковь (см. об этом: Дмитриевский А.А. «Благодать святого огня» на Живоносном Гробе Господнем в Великую субботу. СПб., Издание Императорского Православного Палестинского Общества, 1908). —466.

⁷Один из ключевых моментов литургии, отмеченный особенным благовестом (колокольным звоном) к *Достойно* («Достойно есть...» — хвалебная песнь Божьей Матери). См.: Всенощное бдение. Литургия. Издание Московской Патриархии. М., 1978. С. 49.—466.

⁸Ср.: «Малая закваска квасит все тесто» (1Кор. 5, 6).—467.

⁹См. примеч. 16 к статье «По тихим обителям».—467.

¹⁰В кельтских преданиях таинственная чаша (Gaal — блюдо), святыня рыцарского братства. Впоследствии в христианской традиции (старофранцузской, немецкой) св. *Грааль* — хрустальная чаша, из которой пил Христос во время Тайной Вечери. В эту чашу Иосиф Аримейский собрал кровь Христову после удара копьем римского воина распятого Спасителя.—470.

¹¹Апокриф о св. *Граале* был использован Вагнером в драме-мистерии «Парсифаль».—471.

¹²«Принц-Регент-Театр» и до сих пор является одним из активно действующих театров Германии.—471.

¹³«Христианский приют» (нем. и франц.). *Hospice* возникли еще в эпоху раннего Средневековья в горных местах Европы, например на альпийских перевалах Великого Сен-Бернара (граница Италии и Швейцарии). Первоначально они служили местом приюта странствующим монахам и просто путникам.—479.

В домике Гёте

Впервые очерк был опубликован в РС (1910. 15 июля) под псевдонимом *В. Варварин*.

¹Действующее лицо в «Илиаде». Самый безобразный грек под Троею, дерзкий (Терсит — дерзкий) и злой крикун, человек простого звания, он поносил царей (см.: Гомер. Илиада. 2, 212 и сл.).—485.

²См.: Платон. Федр. 246а—е и сл. Розанов передает смысловое содержание сюжета.—486.

³См.: Гёте И. Фауст. Сц. 16.—487.

⁴Слова из арии Мефистофеля оперы Ш. Гуно (4 действ.) «Фауст» // Фауст. Опера в 5 действиях. Музыка Ш. Гуно. М.: Музгиз, 1937. — С. 85. — Либретто Л. Барбье и М. Карре. — Переложил на русский яз. Ив. Ремезов. Ср.:

Ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха,
Мой совет: до обрученья
Дверь не отворяй.—487.

⁵Имеется в виду «Сцена из “Фауста”» (1825).—487.

⁶Розанов имеет в виду представления мистерий, приобретших народный характер, которые ежегодно устраивают жители селения Обераммергау (в Верхней Баварии, на реке Аммере) в память чумы, бывшей в 1634 г. Источник, где Гёте высказывался об этих представлениях, установить не удалось.—487.

⁷Согласно народному поверью, так называлось место близ Киева, где собирались ведьмы и всякая нечисть. Брокен — гора в Саксонии, с которой связан в немецком фольклоре ряд легенд (шабаш ведьм в Вальпургиеву ночь и пр.).—489.

⁸Ср.: Гёте И. *Zahme xepien* (Кроткие ксении, 1827) в пер. Д. Нидовича:

В отца пошел суровый мой
Уклад, телосложение;
В матушку — нрав, всегда живой,
И к рассказням влечение.—494.

В Берлине

Впервые очерк опубликован в РС (1910. 21 июля) под псевдонимом *В. Варварин*.

¹В Берлинском университете слушали лекции многие русские люди, такие, как Т.Н. Грановский (в 1836—1838 гг.), И.В. Киреевский (в 1830 г.), П.В. Киреевский (в 1829—1830 гг.), И.С. Тургенев (в 1838—1840 гг.), Н.В. Станкевич (в 1838—1839 гг.), М.А. Бакунин (в 1840 г.).—495.

²Ср. выражение в «Литературных и житейских воспоминаниях» (1868): «Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн — я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда» (Тургенев 14. С. 9).—495.

В военном лагере римлян

Впервые очерк был опубликован в РС (1910. 6 авг.) под псевдонимом *В. Варварин*.

¹Майков А.Н. Два мира (1882). Строч. 1140—1141.—499.

²См.: Гёте И. Фауст. Сц. 1.—500.

³Ср. слова из речи консула Марка Марцелла перед сенатом: «У

кого-то я, победитель, что-то отнял, кому-то что-то дал — по праву войны и, как я уверен, каждому по заслугам» (*Ливий. XXVI, 9*).

Ср. также слова из трагедии *А.Н. Майкова «Два мира»* (Строф. 357—359 и 1121—1134):

Рим все собой объединил,
Как в человеке разум, миру
Законы дал и мир скрепил. [...]

Вы посмотрите, сколько нас:
Я галл, вон свев, ты фессалиец,
Он из Египта, тот сириец, —
А что же общего у нас
С Египтом, с Галлией, странами,
Где и выросли б мы дикарями,
Когда б не Рим!.. В одно нас слил
Его язык, закон, свобода!
Мир он в жилище обратил
Для человеческого рода.
На общий мы сошлись пир,
И хоть мы все разноплеменные,
Но все, как граждане вселенной,
Чтим за отечество весь мир!—500.

⁴*Мф.* 19, 12.—504.

⁵*Быт.* 1, 28.—505.

⁶Намек на известное выражение: «*Sic transit gloria mundi*» (Так проходит слава земная.— *Лат.*).—505.

⁷Ср.: «...в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии, на небесах» (*Мф.* 22, 30).—505.

⁸Ср.: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется...» (*Мф.* 11, 12).—505.

⁹Ср.: «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (*Мк.* 10, 13—14).—506.

Полупонятные руины

Впервые очерк опубликован в *РС* (1910. 18 авг.) под псевдонимом *В. Варварин*.

¹В напечатанном здесь и далее очерке ошибочно напечатано *лигва* из-за того, что корректура Розановым не просматривалась. Описание *миквы* и посещение Розановым еврейского святилища отражено также в «Уединенном» (см.: *О себе и жизни своей*. С. 64—67).—511.

²*Шабес* — суббота, день, который в иудаизме почитается святым. Соблюдение субботы, седьмого дня творения мира Господом, восходит к первой книге Библии. См.: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (*Быт.* 2, 3). Почитание субботы было закреплено также в наставлении о сборе манны небесной: «Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой

день хлеба на два дня: оставайтесь каждый у себя [в своем доме], никто не выходи от места своего в седьмой день» (Исх. 16, 29). Суббота у иудеев день святого покоя, в этот день нельзя зажигать в доме огонь, варить пищу и т.д.; человек должен оставить о себе всякое попечение и посвятить Богу. Последний день Пасхи у иудеев почитался как «великая суббота», или суббота суббот, и был великим днем очищения (от грехов).—511.

³См. наст. изд. С. 264—266.—513.

Метафизический разговор

Впервые опубликован в РС (1910. 4 сент.) под псевдонимом В. Варварин.

¹*Владимир*, будучи настоятелем посольской церкви в Риме, в 1907 г. был возведен в сан епископа кронштадтского, викария С.-Петербургской епархии, имел также поручение заведовать всеми русскими православными заграничными церквями в Европе, за исключением находящихся в Константинополе и Афинах.—515.

²*Исполатчик* — так называли церковнослужителей, занятых в архиерейской службе; составлено из первых слов песнопения на греческом языке («Ис полла эти Дэспота...» — «На многая лета, Господин...»), исполняющегося только на архиерейской службе.—516.

³См.: *Ин.* 7, 50—52; см.: *Ин.* 4, 7—30; *Ин.* 3, 8.—517.

⁴См.: *Ин.* 6, 33; ср.: *Ин.* 4, 21.—520.

⁵Имеется в виду англо-бурская война 1899—1902 гг., в которой Англия была осуждена мировой общественностью как агрессор.—521.

⁶Источник не установлен.—522.

⁷См.: *Ин.* 6, 33; *Мф.* 5, 3.—522.

⁸См.: *Мф.* 8, 22.—523.

⁹Нагорную проповедь см.: *Мф.* 5, 1—7; 6, 1—34; 7, 1—29; беседу с Самарянкою см.: *Ин.* 4, 7—38; беседу с Никодимом см.: *Ин.* 3, 1—21.—523.

Мюнхенский монашенок

Впервые очерк был напечатан в НВ (1910. 21 и 22 сент.).

¹Атрибут жестокости Эроса (Розанов употребляет римский аналог) в «Пире» Платон не употребляет, но в контексте сочинения предполагается его демоническая природа.—528.

²Розанов обыгрывает название известной пьесы Мольера.—528.

³Доступ к письмам *М.М. Пришвина* к Розанову (см.: РГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 538, л. 1—3) закрыт из-за бесконечной реставрации фонда писателя.—528.

КИЕВ И КИЕВЛЯНЕ

Это единственный очерк, не связанный с летними отпусками Розанова. Однако он включен в книгу наряду с остальными как образец путевого очерка, написанного по поводу дальней поездки писателя. Во время злодейского выстрела террориста Богрова, смертельного ранения и похорон председателя Совета министров П.А.

Столыпина Розанов был откомандирован в Киев редакцией «Нового Времени». В Киеве Розанов пробыл неделю — с 6 по 14 сентября.

Очерк впервые был опубликован в *НВ* (1910. 17 и 24 сент.) и с тех пор не перепечатывался.

¹См.: Бок М.П. Воспоминания о моем отце П.А. Столыпине. Л.: Ингрия, 1990; Убийство Столыпина. Свидетельства и документы. Состав. А. Серебренников. Рига. Кооператив «Курсив». 1990.—540.

²В главном алтаре Киево-Софийского собора под сводами над горным местом находится величественный мозаический образ Богоматери, изображенной во весь рост на золотом мозаичном поле, с воздетыми горе руками. Изображение именуется *Нерушимой стеной* по той причине, что в течение восьми веков оно осталось неповрежденным. Эта икона пользуется особым почитанием богомольцев (см.: Слава Богоматери. М., 1907. С. 63).—545.

³Ср. слова из акафиста «Покрову Пресвятой Богородицы»: «Радуйся Радосте наша покрый нас от всякого зла честным Своим омофором».—546.

⁴См. примеч. 4 к с. 235.—547.

⁵*Орарь* — элемент диаконского облачения. В древнее время — полотенце, которым диакон утирал уста принявшим причастие, а также орарем диакон подает знак к молитве.—547.

⁶Ср.: Памятники литературы Древней Руси: XI—нач. XII в. М., 1978. С. 174—175.—548.

⁷Вольное переложение типичной для философии Аристотеля телеологической философии, согласно которой любое возникновение и совершенствование возможно только двум условиям: 1) «из чего»; 2) «благодаря чему». Первый принцип характеризует неопределенность, косность, или материю. Второй — формы, или смыслообразующую силу, или энтелехию. Она и несет в себе смысловое начало, благодаря чему несовершенное становится совершенным (или незрелое становится зрелым).—551.

⁸См.: Лк. 22, 38.—553.

⁹Градостроитель города Миры Евстафий невинно осудил на смертную казнь трех граждан, оклеветанных врагами. Св. Николай поспешил в Миры, куда прибыл к самому моменту казни. Палач уже заносил меч, чтобы обезглавить несчастных, но Св. Николай властной рукой вырывает у него меч и повелевает освободить невинно осужденных. Никто из присутствующих не осмелился противиться ему; все поняли, что творится воля Божья (*Жития святых* 9. С.—553).

¹⁰См.: Мф. 21, 12—13; Мк. 11, 15—19; Лк. 19, 45—48; Ин. 2, 12—22.—553.

¹¹См. примеч. 3 к с. 326.—553.

¹²Род саранчи, употребляемой аскетами в пищу. Ср.: «Пищей его (Иоанна Крестителя) были акриды и дикий мед» (Мф. 3, 4).—556.

¹³Во время написания этих строк в прессе много говорилось о всеобщем начальном образовании, которое и было принято в этом 1912 г. Государственной думой.—559.

¹⁴Розанов намекает на издание в Женеве в 1872 (?) г. «Русских заветных сказок» А.Н. Афанасьева, которые в России цензура не пропускала из-за неблагопристойностей.—559.

¹⁵Розанов употребляет термин, который был названием литера-

турного движения в Германии в начале 70-х годов XVIII века.—559.

¹⁶В Евангелии таких слов нет. Ср.: «И земля потряслась...» (Мф. 27, 51).—560.

¹⁷См. библейскую книгу Плач Иеремии.—563.

В БЕССАРАБИИ

Летом 1913 г. Розанов с женой был приглашен их другом Е.И. Апостолопуло провести летний отпуск в ее бессарабском имении Сахарна. Вероятно, Розанов пробыл там с середины мая и до середины июля. Это была последняя летняя поездка, и очерки, вызванные ею, составляют заключительный отдел нашего издания. Имя Сахарны Розанов употребил как название своей книги «опавших листьев» за 1913 год. Из трех частей этой книги две были опубликованы в периодике (см.: Харджиев Н. К истории одной неизданной книги В.В. Розанова // *Ricerche slavistiche*. Vol. XXVII—XXVIII. 1980—1981. Licosia — le lettere Editore; Сукач В. Литературный феномен В.В. Розанова и его книга «Сахарна» // *Литературная учеба*. — 1989. — № 2. — С. 79—122).

Уголок Бессарабии

Впервые очерк был опубликован в *НВ* (1913. 21, 31 мая; 20 июня; 4 июля).

¹По свойственной ему небрежности Розанов перепутал Днепр с Днестром из двух повестей Н.В. Гоголя «Страшной мести» и «Тараса Бульбы». Ср.: «Чуден Днепр при тихой погоде... Редкая птица долетит до середины Днепра» (Гоголь 1. С. 268); а также: «Над самой кручей у Днестра-реки» Тарас Бульба и козаки «четыре дни бились и боролись» с поляками. «Но истошились было и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробилась было уже козаки, и, может быть, еще раз послужили бы им быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную спутницу на морях и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи» (Гоголь 2. С.170).—567.

²См.: Записки из подполья (1864) // *Достоевский* 5. С. 99—179.—573.

³Имеются в виду Религиозно-Философские собрания 1901—1903 гг. См. также: Памяти Е.И. Апостолопуло (наст. изд. С. 638—642).—573.

⁴Розанов был знаком с Рачинскими, приезжал к ним в Татево во время учительства в Белом Смоленской губ. в 1891—1893 гг. С С.А. Рачинским состоял в постоянной переписке с 1892 по 1901 г. (см.: Из переписки С.А. Рачинского // *РВ*. — 1902. — № 10. — С. 603—629; № 11. — С. 143—157; 1903. — № 1. — С. 218—243; а также: С.А. Рачинский и его Татево // *НВ*. — 1902. — 22 мая).—578.

⁵Имеется в виду убийство террористами Государя Александра Николаевича.—583.

⁶Ср.: «Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи?» (Ам. 3, 4).—589.

⁷См.: *Кожевников В.А.* О значении христианского подвижничества в прошлом и настоящем: В 2 ч. М., 1910 (Религиозно-Философская библиотека. Вып. XXII—XXIII).—591.

⁸Ср. слова из «Опавших листьев» (1912): «Умей искать уединения, умей искать уединения, умей искать уединения. Уединение — лучший страж души. Я хочу сказать — ее Ангел Хранитель. Из уединения — все. Из уединения — силы, из уединения — чистота. Уединение — «собран дух», это — я опять «целен»» (*О себе и жизни своей*. С. 275).—592.

Возле хлебов

Впервые статья была опубликована в *НВ* (1913. 16 июля).

¹Ср. слова в кн. *О Достоевском и Толстом*. С. 735.—599.

²См. стихотворение *А.С. Пушкина* «Золото и булат» (1827):

«Все мое», — сказало злато;
«Все мое», — сказал булат.
«Все куплю», — сказало злато;
«Все возьму», — сказал булат.—602.

† урожая

Впервые статья была опубликована в *НВ* (1913. 6 авг.).

Из монастыря домой

Впервые статья была опубликована в *НВ* (1913. 3 сент.).

¹Часть символа веры.—614.

²Выражение сконтаминировано на мотив псалма. Ср.: «Они, как трава, скоро будут подкошены...» (*Пс.* 36, 2); «Дни человека — как трава...» (*Пс.* 102, 15); а также ср.: «Что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который то же, что трава...» (*Ис.* 51, 15).—614.

³Из стихотворения *Н.А. Некрасова* «Эй, Иван! (Тип недавнего прошлого)» (1867). Ср.:

«Хоть бы раз Иван Мосеич
Кто меня назвал!...»—614.

⁴Ср.: «Он (Эпаминонд) упал, пораженный дротом. Несчастье это несколько обескуражило беотян, однако они не прекратили сражения до тех пор, пока не опрокинули и не разгромили врага. А Эпаминонд, понимавший, что рана его смертельна и что он умрет тотчас, как выдернет из тела застрявший в нем наконец-ник дрота, терпел до той поры, пока ему не сообщили о победе беотян. Услышав весть, он сказал: «Вовремя пришел мой конец — умираю непобедимым» — и, выдернув вслед за тем дрот, тотчас испустил дух» (*Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах*. М.: Изд-во Московского университета, 1992. С. 63).—617.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗ ЖИЗНЕННЫХ ВСТРЕЧ
(Памяти Железновой)

Впервые опубликовано в РС (1911, 4 июня).

¹Из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1825—1826). Ст. 194. Ср.:

Так точно дьяк в приказах поседель
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно.—623.

²В Кисловодском городском суде 22—25 мая 1911 г. проходил судебный процесс по поводу смертельного ранения Недоносковым Железновой 21 июля 1907 г., от которого она скончалась 23 июля. Суд вынес оправдательный приговор (см.: Дело Недоноскова // Пятигорское Эхо. — 1911. — 22, 24 и 25 мая).—623.

³Лермонтов М.Ю. Демон (1839). 243.—629.

О деликатности и прочих мелочах

Впервые опубликовано в РС (1910, 24 окт.) под псевдонимом В. Варварин.

¹Один из ярких эпизодов средневековой истории, когда разгорелась политическая борьба между папской и императорской властью. Римский папа Григорий VII заставил германского императора Генриха IV прийти к нему в замок Каноссу (в Апеннинах) и там в одежде кающегося простоять перед замком три дня, после чего он получил отпущение грехов и признание папой его власти.—632.

²См.: Вяземский П.А. Русский бог (1828). Цитируемых Розановым слов в стихотворении нет. Ср., например:

Нужно ль вам истолкованье,
Что такое русский бог?
Вот его вам начертанье,
Сколько я заметить мог. [...]

Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он, русский бог. [...]

Бог бродяжных иностранцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он, русский бог.

Напечатано впервые в Лондоне в 1854 г. листовкой. На печатном экземпляре, правленном Вяземским, поэт написал: «Нечестно, чтобы не сказать бесчестно, печатать за границею самовольно чужие

стихи, написанные не для печати и которые могут быть во вред автора перетолкованы» (см. в кн.: *Вяземский П.А. Стихотворения*. Л.: Советский писатель, 1986. С. 491—492).—633.

Памяти Е.И. Апостолопуло

Впервые опубликован некролог в «Русском Библиофиле» (1915. № 8. С.96—99).

¹Е.И. Апостолопуло получила 1300 руб. от Русского женского взаимно благотворительного общества, а также и от частных жертвователей для крестьян Казанской губ. Спасского уезда, Юрткульской волости в мае, июне и июле 1899 г. См.: *Апостолопуло Е.И. Отчет о помощи пострадавшим от неурожая* (Одесский Листок. — 1899. — 13 сент. — С. 3).—641.

УКАЗАТЕЛИ

**СВОДНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ,
МИФОЛОГИЧЕСКИХ И БИБЛЕЙСКИХ ИМЕН,
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ И НАЗВАНИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И КНИГ**

Аарон, см.: Библия

Аввакум Петрович (1620 или 1621 — 1688), протопоп; один из выдающихся столпов раскола — 553

Август (до 27 до Р.Х. Октавиан) (63 до Р.Х. — 14 по Р.Х.), римский император с 27 г. до Р.Х. — 87 135 180 507

Авессалом, см.: Библия

Аврелий, Марк (121—180), римский император с 161 г., из династии Антонинов — 87 135 152 153 505 506

Агриппа, Марк Випсаний (ок. 63 — 12 до Р.Х.), римский полководец и государственный деятель; писатель. Кроме выдающихся полководческих акций Агриппа знаменит также устройством водопроводов и очищением клоак в Риме, благоустройством города термами, садами, особенно построением Пантеона — 286

Адонис, в греческой мифологии божество финикийско-сирийского происхождения с ярко выраженными растительными функциями, связанными с периодическим умиранием и возрождением природы. Адонис — прекрасный юноша, рано умерший, любимец Афродиты — 324 325 327 454

Адриан, Публий Элий (76—138 по Р.Х.), римский император с 117 г., из династии Антонинов — 153 200 201 490 587

Аксаков, Иван Сергеевич (1823—1886) — 443

Аксаков, Сергей Тимофеевич (1791—1859) — 346 347

— «семейные хроники» («Семейная хроника», 1856) — 346

Александр I (1777—1825) — 316

Александр II (1818—1881) — 341 458

Александр III (1845—1894) — 89 458

Александр Македонский (356—323 до Р.Х.) — 268

св. **Александр Невский** (1220—1263) — 16

Александра Федоровна (1872—1918), русская императрица с 1894 г.; супруга Государя Николая II — 457

св. **Алексей** (Алексий) (сын черниговского боярина Федора *Бяконта*; между 1293 и 1298—1378), митрополит киевский и всея Руси, чудотворец — 356

сл. кн. **Алексей Александрович** (1850—1908), четвертый сын Государя Александра II; генерал-адмирал; генерал-адъютант; главный начальник русского флота и морского ведомства — 403

Алексей Михайлович (1629—1676), русский царь с 1645 г., за мягкий и добродушный характер получивший в исторической литературе прозвание «тишайший» — 11 542 543

Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса, принцесса Гессен-Дармштадтская, см.: Александра Федоровна

Алкиной, в греческой мифологии царь феаков, внук Посейдона. Он радушно принимал Одиссея, заброшенного бурей на остров, и

- устроил в честь гостя пир (см.: *Гомер. Одиссея. Песни IX—XII*) — 214
- преп. **Амвросий** (в миру Александр Михайлович *Гренков*; 1812—1891) — 270 274
- Анакреон** (ок. 570—478 до Р.Х.), греческий поэт-лирик — 506
- Анаксагор** из Клазомен (ок. 500—428 до Р.Х.), древнегреческий философ; посещал кружок Аспасии (см.) — 483
- о. **Анатолий**, монах из Сарова — 261
- Андреев**, Леонид Николаевич (1871—1919), писатель — 641
- Аника-воин**, герой народных песен, изображается на лубочных картинках в бою со смертью — 193
- Анна**, см.: Библия
- Анна Владимировна**, знакомая Розанова по поездке в Наугейм в 1910 г. — 516 520
- Антиной**, в греческой мифологии предводитель женихов Пенелопы (см.: *Гомер. Одиссея. IV, VI—VIII, XIII, XVI, XVIII, XXI—XXII*) — 158
- Антоний**, Марк (82—30 до Р.Х.), римский полководец — 380
- преп. **Антоний Печерский** (в миру *Антипа*; 983—1073), основатель первого пещерного (печерского) монастыря в Киеве и первый игумен Киево-Печерского монастыря — 270
- Антоний Пий** (86—161 по Р.Х.), римский император с 138 г. — 87 153 505 506
- Апис**, в египетской мифологии божество плодородия в образе быка — 154 245 333 504
- Аполлон**, в греческой мифологии олимпийский бог — 73 134 137—139 157 158 204—206 231 323 364
- Аностолопуло**, Евгения Ивановна (урожд. Богдан; 1857—1915), знакомая Розанова, владелица имения Сахарна в Бессарабии — 638
- «Апостольские постановления»** (*Διατάξεις τῶν ἁγίων ἀποστόλων δια Κλήμεντος τοῦ Ῥωμαίων ἐπισκόπου τε καὶ πολιτοῦ* — Постановления святых апостолов чрез Климента, римского епископа и гражданина) — апокрифический памятник христианской письменности. В основе памятника лежат разнообразные источники, из которых одни восходят ко временам глубокой древности, а другие появились не позднее середины IV — нач. V в. В тесной связи с «Апостольскими постановлениями» стоят «Правила апостолов» (*Κανόνες τῶν ἁγίων ἀποστόλων*), которые имеют форму соборных постановлений. См. на русском яз.: «Постановления апостольские» (Казань, 1864) — 234 547
- гр. **Аракчеев**, Алексей Андреевич (1769—1834), государственный деятель — 26 242 316
- Аренс**, мифический владетель замка на о.Эзель — 60
- Арес**, в греческой мифологии бог войны — 214
- Ариост** (Ариосто), Лудовико (1474—1533), итальянский поэт — 127
- Аристотель** (384—322 до Р.Х.) — 51 123 551
- Арцимович**, Виктор Антонович (1820—1893), деятель эпохи великих реформ — 640
- Асклепий**, в греческой мифологии бог врачевания — 461
- Аспазия** (Аспасия) (ок. 470—? до Р.Х.), гетера в Афинах, с 445 г. — супруга Перикла; в их доме собирался кружок мыслителей, скульпторов, писателей, среди которых были Сократ, Анаксагор и др. После смерти Перикла вышла замуж за торговца скотом Лизикла — 483

Астарта, в западносемитской мифологии богиня любви — 79 225 570
Ауновский, Владимир Александрович, инспектор Симбирской гимназии в 1870-е годы — 363 377

Афина, в греческой мифологии богиня мудрости и справедливой войны. Ее изображение, так называемый палладий (отсюда — Афина Паллада), упало с неба, свидетельство ее космической сущности — 137 138 196 220 231

Афродита, в греческой мифологии богиня любви — 157 535

Ахилл, Ахиллес, в греческой мифологии один из величайших героев Троянской войны — 119 250

Ахитовель, см.: Библия

кн. **Багратион, Петр Иванович** (1765—1812) — 18

лорд **Байрон, Джордж Гордон** (1788—1824) — 258 484 485 488
— «Чайльд Гарольд» («Паломничество Чайльд Гарольда», 1812—1818) — 259

Бакст, Леон (псевд.; наст. имя Лев Самойлович *Розенберг*; 1866—1924) — 83

ки. **Барклай** (Барклай-де-Толли), **Михаил Богданович** (1761—1818), генерал-фельдмаршал — 18

Бартельс (Бартельт), **Эдуард**, торговец хлебобулочными изделиями — 341

кн. **Барятинский, Александр Иванович** (1815—1879), генерал-фельдмаршал; главнокомандующий войсками и наместник на Кавказе с 1856 г. — 13

Басистов, см.: Тургенев И.С.

Баттистини, Маттиа (1856—1928), итальянский певец (баритон) — 252

Баудер (Василий и Федор Федоровичи), товарищи Розанова по Симбирской гимназии — 379

Бахус, см.: Вакх

Бедекер, Карл (1801—1859), составитель путеводителей, получивших его имя, так называемых бедекеров — 91

Беклемишевы, братья, товарищи Розанова по Симбирской гимназии — 379 385

Белинский, Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 364 365 395

Бенедикт Нурсийский (480—543), основатель уставного монашества на Западе — 114

Бенеке, Фридрих Вильгельм (1824—1882) — 460 462

Берне (Бёрне), **Людвиг** (1786—1837), немецкий публицист и литературный критик — 319

Берини, Лоренцо (1598—1680), итальянский архитектор и скульптор — 112

— «Давид с пращою» — 112

Берпулли, семейство швейцарских ученых: **Якоб** (1654—1705); **Иоганн** (1667—1748); **Даниил** (1700—1782) — 339

Берта (VI в.), франкская принцесса, жена короля кентского (Англия) **Этельберга**; в католической Церкви причислена к лику святых, память ее отмечается 4 июля — 400

Бертольд Шварц (в миру **Константин Анклитцен**; перв. пол. XIV в.), немецкий францисканский монах, за свои занятия химией прозванный **Шварцем** (черный). Порох изобрел случайно ок. 1330 г. — 503

- Бестужев-Рюмин, Константин Николаевич** (1829—1897), историк — 365
- Бетховен, Людвиг ван** (1770—1827) — 475 478 514
- 9-я симфония (1824) — 514
- Библия, Писание** — 97 162 227 230 234 313 314 388 396 458 479 481 492
- **Ветхий Завет** — 148 389 392 394 593
- «Бытие» — 136 230
- «Исход» — 135 155
- «Книга чисел» (Числа) — 161
- «Второзаконие» — 155
- «Псалтырь» — 312
- «Книга Иезекииля» (Книга пророка Иезекииля) — 126
- Аарон — 154
- Авель — 291
- Авессалом — 30
- Авраам — 390 393
- Адам — 126 138 531
- Ахав — 225
- Ахаз — 225
- Ахитовель (Ахитовел) — 30
- Варлаам — 435
- Версавия (Вирсавия) — 30
- Давид — 30 112 231 506
- Даниил — 79 124 227
- Ева — 30 126 138 245 531
- Захария — 124
- Иегова — 102 312 314
- Иезавель — 93
- Иезекииль — 124 126 135 155 205
- Иеремия — 121 124 563
- Илия — 93
- Иов — 6 398
- Исаия — 129 388
- Каин — 201 203 305
- Маной — 283
- Моисей — 135 136 155 161 162 324
- Нимврод (Нимрод) — 141
- Ной — 32 148
- Саваоф — 430
- Симон Макковей — 313 510
- Соломон — 48 224 226 234 510
- Сусанна — 226 227
- Хелкия — 227
- Экклезиаст — 406
- **Новый Завет** — 148 274 389 518 593
- «Евангелие» — 52 53 96 117 121 129 133 225 235 248 249 251 262 274 369 400 401 487 517—521 526 553 560 585
- «Апокалипсис» (Откровение святого Иоанна Богослова) — 3 8 134
- Анна — 51 272 273
- Иисус Христос, Господь, Спаситель, Младенец, Сын Человеческий, *Jesu, Christi* — 3 9 79 91 94—96 98 99 101 105 106—108 111

117 120 121 125 128 129 133 134 137 147 148 166 168 191 207 210
 225 230 231 235 249 250—252 272 273 278 279 284—286 288 291 313
 351 364 365 388—390 393 394 399—401 466 499 520 521 523 534
 544—546 553 556 558 568 607 617

— Иоаким — 51 272 273

— Иоанн Богослов — 133 134 365

— Иоанн Креститель, Предтеча — 132 273 556

— Иосиф — 283

— Лазарь — 14 18

— Лука — 278

— Мария, Матерь Божия, Богоматерь, Богородица, Св. Дева, Ма-
 донна, Madonna, Santa Maria — 105 106—108 114 117 129 131 133
 150 191 225 272 273 283—286 313 365 440 441 465 534—536 545

— Мария — 249 250 252

— Мария Магдалина — 133

— Марк — 219—221 224—228 230—232 289

— Марфа — 18 249

— Матфей, Матвей — 210 211 234

— Никодим — 365 390 517 523

— Павел — 102 107 147 148 150 157 211 234 272 348

— Петр — 85 86 89 93 98—100 132 147 150 211 234 272 285 289 348
 364 365 553

— Симеон — 108

кн. Бисмарк, Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815—1881) — 306
 317 318 484

гр. Блудов, Дмитрий Николаевич (1785—1864), государственный деятель
 — 26 28

Боборыкин, Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель — 357

— «В путь-дорогу» (1862—1864) — 357

Бовани, в индуистской мифологии одна из ипостасей Девы или
 Дурги, супруги верховного божества Шивы — 9

Боголюбов, Алексей Петрович (1824—1896), художник-маринист —
 403—405

Богораз, Тан-Богораз, Владимир Германович (до крещения: Натан
 Менделеевич; 1865—1936), общественный деятель, этнограф,
 прозаик; принимал участие в так называемом освободительном
 движении, в частности в организации «Всероссийского крес-
 тыанского союза» (учрежден в авг. 1905 г.) и выработке прог-
 раммы под сильным влиянием эсеров, требовавшей ряда ради-
 кально-демократических реформ — 576 577

Богров, Дмитрий Григорьевич (1887—1911), эсер; 1 сентября 1911 г.
 смертельно ранил П.А. Столыпина во время торжественного
 спектакля в Киевском оперном театре в присутствии Императо-
 ра Николая II — 541

Боккаччо (Боккаччо), Джованни (1313—1375) — 594

— «Декамерон» — 594

Бокль, Генри Томас (1821—1862), английский историк и социо-
 лог — 364 365 373 377 561

— «История цивилизации в Англии» (см. изд.: СПб., 1863—1865. В
 2 т.) — 364

Боль, Фердинанд (1617—1680), голландский живописец — 283

— «Отдых на пути в Египет» — 283

Бонапарт, см.: Наполеон I

Боргезе, знаменитый римский род, происходивший из Сиены и в XV в. приобретший известность — 112 113

св. **Борис** (†1015), князь ростовский — 347

Браун, Гунтер, исполнитель роли Локе в «Кольце Нибелунга» — 476

Бронзов, Александр Александрович (1858—1919), профессор С.-Петербургской духовной академии по кафедре нравственного богословия — 234 235

Брут, Луций Юний (VI в. — 509 до Р.Х.), первый римский консул — 135 156

Буонарроти, см.: Микель-Анджело

Буренин, Константин Петрович (†1882), педагог — 631

— «задачник...» (*Малинин А.Ф., Буренин К.П.* Собрание арифметических задач. М., 1866) — 631 (см. также: Малинин А.Ф.)

Бутлеров, Александр Михайлович (1828—1886), химик-органик — 364

Бух, Кристиан Леопольд фон (1774—1853), немецкий геолог — 149

лорд **Бэкон**, Фрэнсис (1561—1626) — 488

Бюхнер, Людвиг (1824—1899), немецкий врач, естествоиспытатель и философ, представитель вульгарного материализма — 107 380

Ваал, восходящая к раннему Средневековью грецизированная форма библейского имени Баал, возникшего из первоначального Балу, в западносемитской мифологии одно из наиболее употребительных прозвищ богов отдельных местностей и общих богов — 93 155 217 225 570

Вагнер, Рихард (1813—1883), немецкий композитор, дирижер и музыкальный деятель — 468 470 471 475 477 478

— «Кольцо Нибелунгов» («Кольцо Нибелунга», 1854—1874) — 469 514

— «Гибель богов» — 476

— Альберих — 475 476

— Брунгильда — 475 476

— Вотан — 476 477

— Гаген — 476

— Доннер — 475 476

— Зигмунд — 476

— Зигфрид — 475 476

— Локе — 476

— Мим — 476

— Фазольт — 476

— Фрикка — 476

— Фрох — 476

— Эрд — 475

Вакх, одно из имен Диониса, в греческой мифологии бога плодоносящих сил земли (лат. форма — Бахус) — 210 353

Валленштейн, Альбрехт Венцеслав Евсевич (1583—1634), герцог фридландский; знаменитый полководец — 292 293 527

Ван-Дейк (Ван Дейк), Антонис (1599—1641), фламандский живописец — 301 616

св. **Варвара** († ок. 306), великомученица, память отмечается Церковью 4 декабря — 283 284

- о. Варсонофий, инок, знакомый Розанова по поездке в Бессарабию — 583 589 590
- Василий Блаженный (1469—1557), московский юродивый — 72—75 219 221 291
- св. Василий Великий (ок. 330—379), архиепископ кесарийский — 547
- Василько Ростиславич (XI — нач. XII в.), князь теребовльский — 347
- Васнецов, Виктор Михайлович (1848—1926), живописец — 128 305 465 559—562
- «Богатыри» (1881—1898) — 128
- образ [Богоматери] — 465
- Вейд, исполнительница роли Брунгильды в музыкальной драме Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» — 476
- Веласкес (Родригес де Сильва *Веласкес*), Диего (1599—1660), испанский живописец — 301 304
- «Портрет молодого дворянина» — 304
- Вельфы, знаменитая немецкая княжеская фамилия (VIII—XII вв.), владения которых распространялись на итальянские земли (в Италии их сторонников называли гвельфами). Вельфы соперничали с Гогенштауфенами — 210
- Венгеров, Семен Афанасьевич (1855—1920), историк литературы, библиограф — 395
- «Критико-биографический словарь» (Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб., 1889—1904. — Вышло 6 т. Издание не окончено) — 395
- Венера, в римской мифологии богиня красоты и любви — 73 353 395
- Вербицкая, Анастасия Алексеевна (1861—1928), писательница — 559 563
- Веронезе (наст. фам. *Кальяри*), Паоло (1528—1588), итальянский живописец — 127 229
- Версавия, см.: Библия
- Веста, в римской мифологии богиня священного очага городской общины, курии, дома — 102—105
- Виктор Эммануил II (1820—1878), первый король объединенной Италии с 1861 г. — 15
- Виктория (1819—1901), королева Великобритании с 1837 г. — 165 166
- Викторов, товарищ Розанова по Симбирской гимназии — 379
- Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941), германский император и прусский король в 1888—1918 гг. — 61 115 317 324 327 449 489
- Винкельман, Иоганн Иоахим (1717—1868), немецкий историк искусства — 324
- Вишневский, Иван Васильевич, директор Симбирской гимназии в 1870-е годы — 362 375 377 379 381
- Владимир (в миру Всеволод Владимирович *Путята*; 1869—?), епископ кронштадтский с 1907 г., с 1911 г. — епископ омский и семипалатинский — 466 515
- св. Владимир (†1015), князь киевский с 980 г. — 130 502 542
- Владимир Мономах (1053—1125), великий князь киевский с 1113 г. — 549
- Вольт (Вольта), Алессандро (1745—1827), итальянский физик и физиолог — 156
- Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруз; 1694—1778) — 307 355 535

- светл. кн. **Воронцов, Михаил Семенович** (1782—1856), государственный деятель, генерал-фельдмаршал; наместник на Кавказе (1844—1854) — 13
- Гален** (ок. 130—ок. 200), римский врач — 4
- Галилей, Галилео** (1564—1642) — 156 291
- Гальвани, Луиджи** (1737—1798), итальянский анатом и физиолог, один из основателей учения об электричестве — 156
- «**Гамлет Щигровского уезда**», см.: Тургенев И.С.
- Гаинибал** (247 или 246—183 до Р.Х.), карфагенский полководец — 531
- Гарибальди, Джузеппе** (1807—1882) — 195
- Гарнак, Адольф фон** (1851—1930), немецкий протестантский теолог — 520
- Гегель, Георг Вильгельм Фридрих** (1770—1831) — 319 325 502
- Гейне, Генрих** (1797—1856) — 319
- Геката**, в греческой мифологии богиня мрака, ночных видений и чародейства — 154 155 159
- Гельмгольц, Герман Людвиг** (1821—1894), немецкий ученый; автор фундаментальных трудов по физике, биофизике, физиологии, психологии — 252 292 324 496 497
- Генрих IV** (1050—1106), германский король и император «Священной Римской империи» с 1056 г., из Франконской династии — 632
- Георгиевский**, хозяин домика Лермонтова в Пятигорске — 443
- Гера**, в греческой мифологии верховная олимпийская богиня — 137 333
- Гердер, Иоганн Готфрид** (1744—1803) — 49
- Геркулес**, в римской мифологии бог и герой — 87
- Геродот** (между 490 и 480 — ок. 425 до Р.Х.) — 302
- Герострат**, грек из г. Эфес (Малая Азия), сжег в 356 г. до Р.Х., чтобы обессмертить свое имя, храм Артемиды Эфесской — 154
- Герцен, Александр Иванович** (1812—1870) — 368 369 557 558 560
- Герценштейн, Михаил Яковлевич** (1859—1906), экономист и общественный деятель; член первой Государственной думы, где выступал с речами по аграрному вопросу — 576 601 602
- Гесиод** (VIII—VII вв. до Р.Х.), древнегреческий поэт — 154
- «**Теогония**» — 154
- Гете, Гёте, Иоганн Вольфганг** (1749—1832) — 49 250 434 484—494
- «**Вертер**» («Страдания молодого Вертера»; 1774) — 486
- «**Гёц фон Берлихинген**» (1773) — 486 492
- «**Лесной царь**» (1782) — 486
- «**Рейнеке-Лис**» (1793) — 486
- «**Фауст**» (1808—1831) — 486 487
- **Гретхен** — 486—488
- **Мефистофель** — 486—488 500
- **Фауст** — 487 500
- «**Эгмонт**» (1775—1787) — 492
- Гигиеня** (Гигиеня), в греческой мифологии персонификация здоровья, дочь Асклепия — 461 462
- Гизо, Франсуа** (1787—1874), французский историк — 377
- Гиппократ** (ок. 460—ок. 370 до Р.Х.), древнегреческий врач — 4
- Гладстон, Уильям Юарт** (1809—1898), государственный деятель Великобритании — 306

- св. Глеб (†1015), князь муромский — 347
- Гогенштауфены, немецкий род, выдвинувшийся в XI в. — 210
- Гоголь, Николай Васильевич — 21 47 73 156 176 248 295 319 344 405—407 430 436 437 528 567
- «Переписка» (Выбранные места из переписки с друзьями, 1847) — 406
- «Мертвые души» (1838—1841) — 406
- «Ревизор» (1841) — 406
- «Страшная месть» (1831) — 156 567
- Хома Брут — 73 75
- «Тарас Бульба» (1835) — 162
- Тарас — 567 591
- Остап — 591
- Андрей (Андрий) — 117
- Янкель — 162
- Пульхерия Ивановна (см.: «Старосветские помещики») — 209
- Акакий Акакиевич (см.: «Шинель») — 36 158 380
- Иван Иванович (см.: «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») — 47
- Иван Никифорович — 47
- «медник Миллер из Гороховой улицы» («Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице») (см.: «Невский проспект») — 430
- Гольбейн, Ханс Младший (1497 или 1498—1543), немецкий художник — 283
- Гомер — 135 162 333 379 589
- «Одиссея» — 204
- «Илиада» — 589
- Терсит — 250 485
- Ахилл — 379
- Одиссей — 428
- Гектор — 312
- Патрокл — 312
- Атрид — 379
- Гончаров, Иван Александрович (1812—1891) — 26—28 176 343 348
- «Миллион страданий» («Мильон терзаний», 1871) — 26
- «Обрыв» — 27 348
- Марк Волохов — 640
- Вера — 27
- Горький, Максим (псевд.; наст. имя — Алексей Максимович Пешков; 1868—1936) — 62 310 453 642
- «Дно» («На дне», 1902) — 453
- Лука — 453
- Граки, братья: Тиберий (162—133 до Р.Х.); Гай (153—121 до Р.Х.), народные трибуны в Риме — 87 324
- Грановский, Тимофей Николаевич (1813—1855), историк — 49 495
- Грегоровнус, Фердинанд (1821—1891), немецкий поэт и историк — 152
- «История города Рима в Средние века» (СПб., 1886—1888. В 6 т.) — 152
- Грибоедов, Александр Сергеевич (1796—1829) — 19—22 24—30 307 449 552
- «Горе от ума» (1825) — 19 21 23—25 30
- Молчалин — 19 20 22 24 26—28

- Скалозуб — 19 26
- Софья — 20 26—28
- Фамусов — 20 22 28
- Чацкий — 19—26

Григорий VII Гильдебранд (между 1015 и 1020 — 1085), папа римский с 1073 г. — 120 521

св. **Григорий Богослов** (ок. 330 — ок. 390) — 547

Грифт, исполнитель роли Доннера в музыкальной драме Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» — 475

Грозный, см.: Иван IV Грозный

граф Губернатис (De Gubernatis), Анжело (1840—1913), итальянский ученый; был профессором санскритского языка, но, увлеченный пропагандой М.А. Бакунина, вышел в отставку и тогда же женился на родственнице Бакунина, но вскоре разошелся с Бакуниным. Много путешествовал — 150

Гумберт I (1844—1900), король Италии с 1878 г. Был убит на празднестве анархистом — 150

барон Гумбольдт, Александр Фридрих Вильгельм фон (1769—1859), немецкий естествоиспытатель, путешественник — 38 149 322 323 496 497

— «Космос» («Kosmos»: В 4 т.; 1845—1858) — 38 322 496

Гумбольдт, Вильгельм (1767—1835), немецкий филолог, философ, государственный деятель — 323 496 497

Гурко, Иосиф Владимирович (1828—1901), генерал-фельдмаршал; выдающийся военачальник — 13

Гус, Ян (1371—1415), национальный герой Чехии, вождь религиозно-национального движения — 259

Густав-Адольф (Густав II Адольф) (1594—1632), король Швеции с 1611 г., из династии Ваза — 292 527

Гуттенберг (Гутенберг), Иоанн (между 1394 и 1399 (или в 1406)—1468), немецкий изобретатель книгопечатания — 398 546

Гюго, Виктор Мари (1802—1885) — 508

— «Собор Парижской Богоматери» (1831) — 508

Давид, см.: Библия

Даву, Луи Никола (1770—1823), полководец наполеоновских войн — 119

Дагмара, см.: Мария Федоровна

Даниил, см.: Библия

Дант, Данте, Алигьери (1265—1321) — 107 121 126 127 156 290 291 293 379 521

— «Divina commedia» («Божественная комедия»; 1307—1321?) — 126 290 521

— «Ад» — 126

Дарвин, Чарлз Роберт (1809—1882) — 252 292 562

кн. **Дашкова**, Екатерина Романовна (1744—1810), деятельница русской культуры — 245

Де-Губернатис, см.: Губернатис

Деллингер (Дёллингер), Игнатий (1799—1891), один из главных вождей старокатолического движения, профессор церковной истории и церковного права в Мюнхене — 306

гр. **Деянов**, Иван Давыдович (1818—1897), государственный деятель; министр народного просвещения — 551 552

Демосфен (ок. 384—322 до Р.Х.), афинский оратор, вождь

- демократической антимакедонской группировки — 200 204
— «De согопа» («О венке») — 200 201 204
Де-Фоз (Дефо), Даниель (ок. 1660—1731) — 123
— «Робинзон» («Робинзон Крузо», 1719) — 123
— Робинзон — 127 379
Джулио Романо (наст. имя и фам.: Джулио *Пиппи*; 1492 или 1499—1546), итальянский архитектор и живописец — 127
Диана, в римской мифологии богиня растительности — 138 154 157 158 204 214 545
Диоклетиан (243 — между 313 и 316), римский император в 284—305 гг. — 129 201
Добролюбов, Николай Александрович (1836—1861) — 369
Добротворский, Иван Михайлович (1832—1883), духовный писатель; профессор Казанского университета — 246
кн. Долгоруков, Иван Михайлович (1764—1823), писатель — 404
Домниан (51—96 по Р.Х.), римский император с 81 г., из династии Флавиев — 129
«Домострой», литературный памятник XVI в., приписываемый протопопу Сильвестру, который переработал его и дополнил собственными сочинениями — 106
Дон-Кихот (см.: *Сервантес М.* Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский) — 407
Достоевский, Федор Михайлович (1821—1881) — 9 21—24 101 159 176 248 295 343 344 369 573 633
— «Дневник Писателя» (1873—1881) — 22
— «Сон смешного человека» (1877) — 369
— «Земля и дети» (1876) — 22 23
— «Преступление и Наказание» (1866) — 110
— «Легенда об Инквизиторе» (см.: «Братья Карамазовы») — 101
— Алеша Карамазов — 633
— Иван Карамазов — 633
— «Подросток» (1875) — 633
— Версилов — 633
Дубровский, товарищ Розанова по Симбирской гимназии — 375
Дузе, Элеонора (1858—1924), итальянская актриса — 156
Дю-Геклен (Дюгеклен), Бертран (1320—1380), знаменитый французский полководец — 119

Елизавета (1837—1898), императрица австрийская. Не терпевшая около себя открытой охраны, она была убита в Женеве анархистом — 458
Елизавета I Тюдор (1533—1603), королева Великобритании с 1558 г. — 166
Екатерина (†307), дочь царя Ксанта. Православная Церковь отмечает память ее 24 ноября — 619
Екатерина II (1729—1796) — 166 245 291 404
Ермолов, Алексей Петрович (1777—1861), русский полководец — 13 40
Есппов, товарищ Розанова по Симбирской гимназии — 379

Жанна д'Арк (ок. 1412—1431), народная героиня Франции — 127
Железнова, Клеопатра, героиня кисловодской драмы — 623 624 626 627

Жуковский, Василий Андреевич (1783—1852) — 368 528

Задор, исполнитель роли Альбериха в музыкальной драме Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» — 475

Зарудный, Сергей Иванович (1821—1887), выдающийся государственный деятель — 405

Захарьин, Григорий Антонович (1829—1897), известный врач-терапевт; профессор по кафедре диагностики; один из самых выдающихся клиницистов-практиков — 617

Збруева, исполнительница роли Эрда в музыкальной драме Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» — 475

Зевс, в греческой мифологии верховное божество — 158 162 210 214 286 476

Зембрих, Марчелла (1858—1935), польская певица (колоратурное сопрано) — 475

Зенон из Элеи (ок. 490—430 до Р.Х.), древнегреческий философ — 135

Золя, Эмиль (1840—1902) — 343

— «Рим» (1896) — 343

преп. Зосима Соловецкий (XV в.), основатель Соловецкого монастыря — 270

Иван I Данилович Калита (†1340), князь московский — 11 455 600 602

Иван III Васильевич (1440—1505), великий князь московский с 1462 г. — 71 455

Иван IV Васильевич Грозный (1530—1584), первый русский царь — 11 143 219 317 455 554

Иванов, Александр Андреевич (1806—1858), живописец — 556

— «Явление Христа народу» (1837—1857) — 556

Иеремия, см.: Библия

Иероним Пражский (1379—1416), чешский религиозный деятель, сподвижник Яна Гуса — 259

св. Иероним Стридонский (342—420) — 127 132

Изида (Исида), в египетской мифологии богиня плодородия — 333

Илиодор (в миру Сергей Михайлович Труфанов), духовный и политический деятель — 562

Иловайский, Дмитрий Иванович (1832—1920), историк — 79 347 543

Иннокентий (в миру Иван Васильевич Беляев; 1862—1913) — епископ тамбовский — 256

о. Иннокентий, инок, знакомый Розанова по поездке в Бессарабию — 583 584

Иннокентий III (Лотарио Конти, граф Сеньи; 1160 или 1161—1243), папа римский с 1198 г. — 120 521

Иоаким, см.: Библия

Иоанн Богослов, см.: Библия

св. Иоанн Златоуст (между 344 и 354—407), патриарх константинопольский — 326 547 553

Иоанн Креститель, см.: Библия

преп. Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев; 1829—1908), протоиерей; настоятель Андреевского собора в Кронштадте — 617

Иов, см.: Библия

Ионафан (в миру Иван Наумович *Руднев*; 1816—1906), архиепископ ярославский, дядя В.Д. Бутягиной-Розановой, жены писателя — 352—354

«**Калевала**», карело-финский эпос, составленный из народных песен Э. Лёнротом — 589

Калигула (12—42 по Р.Х.), римский император с 37 г., из династии Юлиев-Клавдиев — 507

Калита, см.: Иван I Данилович Калита

Кальвин, Жан (1509—1564), деятель Реформации — 102 308—315

Кампанелла, Томмазо (1568—1639), итальянский философ и политический деятель — 380

Канова, Антонио (1757—1822), итальянский скульптор — 156

Кант, Эммануил (1724—1804) — 49 307 325 470 471 484—486

— «Критика чистого разума» (1769—1781) — 307

кн. **Кантемир**, Антиох Дмитриевич (1708—1744), поэт — 29

Капетинги, династия французских королей (987—1328 гг.) — 602

Каракалла (186—217), римский император с 211 г., из династии Северов — 109 250

Карамзин, Николай Михайлович (1766—1826) — 404 434

Карангозов — 419

Карл Великий (742—814), франкский король с 768 г. — 500 502

«**Кармен**», опера Ж. Бизе — 476

Катарбинский (Котарбинский), Василий (Вильгельм) Александрович (1854—1921), живописец — 559

Катков, Михаил Никифорович (1818—1887), публицист и издатель журнала «Русский Вестник» и газеты «Московские Ведомости» — 11 12

Каульбах, Вильгельм фон (1805—1874), немецкий живописец — 531 — «Битва при Саламине» — 531

Кауфман, Константин Петрович (1818—1882), инженер-генерал; туркестанский генерал-губернатор с 1867 г.; руководил завоеванием Средней Азии — 13

Кильдюшевский, Петр Иванович, классный наставник ученика 3-го класса Розанова в Симбирской гимназии — 362 375 377 379

Киреев, Александр Алексеевич (1838—1910), генерал от кавалерии; писатель — 233—235

Киреевские, братья (Иван Васильевич, 1806—1856; Петр Васильевич, 1808—1856) — 495

Клавдий (10 до н.э. — 54 по Р.Х.), римский император с 41 г., из династии Юлиев — 180

гр. **Клейнмихель**, Петр Андреевич (1793—1869), государственный деятель — 242

Клодий (ок. 93—52 до Р.Х.), римский народный трибун — 88

Клотильда (475—545), супруга франкского короля Хлодвиг — 400

Ключевский, Василий Осипович (1841—1911), историк — 71

Кноте, исполнитель роли Зигмунда в музыкальной драме Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» — 476

Княжин, Яков Борисович (1742(1740?)—1791), драматург, поэт — 404

Кожевников, Владимир Александрович (1852—1917), философ, культуролог — 591

— «очерки византийского монашества» (О значении христианского подвижничества в прошлом и настоящем: В 2 ч. М., 1910. —

- «Религиозно-философская библиотека». Вып. XXII—XXIII) — 591
- Колумб, Христофор (1451—1506) — 533
- Кольцов, Алексей Васильевич (1809—1842), поэт — 3
- Кондаков, Никодим Павлович (1844—1925), академик; историк древнерусского и византийского искусства — 260
- Константин Великий (ок. 285—337), римский император с 306 г. — 502 534
- о. Константиновский, Матвей Александрович (1792—1857), ржевский протоиерей — 405—407
- Контти, Сигизмунд (Сиджисмондо) (1432—1512), гуманист и поэт — 132
- Коперник, Николай (1473—1543) — 107 148 149 290
- Кориолан, см.: Марций, Гней
- Короленко, Владимир Галактионович (1853—1921) — 398
- Корреджио (Корреджо) (наст. фам. *Аллегри*), Антонио (ок. 1489—1534), живописец — 127 299
- Краус, исполнитель роли Зигфрида в музыкальной драме Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» — 475 476
- Крез (595—546 до Р.Х.), царь в Лидии (Малая Азия) — 302
- Кречинский, персонаж комедии А.В.Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» — 319
- Кронеберг, Иван Яковлевич (1788—1839), филолог — 87
— латинский словарь (Латино-русский словарь. М., 1876. 8-е изд.) — 87
- Кропотов, товарищ Розанова по Симбирской гимназии — 379
- Крылов, Иван Андреевич (1769—1844), баснописец — 307
- Ксантиппа, супруга Сократа — 552
- Ксеркс I (†465 до Р.Х.), царь государства Ахеменидов с 486 г. — 531
- Кун, исполнитель роли Мима в «Кольце Нибелунга» — 476
- Купидон, в римской мифологии бог любви — 286 528
- Курбатовы, купцы из Нижнего Новгорода в 70-е годы XIX в. — 257
- Кутузов, Михаил Илларионович (1745—1813), светлейший князь смоленский — 120 146 176 437
- Кюнер, Рафаэль (1802—1878), немецкий филолог, элементарные учебники по древнегреческому и латинскому языкам которого были переведены на русский язык и применялись в русских гимназиях во время введения классической системы — 197
- Лазарев, Михаил Петрович (1788—1851), адмирал; флотоводец и мореплаватель — 18
- Лазарь, см.: Библия
- Лайэль, Ляйэль (Лайель), Чарлз (1797—1875), английский естествоиспытатель — 149 374 377
— «Древность человеческого рода» (Геологические доказательства древности человека. СПб., 1864) — 374
- Ламартин, Альфонс (1790—1869), французский писатель — 258
- Лаокоон, в греческой мифологии троянский прорицатель — 134
- Лассаль, Фердинанд (1825—1864), немецкий политический деятель — 381
- Лев XIII (в миру Джоакино, граф Печчи; 1810—1903), папа римский с 1878 г. — 61
- Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646—1716) — 339
- Ленбах, Франц фон (1836—1904), немецкий живописец — 305 306

- Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814—1841) — 21 159 161 176 248 266
335 435—443 488 528 529 629
— «Герой нашего времени» (1840) — 38
— Вернер — 440
— Максим Максимыч — 36 440 443
— Печорин — 440
— «Ангел» (1831) — 437
— «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837) — 437
— «Сон» (1841) — 437
Лессинг, Готхольд Эфраим (1729—1781), немецкий драматург, литературный критик и теоретик искусства — 134 137 324
— «рассуждение о Лаокооне» («Лаокоон, или О границах живописи и поэзии») — 134
Ливий, Тит (59 до Р.Х. — 17 по Р.Х.), римский историк — 87 103
Лист, Ференц (1811—1886), венгерский композитор — 107
Лойола, Игнатий (1491?—1556), основатель ордена иезуитов — 289
Ломоносов, Михаил Васильевич (1711—1765) — 49 119 379 528
Луитпольд (Карл-Иосиф-Вильгельм) (1821—1912), принц-регент Баварии — 471
Лука, см.: Библия
Луповский, учитель Симбирской гимназии — 362
Людовики, имя французских королей — 307
Лютер, Мартин (1483—1546), деятель Реформации — 102 259 292 309
326 327 378 484 485 502 521

Магомет (Мухаммед) (ок. 570—632), основатель ислама; почитается как пророк — 359

Мазини, Анджело (1846—1926), итальянский певец, представитель искусства бельканто — 252 475

Майков, Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт — 499

Майоров, Иван, мужик из Сарова — 269

св. Макарий Великий (301—391), египетский подвижник — 270

преп. Макарий Желтоводский (1349—1444), память о нем Церковь отмечает 25 июля — 356

лорд Маколей, Томас Бабингтон (1800—1859), английский историк — 377

Малинин, Александр Федорович (1834—1888), педагог — 631

— «задачник...» (Собрание арифметических задач. М., 1866), см.: Буренин К.П. — 631

Малевич, Филипп Андреевич (1869—1940), живописец — 305

Маной, см.: Библия

Марий, Гай (ок. 157—86 до Р.Х.), римский полководец — 138 139

Мария (1814—1904), игуменья Дивеева монастыря — 270 274

Мария-Терезия (1717—1780), королева Венгрии и Чехии — 166

Мария Федоровна (1847—1928), императрица; супруга Имп. Александра III — 458

Марк, см.: Библия

Маркс, Карл (1818—1883) — 381 400

Марс, один из древнейших богов Италии, божество войны — 395
476

«Мартын-Найденыш» («Мартин Найденыш, или Записки камердинера») — роман Э.Сю (см. изд.: М., 1847) — 163 164

Марций, Гней (V в. до Р.Х.), римский патриций, получивший

- прозвище Кориолана за взятие Кориолы в 493 г. до Р.Х. — 104
- о. Матвей, см.: о. Константиновский М.А.
- Медичи, Медичисы, знаменитый флорентийский род XV—XVI вв. — 495 526 532 633
- Медичи, Козимо (1389—1464) — 530
- Медичи, Лоренцо (1449—1492) — 324
- Медичи, Юлиан (Джулиано) (1479—1516) — 324
- Медуза (Медуза Горгона), в греческой мифологии одна из трех сестер, чудовищное порождение морских божеств — 527
- Мейербер, Джакомо (наст. имя и фам.: Якоб Либман Бер; 1791—1864), композитор — 312
- «Гугеноты» (1835) — 312
- Рауль — 312
- Меланхтон (наст. имя и фам.: Филипп Шварцерд; 1497—1560), немецкий протестантский богослов, сподвижник М. Лютера — 309 521
- «Аугсбургское исповедание» — 292
- Мельников, Павел Иванович (1818—1883), писатель; печатался под псевдонимом Андрей Печерский — 50 343
- «На горах» (1875—1881) — 343
- «В лесах» (1871—1881) — 343
- Менделеев, Дмитрий Иванович (1834—1907) — 290 364
- светл.кн. Меньшиков (Меншиков), Александр Данилович (1673—1729), государственный деятель — 302
- Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — 522
- Мержеевский, Иван Павлович (1838—1908), психиатр — 416
- Меркурий, в римской мифологии бог торговли — 109 204 231
- кн. Меттерних, Клеменс (1773—1859), государственный деятель Австро-Венгерской империи — 259
- Мефистофель, название злого духа, введенное в употребление несколькими писателями, среди которых — Гёте (см.: Гёте, «Фауст») — 98 406
- Мехелли, Лео (1839—1914), финский политический деятель и писатель — 585
- Микель-Анджело (Микеланджело, Буонарроти; 1475—1564) — 121—127 130 151—153 161 162 215 324 495 633
- «Моисей» — 161
- «Сивиллы» — 124
- «Страшный суд» — 121
- «Умирующий гладиатор» — 152 157 158 161
- Мильт, Джон Стюарт (1806—1873), английский философ-позитивист — 377
- Мильтон, Джон (1608—1674), английский поэт — 290 484—486
- «Потерянный рай» (1667) — 290
- Милюков, Павел Николаевич (1859—1943), политический деятель, историк — 585
- Минерва, в римской мифологии богиня, покровительница ремесел и искусств — 231
- Митра, в древнеиранской мифологии бог солнца — 153 154 157 502 — 505
- Митрофания (в миру баронесса Прасковья Григорьевна Розен; 1825—1898), игуменья Серпуховского владычного монастыря и

- начальница Московской епархиальной Владычне-Покровской общины сестер — 256
- Михайлов, Александр Дмитриевич (1855—1884), народоволец, террорист — 379 381
- Михайловский, Николай Константинович (1842—1904), публицист и критик, один из теоретиков народничества — 398
- Молох, божество, которому в Палестине, Финикии и Карфагене приносились в жертву дети — 531
- гр. Мольтке, Хельмут Иоганн (1848—1916), германский военный деятель — 318
- Моммзен, Момсен, Теодор (1817—1903), немецкий историк — 306 323 324 496 497
- Монтефиоре, Морез (1784—1885), английский финансист, общественный деятель и филантроп — 257
- Мор, Томас (1478—1535), английский государственный деятель, писатель — 383
- Морфей, в греческой мифологии крылатое божество, являющееся людям во сне — 380
- Моцарт, Вольфганг Амадей (1756—1791) — 475 478
- Музм, в греческой мифологии богини поэзии, искусства и Науки — 323 364
- Мурильо, Бартоломе Эстебан (1618—1682), испанский живописец — 300 301
- Мюрат, Иоахим (1767—1815), сподвижник Наполеона, участник наполеоновских войн — 119
- Мякотин, Венедикт Александрович (1867—1937), историк и публицист — 596
- Навзикая (Навсикая), в греческой мифологии дочь царя феаков — 214
- Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 22 24 146 228 307 308 318 434 500
- Невский, см.: Александр Невский
- Недоносков, Владимир Васильевич (1879—?), помощник присяжного поверенного; герой криминальной истории в Кисловодске в 1907 г. — 626
- Некрасов, Николай Алексеевич (1821—1877/78) — 347 368 404 405 614
- Нерва (30 или 35—98 по Р.Х.), римский император с 96 г., из династии Антонинов — 153
- Нерон (37—68 по Р.Х.), римский император с 54 г., из династии Юлиев-Клавдиев — 87 92 179 250
- Нестеров, Михаил Васильевич (1862—1942) — 546 559 560 562 — «Молящаяся Русь» — 546
- Нестор († ок. 1114), летописец — 347 548 — «Повесть временных лет» — 347
- Нибелунги, в немецких сказаниях два сына мифического короля Нибелунга — 469 470
- Никитенко, Александр Васильевич (1804—1877), литературный критик, историк литературы — 26 28
- Николаев, Николай Алексеевич, наставник Розанова-гимназиста в Симбирске, ученик 7-го класса — 363 364 373 374 381

- вел. кн. **Николай Александрович** (1843—1865), наследник цесаревич; старший сын Имп. Александра II. 20 сентября 1864 г. был помолвлен с датскою принцессою Дагмарою — 458
- Николай I Великий** (858—867), папа римский; канонизирован римской католической Церковью — 93
- Николай V** (в миру Томмазо *Парентучелли*; 1397—1455), папа римский с 1447 г.; стремился к упрочению мира среди христиан; был большим поклонником классической античности, к его заслуге относится создание Ватиканской библиотеки — 153
- Николай Павлович, Николай I** (1796—1855) — 51
- св. **Николай Чудотворец** из Мур Ликийских (†345) — 356 463 553 587
- преп. **Нил Сорский** (ок. 1433—1508), память отмечается Церковью 7 мая — 270
- Нимрод**, см.: Библия
- св. **Ния** (276—340), равноапостольная; просветительница Грузии — 400
- Ниобея** (Ниоба), в греческой мифологии дочь Тантала — 298
- Ницше, Фридрих** (1844—1900) — 434 632
- Новалис** (наст. имя и фам.: Фридрих фон *Харденберг*; 1772—1801), немецкий поэт и философ — 319
- Новиков, Николай Иванович** (1744—1818), писатель; издатель, журналист — 404
- Новоселов, Михаил Александрович** (1864—1938?), духовный писатель — 591
- Ной**, см.: Библия
- Нокс, Джон** (ок. 1505—1572), шотландский религиозный деятель — 102
- Ньютон, Исаак** (1643—1727) — 290 291 433
- Озеров, Владимир Александрович** (1769—1816), драматург — 404
- Озирис** (Осирис), грецизированная форма египетского имени Усир, в египетской мифологии бог производительных сил, царь загробного царства — 154
- св. **Ольга** (†969), жена киевского князя Игоря; память отмечается Церковью 11 июля — 400 463
- Островский, Александр Николаевич** (1823—1886) — 295
- Офелия**, см.: Шекспир У.
- Павел**, см.: Библия
- Павленков, Флорентий Федорович** (1839—1900), книгоиздатель — 334
- Паллада**, см.: Афина
- гр. **Панин, Никита Иванович** (1718—1783), государственный деятель — 405
- Паншин**, см.: Тургенев И.С.
- Папков, Александр Александрович** (1855—1920), писатель — 234
- св. **Параскева** (III в.), именуемая Пятиницей; великомученица — 71—73 75
- Партевоне**, в греческой мифологии нимфа — 196
- Паскаль, Блез** (1623—1662) — 312
- Пастер, Луи** (1822—1895), французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии — 4 5 291 563
- св. **Пахомий Великий** (†347), память отмечается Церковью 15 мая — 270

- Пекарский, Петр Петрович** (1827—1872), историк, библиограф — 322
- Перикл** (ок. 490—429 до Р.Х.) — 135 136 483 531 532
- Персей**, в греческой мифологии потомок Геркала — 527
- Перуджино** (наст. фам. *Ваннуччи*), **Пьетро** (между 1445 и 1452—1523), итальянский живописец — 126—128 300
- Петр**, см.: Библия
- Петр Амьенский**, или **Пустынный** (ок. 1050— 1115), аскет, организатор Первого крестового похода — 295
- Петр I Великий** (1672—1725) — 25 26 152 228 242 268 455 456 531
- Петрарка**, **Франческо** (1304—1374) — 156 379
- Печерский**, **Печерский-Мельников**, см.: Мельников
- Пий IX** (1792—1878), папа римский с 1846 г. — 114
- Пимен**, см.: Нестор
- Пирр** (319—273 до Р.Х.), царь Эпира — 84
- Писарев**, **Дмитрий Иванович** (1840—1868) — 252 364 369 631
— «Сочинения» (в 6 т. СПб., 1894—1907. Изд. 5-е — СПб., 1909—1913) — 631
- Пифагор Самосский** (VI в. до Р.Х.) — 135 136 325
- Плавильщиков**, **Петр Алексеевич** (1760—1812), актер и драматург — 404
- Плавт**, **Тит Макций** (сер. 3 в. — ок. 184 до Р.Х.), римский комедиограф — 200
— «*Miles gloriosus*» («Хвастливый воин») — 200
- Платон** (428 или 427 — 348 или 347 до Р.Х.) — 51 135 249 250 325 380 486 528 530
— «Пир» — 528
— «Республика» — 380
— «Федр» — 486
- Платон** (Левшин; 1737—1812), митрополит московский — 235
- Плеханов**, **Георгий Валентинович** (1856—1918) — 596
- Поза**, см.: Шиллер И.
- Покровский**, **Николай Васильевич** (1848—1917), археолог; профессор С.-Петербургской духовной академии по кафедре церковной археологии и литургики; директор Археологического института — 543
- Поликрат** (?—ок. 523 или 522 до Р.Х.), тиранн на о. Самос — 32
- Поляков**, **Самуил Соломонович** (1837—1888), банкир — 601 602
- Помпей**, **Гней** (106—48 до Р.Х.), римский полководец — 87 153 503
- Порфирий** (в миру **Константин Александрович Успенский**; 1804—1885), епископ; знаменитый археолог и писатель — 272—274
- Посейдон**, в греческой мифологии владыка моря — 212 214
- Пракситель** (ок. 390—ок. 330 до Р.Х.), древнегреческий скульптор — 137 141
- Прахов**, **Адриан Викторович** (1846—1916), историк искусства, педагог; принимал деятельное участие в реставрации Владимирского собора в Киеве — 541 543—547 550 551 561
- Преузе-Матценауэр**, исполнительница роли Фрикки в музыкальной драме Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» — 476
- Пришвин**, **Михаил Михайлович** (1873—1954), писатель — 528
- Прозерпина**, в римской мифологии богиня подземного мира — 210
- Психея**, в греческой мифологии олицетворение души — 127 321 323 324

- Птоломей II Филадельф** (285—247 до Р.Х.), египетский царь, покровитель искусств и наук — 333
- Пульхерия Ивановна**, см.: Гоголь Н.В.
- Пушкин**, см.: Чекрыгин И.Н.
- Пушкин, Александр Сергеевич** (1799—1837) — 8 21 25 29 77 176 180 221 248 258 290 291 315 322 323 342 369 372 406 413 436 437 486—488 574 615 623 625
- «Медный всадник» (1833) — 406
- «Отрывок из Фауст» («Сцена из Фауста»; 1825) — 487
- «Отцы пустыnnики» (1836) — 248
- «Руслан и Людмила» (1835) — 258
- «Цыганы» (1827) — 369 406
- Скупой рыцарь — 574
- Татьяна — 180 181
- Пыпин, Александр Николаевич** (1833—1904), литературовед — 402
- Рабинович, Иосиф** (1837—1899), основатель иудео-христианской секты в Бессарабии в 1884 г. К концу 80-х годов «община иудейских христиан» распалась, а Рабинович в 1885 г. крестился в Лейпциге по обряду конгрегационалистов (протестантизм). — 386 393 394
- Рабинович, Петр Иосифович**, учитель Ревельской гимназии — 386 393 394
- Рагозин, Виктор Иванович** (1833—1901), владелец пароходства на Волге — 343
- Волга: В 3 т. СПб., 1880—1881. — 343
- Радищев, Александр Николаевич** (1749—1802) — 403 404
- «Путешествие из Петербурга в Москву» (СПб., 1888. Изд. А.С. Суворина) — 404
- Рамм**, издатель — 62
- Рамполла, Мариано**, маркиз Тиндаро (1843—1913), кардинал и статс-секретарь папы Льва XIII, руководил папской политикой — 85 88 98 99 150 151
- Ранке, Леопольд фон** (1795—1886), немецкий историк — 468
- Расторгуев, товарищ Розанова** по Симбирской гимназии — 379
- Растрелли, Варфоломей Варфоломеевич** (1700—1771), архитектор — 3 221 348 499
- Рафаэль, Санти** (1483—1520) — 121—123 126 127 128 130 132 156 262 284—286 299—301 303 314
- «Causarum cognitio» — 127
- «Justitia» («Справедливость») — 127
- «Prudentia» («Скромность») — 127
- «Madonna di Foligno» («Мадонна Фолиньо») — 130 132
- «Афинская школа» — 127 130
- «Беатриче Ченчи» — 301
- «Добрый Пастырь» — 128
- «Поклонение пастырей» — 128
- «Парнас» — 130
- «Преображение» — 130 262
- «Сикстинская Мадонна» — 283
- «Спор о причастии» — 127
- «Форнарина» — 301
- Рачинская, Варвара Александровна** (†1910), хозяйка имения Татеево,

сестра С.А. Рачинского — 578

Рачинский, Сергей Александрович (1833—1902), педагог и общественный деятель — 578

Рем, по римскому преданию, брат-близнец Ромула — основателя Рима — 153 155

Рембрандт, Харменс ван (1606—1669) — 283 299 301 304 616

— «Жан Гаринг» — 304

— «Жертвоприношение Исаака» — 304

— «Портрет турка» — 304

— «Собственный портрет Рембрандта» — 304

Ренан, Жозеф Эрнст (1823—1892), французский писатель и ученый — 352 355 520 561

Репин, Илья Ефимович (1844—1930) — 128 305 306 561

— «Запорожцы» («Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 1878—1891) — 128

Реутский, Н.В. — 246

Рибейра (Рибера), Хусепе (1591—1652), испанский живописец — 304

— «Св. Варфоломей» — 304

— «Смерть Сенеки» — 304

— «Старуха с корзиной яиц и петухом» — 304

— «Францисканец» — 304

Риттер, Карл (1779—1859), немецкий ученый-географ — 323

[**Розанов, Николай Васильевич**], брат Розанова, под опекой которого он находился в гимназические годы — 377

Розавова, Татьяна Васильевна (1895—1975), старшая дочь В.В. Розанова — 264

Роман Мстиславич (†1205), князь галицкий — 447

Ромул, по римскому преданию, основатель Рима — 102 153 155

Росси, Карл Иванович (1775—1849), архитектор — 156

Ротшильды, еврейский банкирский дом в Европе в XIX в. — 602

Рудаков, Александр Павлович (1824—1892), духовный писатель, автор учебных пособий — 79

Руссо, Жан Жак (1712—1778) — 307 308 369

— «Discours sur l'origine de l'egalite des conditions» («Рассуждения о причине неравенства сословий») («Discours sur l'origine et les fondements de l'inegalite parmi les hommes» — «Рассуждения о начале и основании неравенства между людьми»; 1755) — 308

Рылеев, Кондратий Федорович (1795—1826) — 25

— «Исторические думы» (Думы. М., 1825) — 25

Саблер (Десятовский), Владимир Карлович (1845—1929), обер-прокурор св.Синода в 1911—1915 гг. — 357

Саванарола (Савонарола), Джироламо (1452—1498), доминиканский монах, реформатор; пытался образовать теократическую республику — 526, 527

Саваоф, см.: Библия

преп. **Савватий** (†1435), основатель Соловецкого монастыря — 270

Савостьянова, Иван Кириллович, московский булочник — 341

Садоков, Константин Иванович, директор Нижегородской гимназии в 70-х годах XIX в., позднее помощник попечителя Московского учебного округа — 357

Салтыкоа (Салтыков-Щедрин), Михаил Евграфович (1826—1889) — 435 557—560

- Сальвани, Томазо (1829—1915), итальянский актер — 156
- Сансовино (наст. фам. *Контуچی*), Якопо (1486—1570), итальянский архитектор и скульптор — 231
- Санчо-Пансо (Санчо Панса) (см.: Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский) — 407
- Сафо (Сапфо) (7—6 вв. до Р.Х.), древнегреческая поэтесса — 305
- Сведомский, Павел Александрович (1849—1904), живописец — 559
- Святополк Окаянный (Святополк II Изяславич; 1050—1113), князь полоцкий (1069—1071), великий князь киевский (с 1093) — 447
- св. Себастьян († ок. 66), память о нем Церковь отмечает 26 февраля — 128 298
- Секки, Анджело (1818—1878), итальянский астроном — 107
- Семенов (Семенов-Тянь-Шанский), Петр Петрович (1827—1914), географ, статистик, общественный деятель — 343
- «Географическо-статистический словарь Российской империи» (в 5 т. СПб., 1863—1885) — 343
- Семирамида (IX в.), царица Ассирии — 415
- гр. Сен-Симон, Клод Анри Рувруа де (1760—1825), французский мыслитель — 334
- Септимий Север (146—211), римский император с 193 г., основатель династии Северов — 109
- Серапис, один из богов эллинистического мира — 73
- преп. Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин; 1730—1833) — 239 243 256 258 260 261 264 265 267—272 274 465 513 552 553 555 562 584 (см. также: Преподобный, Угодник)
- Сервет, Мигель (1509 или 1511—1553), испанский врач — 310 311 315
- Серов, Валентин Александрович (1865—1911), живописец — 305 306
- Сет, в египетской мифологии бог «чужих стран» — 154
- «Свицлины книги» — 124
- сл. Сикст II (по традиции получил латинское имя *Ксистус*), папа римский в 257—258 гг. Погиб во время волны репрессий на христиан по приказу имп. Валериана (253—260). Память о нем Церковь отмечает 10 августа — 284
- Синайский, Иван — 87
- «Греческо-русский словарь» (М., 1879. — 3-е изд. — в 2 ч.) — 87
- Скотинин, см.: Фонвизин Д.И.
- Скотт, Вальтер (1771—1832) — 459
- Сократ (ок. 470—399 до Р.Х.) — 135 136 141 250 483 552
- Соловьев, знакомый Розанова по Симбирску — 366 367
- Соловьев, Владимир Сергеевич (1853—1900) — 233 386
- Сонн, сестра А.Н. Николаева — 365
- Спенсер, Герберт (1820—1903), английский социолог — 107 561
- Сперанский, Дмитрий Александрович — 335
- гр. Сперанский, Михаил Михайлович (1772—1839), государственный деятель — 27 28
- Степанов, учитель математики в Симбирской гимназии в 1870-е годы — 375 377
- Стефан (до крещения носивший имя Вайк; X в.), первый венгерский король, канонизирован католической Церковью в 1087 г. — 226 289
- Столыпин, Петр Аркадьевич (1862—1911) — 540

Суворин, Алексей Сергеевич (1834—1912), издатель, журналист, публицист и писатель — 404

Суворов, Александр Васильевич (1730—1800) фельдмаршал, граф рымникский и светлейший князь италийский — 148

«Суд Любоши» (см.: Краледворская рукопись: Собрание древних чешских лирических и эпических песен. Перевод Н. Берга. М., 1846) — 378

Сулла (138—78 до Р.Х.), римский полководец — 250 324 325

Сусанна, см.: Библия

Сухомлинов, Михаил Иванович (1828—1901), филолог — 323

Сцинны, римский род — 162

Талмуд, собрание догматических, религиозно-этических и правовых положений иудаизма — 390

Тан-Богораз, см.: Богораз

Таня, см.: Розанова Т.В.

Татариннов, Валериан Алексеевич (1816—1871), выдающийся государственный деятель — 405

лорд Теннисон, Альфред (1809—1892), английский поэт — 521

Теньер, Давид Младший (1610—1690), фламандский художник — 301

Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (ок. 160—после 220), христианский апологет — 250

Тиверий, Тиберий (42 до Р.Х. — 37 по Р.Х.), римский император с 14 г. по Р.Х., из династии Юлиев-Клавдиев — 87 179 182 188 507

гр. Тик, Людвиг (1773—1853), немецкий писатель — 319

Тилли, Иоганн Церклас (1559—1632), германский полководец — 292 293 527 528 535

Тинторетто (наст. фам. *Робусто*), Якопо (1518—1594), итальянский живописец — 229

Тирсит, Терсит, см.: Гомер

Тит (39—81 по Р.Х.), римский император с 79 г., из династии Флавиев — 226 250 497

Тихонравов, Николай Саввич (1832—1893), литературовед, археограф; профессор Московского университета — 51

Тициви (Тициано Вечеллио) (ок. 1476/77 или 1489/90 — 1576), итальянский живописец — 113 127 299 304

— «Amour sacré, Amour profane» («Любовь возвышенная, любовь низменная», 1515—1516) — 113

— «Портрет Карла V» — 305

гр. Толстой, Дмитрий Андреевич (1823—1889), государственный деятель — 402

гр. Толстой, Иван Иванович (1860—1916), археолог, нумизмат — 561

гр. Толстой, Лев Николаевич (1828—1910) — 21 23 47 150 176 248 305 307 310 369 486 488 599

— «Анна Каренина» (1873—1877) — 407

— «Война и Мир» (1863—1869) — 22 23 26—28

— Алпатыч — 23 24

— Пьер Безухов — 26

— Елен (Элен) Безухова — 27

— Маге Болконская — 26

— Николай Ростов — 26

- «Воскресение» (1889—1899) — 47
- «Казачи» (1853—1863) — 369
- «Смерть Ивана Ильича» (1884—1886) — 154 157
- Иван Ильич — 154 157
- Тон, Константин Андреевич (1794—1881), архитектор — 221 348
- «Травиата», опера Дж. Верди — 7 9 476
- Трейчке, Генрих (1834—1896), немецкий историк националистического направления — 496
- Трубецкой, Павел (Паоло) Петрович (1866—1938), скульптор — 305 306
- «Портрет князя Голицына» — 305
- «Граф Л.Н. Толстой верхом на лошади» (1900) — 305
- Тунсельда — 531
- Тургенев, Иван Сергеевич (1818—1883) — 8 9 23 24 29 71 295 347 404 495
- «Дворянское гнездо» (1859) — 27
- Лаврецкий — 23 24
- Лиза Калитина — 9 27
- Паншин — 23 25
- «Дым» (1867) — 9
- «Гамлет Шигровского уезда» (1849) — 29
- «Живые мощи» (1874) — 8 9
- «Записки охотника» (1852) — 348
- «Накауне» (1860) — 29
- Увар Уварович (Иванович) — 29
- «Новь» (1876) — 9
- «Призраки» (1864) — 71
- Базаров (см.: «Отцы и дети», 1862) — 369 640
- Басистов (см.: «Рудин», 1856) — 27
- Рудин (см.: «Рудин», 1856) — 27
- Чертопханов (см.: «Чертопханов и Недолюскин») — 29
- Уланд, Людвиг (1787—1862), немецкий поэт — 319
- Успенский, Глеб Иванович (1843—1902), писатель — 369
- Успенский, Федор Иванович (1845—1928), историк — 543
- Фабии, римский род — 162
- Фальерн (Фальеро), Марино (1274—1355), венецианский дож; видный государственный деятель; казнен за участие в заговоре против патрициев — 228
- Фальконет (Фальконе), Этьенн Морис (1716—1791), французский скульптор — 152
- «Фауст», опера Ш. Гуно — 91
- Феодора (†548), супруга византийского императора Юстиниана I с 527 г.; дочь медвежьего вожака Акция — 326 553
- Феодосий (ок. 346—395), римский император с 379 г. — 270 380
- Фидий (нач. 5 в.—ок. 432—431 до Р.Х.), древнегреческий скульптор — 137 162 301
- св. Филпп (в миру Федор Степанович *Колычев*; 1507—1569), митрополит московский и всея Руси — 554
- Филиппов, Дмитрий Иванович, московский булочник — 341 599
- Фихте, Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ — 485
- Фоменко, Кл. — 230—232
- Фонвизин, Денис Иванович (1744 или 1745—1792) — 28

— «Недоросль» (1781) — 28

— Скотинин — 29

Форварина — 284 303

Фотий (ок. 820—ок. 891), патриарх константинопольский — 93 234

Фохт (Фогт), Карл (1817—1895), немецкий философ, естествоиспытатель, представитель вульгарного материализма — 4 364 373 374

— «Физиологические письма» (см. изд.: СПб., 1863. Т.1) — 373

Франц Иосиф I (1830—1916), император Австрии и король Венгрии — 458

Франциск Ассизский (1181 или 1182—1226), основатель ордена францисканцев — 106 117 132 137 298

Фридрих Великий (1712—1786), прусский король с 1740 г., из династии Гогенцоллернов — 323 496

Фридрих I Барбарусса (ок. 1125—1190), германский король с 1152 г., император «Священной Римской империи» с 1155 г. — 192

Фридрих II Гогенштауфен (1194—1250), германский король с 1212 г., император «Священной Римской империи» с 1220 г., король Сицилии с 1197 г. — 531

Фта, египетское божество — 477

Фурнье (Фурье), Шарль (1772—1837), французский утопический социалист — 597

Хелкия, см.: Библия

кн. Хилков, Дмитрий Александрович (1858—1914), офицер; последователь Толстого — 310

Христофоров, учитель в Симбирской гимназии в 1870-е годы — 362

Цезарь, Гай Юлий (102 или 100—44 до Р.Х.) — 71 87 104 135 138 214 234 235

Церера, в итальянской и римской мифологии богиня производительных сил — 212 213

Цицерон, Марк Туллий (106—43 до Р.Х.) — 88 200

— «De republica» («О государстве») — 200

Чаадаев, Петр Яковлевич (1794—1856) — 335

кн. Чарторыйский (Чарторыский), Адам Ежи (1770—1861), польский патриот — 585

Чекрыгин, Иван Николаевич (†1908), рассказчик сцен из еврейского быта — 372

Чернышевский, Николай Гаврилович (1828—1889) — 304 402 560

— «Что делать?» (1862—1863) — 304

— Рахметов — 369

Черинев, Михаил Григорьевич (1828—1898), полководец; завоеватель Туркестана — 13

[Чертков, Владимир Григорьевич] (1854—1936), общественный деятель, издатель и друг Л.Н. Толстого — 407

Чичерин, Борис Николаевич (1828—1904), философ, историк — 380

Шаляпин, Федор Иванович (1873—1938) — 476

Шарко, Жан Мартен (1825—1893), французский врач; один из основоположников современной невропатологии и психотерапии — 4

виконт Шатобривн, Франсуа Рене де (1768—1848), французский писатель, политический деятель — 151

- [Шварц, Александр Николаевич] (1848—1915), профессор Московского университета, позднее министр народного образования — 200 201 204
- Шварц, Бертольд, см.: Бертольд Шварц — 503
- Шевченко, Тарас Григорьевич (1814—1861), украинский поэт — 15 16
- Шейн, Павел Васильевич (1826—1900), этнограф, фольклорист — 394
- Шекспир, Уильям (1564—1616) — 104 200 290 407 433 484—486
- Гамлет — 4 36 37 407
- Офелия (см.: «Гамлет») — 36
- Шеллинг, Фридрих Вильгельм (1775—1854), немецкий философ — 368 485
- Шиллер, Иоганн Фридрих (1759—1805) — 49 155 158 250 307 319
- Поза («Дон Карлос») — 36
- Шлейермахер, Фридрих (1768—1834), немецкий протестантский теолог и философ — 319 325 326
- Штейнгауэр, учитель в Симбирской гимназии в 1870-е годы — 362
- Штекер (Штёккер), Адольф (1835—1909), придворный пастор; германский политический деятель — 151
- Штраус, Давид Фридрих (1808—1874), немецкий теолог и философ — 520
- Штрик, Василий Николаевич (†1893), действительный статский советник; генерал-контролер — 86
- Штурм, врач из Кисловодска — 425 426
- Шумав, Роберт (1810—1856), немецкий композитор — 49
- Щеглов, Дмитрий Федорович (†1902), педагог и писатель — 380
- Щедрин, см.: Салтыков-Щедрин М.Е.
- кн. Щербатов, Михаил Михайлович (1733—1790), историк, публицист — 404 405
- Щусев, Алексей Викторович (1873—1949), академик; архитектор — 639
- Эврипид (Еврипид) (ок. 480—406 до Р.Х.) — 213
- Энаминонд (ок. 418—363 до Р.Х.), фиванский полководец — 617
- Эпикур (341—270 до Р.Х.), древнегреческий философ — 250
- Эскулап, в римской мифологии бог врачевания — 461 462
- Юлиан Отступник (331—363), римский император с 361 г. — 153
- Юлий II (в миру Джулиано делла Ровере; 1443—1513), папа римский с 1503 г. — 162
- Юлия Благочестивая (Юлия Домна) (†217 по Р.Х.), супруга императора Септимия Севера — 109
- Юнона, в римской мифологии супруга Юпитера — 137 139
- Юпитер, в римской мифологии верховный бог — 154 155 504
- Юрий Суздальский (Долгорукий) (90-е гг. XI в. — 1157), князь суздальский и великий князь киевский — 344 352
- Юстиниан I (482 или 483—565), византийский император с 527 г. — 326 592
- «Corpus juris civilis» — 592
- Янус, в римской мифологии божество границ, входа и выхода — 109
- Ярослав Мудрый (ок. 978—1054), великий князь киевский с 1019 г. — 210 347 542 543 548 549 568 587

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

- Абро, остров в Рижском зали-
ве — 56 67 68
- Австрия — 12 94 208 228 458 489
571 589
- Адрианополь (совр. Эдирне,
Турция) — 587
- Адриатика — 224
- Азия — 37 40 41 102 202 215 359
499
- Альпы — 16 93 165 196 233 337
482
- Америка — 96 215 (см. также:
Соединенные Штаты)
— Южная А. — 5 322
- Амур, река — 62
- Анакапри, город на Капри —
188 191
- Англия — 266 322 364 453 484
521
- Апеннинский полуостров — 196
- Арагва (Арагви), река в Грузии —
40
- Аренсбург, город на острове Са-
аремаа (совр. Кингисепп) —
54 58 59 61 65 294 416
- Арзамас, город — 239 240 334
613
- Архангельск — 76
- Асия (библ.) — 619
- Астрахань — 344 358
- Афины — 220 319 529—531
— Акрополь — 533
— Пропилеи — 220 529
- Афои, гора на Балканах — 272
587 590
- Африка — 117 395
- Бавария, Баварское королевство —
292 305 471 528 531—533
- Баден, город в Швейцарии — 462
- Байи, древнее местечко в Ита-
лии — 73 174 500
- Баку — 332
- Балканский полуостров — 587
- Балтика — 359
- Батум (Батуми) — 194
- Белев, город в Тульской обл. —
14
- Белое море — 76
- Белый (сейчас город Тверской
обл.) — 58 59
— Кривая улица — 59
- Бердичев, город в Житомирской
обл. — 571
- Берлин — 12 17 287 294—299 316
322 323 325 327 433 475 476
495 497 535
- Бермамут — 19 427—432
- Бессарабия, Бессарабская губ. —
302 542 567 571—573 578 591
638
- Бештау, гора на Кавказе — 31 33
429 431
- Боденское озеро — 515
- Болгария — 587
- Бордо, город во Франции — 25
- Борисоглебск (Тутаев, город в
Ярославской обл.) — 347
- Брокен, гора в Германии — 489
- Брюссель — 327
- Брянск — 14 208
- Бухара — 360 394 395
- Бухарест — 586 587 638
- Вавилон — 78
- Варшава — 12 17 93 539 571
- Ватикан — 112 130 134 135 314
- Везувий — 165—168 170 171 181
196 200 201 208 212
- Веймар — 491
- Великороссия — 359 440 582 586
604
- Вена — 12 17 93 226 289 296 433
475 476

- Венгрия — 571
 Венеция — 106 219 221 224—232 240 289
 Вержболово (совр.: город Вирбалис, Литва) — 435 447 455 536
 Византия — 133 227 231 347 348 545 587 591 592
 Вифлеем (библ.) — 9 215
 Владикавказ — 31 33 34 358
 Владимирская (Русь) — 133
 Военно-Грузинская дорога — 30 35 37 38 40 189
 Волга — 32 56 170 331 332 334—335 337 338 340 343 344 347 356 358 359 361 362 372 385 400—403 604
 Вологда — 418 435
 Воробьевы горы — 434
 Восток — 30 47 85 97 106 107 117 118 278 500 506 508 529 586
 — Дальний В. — 61 397
 Вятка — 77
- Галилея (библ.) — 200
 Галлия Транс-Альпийская — 12
 Галлия Цис-Альпийская — 12
 Гарц, гора в Германии — 489
 Геркуланум — 173
 Германия — 83 84 215 294 306 317 318 321 323—325 434 447 448 453 455 468 474 482 484—486 489 495 497 499 500 502 507 528 533 588 632
 — Южная Г. — 292 296
 Гессен-Дармштадтское герцогство — 459
 Гогланд, о-в в Финском заливе — 56
 Голгофа (библ.) — 9
 Гомбург, город в Германии — 498
 Гоморра (библ.) — 92
 Гонолулу — 117
 Горячая, гора на Кавказе — 3
 Греция — 10 130 158 214 317 325 333 348 380 483 532
 Грузия — 400
 Гудаур, почтовая станция на Военно-Грузинской дороге — 36 40
- Дагестан — 437
 Даго (совр.: Хийумаа, о-в в Моонзундском архипелаге Балтийского моря) — 56
 Дания — 377
 Дарьяльское ущелье — 38
 Двина — 69
 Дивеев, Серафимо-Дивеев монастырь — 239 241—243 255
 Дивеево, с. Нижегородской обл. — 269—273
 Динаминд (Динамюнде), город в Латвии — 69
 Днестр — 567 572 573 589 590 591 594 638
 Дон — 372
 Дрезден — 283 287 294 296 299 300 301 305
 Дунай — 542 587
- Европа, Западная Европа — 22 36 37 41 83 102 119 120 167 195 198 202 215 242 290 299 300 303 307 308 311 314 316 321 325 326 333 359 360 365 380 433 434 471 520 521 542 586 587 597 601 631
 Евфрат — 500 506
 Египет — 220 228 245 332—334 504 531 546
 Елец, город в Липецкой обл. — 48 613
 Елецкий уезд — 453
 Ефремов, город в Тульской обл. — 14
- Железная, гора на Кавказе — 31
 Железноводск, город в Ставропольском крае — 3 421 423 431
 Женева — 307—310 466
- Замок Коварства, гора на Кавказе — 32
 Запад — 85 117 118 200 226 232 233 297 508
 Звенигород — 93
 Змеиная, гора на Кавказе — 31
- Иерусалим — 121 226 319 351 389 395 466 471 512 520 526 531 534 563

- Изар, река в Германии, приток Дуная — 472 530
Израиль — 386 387 389—391 509 511—513
Индия — 534
Интерлакен, курорт в Швейцарии — 433
Иския (Искья), остров в Тирренском море — 170
Испания — 215 322 394 514
Италия — 83 92 94 107 119 150 156 166 167 175-177 187 189—191 194 195 207 209 211 215—217 220 226 228 233 316 322 325 379 380 433 490 500 533 586 587 632

Кавказ — 13 14 18 19 30 31 33 34 38 40 47 165 194 267 337 358 359 383 421 425 430 437—440 568 586
Кавказские горы — 257
Кавказский хребет — 31 34 429 442
Каддийская пустыня (библ.) — 231
Казанская губ. — 360 361 641
Казань — 13 334 359 360 373 402
Казбек — 37 39 40
Каир — 360 534
Калуга — 13 16 93 144
Калужская губ. — 270
Кана Галилейская (библ.) — 272
Каносса, замок в Сев.Италии — 632
Капри — 170 179 181—185 188—192
— Лазоревый грот — 185 186
Карлсруэ, город в Германии — 466
Карпаты — 567 584
Карфаген — 141 531
Касимов, город в Рязанской обл. — 14
Кастелламаре (Кастелламаре-ди-Стабия, город и курорт в Италии к ю-в от Неаполя) — 169
Киев — 11—13 466 534 539—542 573 587
Киевская Русь — 12 133
Киль, город в Германии — 475
Кинешма, город в Ивановской обл. — 349
Кисловодск — 31 38 267 345 411 413—419 421—423 427 430 431 623 624 627—629
— Кисловодский парк — 10 17 411
— Лермонтовский грот — 411
Китай — 61 117 381
Кишинев — 639
Кларанс (Кларан), местечко в Швейцарии — 431
Константинополь — 224 226 325 326 502 534 542
Коринф — 532 533
Кострома — 13 46 93 206 335—337 362 383 440 441 612
Костромская губ. — 294
Крестовый перевал на Кавказе — 40
Кронштадт — 181 190
Крым — 383
Крымские горы — 189
Курляндия — 302
Кутаисская губ. — 194

Ладожское озеро — 56
Лаодикия — 619
Лесной, дачное местечко под С.-Петербургом — 54
Ливия — 259
Лиговка (Лигово), дачное местечко под С.-Петербургом; сейчас в черте города — 585
Литва — 12 359
Лифляндская губ. — 58
Лоде, городок на о. Эзель — 62
Ломбардия — 222 223
Лондон — 201 219 298 348 407 466
Лысая, гора — 33 489
Любань, город в Новгородской губернии — 454
Люцери, город в Швейцарии — 433

Макарьев, Макарий, город в Костромской обл. — 346 356
Макарьевский монастырь — 356
Малороссия — 12 255
Манилья — 201
Маньчжурия — 62

- Маиьчжурская ж.д. — 61
 Марафон, древнее местечко на восточном берегу Аттики — 324
 Машук, гора на Кавказе — 31 423 429
 Мертвое море — 570
 Микены, древний город в Южной Греции — 539
 Милан — 36 216
 Минеральные Воды — 31 33
 Митилеиы — 532
 Млеты, село, станция на Военно-Грузинской дороге — 40
 Молдавия — 569 581 638
 Молдо-Валахия — 587
 Монако — 120
 Монтре, гора в Швейцарии — 430
 Москва — 11—13 16 18 22 36 40 58 59 71 72 93 96 142 163 204 215 241 246 273 292 295—297 308 338—341 348 383 387 404 406 414 417 421 434 438 462 464—466 490 539 540 543 576 586 587 600 601 636
 — Кремль — 89 219 308 455 617
 — Петровский парк — 36
 — Воробьевы горы — 434
 — Неглинный проезд — 71
 — Охотные ряды — 71
 — Сретенка, улица — 40
 Московская губ. — 294
 Московская Русь — 12
 Мюнхен — 287 292 294 296 297 300 301 305 470—472 475—477 479 482 514 526—530 533—535

 Наугейм (Бад Наухайм) — 413 450 451 455 456 460—466 468 482 483 514—515 517 519 635
 Неаполитанский залив — 163 169 170 171 173 182 189
 Неаполь — 73 168 173 174 179 181 182 189—191 193 196 207 208 215 534
 — Via Panthenore (улица Пантеноре) — 196
 Нева — 151 513
 Немецкое море — 495
 Нерехта, город в Костромской обл. — 334 346—348

 Нижегородская губ. — 255 265 294 400 414
 Нижний; Нижний Новгород — 239 257 273 335 337 338 344 356 357 359 362 383 402 416 613
 Николаевская ж.д. — 338
 Нил — 331 333—335 430 632
 Новгород — 242 466 534
 Норвегия — 113 514
 Нью-Йорк — 219
 Нюрейберг (Нюрнберг) — 289 294

 Одесса — 348 358 638
 Ока, река — 56 589
 Ольховка, река на Кавказе — 38 411
 Оптиная пустынь — 270
 Орел — 48 58 144
 Орловская губ. — 294 383
 Останкино — 11

 Павловск, город в Петербургской губ. — 191
 Палестина (библ.) — 512 534 546 570
 Парголово, дачное местечко под СПб. — 11
 Париж — 300 403 405 466
 Персия — 29
 Пестум — 83 84 210 212 214 215 498 501 534
 Петербург — 11 12 27 29 45 47 48 56 58 59 62 78 79 86 93 96 150 167 181 182 190 201 202 215 223 231 241 256 268—270 280 295—297 305 334 337—341 344 348 359 383 404 412 414 417 419 421 428 435 438 441 454 462—465 475 490 528 531 534 539—541 543 560 573 574 576 581 585 602 638 638 639 641
 — Александро-Невская лавра — 86
 — Петропавловская крепость — 191
 — Николаевский вокзал — 40
 — Финляндский вокзал — 45
 — Галерная улица — 640
 — Загородный проспект — 454

— Звенигородская улица — 454
 — Коломенская улица — 574
 — Литейный проспект — 472
 490
 — Невский проспект — 35 296
 316 320 436 472
 — Садовая улица — 316
 — Сенная улица — 150
 — Шпалерная улица — 167
 Петербургская губ. — 294
 Петергоф — 181
 Платеи, древний город в Греции — 317
 Плес, город в Ивановской обл. — 346
 Подольская губ. — 567 638
 Польша — 11 14 15 359
 Помпеи — 73 170 173 187 199—
 204 207 212 498
 Понетаевский, Серафимо-
 Понетаевский монастырь —
 241— 243 252 255 257 271 612
 Порт-Артур — 61 62 604
 Посейдония — 83 212 501
 Прибалтийский край — 568
 Привислинский край в Рос-
 сийской империи до 1917 г.
 Общее название 10 губерний
 Царства Польского со сто-
 лицей Варшава — 13
 Приволжье — 359
 Приуралье — 359
 Пруссия — 12 228 489 497 528
 Псков — 242
 Пятигорск — 3 33 419 421 423
 426 427 429 435—439 443 528
 629
 Резина, городок в Бессарабии —
 572 575
 Рейн, река в Германии — 470
 471 774 476 489 498—500 506
 Речь Посполита — 12
 Решма — 356 357
 Рига — 45—47 49 52 56 58 78 402
 — Московский форштадт — 49
 Рим — 12 18 62 85 87 89 91—93 95
 96 98 102 106 109 114—117 119
 127 131 134 141 145—147 149
 150 152 153 156 174 175 191
 193 196 203 211 212 214 215
 220 224 226 233 273 285 288

289 296 298 300 301 317 319
 325 333 343 348 490 497—500
 502 503 506 515 534 542 587
 — Фоо Романо — 90 109 142
 — Палатино, мост — 102
 — Яникуло — 106
 Рим (империя) — 182
 Рион (Риони), река в Грузии —
 194
 Романов-Борисоглебск — 347
 348
 Романовская гора на Кавказе —
 422
 Россия, Российская империя —
 11 12 15 16—19 45 47 48 56 61
 62 107 175—177 208 209 215
 228 233 266 294 302 317 321—
 323 334 335 337 343 344 349
 358 359 361 365 368 370 380
 381 387 390 395 401—403 405
 418 422 426 431 434 439 441
 447 448 454 455 465 514 529
 534 539—541 552 561 567—
 569 572 587-589 591 596 599
 632 633 638 639
 — Центральная Р. — 14
 Ростов Великий — 355
 Рузаново — 269
 Румыния — 542 567 586 587 589
 638 639
 Русская земля — 259
 Руссо, остров — 308
 Русь, Великая Русь — 10 47—49
 63 176 209 230 261 317 331
 349 359 360 384 401 456 466
 467 539 542 545 546 550 554
 556 557 560—563 567 630 633
 Рыбинск — 338 358
 Рыбинско-Бологовская ж.д. —
 338
 Рыбница — 568 572 575 638
 Рязань — 13 16
 Саламин, остров близ Аттики —
 317 531
 Салерно — 208—210 211 215
 Саратов — 401 402 404
 Саров; Саровская земля — 239
 240 257 261 263 267— 272
 Саровская обитель — 262 612
 Сахара — 534
 Сахарна — 568—574 584 590 638

Сахарнянский, С-ский монастырь — 589 612

Свияга, р., приток Волги — 32 385

Севастополь — 58

Север — 107 508 555 556

Сикион — 532 533

Силоамская купель (библ.) — 5 6

Симбирск — 335 336 361—363
382 383 385 402

Симбирская губ. — 32 294 588

Синай (библ.) — 135 136 154 259

Сиракузы — 498 532

Сирия — 220 259 504 546

Смоленск — 23 58 59

Смоленская губ. — 58 169 578

Содом (библ.) — 92

Соединенные Штаты (Амери-
ки) — 16 215

Соловки — 76

Сорренто — 169 181 182

Спарта — 10

Старая Русса — 208

Стокгольм — 473

Тамбов — 273 416 632

Тарханы — 442

Татевое, имение в Смоленской
губ. — 578

Тегеран — 29 30

Темир-Хан-Шура (г. Буйнакск в
Дагестане) — 255 258

Терек, р. на Кавказе — 34 35 38 39

Териоки (г. Зеленогорск С.-Пе-
тербургской губ.) — 191

Террите, местечко в Швейца-
рии — 431

Терская долина — 40

Тибр — 151 498 506

Тиволи, городок в Италии около
Рима — 533 535

Тироль — 337

Тирренское море — 84

Тифлис — 30 194

Тихий океан — 62

Толгский монастырь под Ярос-
лавлем — 356

Тосканское море — 502

Троя — 119 312

Тула — 144

Туркестан — 359

Турция — 220 587

Урал — 337

Фивы — 215

Финикия — 546

Финляндия — 45 265 337 344 568
573

Финский залив — 56 338

Ферней — 307

Флоренция — 36 62 83 201 216
273 296 298 300 495 526 527
530 633

Франкфурт-на-Майне — 484 491

Франция — 163 167 307 308 311
317 453 587

Фридберг, город в Германии —
457 459 508 512 513

Харьков — 13

Цареград, Царьград — 548 587
592

Черное море — 603

Черноморье — 359

Шамордино — 270

Шатки — 239 240

Швейцария — 190 430 458 632

Швеция — 377

Эзель, остров в Балтийском мо-
ре (совр. Сааремаа) — 56 58
67 68

Эйткунен — 435 449

Эллада — 483 533 539

Эльбрус — 427—430

Эммаус (библ.) — 534

Эссентуки (Ессентуки) — 3 4
421 423 424 426

Юг — 625

Юго-Западная ж.д. — 638

Юзовка (Донецк) — 332

Юрьевец — 346

Яйле — 189 190

Ярославль — 352 356 587

Яссы — 587 638

Deutschland, см.: Германия

Eydtkuhlen, см.: Эйткунен

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

- алкоголь — 175—176 360
 американизм, американцы — 214—215
 — есть принцип — 215
 антисемитизм — 387—388
 аскетическая идея — 274 504

 бессмертие — 9
 благодать — 4 269
 благородство
 — сердца человеческого — 7 (см. также: человек)
 Бог — 3 4 7 8 16 138 206 606—608 610
 — есть мера вещей — 136
 — как случай — 608
 — и жертва — 608—609
 — как портной всех вещей — 136
 болезнь — 3
 бытие — 4 31

 «ванька» (извозчик) — 58—59
 великороссы — 17
 вера — 6 51 130
 — и жизнь — 3
 впечатления
 — пассивные — 55 339

ГИМНАЗИЯ
 — классическая — 63
 город — 55
 готика — 60 508
 греки (совр.) — 333 498
 грех — 9 213 259

 дворянство, дворяне, помещи-
 ки — 45 576—580
 — худое, трупное — 577 578
 как русская болезнь — 578
 — как духовная сила — 577
 — как единоплеменный разум — 576
 — и крестьяне — 578—579
 — и духовенство — 579—580
 декабристы — 26
 деликатность (человека) — 632—637
 дух
 — русский — 573
 — и печеи — 424
 — и тело — 578
 духовенство
 — католическое — 119
 — православное — 119 263 275 579
 душа — 9 54 55 111 411—413
 — бессмертная — 158
 — русская — 98 348
 — человеческая — 54
 — у христиан — 201

 евреи (еврейство) — 447—448 498 509—513 568 570—572 576 579 597 601 (см. также: иудаизм)
 — как антикультурная сила — 571
 — как «странствующее племя» — 576
 — и мир — 394—395 572
 — и русские — 391
 Европа (как культурно-духов-
 ный регион) — 83 433—434
 египетская культура — 335 429—430

 женщины — 271
 жизненный синтез — 4 5 7
 «жизненный эликсир» — 24—5
 жизнь — 7 31 54
 — до истории — 586—589
 — островная — 56

 закон — 8
 земля (мать-сыра земля) —

- 154—155
 — и душа — 603
- Израиль Нового Завета — 389
 иноверцы
 — мусульмане — 359
 интеллигенция
 — и народ — 400—401
 искусство — 135 138 (см. также: религиозная живопись)
 Истина — 15 16
 истиинная мера — 136
 итальянская живопись
 — и католицизм — 132
 итальянское; итальянцы — 86 87 199 333
 — солдаты — 193—196
 иудаизм (см. также: евреи)
 — и христианство — 389—390
- католическое; католицизм; католичество — 92 95 119 230 276 294
 — колокольный звон — 86
 — пение — 86
 — пост — 97—98
 — и наука — 290
 — и православие — 97—98
 — и Италия — 92 119
 — есть ночная религия — 276
 кожа
 — есть душа — 412—413
 комедия — 19
 костромское детство Р. — 335—337
 красота — 8
 — умирания — 8
 крестьянское; крестьянство — 595—602
 — жизнь — 603—610
 — труд — 595—602
 — и Бог — 607
 кровь — 8
 купцы — 47
- Лик; Лицо Божие — 8 9 12 279
 литургия — 613
 лицо человеческое — 8 259 412 (см. также: человек)
 логика — 15
 любовь
 — и ревность — 624—628
 — и смерть — 628
- материалисты — 4
 медицина
 — и наука — 4
 мечта — 14
 мещанство (нравственное) — 483
 мир — 5
 — мистический узел м. — 4
 — полярность м. — 8
 — теплота м. — 280
 мистика — 136
 мифология — 471 477
 — Германии — 499—500
 мозаика — 544
 молдаване — 569 582—583 587 641
 — есть народ музыкальный — 569
 молитва — 7 73 131 263
 молодежь
 — воспитание м. — 135 548 550—551
 — и революц. пропаганда — 397—398
 монахи (аскеты), монастырь — 160 167 234 241 261—262 275 276 278 279 584—585 589—594
 — и мир — 243 249 250 252
 — и собственность — 278
 — и устав — 592—594
 Москва (как культурно-духовный центр) — 53 —540
 — есть «третий Рим» — 18
 мудрость
 — древних — 55 424
- народ (мужики) — 255 263 274
 — и Бог — 333
 — и богослужение — 73 612—614
 — и праздники — 569
 — и священники — 73
 — носит цель и задачу свою в себе самом — 580
 наука — 6
 национальное
 — «возрождение» — 16 17
 — синтез — 11
 нация — 484—485
 начало (потенции) — 502
 — и конец — 5
 недоумение
 — религиозное — 4

- неисследимость живой природы — 398
 — души человеческой — 398
 — культуры человеческой — 398
 немцы — 45—48 297 316—317 319—325 453 495
 неподражаемость гения — 123
 несвобода человека — 123 (см. также: человек)
 нигилизм — 434 541 560
 нижегородское гимназичество Р. — 357
 нищие, нищенство — 255 454—455
 номинализм
 — богословский — 4

 отдых — 56 338 422—423

 патриотизм — 63 543 585
 переименование улиц — 438
 Петербург (как духовно-культурный центр) — 539—541
 плоть — 524—525
 — есть «истина и путь жизни» — 524
 — и дух — 524—525
 подвиг —
 — активный — 117
 — пассивный — 117
 политика — 14
 — центра и окраин России — 12—18
 — денационализации племен — 10 (см.: национальный синтез)
 полярность —
 — мира — 8 (см. также: мир)
 пост — 97
 правда
 — смерти — 7
 — страдания — 7
 — как абсолют — 7
 предварение будущего есть вечный закон души человеческой — 398
 прогресс — 44
 пророки — 274
 протестантское; протестантизм — 53 276 470
 психология
 — дня — 202—203 275
 — ночи — 203—203 275
 — окраинного жителя (России) — 568
 путь — 138

 радикалы — 334 (см. также: социализм; молодежь и револ. пропаг.)
 разум — 5 412
 революция — 434 576—577 597
 религия; религиозное; трансцендентное — 4 6 7 96 103 130 254 264 333
 — страх — 8 130
 — живопись — 260 272 552
 — Митры — 152—154 503—504
 — у римлян — 104
 речное пароходство — 341
 Рим (как исторический культурно-духовный центр) — 156
 — как «вечный гений» — 156
 римское (языческое) — 86 499
 (см. также: язычество)
 — право — 500
 румыны — 542 586—589
 русификация — 11 13
 русское, русские (как нация) — 48 56 63 233 435
 — администрирование — 13—15 358—359 567—568
 — бескультурность — 342—346 427—428 431 528—529 636—637
 — бог — 633
 — вера («русская вера») — 348 553
 — «истории» (пороки) — 48 347
 — колокольный звон — 355
 — культура — 323
 — лживость (плутоватость) — 321
 — литература и русский дух — 119
 — национальность — 321
 — песни — 471
 — печать — 577
 — привычки — 435
 — пьянство как национальный порок — 176
 — родина — 434—435 448 467
 — скопчество — 506
 — солдат — 193
 — угодники («русская святость») — 509 552—559 (см. также: старчество)

— «умная» печать — 577
 — церкви (храмы) — 348
 — человек — 535 433 555 631 641
 — как наркотическая, артистическая нация — 47
 — суть народ не мыслителей — 471

«свастика» — 547—548

Симбирск («духовная родина» Р.) — 361—383

скептики — 4 264

славянофилы, славянофильство — 355 578

смерть — 6—9

собственность — 278 568—569 601

солнце — 6 205 207 430 560

— как животнополагающая сила — 5

социализм, социалисты — 596 597

— и прогресс — 596

стоицизм — 7 9

страдание — 6 8

судьба — 434

существование

— нравственное — 14

— политическое — 14

— как старческое вырождение планеты — 616

— и хозяйствование — 596

старчество — 261—262

таинство покаяния — 159

тайна

— пол — 137—139

«толпа без лица» — 340

«третий Рим» — 18

уединение — 54 55 259 592

университет — 63 496

урожай — 606—611

— и Бог — 607

филантропия имущих — 257

«философский камень» — 4—7

францисканцы — 107

хлыстовство — 274

христианство — 110 148 160 251 276 279

— православное — 132—133

— и язычество — 210 279 516—525

— католическое — 132

«церковные городки» — 346

церковь — 73 276 520—522 544—545 554 611—620

— католическая — 130—131 207

— православная — 131

— сельская — 612—613

— и мужик — 614

цивилизация — 636

человек — 7—9 45 136—138 147 167 331 423 577

— как смертный, краткосрочный ч. — 331

— как царь вещей — 13

— и плоть — 524

— и труп — 577

— и Человек — 614

— страдание ч. — 5

— судьба ч. — 617

человечность — 4

«черта оседлости» — 572

чудо — 3

штунда — 255

эстетика — 60

эстонцы — 62

этика — 280

этнографический материал — 15 501

ядро (центр) России — 13

язычество; древность — 104—106 158 214—215 523

— христианство — 158 516—525 548

СОДЕРЖАНИЕ

КАВКАЗСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

(первая поездка). 1

Около болящих. 3

С юга. 10

В ПРИБАЛТИКЕ. 43

Федосеевцы в Риге. 45

Эстонское затишье. 54

Поездка в Абро. 67

Тревожная ночь. 69

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. 81

Рим. 85

Страстная Пятница в соборе св. Петра —

Страстная Суббота в Колизее. 89

Пасха в соборе св. Петра. 93

По старому Риму. 102

Дети и монахи в садах Боргезе. 112

Выцветающая живопись. 121

В музеях Ватикана. 130

На вершине Колизея. 142

«Умиравший гладиатор» и «Моисей» Микель-Анджело. . 152

Неаполитанский залив. 163

Чудовище —

Солнце и виноград. 174

Капри. 179

Uno, duo, tre. 193

Помпеи. 199

Салерно. 208

Пестум. 212

Флоренция. 216

Венеция. 219

Золотистая Венеция	—
К падению башни св. Марка.	230
Post scriptum.	233
ПО ТИХИМ ОБИТЕЛЯМ.	237
ГЕРМАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ	
(первая поездка).	281
По Германии.	283
Сикстинская Мадонна	—
Капище Молоха.	287
В католической Германии.	294
Реликвии Кальвина.	307
Возможный «гегемон» Европы.	316
РУССКИЙ НИЛ.	329
КАВКАЗСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ	
(вторая поездка).	409
Около целебных вод.	411
В Кисловодске.	421
Бермамут.	427
Домик Лермонтова в Пятигорске.	433
ГЕРМАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ	
(вторая поездка).	445
Пограничные запахи.	447
Дневник туриста.	450
Место девичества русской Императрицы.	457
Еще испорченный памятник.	460
Дневник туриста.	463
В театре «Deutsche Kunst».	469
В Cristliche Hospice.	479
В домике Гёте.	484
В Берлине.	495
В военном лагере римлян.	498
Полупонятные руины.	508
Метафизический разговор.	514
Мюнхенский монашенок.	526
КИЕВ И КИЕВЛЯНЕ.	537
В БЕССАРАБИИ.	565
Уголок Бессарабии.	567

СОДЕРЖАНИЕ	735
Возле хлебов.	595
† урожая	604
Из монастыря домой	612
ПРИЛОЖЕНИЕ.	621
Из жизненных встреч (Памяти Железновой). . .	623
О деликатности и прочих мелочах.	631
Памяти Е.И. Апостолопуло.	638
КОММЕНТАРИИ.	643
УКАЗАТЕЛИ.	693
Сводный указатель исторических, мифологи- ческих и библейских имен, литературных персонажей, названий литературных, художественных и музыкальных произведений и книг.	697
Указатель географических названий.	723
Тематический указатель.	729

Розанов В.В.

Р 64

Сочинения: Иная земля, иное небо... Полное собрание путевых очерков, 1899-1913 гг. / Сост., коммент. и ред. В. Г. Сукача. — М.; Танаис, 1994. — 10 нenum., 735 [6], с. 1 л. портр.

ISBN 5-87603-1

В книге впервые собраны все путевые очерки В.В. Розанова (1856-1919), известного русского мыслителя, культуролога, теоретика религиозного сознания, чье имя уже не нуждается в особой рекламе. Читатели знают Розанова. Гений Розанова и его виртуозное перо снискали ему славу читателей во всех странах. Книга читается легко, с захватывающим и неослабевающим интересом.

Для широкого круга читателей, а также для историков культуры.

ББК 87.3 (2)

Розанов Василий Васильевич

ИНАЯ ЗЕМЛЯ, ИНОЕ НЕБО...

Редактор Н.Н. Снитко

Оформление художника А.И. Ольденбургера

Технический редактор С.П. Лебедева

Корректор Т.И. Орехова

ЛП №062955 от 03.09.93

Набор и верстка — Дизайн-издательский центр «Мажор». Подписано в печать 06.09.94. Формат 84 х108/32. Бумага офсет №1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печатных листов 39,48. Усл кр.-отт 39,48. Учетно-издательских листов 39,93. Тираж 10000 экз. Заказ № 210

Издательство «ТАНАИС». 117454. Москва, ул. Лобачевского, 66«а».

АО "Астра семь". 121019, Москва, пер. Аксакова, 13.

В серии
“Сочинения Василия Васильевича Розанова”,
выходящей под редакцией
В.Г. Сукача,
выходит книга

О ПОНИМАНИИ

**Опыт исследования природы, границ и внутреннего
строения науки,
как чистого знания.**

Философский труд В.В. Розанова “О понимании” — первый труд русского мыслителя. Изданная впервые в 1886 г. в количестве 600 экз., в настоящее время книга встречается чрезвычайно редко. Это объясняется и временем, которое пережила книга, и ее судьбой. Она появилась во время подражания западному утилитаризму и позитивизму, и из-за своей идеалистической направленности была просто не замечена русской философской общественностью. Теперь, когда имя Розанова стало почти центральной фигурой так называемого серебряного века русской культуры, интерес к “раннему Розанову” становится понятным. Нынешнее издание найдет нового читателя и новые условия для восприятия, а история русской философии наконец получит недостающий материал для анализов и исследований.

В серии
“Сочинения Василия Васильевича Розанова”,
выходящей под редакцией
В.Г. Сукача,
выходит книга

О Ф.М. ДОСТОЕВСКОМ
И ГРАФЕ Л.Н. ТОЛСТОМ

Полное собрание статей, написанных
с 1890 по 1918 г.

Впервые отдельным изданием выходит полное собрание статей о двух корифеях русской литературы и культуры. Книга дополнена приложением фрагментов о творчестве и личности Достоевского и Толстого из других работ Розанова и этим почти исчерпывает все написанное Розановым по данной теме. Два имени, воплотившие две вершины русской нравственности, притягивали внимание Розанова всегда. Это выразилось в сочинениях Розанова в высшей степени умной независимостью авторской позиции, глубоко личным подходом к решению тех или иных проблем, а также оригинальностью оценок.

В серии

**“Сочинения Василия Васильевича Розанова”,
выходящей под редакцией
В.Г. Сукача,
готовится к печати книга**

**О ВЛ. СОЛОВЬЕВЕ
Полное собрание статей и фрагментов
с приложением статей
Вл. Соловьева о Розанове
и перепиской двух мыслителей.**

Впервые в одном издании собраны все статьи Розанова о Вл. Соловьеве с присовокуплением всех материалов, касающихся взаимоотношений двух мыслителей. Почти ровесники, Розанов и Соловьев были представителями русской культуры и общественной мысли в полном выражении. Разные позиции, с которыми выступали два равнозначных мыслителя, сказались на драматизме их взаимоотношений. Анализ этих взаимоотношений будет иметь несомненное значение для понимания трагизма русской истории конца XIX — начала XX в.

В серии

**“Сочинения Василия Васильевича Розанова”,
выходящей под редакцией
В.Г. Сукача,
готовится к печати книга**

О ПИСАТЕЛЯХ И ПИСАТЕЛЬСТВАХ
Полное собрание статей
о русской литературе
в двух томах.

В двухтомное издание вошли все статьи Розанова, посвященные русской литературе “от Пушкина до Чехова” и далее. Заглавие авторское. Редакция стремилась реализовать запланированный, но не изданный Розановым сборник статей. Перед читателем проходит галерея русских писателей, с необычайным интересом представленная человеком, постоянно размышлявшим над судьбами русской культуры и литературы. Статьи, вошедшие в настоящее издание, извлечены из дореволюционных газет и журналов и до сих пор еще не были собраны в отдельном издании.